

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Собрание сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты.
Максим Горький

Детство
Сыну моему посвящаю

I
В полутёмной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смиренно положенных на грудь, тоже кривые; его весёлые глаза плотно прикрыты чёрными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами.

Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачёсывая длинные, мягкие волосы отца со лба на затылок чёрной гребёнкой, которой я любил перепиливать корки арбузов; мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом, её серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слёз.

Меня держит за руку бабушка – круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом; она вся чёрная, мягкая и удивительно интересная; она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подлевая матери, дрожит вся и дёргает меня, толкая к отцу; я упираюсь, прячусь за неё; мне боязно и неловко.

Я никогда ещё не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой:

– Попрощайся с тятёй-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, не в срок, не в свой час...

Я был тяжело болен, – только что встал на ноги; во время болезни – я это хорошо помню – отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек.

– Ты откуда пришла? – спросил я её.

Она ответила:

– Сверху, из Нижнего, да не пришла, а приехала! По воде-то не ходят, шиш!

Это было смешно и непонятно: наверху, в доме, жили бородатые, крашенные персияне, а в подвале старый, жёлтый калмык продавал овчины. По лестнице можно съехать верхом на перилах или, когда упадёшь, скатиться кувырком, – это я знал хорошо. И при чём тут вода? Всё неверно и забавно спутано.

– А отчего я шиш?

– Оттого, что шумишь, – сказала она, тоже смеясь.

Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мною из этой комнаты.

Меня подавляет мать; её слёзы и вой зажгли во мне новое, тревожное чувство. Я впервые вижу её такою, – она была всегда строгая, говорила мало; она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у неё жёсткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрёпана, всё на ней разорвалось; волосы, лежавшие на голове аккуратно, большую светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетённая в косу, болтается, задывая уснувшее отцово лицо. Я уже давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня, – причёсывает отца и всё рычит, захлёбываясь слезами.

В дверь заглядывают чёрные мужики и солдат-будочник. Он сердито кричит:

– Скорее убирайте!

Окно занавешено тёмной шалью; она вздувается, как парус. Однажды отец катал меня

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями
и крикнул:

– Ничего не бойся, Лук!

Вдруг мать тяжело взметнулась с пола, тотчас снова осела, опрокинулась на спину, разметав волосы по полу; её слепое, белое лицо посинело, и, оскалив зубы, как отец, она сказала страшным голосом:

– Дверь затворите... Алексея – вон!

Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери, закричала:

– Родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите Христа ради! Это не холера, роды пришли, помилуйте, батюшки!

Я спрятался в тёмный угол за сундук и оттуда смотрел как мать извивается по полу, охая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокруг, говорит ласково и радостно:

– Во имя отца и сына! Потерпи, Варюша!.. Пресвятая мати божия, заступница:

Мне страшно; они возьмётся на полу около отца, задевают его, стонут и кричат, а он неподвижен и точно смеётся. Это длилось долго – возня на полу; не однажды мать вставала на ноги и снова падала; бабушка выкатывалась из комнаты, как большой чёрный мягкий шар; потом вдруг во тьме закричал ребёнок.

– Слава тебе, господи! – сказала бабушка. – Мальчик!

И зажгла свечу.

Я, должно быть, заснул в углу, – ничего не помню больше.

Второй оттиск в памяти моей – дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки, – две уже взобрались на жёлтую крышку гроба.

У могилы – я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает тёплый дождь, мелкий, как бисер.

– Зарывай, – сказал будочник, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно.

– Отойди, лёня, – сказала бабушка, взяв меня за плечо; я выскользнул из-под её руки, не хотелось уходить.

– Экой ты, господи, – пожаловалась бабушка, не то на меня, не то на бога, и долго стояла молча, опустив голову; уже могила сровнялась с землёй, а она всё ещё стоит.

Мужики гулко шлёпали лопатами по земле; налетел ветер и прогнал, унёс дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела к далёкой церкви, среди множества тёмных крестов.

– Ты что не поплачешь? – спросила она, когда вышла за ограду. – Поплакал бы!

– Не хочется, – сказал я.

– Ну, не хочется, так и не надо, – тихонько выговорила она.

Всё это было удивительно: я плакал редко и только от обиды, не от боли; отец всегда смеялся над моими слезами, а мать кричала:

– Не смей плакать!

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
Потом мы ехали по широкой, очень грязной улице на дрожках, среди тёмноокрасных домов; я спросил бабушку:

– А лягушки не вылезут?

– Нет, уж не вылезут, – ответила она. – Бог с ними!

Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя божие.

Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе, в маленькой каюте; новорожденный брат мой Максим умер и лежал на столе в углу, завернутый в белое, спеленатый красною тесьмой.

Примостившись на узлах и сундуках, я смотрю в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня; за мокрым стеклом бесконечно льётся мутная, пенная вода. Порою она, вскидываясь, лижет стекло. Я невольно прыгаю на пол.

– Не бойся, – говорит бабушка и, легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы.

Над водою – серый, мокрый туман; далеко где-то является тёмная земля и снова исчезает в тумане и воде. Всё вокруг трясётся. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислоняясь к стене, твёрдо и неподвижно. Лицо у неё тёмное, железное и слепое, глаза крепко закрыты, она всё время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне.

Бабушка не однажды говорила ей тихо:

– Варя, ты бы поела чего, маленько, а?

Она молчит и неподвижна.

Бабушка говорит со мною шёпотом, а с матерью – громче, но как-то осторожно, робко и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает с бабушкой.

– Саратов, – неожиданно громко и сердито сказала мать. – Где же матрос?

Вот и слова у неё странные, чужие: Саратов, матрос.

Вошёл широкий седой человек, одетый в синее, принёс маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата, уложила и понесла к двери на вытянутых руках, но – толстая – она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед нею.

– Эх, мамаша, – крикнула мать, отняла у неё гроб, и обе они исчезли, а я остался в каюте, разглядывая синего мужика.

– Что, отошёл братишка-то? – сказал он, наклонясь ко мне.

– Ты кто?

– Матрос.

– А Саратов – кто?

– Город. Гляди в окно, вот он!

За окном двигалась земля; тёмная, обрывистая, она курилась туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от каравая.

– А куда бабушка ушла?

– Внука хоронить.

– Его в землю зароят?

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– А как же? Зароют.

Я рассказал матросу, как зарыли живых лягушек, хороня отца. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал.

– Эх, брат, ничего ты ещё не понимаешь! – сказал он. – Лягушек жалеть не надо, господь с ними! Мать пожалей, – вон как её горе ушибло!

Над нами загудело, завыло. Я уже знал, что это – пароход, и не испугался, а матрос торопливо опустил меня на пол и бросился вон, говоря:

– Надо бежать!

И мне тоже захотелось убежать. Я вышел за дверь. В полутёмной узкой щели было пусто. Недалеко от двери блестела медь на ступенях лестницы. Взглянув наверх, я увидел людей с котомками и узлами в руках. Было ясно, что все уходят с парохода, – значит и мне нужно уходить.

Но когда вместе с толпой мужиков я очутился у борта парохода, перед мостками на берег, все стали кричать на меня:

– Это чей? Чей ты?

– Не знаю.

Меня долго толкали, встряхивали, щупали. Наконец явился седой матрос и схватил меня, объяснив:

– Это астраханский, из каюты...

Бегом он снёс меня в каюту, сунул на узлы и ушёл, грозя пальцем:

– Я тебе задам!

Шум над головой становился всё тише, пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты загородила какая-то мокрая стена; стало темно, душно, узлы точно распухли, стесняя меня, и всё было нехорошо. Может быть, меня так и оставят навсегда одного в пустом пароходе?

Подожёл к двери. Она не отворяется, медную ручку её нельзя повернуть. Взяв бутылку с молоком, я со всею силой ударил по ручке. Бутылка разбилась, молоко облило мне ноги, натекло в сапоги.

Огорчённый неудачей, я лёг на узлы, заплакал тихонько и, в слезах, уснул.

А когда проснулся, пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашёптывая. Волос у неё было странно много, они густо покрывали ей плечи, грудь, колени и лежали на полу, чёрные, отливая синим. Приподнимая их с пола одною рукою и держа на весу, она с трудом вводила в толстые пряди деревянный редкозубый гребень; губы её кривились, тёмные глаза сверкали сердито, а лицо в этой массе волос стало маленьким и смешным.

Сегодня она казалась злою, но когда я спросил, отчего у неё такие длинные волосы, она сказала вчерашним тёплым и мягким голосом:

– Видно, в наказание господь дал, – расчеши-ка вот их, окаянные! Смолоду я гривой этой хвасталась, на старости клянусь! А ты спи! Ещё рано, – солнышко чуть только с ночи поднялось...

– Не хочу уж спать!

– Ну, ино не спи, – тотчас согласилась она, заплетая косу и поглядывая на диван, где вверх лицом, вытянувшись струною, лежала мать. – Как это ты вчера бутылку-то раскокал? Тихонько говори!

Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
её тёмные, как вишни, зрачки расширились, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в тёмной коже щёк, всё лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из чёрной табакерки, украшенной серебром. Вся она – тёмная, но светилась изнутри – через глаза – неугасимым, весёлым и тёплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка, – она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь.

До неё как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала всё вокруг меня в непрерывную нить, сплела всё в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, – это её бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.

Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотой.

Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плицами по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светлорыжий пароход, с баржей на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывёт над Волгой солнце; каждый час вокруг всё ново, всё меняется; зелёные горы – как пышные складки на богатой одежде земли; по берегам стоят города и сёла, точно пряничные издали; золотой осенний лист плывёт по воде.

– Ты гляди, как хорошо-то! – ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у неё радостно расширены.

Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слёзы. Я дёргаю её за тёмную, с набойкой цветами, юбку.

– Ась? – встрепенётся она. – А я будто задремала да сон вижу.

– А о чём плачешь?

– Это, милый, от радости да от старости, – говорит она, улыбаясь. – Я ведь уж старая, за шестой десяток лета-вёсны мои перекинулись-пошли.

И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе.

Сказки она сказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце моё силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поёт, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать её невыразимо приятно. Я слушаю и прошу:

– Ещё!

– А ещё вот как было: сидит в подпечке старичок-домовой, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»

Подняв ногу, она хватается за неё руками, качает её на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.

Вокруг стоят матросы – бородатые, ласковые мужики, – слушают, смеются, хвалят её и тоже просят:

– А ну, бабушка, расскажи ещё чего!

Потом говорят:

– Айда ужинать с нами!

За ужином они угощают её водкой, меня – арбузами, дыней; это делается скрытно:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyтама
на пароходе едет человек, который запрещает есть фрукты, отнимает их и
выбрасывает в реку. Он одет похоже на будочника – с медными пуговицами – и
всегда пьяный; люди прячутся от него.

Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она всё молчит, мать.
Её большое, стройное тело, тёмное, железное лицо, тяжёлая корона заплетённых в
косы светлых волос – вся она, мощная и твёрдая, вспоминается мне как бы сквозь
туман или прозрачное облако; из него отдалённо и неприветливо смотрят прямые
серые глаза, такие же большие, как у бабушки.

Однажды она строго сказала:

– Смеются люди над вами, мамаша!

– А господь с ними! – беззаботно ответила бабушка. – А пускай смеются, на доброе
им здоровье!

Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дёргая за руку, она толкала меня
к борту и кричала:

– Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка Нижний-то! Вот он какой, богов!
Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!

И просила мать, чуть не плача:

– Варюша, погляди, чай, а? Поди, забыла ведь! Порадуйся!

Мать хмуро улыбалась.

Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно
загромождённой судами, ошестившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла
большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один
за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шёл
небольшой сухонький старичок, в чёрном длинном одеянии, с рыжей, как золото,
бородкой, с птичьим носом и зелёными глазками.

– Папаша! – густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая её
за голову, быстро глядя щёки её маленькими, красными руками, кричал, взвизгивая:

– Что-о, дура? Ага-а! То-то вот... Эх вы-и...

Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь, как винт; она толкала
меня к людям и говорила торопливо:

– Ну, скорее! Это – дядя Михайло, это – Яков... Тётка Наталья, это – братья, оба
Саши, сестра Катерина, это всё наше племя, вот сколько!

Дедушка сказал ей:

– Здорова ли, мать?

Они троекратно поцеловались.

Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

– Ты чей таков будешь?

– Астраханский, из каюты...

– Чего он говорит? – обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул
меня, сказав:

– Скулы-те отцовы... Слезайте в лодку!

Съехали на берег и толпой пошли в гору, по съезду, мощённому крупным булыжником,
между двух высоких откосов, покрытых жухлой, примятой травой.

Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро,
Страница 6

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyuma
а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядя: чёрный гладковолосый Михаил, сухой, как дед, светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек шесть детей, все старше меня и все тихие. Я шёл с бабушкой и маленькой тёткой Натальей. Бледная, голубоглазая, с огромным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала:

– Ой, не могу!

– На што они тревожили тебя? – сердито ворчала бабушка. – Эко неумное племя!

И взрослые и дети – все не понравились мне, я чувствовал себя чужим среди них, даже и бабушка как-то померкла, отдалилась.

Особенно же не понравился мне дед; я сразу почуял в нём врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство.

Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислоняясь к правому откосу и начиная собой улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязнорозовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких, полутёмных комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стаей вороватых воробьёв металась ребятишки, и всюду стоял едкий, незнакомый запах.

Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова:

– Сандал – фуксин – купорос...

II

Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, – слишком обильна жестокостью темная жизнь «неумного племени».

Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил – да и по сей день живёт – простой русский человек.

Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому – за Окой, в слободе Кунавине.

Уже вскоре после приезда, в кухне, во время обеда, вспыхнула ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко – петухом – закричал:

– По миру пуцу!

Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:

– Отдай им все, отец, – спокойней тебе будет, отдай!

– Цыц, потатчица! – кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.

Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyтамақ
спиною.

Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатались по полу, хрипя, охая, ругаясь.

Заплакали дети; отчаянно закричала беременная тетка Наталья; моя мать потащила её куда-то, взяв в охапку; весёлая рябая нянька Евгенья выгоняла из кухни детей; падали стулья; молодой широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем. Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородой по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:

– Братья, а! Родная кровь! Эх, вы-и...

Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он плакал и топал ногами, а она говорила тяжёлым голосом:

– Окаянные, дикое племя, опомнитесь!

Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:

– Что, ведьма, народила зверья?

Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясаясь воя:

– Пресвятая мати божия, верни разум детям моим!

Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил:

– Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго...

– Полно, бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью...

И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб; он же – маленький против неё – ткнулся лицом в плечо ей.

– Надо, видно, делиться, мать...

– Надо, отец, надо!

Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:

– Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой – езуит, а Яшка-фармазон! И пропьют они добро моё, промотают...

Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг; загредев по ступеням влаза, он шлёпнулся в лохань с помоями. Дед прыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые.

– Кто тебя посадил на печь? Мать?

– Я сам.

– Врёшь.

– Нет, сам. Я испугался.

Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб.

– Весь в отца! Пошел вон...

Я был рад убежать из кухни.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелёными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.

– Эх, вы-и! – часто восклицал он; долгий звук «и-и», всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство.

В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядья и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками, окрашенными сандалом, обожжёнными купоросом, с повязанными тесёмкой волосами, все похожие на тёмные иконы в углу кухни, – в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был складный, точёный, острый. Его атласный, шитый шелками глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, а всё-таки он казался одетым и чище и красивей сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях.

Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы её были видны из окон дома.

Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что, мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади её головы.

Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая; она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шёпотом:

– Ну, говори, пожалуйста: «Отче наш, иже еси...»

И если я спрашивал: «Что такое – яко же?» – она, пугливо оглянувшись, советовала:

– Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: «Отче наш...» Ну?

Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его:

– «Яков же», «я в коже»...

Но бледная, словно тающая тетка терпеливо поправляла голосом, который все прерывался у неё:

– Нет, ты говори просто: «яко же»...

Но и сама она и все слова её были не просты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву.

Однажды дед спросил:

– Ну, Олёшка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку на лбу. Это не велика мудрость желвак нажить! А «Отче наш» заучил?

Тётка тихонько сказала:

– У него память плохая.

Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.

– А коли так, – высечь надо!

И снова спросил меня:

– Тебя отец сёк?

Не понимая, о чём он говорит, я промолчал, а мать сказала:

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Нет. Максим не бил его, да и мне запретил.

– Это почему же?

– Говорил, битьем не выучишь.

– Дурак он был во всем, Максим этот, покойник, прости господи! – сердито и четко проговорил дед.

Меня обидели его слова. Он заметил это.

– Ты что губы надул? Ишь ты...

И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:

– А я вот в субботу Сашку за напёрсток пороть буду.

– Как это пороть? – спросил я.

Все засмеялись, а дед сказал:

– Погоди, увидишь...

Притаившись, я соображал: пороть – значит расшивать платья, отданные в краску, а сечь и бить – одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют персиян, – это я видел. Но я никогда не видал, чтоб так били маленьких, и хотя здесь дядья щёлкали своих то по лбу, то по затылку, – дети относились к этому равнодушно, только почёсывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:

– Больно?

И всегда они храбро отвечали:

– Нет, нисколечко!

Шумную историю с напёрстком я знал. Вечером, от чая до ужина, дядья и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристёгивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи напёрсток мастера. Саша зажал напёрсток щипцами для снятия нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в этот момент пришёл дедушка, сел за работу и сам сунул палец в калёный напёрсток.

Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал:

– Чьё дело, басурмане?

Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял напёрсток пальцами и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали по его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там; бабушка терла на терке сырой картофель.

– Это Сашка Яковов устроил, – вдруг сказал дядя Михаил.

– Врешь! – крикнул Яков, выскочив из-за печки.

А где-то в углу его сын плакал и кричал:

– Папа, не верь. Он сам меня научил!

Дядья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тертый картофель и молча ушел, захватив с собой меня.

Все говорили – виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем я спросил – будут ли его сечь и пороть?

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Надо бы, – проворчал дед, искоса взглянув на меня.

Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери:

– Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!

Мать сказала:

– Попробуй, тронь...

И все замолчали.

Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умялись.

Мне было ясно, что все боятся матери; даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими – тише. Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями:

– Моя мать – самая сильная!

Они не возражали.

Но то, что случилось в субботу, надорвало моё отношение к матери.

До субботы я тоже успел провиниться.

Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут жёлтую, мочат её в чёрной воде, и материя делается густо-синей – «кубовой»; полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым – «бордо». Просто, а – непонятно.

Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику; он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил:

– Экой подхалим!

Худенький, темный, с выпученными, рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но когда он возбуждался, дрожали вместе с белками.

Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный увалень Саша Михайлов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы, они высовывались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его; он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда; он покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нем. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать – сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются – мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и, вдруг покрыв угасающее небо черною сетью, исчезают куда-то, оставив за собой пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется и приятная скука наполняет грудь.

А Саша дяди Якова мог обо всём говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить её в синий цвет.

– Белое всегда легче красить, уж я знаю! – сказал он очень серьёзно.

Я вытащил тяжёлую скатерть, выбежал с нею во двор, но когда опустил край её в чан с «кубовой», на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая её широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моей работой:

– Зови бабушку скорее!

И, зловеще качая чёрной, лохматой головой, сказал мне:

– Ну и попадет же тебе за это!

Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня:

– Ах ты, пермяк, солёны уши! Чтоб те приподняло да шлёпнуло!

Потом стала уговаривать Цыганка:

– Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то! Уж я спрячу дело; авось, обойдётся как-нибудь...

Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником:

– Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наябедничал бы!

– Я ему семишник дам, – сказала бабушка, уводя меня в дом.

В субботу, перед всенощной, кто-то привел меня в кухню; там было темно и тихо. Помню плотно закрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водой длинные прутья, мерял их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:

– Ра-ад... мучитель...

Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:

– Простите Христа-ради...

Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.

– Высеку – прощу, – сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак.
– Ну-ка, снимай штаны-то!..

Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки, – ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под низким закопченным потолком.

Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошёл к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо, у меня тоже дрожали ноги.

Но стало ещё хуже, когда он покорно лёг на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил чёрными руками ноги его у щиколоток.

– Лексей, – позвал дед, – иди ближе!.. Ну, кому говорю? Вот, гляди, как секут... Раз!..

Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул.

– Врешь, – сказал дед, – это не больно! А вот эдак больней!

И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл.

– Не сладко? – спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. – Не любишь? Это за наперсток!

Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею; падала

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru – и я весь точно падал.

Саша визжал страшно тонко, противно:

– Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерть... Ведь я сказал...

Спокойно, точно псалтирь читая, дед говорил:

– Донос – не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!

Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав:

– Лексея не дам! Не дам, изверг!

Она стала бить ногою в дверь, призывая:

– Варя, Варвара!

Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергая рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:

– Привязывай! Убью!

Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела:

– Папаша, не надо!.. Отдайте...

Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиной на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой в углу перед киотом со множеством икон.

Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.

Прежде всего меня очень поразила ссора бабушки с матерью: в тесноте комнаты бабушка, чёрная и большая, лезла на мать, заталкивая ее в угол, к образам, и шипела:

– Ты что не отняла его, а?

– Испугалась я.

– Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я – старуха, да не боюсь! Стыдно!..

– Отстаньте, мамаша: тошно мне...

– Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!

Мать сказала тяжело и громко:

– Я сама на всю жизнь сирота!

Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила:

– Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша! Сил нет...

– Кровь ты моя, сердце моё, – шептала бабушка.

Я запомнил: мать – не сильная; она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать, действительно, исчезла из дома. Уехала куда-то гостить.

Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
мне голову холодной, как лёд, рукою:

– Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись!.. Ну, что ли?..

Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил всё это на подушку, к носу моему.

– Вот, видишь, я тебе гостинца принес!

Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой, жёсткой рукою, окрашенной в жёлтый цвет, особенно заметный на кривых птичьих ногтях.

– Я тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел – взачет пойдет! Ты знай: когда свой, родной бьет – это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олеша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам господь бог глядел – плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот дошёл до своего места, – старшиной цеховым сделан, начальник людям.

Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко.

Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:

– Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа – по воде, я по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, – косточки скрипят, – идешь да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, – эх-ма, Олеша, помалкивай! Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю – и тому рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у бога на глазах, у милостивого господа Иисуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, – в это многие тысячи верст! А на четвертый год уж и водоливом пошел, – показал хозяину разум свой!..

Говорил он и – быстро, как облако, рос передо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказочной, – он один ведет против реки огромную серую баржу...

Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:

– Ну, зато, Олеша, на привале, на отдыхе, летним вечером, в Жигулях, где-нибудь под зеленой горой, поразложим, бывалоче костры – кашу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, – аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрее пойдет, – так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков. И всякое горе – как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй, как хошь, а дело помни!

Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:

– Не уходи!

Он, усмехаясь, отмахивался от людей:

– Погодите там...

Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.

Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые весёлые глаза под густыми бровями и белые зубы под чёрной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампы.

– Ты глянь-ка, – сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку, до локтя в красных рубцах, – вон как разнесло! Да ещё хуже было, зажило много!

Чуешь ли: как вошёл дед в ярость, и вижу, запрет он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал – переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат бабаня али мать! Ну, прут не переломился, гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало, – видишь, насколько? Я, брат, жуликоватый!..

Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:

– Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет...

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда, сразу близкий мне, детски простой.

Я сказал ему, что очень люблю его, – он незабвенно просто ответил:

– Так ведь и я тебя тоже люблю, – за то и боль принял, за любовь! Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне...

Потом он учил меня, тихонько, часто оглядываясь на дверь:

– Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, – чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было, – киселем лежи! И не надувайся, дыши во всю, кричи благим матом, – ты это помни, это хорошо!

Я спросил:

– Разве еще сечь будут?

– А как же? – спокойно сказал Цыганенок. – Конечно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть...

– За что?

– Уж дедушка сыщёт...

И снова озабоченно стал учить:

– Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, – ну тут лежи спокойно, мягко, а ежели он с оттяжкой сечет, – ударит, да к себе тянет лозину, чтобы кожу снять, – так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнув темным, косым глазом, он сказал:

– Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть голицы шей! Я смотрел на его весёлое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.

III

Когда я выздоровел, мне стало ясно, что Цыганок занимает в доме особенное место: дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нём, жмуриясь и покачивая головой:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помните мое слово: не мал человек
растет!

Дядья тоже обращались с Цыганком ласково, дружески и никогда не «шутили» с ним, как с мастером Григорием, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием или подложат, полуслепому, разноцветные куски материи, – он сошьёт их в «штуку», а дедушка ругает его за это.

Однажды, когда он спал после обеда в кухне на полатях, ему покрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык.

Они были неистощимы в таких выдумках, но мастер все сносил молча, только кричал тихонько да, прежде чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов или наперстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой; даже за обедом, перед тем как взять нож или вилку, он муслил пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе.

Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала:

– Бесстыжие рожи, злыдни!

Но и о Цыганке за глаза дядья говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали вором и лентяем.

Я спросил бабушку, отчего это.

Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне:

– А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут, вот они друг перед другом и хаут его: дескать, плохой работник! Это они врут, хитрят. А ещё боятся, что не пойдёт к ним Ванюшка, останется с дедом, а дед – своенравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может, – дядьям-то невыгодно будет, понял?

Она тихонько засмеялась:

– Хитрят всё, богу на смех! Ну, а дедушка хитрости эти видит да нарочно дразнит Яшу с Мишей: «Куплю, говорит, Ивану рекрутскую квитанцию, чтобы его в солдаты не забрали: мне он самому нужен!» А они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль, – квитанция-то дорогая!

Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи – о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя – она говорила посмеиваясь, отчуждённо, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству.

Я узнал от неё, что Цыганок – подкидыш; раннею весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке.

– Лежит, в запон обёрнут, – задумчиво и таинственно сказывала бабушка, – еле попискивает, заоченел уж.

– А зачем подкидывают детей?

– Молока у матери нет, кормить нечем; вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то.

Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок:

– Бедность всё, Олёша; такая бывает бедность, что и говорить нельзя! И считается, что незамужняя девица не смей родить, – стыдно-де! Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила: возьмём, мол, себе; это бог нам послал в тех место, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено; кабы

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru
все жили – целая улица народу, восемнадцать-то домов! Я, гляди, на четырнадцатом году замуж отдана, а к пятнадцати уж и родила; да вот полюбил господь кровь мою, всё брал и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно!

Сидя на краю постели в одной рубашке, вся осыпанная чёрными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый, лесной мужик из Сергача. Крестя снежно-белую, чистую грудь, она тихонько смеётся, колышется вся:

– Получше себе взял, похуже мне оставил. Очень я обрадовалась Иванке, – уж больно люблю вас, маленьких! Ну, и приняли его, окрестили, вот он и живёт, хорош. Я его вначале Жуком звала, – он, бывало, ужжал особенно, – совсем жук, ползёт и ужжит на все горницы. Люби его – он простая душа!

Я и любил Ивана и удивлялся ему до немоты.

По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неопишимо забавная жизнь: Цыганок доставал из-за печи чёрных тараканов, быстро делал нитяную упряжь, вырезывал из бумаги сани, и по жёлтому, чисто выскобленному столу разъезжала четвёрка вороних, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбуждённо визжал:

– За архереем поехали!

Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял:

– Мешок забыли. Монах бежит, тащит!

Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями:

– Дьячок из кабака к вечерней идёт!

Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая чёрненькими бусинами бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их за пазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно:

– Мышь – умный житель, ласковый, её домовый очень любит! Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мирволит...

Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его «дураком» несколько раз кряду, – он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил игру, и потом жаловался мне, шмыгая носом:

– Знаю я, они уговорились! Они перемигивались, карты совали друг другу под стол. Разве это игра? Жульничать я сам умею не хуже...

Ему было девятнадцать лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе.

Но особенно он памятен мне в праздничные вечера; когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрёпанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зелёном штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая тёмными стёклами очков; нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и ещё какие-то тёмные, скользкие люди, похожие на щук и налимов.

Все много пили, ели, вздыхая тяжело, детям давали гостинцы, по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье.

Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, говорил всегда одни и те же слова:

– Ну-с, я начну-с!

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, сгибал шею, точно гусь; круглое, беззаботное лицо его становилось сонным; живые, неуловимые глаза угасали в масляном тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то размычное, невольно поднимавшее на ноги.

Его музыка требовала напряжённой тишины; торопливым ручьём она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого, большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании.

Особенно напряжённо слушал Саша Михайлов; он всё вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза.

И все застывали, очарованные; только самовар тихо поёт, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи, порою кто-то мягко постукивает в них. На столе качаются жёлтые огни двух сальных свеч, острые, точно копья.

Дядя Яков всё более цепенел; казалось, он крепко спит, сцепив зубы, только руки его живут отдельной жизнью: изогнутые пальцы правой неразличимо дрожали над тёмным голосником, точно птица порхала и билась; пальцы левой с неуловимой быстротой бегали по грифу.

Выпивши, он почти всегда пел сквозь зубы голосом, неприятно свистящим, бесконечную песню:

Быть бы Якову собакою –
Выл бы Яков с утра до ночи:

Ой, скушно мне!

Ой, грустно мне!

По улице монахиня идёт;

На заборе ворона сидит.

Ой, скушно мне!

За печкою сверчок торохтит,

Тараканы беспокоятся.

Ой, скушно мне!

Нищий вывесил портянки сушить,

А другой нищий портянки украл!

Ой, скушно мне!

Да, ох, грустно мне!

Я не выносил этой песни и, когда дядя запевал о нищих, буйно плакал в невыносимой тоске.

Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои чёрные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал:

– Эх, кабы голос мне, – пел бы я как, господи!

Бабушка, вздыхая, говорила:

– Будет тебе, Яша, сердце надрывать! А ты бы, Ванятка, поплясал...

Они не всегда исполняли просьбу её сразу, но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, с силою отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное и ухарски кричал:

– Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!

Охорашиваясь, одёргивая жёлтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щёки краснели и, сконфуженно улыбаясь, он просил:

– Только почаще, Яков Васильич!

Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкапу дребезжала

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
посуда, а среди кухни огнём пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая всё вокруг блеском шёлка, а шёлк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.

Цыганок плясал неумоимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдёт плясом по улице, по городу, неизвестно куда...

– Режь поперёк! – кричал дядя Яков, притопывая.

И пронзительно свистел и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки:

Эхма! Кабы не было мне жалко лаптей,
Убежал бы от жены и детей!

Людей за столом подёргивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало; бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородою плечо моё, сказал прямо в ухо, обращаясь словно к взрослому:

– Отца бы твоего, Лексей Максимыч, сюда, – он бы другой огонь зажёл! Радостный был муж, утешный. Ты его помнишь ли?

– Нет.

– Ну? Бывало он да бабушка, – стой-ко, погоди!

Он поднялся на ноги, высокий, измождённый, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить её необычно густым голосом:

– Акулина Ивановна, сделай милость, пройдишь разок! Как, бывало, с Максимом Савватеевым хаживала. Утешь!

– Что ты, свет, что ты, сударь Григорий Иваныч? – посмеиваясь и поёживаясь, говорила бабушка. – Куда уж мне плясать? Людей смешить только...

Но все стали просить её, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжёлую голову, и пошла по кухне, вскрикивая:

– А смейтесь, ино, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!

Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее; Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошёл вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль тёмными глазами. Мне она показалась смешной, я фыркнул; мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно.

– Не стучи, Иван! – сказал мастер, усмехаясь; Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгенья, выгнув кадык, запела низким, приятным голосом:

Всю неделю, до субботы,
Плела девка кружева,
Истомилась работой, –
Эх, просто чуть жива!

Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идёт тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, всё её большое тело колеблется нерешительно, ноги шупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй, приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь всё веселее, – и вдруг её сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше ростом, и уже нельзя было глаз отвести от неё – так буйно красива и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности!

А нянька Евгенья гудела, как труба:

В воскресенье от обедни
До полуночи плясала.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma

Ушла с улицы последней,
Жаль – праздника мало!

Кончив плясать, бабушка села на своё место к самовару; все хвалили её, а она, поправляя волосы, говорила:

– А вы полноте-ка! Не видали вы настоящих-то плясуний. А вот у нас в Балахне была девка одна, – уж и не помню чья, как звали, – так иные, глядя на её пляску, даже плакали в радости! Глядишь, бывало, на неё, – вот тебе и праздник, и боле ничего не надо! Завидовала я ей, грешница!

– Певцы да плясуны – первые люди на миру! – строго сказала нянька Евгенья и начала петь что-то про царя Давида, а дядя Яков, обняв Цыганка, говорил ему:

– Тебе бы в трактирах плясать, – с ума свёл бы ты людей!..

– Мне голос иметь хочется! – жаловался Цыганок. – Ежели бы голос бог дал, десять лет я бы попел, а после – хоть в монахи!

Все пили водку, особенно много – Григорий. Наливая ему стакан за стаканом, бабушка предупреждала:

– Гляди, Гриша, вовсе ослепнешь!

Он отвечал солидно:

– Пускай! Мне глаза больше не надобны, – всё видел я...

Пил он не пьянея, но становился всё более разговорчивым и почти всегда говорил мне про отца:

– Большого сердца был муж, дружок мой, Максим Савватеич...

Бабушка вздыхала, поддакивая:

– Да, господне дитя...

Всё было страшно интересно, всё держало меня в напряжении, и от всего просачивалась в сердце какая-то тихая, неутомляющая грусть. И грусть и радость жили в людях рядом, нераздельно почти, заменяя одна другую с неуловимой, непонятной быстротой.

Однажды дядя Яков, не очень пьяный, начал рвать на себе рубаху, яростно дёргать себя за кудри, за редкие белесые усы, за нос и отвисшую губу.

– Что это такое, что? – выл он, обливаясь слезами. – Зачем это?

Бил себя по щекам, по лбу, в грудь и рыдал:

– Негодяй и подлец, разбитая душа!

Григорий рычал:

– Ага-а! То-то вот!..

А бабушка, тоже нетрезвая, уговаривала сына, ловя его руки:

– Полно, яша, господь знает, чему учит!

Выпивши, она становилась ещё лучше: тёмные её глаза, улыбаясь, ишливали на всех греющий душу свет, и, обмахивая платком разгоревшееся лицо, она певуче говорила:

– Господи, господи! Как хорошо всё! Нет, вы, глядите, как хорошо-то всё!

Это был крик её сердца, лозунг всей жизни.

Меня очень поразили слёзы и крики беззаботного дяди. Я спросил бабушку, отчего он плакал и ругал и бил себя.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
– Всё бы тебе знать! – неохотно, против обыкновения, сказала она. – Погоди, рано тебе торкаться в эти дела...

Это ещё более возбудило моё любопытство. Я пошёл в мастерскую и привязался к Ивану, но и он не хотел ответить мне, смеялся тихонько, искоса поглядывая на мастера, и, выталкивая меня из мастерской, кричал:

– Отстань, отойди! Вот я тебя в котёл спущу, выкрашу!

Мастер, стоя перед широкой низенькой печью, со вмазанными в неё тремя котлами, помешивал в них длинной чёрной мешалкой и, вынимая её, смотрел, как стекают с конца цветные капли. Жарко горел огонь, отражаясь на подоле кожаного передника, пёстрого, как риза попа. Шипела в котлах окрашенная вода, едкий пар густым облаком тянулся к двери, по двору носился сухой позёмок.

Мастер взглянул на меня из-под очков мутными, красными глазами и грубо сказал Ивану:

– Дров! Али не видишь?

А когда Цыганок выбежал во двор, Григорий, присев на куль сандала, поманил меня к себе:

– Подь сюда!

Посадил на колени и, уткнувшись тёплой, мягкой бородой в щёку мне, памятно сказал:

– Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дёргает, – понял? Тебе всё надо понимать, гляди, а то пропадёшь!

С Григорием – просто, как с бабушкой, но жутко, и кажется, что он из-под очков видит всё насквозь.

– Как забил? – говорит он не торопясь. – А так: ляжет спать с ней, накроет её одеялом с головою и тискает, бьёт. Зачем? А он поди и сам не знает.

И, не обращая внимания на Ивана, который, возвратясь с охапкой дров, сидит на корточках перед огнём, грея руки, мастер продолжает внушительно:

– Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со света сживали. Она всё скажет – она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьёт, табак нюхает. Блаженная как бы. Ты держись за неё крепко...

Он оттолкнул меня, и я вышел на двор, удручённый, напуганный. В сенях дома меня догнал Ванюшка, схватил за голову и шепнул тихонько:

– Ты не бойся его, он добрый; тыгляди прямо в глаза ему, он это любит.

Всё было странно и волновало. Я не знал другой жизни, но смутно помнил, что отец и мать жили не так: были у них другие речи, другое веселье, ходили и сидели они всегда рядом, близко. Они часто и подолгу смеялись вечерами, сидя у окна, пели громко; на улице собирались люди, глядя на них. Лица людей, поднятые вверх, смешно напоминали мне грязные тарелки после обеда. Здесь смеялись мало, и не всегда было ясно, над чем смеются. Часто кричали друг на друга, грозили чем-то один другому, тайно шептались в углах. Дети были тихи, незаметны; они прибиты к земле, как пыль дождём. Я чувствовал себя чужим в доме, и вся эта жизнь возбуждала меня десятками уколов, настраивая подозрительно, заставляя присматриваться ко всему с напряжённым вниманием.

Моя дружба с Иваном всё росла; бабушка от восхода солнца до поздней ночи была занята работой по дому, и я почти весь день вертелся около Цыганка. Он всё так же подставлял под розги руку свою, когда дедушка сёк меня, а на другой день, показывая опухшие пальцы, жаловался мне:

– Нет, это всё без толку! Тебе – не легче, а мне – гляди-ка вот! Больше я не

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru

И в следующий раз снова принимал ненужную боль.

– Ты ведь не хотел?

– Не хотел, да вот сунул... Так уж как-то, незаметно...

Вскоре я узнал про Цыганка нечто, ещё больше поднявшее мой интерес к нему и мою любовь.

Каждую пятницу Цыганок запрягал в широкие сани гнедого мерина Шарапа, любимца бабушки, хитрого озорника и сластёну, одевал короткий, до колен, полушубок, тяжёлую шапку и, туго подпоясавшись зелёным кушаком, ехал на базар покупать провизию. Иногда он не возвращался долго. Все в доме беспокоились, подходили к окнам и, протаивая дыханием лёд на стёклах, заглядывали на улицу.

– Не едет?

– Нет!

Больше всех волновалась бабушка.

– Эхма, – говорила она сыновьям и деду, – погубите вы мне человека и лошадь погубите! И как не стыдно вам, рожи бессовестные? Али мало своего? Ох, неумное племя, жадюги, – накажет вас господь!

Дедушка хмуро ворчал:

– Ну, ладно. Последний раз это...

Иногда Цыганок возвращался только к полудню; дядья, дедушка поспешно шли на двор; за ними, ожесточённо нюхая табак, медведицей двигалась бабушка, почему-то всегда неуклюжая в этот час. Выбегали дети, и начиналась весёлая разгрузка саней, полных поросятами, битой птицей, рыбой и кусками мяса всех сортов.

– Всего купил, как сказано было? – спрашивал дед, искоса острыми глазами ощупывая воз.

– Всё как надо, – весело отзывался Иван и, прыгая по двору, чтобы согреться, оглушительно хлопал рукавицами.

– Не бей голиц, за них деньги даны, – строго кричал дед. – Сдача есть?

– Нету.

Дед медленно обходил вокруг воза и говорил негромко:

– Опять что-то много ты привёз. Гляди, однако, – не без денег ли покупал? У меня чтобы не было этого.

И уходил быстро, сморщив лицо.

Дядья весело бросались к возу и, взвешивая на руках птицу, рыбу, гусиные потроха, телячьи ноги, огромные куски мяса, посвистывали, одобрительно шумели.

– Ну, ловко отобрал!

Дядя Михаил особенно восхищался: пружинисто прыгал вокруг воза, принохиваясь ко всему носом дятла, вкусно чмокая губами, сладко жмуря беспокойные глаза, сухой, похожий на отца, но выше его ростом и чёрный, как головня. Спрятав озябшие руки в рукава, он расспрашивал Цыганка:

– Тебе отец сколько дал?

– Пять целковых.

– А тут на пятнадцать. А сколько ты потратил?

– Четыре с гривной.

– Стало быть, девять гривен в кармане. Видал, Яков, как деньги растут?

Дядя Яков, стоя на морозе в одной рубашке, тихонько посмеивался, моргая в синее холодное небо.

– Ты нам, Ванька, по косушке поставь, – лениво говорит он.

Бабушка распягала коня.

– Что, дитячко? Что, котёнок? Пошалить охота? Не, побалуй, богова забава! Огромный Шарап, взмахивая густою гривой, цапал её белыми зубами за плечо, срывал шёлковую головку с волос, заглядывал в лицо её весёлым глазом и, встряхивая иней с ресниц, тихонько ржал.

– Хлебца просишь?

Она совала в зубы ему большую краюху, круто посоленную, мешком подставляла передник под морду и смотрела задумчиво, как он ест.

Цыганок, играючи тоже, как молодой конь, подскочил к ней.

– Уж так, бабаня, хорош мерин, так умён...

– Поди прочь, не верти хвостом! – крикнула бабушка, притопнув ногою. – Знаешь, что не люблю я тебя в этот день.

Она объяснила мне, что Цыганок не столько покупает на базаре, сколько ворует.

– Даст ему дед пятишницу, он на три рубля купит, а на десять украдёт, – невесело говорила она. – Любит воровать, баловник! Раз попробовал – ладно вышло, а дома посмеялись, похвалили за удачу, он и взял воровство в обычай. А дедушка смолоду бедности-горя досыта отведал – под старость жаден стал, ему деньги дороже детей кровных, он рад даровщине! А Михайло с Яковым...

Махнув рукой, она замолчала на минуту, потом, глядя в открытую табакерку, прибавила ворчливо:

– Тут, Лёня, дела-кружева, а плела их слепая баба, где уж нам узор разобрать! Вот поймут Иванку на воровстве – забьют до смерти...

И ещё, помолчав, она тихонько сказала:

– Эхе-хе! Правил у нас много, а правды нет...

На другой день я стал просить Цыганка, чтоб он не воровал больше.

– А то тебя будут бить до смерти...

– Не достигнут, – вывернусь: я ловкий, конь резвый! – сказал он, усмехаясь, но тотчас грустно нахмурился. – Ведь я знаю: воровать нехорошо и опасно. Это я так себе, от скуки. И денег я не коплю, дядя твои за неделю-то всё у меня выманят. Мне не жаль, берите! Я сыт. Он вдруг взял меня на руки, потряс тихонько.

– Лёгкий ты, тонкий, а кости крепкие, силач будешь. Ты знаешь что: учись на гитаре играть, проси дядю Якова, ей-богу! Мал ты ещё, вот незадача! Мал ты, а сердитый. Дедушку-то не любишь?

– Не знаю.

– А я всех Кашириных, кроме бабани, не люблю, пускай их демон любит!

– А меня?

– Ты – не Каширин, ты – Пешков, другая кровь, другое племя...

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
И вдруг, стиснув меня крепко, он почти застонал:

– Эх, кабы голос мне певучий, ух ты, господи! Вот ожёг бы я народ... Иди, брат, работать надо...

Он спустил меня на пол, всыпал в рот себе горсть мелких гвоздей и стал натягивать, набивать на большую квадратную доску сырое полотнище чёрной материи.

Вскоре он погиб.

Случилось это так: на дворе, у ворот, лежал, прислонён к забору, большой дубовый крест с толстым суковатым комлем. Лежал он давно. Я заметил его в первые же дни жизни в доме, – тогда он был новее и желтей, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло морёным дубом, и был он на тесном, грязном дворе лишний.

Его купил дядя Яков, чтобы поставить над могилою своей жены, и дал обет отнести крест на своих плечах до кладбища в годовщину смерти её.

Этот день наступил в субботу, в начале зимы; было морозно и ветрено, с крыш сыпался снег. Все из дома вышли на двор, дед и бабушка с тремя внучатами ещё раньше уехали на кладбище служить панихиду; меня оставили дома в наказание за какие-то грехи.

Дядья, в одинаковых чёрных полушубках, приподняли крест с земли и встали под крылья; Григорий и какой-то чужой человек, с трудом подняв тяжёлый комель, положили его на широкое плечо Цыганка; он пошатнулся, расставил ноги.

– Не сдюжишь? – спросил Григорий.

– Не знаю. Тяжело будто...

Дядя Михаил сердито закричал:

– Отворяй ворота, слепой чёрт!

А дядя Яков сказал:

– Стыдись, Ванька, мы оба жиже тебя!

Но Григорий, распахивая ворота, строго посоветовал Ивану:

– Гляди же, не перемогайся! Пошли с богом!

– Плешивая дура! – крикнул дядя Михаил с улицы.

Все, кто был на дворе, усмехнулись, заговорили громко, как будто всем понравилось, что крест унесли.

Григорий Иванович, ведя меня за руку в мастерскую, говорил:

– Может, сегодня дедушка не посечёт тебя, – ласково глядит он...

В мастерской, усадив меня на грудь приготовленной в краску шерсти и заботливо окутав ею до плеч, он, понюхивая восходивший над котлами пар, задумчиво говорил:

– Я, милый, тридцать семь лет дедушку знаю, в начале дела видел и в конце гляжу. Мы с ним раньше дружки-приятели были, вместе это дело начали, придумали. Он умный, дедушка! Вот он хозяином поставил себя, а я не сумел. Господь, однако, всех нас умнее: он только улыбнётся, а самый премудрый человек уж и в дураках мигает. Ты ещё не понимаешь, что к чему говорится, к чему делается, а надобно тебе всё понимать. Сиротское житьё трудное. Отец твой, Максим Савватеевич, козырь был, он всё понимал, – за то дедушка и не любил его, не признавал.

Было приятно слушать добрые слова, глядя, как играет в печи красный и золотой огонь, как над котлами вздымаются молочные облака пара, оседая сизым инеем на досках косой крыши, – сквозь мохнатые щели её видны голубые ленты неба. Ветер стал тише, где-то светит солнце, весь двор словно стеклянной пылью посыпан, на

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
улице взвизгивают полозья саней, голубой дым вьётся из труб дома, лёгкие тени скользят по снегу, тоже что-то рассказывая.

Длинный, костлявый Григорий, бородатый, без шапки, с большими ушами, точно добрый колдун, мешает кипящую краску и всё учит меня:

– Гляди всем прямо в глаза; собака на тебя бросится, и ей тоже, – отстанет...

Тяжёлые очки надавили ему переносье, конец носа налился синей кровью и похож на бабушкин.

– Стой-ко? – вдруг сказал он, прислушиваясь, потом прикрыл ногою дверцу печи и прыжками побежал по двору. Я тоже бросился за ним.

В кухне, среди пола, лежал Цыганок, вверх лицом; широкие полосы света из окон падали ему одна на голову, на грудь, другая – на ноги. Лоб его странно светился; брови высоко поднялись; косые глаза пристально смотрели в чёрный потолок; тёмные губы, вздрагивая, выпускали розовые пузыри; из углов губ, по щекам, на шею и на пол стекала кровь; она текла густыми ручьями из-под спины. Ноги Ивана неуклюже развалились, и видно было, что шаровары мокрые; они тяжело приклеились к половицам. Пол был чисто вымыт с дресвою. Он солнечно блестел. Ручьи крови пересекали полосы света и тянулись к порогу, очень яркие.

Цыганок не двигался, только пальцы рук, вытянутых вдоль тела, шевелились, царапаясь за пол, и блестели на солнце окрашенные ногти.

Нянька Евгенья, присев на корточки, вставляла в руку Ивана тонкую свечу; Иван не держал её, свеча падала, кисточка огня тонула в крови; нянька, подняв её, отирала концом запона и снова пыталась укрепить в беспокойных пальцах. В кухне плавал качающий шёпот; он, как ветер, толкал меня с порога, но я крепко держался за скобу двери.

– Споткнулся он, – каким-то серым голосом рассказывал дядя Яков, вздрагивая и крутя головою. Он весь был серый, измятый, глаза у него выцвели и часто мигали.

– Упал, а его и придавило, – в спину ударило. И нас бы покалечило, да мы вовремя сбросили крест.

– Вы его и задавили, – глухо сказал Григорий.

– Да, – как же...

– Вы!

Кровь всё текла, под порогом она уже собралась в лужу, потемнела и как будто поднималась вверх. Выпуская розовую пену, Цыганок мычал, как во сне, и таял, становился всё более плоским, приклеиваясь к полу, уходя в него.

– Михайло в церковь погнал на лошади за отцом, – шептал дядя Яков, – а я на извозчика навалил его да скорее сюда уж... Хорошо, что не сам я под комель-то встал, а то бы вот...

Нянька снова прикрепляла свечу к руке Цыганка, капала на ладонь ему воском и слезами.

Григорий громко и грубо сказал:

– Да ты в головах к полу прилепи, чуваша!

– И то.

– Шапку-то сними с него!

Нянька стянула с головы Ивана шапку; он тупо стукнулся затылком. Теперь голова его сбочилась, и кровь потекла обильней, но уже с одной стороны рта. Это продолжалось ужасно долго. Сначала я ждал, что Цыганок отдохнёт, поднимется, сядет на полу и сплюнув, скажет:

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Ф-фу, жарынь...

Так делал он, когда просыпался по воскресеньям, после обеда. Но он не вставал, всё таял. Солнце уже отошло от него, светлые волосы укоротились и лежали только на подоконниках. Весь он потемнел, уже не шевелил пальцами, и пена на губах исчезла. За теменем и около ушей его торчали три свечи, помахивая золотыми кисточками, освещая лохматые, досиня чёрные волосы, жёлтые зайчики дрожали на смуглых щеках, светился кончик острого носа и розовые губы.

Нянька, стоя на коленях, плакала, прищёптывая:

– Голубчик ты мой, ястребёнок утешный... Было жутко, холодно. Я залез под стол и спрятался там. Потом в кухню тяжело ввалился дед, в енотовой шубе, бабушка в салопе с хвостами на воротнике, дядя Михаил, дети и много чужих людей.

Сбросив шубу на пол, дед закричал:

– Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было лет через пяток...

На пол валилась одежда, мешая мне видеть Ивана; я вылез, попал под ноги деда. Он отшвырнул меня прочь, грозя дядьям маленьким красным кулаком:

– Волки!

И сел на скамью, упёршись в неё руками, сухо всхлипывая, говоря скрипучим голосом:

– Знаю я – он вам поперёк глоток стоял... Эх, Ванюшечка... дурачок! Что поделаешь, а? Что – говорю – поделаешь? Кони – чужие, вожжи – гнилые. Мать, невзлюбил, нас господь за последние года, а? Мать?

Распластавшись на полу, бабушка щупала руками лицо, голову, грудь Ивана, дышала в глаза ему, хватала за руки, мяла их и повалила все свечи. Потом она тяжело поднялась на ноги, чёрная вся, в чёрном блестящем платье, страшно вытаращила глаза и сказала негромко:

– Вон, окаянные!

Все, кроме деда, высыпались из кухни.

...Цыганка похоронили незаметно, непамятно.

IV

Я лежу на широкой кровати, вчетверо окутан тяжёлым одеялом, и слушаю, как бабушка молится богу, стоя на коленях, прижав одну руку к груди, другую неторопливо и нечасто крестясь.

На дворе стреляет мороз; зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные – во льду – стёкла окна, хорошо осветив доброе носатое лицо и зажигая тёмные глаза фосфорическим огнём. Шёлковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит, точно ковкая, тёмное платье шевелится, струится с плеч, расстилаясь по полу.

Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и подойдёт к постели, а я притворяюсь, что крепко уснул.

– Ведь врёшь, поди, разбойник, не спишь? – тихонько говорит она. – Не спишь, мол, голуба душа? Ну-ко, давай одеяло!

Предвкушая дальнейшее, я не могу сдержать улыбки; тогда она рычит:

– А-а, так ты над бабушкой-старухой шутки шутить затеял!

Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дёргает его к себе, что я подскакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлёпаюсь в мягкую перину, а она хохочет:

– Что, редькин сын? Съел комара?

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
Но иногда она молится очень долго, я действительно засыпаю и уже не слышу, как она ложится.

Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк; слушать их очень интересно; бабушка подробно рассказывает богу обо всём, что случилось в доме; грузно, большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит:

– Ты, господи, сам знаешь, – всякому хочется, что получше. Михайло-то старшой, ему бы в городе-то надо остаться, за реку ехать обидно ему, и место там новое, неиспытанное, что будет – неведомо. А отец – он Якова больше любит. Али хорошо – неровно-то детей любить? Упряма старик – ты бы, господи, вразумил его.

Глядя на тёмные иконы большими светящимися глазами, она советует богу своему:

– Наведи-ко ты, господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить!

Крестится, кланяется в землю, стучаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:

– Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живёт. И вспомяни, господи, Григорья, – глаза-то у него всё хуже. Слепнет – по миру пойдёт, нехорошо! Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет... О, господи, господи...

Она долго молчит, покорно опустив голову и руки, точно уснула крепко, замёрзла.

– Что еще? – вслух вспоминает она, приморщив брови. – Спаси, помилуй всех православных; меня, дуру окаянную, прости, – ты знаешь: не со зла грешу, а по глупому разуму.

И, глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворенно:

– Все ты, родимый, знаешь, все тебе, батюшка, ведомо.

Мне очень нравился бабушкин бог, такой близкий ей, и я часто просил ее:

– Расскажи про бога!

Она говорила о нём особенно: очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя; приподнимется, сядет, накинёт на простоволосую голову платок и заведет надолго, пока не заснешь:

– Сидит господь на холме, среди луга райского, на престоле синя камня яхонта, под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом; нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы николи не вянут, так и цветут неустанно, в радость угодникам божьим. А около господя ангелы летают во множестве, – как снег идёт али пчелы роятся, – али бы белые голуби летают с неба на землю да опять на небо и обо всем богу сказывают про нас, про людей. Тут и твой, и мой, и дедушкин – каждому ангел дан, господь ко всем равен. Вот твой ангел господу приносит: «Лексей дедушке язык высунул!» А господь и распорядится: «Ну, пускай старик посечёт его!» И так всё, про всех, и всем он воздаёт по делам – кому горем, кому радостью. И так все это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют ему бесперечь: «Слава тебе, господи, слава тебе!» А он, милый, только улыбается им – дескать, ладно уж!

И сама она улыбается, покачивая головою.

– Ты это видела?

– Не видала, а знаю! – отвечает она задумчиво.

Говоря о боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и кроткой, лицо её молодело, влажные глаза струили особенно теплый свет. Я брал в руки тяжёлые атласные косы, обертывал ими шею себе и, не двигаясь, чутко слушал бесконечные, никогда не надоедавшие рассказы.

– Бога видеть человеку не дано – ослепнешь; только святые глядят на него во весь глаз. А вот ангелов видела я; они показываются, когда душа чиста. Стояла я в церкви у ранней обедни, а в алтаре и ходят двое, как туманы, видно сквозь них всё, светлые, светлые, и крылья до полу, кружевные, кисейные. Ходят они кругом престола и отцу Илье помогают, старичку: он поднимет ветхие руки, богу молясь, а они локотки его поддерживают. Он очень старенький был, слепой уж, тыкался обо всё и поскорости после того успел, скончался. Я тогда, как увидела их, – обмерла от радости, сердце заныло, слезы катятся, – ох, хорошо было! Ой, Ленька, голуба душа, хорошо все у бога на небе и на земле, так хорошо...

– А у нас хорошо разве?

Осенив себя крестом, бабушка ответила:

– Слава пресвятой богородице, – все хорошо!

Это меня смущало: трудно было признать, что в доме всё хорошо; мне казалось, в нем живётся хуже и хуже. Однажды, проходя мимо двери в комнату дяди Михаила, я видел, как тетка Наталья, вся в белом, прижав руки ко груди, металась по комнате, вскрикивая негромко, но страшно:

– Господи, приברי меня, уведи меня...

Молитва ее была мне понятна, и я понимал Григория, когда он ворчал:

– Ослепну, по миру пойду, и то лучше будет...

Мне хотелось, чтобы он ослеп скорее, – я попросился бы в поводыри к нему, и ходили бы мы по миру вместе. Я уже говорил ему об этом; мастер, усмехаясь в бороду, ответил:

– Вот и ладно, и пойдём! А я буду оглашать в городе: это вот Василья Каширина, цехового старшины, внук, от дочери! Занятно будет...

Не однажды я видел под пустыми глазами тетки Натальи синие опухоли, на жёлтом лице её – вспухшие губы. Я спрашивал бабушку:

– Дядя бьет ее?

Вздыхая, она отвечала:

– Бьет тихонько, анафема проклятый? Дедушка не велит бить её, так он по ночам. Злой он, а она – кисель...

И рассказывает, воодушевляясь:

– Все-таки теперь уж не бьют так, как бивали! Ну, в зубы ударит, в ухо, за косы минуту потреплет, а ведь раньше-то часами истязали! Меня дедушка однова бил на первый день Пасхи от обедни до вечера. Побьёт – устанет, а отдохнув – опять. И вожжами н всяко.

– За что?

– Не помню уж. А вдругорядь он меня избил до полусмерти да пятеро суток есть не давал, – еле выжила тогда. А то еще...

Это удивляло меня до онемения: бабушка была вдвое крупнее деда, и не верилось, что он может одолеть её.

– Разве он сильнее тебя?

– Не сильнее, а старше! Кроме того – муж! За меня с него бог спросит, а мне заказано терпеть...

Интересно и приятно было видеть, как она оттирала пыль с икон, чистила ризы; иконы были богатые, в жемчугах, серебре и цветных камнях по венчикам; она брала ловкими руками икону, улыбаясь смотрела на неё и говорила умиленно:

– Эко милое личико!..

Перекрестясь, целовала.

– Запылилася, окоптела, – ах ты, мать всепомощная, радость неизбывная! Гляди, Леня, голуба душа, письмо какое тонкое, фигурки-то махонькие, а всякая отдельно стоит. Зовется это Двенадцать праздников, в середине же божия мать Феодоровская, предобрая. А это вот – Не рыдай мене, мати, зряще во гробе...

Иногда мне казалось, что она так же задушевно и серьезно играет в иконы, как пришибленная сестра Катерина – в куклы.

Она нередко видала чертей, во множестве и в одиночку.

– Иду как-то великим постом, ночью, мимо Рудольфова дома; ночь лунная, молосная, вдруг вижу: верхом на крыше, около трубы, сидит чёрный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой, лохматый. Нюхает да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его: «Да воскреснет бог и расточатся врази его», – говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крыши-то во двор, – расточился! Должно, скоромное варили Рудольфы в этот день, он и нюхал, радуясь...

Я смеюсь, представляя, как черт летит кувырком с крыши, и она тоже смеётся, говоря:

– Очень они любят озорство, совсем как малые дети! Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи; вдруг дверца каменки как отскочит! И посыпались оттуда они, мал мала меньше, красненькие, зелёные, черные, как тараканы. Я – к двери, – нет ходу; увязла средь бесов, всю баню забили они, повернуться нельзя, под ноги лезут, дёргают, сжали так, что и окститься не могу! Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все; кружатся, озоруют, зубёнки мышинные скалят, глазишки-то зелёные, рога чуть пробилась, шишечками торчат, хвостики поросячьи – ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь! А как воротилась в себя – свеча еле горит, корыто простыло, стиранное на пол брошено. Ах вы, думаю, раздуй вас горой!

Закрыв глаза, я вижу, как из жерла каменки, с её серых булыжников густым потоком льются мохнатые, пёстрые твари, наполняют маленькую баню, дуют на свечу, высовывают озорниково-розовые языки. Это тоже смешно, но и жутко. Бабушка, качая голову, молчит минуту и вдруг снова точно вспыхнет вся.

– А то, проклятых, видала я; это тоже ночью, зимой, вьюга была. Иду я через Дюков овраг, где, помнишь, сказывала, отца-то твоего Яков да Михайло в проруби в пруде хотели утопить? Ну, вот, иду; только скувырнулась по тропе вниз, на дно, ка-ак засвистит, загикает по оврагу! Гляжу, а на меня тройка вороных мчится, и дородный такой чёрт в красном колпаке колом торчит, правит ими, на облучок встал, руки вытянул, держит вожжи из кованых цепей. А по оврагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже все черти; свистят, кричат, колпаками машут, – да эдак-то семь троек проскакало, как пожарные, и все кони вороной масти, и все они – люди, проклятые отцами-матерями; такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бесовскую видала...

Не верить бабушке нельзя – она говорит так просто, убедительно.

Но особенно хорошо сказывала она стихи о том, как богородица ходила по мука земным, как она увещевала разбойницу «князь-барыню» Енгальчеву не бить, не грабить русских людей; стихи про Алексея божия человека, про Ивана-воина; сказки о премудрой Василисе, о Попе-козле и божьем крестнике; страшные были о Марфе Посаднице, о Бабе Усте, атамане разбойников, о Марии, грешнице египетской, о печалях матери разбойника; сказок, былей и стихов она знала бесчисленно много.

Не боясь ни людей, ни деда, ни чертей, ни всякой иной нечистой силы, она до ужаса боялась чёрных тараканов, чувствуя их даже на большом расстоянии от себя. Бывало, разбудит меня ночью и шепчет:

– Олёша, милый, таракан лезет, задави. Христа ради!

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
Сонный, я зажигал свечу и ползал по полу, отыскивая врага; это не сразу и не всегда удавалось мне.

– Нет нигде, – говорил я, а она, лёжа неподвижно, с головой закутавшись одеялом, чуть слышно просила:

– Ой, есть! Ну, поищи, прошу тебя! Тут он, я уж знаю...

Она никогда не ошибалась – я находил таракана где-нибудь далеко от кровати.

– Убил? Ну, слава богу! А тебе спасибо...

И, сбросив одеяло с головы, облегчённо вздыхала, улыбаясь.

Если я не находил насекомое, она не могла уснуть; я чувствовал, как вздрагивает её тело при малейшем шорохе в ночной, мёртвой тишине, и слышал, что она, задерживая дыхание, шепчет:

– Около порога он... под сундук пополз...

– Отчего ты боишься тараканов?

Она резонно отвечала:

– А непонятно мне – на что они? Ползают и ползают, чёрные. Господь всякой тле свою задачу задал: мокрица показывает, что в доме сырость; клоп – значит, стены грязные; вошь нападает – нездоров будет человек, – всё понятно! А эти – кто знает, какая в них сила живёт, на что они насылаются?

Однажды, когда она стояла на коленях, сердечно беседуя с богом, дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал:

– Ну, мать, посетил нас господь, – горим!

– Да что ты! – крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжело топя, бросились в темноту большой парадной комнаты.

– Евгенья, снимай иконы! Наталья, одевай ребят! – строго, крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл:

– И-и-ы...

Я выбежал в кухню; окно на двор сверкало, точно золотое; по полу текли-скользили жёлтые пятна; босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал:

– Это Мишка поджег, поджег да ушел, ага!

– Цыц, пёс, – сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал.

Сквозь иней на стёклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью её вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно; лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высываясь из них раскалёнными кривыми гвоздями. По тёмным доскам сухой крыши, быстро опутывая её, извивались золотые, красные ленты; среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба; тихий треск, шёлковый шелест бился в стёкла окна; огонь всё разрастался; мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе.

Накинув на голову тяжёлый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени, на крыльцо и обомлел, ослеплённый яркой игрою огня, оглушённый криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки: накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая:

– Купорос, дураки! Взорвет купорос...

– Григорий, держи ее! – выл дедушка. – Ой, пропала...

Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведёрную бутылку купоросного масла.

– Отец, лошадь выведи! – хрипя, кашляя, кричала она. – Снимите с плеч-то, – горю, али не видно!..

Григорий сорвал с плеч её тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатой в дверь мастерской большие комья снега; дядя прыгал около него с топором в руках, дед бежал около бабушки, бросая в неё снегом; она сунула бутылку в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила:

– Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, – наше всё дотла сгорит и ваше займётся! Рубите крышу, сено – в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, беритесь дружной, – бог вам на помощь.

Она была так же интересна, как и пожар: освещаемая огнем, который словно ловил её, чёрную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, всё видя.

На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапела, упёрлась передними ногами; дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув:

– Мать, держи!

Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала пред ним крестом; конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя.

– А ты не бойся! – басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. – Али я тебя оставляю в страхе этом? Ох ты, мышонок...

Мышонок, втрое больший её, покорно шёл за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное её лицо.

Нянька Евгенья вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала:

– Василий Васильич, Лексея нет...

– Пошла, пошла! – ответил дедушка, махая рукой, а я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня.

Крыша мастерской уже провалилась; торчали в небо тонкие жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей; внутри постройки с воем и треском взрывались зелёные, синие, красные вихри, пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся пред огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз; я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке.

– Уйди! – крикнула она. – Задавят, уйди...

На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал; грозя:

– Раздайсь!

Весело и торопливо звенели колокольчики, всё было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо:

– я кому говорю? Уйди!

Нельзя было не послушать её в этот час. Я ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за тёмной кучей людей уже не видно огня, – только медные шлемы сверкают

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax среди зимних чёрных шапок и картузов.

Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка.

– Это кто? Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, всё уже кончилось...

Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота; но и огня было жалко.

Дед вошёл, остановился у порога и спросил:

– Мать?

– Ой?

– Обожглась?

– Ничего.

Он зажёл серную спичку, осветив синим огнём своё лицо хоряка, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой.

– Умылся бы, – сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом.

Дед вздохнул:

– Милостив господь бывает до тебя, большой тебе разум дает...

И, погладив её по плечу, добавил, оскалив зубы:

– На краткое время, на час, а дает!..

Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился.

– Григория рассчитать надо – это его недосмотр! Отработал мужик, отжил! На крыльце Яшка сидит, плачет, дурак... Пошла бы ты к нему...

Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дую на пальцы, а дед, не глядя на меня, тихо спросил:

– Весь пожар видел, с начала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь... Бита, ломана... То-то же! Эх вы-и...

Согнулся и долго молчал, потом встал и, снимая нагар со свечи пальцами, снова спросил:

– Боялся ты?

– Нет.

– И нечего бояться...

Сердито сдернув с плеч рубаху, он пошёл в угол, к рукомоёйнику, и там, в темноте, топнув ногою, громко сказал:

– Пожар – глупость! За пожар кнутом на площади надо бить погорельца; он – дурак, а то – вор! Вот как надо делать, и не будет пожаров!.. Ступай спи. Чего сидишь?

Я ушел, но спать в эту ночь не удалось: только что лёг в постель – меня вышвырнул из нее нечеловеческий вой; я снова бросился в кухню; среди нее стоял дед без рубахи, со свечой в руках; свеча дрожала, он шаркал ногами по полу и, не сходя с места, хрипел:

– Мать, Яков, что это?

Я вскочил на печь, забился в угол, а в доме снова началась суетня, как на пожаре; волною бился в потолок и стены размеренный, всё более громкий, надсадный

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
вой. Ошалело бегали дед и дядя, кричала бабушка, выгоняя их куда-то; Григорий грохотал дровами, набивая их в печь, наливал воду в чугуны и ходил по кухне, качая головою, точно астраханский верблюд.

– Да ты затопи сначала печь-то! – командовала бабушка.

Он бросился за лучиной, нащупал мою ногу и беспокойно крикнул:

– Кто тут? Фу, испугал... Везде ты, где не надо...

– Что это делается?

– Тетка Наталья родит, – равнодушно сказал он, спрыгнув на пол.

Мне вспомнилось, что мать моя не кричала так, когда родила.

Поставив чугуны в огонь, Григорий влез ко мне на печь и, вынув из кармана глиняную трубку, показал мне её.

– Курить начинаю, для глаз! Бабушка советует: нюхай, а я считаю – лучше курить...

Он сидел на краю печи, свесив ноги, глядя вниз, на бедный огонь свечи; ухо и щека его были измазаны сажей, рубаха на боку изорвана, я видел его рёбра, широкие, как обручи. Одно стекло очков было разбито, почти половинка стекла вывалилась из ободка, и в дыру смотрел красный глаз, мокрый, точно рана. Набывая трубку листовым табаком, он прислушивался к стонам роженицы и бормотал бессвязно, напоминая пьяного:

– Бабушка-то обожглась-таки. Как она принимать будет? Ишь как стенает тётка! Забыли про неё; она, слышь, ещё в самом начале пожара корчиться стала – с испугу... Вот оно как трудно человека родить, а баб не уважают! Ты запомни: баб надо уважать, матерей то есть..

Я дремал и просыпался от возни, хлопанья дверей, пьяных криков дяди Михаила; в уши лезли странные слова:

– Царские двери отворить надо...

– Дайте ей масла лампадного с ромом да сажи: полстакана масла, полстакана рому да ложку столовую сажи...

Дядя Михаил назойливо просил:

– Пустите меня поглядеть...

Он сидел на полу, растопырив ноги, и плевал перед собою, шлёпая ладонями по полу. На печи стало нестерпимо жарко, я слез, но когда поравнялся с дядей, он поймал меня за ногу, дёрнул, и я упал, ударившись затылком.

– Дурак, – сказал я ему.

Он вскочил на ноги, снова схватил меня и взревел, размахнувшись мною:

– Расшибу об печку...

Очнулся я в парадной комнате, в углу, под образами, на коленях у деда; глядя в потолок, он покачивал меня и говорил негромко:

– Оправдания же нам нет, некому...

Над головой его ярко горела лампада, на столе, среди комнаты, – свеча, а в окно уже смотрело мутное зимнее утро.

Дед спросил, наклонясь ко мне:

– Что болит?

Всё болело: голова у меня была мокрая, тело тяжёлое, но не хотелось говорить об

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
этом, – всё кругом было так странно: почти на всех стульях комнаты сидели чужие люди: священник в лиловом, седой старичок в очках и военном платье и ещё много; все они сидели неподвижно, как деревянные, застыв в ожидании, и слушали плеск воды, где-то близко. У косяка двери стоял дядя Яков, вытянувшись, спрятав руки за спину. Дед сказал ему:

– На-ко, отведи этого спать...

Дядя поманил меня пальцем и пошёл на цыпочках к двери бабушкиной комнаты, а когда я влез на кровать, он шепнул:

– Умерла тетка-то Наталья...

Это не удивило меня – она уже давно жила невидимо, не выходя в кухню, к столу.

– А где бабушка?

– Там, – ответил дядя, махнув рукою, и ушел всё так же на пальцах босых ног.

Я лежал на кровати, оглядываясь. К стеклам окна прижались чьи-то волосатые, седые, слепые лица; в углу, над сундуком, висит платье бабушки, – я это знал, – но теперь казалось, что там притаился кто-то живой и ждет. Спрятав голову под подушку, я смотрел одним глазом на дверь; хотелось выскочить из перины и бежать. Было жарко, душил густой тяжёлый запах, напоминая, как умирал Цыганок и по полу растекались ручьи крови; в голове или сердце росла какая-то опухоль; всё, что я видел в этом доме, тянулось сквозь меня, как зимний обоз по улице, и давило, уничтожало...

Дверь очень медленно открылась, в комнату вползла бабушка, притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиной и, протянув руки к синему огоньку неугасимой лампы, тихо, по-детски жалобно, сказала:

– Рученьки мои, рученьки больно...

У

К весне дядя разделались; Яков остался в городе, Михаил уехал за реку, а дед купил себе большой интересный дом на Полевой улице, с кабаком в нижнем каменном этаже, с маленькой уютной комнаткой на чердаке и садом, который опускался в овраг, густо ошетилившийся голыми прутьями ивняка.

– Розог-то! – сказал дед, весело подмигнув мне когда, осматривая сад, я шел с ним по мягким, протаявшим дорожкам. – Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они годятся...

Весь дом был тесно набит квартирантами; только в верхнем этаже дед оставил большую комнату для себя и приёма гостей, а бабушка поселилась со мною на чердаке. Окно его выходило на улицу, и, перегнувшись через подоконник, можно было видеть, как вечерами и по праздникам из кабака вылезают пьяные, шатаясь, идут по улице, орут и падают. Иногда их выкидывали на дорогу, словно мешки, а они снова ломались в дверь кабака; она хлопала, дребезжала, взвизгивал блок, начиналась драка, – смотреть на всё это сверху было очень занятно. Дед с утра уезжал в мастерские сыновей, помогая им устраиваться; он возвращался вечером усталый, угнетенный, сердитый.

Бабушка стряпала, шила, копалась в огороде и в саду, вертелась целый день, точно огромный кубарь, подгоняемый невидимой плёткой, нюхала табачок, чихала смачно и говорила, отирая потное лицо:

– Здравствуй, мир честной, во веки веков! Ну, вот, Олёша, голуба душа, и зажили мы тихо-о! Слава те, царица небесная, уж так-то ли хорошо стало всё!

А мне не казалось, что мы живем тихо; с утра до позднего вечера на дворе и в доме суматошно бегали квартирантки, то и дело являлись соседки, все куда-то торопились и, всегда опаздывая, охали, всё готовились к чему-то и звали:

– Акулина Ивановна!

Всем улыбаясь одинаково ласково, ко всем мягко внимательная, Акулина Ивановна

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
заправляла большим пальцем табак в ноздри, аккуратно вытирала нос и палец красным клетчатым платком и говорила:

– Против вошей, сударыня моя, надо чаще в бане мыться, мятным паром надобно париться; а коли вошь подкожная – берите гусяного сала, чистейшего, столовую ложку, чайную сулемы, три капли веских ртути, разотрите всё это семь раз на блюде черепочком фаянсовым и мажьте! Ежели деревянной ложкой али костью будете тереть – ртуть пропадет; меди, серебра не допускайте, – вредно!

Иногда она задумчиво советовала:

– Вы, матушка, в Печёры, к Асафу-схимнику сходите, – не умею я ответить вам.

Она служила повитухой, разбирала семейные ссоры и споры, лечила детей, сказывала наизусть «Сон богородицы», чтобы женщины заучивали его «на счастье», давала хозяйственные советы:

– Огурец сам скажет, когда его солить пора; ежели он перестал землей и всякими чужими запахами пахнуть, тут вы его и берите. Квас нужно обидеть, чтобы ядрён был, разъярился; квас сладкого не любит, так вы его изюмцем заправьте, а то сахару бросьте, золотник на ведро. Варенцы делают разно: есть дунайский вкус и гишпанский, а то еще – кавказский...

Я весь день вертелся около неё в саду, на дворе, ходил к соседкам, где она часами пила чай, непрерывно рассказывая всякие истории; я как бы прирос к ней и не помню, чтоб в эту пору жизни видел что-либо иное, кроме неугомонной, неустанно доброй старухи.

Иногда, на краткое время, являлась откуда-то мать; гордая, строгая, она смотрела на всё холодными серыми глазами, как зимнее солнце, и быстро исчезала, не оставляя воспоминаний о себе.

Однажды я спросил бабушку:

– Ты – колдунья?

– Ну, вот еще выдумал! – усмехнулась она и тотчас же задумчиво прибавила: – Где уж мне: колдовство – наука трудная. А я вот и грамоты не знаю – ни аза; дедушка-то вон какой грамотей едучий, а меня не умудрила богородица.

И открывала предо мною ещё кусок своей жизни:

– Я ведь тоже сиротой росла, матушка моя бобылка была, увечный человек; ещё в девушках её барин напугал. Она ночью со страха выкинулась из окна да бок себе и перебила, плечо ушибла тоже, с того у неё рука правая, самонужная, отсохла, а была она, матушка, знатная кружевница. Ну, стала она барам не надобна, и дали они ей вольную, – живи-де, как сама знаешь, – а как без руки-то жить? Вот она и пошла по миру, за милостью к людям, а в та пора люди-то богаче жили, добрее были, – славные балахонские плотники да кружевницы, – всё напоказ народ! Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой-осенью по городу, а как Гаврило-архангел мечом взмахнёт, зиму отгонит, весна землю обьет, – так мы подальше, куда глаза поведут. В Муроме бывали, и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по тихой Оке. Весной-то да летом хорошо по земле ходить, земля ласковая, трава бархатная; пресвятая богородица цветами осыпала поля, тут тебе радость, тут ли сердцу простор! А матушка-то, бывало, прикроет синие глаза да как заведёт песню на великую высоту, – голосок у ней не силен был, а звонок, – и всё кругом будто задремлет, не шелохнется, слушает её. Хорошо было Христа ради жить! А как минуло мне девять лет, зазорно стало матушке по миру водить меня, застыдилась она и осела на Балахне; кувыркается по улицам из дома в дом, а на праздниках – по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести, тороплюсь-учусь, хочется скорее помочь матушке-то; бывало, не удаётся чего – слезы лью. В два года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу вошла: чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам; ну-ка, Акуля, встряхни коклюшки! А я и рада, мне праздник! Конечно, не мое мастерство, а матушкин указ. Она хоть и об одной руке, сама-то не работница, так ведь показать умела. А хороший указчик дороже десяти работников. Ну, тут загордилась я: ты, мол, матушка, бросай по миру собирать, теперь я тебя одна-сама прокормлю! А она мне: «Молчи-ка знай, это тебе на приданое копится». Тут вскоре и дедушка

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
насунулся, заметный парень был: двадцать два года, а уж водолив! Высмотрела меня
мать его, видит: работница я, нищего человека дочь, значит смирной буду, н-ну... А
была она калашница и злой души баба, не тем будь помянута... Эхма, что нам про
злых вспоминать? Господь и сам их видит; он их видит, а беси любят.

И она смеётся сердечным смешком, нос ее дрожит уморительно, а глаза, задумчиво
светясь, ласкают меня, говоря обо всем еще понятнее, чем слова.

Помню, был тихий вечер; мы с бабушкой пили чай в комнате деда; он был нездоров,
сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем, и, ежеминутно
отирая обильный пот, дышал часто, хрипло. Зелёные глаза его помутнели, лицо
опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые уши. Когда он
протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож
на себя.

– Что мне сахару не даешь? – капризным тоном балованного ребенка спрашивал он
бабушку. Она отвечала ласково, но твердо:

– С мёдом пей, это тебе лучше!

Задыхаясь, крякая, он быстро глотал горячий чай и говорил:

– Ты гляди, не помереть бы мне!

– Не бойся, догляжу.

– То-то! Теперь помереть – это будет как бы вовсе и не жил, – всё прахом пойдет!

– А ты не говори, лежи немо!

С минуту он молчал, закрыв глаза, почмокивая тёмными губами, и вдруг, точно
уколотый, встряхивался, соображал вслух:

– Яшку с Мишкой женить надобно как можно скорей; может, жёны да новые дети
попридержат их – а?

И вспоминал, у кого в городе есть подходящие невесты. Бабушка помалкивала,
выпивая чашку за чашкой; я сидел у окна, глядя, как рдеет над городом вечерняя
заря и красно сверкают стёкла в окнах домов, – дедушка запретил мне гулять по
двору и саду за какую-то провинность.

В саду, вокруг берез, гудя, летали жуки, бондарь работал на соседнем дворе,
где-то близко точили ножи; за садом, в овраге, шумно возились ребятишки, путаясь
среди густых кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце.

Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлёпнул ею по ладони и
бодро позвал меня:

– Ну-ка, ты, пермяк, солёны уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь
фигуру? Это – аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это – что?

– Буки.

– Попал! Это?

– Веди.

– Врешь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть, – это что?

– Добро.

– Попал! Это?

– Глаголь.

– Верно! А это?

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– Аз.

Вступилась бабушка:

– Лежал бы ты, отец, смирно..

– Стой, молчи! Это мне в пору, а то меня мысли одолевают. Валяй, Лексей!

Он обнял меня за шею горячей, влажной рукою и через плечо моё тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом, потом и печеным луком, я почти задышался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне:

– Земля! Люди!

Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь» – на сутулого Григория, «я» – на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд и вразбивку; он заразил меня своей горячей яростью, я вспотел и кричал во всё горло. Это смешило его; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел:

– Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орешь, чего?

– Это вы кричите..

Мне весело было смотреть на него и на бабушку: она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щёки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря:

– Да будет вам надрываться-то!..

Дед объяснял мне дружески:

– Я кричу, потому что я нездоровый, а ты чего?

И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою:

– А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету; память, слава богу, лошадиная! Вали дальше, курнос!

Наконец он шутливо столкнул меня с кровати.

– Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак..

Когда я протянул руку за книжкой, он снова привлёк меня к себе и сказал угрюмо:

– Бросила тебя мать-то поверх земли, брат..

Бабушка встрепенулась:

– Ай, отец, почто ты говоришь эдак?..

– Не сказал бы – горе нудит.. Эх. какая девка заплуталась..

Он резко оттолкнул меня.

– Иди гуляй! На улицу не смей, а по двору да в саду..

Мне именно и нужно было в сад: как только я появлялся в нём, на горке, – мальчишки из оврага начинали метать в меня камнями, а я с удовольствием отвечал им тем же.

– Бырь пришёл! – кричали они, завидя меня и поспешно вооружаясь. – Лупи его!

Я не знал, что такое «бырь», и прозвище не обижало меня, но было приятно отбиваться одному против многих, приятно видеть, когда метко брошенный тобою камень заставляет врага бежать, прятаться в кусты. Велись эти сражения

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
беззлобно, кончались почти безобидно.

Грамота давалась мне легко, дедушка смотрел на меня все внимательнее и всё реже сёк, хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего: становясь взрослее и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказания, а он только ругался да замахивался на меня.

Мне подумалось, что, пожалуй, раньше-то он меня напрасно бил, и я однажды сказал ему это.

Легким толчком в подбородок он приподнял голову мою и, мигая, протянул:

– Чего-о?

И дробно засмеялся, говоря:

– Ах ты, еретик! Да как ты можешь сосчитать, сколько тебя сечь надобно! Кто может знать это, кроме меня? Сгинь, пошел!

Но тотчас же схватил меня за плечо и снова, заглянув в глаза, спросил:

– Хитер ты али простодушен, а?

– Не знаю...

– Не знаешь? Ну, так я тебе скажу: будь хитер, это лучше, а простодушность – та же глупость, понял? Баран простодушен. Запомни! Айда, гуляй...

Вскоре я уже читал по складам Псалтырь; обыкновенно этим занимались после вечернего чая, и каждый раз я должен был прочитать псалом.

– Буки-люди-аз-ла-бла; живе-те-иже-же блаже; наш-ер-блажен, – выговаривал я, водя указкой по странице, и от скуки спрашивал:

– Блажен муж, – это дядя Яков?

– Вот я тресну тебя по затылку, ты и поймешь, кто блажен муж! – сердито фыркая, говорил дед, но я чувствовал, что он сердится только по привычке, для порядка.

И почти никогда не ошибался: через минуту дед, видимо, забыв обо мне, ворчал:

– Н-да, по игре да песням он – царь Давид, а по делам – Авессалом ядовит! Песнотворец, словотёр, балагур... Эх вы-и! «Скакаше, играя веселыми ногами», а далеко доскачете? Вот – далеко ли?

Я переставал читать, прислушиваясь, поглядывая в его хмурое, озабоченное лицо; глаза его, прищурясь, смотрели куда-то через меня, в них светилось грустное, тёплое чувство, и я уже знал, что сейчас обычная суровость деда тает в нём. Он дробно стучал тонкими пальцами по столу, блестели окрашенные ногти, шевелились золотые брови.

– Дедушка!

– Ась?

– Расскажите что-нибудь.

– А ты читай, ленивый мужик! – ворчливо говорил он, точно проснувшись, протирая пальцами глаза. – Побасенки любишь, а Псалтырь не любишь...

Но я подозревал, что он и сам любит побасенки больше Псалтыря; он знал его почти весь на память, прочитывая, по обету, каждый вечер, перед сном, кафизму вслух и так, как дьячки в церкви читают часослов.

Я усердно просил его, и старик, становясь все мягче, уступал мне.

– Ну, ин ладно! Псалтырь навсегда с тобой останется, а мне скоро к богу на суд

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
идти...

Отвалившись на вышитую шерстями спинку старинного кресла и всё плотнее прижимаясь к ней, вскинув голову, глядя в потолок, он тихо и задумчиво рассказывал про старину, про своего отца: однажды приехали в Балахну разбойники грабить купца Заева, дедов отец бросился на колокольню бить набат, а разбойники настигли его, порубили саблями и сбросили вниз из-под колоколов.

– Я о ту пору мал ребенок был, дела этого не видел, не помню; помнить себя я начал от француза, в двенадцатом году, мне как раз двенадцать лет минуло. Пригнали тогда в Балахну нашу десятка три пленников; все народ сухонькой, мелкой; одеты кто в чем, хуже нищей братии, дрожат, а которые и поморожены, стоять не в силе. Мужики хотели было насмерть перебить их, да конвой не дал. гарнизонные вступились, – разогнали мужиков по дворам. А после ничего, привыкли все; французы эти – народ ловкой, догадливый; довольно даже весёлые – песни, бывало, поют. Из Нижнего баре приезжали на тройках глядеть пленных; приедут и одни ругают, кулаками французам грозят, бивали даже; другие – разговаривают мило на ихнем языке, денег дают и всякой хурды-мурды теплой. А один барин-старичок закрыл лицо руками и заплакал: вконец – говорит – погубил француза злодей Бонапарт! Вот, видишь, как: русский был, и даже барин, а добрый: чужой народ пожалел...

С минуту он молчит, закрыв глаза, приглаживая ладонями волоса, потом продолжает, будя прошлое с осторожностью.

– Зима, метель метет по улице, мороз избы жмет, а они, французы, бегут, бывало, под окошко наше, к матери, – она калачи пекла да продавала, – стучат в стекло, кричат, прыгают, горячих калачей просят. Мать в избу-то не пускала их, а в окно сунет калач, так француз схватит да за пазуху его, с пылу, горячий – прямо к телу, к сердцу; уж как они терпели это – нельзя понять! Многие поумирали от холода, они – люди тёплой стороны, мороз им непривычен. У нас в бане, на огороде, двое жили, офицер с денщиком Мироном; офицер был длинный, худущий, кости да кожа, в салопе бабьем ходил, так салоп по колени ему. Очень ласков был и пьяница; мать моя тихонько пиво варила-продавала, так он купит, напьется и песни поет. Научился по-нашему, лопочет, бывало: ваш сторона нет белый, он – чёрный, злой! Плохо говорил, а понять можно, верно это: верховые края наши неласковы, ниже-то во Волге теплей земля, а по-за Каспием будто и вовсе снегу не бывает. В это можно поверить: ни в Евангелии, ни в деяниях, ни того паче во Псалтыри про снег, про зиму не упоминается, а места жития Христова в той стороне... Вот Псалтырь кончим, начну я с тобой Евангелие читать.

Он снова молчит, точно задремал; думает о чем-то, смотрит в окно, скосив глаза, маленький и острый весь.

– Рассказывайте, – напоминаю я тихонько.

– Ну, вот, – вздрогнув, начинает он, – французы значит! Тоже люди, не хуже нас, грешных. Бывало, матери-то кричат: мадама, мадама, – это стало быть, моя дама, барыня моя, – а барыня-то из лабаза на себе мешок муки носила по пяти пудов весу. Силища была у неё не женская, до двадцати годов меня за волосья трясла очень легко, а в двадцать-то годов я сам неплох был. А денщик этот, Мирон, лошадей любил: ходит по дворам и знаками просит, дали бы ему лошадь почистить! Сначала боялись: испортит, враг; а после сами мужики стали звать его: айда, Мирон! Он усмехнётся, наклонит голову и быком идет. Рыжий был даже докрасна, носатый, толстогубый. Очень хорошо ходил за лошадьми и умел чудесно лечить их; после здесь, в Нижнем, коновалом был, да сошел с ума, и забили его пожарные до смерти. А офицер к весне чахнуть начал и в день Николы Вешнего помер тихо: сидел, задумавшись, в бане под окном да так и скончался, высунув голову на волю. Мне его жалко было, я даже поплакал тихонько о нём; нежным он был, возьмёт меня за уши и говорит ласково про что-то свое, и непонятно, а хорошо! Человечью ласку на базаре не купишь. Стал было он своим словам учить меня, да мать запретила, даже к попу водила меня, а поп высечь велел и на офицера жаловался. Тогда, брат, жили строго, тебе уж этого не испытать, за тебя другими обиды испытаны, и ты это запомни! Вот я, примерно, я такое испытал...

Стемнело. В сумраке дед странно увеличился; глаза его светятся, точно у кота. Обо всем он говорит негромко, осторожно, задумчиво, а про себя – горячо, быстро и хвалебно. Мне не нравится, когда он говорит о себе, не нравятся его постоянные

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiумах
приказы:

– Запомни! Ты это запомни!

Многое из того, что он рассказывал, не хотелось помнить, но оно и без приказаний деда насильно вторгалось в память болезненной занозой. Он никогда не рассказывал сказок, а всё только бывалое, и я заметил, что он не любит вопросов; поэтому я настойчиво расспрашивал его:

– А кто лучше: французы или русские?

– Ну, как это знать? Я ведь не видал, каково французы у себя дома живут, – сердито ворчит он и добавляет:

– В своей норе и хорёк хорош...

– А русские хорошие?

– Со всячинкой. При помещиках лучше были; кованый был народ. А теперь вот все на воле – ни хлеба, ни соли! Баре, конечно, немилостивы, зато у них разума больше накоплено; не про всех это скажешь, но коли барин хорош, так уж залюбуешься! А иной и барин, да дурак, как мешок, – что в него сунут, то и несёт. Скорлупы у нас много; взглянешь – человек, а узнаешь – скорлупа одна, ядра-то нет, съедено. Надо бы нас учить, ум точить, а точила тоже нет настоящего...

– Русские сильные?

– Есть силачи, да не в силе дело – в ловкости; силы сколько ни имей, а лошадь всё сильней.

– А зачем французы нас воевали?

– Ну, война – дело царское, нам это недоступно понять!

Но на мой вопрос, кто таков был Бонапарт, дед памятно ответил:

– Был он лихой человек, хотел весь мир повоевать, и чтобы после того все одинаково жили, ни господ, ни чиновников не надо, а просто: живи без сословия! Имена только разные, а права одни для всех. И вера одна. Конечно, это глупость: только раков нельзя различить, а рыба – вся разная: осётр сому не товарищ, стерлядь селедке не подруга. Бонапарты эти и у нас бывали – Разин Степан Тимофеев, Пугач Емельян Иванов; я те про них после скажу...

Иногда он долго и молча разглядывал меня, округлив глаза, как будто впервые заметив. Это было неприятно.

И никогда не говорил со мною об отце моем, о матери.

Нередко на эти беседы приходила бабушка, тихо садилась в уголок, долго сидела там молча, невидная, и вдруг спрашивала мягко обнимающим голосом:

– А помнишь, отец, как хорошо было. когда мы с тобой в Муром на богомолье ходили? В каком бишь это году?..

Подумав, дед обстоятельно отвечал:

– Точно не скажу, а было это до холеры, в год, когда олончан ловили по лесам.

– А верно! Ещё боялись мы их...

– То-то.

Я спрашивал: кто такие олончане и отчего они бегали по лесам, – дед не очень охотно объяснял:

– Олончане – просто мужики, а бегали из казны, с заводов, от работы.

– А как их ловили?

– Ну, как? Как мальчишки играют: одни – бегут, другие – ловят, ищут. Поймают, плетями бьют, кнутом; ноздри рвали тоже, клейма на лоб ставили для отметки, что наказан.

– За что?

– За спрос. Это – дела неясные, и кто виноват: тот ли, кто бежит, али тот, кто ловит, – нам не понять...

– А помнишь, отец, – снова говорит бабушка, – как после большого пожара... Любя во всём точность, дед строго спрашивает:

– Которого большого?

Уходя в прошлое, они забывали обо мне. Голоса и речи их звучат негромко и так ладно, что иногда кажется, точно они песню поют, невеселую песню о болезнях, пожарах, избиении людей, о нечаянных смертях и ловких мошенничествах, о юродивых Христа ради, о сердитых господах.

– Сколько прожито, сколько видано! – тихонько бормотал дед.

– Али плохо жили? – говорила бабушка. – Ты вспомни-ка, сколь хороша началась весна после того, как я Варю родила!

– Это – в сорок восьмом году, в самый венгерский поход: кума-то Тихона на другой день после крестин и погнали...

– И пропал, – вздыхает бабушка.

– И пропал, да! С того года божья благостыня, как вода на плот, в дом нам потекла. Эх, Варвара...

– А ты полно, отец...

Он сердился, хмурился.

– Чего полно? Не удались дети-то, с коей стороны ни взгляни на них. Куда сок-сила наша пошла? Мы с тобой думали – в лукошко кладём, а господь-от вложил в руки нам худое решето...

Он вскрикивал и, точно обожженный, бегал по комнате, болезненно побрякивая, ругая детей, грозя бабушке маленьким сухим кулаком.

– А все ты потакала им, татям, потатчица! Ты, ведьма!

В горестном возбуждении доходя до слезливого воя, совался в угол, к образам, бил с размаху в сухую, гулкую грудь:

– Господи, али я грешней других? За что-о?

И весь дрожал, обиженно и злобно сверкая мокрыми, в слезах, глазами.

Бабушка, сидя в темноте, молча крестилась, потом, осторожно подойдя к нему, уговаривала:

– Ну, что уж ты растосковался так? Господь знает, что делает. У многих ли дети лучше наших-то? Везде, отец, одно и то же – споры, да распри, да томаша. Все отцы-матери грехи свои слезами омывают, не ты один...

Иногда эти речи успокаивали его, он молча, устало валился в постель, а мы с бабушкой тихонько уходили к себе на чердак.

Но однажды, когда она подошла к нему с ласковой речью, он быстро повернулся и с размаху хряско ударил её кулаком в лицо. Бабушка отшатнулась, покачалась на ногах, приложив руку к губам, окрепла и сказала негромко, спокойно:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Эх, дурак...

И плюнула кровью под ноги ему, а он дважды протяжно взвыл, подняв обе руки:

– Уйди, убью!

– Дурак, – повторила бабушка, отходя от двери; дед бросился за нею, но она, не торопясь, перешагнула порог и захлопнула дверь пред лицом его.

– Старая шкура, – шипел дед, багровый, как уголь, держась за косяк, царапая его пальцами.

Я сидел на лежанке ни жив ни мёртв, не веря тому, что видел: впервые при мне он ударил бабушку, и это было угнетающе гадко, открывало что-то новое в нём – такое, с чем нельзя было примириться и что как будто раздавило меня. А он всё стоял, вцепившись в косяк, и, точно пеплом покрываясь, серел, съеживался. Вдруг вышел на середину комнаты, встал на колени и, не устояв, ткнулся вперед, коснувшись рукою пола, но тотчас выпрямился, ударил себя руками в грудь:

– Ну, господи...

Я съехал с тёплых изразцов лежанки, как по льду, бросился вон; наверху бабушка, расхаживая по комнате, полоскала рот.

– Тебе больно?

Она отошла в угол, выплюнула воду в помойное ведро и спокойно ответила:

– Ничего, зубы целы, губу разбил только.

– За что он?

Выглянув в окно на улицу, она сказала:

– Сердится, трудно ему, старому, неудачи всё... Ты ложись с богом, не думай про это...

Я спросил её еще о чем-то, но она необычно строго крикнула:

– Кому я говорю – ложись? Неслух какой...

Села у окна и, посасывая губу, стала часто сплёвывать в платок. Раздеваясь, я смотрел на неё: в синем квадрате окна над черной её головою сверкали звёзды. На улице было тихо, в комнате – темно.

Когда я лёг, она подошла и, тихонько погладив голову мою, сказала:

– Спи спокойно, а я к нему спущусь... Ты меня не больно жалея, голуба душа, я ведь тоже поди-ка и сама виновата... Спи!

Поцеловав меня, она ушла, а мне стало нестерпимо грустно, я выскочил из широкой, мягкой и жаркой кровати, подошёл к окну и, глядя вниз на пустую улицу, окаменел в невыносимой тоске.

VI

Снова началось что-то кошмарное. Однажды вечером, когда, напившись чаю, мы с дедом сели за Псалтырь, а бабушка начала мыть посуду, в комнату ворвался дядя Яков, растрёпанный, как всегда, похожий на изработанную метлу. Не здоровавшись, бросив картуз куда-то в угол, он скороговоркой начал, встряхиваясь, размахивая руками:

– Тятенька, Мишка буянит неестественно совсем! Обедал у меня, напился и начал безобразное безумие показывать: посуду перебил, изорвал в клочья готовый заказ – шерстяное платье, окна выбил, меня обидел, Григория. Сюда идет, грозит: отцу, кричит, бороду выдеру, убью! Вы смотрите...

Дед, упираясь руками в стол, медленно поднялся на ноги, лицо его сморщилось, сошло к носу; стало жутко похоже на топор.

– Слышишь, мать? – взвизгнул он. – Каково, а? Убить отца идет, чу, сын родной! А пора! Пора, ребята...

Прошёлся по комнате, расправляя плечи, подошёл к двери, резко закинул тяжёлый крюк в пробой и обратился к Якову:

– Это вы всё хотите Варварино приданое сцапать? Натё-ка!

Он сунул кукиш под нос дяде; тот обиженно отскочил.

– Тятенька, я-то при чем?

– Ты? Знаю я тебя!

Бабушка молчала, торопливо убирая чашки в шкаф.

– Я же защитить вас приехал...

– Ну? – насмешливо воскликнул дед. – Это хорошо! Спасибо, сынок! Мать, дай-кося лисе этой чего-нибудь в руку – кочергу, хоть, что ли, утюг! А ты, Яков Васильев, как вломится брат – бей его в мою голову!

Дядя сунул руки в карманы и отошёл в угол.

– Коли вы мне не верите...

– Верю? – крикнул дед, топнув ногой – Нет, всякому зверю поверю – собаке, ежу, – а тебе погожу! Знаю: ты его напоил, ты научил! Ну-ко, вот бей теперь! На выбор бей: его, меня...

Бабушка тихонько шепнула мне:

– Беги наверх, гляди в окошко, а когда дядя Михайло покажется на улице, соскочи сюда, скажи! Ступай, скорее...

И вот я, немножко напуганный грозящим нашествием буйного дяди, но гордый поручением, возложенным на меня, торчу в окне, осматривая улицу; широкая, она покрыта густым слоем пыли, сквозь пыль высовывается опухолью крупный булыжник. Налево она тянется далеко и, пересекая овраг, выходит на Острожную площадь, где крепко стоит на глинистой земле серое здание с четырьмя башнями по углам – старый острог; в нем есть что-то грустно красивое, внушительное. Направо, через три дома от нашего, широко развёртывается Сенная площадь, замкнутая жёлтым корпусом арестантских рот и пожарной каланчой свинцового цвета. Вокруг глазастой вышки каланчи вертится пожарный сторож, как собака на цепи. Вся площадь изрезана оврагами, в одном на дне его стоит зеленоватая жижа, правее – тухлый Дюков пруд, куда, по рассказу бабушки, дядья зимою бросили в прорубь моего отца. Почти против окна – переулочек, застроенный маленькими пёстрыми домиками; онупирается в толстую, приземистую церковь Трёх Святителей. Если смотреть прямо – видишь крыши, точно лодки, опрокинутые вверх дном в зеленых волнах садов.

Стёртые вьюгами долгих зим, омытые бесконечными дождями осени, слинявшие дома нашей улицы напудрены пылью; они жмутся друг к другу, как нищие на паперти, и тоже, вместе со мною, ждут кого-то, подозрительно вытаращив окна. Людей немного, двигаются они не спеша, подобно задумчивым тараканам на шестке печи. Душная теплота поднимается ко мне; густо слышны не любимые мною запахи пирогов с зелёным луком, с морковью; эти запахи всегда вызывают у меня уныние.

Скучно; скучно как-то особенно, почти невыносимо; грудь наполняется жидким, тёплым свинцом, он давит изнутри, распирает грудь, рёбра; мне кажется, что я вздуваюсь, как пузырь, и мне тесно в маленькой комнатке, под грубообразным потолком.

Вот он, дядя Михаил: он выглядывает из переулочка, из-за угла серого дома; нахлобучил картуз на уши, и они оттопырились, торчат. На нём рыжий пиджак и пыльные сапоги до колен, одна рука в кармане клетчатых брюк, другою он держится за бороду. Мне не видно его лица, но он стоит так, словно собрался перепрыгнуть через улицу и вцепиться в дедов дом чёрными мохнатыми руками. Нужно бежать вниз,

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
сказать, что он пришёл, но я не могу оторваться от окна и вижу, как дядя
осторожно, точно боясь запачкать пылью серые сапоги, переходит улицу, слышу, как
он отворяет дверь кабака, – дверь визжит, дребезжат стёкла.

я бегу вниз, стучусь в комнату деда.

– Кто это? – грубо спрашивает он, не открывая. – Ты? Ну? В кабак зашёл? Ладно, ступай!

– Я боюсь там...

– Потерпишь!

Снова я торчу в окне. Темнеет; пыль на улице вспухла, стала глубже, чернее; в окнах домов масляно растекаются жёлтые пятна огней; в доме напротив – музыка, множество струн поют грустно и хорошо. И в кабаке тоже поют; когда отворится дверь, на улицу вытекает усталый, надломленный голос; я знаю, что это голос кривого нищего Никитушки, бородатого старика с красным углём на месте правого глаза, а левый плотно закрыт. Хлопнет дверь и отрубит его песню, как топором.

Бабушка завидует нищему: слушая его песни, она говорит, вздыхая:

– Экой ведь благодатной, – какие стихи знает. Удача!

Иногда она зазывает его во двор; он сидит на крыльце, опираясь на палку, и поёт, рассказывает, а бабушка – рядом с ним, слушает, расспрашивает.

– Погоди-ка, да разве божия мать и в Рязани была?

И нищий говорит басом, уверенно:

– Она везде была, по всем губерниям...

Невидимо течёт по улице сонная усталость и жмёт, давит сердце, глаза. Как хорошо, если б бабушка пришла! Или хотя бы дед. Что за человек был отец мой, почему дед и дядья не любили его, а бабушка, Григорий и нянька Евгений говорят о нем так хорошо? А где мать моя?

Я всё чаще думаю о матери, ставя её в центр всех сказок и былей, рассказанных бабушкой. То, что мать не хочет жить в своей семье, всё выше поднимает её в моих мечтах; мне кажется, что она живёт на постоялом дворе при большой дороге, у разбойников, которые грабят проезжих богачей и делят награбленное с нищими. Может быть, она живёт в лесу, в пещере, конечно, с добрыми разбойниками, стряпает на них и сторожит награбленное золото. А может, ходит по земле, считая её сокровища, как ходила «князь-барыня» Енгальчева вместе с божией матерью, и богородица уговаривает мать мою, как уговаривала «князь-барыню»:

Не собрать тебе, раба жадная,
Со всея земли злата, серебра;
Не прикрыть тебе, душа алчная,
Всем добром земли наготу твою..
И мать отвечает ей словами «князь-барыни», разбойницы:

Ты прости, пресвятая богородица,
Пожалей мою душеньку грешную.
Не себя ради мир я грабила,
А ведь ради сына единого!..
И богородица, добрая, как бабушка, простит её, скажет:

Эх ты, Марьюшка, кровь татарская,
Ой ты, зла-беда христианская!
А иди, ино, по своему пути –
И стезя твоя, и слеза твоя!
Да не тронь хоть народа-то русского,
По лесам ходи да мордву зори,
По степям ходи, калмыка гони!..
Вспоминая эти сказки, я живу, как во сне, меня будит топот, возня, рёв внизу, в сенях, на дворе; высунувшись в окно, я вижу, как дед, дядя Яков и работник

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
кабатчика, смешной черемисин Мельян, выталкивают из калитки на улицу дядю
Михаила; он упирается, его бьют по рукам, в спину, шею, пинают ногами, и наконец
он стремглав летит в пыль улицы. Калитка захлопнулась, гремит цеколда и запор;
через ворота перекинули измятый картуз; стало тихо.

Полежав немного, дядя приподнимается, весь оборванный, лохматый, берёт булыжник
и мечет его в ворота; раздаётся гулкий удар, точно по дну бочки. Из кабака лезут
тёмные люди, орут, храпят, размахивают руками; из окон домов высовываются
человечьи головы – улица оживает, смеётся, кричит. Все это тоже как сказка,
любопытная, но неприятная, пугающая.

И вдруг всё сотрётся, все замолчат, исчезнут.

..У порога, на сундуке, сидит бабушка, согнувшись, не двигаясь, не дыша; я стою
перед ней и глажу её теплые, мягкие, мокрые щеки, но она, видимо, не чувствует
этого и бормочет угрюмо:

– Господи, али не хватило у тебя разума доброго на меня, на детей моих? Господи,
помилуй...

Мне кажется, что в доме на Полевой улице дед жил не более года – от весны до
весны, но и за это время дом приобрел шумную славу; почти каждое воскресенье к
нашим воротам сбегались мальчишки, радостно оповещая улицу:

– У Кашириных опять дерутся!

Обыкновенно дядя Михайло являлся вечером и всю ночь держал дом в осаде, жителей
его в трепете; иногда с ним приходило двое-трое помощников, отбойных кунавинских
мещан, они забирались из оврага в сад и хлопотали там во всю ширь пьяной
фантазии, выдёргивая кусты малины и смородины; однажды они разнесли баню,
переломав в ней всё, что можно было сломать: полки, скамьи, котлы для воды, а
печь разметали, выломали несколько половиц, сорвали дверь, раму.

Дед, тёмный и немой, стоял у окна, вслушиваясь в работу людей, разорявших его
добро; бабушка бегала где-то по двору, невидимая в темноте, и умоляюще взывала:

– Миша, что ты делаешь, Миша!

Из сада в ответ ей летела идиотски гнусная русская ругань, смысл которой, должно
быть, недоступен разуму и чувству скотов, изрыгающих ее.

За бабушкой не угнаться в эти часы, а без неё страшно; я спускаюсь в комнату
деда, но он хрипит встречу мне:

– Вон, ан-нафема!

Я бегу на чердак и оттуда через слуховое окно смотрю во тьму сада и двора,
стараясь не упустить из глаз бабушку, боюсь, что её убьют, и кричу, зову. Она не
идёт, а пьяный дядя, услышав мой голос, дико и грязно ругает мать мою.

Однажды в такой вечер дед был нездоров, лежал в постели и, перекатывая по
подушке обвязанную полотенцем голову, крикливо жалобился:

– Вот оно, чего ради жили, грешили, добро копили! Кабы не стыд, не срам, позвать
бы полицию, а завтра к губернатору... Срамно! Какие же это родители полицией детей
своих травят? Ну, значит, лежи, старик.

Он вдруг спустил ноги с кровати, шатаясь пошёл к окну, бабушка подхватила его
под руки:

– Куда ты, куда?

– Зажги огонь! – задыхаясь, шумно всасывая воздух, приказал он.

А когда бабушка зажгла свечу, он в взял подсвечник в руки и, держа его пред
собой, как солдат ружьё, закричал в окно насмешливо и громко:

– Эй, Мишка, вор ночной, бешеный пёс шелудивый!

Тотчас же вдребезги разлетелось верхнее стекло окна и на стол около бабушки упала половинка кирпича.

– Не попал! – завыл дед и засмеялся или заплакал.

Бабушка схватила его на руки, точно меня, и понесла на постель, приговаривая испуганно:

– Что ты, что ты, Христос с тобою! Ведь эдак-то – Сибирь ему; ведь разве он поймёт, в ярости, что Сибирь!..

Дед дрыгал ногами и рыдал сухо, хрипуче:

– Пускай убьёт...

За окном рычало, топало, царапало стену. Я взял кирпич со стола, побежал к окну; бабушка успела схватить меня и, швырнув в угол, зашипела:

– Ах ты, окаянный...

В другой раз дядя, вооружённый толстым колом, ломился со двора в сени дома, стоя на ступенях чёрного крыльца и разбивая дверь, а за дверью его ждали дедушка, с палкой в руках, двое постояльцев, с каким-то дрекольем, и жена кабатчика, высокая женщина, со скалкой; сзади их топталась бабушка, умоляя:

– Пустите вы меня к нему! Дайте слово сказать...

Дед стоял, выставив ногу вперёд, как мужик с рогатиной на картине «Медвежья охота»; когда бабушка подбегала к нему, он молча толкал её локтем и ногою. Все четверо стояли, страшно приготовившись; над ними на стене горел фонарь, нехорошо, судорожно освещая их головы; я смотрел на всё это с лестницы чердака, и мне хотелось увести бабушку вверх.

Дядя ломал дверь усердно и успешно, она ходуном ходила, готовая соскочить с верхней петли, – нижняя была уже отбита и противно звякала. Дед говорил соратникам своим тоже каким-то звякающим голосом:

– По рукам бейте, по ногам, пожалуйста, а по башке не надо...

Рядом с дверью в стене было маленькое окошко – только голову просунуть, дядя уже вышиб стекло из него, и оно, утыканное осколками, чернело, точно выбитый глаз.

Бабушка бросилась к нему, высунула руку на двор и, махая ею, закричала:

– Миша, Христа ради уйди! Изувечат тебя, уйди!

Он ударил её колом по руке; было видно, как, скользнув мимо окна, на руку ей упало что-то широкое, а вслед за этим и сама бабушка осела, опрокинулась на спину, успев еще крикнуть:

– Миш-ша, беги...

– А, мать? – страшно взвыл дед.

Дверь распахнулась, в чёрную дыру её вскочил дядя и тотчас, как грязь лопатой, был сброшен с крыльца.

Кабатчица отвела бабушку в комнату деда; скоро и он явился туда, угрюмо подошёл к бабушке.

– Кость цела?

– Ох, переломилась, видно, – сказала бабушка, не открывая глаз. – А с ним что сделали, с ним?

– Уймись! – строго крикнул дед. – Зверь, что ли, я? Связали, в сарае лежит.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
Водой окатил я его... Ну, зол! В кого бы это?

Бабушка застонала.

– За костоправкой я послал, – ты потерпи! – сказал дед, присаживаясь к ней на постель. – Изведут нас с тобою, мать; раньше сроку изведут!

– Отдай ты им все...

– А Варвара?

Они говорили долго; бабушка – тихо и жалобно, он – крикливо, сердито.

Потом пришла маленькая старушка, горбатая, с огромным ртом до ушей; нижняя челюсть у неё тряслась, рот был открыт, как у рыбы, и в него через верхнюю губу заглядывал острый нос. Глаз её было не видно; она едва двигала ногами, шаркая по полу клюкою, неся в руке какой-то гремющий узелок.

Мне показалось, что это пришла бабушкина смерть; я подскочил к ней и заорал во всю силу:

– Пошла вон!

Дед неосторожно схватил меня и весьма нелюбезно отнёс на чердак...

VII

Я очень рано понял, что у деда – один бог, а у бабушки – другой.

Бывало – проснётся бабушка, долго, сидя на кровати, чешет гребнем свои удивительные волосы, дёргает головою, вырывает, сцепив зубы, целые пряди длинных чёрных шелковинок и ругается шёпотом, чтоб не разбудить меня:

– А, пострели вас! Колтун вам, окаянные...

Кое-как распутав их, она быстро заплетает толстые косы, умывается наскоро, сердито фыркая, и, не смыв раздражения с большого, измятого сном лица, встаёт перед иконами, – вот тогда и начиналось настоящее утреннее омовение, сразу освежавшее всю её.

Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской божией матери, она широко, истово крестилась и шумно, горячо шептала:

– Богородица преславная, подай милости твоя на грядущий день, матушка!

Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала всё горячее и умиленнее:

– Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цвету!..

Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву её с напряженным вниманием.

– Сердечушко моё чистое, небесное! Защита моя и покров, солнышко золотое, мати господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря!

С улыбкой в тёмных глазах и как будто помолодевшая, она снова крестилась медленными движениями тяжёлой руки.

– Иисусе Христе, сыне божий, буди милостив ко мне, грешнице, матери твоя ради...

Всегда её молитва была акафистом, хвалою искренней и простодушной.

Утром она молилась недолго; нужно было ставить самовар, – прислугу дед уже не держал; если бабушка опаздывала приготовить чай к сроку, установленному им, он долго и сердито ругался.

Иногда он, проснувшись раньше бабушки, всходил на чердак и, заставая её за

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
молитвой, слушал некоторое время её шёпот, презрительно кривя тонкие, тёмные губы, а за чаем ворчал:

– Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты всё своё бормочешь, еретица! Как только терпит тебя господь!

– Он поймёт, – уверенно отвечала бабушка. – Ему что ни говори – он разберёт...

– Чуваша проклятая! Эх вы-и...

Её бог был весь день с нею, она даже животным говорила о нём. Мне было ясно, что этому богу легко и покорно подчиняется всё: люди, собаки, птицы, пчёлы и травы; он ко всему на земле был одинаково добр, одинаково близок.

Однажды балованный кот кабатчицы, хитрый сластёна и подхалим, дымчатый, золотоглазый, любимец всего двора, притащил из сада скворца; бабушка отняла измученную птицу и стала упрекать кота:

– Бога ты не боишься, злодей подлый!

Кабатчица и дворник посмеялись над этими словами, но бабушка гневно закричала на них:

Думаете – скоты бога не понимают? Всякая тварь понимает это не хуже вас, безжалостные...

Запрягая ожиревшего, унылого Шарapa, она беседовала с ним:

– Что ты скучен, богов работник, а? Старенький ты...

Конь вздыхал, мотая головой.

И всё-таки имя божие она произносила не так часто, как дед. Бабушкин бог был понятен мне и не страшен, но пред ним нельзя было лгать, стыдно. Он вызывал у меня только непобедимый стыд, и я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от этого доброго бога. и, кажется, даже не возникало желания скрывать.

Однажды кабатчица, поссорившись с дедом, изругала заодно с ним и бабушку, не принимавшую участия в ссоре, изругала злобно и даже бросила в неё морковь.

– Ну, и дура вы, сударыня моя, – спокойно сказала ей бабушка, а я жестоко обиделся и решил отомстить злодейке.

Я долго измышлял, чем бы уязвить больше эту рыжую толстую женщину с двойным подбородком и без глаз.

По наблюдениям моим над междоусобицами жителей я знал, что они, мстя друг другу за обиды, рубят хвосты кошкам, травят собак, убивают петухов и кур или, забравшись ночью в погреб врага, наливают керосин в кадки с капустой и огурцами, выпускают квас из бочек, но – всё это мне не нравилось, нужно было придумать что-нибудь более внушительное и страшное.

Я придумал: подстерег, когда кабатчица спустилась в погреб, закрыл над ней творило, запер его, сплясал на нём танец мести и, забросив ключ на крышу, стремглав прибежал в кухню, где стряпала бабушка. Она не сразу поняла мой восторг, а поняв, нашла меня, где подбает, вытащила на двор и послала на крышу за ключом. Удивлённый её отношением, я молча достал ключ и, убежав в угол двора, смотрел оттуда, как она освобождала пленную кабатчицу и как обе они, дружелюбно посмеиваясь, идут по двору.

– Я-а тебя, – погрозила мне кабатчица пухлым кулаком, но её безглазое лицо добродушно улыбалось. А бабушка взяла меня за шиворот, привела в кухню и спросила:

– Это ты зачем сделал?

– Она в тебя морковь кинула...

– Значит, это ты из-за меня? Так! Вот я тебя, брандахлыст, мышам в подпечек суну, ты и очнёшься! Какой защитник – взгляните на пузырь, а то сейчас лопнет! Вот скажу дедушке – он те кожу-то спустит! Ступай на чердак, учи книгу...

Целый день она не разговаривала со мною, а вечером, прежде чем встать на молитву, присела на постель и внушительно сказала памятные слова:

– Вот что, лёнька, голуба душа, ты закажи себе это: в дела взрослых не путайся! Взрослые – люди порченые; они богом испытаны, а ты ещё нет, и – живи детским разумом. Жди, когда господь твоего сердца коснётся, дело твоё тебе укажет, на тропу твою приведёт, – понял? А кто в чём виноват – это дело не твоё. Господу судить и наказывать. Ему, а – не нам!

Она помолчала, понюхала табаку и, прищулив правый глаз, добавила:

– Да поди-ка и сам-от господь не всегда в силе понять, где чья вина...

– Разве бог не всё знает? – спросил я, удивлённый, а она тихонько и печально ответила:

– Кабы всё-то знал, так бы многого поди люди-то не делали бы. Он, чай, батюшка, глядит-глядит с небеси-то на землю, на всех нас, да в иную минуту как восплачет, да как возрыдает: «Люди вы мои, люди, милые мои люди! Ох, как мне вас жалко!»

Она сама заплакала и, не отирая мокрых щёк, отошла в угол молиться.

С той поры её бог стал ещё ближе и понятней мне.

Дед, поучая меня, тоже говорил, что бог – существо вездесущее, всеведущее, всевидящее, добрая помощь людям во всех делах, но молился он не так, как бабушка.

Утром, перед тем как встать в угол к образам, он долго умывался, потом, аккуратно одетый, тщательно причёсывал рыжие волосы, оправлял бородку и, осмотрев себя в зеркало, одёрнув рубаху, заправив черную косынку за жилет, осторожно, точно крадучись, шёл к образам. Становился он всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу, с минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. Потом, прямой и тонкий, внушительно говорил:

– «Во имя отца и сына и святого духа!»

Мне казалось, что после этих слов в комнате наступала особенная тишина, – даже мухи жужжат осторожнее.

Он стоит, вздернув голову; брови у него приподняты, ошетились, золотистая борода торчит горизонтально; он читает молитвы твёрдо, точно отвечая урок: голос его звучит внятно и требовательно.

– «Напрасно судия придет, и коегождо деяния обнажатся...»

Не шибко бьёт себя по груди кулаком и настойчиво просит:

– «Тебе единому согреших, – отврати лице твоё от грех моих...»

Читает «Верую», отчеканивая слова; правая нога его вздрагивает, словно бесшумно притопывая в такт молитве; весь он напряжённо тянется к образам, растёт и как бы становится всё тоньше, суше, чистенький такой, аккуратный и требующий:

– «Врача родшая, уврачуй души моя многолетние страсти! Стенания от сердца приношу ти непрестанно, усердствуй, владычице!»

И громко взывает, со слезами на зелёных глазах:

– «Вера же вместо дел да вменится мне, боже мой, да не взыщеша дел, отнюдь оправдывающих мя!»

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Теперь он крестится часто, судорожно, кивает головою, точно бодаясь, голос его
взвизгивает и всхлипывает. Позднее, бывая в синагогах, я понял, что дед молился,
как еврей.

Уже самовар давно фыркает на столе, по комнате плавает горячий запах ржанных
лепёшек с творогом, – есть хочется! Бабушка хмуро прислонилась к притолоке и
вздыхает, опустив глаза в пол; в окно из сада смотрит весёлое солнце, на
деревьях жемчугами сверкает роса, утренний воздух вкусно пахнет укропом,
смородиной, зреющими яблоками, а дед всё ещё молится, качается, взвизгивает:

– «Погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен!»

Я знаю на память все молитвы утренние и все на сон грядущий, – знаю и напряжённо
слежу: не ошибётся ли дед, не пропустит ли хоть слово?

Это случалось крайне редко и всегда возбуждало у меня злорадное чувство.

Кончив молиться, дед говорил мне и бабушке:

– Здравствуйте!

Мы кланялись и наконец садились за стол. Тут я говорил деду:

– А ты сегодня «довлеет» пропустил!

– Врёшь? – беспокойно и недоверчиво спрашивает он.

– Уж пропустил! Надо: «Но та вера моя да довлеет вместо всех», а ты и не сказал
«довлеет».

– На ко вот! – восклицает он, виновато мигая глазами.

Потом он чем-нибудь горько отплатит мне за это указание, не пока, видя его
смущённым, я торжествую.

Однажды бабушка шутливо сказала:

– А скушно поди-ка богу-то слушать моление твоё, отец, – всегда ты твердишь одно
да всё то же.

– Чего-о это? – зловеще протянул он – чего ты мычишь?

– Говорю, от своей-то души ни словечка господу не подаришь ты никогда, сколько я
ни слышу!

Он побагровел, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей,
бросил и завизжал, как пила на сучке:

– Вон, старая ведьма!

Рассказывая мне о неборимой силе божией, он всегда и прежде всего подчёркивал
её жестокость: вот, согрешили люди и – потоплены, ещё согрешили и – сожжены,
разрушены города их; вот бог наказал людей голодом и мором, и всегда он – меч
над землёю, бич грешникам.

– Всяк, нарушающий непослушанием законы божии, наказан будет горем и погибелью!
– постукивая костями тонких пальцев по столу, внушал он.

Мне было трудно поверить в жестокость бога. Я подозревал, что дед нарочно
придумывает всё это, чтобы внушить мне страх не пред богом, а пред ним. И я
откровенно спрашивал его:

– Это ты говоришь, чтобы я слушался тебя?

А он так же откровенно отвечал:

– Ну, конечно! Ещё бы не слушался ты?!

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax

– А как же бабушка?

– Ты ей, старой дуре, не верь! – строго учил он. – Она смолоду глупа, она безграмотна и безумна. Я вот прикажу ей, чтобы не смела она говорить с тобой про эти великие дела! Отвечай мне: сколько есть чинов ангельских?

Я отвечал и спрашивал:

– А кто такие чиновники?

– Эк тебя мотает! – усмехался он, пряча глаза, и, пожевав губами, объяснял неохотно:

– Это бога не касаемо, чиновники, это – человеческое! Чиновник суть законед, он законы жрёт.

– Какие законы?

– Законы? Это значит – обычаи, – веселее и охотнее говорил старик, поблескивая умными, колючими глазами. – Живут люди, живут и согласятся: вот эдак – лучше всего, это мы и возьмём себе за обычай, поставим правилом, законом! Примерно: ребятишки, собираясь играть, уговариваются, как игру вести, в каком порядке. Ну, вот уговор этот и есть закон!

– А чиновники?

– А чиновник озорнику подобен, придёт и все законы порушит.

– Зачем?

– Ну, этого тебе не понять! – строго нахмурясь, говорит он и снова внушает:

– Надо всеми делами людей – господь! Люди хотят одного, а он – другого. Всё человечье – непрочное, дунет господь, – и всё во прах, в пыль!

У меня было много причин интересоваться чиновниками, и я допытывался:

– А вон дядя Яков поёт:

Светлы ангелы – божи чины,
А чиновники – холопи сатаны!
Дед приподнял ладонью бородку, сунул её в рот и закрыл глаза. Щёки у него дрожали. Я понял, что он внутренне смеётся.

– Связать бы вас с Яшкой по ноге да пустить по воде! – сказал он. – Песен этих ни ему петь, ни тебе слушать не надобно. Это – кулугурские шутки, раскольниками придумано, еретиками. И, задумавшись, устремив глаза куда-то через меня, он тихонько тянул:

– Эх вы-и...

Но, ставя бога грозно и высоко над людьми, он, как и бабушка, тоже вовлекал его во все свои дела, – и его и бесчисленное множество святых угодников. Бабушка же как будто совсем не знала угодников, кроме Николы, Юрия, Фрола и Лавра, хотя они тоже были очень добрые и близкие людям: ходили по деревням и городам, вмешиваясь в жизнь людей, обладая всеми свойствами их. Дедовы же святые были почти все мученики, они свергали идолов, спорили с римскими царями, и за это их пытали, жгли, сдирали с них кожу.

Иногда дед мечтал:

– Помог бы господь продать домишко этот, хоть с пятьюстами пользы – отслужил бы я молебен Николе Угоднику!

Бабушка, посмеиваясь, говорила мне:

– Так ему, старому дураку, Никола и станет дома продавать, – нет у него, Николы-батюшки, никакого дела лучше-то!

У меня долго хранились дедовы святцы, с разными надписями его рукою, в них, между прочим, против дня Иоакима и Анны было написано рыжими чернилами и прямыми буквами: «Избавили от беды, милостивци».

Я помню эту «беду»: заботясь о поддержке неудавшихся детей, дедушка стал заниматься ростовщичеством, начал тайно принимать вещи в заклад. Кто-то донёс на него, и однажды ночью нагрянула полиция с обыском. Была великая суета, но всё кончилось благополучно; дед молился до восхода солнца и утром при мне написал в святцах эти слова.

Перед ужином он читал со мною Псалтырь, часослов или тяжёлую книгу Ефрема Сирина, а поужинав, снова становился на молитву, и в тишине вечерней долго звучали унылые, покаянные слова:

– «Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю.. И соблюди нас от всякого мечтания.. Господи, покрый мя от человек некоторых.. Дажь ми слёзы и память смертнью..» А бабушка нередко говаривала:

– Ой, как сёдни устала я! Уж, видно, не помолясь лягу..

Дед водил меня в церковь: по субботам – ко всенощной, по праздникам – к поздней обедне. Я и во храме разделял, когда какому богу молятся: всё, что читают священник и дьячок, – это дедову богу, а певчие поют всегда бабушкину.

Я, конечно, грубо выражаю то детское различие между богами, которое, помню, тревожно раздвояло мою душу, но дедов бог вызывал у меня страх и неприязнь: он не любил никого, следил за всем строгим оком, он, прежде всего, искал и видел в человеке дурное, злое, грешное. Было ясно, что он не верит человеку, всегда ждёт покаяния и любит наказывать.

В те дни мысли и чувства о боге были главной пищей моей души, самым красивым в жизни, – все же иные впечатления только обижали меня своей жестокостью и грязью, возбуждая отвращение и грусть. Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня, – бог бабушки, такой милый друг всему живому. И, конечно, меня не мог не тревожить вопрос: как же это дед не видит доброго бога? Меня не пускали гулять на улицу, потому что она слишком возбуждала меня, я точно хмелел от её впечатлений и почти всегда становился виновником скандалов и буйств. Товарищей у меня не заводилось, соседские ребятишки относились ко мне враждебно; мне не нравилось, что они зовут меня Кашириным, а они, замечая это, тем упорнее кричали друг другу:

– Коцея Каширина внучонок вышел, глядите!

– Валяй его!

И начиналась драка.

Был я не по годам силён и в бою ловок, – это признавали сами же враги, всегда нападавшие на меня кучей. Но всё-таки улица всегда била меня, и домой я приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассечёнными губами и синяками на лице, оборванный, в пыли.

Бабушка встречала меня испуганно, соболезнуя:

– Что, редькин сын, опять дрался? Да что же это такое, а? Как я тебя начну, с руки на руку..

Мыла мне лицо, прикладывала к синякам бодягу, медные монеты или свинцовую примочку и уговаривала:

– Ну, что ты всё дерёшься? Дома смирный, а на улице ни на что не похож! Бесстыдник. Вот скажу дедушке, чтоб он не выпускал тебя..

Дедушка видел мои синяки, но никогда не ругался, только кричал и мычал:

– Опять с медалями? Ты у меня, Аника-воин, не смей на улицу бегать, слышишь!

Меня и не тянула улица, если на ней было тихо, но когда я слышал весёлый ребячий гам, то убежал со двора, не глядя на дедов запрет. Синяки и ссадины не обижали, но неизменно возмущала жестокость уличных забав, – жестокость, слишком знакомая мне, доводившая до бешенства. Я не мог терпеть, когда ребята стравливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли еврейских коз, издевались над пьяными нищими и блаженным Игошей Смерть в Кармане.

Это был высокий, сухой и копчёный человек, в тяжёлом тулупе из овчины, с жёсткими волосами на костлявом, заржавевшем лице. Он ходил по улице согнувшись, странно качаясь, и молча, упорно смотрел в землю под ноги себе. Его чугунное лицо, с маленькими грустными глазами, внушало мне боязливое почтение – думалось, что этот человек занят серьёзным делом, он чего-то ищет, и мешать ему не надобно. Мальчишки бежали за ним, лукавя камнями в сутулую спину. Он долго как бы не замечал их и не чувствовал боли ударов, но вот остановился, вскинул голову в мохнатой шапке, поправил шапку судорожным движением руки и оглядывается, словно только что проснулся.

– Игоша Смерть в Кармане! Игош, куда идешь? Гляди – смерть в кармане! – кричат мальчишки.

Он хватался рукою за карман, потом, быстро наклонясь, поднимал с земли камень, чурку, ком сухой грязи и, неуклюже размахивая длинной рукою, бормотал ругательство. Ругался он всегда одними и теми же тремя погаными словами, – в этом отношении мальчишки были неизмеримо богаче его. Иногда он гнался за ними, прихрамывая; длинный тулуп мешал ему бежать, он падал на колени, упираясь в землю чёрными руками, похожими на сухие сучки. Ребятишки садили ему в бока и спину камни, наиболее смелые подбегали вплоть и отскакивали, высыпав на голову его пригоршни пыли.

Другим и, может быть, ещё более тяжким впечатлением улицы был мастер Григорий Иванович. Он совсем ослеп и ходил по миру, высокий, благообразный, немой. Его водила под руку маленькая серая старушка; останавливаясь под окнами, она писклявым голосом тянула, всегда глядя куда-то вбок:

– Подайте, Христа ради, слепому, убогому...

А Григорий Иванович молчал. Чёрные очки его смотрели прямо в стену дома, в окно, в лицо встречного; насквозь покрашенная рука тихонько поглаживала широкую бороду, губы его были плотно сжаты. Я часто видел его, но никогда не слышал ни звука из этих сомкнутых уст, и молчание старика мучительно давило меня. Я не мог подойти к нему, никогда не подходил, а напротив, завидя его, бежал домой и говорил бабушке:

– Григорий ходит по улице!

– Ну? – беспокойно и жалостно восклицала она. – На-ко, беги, подай ему!

Я отказывался грубо и сердито. Тогда она сама шла за ворота и долго разговаривала с ним, стоя на тротуаре. Он усмехался, тряс бородой, но сам говорил мало, односложно.

Иногда бабушка, зазвав его в кухню, поила чаем, кормила. Как-то раз он спросил: где я? Бабушка позвала меня, но я убежал и спрятался в дровах. Не мог я подойти к нему – было нестерпимо стыдно пред ним, и я знал, что бабушке – тоже стыдно. Только однажды говорили мы с нею о Григории: проводив его за ворота, она шла тихонько по двору и плакала, опустив голову. Я подошел к ней, взял её руку. – Ты что же бегаешь от него? – тихо спросила она. – Он тебя любит, он хороший ведь...

– Отчего дедушка не кормит его? – спросил я.

– Дедушка-то?

Она остановилась, прижала меня к себе и почти шёпотом, пророчески сказала:

– Помяни моё слово: горестно накажет нас господь за этого человека! Накажет...

Она не ошиблась: лет через десять, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий и безумный, жалостно выпрашивая под окнами:

– Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка-то мне бы! Эх вы-и...

Прежнего от него только и осталось, что это горькое, тягучее, волнующее душу:

– Эх вы-и...

Кроме Игоши и Григория Ивановича, меня давила, изгоняя с улицы, распутная баба Ворониha. Она появлялась в праздники, огромная, растрёпанная, пьяная. Шла она какой-то особенной походкой, точно не двигая ногами, не касаясь земли, двигалась, как туча, и орала похабные песни. Все встречные прятались от неё, заходя в ворота домов, за углы, в лавки, – она точно мела улицу. Лицо у неё было почти синее, надуту, как пузырь, большие, серые глаза страшно и насмешливо вытаращены. А иногда она выла, плакала:

– Деточки мои, где вы?

Я спрашивал бабушку: что это?

– Нельзя тебе знать! – ответила она угрюмо, но всё-таки рассказала кратко: был у этой женщины муж, чиновник Воронов, захотелось ему получить другой, высокий чин, он и продал жену начальнику своему, а тот её увёз куда-то, и два года она дома не жила. А когда воротилась, дети её – мальчик и девочка – померли уже, муж проиграл казённые деньги и сидел в тюрьме. И вот с горя женщина начала пить, гулять, буянить. Каждый праздник к вечеру её забирает полиция...

Нет, дома было лучше, чем на улице. Особенно хороши были часы после обеда, когда дед уезжал в мастерскую дяди Якова, а бабушка, сидя у окна, рассказывала мне интересные сказки, истории, говорила про отца моего.

Скворцу, отнятому ею у кота, она обрезала сломанное крыло, а на место откушенной ноги ловко пристроила деревяшку и, вылечив птицу, учила её говорить. Стоит, бывало, целый час перед клеткой на косяке окна – большой такой, добрый зверь – и густым голосом твердит переимчивой, чёрной, как уголь, птице:

– Ну, проси: скворушке – кашки!

Скворец, скосив на неё круглый, живой глаз юмориста, стучит деревяшкой о тонкое дно клетки, вытягивает шею и свистит иволгой, передразнивает сойку, кукушку, старается мякнуть кошкой, подражает вою собаки, а человечья речь – не даётся ему.

– Да ты не балуй! – серьёзно говорит ему бабушка. – Ты говори: скворушке – кашки!

Чёрная обезьяна в перьях оглушительно орёт что-то похожее на слова бабушки, – старуха смеётся радостно, даёт птице просяной каши с пальца и говорит:

– Я тебя, шельму, знаю; притворяшка ты – всё можешь, всё умеешь!

И ведь выучила скворца: через некоторое время он довольно ясно просил каши, а завидя бабушку, тянул что-то похожее на – «Дра-астуй...»

Сначала он висел в комнате деда, но скоро дед изгнал его к нам, на чердак, потому что скворец выучился дразнить дедушку; дед внятно произносит слова молитв, а птица, просунув восковой жёлтый нос между палочек клетки, высвистывает:

– Тью, тью, тью-иррь, ту-иррь, ти-и-ррь, тью-уу!

Деду показалось обидным это; однажды он, прервав молитву, топнул ногой и закричал свирепо:

– Убери его, дьявола, – убью!

Много было интересного в доме, много забавного, но порою меня душила неотразимая тоска, весь я точно наливался чем-то тяжким и подолгу жил, как в глубокой тёмной яме, потеряв зрение, слух и все чувства, слепой и полумертвый...

VIII

Дед неожиданно продал дом кабатчику, купив другой, по Канатной улице; немощёная, заросшая травой, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких, пёстро окрашенных домиков.

Новый дом был нарядней, милей прежнего; его фасад покрашен тёплой и спокойной тёмно-малиновой краской; на нём ярко светились голубые ставни трёх окон и одинарная решётчатая ставня чердачного окна; крышу с левой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза и липы. На дворе и в саду было множество уютных закоулков, как будто нарочно для игры в прятки. Особенно хорош сад, небольшой, но густой, и приятно запутанный; в одном углу его стояла маленькая, точно игрушка, баня; в другом была большая довольно глубокая яма; она заросла бурьяном, а из него торчали толстые головни, остатки прежней, сгоревшей бани. Слева сад ограждала стена конюшен полковника Овсянникова, справа – постройки Бетленга; в глубине он соприкасался с усадьбой молочницы Петровны, бабы толстой, красной, шумной, похожей на колокол; её домик, осевший в землю, тёмный и ветхий, хорошо покрытый мхом, добродушно смотрел двумя окнами в поле, исковырянное глубокими оврагами, с тяжёлой синей тучей леса вдаль; по полю целый день двигались, бегали солдаты; в косых лучах осеннего солнца сверкали белые молнии штыков.

Весь дом был тесно набит невиданными мною людьми: в передней половине жил военный из татар, с маленькой, круглой женою; она с утра до вечера кричала, смеялась, играла на богато украшенной гитаре и высоким, звонким голосом пела чаще других задорную песню:

Одна любишь – не рада,
Искать другую надо!

Умей её найти.

И ждёт тебя награда,
На верном сём пути!

О-о, са-ладкая нагр-рада-а!

Военный, круглый, как шар, сидя у окна, надувал синее лицо и, весело выкатывая какие-то рыжие глаза, непрерывно курил трубку, кашлял странным, собачьим звуком:

– Вух, вух-вух-хх...

В тёплой пристройке над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков: маленький, сивый дядя Петр, немой племянник его Стёпа, гладкий, литой парень, с лицом, похожим на поднос красной меди, – и невесёлый, длинный татарин Валея, денщик. Всё это были люди новые, богатые незнакомым для меня.

Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник Хорошее Дело. Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна – в сад и на двор.

Это был худощавый, сутулый человек, с белым лицом в чёрной раздвоенной бороде, с добрыми глазами, в очках. Был он молчалив, незаметен и, когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал:

– Хорошее дело.

Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза.

– Лёнька, кричи Хорошее Дело чай пить! Вы, Хорошее Дело, что мало кушаете?

Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати; всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он, в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкий, плавил свинец. паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь, к чертежам на стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный.

Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно, видел синий огонёк спиртовой лампы на столе, тёмную фигуру; видел, как он пишет что-то в растрёпанной тетради, очки его блестят холодно и синевато, как льдины; колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство.

Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу, но меня как будто не видел, и это очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нём.

Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет, но он был беден: над воротником его куртки торчал измятый, грязный ворот рубахи, штаны – в пятнах и заплатках, на босых ногах – стоптанные туфли. Бедные – не страшны, не опасны, в этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное – со стороны деда.

Никто в доме не любил Хорошее Дело; все говорили о нём посмеиваясь; весёлая жена военного звала его «меловой нос», дядя Пётр – аптекарем и колдуном, дед – чернокнижником, фармазоном.

– Чего он делает? – спросил я бабушку. Она строго откликнулась:

– Не твоё дело; молчи знай...

Однажды, собравшись, с духом, я подошёл к его окну и спросил, едва скрывая волнение:

– Ты чего делаешь?

Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал:

– Влезай...

То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, ещё более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик, поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и наконец спросил негромко:

– Ты откуда?

Это было странно: я четыре раза в день сидел в кухне за столом около него! Я ответил:

– Здешний внук...

– Ага, да, – сказал он, осматривая свой палец, и замолчал.

Тогда я счёл возможным пояснить ему:

– Я не Каширин, а – Пешков...

– Пешков? – неверно повторил он. – Хорошее дело.

Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу сказал:

– Ну, сиди смирно...

Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски; на картон под тисками падают золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой, как соль, облил чем-то из тёмной бутылки, – в чашке зашипело, задымилось, едкий запах бросился в нос мне, я закашлялся, замотал голову, а он, колдун, хвастливо спросил:

– Скверно пахнет?

– Да!

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma

– То-то же! Это, брат, весьма хорошо!

«Чем хвастается!» – подумалось мне, и я строго сказал:

– Если скверно, так уж не хорошо...

– Ну? – воскликнул он, подмигивая. – Это, брат, не всегда, однако! А ты в бабки играешь?

– В козны?

– В козны, да?

– Играю.

– Хочешь – налиток сделаю? Хорошая битка будет!

– Хочу. – Неси давай бабку.

Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке, заглядывая в неё одним глазом, подошел и сказал:

– Я тебе налиток сделаю; а ты за это не ходи ко мне, – хорошо?

Это меня презестoko обидело.

– Я и так не приду никогда...

Обиженный, я ушел в сад; там возился дедушка, обкладывая навозом корни яблонь; осень была, уже давно начался листопад.

– Ну-ко, подстригай малину, – сказал дед, подавая мне ножницы.

Я спросил его:

– Хорошее дело чего строит?

– Горницу портит, – сердито ответил он. – Пол прожѐг, обои попачкал, ободрал. Вот скажу ему – съезжал бы!

– Так и надо, – согласился я, принимаясь остригать сухие лозы малинника.

Но я – поспешил.

Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания, приглашая пить чай всех жителей: извозчиков, денщика; часто являлась бойкая Петровна, иногда приходила даже весѐлая постоялка, и всегда в углу, около печи, неподвижно и немотно торчал Хорошее Дело. Немой Стѐпа играл с татаринoм в карты; Валею хлопал ими по широкому носу немого и приговаривал:

– Аш-шайтан!

Дядя Пѐтр приносил огромную краюху белого хлеба и варенье «семечки» в большой глиняной банке, резал хлеб ломтями, щедро смазывал их вареньем и раздавал всем эти вкусные малиновые ломти, держа их на ладони, низко кланяясь.

– Пожалуйте-ко милостью, покушайте! – ласково просил он, а когда у него брали ломоть, он внимательно осматривал свою тѐмную ладонь и, заметя на ней капельку варенья, слизывал его языком.

Петровна приносила вишнёвую наливку в бутылке, весѐлая барыня – орехи и конфетти. Начался пир горой, любимое бабушкино удовольствие.

Спустя некоторое время после того, как Хорошее Дело предложил мне взятку за то, чтоб я не ходил к нему в гости, бабушка устроила такой вечер. Сыпался и хлопал неуѐмный осенний дождь, ныл ветер, шумели деревья, царапая сучьями стену, – в кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг ко другу, все были как-то

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru особенно мило тихи, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше.

Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклонясь к людям, освещенным огнём маленькой жестяной лампы; уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя:

– Мне сверху надо говорить, – сверху-то лучше!

Я поместился у ног её, на широком приступке, почти над головою Хорошего Дела. Бабушка сказывала хорошую историю про Ивана-воина и Мирона-отшельника; мерно лились сочные, веские слова:

Жил-был злой воевода Гордион,
Чёрная душа, совесть каменная;
Правду он гнал, людей истязал,
Жил во зле, словно сыч в дупле.
Пуще же всего невзлюбил Гордион
Старца Мирона-отшельника,
Тихого правды защитника,
Миру добродеея бесстрашного.
Кличет воевода верного слугу,
Храброго Иванушку-воина:
– Подь-ка, Иванко, убей старика,
Старчища Мирона кичливого!
Подь да сруби ему голову,
Подхвати её за сиву бороду,
Принеси мне, я собак прокормлю!
Пошёл Иван, послушался.
Идет Иван, горько думает:
«Не сам иду – нужда ведёт!
Знать, такая мне доля от господа»
Спрятал вострый меч Иван под полу,
Пришёл, поклонился отшельнику:
– Всё ли ты здоров, честной старичок?
Как тебя, старца, господь милует? –
Тут прозорливец усмехается,
Мудрыми устами говорит ему:
– Полно-ка, Иванушко, правду-то скрывать!
Господу богу – всё ведомо.
Злое и доброе – в его руке!
Знаю ведь, пошто ты пришел ко мне! –
Стыдно Иванке пред отшельником,
А и боязно Ивану послушаться.
Вынул он меч из кожаных ножон,
Вытер железо широкой полкой.
– Я было, Мироне, хотел тебя убить
Так, чтобы ты и меча не видал.
Ну, а теперь – молись господу,
Молись ты ему в останний раз
За себя, за меня, за весь род людской,
А после я тебе срублю голову!.. –
Стал на коленки старец Мирон,
Встал он тихонько под дубок молодой,
Дуб перед ним преклоняется.
Старец говорит, улыбаючись:
– Ой, Иван, гляди – долго ждать тебе!
Велика молитва за весь род людской!
Лучше бы сразу убить меня,
Чтобы тебе лишнего не маяться! –
Тут Иван сердито прихмурился,
Тут он глупенько похвастался:
– Нет, уж коли сказано – так сказано!
Ты знай молись, я хоть век подожду! –
Молится отшельник до вечера,
С вечера он молится до утренней зари,
С утренней зари он вплоть до ночи,
С лета он молится опять до весны.

Молится Мироне год за годом,
Дуб-от молодой стал до облака,
С жёлудя его густо лес пошёл,
А святой молитве всё нет конца!
Так они по сей день и держатся:
Старче всё тихонько богу плачется,
просит у бога людям помощи,
У преславной богородицы – радости,
А Иван-от воин стоит около,
Меч его давно в пыль рассыпался,
Кованы доспехи съела ржавчина,
Добрая одёжа поистлела вся.
Зиму и лето гол стоит Иван,
Зной его сушит – не высушит,
Гнус ему кровь точит – не выточит,
Волки, медведи – не трогают,
Вьюги да морозы – не для него.
Сам-от он не в силе с места двинуться,
Ни руки поднять и ни слова сказать, –
Это, вишь, ему в наказание дано:
Злого бы приказу не слушался,
За чужую совесть не прятался!
А молитва старца за нас, грешников,
И по сей добрый час течёт ко господу,
Яко светлая река в окиян-море!

Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что Хорошее Дело чем-то обеспокоен: он странно, судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и всё вытирал быстрым движением ладони лоб и щёки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел:

– Шш!

А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая руками, как-то неестественно закружился, забормотал:

– Знаете, это удивительно, это надо записать, непременно! Это – страшно верное, наше...

Теперь ясно было видно, что он плачет, – глаза его были полны слёз; они выступали сверху и снизу, глаза купались в них; это было странно и очень жалостно. Он бегал по кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая, размахивал очками перед носом своим, желая надеть их, и всё не мог зацепить проволоку за уши. Дядя Пётр усмехался, поглядывая на него, все сконфуженно молчали, а бабушка торопливо говорила:

– Запишите, что же, греха в этом нету; я и ещё много знаю эдакого...

– Нет, именно это! Это – страшно русское, – возбуждённо выкрикивал нахлебник и, вдруг остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукою, а в левой дрожали очки. Говорил долго, яростно, подвизгивая и притопывая ногою, часто повторяя одни и те же слова:

– Нельзя жить чужой совестью, да, да!

Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел на всех и тихонько, виновато ушёл, склонив голову. Люди усмехались, сконфуженно переглядываясь, бабушка отодвинулась глубоко на печь, в тень, и тяжело вздыхала там.

Отирая ладонью красные, толстые губы, Петровна спросила:

– Рассердился будто?

– Не, – ответил дядя Петр. – Это он так себе...

Бабушка слезла с печи и стала молча подогрывать самовар, а дядя Петр, не торопясь, говорил:

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Господа все такие – капризники!

Валей угрюмо буркнул:

– Холостой всегда дурит!

Все засмеялись, а дядя Пётр тянул:

– До слёз дошел. Видно – бывало, щука клевала, а ноне и плотва – едва...

Стало скучно; какое-то уныние щемило сердце. Хорошее Дело очень удивил меня, было жалко его, – так ясно помнились его утонувшие глаза.

Он не ночевал дома, а на другой день пришёл после обеда – тихий, измятый, явно сконфуженный.

– Вчера я шумел, – сказал он бабушке виновато, словно маленький. – Вы не сердитесь?

– На что же?

– А вот, что я вмешался, говорил?

– Вы никого не обидели...

Я чувствовал, что бабушка боится его, не смотрит в лицо ему и говорит необычно – тихо слишком.

Он подошёл вплоть к ней и сказал удивительно просто:

– Видите ли, я страшно один, нет у меня никого! Молчишь, молчишь, – и вдруг – вскипит в душе, прорвёт... Готов камню говорить, дереву...

Бабушка отодвинулась от него.

– А вы бы женились...

– Э! – воскликнул он, сморщившись, и ушёл, махнув рукой.

Бабушка, нахмурясь, поглядела вслед ему, понюхала табаку и потом строго сказала мне:

– Ты, гляди, не очень вертись около него; бог его знает, какой он такой...

А меня снова потянуло к нему.

Я видел, как изменилось, опрокинулось его лицо, когда он сказал «страшно один»; в этих словах было что-то понятное мне, тронувшее меня за сердце, и я пошёл за ним.

Заглянул со двора в окно его комнаты, – она была пуста и похожа на чулан, куда наскоро, в беспорядке, брошены разные ненужные вещи, – такие же ненужные и странные, как их хозяин. Я пошёл в сад и там, в яме, увидел его; согнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колени, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна; бревно было засыпано землёю, а конец его, лоснясь углем, торчал в воздухе над жухлой полыньёю, крапивой, лопухом. И то, что ему было неудобно сидеть, ещё более располагало к этому человеку.

Он долго не замечал меня, глядя куда-то мимо, слепыми глазами филина, потом вдруг спросил как будто с досадой:

– За мной?

– Нет.

– А что же?

– Так.

Он снял очки, протёр их платком в красных и черных пятнах и сказал:

– Ну, полезай сюда!

Когда я сел рядом с ним, он крепко обнял меня за плечи.

– Сиди... Будем сидеть и молчать – ладно? Вот это самое... Ты упрямый?

– Да.

– Хорошее дело!

Молчали долго. Вечер был тихий, кроткий, один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда всё вокруг так цветисто и так заметно линяет, беднеет с каждым часом, а земля уже истощила все свои сытные, летние запахи, пахнет только холодной сыростью, воздух же странно прозрачен и в красноватом небе суетно мелькают галки, возбуждая невеселые мысли. Всё немотно и тихо; каждый звук – шорох птицы, шелест упавшего листа – кажется громким, заставляет опасливо вздрогнуть, но, вздрогнув, снова замираешь в тишине – она обняла всю землю и наполняет грудь. В такие минуты рождаются особенно чистые, лёгкие мысли, но они тонки, прозрачны, словно паутина, и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звёзды, обжигая душу печалью о чём-то, ласкают её, тревожат, и тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь, тут создаётся её лицо.

Прижимаясь к тёплому боку нахлебника, я смотрел вместе с ним сквозь чёрные сучья яблонь на красное небо, следил за полетами хлопотливых чечёток, видел, как щеглы треплют маковки сухого репья, добывая его терпкие зерна, как с поля тянутся мохнатые, сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летят вороны ко гнездам, на кладбище. Всё было хорошо и как-то особенно – не по-всегдашнему – понятно и близко.

Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув:

– Славно, брат? То-то? А не сыро, не холодно?

А когда небо потемнело и все вокруг вспухло, наливаясь сырым сумраком, он сказал:

– Ну, будет! Идем...

У калитки сада он остановился, тихо говоря:

– Хороша у тебя бабушка, – о, какая земля!

Закрыв глаза и, улыбаясь, прочитал негромко, очень внятно:

Это ему в наказание дано:
Злого бы приказа не слушался,
За чужую совесть не прятался!..
Ты, брат, запомни это, очень!

И, поталкивая меня вперёд, спросил:

– Ты писать умеешь?

– Нет.

– Научись. А научись – записывай, что бабушка рассказывает, – это, брат, очень годится...

Мы подружались. С этого дня я приходил к Хорошему Делу, когда хотел, садился в ящик с каким-то тряпьем и невозбранно следил, как он плавит свинец, греет медь; раскалив, куёт железные пластины на маленькой наковальне лёгким молотком с красивой ручкой, работает рашпилем, напильником, наждаком, и тонкой, как нитка, пилою... И всё взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстые белые чашки разные жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняют комнату едким запахом,

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
морщится, смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы, или тихонько
тянет сиповатым голосом:

- О, роза Сарона...
- Это чего ты делаешь?
- Одну штуку, брат...
- Какую?
- А-а, видишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял...
- Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь...
- Дедушка? Мм... Ну, это он пустяки говорит! Деньги, брат, – ерунда...
- А чем за хлеб платить?
- Н-да, брат, за хлеб надобно платить, верно...
- Видишь? И за говядину тоже...
- И за говядину...

Он тихонько удивительно мило смеется, щекочет меня за ухом, точно кутёнка, и говорит:

- Никак не могу я спорить с тобой, – забиваешь ты, брат, меня: давай лучше помолчим...

Иногда он прерывал работу, садился рядом со мною, и мы долго смотрели в окно, как сеет дождь на крыши, на двор, заросший травой, как беднеют яблони, теряя лист. Говорил Хорошее Дело скупно, но всегда какими-то нужными словами; чаще же, желая обратить на что-либо мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая.

Ничего особенного я не вижу на дворе, но от этих толчков локтём и от кратких слов все видимое кажется особо значительным, все крепко запоминается. Вот по двору бежит кошка, остановилась перед светлой лужей и, глядя на своё отражение, подняла мягкую лапу, точно ударить хочет его, – Хорошее Дело говорит тихонько:

- Кошки горды и недоверчивы...

Золотисто-рыжий петух Мамай, взлетев на изгородь сада, укрепился, встряхнул крыльями, едва не упал и, обидевшись, сердито бормочет, вытянув шею.

- Важен генерал, а не очень умный...

Идёт неуклюжий Валея, ступая по грязи тяжело, как старая лошадь; скуластое лицо его надуту, он смотрит, прищурясь в небо, а оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч, – медная пуговица на куртке Валея горит, татарин остановился и трогает её кривыми пальцами.

- Точно медаль получил, любитесь...

Я быстро и крепко привязался к Хорошему Делу, он стал необходим для меня и во дни горьких обид, и в часы радостей. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всём, что приходило в голову мою, а дед всегда обрывал меня строгим окриком:

- Не болтай, бесова мельница!

Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого.

Хорошее Дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь:

- Ну, это, брат, не так, это ты сам выдумал...

И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы, – он как будто насквозь видел всё, что делалось в сердце и голове у меня, видел все лишние, неверные слова раньше, чем я успевал сказать их, видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами:

– Врёшь, брат!

Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность; бывало, выдумая что-нибудь и рассказываю как бывшее, но он, послушав немножко, отрицательно качал головою:

– Ну, врешь, брат...

– А почему ты знаешь?

– Уж я, брат, вижу...

Часто, отправляясь на Сенную площадь за водой, бабушка брала меня с собою, и однажды мы увидели, как пятеро мещан бьют мужика, – свалили его на землю и рвут, точно собаки собаку. Бабушка сбросила ведра с коромысла и, размахивая им, пошла на мещан, крикнув мне:

– Беги прочь!

Но я испугался, побежал за нею и стал швырять в мещан гольшами, камнями, а она храбро тыкала мещан коромыслом, колотила их по плечам, по башкам. Вступились и ещё какие-то люди, мещане убежали, бабушка стала мыть избитого; лицо у него было растоптано, я и сейчас с отвращением вижу, как он прижимал грязным пальцем оторванную ноздрю, и выл, и кашлял, а из-под пальца брызгала кровь в лицо бабушке, на грудь ей; она тоже кричала, тряслась вся.

Когда я, придя домой, вбежал к нахлебнику и стал рассказывать ему, он бросил работу и остановился предо мной, подняв длинный напильник, как саблю, глядя на меня из-под очков пристально и строго, а потом вдруг прервал меня, говоря необычно внушительно:

– Прекрасно, именно так и было всё! Очень хорошо!

Потрясённый виденным, я не успел удивиться его словам и продолжал говорить, но он обнял меня и, расхаживая по комнате, спотыкаясь, заговорил:

– Довольно, больше не надо! Ты уж, брат, все сказал, что надо, – понимаешь? Все!

Я замолчал, обидясь, но, подумав, с изумлением, очень памятным мне, понял, что он остановил меня вовремя: действительно я всё сказал.

– Ты, брат, на этих случаях не останавливайся, – это нехорошо запоминать! – сказал он.

Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мною на всю жизнь. Рассказываю я ему о враге моем Ключникове, бойце из Новой улицы, толстом, большеголовом мальчишке, которого ни я не мог одолеть в бою, ни он меня. Хорошее дело внимательно выслушал горести мои и сказал:

– Это – ерунда; такая сила – не сила! Настоящая сила – в быстроте движения; чем быстрее, тем сильнее – понял?

В следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками быстрее и – легко победил Ключникова. Это ещё более подняло мое внимание к словам нахлебника.

– Всякую вещь надо уметь взять, понимаешь? Это очень трудно – уметь взять!

Я не понял ничего, но невольно запоминал такие и подобные слова, – именно потому запоминал, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное; ведь не требовалось никакого особого умения взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток!

А в доме Хорошее Дело всё больше не любили; даже ласковая кошка весёлой

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый
зов его. Я её бил за это, трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал её не
бояться человека.

– У меня одежда пахнет кислотами, вот кошка и не идёт ко мне, – объяснял он, но
я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе, враждебно нахлебнику,
неверно и обидно.

– Пошто ты торчишь у него? – сердито спрашивала бабушка. – Гляди, научит он тебя
чему-нибудь...

А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, которое становилось
известно ему, рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил Хорошему Делу о том, что мне
запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относятся к нему в
доме.

– Бабушка тебя боится, она говорит – чернокнижник ты, а дедушка тоже, что ты
богу враг и людям опасный...

Он дергал голову, как бы отгоняя мух; на меловом его лице розовато вспыхивала
улыбка, от которой у меня сжималось сердце и зеленело в глазах.

– Я, брат, вижу уж! – тихонько говорил он. – Это, брат, грустно, а?

– Да!

– Грустно, брат...

Наконец его выжили.

Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу,
укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе Сарона.

– Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю...

– Зачем?

Он пристально посмотрел на меня, говоря:

– Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери...

– Это кто сказал?

– Дедушка...

– Врёт он!

Хорошее Дело потянул меня за руку к себе, и, когда я сел на пол, он заговорил
тихонько:

– Не сердись! А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не сказал мне; это нехорошо,
подумал я...

Было грустно и досадно на него за что-то.

– Послушай-ко, – почти шёпотом говорил он, улыбаясь, – ты помнишь, я тебе сказал
– не ходи ко мне? Я кивнул головой.

– Обиделся ты на меня, да?

– Да...

– А я, брат, не хотел тебя обидеть; я, видишь ли, знал: если ты со мной
подружишься, твои станут ругать тебя, – так? Было так? Ты понял, почему я сказал
это?

Он говорил, словно маленький, одних лет со мною; а я страшно обрадовался его
словам; мне даже показалось, что я давно, еще тогда, понял его; я так и сказал:

– Это я давно понял!

– Ну, вот! Так-то, брат. Вот это самое, голубчик...

У меня нестерпимо заныло сердце.

– Отчего они не любят тебя никто?

Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув:

– Чужой – понимаешь? Вот за это самое. Не такой...

Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать.

– Не сердись, – повторил он и шёпотом, на ухо, добавил: – Плакать тоже не надо...

А у самого тоже слёзы текут из-под мутных очков.

И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами.

Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге, разминавшей колёсами кочки мёрзлой грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей.

– Уйди! – кричала она, натываясь на меня.

– Вы зачем прогнали его?

– А ты поговори!

– Дураки вы все, – сказал я.

Она стала шлёпать меня мокрой тряпкой, крича:

– Да ты ошалел, пострел!

– Не ты, а все другие дураки, – поправился я, но это её не успокоило.

За ужином дед говорил:

– Ну, слава богу! А то, бывало, как увижу его, – нож в сердце: ох, надобно выгнать!

Я со зла изломал ложку и снова потерпел.

Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране, – лучших людей её...

IX

В детстве я представляю сам себя ульем, куда разные простые, серые люди сносили, как пчёлы, мёд своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чем мог. Часто мёд этот бывал грязен и горек, но всякое знание – всё-таки мёд.

После отъезда Хорошего Дела со мною подружился дядя Пётр. Он был похож на деда: такой же сухонький, аккуратный, чистый, но был он ниже деда ростом и весь меньше его; он походил на подростка, нарядившегося для шутки стариком. Лицо у него было плетёное, как решето, всё из тонких кожаных жгутиков, между ними прыгали, точно чижы в клетке, смешные бойкие глаза с желтоватыми белками. Сивые волосы его курчавились, борода вилась кольцами; он курил трубку, дым её – одного цвета с волосами – тоже завивался, и речь его была кудрява, изобилуя прибаутками. Говорил он жужжащим голосом и будто ласково, но мне всегда казалось, что он насмешничает надо всеми.

– В начале годов повелела мне барыня-графиня, Татьян, свет, Лексевна, – «будь кузнецом», а спустя некоторое время приказывает: «Помогай садовнику!» Ладно;

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.maх только, как мужика ни положь – всё не хорош! В другое время она говорит: «Тебе, Петрушка, рыбу ловить!» А для меня всё едино, я и рыбу... Однако только я пристрастился – прощай рыба, спасибо; а мне – в город ехать, в извозчики, на оброк. Ну, что ж, в извозчики, а – ещё как? А ещё уж ничего не успели мы с барыней переменить, подошла воля и остался при лошади, теперь она у меня за графиню ходит.

Была она старенькая, и точно её, белую, однажды начал красить разными красками пьяный маляр, – начал, да и не кончил. Ноги у неё были вывихнуты, и вся она – из тряпок шита, костлявая голова с мутными глазами печально опущена, слабо пристёгнутая к туловищу вздутыми жилами и старой, вытертой кожей. Дядя Пётр относился к ней почтительно, не бил и называл Танькой.

Дед сказал ему однажды:

– Ты что это скота христианским именем зовёшь?

– Никак, Василь Васильев, никак, почтенный! Христианского такого имени нет – Танька, а есть – Татяна!

Дядя Пётр тоже был грамотен и весьма начитан от Писания, они всегда спорили с дедом, кто из святых кого святее; осуждали, один другого строже, древних грешников; особенно же доставалось – Авессалому. Иногда споры принимали характер чисто грамматический, дедушка говорил: «согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом», а дядя Пётр утверждал, что надо говорить «согресиша, беззаконноваша, неправдоваша».

– Ино дело – по-моему, ино – по-твоему! горячился дед, багровея, и дразнил: – ВашА, шишА!

Но дядя Пётр, окружаясь дымом, ехидно спрашивал:

– А чем лучше хомы твои? Нисколько они богу не лучше! Бог-от, может, молитву слушая, думает: молись как хошь, а цена тебе – грош!

– Уйди, Лексей! – яростно кричал дед, сверкая зелёными глазами.

Пётр очень любил чистоту, порядок; идя по двору, он всегда откидывал в сторону ударом ноги щепки, черепки, кости, – откидывал и упрекал вдогонку:

– Лишняя вещь, а – мешаешь!

Он был словоохотлив, казался добрым, весёлым, но порою глаза его наливались кровью, мутнели и останавливались, как у мёртвого. Бывало, сидит он где-нибудь в углу, в темноте, скорчившись, угрюмый, немой, как его племянник.

– Ты – что, дядя Пётр?

– Отойди, – говорил он глухо и строго.

В одном из домиков нашей улицы поселился какой-то барин, с шишкой на лбу и чрезвычайно странной привычкой: по праздникам он садился у окна и стрелял из ружья дробью в собак, кошек, кур, ворон, а также и в прохожих, которые не нравились ему. Однажды он осеял бекасинником бок Хорошего Дела; дробь не пробила кожаной куртки, но несколько штук очутилось в кармане её; я помню, как внимательно нахлебник рассматривал сквозь очки сизые дробины. Дед стал уговаривать его жаловаться, но он сказал, отбросив дробины в угол кухни:

– Не стоит.

Другой раз стрелок всадил несколько дробинок в ногу дедушке; дед рассердился, подал прошение мировому, стал собирать в улице потерпевших и свидетелей, но барин вдруг исчез куда-то.

И вот, каждый раз, когда на улице бухали выстрелы, дядя Пётр – если был дома – поспешно натягивал на сивую голову праздничный выгоревший картуз, с большим козырьком, и торопливо бежал за ворота. Там он прятал руки за спину под кафтан и, приподняв его, как петушиный хвост, выпятив живот, солидно шёл по тротуару

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
мимо стрелка; пройдёт, воротится назад и – снова. Мы, весь дом, стоим у ворот, из окна смотрит синее лицо военного, над ним – белокурая голова его жены; со двора Бетленга тоже вышли какие-то люди, только серый, мёртвый дом Овсянникова не показывает никого.

Иногда дядя Пётр гуляет без успеха, – охотник, видимо, не признаёт его дичью, достойной выстрела, но порою двуствольное ружьё бухает раз за разом:

– Бух-бух...

Не ускоряя шага, дядя Пётр подходит к нам и, очень довольный, говорит:

– В полу хлестнул!

Однажды дробь попала ему в плечо и шею; бабушка, выковыривая её иголкой, журила дядю Петра:

– Что ты ему, дикому, потакаешь? А ну он глаз тебе выбьет!

– Не-е, никак, Акулина Иванна, – пренебрежительно тянул Пётр. – Он стрелок никакой...

– Да ты-то пошто балуешь его?

– я разве балую? Мне охота подразнить барина...

И, разглядывая на ладони извлечённые дробины, говорил:

– Никакой стрелец! А вот у барыни-графини, Татьян Лексевны, состоял временно в супружеской должности, – она мужёв меняла вроде бы лакеев, – так состоял при ней, говорю, Мамонт Ильич, военный человек, ну – он правильно стрелял! Он, бабушка, пулями, не иначе! Поставит Игнашку-дурачка за далеко, шагов, может, за сорок, а на пояс дураку бутылку привяжет так, что она у него промеж ног висит, а Игнашка ноги раскорячит, смеётся по глупости. Мамонт Ильич наведёт пистолет – бац! Хряснула бутылка. Только, единова, овод, что ли, Игнашку укусил – дёрнулся он, а пуля ему в коленку, в самую в чашечку! Позвали лекаря, сейчас он ногу отчекрыжил – готово! Схоронили её...

– А дурачок?

– Он – ничего. Дураку ни ног, ни рук не надо, он и глупостью своей сытно кормится. Глупого всякий любит, глупость безобидна. Сказано: и дьяк и повытчик, коли дурак – так не обидчик...

Бабушку эдакие рассказы не удивляли, она сама знала их десятки, а мне становилось немножко жутко, я спрашивал Петра:

– А до смерти убить может барин?

– Отчего не мочь? Мо-ожет. Они даже друг друга бьют. К Татьян Лексевне приехал улан, повздорили они с Мамонтом, сейчас пистолеты в руки, пошли в парк, там, около пруда, на дорожке, улан этот бац Мамонту – в самую печень! Мамонта – на погост, улана – на Кавказ, – вот те и вся недолга! Это они – сами себя! А про мужиков и прочих – тут уж нечего говорить! Теперь им – поди – особо не жаль людей-то, не ихние стали люди, ну, а прежде всё-таки жалели – своё добро!

– Ну, и тогда не больно жалели, – говорит бабушка.

Дядя Пётр соглашается:

– И это верно: свое добро, да – дешёвое...

Ко мне он относился ласково, говорил со мною добродушнее, чем с большими, и не прятал глаз, но что-то не нравилось мне в нём. Угощая всех любимым вареньем, намазывал мой ломоть хлеба гуще, привозил мне из города солодовые пряники, маковую сбойну и беседовал со мною всегда серьёзно, тихонько.

– Как жить будем, сударик? В солдаты пойдёшь али в чиновники?

– В солдаты.

– Это – хорошо. Теперь и солдату не трудно стало. В попы тоже хорошо, покрикивай себе – осподи помилуй, – да и вся недолга! Попу даже легче, чем солдату, а ещё того легче – рыбаку; ему вовсе никакой науки не надо – была бы привычка!..

Он забавно изображал, как ходят рыбы вокруг наживки, как бьются, попав на крючок, окуни, голавли, лещи.

– Вот ты сердисься, когда тебя дедушко высекет, – утешительно говорил он. – Сердиться тут, сударик, никак не надобно, это тебя для науки секут, и это сеченье – детское! А вот госпожа моя Татьян Лексевна – ну, она секла знаменито! У неё для того нарочный человек был, Христофором звали, такой мастак в деле своём, что его, бывало, соседи из других усадеб к себе просят у барыни-графини: отпустите, сударыня Татьян Лексевна, Христофора дворню посечь! И отпускала.

Он безобидно и подробно рассказывал, как барыня, в кисейном белом платье и воздушном платочке небесного цвета, сидела на крыльчке с колонками, в красном креслице, а Христофор стегал перед нею баб и мужиков.

– И был, сударик, Христофор этот, хоша рязанской, ну вроде цыгана али хохла, усы у него до ушей, а рожа – синяя, бороду брил. И не то он – дурачок, не то притворялся, чтобы лишнего не спрашивали. Бывало, в кухне нальёт воды в чашку, поймает муху, а то – таракана, жука какого и – топит их прутиком, долго топит. А то – собственную серую изымет из-за шиворота – её топит...

Такие и подобные рассказы были уже хорошо знакомы мне, я много слышал их из уст бабушки и деда. Разнообразные, они все странно схожи один с другим: в каждом мучили человека, издевались над ним, гнали его. Мне надоели эти рассказы, слушать их не хотелось, и я просил извозчика:

– Расскажи другое!

Он собирал все свои морщины ко рту, потом поднимал их до глаз и соглашался:

– Ладно, жадный, – другое. Вот был у нас повар..

– У кого?

– У графини Татьян Лексевны.

– Зачем ты её зовешь Татьян? Разве она мужчина?

Он смеялся тоненько.

– Конечно – барыня она, однако – были у ней усики. Чёрненькие, – она из чёрных немцев родом, это народец вроде арапов. Так вот – повар: это, сударик, будет смешная история...

Смешная история заключалась в том, что повар испортил кулебяку и его заставили съесть её всю сразу; он съел и захворал.

Я сердился:

– Это вовсе не смешно!

– А что смешно? Ну-ко, скажи!

– Я не знаю..

– Тогда – молчи!

Он снова плёл скучную паутину.

Иногда, по праздникам, приходили гости братья – печальный и ленивый Саша Михайлов, аккуратный, всезнающий Саша Яковов. Однажды, путешествуя втроём по крышам построек, мы увидели на дворе Бетленга барина в меховом зелёном сюртуке;

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy_max
сидя на куче дров у стены, он играл со щенками; его маленькая, лысая, желтая голова была непокрыта. Кто-то из братьев предложил украсть одного щенка, и тотчас составил остроумный план кражи; братья сейчас же выйдут на улицу к воротам Бетленга, я испугаю барина, а когда он, в испуге, убежит, они ворвутся во двор и схватят щенка.

– Как испугать?

Один из братьев предложил:

– Ты поплюй ему на лысину!

Велик ли грех наплевать человеку на голову? Я многократно слышал и сам видел, что с ним поступают гораздо хуже, и, конечно, я честно выполнил взятую на себя задачу.

Был великий шум и скандал, на двор к нам пришла из дома Бетленга целая армия мужчин и женщин, её вёл молодой, красивый офицер, и так как братья в момент преступления смиренно гуляли по улице, ничего не зная о моем диком озорстве, – дедушка выпорол одного меня, отменно удовлетворив этим всех жителей Бетленгова дома.

Когда я, побитый, лежал в кухне на полатях, ко мне влез празднично одетый и весёлый дядя Пётр.

– Это ты ловко удумал, сударик! – шептал он. – Так ему и надо, старому козлу, так его, – плюй на них! Ещё бы – камнем по гнилой-то башке!

Преодо мною стояло круглое, безволосое, ребячье лицо барина, я помнил, как он, подобно щенку тихонько и жалобно взвизгивал, отирая жёлтую лысину маленькими ручками, мне было нестерпимо стыдно, я ненавидел братьев, но – всё это сразу забылось, когда я разглядел плетёное лицо извозчика: оно дрожало так же пугающе противно, как лицо деда, когда он сёк меня.

– Уйди! – закричал я, сталкивая Петра руками и ногами.

Он захихикал, замигал и слез с полатей.

С той поры у меня пропало желание разговаривать с ним, я стал избегать его и, в то же время, начал подозрительно следить за извозчиком, чего-то смутно ожидая.

Вскоре после истории с баринком случилась ещё одна. Меня давно уже занимал тихий дом Овсянникова, мне казалось, что в этом сером доме течёт особенная, таинственная жизнь сказок.

В доме Бетленга жили шумно и весело, в нём было много красивых барынь, к ним ходили офицеры, студенты, всегда там смеялись, кричали и пели, играла музыка. И самое лицо дома было весёлое, стёкла окон блестели ясно, зелень цветов за ними была разнообразно ярка. Дедушка не любил этот дом.

– Еретики, безбожники, – говорил он о всех его жителях, а женщин называл гадким словом, смысл которого дядя Пётр однажды объяснил мне тоже очень гадко и злорадно.

Строгий и молчаливый дом Овсянникова внушал деду почтение.

Этот одноэтажный, но высокий дом вытянулся во двор, заросший дёрном, чистый и пустынный, с колодцем среди него, под крышей на двух столбиках. Дом точно отодвинулся с улицы, прячась от неё. Три его окна, узкие и прорезанные арками, были высоко над землёй, и стёкла в них – мутные, окрашены солнцем в радугу. А по другую сторону ворот стоял амбар, совершенно такой же по фасаду, как и дом, тоже с тремя окнами, но фальшивыми: на серую стену набиты наличники, и в них белой краской нарисованы переплёты рам. Эти слепые окна были неприятны, и весь амбар снова намекал, что дом хочет спрятаться, жить незаметно. Что-то тихое и обиженное или тихое и гордое было во всей усадьбе, в её пустых конюшнях, в сараях с огромными воротами и тоже пустых.

Иногда по двору ходил, прихрамывая, высокий старик, бритый, с белыми усами,

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
волосы усов торчали, как иголки. Иногда другой старик, с баками и кривым носом, выводил из конюшни серую длинноголовую лошадь; узкогрудая, на тонких ногах, она, выйдя на двор, кланялась всему вокруг, точно смиренная монахиня. Хромой звонко шлёпал её ладонью, свистел, шумно вздыхал, потом лошадь снова прятали в тёмную конюшню. И мне казалось, что старик хочет уехать из дома, но не может, заколдован.

Почти каждый день на дворе, от полудня до вечера, играли трое мальчиков; одинаково одетые в серые куртки и штаны, в одинаковых шапочках, круглолицые, сероглазые, похожие друг на друга до того, что я различал их только по росту.

Я наблюдал за ними в щели забора, они не замечали меня, а мне хотелось, чтобы заметили. Нравилось мне, как хорошо, весело и дружно они играют в незнакомые игры, нравились их костюмы, хорошая заботливость друг о друге, особенно заметная в отношении старших к маленькому брату, смешному и бойкому коротышке. Если он падал – они смеялись, как всегда смеются над упавшим, но смеялись не злорадно, тотчас же помогали ему встать, а если он выпачкал руки или колена, они вытирали пальцы его и штаны листьями лопуха, платками, а средний мальчик добродушно говорил:

– Вот ус неуклюзый!..

Они никогда не ругались друг с другом, не обманывали один другого, и все трое были очень ловки, сильны, неутомимы. Однажды я влез на дерево и свистнул им, – они остановились там, где застал их свист, потом сошлись не торопясь и, поглядывая на меня, стали о чём-то тихонько совещаться. Я подумал, что они станут швырять в меня камнями, спустился на землю, набрал камней в карманы, за пазуху и снова влез на дерево, но они уже играли далеко от меня в углу двора и, видимо, забыли обо мне. Это было грустно, однако мне не хотелось начать войну первому, а вскоре кто-то крикнул им в форточку окна:

– Дети, – марш домой!

Они пошли не торопясь и покорно, точно гуси.

Много раз сидел я на дереве над забором, ожидая, что вот они позовут меня играть с ними, – а они не звали. Мысленно я уже играл с ними, увлекаясь иногда до того, что вскрикивал и громко смеялся; тогда они, все трое, смотрели на меня, тихонько говоря о чём-то, а я, сконфуженный, спускался на землю.

Однажды они начали игру в прятки, очередь искать выпала среднему, он встал в угол за амбаром и стоял честно, закрыв глаза руками, не подглядывая, а братья его побежали прятаться. Старший быстро и ловко залез в широкие пошевни, под навесом амбара, а маленький, растерявшись, смешно бегал вокруг колодца не видя, куда девать себя.

– Раз, – кричал старший, – два...

Маленький вспрыгнул на сруб колодца, схватился за верёвку, забросил ноги в пустую бадью, и бадья, глухо постукивая по стенкам сруба, исчезла.

Я обомлел, глядя, как быстро и бесшумно вертится хорошо смазанное колесо, но быстро понял, что может быть, и соскочил к ним во двор, крича:

– Упал в колодезь!..

Средний мальчик подбежал к срубу в одно время со мной, вцепился в веревку, его дернуло вверх, обожгло ему руки, но я уже успел перенять верёвку, а тут подбежал старший; помогая мне вытягивать бадью, он сказал:

– Тихонько, пожалуйста!..

Мы быстро вытянули маленького, он тоже был испуган; с пальцев правой руки его капала кровь, щека тоже сильно ссажена, был он по пояс мокрый, бледен до синевы, но улыбался, вздрагивая, широко раскрыв глаза, улыбался и тянул:

– Ка-ак я па-ада-ал...

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru

– Ты с ума сосол, вот сто, – сказал средний, обняв его и стирая платком кровь с лица, а старший, нахмуясь, говорил:

– Идём, всё равно не скроешь...

– Вас будут бить? – спросил я.

Он кивнул головой, потом сказал, протянув мне руку:

– Ты очень быстро прибежал!

Обрадованный похвалой, я не успел взять его руку, а он уже снова говорил среднему брату:

– Идем, он простудится! Мы скажем, что он упал, а про колодезь – не надо!

– Да, не надо, – согласился младший, вздрагивая. – Это я упал в лужу, да?

Они ушли.

Всё это разыгралось так быстро, что когда я взглянул на сучок, с которого соскочил во двор, он еще качался, сбрасывая жёлтый лист.

С неделю братья не выходили во двор, а потом явились более шумные, чем прежде; когда старший увидал меня на дереве, он крикнул ласково:

– Иди к нам!

Мы забрались под навес амбара, в старые пошевни, и, присматриваясь друг ко другу, долго беседовали.

– Били вас? – спросил я.

– Досталось, – ответил старший.

Трудно было поверить, что этих мальчиков тоже бьют, как меня, было обидно за них.

– Зачем ты ловишь птиц? – спрашивал младший.

– Они поют хорошо.

– Нет. ты не лови, пускай лучше они летают, как хотят...

– Ну, ладно, не буду!

– Только ты прежде поймай одну и подари мне.

– Тебе – какую?

– Весёлую. И в клетке.

– Значит – это чиж.

– Коска съест, – сказал младший. – И папа не позволит.

Старший согласился:

– Не позволит...

– А мать у вас есть?

– Нет, – сказал старший, но средний поправил его:

– Есть, только – другая, не наша, а нашей – нет, она померла.

– Другая называется – мачеха, – сказал я; старший кивнул головою:

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Да.

И все трое задумались, онемели.

По сказкам бабушки я знал, что такое мачеха, и мне была понятна эта задумчивость. Они сидели плотно друг с другом, одинаковые, точно цыплята; а я вспомнил ведьму-мачеху, которая обманом заняла место родной матери, и пообещал им:

– Ещё вернётся родная-то, погодите!

Старший пожал плечами:

– Если умерла? Этого не бывает...

Не бывает? Господи, да сколько же раз мёртвые, даже изрубленные на куски, воскресали, если их sprysnut' живою водою, сколько раз смерть была не настоящая, не божья, а от колдунов и колдуний!

Я начал возбуждённо рассказывать им бабушкины истории; старший сначала всё усмеялся и говорил тихонько:

– Это мы знаем, это – сказки...

Его братья слушали молча, маленький – плотно сжав губы и надувшись, а средний, опираясь локтем в колено, – наклонился ко мне и пригнул брата рукою, закинутой за шею его.

Уже сильно за вечерело, красные облака висели над крышами, когда около нас явился старик с белыми усами, в коричневой, длинной, как у попа, одежде и в меховой, мохнатой шапке.

– Это кто такое? – спросил он, указывая на меня пальцем.

Старший мальчик встал и кивнул головою на дедов дом:

– Он – оттуда...

– Кто его звал?

Мальчики, все сразу, молча вылезли из пошевной и пошли домой, снова напомнив мне покорных гусей.

Старик крепко взял меня за плечо и повёл по двору к воротам; мне хотелось плакать от страха пред ним, но он шагал так широко и быстро, что я не успел заплакать, как уже очутился на улице, а он, остановясь в калитке, погрозил мне пальцем и сказал:

– Не смей ходить ко мне!

Я рассердился:

– Вовсе я не к тебе хожу, старый чёрт!

Длинной рукою своей он снова схватил меня и повёл по тротуару, спрашивая, точно молотком колотя по голове моей:

– Твой дед дома?

На моё горе дед оказался дома; он встал пред грозным стариком, закинув голову, высунув бородку вперёд, и торопливо говорил, глядя в глаза, тусклые и круглые, как семишники:

– Мать у него – в отъезде, я человек занятой, глядеть за ним некому, – уж вы простите, полковник!

Полковник крякнул на весь дом, повернулся, как деревянный столб, и ушёл, а меня, через некоторое время, выбросило на двор, в телегу дяди Петра.

– Опять нарвался, сударик? – спрашивал он, распрягая лошадь. – За что бит?

Когда я рассказал ему – за что, он вспыхнул и зашипел:

– А ты на што подружился с ними? Они – барчуки-змеёныши; вон как тебя за них! Ты теперь сам их отдуи – чего глядеть!

Он шипел долго; обозлённый побоями, я сначала слушал его сочувственно, но его плетёное лицо дрожало всё неприятней и напомнило мне, что мальчигов тоже побьют и что они предо мной неповинны.

– Их бить – не нужно, они хорошие, а ты врешь всё, – сказал я.

Он поглядел на меня и неожиданно крикнул:

– Пошёл прочь с телеги!

– Дурак ты! – крикнул я, соскочив на землю.

Он стал бегать за мною по двору, безуспешно пытаюсь поймать, бегал и неестественно кричал:

– Дурак я? Вру я? Так я ж тебя...

На крыльцо кухни вышла бабушка, я сунулся к ней, а он начал жаловаться:

– Никакого житья нет мне от парнишки! Я его до пяти раз старше, а он меня – по матушке и всяко... и вралём...

Когда в глаза мне лгали, я терялся и глупел от удивления; потерялся и в эту минуту, но бабушка твёрдо сказала:

– Ну, это ты, Пётр, и впрямь врешь, – зазорно он тебя не ругал!

Дедушка поверил бы извозчику.

С того дня у нас возникла молчаливая, злая война: он старался будто нечаянно толкнуть меня, задеть вожжами, выпускал моих птиц, однажды стравил их кошке и по всякому поводу жаловался на меня деду, всегда привирая, а мне всё чаще казалось, что он такой же мальчишка, как я, только наряжен стариком. Я расплетал ему лапти, незаметно раскручивал ч надрывал оборы, и они рвались, когда Пётр обувался; однажды насыпал в шапку ему перцу, заставив целый час чихать, вообще старался, по мере сил и разумения, не остаться в долгу у него. По праздникам он целые дни зорко следил за мною и не однажды ловил меня на запрещённом – на сношениях с барчуками; ловил и шёл ябедничать к деду.

Знакомство с барчуками продолжалось, становясь всё приятней для меня. В маленьком закоулке, между стеною дедова дома и забором Овсянникова, росли вяз, липа и густой куст бузины; под этим кустом я прорезал в заборе полукруглое отверстие, братья поочередно или по двое подходили к нему, и мы беседовали тихонько, сидя на корточках или стоя на коленях. Кто-нибудь из них всегда следил, как бы полковник не застал нас врасплох.

Они рассказывали о своей скучной жизни, и слышать это мне было очень печально; говорили о том, как живут наловленные мною птицы, о многом детском, но никогда ни слова не было сказано ими о мачехе и отце, – по крайней мере я этого не помню.

Чаще же они просто предлагали мне рассказать сказку; я добросовестно повторял бабушкины истории, а если забывал что-нибудь, то просил их подождать, бежал к бабушке и спрашивал её о забытом. Это всегда было приятно ей.

Я много рассказывал им и про бабушку; старший мальчик сказал однажды, вздохнув глубоко:

– Бабушки, должно быть, все очень хорошие, – у нас тоже хорошая была...

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma

Он так часто и грустно говорил: было, была, бывало, точно прожил на земле сто лет, а не одиннадцать. У него были, помню, узкие ладони, тонкие пальцы, и весь он – тонкий, хрупкий, а глаза – очень ясные, но кроткие, как огоньки лампадок церковных. И братья его были тоже милые, тоже вызвали широкое доверчивое чувство к ним, – всегда хотелось сделать для них приятное, но старший больше нравился мне.

Увлечённый разговором, я часто не замечал, как появлялся дядя Пётр и разгонял нас тягучим возгласом:

– О-опя-ать?

Я видел, что с ним всё чаще повторяются припадки угрюмого оцепенения, даже научился заранее распознавать, в каком духе он возвращается с работы: обычно он отворял ворота не торопясь, петли их визжали длительно и лениво, если же извозчик был не в духе, петли взвизгивали кратко, точно охая от боли.

Его немой племянник уехал в деревню жениться; Пётр жил один над конюшней, в низенькой конуре с крошечным окном, полной густым запахом прелой кожи, дёгтя, пота и табака, – из-за этого запаха я никогда не ходил к нему в жилище. Спал он теперь не гася лампу, что очень не нравилось деду.

– Гляди, сожжёшь ты меня, Пётр!

– Никак, будь покоен! Я огонь на ночь в чашку с водой ставлю, – отвечал он, глядя в сторону.

Он теперь вообще смотрел всё как-то вбок и давно перестал посещать бабушкины вечера; не угощал вареньем, лицо его ссохлось, морщины стали глубже, и ходил он качаясь, загребая ногами, как больной.

Однажды, в будний день, поутру, я с дедом разгребал на дворе снег, обильно выпавший за ночь – вдруг щеколда калитки звучно, по-особенному, щёлкнула, на двор вошёл полицейский, прикрыл калитку спиной и поманил деда толстым серым пальцем. Когда дед подошёл, полицейский наклонил к нему носатое лицо и, точно долбя лоб деда, стал неслышно говорить о чём-то, а дед торопливо отвечал:

– Здесь! Когда? Дай бог память...

И вдруг, смешно подпрыгнув, он крикнул:

– Господи помилуй, неужто?

– Тише, – строго сказал полицейский.

Дед оглянулся, увидал меня.

– Прибери лопаты да ступай домой!

Я спрятался за угол, а они пошли в конуру извозчика, полицейский снял с правой руки перчатку и хлопал ею по ладони левой, говоря:

– Он – понимает; лошадь бросил, а сам – скрылся вот...

Я побежал в кухню рассказать бабушке все, что видел и слышал, она месила в квашне тесто на хлебы, покачивая опылённой головою, выслушав меня, она спокойно сказала:

– Украл, видно, чего-нибудь... Иди гуляй, что тебе!

Когда я снова выскочил во двор, дед стоял у калитки, сняв картуз, и крестился, глядя в небо. Лицо у него было сердитое, ошетилившееся, и одна нога дрожала.

– Я сказал – пошёл домой! – крикнул он мне, притопнув.

И сам пошёл за мною, а войдя в кухню, позвал:

– Подь-ка сюда, мать!

Они ушли в соседнюю комнату, долго шептались там, и, когда бабушка снова пришла в кухню, мне стало ясно, что случилось что-то страшное.

– Ты чего испугалась?

– Молчи знай, – тихонько ответила она.

Весь день в доме было нехорошо, боязно; дед и бабушка тревожно переглядывались, говорили тихонько и непонятно, краткими словами, которые ещё более сгущали тревогу.

– Ты, мать, зажги-ко лампадки везде, – приказывал дед, покашливая.

Обедали нехотя, но торопливо, точно ожидая кого-то; дед устало надувал щёки, крякал и ворчал:

– Силён дьявол противу человека! Ведь вот и благочестив будто и церковник, а – на-ко ты, а?

Бабушка вздыхала.

Томительно долго таял этот серебристо-мутный зимний день, а в доме становилось всё беспокойней, тяжелее.

Перед вечером пришёл полицейский, уже другой, рыжий и толстый, он сидел в кухне на лавке, дремал, посапывая и кланяясь, а когда бабушка спрашивала его: «Как же это дознались?» – он отвечал не сразу и густо:

– У нас до всего дознаются, не беспокойтесь!

Помню, я сидел у окна и, нагревая во рту старинный грош, старался отпечатать на льду стекла Георгия Победоносца, поражавшего змея.

Вдруг в сенях тяжко зашумело, широко распахнулась дверь, и Петровна оглушительно крикнула с порога:

– Смотрите, что у вас на задах-то!

Увидав будочника, она снова метнулась в сени, но он схватил её за юбку и тоже испуганно заорал:

– Постой, – кто такая? Чего глядеть?

Запнувшись за порог, она упала на колени и начала кричать, захлёбываясь словами и слезами:

– Иду коров доить, вижу: что это у Кашириных в саду вроде сапога?

Тут яростно закричал дед, топая ногами:

– Врёшь, дура! Не могла ты ничего в саду видеть, забор высокий, щелей в нём нет, врешь! Ничего у нас нет!

– Батюшка! – выла Петровна, протягивая одну руку к нему, а другой держась за голову. – Верно, батюшка, вру ведь я! Иду я, а к вашему забору следы, и снег обмят в одном месте, я через забор и заглянула, и вижу – лежит он...

– Кто-о?

Этот крик длился страшно долго, и ничего нельзя было понять в нём; но вдруг все, точно обезумев, толкая друг друга, бросились вон из кухни, побежали в сад, – там в яме, мягко выстланной снегом, лежал дядя Пётр, прислонясь спиной к обгорелому бревну, низко свесив голову на грудь. Под правым ухом у него была глубокая трещина, красная, словно рот; из неё, как зубы, торчали синеватые кусочки; я прикрыл глаза со страха и сквозь ресницы видел в коленях Петра знакомый мне шорный нож, а около него скрюченные, тёмные пальцы правой руки; левая была отброшена прочь и утонула в снегу. Снег под извозчиком обтаял, его маленькое

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
тело глубоко опустилось в мягкий, светлый пух и стало ещё более детским. С правой стороны от него на снегу краснел странный узор, похожий на птицу, а с левой снег был ничем не тронут, гладок и ослепительно светел. Покорно склонённая голова упиралась подбородком в грудь, примяв густую курчавую бороду, на голой груди в красных потоках застывшей крови лежал большой медный крест. От шума голосов тяжело кружилась голова; непрерывно кричала Петровна, кричал полицейский, посылая куда-то Валея, дед кричал:

– Не топчите следов!

Но вдруг нахмурился и, глядя под ноги себе, громко и властно сказал полицейскому:

– А ты зря орёшь, служивый! Здесь божье дело, божий суд, а ты со своей дрянью разной, – эх вы-и!

И все сразу замолчали, все усталились на покойника, вздыхая, крестясь.

Со двора в сад бежали какие-то люди, они лезли через забор от Петровны, падали, урчали, но всё-таки было тихо до поры, пока дед, оглянувшись вокруг, не закричал в отчаянии:

– Соседи, что же это вы малинник-то ломаете, как же это не совестно вам!

Бабушка взяла меня за руку и, всхлипывая, повела в дом...

– Что он сделал? – спросил я; она ответила:

– Али не видишь...

Весь вечер до поздней ночи в кухне и комнате рядом с нею толпились и кричали чужие люди, командовала полиция, человек, похожий на дьякона, писал что-то и спрашивал, крякая, точно утка:

– Как? Как?

Бабушка в кухне угощала всех чаем, за столом сидел круглый человек, рябой, усатый, и скрипучим голосом рассказывал:

– Настоящее имя-прозвище его неизвестно, только дознано, что родом он из Елатьмы. А Немой – вовсе не немой и во всём признался. И третий признался, тут ещё третий есть. Церкви они грабили давным-давно, это главное их мастерство...

– О господи, – вздыхала Петровна, красная и мокрая.

Я лежал на полатах, глядя вниз, все люди казались мне коротенькими, толстыми и страшными...

Х

Однажды в субботу, рано утром, я ушёл в огород Петровны ловить снегирей; ловил долго, но красногрудые, важные птицы не шли в западню; поддразнивая своею красотой, они забавно расхаживали по среброкованому насту, взлетали на сучья кустарника, тепло одетые инеем, и качались на них, как живые цветы, осыпая синеватые искры снега. Это было так красиво, что неудача охоты не вызвала досаду; охотник я был не очень страстный, процесс нравился мне всегда больше, чем результат; я любил смотреть, как живут пичужки, и думать о них.

Хорошо сидеть одному на краю снежного поля, слушая, как в хрустальной тишине морозного дня щебечут птицы, а где-то далеко поёт, улетаая, колокольчик проезжей тройки, грустный жаворонок русской зимы...

Продрогнув на снегу, чувствуя, что обморозил уши, я собрал западни и клетки, перелез через забор в дедов сад и пошёл домой, – ворота на улицу были открыты, огромный мужик сводил со двора тройку лошадей, запряжённых в большие крытые сани, лошади густо курились паром, мужик весело посвистывал, – у меня дрогнуло сердце.

– Кого привёз?

Он обернулся, поглядел на меня из-под руки, вскочил на облучок и сказал:

– Попа!

Ну, это меня не касалось; если поп, то, наверное, к постояльцам.

– Эх, курочки-и! – закричал, засвистел мужик, трогая лошадей вожжами, наполнив тишину весельем; лошади дружно рванули в поле, я поглядел вслед им, прикрыл ворота, но когда вошёл в пустую кухню, рядом в комнате раздался сильный голос матери, её отчётливые слова:

– Что же теперь – убить меня надо?

Не раздеваясь, бросив клетки, я выскочил в сени, наткнулся на деда; он схватил меня за плечо, заглянул в лицо мне дикими глазами и, с трудом проглотив что-то, сказал хрипло:

– Мать приехала, ступай! Постой... – Качнул меня так, что я едва устоял на ногах, и толкнул к двери в комнату: – Иди, иди...

Я ткнулся в дверь, обитую войлоком и клеёнкой, долго не мог найти скобу, шаря дрожащими от холода и волнения руками, наконец тихонько открыл дверь и остановился на пороге, ослеплённый.

– Вот он, – говорила мать. – Господи, какой большущий! Что, не узнаёшь? Как вы его одеваете, ну уж... Да у него уши белые! Мамаша, дайте гусяного сала скорей...

Она стояла среди комнаты, наклонясь надо мною, сбрасывая с меня одежду, повёртывая меня, точно мяч; её большое тело было окутано тёплым и мягким красным платьем, широким, как мужицкий чапан, его застёгивали большие чёрные пуговицы от плеча и – наискось – до подола. Никогда я не видел такого платья.

Лицо её мне показалось меньше, чем было прежде, меньше и блее, а глаза выросли, стали глубже и волосы золотистее. Раздевая меня, она кидала одежду к порогу, её малиновые губы брезгливо кривились, и всё звучал командующий голос:

– Что молчишь? Рад? Фу, какая грязная рубашка...

Потом она растирала мне уши гусиным салом; было больно, но от неё исходил освежающий, вкусный запах, и это уменьшало боль. Я прижимался к ней, заглядывая в глаза её, онемевший от волнения, и сквозь её слова слышал негромкий, невесёлый голос бабушки:

– Своевольник он, совсем от рук отбился, даже дедушку не боится... Эх, Варя, Варя...

– Ну, не нойте, мамаша, обойдётся!

В сравнении с матерью всё вокруг было маленькое, жалостное и старое, я тоже чувствовал себя старым, как дед. Сжимая меня крепкими коленями, приглаживая волосы тяжёлой, тёплой рукой, она говорила:

– Остричь нужно. И в школу пора. Учиться хочешь?

– Я уж выучился.

– Ещё немножко надо. Нет, какой ты крепкий, а?

И смеялась густым, греющим смехом, играя мною.

Вошёл дед, серый, ошетилившийся, с покрасневшими глазами; она отстранила меня движением руки, громко спросив:

– Ну, что же, папаша? Уезжать?

Он остановился у окна, царапая ногтем лёд на стекле, долго молчал, всё вокруг напряглось, стало жутким, и, как всегда в минуты таких напряжений, у меня по всему телу вырастали глаза, уши, странно расширялась грудь, вызывая желание

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
крикнуть.

– Лексей, поди вон, – глухо сказал дед.

– Зачем? – спросила мать, снова привлекая меня к себе.

– Никуда ты не поедешь, запрещаю..

Мать встала, проплыла по комнате, точно заревое облако, остановилась за спиной деда.

– Папаша, послушайте..

Он обернулся к ней, взвизгнув:

– Молчи!

– Ну, а кричать на меня я вам не позволяю, – тихо сказала мать.

Бабушка поднялась с дивана, грозя пальцем:

– Варвара!

А дед сел на стул, забормотал:

– Постой, я – кто? А? Как это?

И вдруг взревел не своим голосом:

– Опозорила ты меня, Варька-а!..

– Уйди, – приказала мне бабушка; я ушёл в кухню, подавленный, залез на печь и долго слушал, как за переборкой то – говорили все сразу, перебивая друг друга, то – молчали, словно вдруг уснув. Речь шла о ребёнке, рождённом матерью и отданном ею кому-то, но нельзя было понять, за что сердится дедушка: за то ли, что мать родила, не спросив его, или за то, что не привезла ему ребёнка?

Потом он вошёл в кухню встрепанный, багровый и усталый, за ним – бабушка, отирая полою кофты слёзы со щёк; он сел на скамью, опёршись руками в неё, согнувшись, вздрагивая и кусая серые губы, она опустила на колени пред ним, тихонько, но жарко говоря:

– Отец, да прости ты ей Христа ради, прости! И не эдакие сани подламываются. Али у господ, у купцов не бывает этого? Женщина – гляди какая! Ну, прости, ведь никто не праведен...

Дед откинулся к стене, смотрел в лицо ей и ворчал, криво усмехаясь, всхлипывая:

– Ну да, ещё бы! А как же? Ты кого не простишь, ты – всех простишь, ну да-а, эх вы-и...

Наклонился к ней, схватил за плечи и стал трясти её, нащёптывая быстро:

– А господь небойсь ничего не прощает, а? У могилы вот настиг, наказывает, последние дни наши, а – ни покоя, ни радости нет и – не быть! И помяни ты моё слово! – ещё нищими подохнем, нищими!

Бабушка взяла руки его, села рядом с ним и тихонько, легко засмеялась.

– Эка беда! Чего испугался – нищими! Ну, и – нищими. Ты знай сиди себе дома, а по миру-то я пойду, – небойсь мне подадут, сыты будем! Ты – брось-ка всё!

Он вдруг усмехнулся, повернул шею, точно козёл, и, схватив бабушку за шею, прижался к ней, маленький, измятый, всхлипывая:

– Эх, ду-ура, блаженная ты дура, последний мне человек! Ничего тебе, дура, не жалко, ничего ты не понимаешь! Ты бы вспомнила: али мы с тобой не работали, али я не грешил ради их, – ну, хоть бы теперь, хоть немножко бы...

Тут и я, не стерпев больше, весь вскипел слезами, соскочил с печи и бросился к ним, рыдая от радости, что вот они так говорят невиданно хорошо, от горя за них и оттого, что мать приехала, и оттого, что они равноправно приняли меня в свой плач, обнимают меня оба, тискают, кропя слезами, а дед шепчет в уши и глаза мне:

– Ах ты, бесёныш, ты тоже тут! Вот мать приехала, теперь ты с ней будешь, дедушку-то, старого чёрта, злого, – прочь теперь, а? Бабушку-то, потатчицу, баловницу, – прочь? Эх вы-и...

Развёл руками, отстраняя нас, и встал, сказав громко, сердито:

– Отходят все, всё в сторону норовят – всё врозь идёт... Ну, зови её, что ли! Скорее уж...

Бабушка пошла вон из кухни, а он, наклоня голову, сказал в угол:

– Всемиловитый господи, ну – вот, видишь вот!

И крепко, гулко ударил себя кулаком в грудь; мне это не понравилось, мне вообще не нравилось, как он говорит с богом, всегда будто хвастаясь пред ним.

Пришла мать, от её красной одежды в кухне стало светлее, она сидела на лавке у стола, дед и бабушка – по бокам её, широкие рукава её платья лежали у них на плечах, она тихонько и серьёзно рассказывала что-то, а они слушали её молча, не перебивая. Теперь они оба стали маленькие, и казалось, что она – мать им.

Уставший от волнений, я крепко заснул на полатах.

Вечером старики, празднично одевшись, пошли ко всеобщей, бабушка весело подмигнула на деда, в мундире цехового старшины, в енотовой шубе и брюках навыпуск, подмигнула и сказала матери:

– Ты гляди, каков отец-то, – козлёнок чистенький!

Мать весело засмеялась.

Когда я остался с нею в её комнате, она села на диван, поджав под себя ноги, и сказала, хлопнув ладонью рядом с собою:

– Иди ко мне! Ну, как ты живёшь – плохо, а?

Как я жил?

– Не знаю.

– Дедушка бьёт?

– Теперь – не очень уж.

– Да? Ты расскажи мне, что хочешь, – ну?

Рассказывать о дедушке не хотелось, я начал говорить о том, что вот в этой комнате жил очень милый человек, но никто не любил его, и дед отказал ему от квартиры. Видно было, что эта история не понравилась ей, она сказала:

– Ну, а ещё что?

Я рассказал о трёх мальчиках, о том, как полковник прогнал меня со двора, – она обняла меня крепко.

– Экая дрянь...

И замолчала, прищурясь, глядя в пол, качая головой. Я спросил:

– За что дед сердился на тебя?

– Я пред ним виновата.

– А ты бы привезла ему ребёнка-то...

Она откачнулась, нахмурилась, закусив губы, и – захохотала, тиская меня.

– Ах ты, чудовище! Ты – молчи об этом, слышишь? Молчи и – не думай даже!

Долго говорила что-то тихо, строго и непонятно, потом встала и начала ходить, стучая пальцами о подбородок, двигая густыми бровями.

На столе горела, оплывая и отражаясь в пустоте зеркала, сальная свеча, грязные тени ползали по полу, в углу перед образом теплилась лампада, ледяное окно серебрил лунный свет. Мать оглядывалась, точно искала что-то на голых стенах, на потолке.

– Ты когда ложишься спать?

– Немножко погодя.

– Впрочем, ты днём спал, – вспомнила она и вздохнула. Я спросил:

– Ты уйти хочешь?

– Куда же? – удивлённо откликнулась она и, приподняв голову мою, долго смотрела мне в лицо, так долго, что у меня слёзы выступили на глазах.

– Ты что это?

– Шею больно.

Было больно и сердцу, я сразу почувствовал, что не будет она жить в этом доме, уйдёт.

– Ты будешь похож на отца, – сказала она, откидывая ногами половики в сторону. – Бабушка рассказывала тебе про него?

– Да.

– Она очень любила Максима, – очень! И он её тоже...

– Я знаю.

Мать посмотрела на свечу, поморщилась и погасила её, сказав:

– Так лучше!

Да, так свежее и чище, перестали возиться тёмные, грязные тени, на пол легли светло-голубые пятна, золотые искры загорелись на стёклах окна.

– А где ты жила?

Словно вспоминая давно забытое, она назвала несколько городов и всё кружилась по комнате бесшумно, как ястреб.

– А где ты взяла такое платье?

– Сама сшила. Я всё себе делаю сама.

Было приятно, что она ни на кого не похожа, но грустно, что говорит она мало, а если не спрашивать её, так она и совсем молчит.

Потом она снова села ко мне на диван, и мы сидели молча, близко прижавшись друг к другу, до поры, пока не пришли старики, пропитанные запахом воска, ладана, торжественно тихие и ласковые.

Ужинали празднично, чинно, говорили за столом мало и осторожно, словно боясь разбудить чей-то чуткий сон.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma

Вскоре мать начала энергично учить меня «гражданской» грамоте: купила книжки, и по одной из них – «Родному слову» – я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати, но мать тотчас же предложила мне заучивать стихи на память, и с этого начались наши взаимные огорчения.

Стихи говорили:

Большая дорога, прямая дорога,
Простора немало берёшь ты у бога...
Тебя не ровняли топор и лопата,
Мягка ты копыту и пылью богата.

Я читал «простого» вместо «простора», «рубил» вместо «ровняли», «копыта» вместо «копыту».

– Ну, подумай, – внушала мать, – чего – простого? Чудовище! Про-сто-ра, понимаешь?

Я понимал и всё-таки читал «простого», сам себе удивляясь.

Она говорила, сердясь, что я бестолков и упрям; это было горько слышать, я очень добросовестно старался вспомнить проклятые стихи и мысленно читал их без ошибок, но, читая вслух, – неизбежно перевирал. Я возненавидел эти неуловимые строки и стал, со зла, нарочно коверкать их, нелепо подбирая в ряд однозвучные слова; мне очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла.

Но эта забава не прошла даром: однажды, после удачного урока, когда мать спросила, выучены ли наконец стихи, я, помимо воли, забормотал:

Дорога, двурога, творог, недорога,
Копыта, попы-то, корыто...

Опомнился я поздно: мать, упиравшись руками в стол, поднялась и спросила отдельно:

– Это что такое?

– Не знаю, – сказал я, обомлев.

– Нет, всё-таки?

– Это – так.

– Что – так?

– Смешно.

– Поди в угол.

– Зачем?

Она тихо, но грозно повторила:

– В угол!

– В какой?

Не ответив, она смотрела в лицо мне так, что я окончательно растерялся, не понимая – чего ей надо? В углу под образами торчал круглый столик, на нём ваза с пахучими сухими травами и цветами, в другом переднем углу стоял сундук, накрытый ковром, задний угол был занят кроватью, а четвёртого – не было, косяк двери стоял вплоть к стене.

– Я не знаю, что тебе надо, – сказал я, отчаявшись понять её.

Она опустила голову, помолчала, потирая лоб и щёки, потом спросила:

- Тебя дедушка ставил в угол?
- Когда?
- Вообще, когда-нибудь! – крикнула она, ударив дважды ладонью по столу.
- Нет. Не помню.
- Ты знаешь, что это наказание – стоять в углу?
- Нет. Почему – наказание?

Она вздохнула.

- Ф-фу! Поди сюда.

Я подошел, спросив её:

- Зачем ты кричишь на меня?
- А ты зачем нарочно перевираешь стихи?

Как умел, я объяснил ей, что вот, закрыв глаза, я помню стихи, как они напечатаны, но если буду читать – подвернутся другие слова.

- Ты не притворяешься?

Я ответил – нет, но тотчас подумал: «А может быть, притворяюсь?» И вдруг не спеша прочитал стихи совершенно правильно; это меня удивило и уничтожило.

Чувствуя, что лицо моё вдруг точно распухло, а уши налились кровью, отяжелели и в голове неприятно шумит, я стоял перед матерью, сгорая в стыде, и сквозь слёзы видел, как печально потемнело её лицо, сжались губы, сдвинулись брови.

- Как же это? – спросила она чужим голосом. – Значит – притворялся?
- Не знаю. Я не хотел...
- Трудно с тобой, – сказала она, опуская голову. – Ступай!

Она стала требовать, чтоб я всё больше заучивал стихов, а память моя всё хуже воспринимала эти ровные строки, и всё более росло, всё злее становилось непобедимое желание переиначить, исказить стихи, подобрать к ним другие слова; это удавалось мне легко – ненужные слова являлись целыми роями и быстро спутывали обязательное, книжное. Часто бывало, что целая строка становилась для меня невидимой, и как бы честно я ни старался поймать её, она не давалась зрению памяти. Много огорчений принесло мне жалобное стихотворение – кажется, князя Вяземского:

И вечерней и ранней порою
Много старцев, и вдов, и сирот
Христа ради на помощь зовёт, –
а третью строку

под окошками ходят с сумою
я аккуратно пропускал. Мать, негодуя, рассказывала о моих подвигах деду; он зловеще говорил:

- Балует! Память у него есть: молитвы он твёрже моего знает. Врёт, память у него – каменная, коли что высечено на ней, так уж крепко! Ты – выпори его!

Бабушка тоже уличала меня:

- Сказки – помнит, песни – помнит, а песни – не те ли же стихи?

Всё это было верно, я чувствовал себя виноватым, но как только принимался учить стихи – откуда-то сами собою являлись, ползли тараканами другие слова и тоже

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax строились в строки.

Как у наших у ворот
Много старцев и сирот
Ходят, ноют, хлеба просят,
Наберут – Петровне носят,
Для коров ей продают
И в овраге водку пьют.

Ночью, лёжа с бабушкой на полатях, я надоедно твердил ей всё, что помнил из книг, и всё, что сочинял сам; иногда она хохотала, но чаще журила меня:

– Ведь вот, знаешь ты, можешь! А над нищими не надо смеяться, господь с ними! Христос был нищий и все святые тоже...

Я бормотал:

Не люблю нищих
И дедушку – тоже,
Как тут быть?
Прости меня, боже!
Дед всегда ищет,
За что меня бить...

– Что ты говоришь, отсохни твой язык! – сердилась бабушка. – Да как услышит дед эти твои слова!

– Пускай!

– Напрасно ты озорничаешь да сердись мать! Ей и без тебя не больно хорошо, – задумчиво и ласково уговаривала бабушка.

– Отчего ей нехорошо?

– Молчи знай! Не понять тебе...

– Я знаю, это дедушка её...

– Молчи, говорю!

Мне жилось плохо, я испытывал чувство, близкое к отчаянию, но почему-то мне хотелось скрыть его, я бойчился, озорничал. Уроки матери становились всё обильнее, непонятней, я легко одолевал арифметику, но терпеть не мог писать и совершенно не понимал грамматики. Но главное, что угнетало меня, – я видел, чувствовал, как тяжело матери жить в доме деда; она всё более хмурилась, смотрела на всех чужими глазами, она подолгу молча сидела у окна в сад и как-то выцветала вся. Первые дни по приезде она была ловкая, свежая, а теперь под глазами у неё легли тёмные пятна, она целыми днями ходила непричесанная, в измятом платье, не застегнув кофту, это её портило и обижало меня: она всегда должна быть красивая, строгая, чисто одетая – лучше всех!

Во время уроков она смотрела углублёнными глазами через меня – в стену, в окно, спрашивала меня усталым голосом, забывала ответы и всё чаще сердилась, кричала – это тоже обидно: мать должна быть справедлива больше всех, как в сказках.

Иногда я спрашивал её:

– Тебе нехорошо с нами?

Она сердито откликнулась:

– Делай своё дело.

Я видел также, что дед готовит что-то, пугающее бабушку и мать. Он часто запирался в комнате матери и ныл, взвизгивал там, как неприятная мне деревянная дудка кривобокого пастуха Никанора. Во время одной из таких бесед мать крикнула на весь дом:

– Этого не будет, нет!

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
И хлопнула дверь, а дед – завыл.

Это было вечером; бабушка, сидя в кухне у стола, шила деду рубаху и шептала что-то про себя. Когда хлопнула дверь, она сказала, прислушавшись:

– К постояльцам ушла, о господи!

Вдруг в кухню вскочил дед, подбежал к бабушке, ударил её по голове и зашипел, раскачивая ушибленную руку.

– Не болтай чего не надо, ведьма!

– Старый ты дурак, – спокойно сказала бабушка, поправляя сбитую головку. – Буду я молчать, как же! Всегда всё, что узнаю про затеи твои, скажу ей...

Он бросился на неё и стал быстро колотить кулаками по большой голове бабушки; не защищаясь, не отталкивая его, она говорила:

– Ну, бей, бей, дурачок! Ну, на, бей!

Я, с полатей, стал бросать в них подушки, одеяла, сапоги с печи, но разъярённый дед не замечал этого, бабушка же свалилась на пол, он бил голову её ногами, наконец споткнулся и упал, опрокинув ведро с водой. Вскочил, отплёвываясь и фыркая, дико оглянулся и убежал к себе на чердак; бабушка поднялась, охая, села на скамью, стала разбирать спутанные волосы. Я соскочил с полатей, она сказала мне сердито:

– Подбери подушки и всё да поклади на печь! Надумал тоже: подушками швырять! Твоё это дело? И тот, старый бес, разошёлся, – дурак!

Вдруг она охнула, сморщилась и, наклоня голову, позвала меня:

– Взгляни-ка, чего это больно тут?

Я разобрал её тяжёлые волосы, – оказалось, что глубоко под кожу ей вошла шпилька, я вытащил её, нашёл другую, у меня онемели пальцы.

– Я лучше мать позову, боюсь!

Она замахала рукой:

– Что ты? Я те позову! Слава богу, что не слышала, не видела она, а ты – на-ко! Пошел ин прочь!

И стала сама гибкими пальцами кружевницы рыться в густой чёрной гриве своей. Собравшись с духом, я помог ей вытащить из-под кожи ещё две толстые, изогнутые шпильки.

– Больно тебе?

– Ничего, завтра баню топить буду, вымоюсь – пройдет.

И стала просить меня ласково:

– А ты, голуба душа, не сказывай матери-то, что он бил меня, слышишь? Они и без того злы друг на друга. Не скажешь?

– Нет.

– Ну, помни же! Давай-ко уберём тут всё. Лицо-то избито у меня? Ну ладно, стало быть, все шито-крыто...

Она начала подтирать пол, а я сказал от души:

– Ты – ровно святая, мучают-мучают тебя, а тебе – ничего!

– Что глупости мелешь? Святая... Нашел где!

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Она долго ворчала, расхаживая на четвереньках, а я, сидя на приступке, придумывал – как бы отомстить деду за неё?

Первый раз он бил бабушку на моих глазах так гадко и страшно. Предо мною, в сумраке, пылало его красное лицо, развевались рыжие волосы: в сердце у меня жгуче кипела обида, и было досадно, что я не могу придумать достойной мести.

Но дня через два, войдя зачем-то на чердак к нему, я увидел, что он, сидя на полу пред открытой укладкой, разбирает в ней бумаги, а на стуле лежат его любимые святцы – двенадцать листов толстой серой бумаги, разделённых на квадраты по числу дней в месяце, и в каждом квадрате – фигурки всех святых дня. Дед очень дорожил этими святцами, позволяя мне смотреть их только в тех редких случаях, когда был почему-либо особенно доволен мною, а я всегда разглядывал эти тесно составленные серые маленькие и милые фигурки с каким-то особенным чувством. Я знал жития некоторых из них – Кирика и Улиты, Варвары Великомученицы, Пантелеймона и ещё многих, мне особенно нравилось грустное житие Алексея божия человека и прекрасные стихи о нём: их часто и трогательно читала мне бабушка. Смотришь, бывало, на сотни этих людей и тихо утешаешься тем, что всегда были мученики.

Но теперь я решил изрезать эти святцы, и, когда дед отошёл к окошку, читая синюю, с орлами, бумагу, я схватил несколько листов, быстро сбежал вниз, стащил ножницы из стола бабушки и, забравшись на полати, принялся отстригать святым головы. Обезглавил один ряд, и – стало жалко святцы; тогда я начал резать по линиям, разделявшим квадраты, но не успел искрошить второй ряд – явился дедушка, встал на приступок и спросил:

– Тебе кто позволил святцы взять?

Увидав квадратики бумаги, рассеянные по доскам, он начал хватать их, подносил к лицу, бросал, снова хватал, челюсть у него скривилась, борода прыгала, и он так сильно дышал, что бумажки слетали на пол.

– Что ты сделал? – крикнул он наконец и за ногу дёрнул меня к себе; я перевернулся в воздухе, бабушка подхватила меня на руки, а дед колотил кулаком её, меня и визжал:

– Убью-у!

Явилась мать, я очутился в углу, около печи, а она, загораживая меня, говорила, ловя и отталкивая руки деда, летавшие пред её лицом:

– Что за безобразие? Опомнитесь!..

Дед повалился на скамью, под окно, завывая:

– Убили! Все, все против меня, а-а...

– Как вам не стыдно? – глухо звучал голос матери. – Что вы всё притворяетесь?

Дед кричал, бил ногами по скамье, его борода смешно торчала в потолок, а глаза были крепко закрыты; мне тоже показалось, что ему – стыдно матери, что он – действительно притворяется, оттого и закрыл глаза.

– Наклею я вам эти куски на коленкор, ещё лучше будет, прочнее, – говорила мать, разглядывая обрезки и листы. – Видите – измято всё, слежалось, рассыпается...

Она говорила с ним, как со мною, когда я, во время уроков, не понимал чего-либо, и вдруг дедушка встал, деловито оправил рубаху, жилет, отхаркнулся и сказал:

– Сегодня же и наклей! Я тебе сейчас остальные листы принесу...

Пошёл к двери, но у порога обернулся, указывая на меня кривым пальцем:

– А его надо сечь!

– Следует, – согласилась мать, наклонясь ко мне. – Зачем ты сделал это?

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
– я – нарочно. Пусть он не бьёт бабушку, а то я ему ещё бороду отстригу...

Бабушка, снимавшая разорванную кофту, укоризненно сказала, покачивая головою:

– Промолчал, как обещано было!

И плюнула на пол:

– Чтоб у тебя язык вспух, не пошевелить бы тебе его, не поворотить!

Мать поглядела на неё, прошлась по кухне, снова подошла ко мне.

– Когда он её бил?

– А ты, Варвара, постыдилась бы, чай, спрашивать об этом, твое ли дело? – сердито сказала бабушка.

Мать обняла её.

– Эх, мамаша, милая вы моя...

– Вот те и мамаша! Отойди-ка...

Они поглядели друг на друга и замолчали, разошлись: в сенях топал дед.

В первые же дни по приезде мать подружилась с весёлой постоялкой, женой военного, и почти каждый вечер уходила в переднюю половину дома, где бывали и люди от Бетленга – красивые барыни, офицера. Дедушке это не нравилось, не однажды, сидя в кухне, за ужином, он грозил ложкой и ворчал:

– Окаянные, опять собрались! Теперь до утра уснуть не дадут.

Скоро он попросил постояльцев очистить квартиру, а когда они уехали – привёз откуда-то два воза разной мебели, расставил её в передних комнатах и запер большим висячим замком:

– Не надобно нам стояльцев, я сам гостей принимать буду!

И вот, по праздникам, стали являться гости: приходила сестра бабушки Матрена Ивановна, большеносая крикливая прачка, в шёлковом полосатом платье и золотистой головке, с нею – сыновья: Василий – чертёжник, длинноволосый, добрый и веселый, весь одетый в серое; пёстрый Виктор, с лошадиной головою, узким лицом, обрызганный веснушками, – ещё в сенях, снимая галоши, он напевал пискляво, точно Петрушка:

– Андрей-папа, Андрей-папа...

Это очень удивляло и пугало меня.

Приезжал дядя Яков с гитарой, привозил с собою кривого и лысого часовых дел мастера, в длинном чёрном сюртуке, тихонького, похожего на монаха. Он всегда садился в угол, наклонял голову набок и улыбался, странно поддерживая её пальцем, воткнутым в бритый раздвоенный подбородок. Был он тёмненький, его единый глаз смотрел на всех как-то особенно пристально; говорил этот человек мало и часто повторял одни и те же слова:

– Не утруждайтесь, всё равно-с...

Когда я увидел его впервые, мне вдруг вспомнилось, как однажды, давно, ещё во время жизни на Новой улице, за воротами гулко и тревожно били барабаны, по улице, от острога на площадь, ехала, окружённая солдатами и народом, чёрная высокая телега, и на ней – на скамье – сидел небольшой человек в суконной круглой шапке, в цепях; на грудь ему повешена чёрная доска с крупной надписью белыми словами, – человек свесил голову, словно читая надпись, и качался весь, позванивая цепями. И когда мать сказала часовых дел мастеру: «Вот мой сын», – я испуганно попятился прочь от него, спрятав руки.

– Не утруждайтесь, – сказал он, страшно передвинув весь рот к правому уху,

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
охватил меня за пояс, привлёк к себе, быстро и легко повернул кругом и отпустил, одобряя:

– Ничего, мальчик крепкий...

Я забрался в угол, в кожаное кресло, такое большое, что в нём можно было лежать, – дедушка всегда хвастался, называя его креслом князя Грузинского, – забрался и смотрел, как скучно веселятся большие, как странно и подозрительно изменяется лицо часовых дел мастера. Оно у него было масляное, жидкое, таяло и плавало; если он улыбался, толстые губы его съезжали на правую щёку, и маленький нос тоже ездил, как пельмень по тарелке. Странно двигались большие, оттопыренные уши, то приподнимаясь вместе с бровью зрячего глаза, то сдвигаясь на скулы, – казалось, что если он захочет, то может прикрыть ими свой нос, как ладонями. Иногда он, вздохнув, высовывал тёмный, круглый, как пест, язык и, ловко делая им правильный круг, гладил толстые масляные губы. Всё это было не смешно, а только удивляло, заставляя неотрывно следить за ним.

Пили чай с ромом, – он имел запах жжёных луковых перьев; пили бабушкины наливки, жёлтую, как золото, тёмную, как деготь, и зелёную; ели ядрёный варенец, сдобные медовые лепёшки с маком, потели, отдувались и хвалили бабушку. Наевшись, красные и вспухшие, чинно рассаживались по стульям, лениво уговаривали дядю Якова поиграть.

Он сгибался над гитарой и тренькал, неприятно, назойливо подпевая:

Эх, пожили, как умели,
На весь город нашумели, –
Ба-арыне из Казани
Всё подробно рассказали..
Мне думалось, что это очень грустная песня, а бабушка говорила:

– Ты бы, Яша, другое что играл, верную бы песню, а? Помнишь, Мотря, какие, бывало, песни-то пели?

Оправляя шумящее платье, прачка внушительно говорила:

– Нынче, матушка, другая мода...

Дядя смотрел на бабушку прищурясь, как будто она сидела очень далеко, и продолжал настойчиво сеять невесёлые звуки, навязчивые слова.

Дед таинственно беседовал с мастером, показывая ему что-то на пальцах, а тот, приподняв бровь, глядел в сторону матери, кивал головою, и жидкое его лицо неуловимо переливалось.

Мать сидела всегда между Сергеевыми, тихонько и серьёзно разговаривая с Васильем; он вздыхал, говоря:

– Да-а, над этим надо думать...

А Виктор сыто улыбался, шаркал ногами и вдруг пискляво пел:

Андрей-папа, Андрей-папа...

Все, удивлённо примолкнув, смотрели на него, а прачка важно объясняла:

– Это он из киятра взял, это там поют...

Было два или три таких вечера, памятных своей давящей скукой, потом часовых дел мастер явился днём, в воскресенье, тотчас после поздней обедни. Я сидел в комнате матери, помогая ей разнيزывать изорванную вышивку бисером, неожиданно и быстро открылась дверь, бабушка сунула в комнату испуганное лицо и тотчас исчезла, громко шепнув:

– Варя – пришёл!

Мать не пошевелилась, не дрогнула, а дверь снова открылась, на пороге встал дед и сказал торжественно:

– Одевайся, Варвара, иди!

Не вставая, не глядя на него, мать спросила:

– Куда?

– Иди, с богом! Не спорь. Человек он спокойный, в своём деле – мастер и Лексею – хороший отец...

Дед говорил необычно важно и всё гладил ладонями бока свои, а локти у него вздрагивали, загибаясь за спину, точно руки его хотели вытянуться вперёд, и он боролся против них.

Мать спокойно перебила:

– Я вам говорю, что этому не бывать...

Он шагнул к ней, вытянул руки, точно ослепший, нагибаясь, оцетинившись, и захрипел:

– Иди! А то – поведу! За косы...

– Поведёте? – спросила мать, вставая; лицо у неё побелело, глаза жутко сузились, она быстро стала срывать с себя кофту, юбку и, оставшись в одной рубашке, подошла к деду: – Ведите!

Он оскалил зубы, грозя ей кулаком:

– Варвара, одевайся!

Мать отстранила его рукою, взялась за скобу двери:

– Ну, идёте!

– Проклянну, – шёпотом сказал дед.

– Не боюсь. Ну?

Она отворила дверь, но дед схватил её за подол рубахи, припал на колени и зашептал:

– Варвара, дьявол, погибнешь! Не срами...

И тихонько, жалобно заныл:

– Ма-ать, ма-ать...

Бабушка уже загородила дорогу матери, махая на неё руками, словно на курицу, она загоняла её в дверь и ворчала сквозь зубы:

– Варька, дура, – что ты? Пошла, бесстыдница!

Втолкнув её в комнату, заперла дверь на крюк и наклонилась к деду, одной рукой поднимая его, другой грозя:

– У-у, старый бес, бестолковый!

Посадила его на диван, он шлёпнулся, как тряпичная кукла, открыл рот и замотал головой; бабушка крикнула матери:

– Оденься, ты!

Поднимая с пола платье, мать сказала:

– Я не пойду к нему, – слышите?

Бабушка столкнула меня с дивана:

– Принеси ковш воды, скорей!

Говорила она тихо, почти шёпотом, спокойно и властно. Я выбежал в сени, в передней половине дома мерно топали тяжёлые шаги, а в комнате матери прогудел её голос:

– Завтра уеду!

Я вошел в кухню, сел у окна, как во сне.

Стонал и всхлипывал дед, ворчала бабушка, потом хлопнула дверь, стало тихо и жутко. Вспомнив, зачем меня послали, я зачерпнул медным ковшом воды, вышел в сени – из передней половины явился часовых дел мастер, нагнув голову, глядя рукою меховую шапку и крикая. Бабушка, прижав руки к животу, кланялась в спину ему и говорила тихонько:

– Самы знаете – насильно мил не будешь...

Он запнулся за порог крыльца и выскочил на двор, а бабушка перекрестилась и задрожала вся, не то молча заплакав, не то – смеясь.

– Что ты? – спросил я, подбежав.

Она вырвала у меня ковш, облив мне ноги и крикнув:

– Это куда же ты за водой-то ходил? Запри дверь!

И ушла в комнату матери, а я – снова в кухню, слушать, как они, рядом, охают, стонут и ворчат, точно передвигая с места на место непосильные тяжести.

День был светлый; в два окна, сквозь ледяные стёкла, смотрели косые лучи зимнего солнца; на столе, убранном к обеду, тускло блестела оловянная посуда, графин с рыжим квасом и другой с тёмно-зелёной дедовой водкой, настоящей на буквице и зверобое. В проталины окон был виден ослепительно сверкающий снег на крышах, искрились серебряные чепчики на столбах забора и скворешне. На косяках окон, в клетках, пронизанных солнцем, играли мои птицы: щебетали весёлые, ручные чижи, скрипели снегири, заливался щегол. Но весёлый, серебряный и звонкий этот день не радовал, был ненужен, и всё было ненужно. Мне захотелось выпустить птиц, я стал снимать клетки – вбежала бабушка, хлопая себя руками по бокам, и бросилась к печи, ругаясь:

– А, окаянные, раздуй вас горой! Ах ты, дура старая, Акулина...

Вытащила из печи пирог, постучала пальцем по корке и озлобленно плюнула.

Ну – засох! Вот те и разогрела! Ах, демоны, чтоб вас разорвало всех! Ты чего вытаращил буркалы, сыч? Так бы всех вас и перебила, как худые горшки!

И – заплакала, надувшись, переворачивая пирог со стороны на сторону, стучая пальцами по сухим коркам, большие слёзы грузно шлёпались на них.

В кухню вошли дед с матерью; она швырнула пирог на стол так, что тарелки подпрыгнули.

– Вот, глядите, что сделалось из-за вас, ни дна бы вам, ни покрывки!

Мать, весёлая и спокойная, обняла её, уговаривая не огорчаться; дедушка, измятый, усталый, сел за стол и, навязывая салфетку на шею, ворчал, щуря от солнца затёкшие глаза:

– Ладно, ничего! Едали и хорошие пироги. Господь – скуповат, он за года минутами платит... Он процента не признает. Садись-ка, Варя... ладно!

Он был словно безумен, всё время обеда говорил о боге, о нечестивом Ахаве, о тяжёлой доле быть отцом – бабушка сердито останавливала его:

– А ты – ешь знай!

Мать шутила, сверкая ясными глазами.

– Что, испугался давеча? – спросила она, толкнув меня.

Нет, я не очень испугался тогда, но теперь мне было неловко, непонятно.

Ели они, как всегда по праздникам, утомительно долго, много, и казалось, что это не те люди, которые полчаса тому назад кричали друг на друга, готовые драться, кипели в слезах и рыданиях. Как-то не верилось уже, что всё это они делали серьёзно и что им трудно плакать. И слёзы, и крики их, и все взаимные мучения, вспыхивая часто, угасая быстро, становились привычны мне, всё меньше возбуждали меня, всё слабее трогали сердце.

Долго спустя я понял, что русские люди, по нищете и скудости жизни своей, вообще любят забавляться горем, играют им, как дети, и редко стыдятся быть несчастными.

В бесконечных буднях и горе – праздник, и пожар – забава; на пустом лице и царапина – украшение...

XI

После этой истории мать сразу окрепла, туго выпрямилась и стала хозяйкой в доме, а дед сделался незаметен, задумчив, тих непохоже на себя.

Он почти перестал выходить из дома, всё сидел одиноко на чердаке, читал таинственную книгу «Записки моего отца». Книгу эту он держал в укладке под замком, и не однажды я видел, что прежде, чем вынуть её, дед моет руки. Она была коротенькая, толстая, в рыжем кожаном переплёте; на синеватом листе пред титулом красовалась фигурная надпись выцветшими чернилами: «Почтенному Василию Каширину с благодарностью на сердечную память», подписана была какая-то странная фамилия, а росчерк изображал птицу в полёте. Открыв осторожно тяжёлую корку переплёта, дед надевал очки в серебряной оправе и, глядя на эту надпись, долго двигал носом, прилаживая очки. Я не раз спрашивал его – что это за книга? – он внушительно отвечал:

– Этого тебе не нужно знать. Погоди, помру – откажу тебе. И шубу енотовую тебе откажу.

Он стал говорить с матерью мягче и меньше, её речи слушал внимательно, поблёскивая глазами, как дядя Пётр, и ворчал, отмахиваясь:

– Ну, ладно! Делай, как хошь...

В сундуках у него лежало множество диковинных нарядов: штофные юбки, атласные душегреи, шёлковые сарафаны, тканые серебром, кики и кокошники, шитые жемчугами, головки и косынки ярких цветов, тяжёлые мордовские мониста, ожерелья из цветных камней; он сносил всё это охапками в комнаты матери, раскладывал по стульям, по столам, мать любовалась нарядами, а он говорил:

– В наши-те годы одежда куда красивей да богаче нынешней была! Одежда богаче, а жили – проще, ладнее. Прошли времена, не воротятся! Ну, примеряй, рядись...

Однажды мать ушла ненадолго в соседнюю комнату и явилась оттуда одетая в синий, шитый золотом сарафан, в жемчужную кикку; низко поклонясь деду, она спросила:

– Ладно ли, сударь-батюшка?

Дед крякнул, весь как-то заблестел, обошёл кругом её, разводя руками, шевеля пальцами, и сказал невнятно, точно сквозь сон:

– Эх, кабы тебе, Варвара, большие деньги да хорошие бы около тебя люди...

Теперь мать жила в двух комнатах передней половины дома, у неё часто бывали гости, чаще других братья Максимовы: Пётр, мощный красавец офицер с большущей светлой бородой и голубыми глазами, – тот самый, при котором дед высек меня за оплевание старого барина; Евгений, тоже высокий, тонконогий, бледнолицый, с чёрной острой бородкой. Его большие глаза были похожи на сливы, одевался он в зеленоватый мундир с золотыми пуговицами и золотыми вензелями на узких плечах.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru
Он часто и ловко взмахивал головою, отбрасывая с высокого, гладкого лба волнистые, длинные волосы, снисходительно улыбался и всегда рассказывал о чем-то глуховатым голосом, начиная речь вкрадчивыми словами:

– Видите ли, как я думаю..

Мать слушала его прищурившись, усмехаясь и часто прерывала:

– Ребёнок вы, Евгений Васильевич, извините..

Офицер, хлопая себя широкой ладонью по колену, кричал:

– Именно же-ребёнок..

Шумно и весело прошли святки, почти каждый вечер у матери бывали ряженые, она сама рядилась – всегда лучше всех – и уезжала с гостями.

Каждый раз, когда она с пёстрой ватагой гостей уходила за ворота, дом точно в землю погружался, везде становилось тихо, тревожно-скучно. Старой гусыней плавала по комнатам бабушка, приводя всё в порядок, дед стоял, прижавшись спиной к тёплым изразцам печи, и говорил сам себе:

– Ну, – ладно, хорошо.. Поглядим, что за дым..

После святок мать отвела меня и Сашу, сына дяди Михайла, в школу. Отец Саши женился, мачеха с первых же дней невзлюбила пасынка, стала бить его, и, по настоянию бабушки, дед взял Сашу к себе. В школу мы ходили с месяц времени, из всего, что мне было преподано в ней, я помню только, что на вопрос: «Как твоя фамилия?» – нельзя ответить просто: «Пешков», – а надобно сказать: «Моя фамилия – Пешков». А также нельзя сказать учителю: «Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь...»

Мне школа сразу не понравилась, брат же первые дни был очень доволен, легко нашёл себе товарищей, но однажды он во время урока заснул и вдруг страшно закричал во сне:

– Не буду-у..

Разбуженный, он попросился вон из класса, был жестоко осмеян за это, и на другой день, когда мы, идя в школу, спустились в овраг на Сенной площади, он, остановясь, сказал:

– Ты – иди, а я не пойду! Я лучше гулять буду.

Присел на корточки, заботливо зарыл узел с книгами в снег и ушёл. Был ясный январский день, всюду сверкало серебряное солнце, я очень позавидовал брату, но скрепя сердце пошёл учиться, – не хотелось огорчить мать. Книги, зарытые Сашей, конечно, пропали, и на другой день у него была уже законная причина не пойти в школу, а на третий его поведение стало известно деду.

Нас привлекли к суду, – в кухне за столом сидели дед, бабушка, мать и допрашивали нас, – помню, как смешно отвечал Саша на вопросы деда:

– Как же это ты не попадаешь в училище-то?

Саша, глядя прямо в лицо деда кроткими глазами, отвечал не спеша:

– Забыл, где оно.

– Забыл?

– Да. Искал-искал..

– Ты бы за Лексеем шел, он помнит!

– Я его потерял.

– Лексея?

– Да.

– Это как же?

Саша подумал и сказал, вздохнув:

– Метель была, ничего не видно.

Все засмеялись, – погода стояла тихая, ясная. Саша тоже осторожно улыбнулся, а дедушка ехидно спрашивал, оскалив зубы:

– Ты бы за руку его держал, за пояс?

– Я – держал, да меня оторвало ветром, – объяснил Саша.

Говорил он лениво, безнадежно, мне было неловко слушать эту ненужную, неуклюжую ложь, и я очень удивлялся его упрямству.

Нас выпороли и наняли нам провожатого, бывшего пожарного, старичка со сломанной рукою, – он должен был следить, чтобы Саша не сбивался в сторону по пути к науке. Но это не помогло: на другой же день брат, дойдя до оврага, вдруг наклонился, снял с ноги валенок и метнул его прочь от себя, снял другой и бросил в ином направлении, а сам, в одних чулках, пустился бежать по площади. Старичок, охая, потрусил собирать сапоги, а затем, испуганный, повёл меня домой.

Целый день дед, бабушка и моя мать ездили по городу, отыскивая сбежавшего, и только к вечеру нашли Сашу у монастыря, в трактире Чиркова, где он увеселял публику пляской. Привезли его домой и даже не били, смущённые упрямым молчанием мальчика, а он лежал со мною на полатах, задрал ноги, шаркая подошвами по потолку, и тихонько говорил:

– Мачеха меня не любит, отец тоже не любит, и дедушка не любит, – что же я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним, – тогда вы все и узнаете... Бежим вместе?

Я не мог бежать с ним: в те дни у меня была своя задача – я решил быть офицером с большой, светлой бородой, а для этого необходимо учиться. Когда я рассказал брату план, он, подумав, согласился со мною:

– Это тоже хорошо. Когда ты будешь офицером, я уж буду атаманом, и тебе нужно будет ловить меня, и кто-нибудь кого-нибудь убьёт, а то в плен схватит. Я тебя не стану убивать.

– И я тебя тоже.

На этом и порешили.

Пришла бабушка, влезла на печь и, заглядывая к нам, начала говорить:

– Что, мышата? Э-эх, сироты, осколочки!

Пожалев нас, она стала ругать мачеху Саши – толстую тётку Надежду, дочь трактирщика; потом вообще всех мачех, вотчимов и, кстати, рассказала историю о том, как мудрый пустынный Иона, будучи отроком, судился со своей мачехой божьим судом; отца его, угличанина, рыбака на Белоозере, –

Извела молодая жена:
Напоила его крепкой брагою,
А ещё – сонным зелием.
Положила его, сонного,
Во дубовый чёлн, как во тесный гроб,
А взяла она вёсельце кленовое,
Сама выгребла посередь озера
Что на те ли на тёмные омуты,
На бесстыжее дело ведьмино.
Там нагнулася, покачнулася,
Опрокинула, ведьма, легок чёлн.

Муж-от якорем на дно пошёл.
А она поплыла скоро к берегу,
Доплыла, пала на землю
И завывала бабьи жалобы,
Стала горе лживое оказывать.
Люди добрые ей поверили,
С нею вместе горько плакали:
– Ой же ты, молодая вдова!
Велико твоё горе женское,
А и жизнь наша – дело божие,
А и смерть нам богом посылается! –
Только пасынок Ионушко
Не поверил слезам мачехи,
Положил он ей ручку на сердце,
Говорил он ей кротким голосом:
– Ой ты, мачеха, судьба моя,
Ой ты, птица ночная, хитрая,
А не верю я слезам твоим:
Больно сердце у тебя бьется радостно!
А давай-ко ты спросим господу,
Все святые силы небесные:
Пусть возьмет кто-нибудь булатный нож
Да подбросит его в небо чистое,
Твоя правда – нож меня убьёт,
Моя правда – на тебя падёт! –
Поглядела на него мачеха,
Злым огнем глаза её вспыхнули,
Крепко она встала на ноги,
Супроти Ионы заспорила:
– Ах ты, тварь неразумная,
Недоносок ты, выбросок,
Ты чего это выдумал?
Да ты как это мог сказать? –
Смотрят на них люди, слушают.
Видят они – дело тёмное.
Приуныли все, призадумались,
Промежду собой совещаются.
После вышел рыбак старенький,
Поклонился во все стороны,
Молвил слово решённое:
– А вы дайте-ко, люди добрые,
В праву руку мне булатный нож,
Я воскину его до неба,
Пусть падет, чья вина – найдет! –
Дали старцу в рученьку острый нож,
Взбросил он его над седую головой,
Птицею нож полетел в небеса,
Ждут-пождут – он не падает.
Смотрят люди во хрустальную высь,
Шапки поснимали, тесно стоят,
Все молчат, да и ночь нема, –
А нож с высоты всё не падает!
Вспыхнула на озере алая заря,
Мачеха зарделась, усмехнулася,
Тут он быстрой ласточкой летит к земле –
Прямо угодил в сердце мачехе.
Встали на колени люди добрые,
Господу богу помолилися:
– Слава тебе, господи, за правду твою! –
Старенький рыбак взял Ионушку
И отвёл его в далекий скит,
Что на светлой реке Керженце,
Близко невидима града Китежа...[1]

На другой день я проснулся весь в красных пятнах, началась оспа. Меня поместили на заднем чердаке, и долго я лежал там слепой, крепко связанный по рукам и по ногам широкими бинтами, переживая дикие кошмары, – от одного из них я едва не погиб. Ко мне ходила только бабушка кормить меня с ложки, как ребёнка, рассказывать бесконечные, всегда новые сказки. Однажды вечером, когда я уже

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy_max
выздоровливал и лежал развязанный, – только пальцы были забинтованы в рукавички, чтоб я не мог царапать лица, – бабушка почему-то запоздала прийти в обычное время, это вызвало у меня тревогу, и вдруг я увидел её: она лежала за дверью на пыльном помосте чердака, вниз лицом, раскинув руки, шея у неё была наполовину перерезана, как у дяди Петра, из угла, из пыльного сумрака к ней подвигалась большая кошка, жадно вытаращив зелёные глаза.

Я вскочил с постели, вышиб ногами и плечами обе рамы окна и выкинулся на двор, в сугроб снега. В тот вечер у матери были гости, никто не слышал, как я бил стёкла и ломал рамы, мне пришлось пролежать в снегу довольно долго. Я ничего не сломал себе, только вывихнул руку из плеча да сильно изрезался стёклами, но у меня отнялись ноги, и месяца три я лежал, совершенно не владея ими; лежал и слушал, как всё более шумно живёт дом, как часто там, внизу, хлопают двери, как много ходит людей.

Шаркали по крыше тоскливые вьюги, за дверью на чердаке гулял-гудел ветер, похоронно пело в трубе, дребезжали вьюшки, днём каркали вороны, тихими ночами с поля доносился заунывный вой волков, – под эту музыку и росло сердце. Потом в окно робко и тихонько, но всё ласковее с каждым днём стала заглядывать пугливая весна лучистым глазом мартовского солнца, на крыше и на чердаке запели, заорали кошки, весенний шорох проникал сквозь стены – ломались хрустальные сосульки, съезжал с конька крыши подтаявший снег, а звон колоколов стал гуще, чем зимою.

Приходила бабушка; всё чаще и крепче слова её пахли водкой, потом она стала приносить с собою большой белый чайник, прятала его под кровать ко мне и говорила, подмигивая:

– Ты, голуба душа, деду-то, домовому, не сказывай!

– Зачем ты пьешь?

– Нишкни! Вырастешь – узнаешь...

Пососав из рыльца чайника, отерев губы рукавом, она сладко улыбалась, спрашивая:

– Ну и вот, сударь ты мой, про что бишь я вчера сказывала?

– Про отца.

– А которое место?

Я напоминал ей, и долго текла ручьём её складная речь.

Она сама начала рассказывать мне про отца, пришла однажды трезвая, печальная и усталая и говорит:

– Видела я во сне отца твоего, идёт будто полем с палочкой ореховой в руке, посвистывает, а следом за ним пёстрая собака бежит, трясёт языком. Что-то частенько Максим Савватеич сниться мне стал, – видно, беспокойна душенька его неприятная...

Несколько вечеров подряд она рассказывала историю отца, такую же интересную, как все её истории: отец был сыном солдата, дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость с подчинёнными ему; там, где-то в Сибири, и родился мой отец. Жилось ему плохо, уже с малых лет он стал бегать из дома; однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца; другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребёнка и спрятали его.

– Маленьких всегда бьют? – спрашивал я; бабушка спокойно отвечала:

– Всегда.

Мать отца померла рано, а когда ему минуло девять лет, помер и дедушка, отца взял к себе крёстный – столяр, приписал его в цеховые города Перми и стал учить своему мастерству, но отец убежал от него, водил слепых по ярмаркам, шестнадцати лет пришёл в Нижний и стал работать у подрядчика – столяра на пароходах Колчина. В двадцать лет он был уже хорошим краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком. Мастерская, где он работал, была рядом с домами деда, на Ковалихе.

Заборы-то невысокие, а люди-то бойкие, – говорила бабушка, посмеиваясь. – Вот, собираем мы с Варей малину в саду, вдруг он, отец твой, шасть через забор, я индо испугалась: идёт меж яблонь эдакой могучей, в белой рубахе, в плисовых штанах, а – босый, без шапки, на длинных волосьях – ремешок. Это он – свататься привалил! Видала я его и прежде, мимо окон ходил, увижу – подумаю: экой парень хороший! Спрашиваю я его, как подошёл: «Что это ты, молодец, не путём ходишь?» А он на коленки стал. «Акулина, говорит, Ивановна, вот те я весь тут, со всей полной душой, а вот-Варя; помоги ты нам, бога ради, мы жениться хотим!» Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу, а мать-то твоя, мошенница, за яблоню спрятавшись, красная вся, малина малиной, и знаки ему подаёт, а у самой – слёзы на глазах. «Ах вы, говорю, пострели вас горой, да что же это вы затеяли? Да в уме ли ты, Варвара? Да и ты, молодец, говорю, ты подумай-ко: по себе ли ты берёзу ломишь?» Дедушко-то наш о ту пору богач был, дети-то ещё не выделены, четыре дома у него, у него и деньги, и в чести он, незадолго перед этим ему дали шляпу с позументом да мундир за то, что он девять лет бессменно старшиной в цехе сидел, – гордый он был тогда! Говорю я, как надо, а сама дрожу со страху, да и жалко мне их: потемнели оба. Тут отец твой сказал: «Я-де знаю, что Василий Васильев не отдаст Варю добром за меня, так я её выкраду, только ты помоги нам», – это я чтобы помогла! Я даже замахнулась на него, а он и не сторонился: «Хоть камнем, говорит, бей, а – помоги, всё равно я-де не отступлюсь?» Тут и Варвара подошла к нему, руку на плечо его положила, да и скажи: «Мы, говорит, уж давно поженились, ещё в мае, нам только обвенчаться нужно». Я так и покатила, – ба-атюшки!

Бабушка стала смеяться, сотрясаясь всем телом, потом понюхала табаку, вытерла слёзы и продолжала, отрадно вздохнув:

– Ты этого ещё не можешь понять, что значит – жениться и что – венчаться, только это – страшная беда, ежели девица, не венчаясь, дитя родит! Ты это запомни да, как вырастешь, на такие дела девиц не подбивай, тебе это будет великий грех, а девица станет несчастна, да и дитя незаконно, – запомни же, гляди! Ты живи, жалеючи баб, люби их сердечно, а не ради баловства, это я тебе хорошее говорю!

Она задумалась, покачиваясь на стуле, потом, встрепенувшись, снова начала:

– Ну, как же тут быть? Я Максима – по лбу, я Варвару – за косу, а он мне разумно говорит: «Боем дела не исправишь!» И она тоже: «Вы, говорит, сначала подумали бы, что делать, а драться – после!» Спрашиваю его: «Деньги-то у тебя есть?» – «Были, говорит, да я на них Варю кольцо купил». – «Что же это у тебя – трёшница была?» – «Нет, говорит, около ста целковых». А в те поры деньги были дороги, вещи – дешёвы, гляжу я на них, на мать твою с отцом, – экие ребята, думаю, экие дурачишки! Мать говорит: «Я кольцо это под пол спрятала, чтоб вы не увидели, его можно продать!» Ну, совсем ещё дети! Однако, так ли, эдак ли, уговорились мы, что венчаться им через неделю, а с попом я сама дело устрою. А сама – реву, сердце дрожмя дрожит, боюсь дедушку, да и Варю – жутко. Ну, наладились!

Только был у отца твоего недруг, мастер один, лихой человек, и давно он обо всём догадался и приглядывал за нами. Вот, обрядила я доченьку мою единую во что пришлось получше, вывела её за ворота, а за углом тройка ждала, села она, свистнул Максим – поехали! Иду я домой во слезах – вдруг встречу мне этот человек, да и говорит, подлец: «Я, говорит, добрый, судьбе мешать не стану, только ты, Акулина Ивановна, дай мне за это полсотни рублей!» А у меня денег нет, я их не любила, не копила, вот я, сдуру, и скажи ему: «Нет у меня денег и не дам!» – «Ты, говорит, обещай!» – «Как это – обещать, а где я их после-то возьму?» – «Ну, говорит, али трудно у богатого мужа украсть?» Мне бы, дурёхе, поговорить с ним, задержать его, а я плюнула в рожу-то ему да и пошла себе! Он – вперёд меня забежал на двор и – поднял бунт!

Закрыв глаза, она говорит сквозь улыбку:

– Даже и сейчас вспомнить страшно дела эти дерзкие! Взревел дедушко-то, зверь зверем, – шутка ли это ему? Он, бывало, глядит на Варвару-то, хвастается: за дворянина выдам, за барина! Вот те и дворянин, вот те и барин! Пресвятая богородица лучше нас знает, кого с кем свести. Мечется дедушко по двору-то, как огнём охвачен, вызвал Якова с Михаилом, конопатого этого мастера согласил да Клима, кучера; вижу я – кистень он взял, гиру на ремешке, а Михайло – ружьё схватил, лошади у нас были хорошие, горячие, дрожки-тарантас – лёгкие, – ну,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.maх думаю, догонят! И тут надоумил меня ангел-хранитель Варварин, – добыла я нож да гужи-то у оглобля и подрезала, авось, мол, лопнут дорогой! Так и сделалось: вывернулась оглобля дорогой-то, чуть не убило деда с Михайлом да Климом, и задержались они, а как, поправившись, доскакали до церкви – Варя-то с Максимом на паперти стоят, обвенчаны, слава те господи!

Пошли было наши-то боем на Максима, ну – он здоров был, сила у него была редкая! Михаила с паперти сбросил, руку вышиб ему, Клима тоже ушиб, а дедушко с Яковом да мастером этим – забоялись его.

Он и во гневе не терял разума, говорит дедушке: «Брось кистень, не махай на меня, я человек смирный, а что я взял, то бог мне дал и отнять никому нельзя, и больше мне ничего у тебя не надо». Отступились они от него, сел дедушко на дрожки, кричит: «Прощай теперь, Варвара, не дочь ты мне, и не хочу тебя видеть, хошь – живи, хошь – с голоду издохни». Воротился он – давай меня бить, давай ругать, я только покряхтываю да помалкиваю: всё пройдет, а чему быть, то останется! После говорит он мне: «Ну, Акулина, гляди же: дочери у тебя больше нет нигде, помни это!» Я одно своё думаю: ври больше, рыжий, – злоба – что лёд, до тепла живёт!

Я слушаю внимательно, жадно. Кое-что в её рассказе удивляет меня, дед изображал мне венчание матери совсем не так: он был против этого брака, он после венца не пустил мать к себе в дом, но венчалась она, по его рассказу, – не тайно, и в церкви он был. Мне не хочется спросить бабушку, кто из них говорит вернее, потому что бабушкина история красивее и больше нравится мне. Рассказывая, она всё время качается, точно в лодке плывёт. Если говорит о печальном или страшном, то качается сильнее, протянув руку вперёд, как бы удерживая что-то в воздухе. Она часто прикрывает глаза, и в морщинах щёк её прячется слепая, добрая улыбка, а густые брови чуть-чуть дрожат. Иногда меня трогает за сердце эта слепая, всё примиряющая доброта, а иногда очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула.

– Первое время, недели две, и не знала я, где Варя-то с Максимом, а потом прибежал от неё мальчонко бойкенький, сказал. Подождала я субботы да будто ко всенощной иду, а сама к ним! Жили они далеко, на Суетинском съезде, во флигельке, весь двор мастеровщиной занят, сорно, грязно, шумно, а они – ничего, ровно бы котята, весёлые оба, мурлычат да играют. Привезла я им чего можно было: чаю, сахару, круп разных, варенья, муки, грибов сушёных, деньжонок, не помню сколько, понатаסקала тихонько у деда – ведь коли не для себя, так и украсть можно! Отец-то твой не берёт ничего, обижается: «Али, говорит, мы нищие?» И Варвара поёт под его дудку: «Ах, зачем это, мамаша?..» Я их пожурила: «Дурачишко, говорю, я тебе – кто? Я тебе – богоданная мать, а тебе, дурёхе, – кровная! Разве, говорю, можно обижать меня? Ведь когда мать на земле обижают – в небесах матерь божия горько плачет!» Ну, тут Максим схватил меня на руки и давай меня по горнице носить, носит да ещё приплясывает, – силен был, медведь! А Варька-то ходит, девчонка, павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой, и всё глаза заводит и всё таково важно про хозяйство рассказывает, будто всамделишная баба, – уморушка глядеть! А ватрушки к чаю подала, так об них волк зубы сломит, и творог – дресвой рассыпается!

Так оно и шло долгое время, уж и ты готов был родиться, а дедушко всё молчит, – упрямым, домовым! Я тихонько к ним похаживаю, а он и знал это, да будто не знает. Всем в дому запрещено про Варю говорить, все молчат, и я тоже помалкиваю, а сама знаю свое – отцово сердце ненадолго немо. Вот как-то пришёл заветный час – ночь, вьюга воеет, в окошки-то словно медведи лезут, трубы поют, все беси сорвались с цепей, лежим мы с дедушкой – не спится, я и скажи: «Плохо бедному в такую ночь, а ещё хуже тому, у кого сердце неспокойно!» Вдруг дедушко спрашивает: «Как они живут?» – «Ничего, мол, хорошо живут». – «Я, говорит, про кого это спросил?» – «Про дочь Варвару, про зятя Максима». – «А как ты догадалась, что про них?» – «Полно-ко, говорю, отец, дурить-то, бросил бы ты эту игру, ну – кому от неё весело?» Вздыхает он: «Ах вы, говорит, черти, серые вы черти!» Потом – выпрашивает: что, дескать, дурак этот большой – это про отца твоего, – верно, что дурак? Я говорю: «Дурак, кто работать не хочет, на чужой шее сидит, ты бы вот на Якова с Михайлой поглядел – не эти ли дураками-то живут? Кто в дому работник, кто добытчик? Ты. А велики ли они тебе помощники?» Тут он – ругать меня: и дура-то я, и подлая, и сводня, и уж не знаю как! Молчу. «Как ты, говорит, могла обольститься човеком, неведомо откуда, неизвестно каким?» Я себе молчу, а как устал он, говорю: «Пошёл бы ты, поглядел, как они живут,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyumaх хорошо ведь живут». – «Много, говорит, чести будет им, пускай сами придут...» Тут уж я даже заплакала с радости, а он волосы мне распускает, любил он волосьями моими играть, бормочет: «Не хлюпай, дура, али, говорит, нет души у меня?» Он ведь раньше-то больно хороший был, дедушко наш, да как выдумал, что нет его умнее, с той поры и озлился и глупым стал.

– Ну, вот и пришли они, мать с отцом, во святой день, в прощёное воскресенье, большие оба, гладкие, чистые; встал Максим-то против дедушка – а дед ему по плечо, – встал и говорит: «Не думай, бога ради, Василий Васильевич, что пришёл я к тебе по приданое, нет, пришёл я отцу жены моей честь воздать». Дедушке это понравилось, усмехается он: «Ах ты, говорит, орясина, разбойник! Ну, говорит, будет баловать, живите со мной!» Нахмурился Максим: уж это, дескать, как Варя хочет, а мне всё равно! И сразу началось у них зуб за зуб – никак не сладятся! Уж я отцу-то моему и мигаю и ногой его под столом – нет, он всё своё! Хороши у него глаза были: весёлые, чистые, а брови – тёмные, бывало, сведёт он их, глаза-то спрячутся, лицо станет каменное, упрямое, и уж никого он не слушает, только меня; я его любила куда больше, чем родных детей, а он знал это и тоже любил меня! Прижмётся, бывало, ко мне, обнимет, а то схватит на руки, таскает по горнице и говорит: «Ты, говорит, настоящая мне мать, как земля, я тебя больше Варвары люблю!» А мать твоя, в ту пору, развесёлая была озорница – бросится на него, кричит: «Как ты можешь такие слова говорить, пермяк солёны уши?» И возимся, играем трое; хорошо жили мы, голуба душа! Плясал он тоже редкостно, песни знал хорошие – у слепых перенял, а слепые – лучше нет певцов!

– Поселились они с матерью во флигеле, в саду, там и родился ты, как раз в полдень – отец обедать идёт, а ты ему встречу. То-то радовался он, то-то бесновался, а уж мать – замаял просто, дурачок, будто и невесть какое трудное дело ребёнка родить! Посадил меня на плечо себе и понёс через весь двор к дедушке докладывать ему, что ещё внук явился, – дедушко даже смеяться стал: «Экой, говорит, леший ты, Максим!»

– А дядя твои не любили его, – вина он не пил, на язык дерзок был и горазд на всякие выдумки, – горько они ему отрыгнулись! Как-то о великом посте заиграл ветер, и вдруг по всему дому запело, загудело страшно – все обомлели, что за наваждение? Дедушко совсем струхнул, велел везде лампадки зажечь, бегают, кричит: «Молебен надо отслужить!» И вдруг всё прекратилось; ещё хуже испугались все. Дядя Яков догадался: «Это, говорит, наверное, Максимом сделано!» После он сам сказал, что наставил в слуховом окне бутылок разных да склянок, – ветер в горлышки дует, а они и гудут, всякая по-своему. Дед погрозил ему: «Как бы эти шутки опять в Сибирь тебя не воротили, Максим!»

– Один год сильно морозен был, и стали в город заходить волки с поля, то собаку зарежут, то лошадь испугают, пьяного караульщика заели, много суматохи было от них! А отец твой возьмёт ружьё, лыжи наденет да ночью в поле, глядишь – волка притащит, а то и двух. Шкуры снимет, головы вышелушит, вставит стеклянные глаза – хорошо выходило! Вот и пошёл дядя Михайло в сени за нужным делом, вдруг – бежит назад, волосы дыбом, глаза выкатились, горло перехвачено – ничего не может сказать. Штаны у него свалились, запутался он в них, упал, шепчет – волк! Все схватили кто что успел, бросились в сени с огнём, – глядят, а из рундука и впрямь волк голову высунул! Его бить, его стрелять, а он – хоть бы что! Пригляделись – одна шкура да пустая голова, а передние ноги гвоздями прибиты к рундуку! Дед тогда сильно – горячо рассердился на Максима. А тут ещё Яков стал шутки эти перенимать: Максим-то склеит из картона будто голову – нос, глаза, рот сделает, пакли налепит заместо волос, а потом идут с Яковым по улице и рожи эти страшные в окна суют – люди, конечно, бояться, кричат. А по ночам – в простынях пойдут, попа напугали, он бросился на будку, а будочник, тоже испугавшись, давай караул кричать. Много они эдак-то куролесили, и никак не унять их; уж и я говорила – бросьте, и Варя тоже, – нет, не унимаются! Смеётся Максим-то: «Больно уж, говорит, забавно глядеть, как люди от пустяка в страхе бегут сломя голову!» Поди говори с ним...

– И отдалось всё это ему чуть не гибелью: дядя-то Михайло весь в дедушку – обидчивый, злопамятный, и задумал он извести отца твоего. Вот, шли они в начале зимы из гостей, четверо: Максим, дядья да дьячок один – его расстригли после, он извозчика до смерти забил. Шли с Ямской улицы и заманили Максима-то на Дюков пруд, будто покататься по льду, на ногах, как мальчишки катаются, заманили да и столкнули его в прорубь, – я тебе рассказывала это...

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– Отчего дядья злые?

– Они – не злые, – спокойно говорит бабушка, нюхая табак. – Они просто глупые! Мишка-то хитёр, да глуп, а Яков так себе, блаженный муж... Ну, столкнули они его в воду-то, он вынырнул, схватился руками за край проруби, а они его давай бить по рукам, все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его – был он трезвый, а они – пьяные, он как-то, с божьей помощью, вытянулся подо льдом-то, держится вверх лицом посередь проруби, дышит, а они не могут достать его, покидали некоторое время в голову-то ему ледяшками и ушли – дескать, сам потонет! А он вылез, да бегом, да в полицию – полиция тут же, знаешь, на площади. Квартальный знал его и всю нашу семью, спрашивает: как это случилось?

Бабушка крестится и благодарно говорит:

– Упокой, господи, Максима Савватеича с праведными твоими, стоит он того! Скрыл ведь он от полиции дело-то! «Это, говорит, сам я, будучи выпивши, забрёл на пруд да и свернулся в прорубь». Квартальный говорит: «Неправда, ты непьющий!» Долго ли, коротко ли, растёрли его в полиции вином, одели в сухое, окутали тулупом, привезли домой, и сам квартальный с ним и ещё двое. А Яшка-то с Мишкой ещё не успели воротиться, по трактирам ходят, отца-мать славят. Глядим мы с матерью на Максима, а он не похож на себя, багровый весь, пальцы разбиты, кровью сочатся, на висках будто снег, а не тает – поседели височки-то!

Варвара – криком кричит: «Что с тобой сделали?» Квартальный принохивается ко всем, выпрашивает, а моё сердце чует – ох, нехорошо! Я Варю-то натравила на квартального, а сама тихонько пытаю Максимушку – что сделалось? «Встречайте, шепчет он, Якова с Михайлой первая, научите их – говорили бы, что разошлись со мной на Ямской, сами они пошли до Покровки, а я, дескать, в Пряйдильный проулок свернул! Не спутайте, а то беда будет от полиции!» Я – к дедушке: «Иди, заговаривай кварташку, а я сыновей ждать за ворота», и рассказала ему, какое зло вышло. Одевается он, дрожит, бормочет: «Так я и знал, того я и ждал!» Врёт всё, ничего не знал! Ну, встретила я деток ладонями по рожам – Мишка-то со страху сразу трезвый стал, а Яшенька, милый, и лыка не вяжет, однако бормочет: «Знать ничего не знаю; это всё Михайло, он старшой!» Успокоили мы квартального кое-как – хороший он был господин! «Ох, говорит, глядите, коли случится у вас что худое, я буду знать, чья вина!» С тем и ушёл. А дед подошёл к Максиму-то и говорит: «Ну, спасибо тебе, другой бы на твоём месте так не сделал, я это понимаю! И тебе, дочь, спасибо, что доброго человека в отцов дом привела!» Он ведь, дедушко-то, когда хотел, так хорошо говорил, это уж после, по глупости, стал на замок сердце-то запирает. Остались мы втроём, заплакал Максим Савватеич и словно бредить стал: «За что они меня, что худого сделал я для них? Мама – за что?» Он меня не мамашей, а мамой звал, как маленький, да он и был, по характеру-то, вроде ребёнка. «За что?» – спрашивает. Я – реву, что мне больше осталось? Мои дети-то, жалко их! Мать твоя все пуговицы на кофте оборвала, сидит растрёпана, как после драки, рычит: «Уедем, Максим! Братья нам враги, боюсь их, уедем!» Я уж на неё цыкнула: «Не бросай в печь сору, и без того угар в доме!» Тут дедушко дураков этих прислал прощенья просить, наскочила она на Мишку, хлысь его по щеке – вот те и прощенье! А отец жалуется: «Как это вы, братцы? Ведь вы калекой могли оставить меня, какой я работник без рук-то?» Ну, помирились кое-как. Похворал отец-то, недель семь валялся и нет-нет да скажет: «Эх, мама, едем с нами в другие города – скушновато здесь!» Скоро и вышло ему ехать в Астрахань; ждали туда летом царя, а отцу твоему было поручено триумфальные ворота строить. С первым пароходом поплыли они; как с душой рассталась я с ними, он тоже печален был и всё уговаривал меня – ехала бы я в Астрахань-то. А Варвара радовалась, даже не хотела скрыть радость свою, бесстыдница... Так и уехали. Вот те и – всё...

Она выпила глоток водки, понюхала табаку и сказала, задумчиво поглядывая в окно на сизое небо:

– Да, были мы с отцом твоим крови не родной, а души – одной...

Иногда, во время её рассказа, входил дед, поднимал кверху лицо хорька, нюхал острым носом воздух, подозрительно оглядывал бабушку, слушал её речь и бормотал:

– Ври, ври...

Неожиданно спрашивал:

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiуmax

– Лексей, она тут пила вино?

– Нет.

– Врёшь, по глазам вижу.

И нерешительно уходил. Бабушка, подмигнув вслед ему, говорила какую-нибудь прибаутку:

– Проходи, Авдей, не пугай лошадей...

Однажды он, стоя среди комнаты, глядя в пол, тихонько спросил:

– Мать?

– Ай?

– Ты видишь, что ли, дела-то?

– Вижу.

– Что ж ты думаешь?

– Судьба, отец! Помнишь, ты всё говорил про дворянина?

– Н-да.

– Вот он и есть.

– Голь.

– Ну, это её дело!

Дед ушёл. Почувяв что-то недоброе, я спросил бабушку:

– Про что вы говорили?

– Всё бы тебе знать, – ворчливо отозвалась она, растирая мои ноги. – Смолоду все узнаешь – под старость и спросить не о чём будет... – И засмеялась, покачивая голову.

– Ах, дедушко, дедушко, малая ты пыинка в божьем глазу! Ленька, ты только молчи про это! – разорился ведь дедушко-то дотла! Дал барину одному большущие деньги-тысячи, а барин-то обанкрутился...

Улыбаясь, она задумалась, долго сидела молча, а большое лицо её морщилось, становясь печальным, темнея.

– Ты о чём думаешь?

– А вот, думаю, что тебе рассказать? – встрепенулась она. – Ну, про Евстигнея – ладно? Вот значит:

Жил-был дьяк Евстигней,
Думал он – нет его умней,
Ни в попах, ни в боярах,
Ни во псах, самых старых!
Ходит он кичливо, как пырин,
А считает себя птицей Сирина,
Учит соседей, соседок,
Всё ему не так да не эдак.
Взглянет на церковь – низка!
Покосится на улицу – узка!
Яблоко ему – не румяно!
Солнышко взошло – рано!
На что ни укажут Евстигнею,
А он:

бабушка надувает щёки, выкатывает глаза, доброе лицо её делается глупым и

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
смешным, она говорит ленивым, тяжёлым голосом:

– Я-ста сам эдак-то умею,
Я-ста сделал бы и лучше вещь эту,
Да всё время у меня нету.
Помолчав, улыбаясь, она тихонько продолжает

И пришли ко дьяку в ночу беси:
– Тебе, дьяк, не угодно здесь?
Так пойдём-ко ты с нами во ад,
Хорошо там уголья горят! –
Не поспел умный дьяк надеть шапки,
Подхватили его беси в свои лапки,
Тащат, щекотят, воют,
На плечи сели ему двое,
Сунули его в адское пламя.
– Ладно ли, Евстигнушка, с нами? –
Жарится дьяк, озирается,
Руками в бока подпирается,
Губы у него спесиво надуты,
– А – угарно, – говорит, – у вас в аду-то!
Закончив басню ленивым, жирным голосом, она, переменив лицо, смеётся тихонько,
поясняя мне:

– Не сдался, Евстигней-то, крепко на своем стоит, упрям, вроде бы дедушко наш!
Ну-ко, спи, пора...

Мать всходила на чердак ко мне редко, не оставалась долго со мною, говорила
торопливо. Она становилась всё красивее, всё лучше одевалась, но и в ней, как в
бабушке, я чувствовал что-то новое, спрятанное от меня, чувствовал и
догадывался.

Всё меньше занимали меня сказки бабушки, и даже то, что рассказывала она про
отца, не успокаивало смутной, но разрастающейся с каждым днём тревоги.

– Отчего беспокоится отцова душа? – спрашивал я бабушку.

– А как это знать? – говорила она, прикрывая глаза. – Это дело божие, небесное,
нам неведомое...

Ночами, бессонно глядя сквозь синие окна, как медленно плывут по небу звёзды, я
выдумывал какие-то печальные истории, главное место в них занимал отец, он
всегда шёл куда-то, один, с палкой в руке, и – мохнатая собака сзади его...

XII

Однажды я заснул под вечер, а проснувшись, почувствовал, что и ноги проснулись,
спустил их с кровати – они снова отнялись, но уже появилась уверенность, что
ноги целы и я буду ходить. Это было так ярко хорошо, что я закричал от радости,
придавил всем телом ноги к полу – свалился, но тотчас же пополз к двери, по
лестнице, живо представляя, как все внизу удивятся, увидя меня.

Не помню, как я очутился в комнате матери у бабушки на коленях, пред нею стояли
какие-то чужие люди, сухая, зелёная старуха строго говорила, заглушая все
голоса:

– Напоить его малиной, закутать с головой...

Она была вся зелёная, и платье, и шляпа, и лицо с бородавкой под глазом, даже
кустик волос на бородавке был, как трава. Опустив нижнюю губу, верхнюю она
подняла и смотрела на меня зелёными зубами, прикрыв глаза рукою в чёрной
кружевной перчатке без пальцев.

– Это кто? – спросил я, оробев. Дед ответил неприятным голосом:

– Это ещё тебе бабушка...

Мать, усмехаясь, подвинула ко мне Евгения Максимова.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– Вот и отец...

Она стала что-то говорить быстро, непонятно; Максимов, прищурясь, наклонился ко мне и сказал:

– Я тебе подарю краски.

В комнате было очень светло, в переднем углу, на столе, горели серебряные канделябры по пяти свеч, между ними стояла любимая икона деда «Не рыдай мене, мати», сверкал и таял в огнях жемчуг ризы, лучисто горели малиновые альмандины на золоте венцов. В тёмных стёклах окон с улицы молча прижались блинами мутные круглые рожки, прилипли расплющенные носы, всё вокруг куда-то плыло, а зелёная старуха щупала холодными пальцами за ухом у меня, говоря:

– Непременно, непременно...

– Сомлел, – сказала бабушка и понесла меня к двери.

Но я не сомлел, а просто закрыл глаза и, когда она тащила меня вверх по лестнице, спросил её:

– Что же ты не говорила мне про это?...

– А ты – ладно, молчи!

– Обманщики вы...

Положив меня на кровать, она ткнулась головой в подушку и задрожала вся, заплакала, плечи у неё ходуном ходили, захлёбываясь, она бормотала:

– А ты поплачь... поплачь...

Мне плакать не хотелось. На чердаке было сумрачно и холодно, я дрожал, кровать качалась и скрипела, зелёная старуха стояла пред глазами у меня, я притворился, что уснул, и бабушка ушла.

Тонкой струйкой однообразно протекло несколько пустых дней, мать после сговора куда-то уехала, в доме было удручающе тихо.

Как-то утром пришёл дед со стамеской в руке, подошёл к окну и стал отковыривать замазку зимней рамы. Явилась бабушка с тазом воды и тряпками, дед тихонько спросил её:

– Что, старуха?

– А что?

– Рада, что ли?

Она ответила так же, как мне на лестнице:

– А ты – ладно, молчи!

Простые слова теперь имели особенный смысл, за ними пряталось большое, грустное, о чём не нужно говорить и что все знают.

Осторожно вынув раму, дед понёс её вон, бабушка распахнула окно – в саду кричал скворец, чирикали воробьи; пьяный запах оттаявшей земли налил в комнату, синеватые изразцы печи сконфуженно побелели, смотреть на них стало холодно. Я слез на пол с постели.

– Босиком-то не ходи, – сказала бабушка.

– Пойду в сад.

– Не сухо еще там, погодил бы!

Не хотелось слушать её, и даже видеть больших было неприятно.

В саду уже пробились светло-зелёные иглы молодой травы, на яблонях набухли и лопались почки, приятно позеленел мох на крыше домика Петровны, всюду было много птиц; весёлый звон, свежий пахучий воздух приятно кружил голову. В яме, где зарезался дядя Пётр, лежал, спутавшись, поломанный снегом рыжий бурьян, – нехорошо смотреть на неё, ничего весеннего нет в ней, чёрные головни лоснятся печально, и вся яма раздражающе ненужна. Мне сердито захотелось вырвать, выломать бурьян, вытаскать обломки кирпичей, головни, убрать всё грязное, ненужное и, устроив в яме чистое жилище себе, жить в ней летом одному, без больших. Я тотчас же принялся за дело, оно сразу, надолго и хорошо отвело меня от всего, что делалось в доме, и хотя было всё ещё очень обидно, но с каждым днём теряло интерес.

– Ты что это надул губы? – спрашивали меня то бабушка, то мать, – было неловко, что они спрашивают так, я ведь не сердился на них, а просто всё в доме стало мне чужим. За обедом, вечерним чаем и ужином часто сидела зелёная старуха, точно гнилой кол в старой изгороди. Глаза у неё были пришиты к лицу невидимыми ниточками; легко выкатываясь из костлявых ям, они двигались очень ловко, всё видя, всё замечая, поднимаясь к потолку, когда она говорила о боге, опускаясь на щёки, если речь шла о домашнем. Брови у неё были точно из отрубей и какие-то приклеенные. Её голые, широкие зубы бесшумно перекусывали всё, что она совала в рот, смешно изогнув руку, оттопырив мизинец, около ушей у неё катались костяные шарики, уши двигались, и зелёные волосы бородавки тоже шевелились, ползая по жёлтой, сморщенной и противно чистой коже. Она вся была такая же чистая, как её сын, – до них неловко, нехорошо было притронуться. В первые дни она начала было совать свою мёртвую руку к моим губам, от руки пахло жёлтым казанским мылом и ладаном, я отворачивался, убегал.

– Мальчика непременно надо очень воспитывать, понимаешь, Женя?

Он послушно наклонял голову, хмурил брови и молчал. И все хмурились при этой зелёной.

Я ненавидел старуху – да и сына её – сосредоточенной ненавистью, и много принесло мне побоев это тяжёлое чувство. Однажды за обедом она сказала, страшно выкатив глаза:

– Ах, Алёшенька, зачем ты так торопишься кушать и такие большущие куски! Ты подавишься, милый!

Я вынул кусок изо рта, снова надел его на вилку и протянул ей:

– Возьмите, коли жалко...

Мать выдернула меня из-за стола, я с позором был прогнан на чердак, – пришла бабушка и хохотала, зажимая себе рот:

– А, ба-атюшки! Ну, и озорник же ты, Христос с тобой...

Мне не нравилось, что она зажимает рот, я убежал от неё, залез на крышу дома и долго сидел там за трубой. Да, мне очень хотелось озорничать, говорить всем злые слова, и было трудно побороть это желание, а пришлось побороть: однажды я намазал стулья будущего вотчима и новой бабушки вишнёвым клеем, оба они прилипли; это было очень смешно, но когда дед отколотил меня, на чердак ко мне пришла мать, привлекла меня к себе, крепко сжала коленями и сказала:

– Послушай, – зачем ты злишься? Знал бы ты, какое это горе для меня!

Глаза её налились светлыми слезами, она прижала голову мою к своей щеке, – это было так тяжело, что лучше бы уж она ударила меня! Я сказал, что никогда не буду обижать Максимовых, никогда, – пусть только она не плачет.

– Да, да, – сказала она тихонько, – не нужно озорничать! Вот скоро мы обвенчаемся, потом поедem в Москву, а потом воротимся, и ты будешь жить со мной. Евгений Васильевич очень добрый и умный, тебе будет хорошо с ним. Ты будешь учиться в гимназии, потом станешь студентом, – вот таким же, как он теперь, а потом доктором. Чем хочешь, – учёный может быть чем хочет. Ну, иди, гуляй...

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Эти «потом», положенные ею одно за другим, казались мне лестницей куда-то глубоко вниз и прочь от неё, в темноту, в одиночество, – не обрадовала меня такая лестница. Очень хотелось сказать матери: «Не выходи, пожалуйста, замуж, я сам буду кормить тебя!»

Но это не сказалось. Мать всегда будила очень много ласковых дум о ней, но выговорить думы эти я не решался никогда.

В саду дела мои пошли хорошо: я выкопал, вырубил косарём бурьян, обложил яму по краям, где земля оползла, обломками кирпичей, устроил из них широкое сиденье, – на нём можно было даже лежать. Набрал много цветных стёкол и осколков посуды, вмазал их глиной в щели между кирпичами – когда в яму смотрело солнце, всё это радужно разгоралось, как в церкви.

– Ловко придумал! – сказал однажды дедушка, разглядывая мою работу. – Только бурьян тебя забьёт, корни-то ты оставил! Дай-ко я перекопаю землю заступом, – иди принеси!

Я принёс железную лопату, он поплевал на руки и, побрякивая, стал глубоко всаживать ногою заступ в жирную землю.

– Отбрасывай коренья! Потом я тебе насажу тут подсолнухов, мальвы – хорошо будет! Хорошо...

И вдруг, согнувшись над лопатой, он замолчал, замер; я присмотрелся к нему – из его маленьких, умных, как у собаки, глаз часто падали на землю мелкие слёзы.

– Ты что?

Он встряхнулся, вытер ладонью лицо, мутно поглядел на меня.

– Вспотел я! Гляди-ко – червей сколько!

Потом снова стал копать землю и вдруг сказал:

– Зря всё это настроил ты! Зря, брат. Дом-от я ведь скоро продам. К осени, наверное, продам. Деньги нужны, матери в приданое. Так-то. Пускай хоть она хорошо живёт, господь с ней...

Он бросил лопату и, махнув рукою, ушёл за баню, в угол сада, где у него были парники, а я начал копать землю и тотчас же разбил себе заступом палец на ноге.

Это помешало мне проводить мать в церковь к венцу, я мог только выйти за ворота и видел, как она под руку с Максимовым, наклоня голову, осторожно ставит ноги на кирпич тротуара, на зелёные травы, высунувшиеся из щелей его, – точно она шла по остриям гвоздей.

Свадьба была тихая; придя из церкви, невесело пили чай, мать сейчас же переделалась и ушла к себе в спальню укладывать сундуки, вотчим сел рядом со мною и сказал:

– Я обещал подарить тебе краски, да здесь в городе нет хороших, а свои я не могу отдать, уж я пришлю тебе краски из Москвы...

– А что я буду делать с ними?

– Ты не любишь рисовать?

– Я не умею.

– Ну, я тебе другое что-нибудь пришлю.

Подошла мать.

– Мы ведь скоро вернёмся; вот отец сдаст экзамен, кончит учиться, мы и назад...

Было приятно, что они разговаривают со мною, как со взрослым, по как-то странно было слышать, что человек с бородой всё ещё учится, я спросил:

– Ты чему учишься?

– Межевому делу...

Мне было лень спросить – что это за дело? Дом наполняла скучная тишина, какой-то шерстяной шорох, хотелось, чтобы скорее пришла ночь. Дед стоял, прижавшись спиной к печи, и смотрел в окно прищурясь; зелёная старуха помогала матери укладываться, ворчала, охала, а бабушку, с полудня пьяную, стыда за неё ради, спровадили на чердак и заперли там.

Мать уехала рано утром на другой день; она обняла меня на прощание, легко приподняв с земли, заглянула в глаза мне какими-то незнакомыми глазами и сказала, целуя:

– Ну, прощай...

– Скажи ему, чтобы слушался меня, – угрюмо проговорил дед, глядя в небо, ещё розовое.

– Слушайся дедушку, – сказала мать, перекрестив меня. Я ждал, что она скажет что-то другое, и рассердился на деда, – это он помешал ей.

Вот они сели в пролётку, мать долго и сердито отцепляла подол платья, зацепившийся за что-то.

– Помоги, али не видишь? – сказал мне дед; я не помог, туго связанный тоскою.

Максимов терпеливо уставлял в пролётке свои длинные ноги в узких синих брюках, бабушка совала в руки ему какие-то узлы, он складывал их на колени себе, поддерживал подбородком и пугливо морщил бледное лицо, растягивая:

– До-остаточно-о...

На другую пролётку уселась зелёная старуха со старшим сыном, офицером, – она сидела, как написанная, а он чесал себе бороду ручкой сабли и позёвывал.

– Значит – вы на войну пойдёте? – спрашивал дед.

– Обязательно!

– Дело доброе. Турок надо бить...

Поехали. Мать несколько раз обернулась, взмахивая платком, бабушка, опираясь рукою о стену дома, тоже трясла в воздухе рукою, обливаясь слезами, дед тоже выдавливал пальцами слёзы из глаз и ворчал отрывисто:

– Не будет... добра тут... не будет.

Я сидел на тумбе, глядя, как подпрыгивают пролётки, – вот они повернули за угол, и в груди что-то захлопнулось, закрылось.

Было рано, окна домов ещё прикрыты ставнями, улица пустынна – никогда я не видал её такой мёртво пустой. Вдали назойливо играл пастух.

– Пойдем чай пить, – сказал дед, взяв меня за плечо. – Видно – судьба тебе со мной жить; так и станешь ты об меня чиркать, как спичка о кирпич!

С утра до вечера мы с ним молча возились в саду; он копал гряды, подвязывал малину, снимал с яблонь лишаи, давил гусеницу, а я всё устраивал и украшал жилище себе. Дед отрубил конец обгоревшего бревна, воткнул в землю палки, я развесил на них клетки с птицами, сплёл из сухого бурьяна плотный плетень и сделал над скамьёй навес от солнца и росы, – у меня стало совсем хорошо.

Дед говорил:

– Это очень полезно, что ты учишься сам для себя устраивать как лучше.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru
Я очень ценил его слова. Иногда он ложился на сиденье, покрытое мною дёрном, и поучал меня не торопясь, как бы с трудом вытаскивая слова:

– Теперь ты от матери отрезан ломоть, пойдут у неё другие дети, будут они ей ближе тебя. Бабушка вот пить начала.

Долго молчит, будто прислушиваясь, – снова неохотно роняет тяжёлые слова.

– Это она второй раз запивает, – когда Михайле выпало в солдаты идти – она тоже запила. И уговорила меня, дура старая, купить ему рекрутскую квитанцию. Может, он в солдатах-то другим стал бы.. Эх вы-и.. А я скоро помру. Значит – останешься ты один, сам про себя – весь тут, своей жизни добытчик – понял? Ну, вот. Учись быть самому себе работником, а другим – не поддавайся! Живи тихонько, спокойненько, а – упрямо! Слушай всех, а делай как тебе лучше..

Всё лето, исключая, конечно, непогожие дни, я прожил в саду, тёплыми ночами даже спал там на кошке, подаренной бабушкой; нередко и сама она ночевала в саду, принесёт охапку сена, разбросает его около моего ложа, ляжет и долго рассказывает мне о чём-нибудь, прерывая речь свою неожиданными вставками:

– Гляди – звезда упала! Это чья-нибудь душенька чистая встосковалась, мать-землю вспомнила! Значит – сейчас где-то хороший человек родился.

Или указывала мне:

– Новая звезда возшла, глянь-ко! Экая глазастая! Ох ты, небо-небушко, риза богова светлая..

Дед ворчал:

– Простудитесь, дурачьё, захвораете, а то пострел схватит. Воры придут, задавят..

Бывало – зайдёт солнце, прольются в небесах огненные реки и – сгорят, ниспадет на бархатную зелень сада золотисто-красный пепел, потом всё вокруг ощутимо темнеет, ширится, пухнет, облитое тёплым сумраком, опускаются сытые солнцем листья, гнутся травы к земле, всё становится мягче, пышнее, тихонько дышит разными запахами, ласковыми, как музыка, – и музыка плывёт издали, с поля: играют зорю в лагерях. Ночь идёт, и с нею льётся в грудь нечто сильное, освежающее, как добрая ласка матери, тишина мягко гладит сердце тёплой, мохнатой рукою, и стирается в памяти всё, что нужно забыть, – вся едкая, мелкая пыль дня. Обаятельно лежать вверх лицом, следя, как разгораются звёзды, бесконечно углубляя небо; эта глубина, уходя всё выше, открывая новые звёзды, легко поднимает тебя с земли, и – так странно – не то вся земля умалилась до тебя, не то сам ты чудесно разросся, развернулся и плависься, сливаясь со всем, что вокруг. Становится темнее, тише, но всюду невидимо протянуты чуткие струны, и каждый звук – запоёт ли птица во сне, пробежит ли ёж, или где-то тихо вспыхнет человеческий голос – всё особенно, не по-дневному звучно, подчёркнутое любовно чуткой тишиной.

Проиграла гармоника, прозвучал женский смех, гремит сабля по кирпичу тротуара, взвизгнула собака – всё это не нужно, это падают последние листья отцветшего дня.

Бывали ночи, когда вдруг в поле, на улице вскипал пьяный крик, кто-то бежал, тяжело топая ногами, – это было привычно и не возбуждало внимания.

Бабушка не спит долго, лежит, закинув руки под голову, и в тихом возбуждении рассказывает что-нибудь, видимо, несколько не заботясь о том, слушаю я её или нет. И всегда она умела выбрать сказку, которая делала ночь ещё значительней, ещё краше.

Под её мерную речь я незаметно засыпал и просыпался вместе с птицами; прямо в лицо смотрит солнце, нагреваясь, тихо струится утренний воздух, листья яблонь стряхивают росу, влажная зелень травы блестит всё ярче, приобретая хрустальную прозрачность, тонкий парок вздымается над нею. В сиреневом небе растёт веер солнечных лучей, небо голубеет. Невидимо высоко звенит жаворонок, и все цвета, звуки росую просачиваются в грудь, вызывая спокойную радость, будя желание скорее встать, что-то делать и жить в дружбе со всем живым вокруг.

Это было самое тихое и созерцательное время за всю мою жизнь, именно этим летом во мне сложилось и окрепло чувство уверенности в своих силах. Я одичал, стал нелюдим; слышал крики детей Овсянникова, но меня не тянуло к ним, а когда являлись братья, это нимало не радовало меня, только возбуждало тревогу, как бы они не разрушили мои постройки в саду – моё первое самостоятельное дело.

Перестали занимать меня и речи деда, всё более сухие, ворчливые, охающие. Он начал часто ссориться с бабушкой, выгонял её из дома, она уходила то к дяде Якову, то – к Михаилу. Иногда она не возвращалась домой по нескольку дней, дед сам стряпал, обжигал себе руки, выл, ругался, колотил посуду и заметно становился жаден.

Иногда, приходя ко мне в шалаш, он удобно усаживался на дёрн, следил за мною долго, молча и неожиданно спрашивал:

– Что молчишь?

– Так. А что?

Он начинал поучать:

– Мы – не баре. Учить нас некому. Нам надо всё самим понимать. Для других вон книги написаны, училища выстроены, а для нас ничего не поспело. Всё сам возьми...

И задумывался, засыхал, неподвижный, немой, почти – жуткий.

Осенью он продал дом, а незадолго до продажи, вдруг, за утренним чаем, угрюмо и решительно объявил бабушке:

– Ну, мать, кормил я тебя, кормил – будет! Добывай хлеб себе сама.

Бабушка отнеслась к этим словам совершенно спокойно, точно давно знала, что они будут сказаны, и ждала этого. Не торопясь достала табакерку, зарядила свой губчатый нос и сказала:

– Ну, что ж! Коли – так, так – эдак...

Дед снял две тёмные комнатки в подвале старого дома, в тупике, под горкой. Когда переезжали на квартиру, бабушка взяла старый лапоть на длинном оборе, закинула его в подпечек и, присев на корточки, начала вызывать домового:

– Домовик-родовик, – вот тебе сани, поезжай-ко с нами на новое место, на иное счастье...

Дед заглянул в окно со двора и крикнул:

– Я те повезу, еретица! Попробуй осрами-ка меня...

– Ой, гляди, отец, худо будет, – серьёзно предупредила она, но дед осwirепел и запретил ей перевозить домового.

Мебель и разные вещи он дня три распродал старьёвщикам-татарам, яростно торгуясь и ругаясь, а бабушка смотрела из окна и то плакала, то смеялась, негромко покрикивая:

– Тащи-и! Ломай...

Я тоже готов был плакать, жалея мой сад, шалаш. Переезжали на двух телегах, и ту, на которой сидел я, среди разного скарба, страшно трясло, как будто затем, чтобы сбросить меня долой.

И в этом ощущении упорной, сбрасывающей куда-то тряски я прожил года два, вплоть до смерти матери.

Мать явилась вскоре после того, как дед поселился в подвале, бледная, похудевшая, с огромными глазами и горячим, удивлённым блеском в них. Она всё как-то присматривалась, точно впервые видела отца, мать и меня, –

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
присматривалась и молчала, а вотчим неустанно расхаживал по комнате, насвистывая тихонько, покашливая, заложив руки за спину, играя пальцами.

– Господи, как ты ужасно растёшь! – сказала мне мать, сжав горячими ладонями щёки мои. Одета она была некрасиво – в широкое, рыжее платье, вздущееся на животе.

Вотчим протянул мне руку.

– Здравствуй, брат! Ну, как ты, а?

Понюхал воздух и сказал:

– А знаете – у вас очень сыро!

Оба они как будто долго бежали, утомились, всё на них смялось, вытерлось, и ничего им не нужно, а только бы лечь да отдохнуть.

Скучно пили чай, дедушка спрашивал, глядя, как дождь моет стекло окна:

– Стало быть – всё сгорело?

– Всё, – решительно подтвердил вотчим. – Мы сами едва выскочили...

– Так. Огонь не шутит.

Прижавшись к плечу бабушки, мать шептала что-то на ухо ей, – бабушка щурила глаза, точно в них светом било. Становилось всё скучнее.

Вдруг дед сказал ехидно и спокойно, очень громко:

– А до меня слух дошёл, Евгений Васильев, сударь, что пожара-то не было, а просто ты в карты проиграл всё...

Стало тихо, как в погребке, фыркал самовар, хлестал дождь по стёклам, потом мать выговорила:

– Папаша...

– Что-о, папаша-а? – оглушительно закричал дед. – Что ещё будет? Не говорил я тебе: не ходи тридцать за двадцать? Вот тебе, – вон он – тонкий! Дворянка, а? Что, дочка?

Закричали все четверо, громче всех вотчим. Я ушёл в сени, сел там на дрова и окоченел в изумлении: мать точно подменили, она была совсем не та, не прежняя. В комнате это было меньше заметно, но здесь, в сумраке, ясно вспомнилось, какая она была раньше.

Потом, как-то не памятно, я очутился в Сормове, в доме, где всё было новое, стены без обоев, с пенькой в пазах между бревнами и со множеством тараканов в пеньке. Мать и вотчим жили в двух комнатах, на улицу окнами, а я с бабушкой – в кухне, с одним окном на крышу. Из-за крыш чёрными кукишами торчали в небо трубы завода и густо, кудряво дымили, зимний ветер раздувал дым по всему селу; всегда у нас, в холодных комнатах, стоял жирный запах гари. Рано утром волком выл гудок:

– Хвоу, оу, оу-у...

Если встать на лавку, то в верхние стёкла окна, через крыши, видны освещённые фонарями ворота завода, раскрытые, как беззубый чёрный рот старого нищего, – в него густо лезет толпа маленьких людей. В полдень – снова гудок; отваливались чёрные губы ворот, открывая глубокую дыру, завод тошнило пережёванными людьми, чёрным потоком они изливались на улицу, белый, мохнатый ветер летал вдоль улицы, гоняя и раскидывая людей по домам. Небо было видимо над селом очень редко: изо дня в день над крышами домов, над сугробами снега, посоленными копотью, висела другая крыша, серая, плоская, она притискивала воображение и ослепляла глаза своим тоскливым одноцветом.

Вечерами над заводом колебалось мутно-красное зарево, освещая концы труб, и было похоже, что трубы не от земли к небу поднялись, а опускаются к земле из этого дымного облака, – опускаются, дышат красным и воют, гудят. Смотреть на всё это было невыносимо тошно, злая скука грызла сердце. Бабушка работала за кухарку – стряпала, мыла полы, колола дрова, носила воду, она была в работе с утра до вечера, ложилась спать усталая, кряхтя и охая. Иногда она, отстряпавшись, надевала короткую ватную кофту и, высоко подоткнув юбку, отправлялась в город.

– Поглядеть, как там старик живёт..

– Возьми меня!

– Замерзнешь, гляди, как вьюжно!

И уходила она за семь вёрст, по дороге, затерянной в снежных полях. Мать, жёлтая, беременная, зябко куталась в серую, рваную шаль с бахромой. Ненавидел я эту шаль, искажавшую большое, стройное тело, ненавидел и обрывал хвостики бахромы, ненавидел дом, завод, село. Мать ходила в растоптанных валенках, кашляла, встряхивая безобразно большой живот, её серо-синие глаза сухо и сердито сверкали и часто неподвижно останавливались на голых стенах, точно приклеиваясь к ним. Иногда она целый час смотрела в окно на улицу; улица была похожа на челюсть, часть зубов от старости почернела, покривилась, часть их уже вывалилась и неуклюже вставлены новые, не по челюсти большие.

– Зачем мы тут живём? – спрашивал я. Она отвечала:

– Ах, молчи ты...

Она мало говорила со мною, всё только приказывала:

– Сходи, подай, принеси...

На улицу меня пускали редко, каждый раз я возвращался домой избитый мальчишками, – драка была любимым и единственным наслаждением моим, я отдавался ей со страстью. Мать хлестала меня ремнём, но наказание ещё более раздражало, и в следующий раз я бился с ребятами яростней, – а мать наказывала меня сильнее. Как-то раз я предупредил её, что, если она не перестанет бить, я укушу ей руку, убегу в поле и там замерзну, – она удивлённо оттолкнула меня, прошла по комнате и сказала, задыхаясь от усталости:

– Зверёныш!

Живая, трепетная радуга тех чувств, которые именуются любовью, выцветала в душе моей, всё чаще вспыхивали угарные синие огоньки злости на всё, тлело в сердце чувство тяжкого недовольства, сознание одиночества в этой серой, безжизненной чепухе.

Вотчим был строг со мной, неразговорчив с матерью, всё посвистывал, кашлял, а после обеда становился перед зеркалом и заботливо, долго ковырял лучинкой в неровных зубах. Всё чаще он ссорился с матерью, сердито говорил ей «вы» – это выканье отчаянно возмущало меня. Во время ссор он всегда плотно прикрывал дверь в кухню, видимо, не желая, чтоб я слышал его слова, но я все-таки вслушивался в звуки его глуховатого баса.

Однажды он крикнул, топнув ногою:

– Из-за вашего дурацкого брюха я никого не могу пригласить в гости к себе, корова вы эдакая!

В изумлении, в бешеной обиде я так привскочил на полатах, что ударился головой о потолок и сильно прикусил до крови язык себе.

По субботам к вотчиму десятками являлись рабочие продавать записки на провизию, которую они должны были брать в заводской лавке, этими записками им платили вместо денег, а вотчим скупал их за полцены. Он принимал рабочих в кухне, сидя за столом, важный, хмурый, брал записку и говорил:

– Полтора рубля.

– Евгений Васильев, побойся бога...

– Полтора рубля.

Эта нелепая, тёмная жизнь недолго продолжалась; перед тем, как матери родить, меня отвели к деду. Он жил уже в Кунавине, занимая тесную комнату с русской печью и двумя окнами на двор, в двухэтажном доме на песчаной улице, опускавшейся под горку к ограде кладбища Напольной церкви.

– Что-о? – сказал он, встретив меня, и засмеялся, подвизгивая. – Говорилось: нет милей дружка, как родимая матушка, а нынче, видно, скажем: не родимая матушка, а старый чёрт дедушка! Эх вы-и..

Не успел я осмотреться на новом месте, приехали бабушка и мать с ребенком, вотчима прогнали с завода за то, что он обирал рабочих, но он съездил куда-то, и его тотчас взяли на вокзал кассиром по продаже билетов.

Прошло много пустого времени, и меня снова переселили к матери в подвальный этаж каменного дома, мать тотчас же сунула меня в школу; с первого же дня школа вызвала во мне отвращение.

Я пришёл туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в жёлтой рубашке и штанах «навыпуск», всё это сразу было осмеяно, за жёлтую рубашку я получил прозвище «бубнового туза». С мальчишками я скоро поладил, но учитель и поп невзлюбили меня.

Учитель был жёлтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа, он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полуслове, вытаскивал вату из ноздрей, разглядывал её, качая головой. Лицо у него было плоское, медное, окисшее, в морщинах лежала какая-то прАзелень, особенно уродовали это лицо совершенно лишние на нём оловянные глаза, так неприятно прилипавшие к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щёки ладонью.

Несколько дней я сидел в первом отделении, на передней парте, почти вплоть к столу учителя, – это было нестерпимо, казалось, он никого не видит, кроме меня, он гнусил всё время:

– Песко-ов, перемени рубашку-у! Песко-ов, не вози ногами! Песков, опять у тебя с обуви луза натекла-а!

Я платил ему за это диким озорством: однажды достал половинку замороженного арбуза, выдолбил её, и привязал на нитке к блоку двери в полутёмных сенях. Когда дверь открылась – арбуз взъехал вверх, а когда учитель притворил дверь – арбуз шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвёл меня с запиской учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкурой.

Другой раз я насыпал в ящик его стола нюхательного табаку; он так расчихался, что ушёл из класса, прислав вместо себя зятя своего, офицера, который заставил весь класс петь «Боже царя храни» и «Ах ты, воля, моя воля». Тех, кто пел неверно, он щёлкал линейкой по головам, как-то особенно звучно и смешно, но не больно.

Законоучитель, красивый и молодой, пышноволосый поп, невзлюбил меня за то, что у меня не было «Священной истории ветхого и нового завета», и за то, что я передразнивал его манеру говорить.

Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня:

– Пешков, книгу принёс или нет? Да. Книгу?

Я отвечал:

– Нет. Не принёс. Да.

– Что – да?

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– Нет.

– Ну, и – ступай домой! Да. Домой. Ибо тебя учить я не намерен. Да. Не намерен.

Это меня не очень огорчало, я уходил и до конца уроков шатался по грязным улицам слободы присматриваясь к её шумной жизни.

У попа было благообразное Христово лицо, ласковые, женские глаза и маленькие руки, тоже какие-то ласковые ко всему, что попадало в них. Каждую вещь – книгу, линейку, ручку пера – он брал удивительно хорошо, точно вещь была живая, хрупкая, поп очень любил её и боялся повредить ей неосторожным прикосновением. С ребяташками он был не так ласков, но они всё-таки любили его.

Несмотря на то, что я учился сносно, мне скоро было сказано, что меня выгонят из школы за недостойное поведение. Я приуныл, – это грозило мне всякими неприятностями: мать, становясь всё более раздражительной, всё чаще поколачивала меня.

Но явилась помощь, – в школу неожиданно приехал епископ Хрисанф[2], похожий на колдуна и, помнится, горбатый.

Когда он, маленький, в широкой чёрной одежде и смешном ведёрке на голове, сел за стол, высвободил руки из рукавов и сказал: «Ну, давайте беседовать, дети мои!» – в классе сразу стало тепло, весело, повеяло незнакомо приятным.

Вызвав после многих меня к столу, он спросил серьёзно:

– Тебе – который год? Только-о? Какой ты, брат, длинный, а? Под дождями часто стоял, а?

Положив на стол сухонькую руку, с большими острыми ногтями, забрав в пальцы непышную бородку, он уставился в лицо мне добрыми глазами, предложив:

– Ну-ко, расскажи мне из священной истории, что тебе нравится?

Когда я сказал, что у меня нет книги и я не учу священную историю, он поправил клубок и спросил:

– Как же это? Ведь это надобно учить! А может, что-нибудь знаешь, слышал? Псалтырь знаешь? Это хорошо! И молитвы? Ну, вот видишь! Да ещё и жития? Стихами? Да ты у меня знающий...

Явился наш поп, красный, запыхавшийся, епископ благословил его, но когда поп стал говорить про меня, он поднял руку, сказав:

– Позвольте, минутку... Ну-ко, расскажи про Алексея человека божия...

– Прехорошие стихи, брат, а? – сказал он, когда я приостановился, забыв какой-то стих. – А ещё что-нибудь?... Про царя Давида? Очень послушаю!

Я видел, что он действительно слушает и ему нравятся стихи, он спрашивал меня долго, потом вдруг остановил, осведомляясь, быстро:

– По Псалтырю учился? Кто учил? Добрый дедушка-то? Злой? Неужто? А ты очень озорничаешь?

Я замялся, но сказал – да. Учитель с попом многословно подтвердили моё сознание, он слушал их, опустив глаза, потом сказал, вздохнув:

– Вот что про тебя говорят – слышал? Ну-ко, подойди!

Положив на голову мне руку, от которой исходил запах кипарисового дерева, он спросил:

– Чего же это ты озорничаешь?

– Скушно очень учиться.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Скучно? Это, брат, неверно что-то. Было бы скучно учиться – учился бы ты плохо, а вот учителя свидетельствуют, что хорошо ты учишься. Значит, есть что-то другое.

Вынув маленькую книжку из-за пазухи, он записал:

– Пешков Алексей. Так. А ты всё-таки сдерживался бы, брат, не озорничал бы много-то! Немножко можно, а уж много-то досадно людям бывает! Так ли я говорю, дети?

Множество голосов весело ответили:

– Так.

– Вы сами то ведь не много озорничаете?

Мальчишки, ухмыляясь, заговорили:

– Нет. Тоже много! Много!

Епископ отклонился на спинку стула, прижал меня к себе и удивлённо сказал, так, что все – даже учитель с попом – засмеялись:

– Экое дело, братцы мои, ведь и я тоже в ваши-то годы великим озорником был! Отчего бы это, братцы?

Дети смеялись, он расспрашивал их, ловко путая всех, заставляя возражать друг другу, и всё усугублял весёлость. Наконец встал и сказал:

– Хорошо с вами, озорники, да пора ехать мне!

Поднял руку, смахнув рукав к плечу, и, крестя всех широкими взмахами, благословил:

– Во имя отца и сына и святого духа, благословляю вас на добрые труды! Прощайте.

Все закричали:

– Прощайте, владыко! Опять приезжайте.

Кивая кlobуком, он говорил:

– Я – приеду, приеду! Я вам книжек привезу!

И сказал учителю, выплывая из класса:

– Отпустите-ка их домой!

Он вывел меня за руку в сени и там сказал тихонько, наклонясь ко мне:

– Так ты – сдерживайся, ладно? Я ведь понимаю, зачем ты озорничаешь! Ну, прощай, брат!

Я был очень взволнован, какое-то особенное чувство кипело в груди, и даже, – когда учитель, распустив класс, оставил меня и стал говорить, что теперь я должен держаться тише воды, ниже травы, – выслушал его внимательно, охотно.

Поп, надевая шубу, ласково гудел:

– Отныне ты на моих уроках должен присутствовать! Да. Должен. Но – седи смиренно! Да. Смирно.

Поправились дела мои в школе – дома разыгралась скверная история: я украл у матери рубль. Это было преступлением без заранее обдуманного намерения: однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать с ребёнком; скучая, я развернул одну из книг вотчима – «Записки врача» Дюма-отца – и между страниц увидел два билета – в десять рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл её и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только «Священную историю», но,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.maх наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе: в морозный день, во время перемены, я рассказывал мальчикам сказку, вдруг один из них презрительно заметил:

– Сказки – чушь, а вот Робинзон – это настоящая история!

Нашлось ещё несколько мальчиков, читавших Робинзона, все хвалили эту книгу, я был обижен, что бабушкина сказка не понравилась, и тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нём – это чушь!

На другой день я принёс в школу «Священную историю» и два растрёпанных тома сказок Андерсена, три фунта белого хлеба и фунт колбасы. В тёмной, маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был и Робинзон, тощая книжонка в жёлтой обложке, и на первом листе изображён бородатый человек в меховом колпаке, в звериной шкуре на плечах, – это мне не понравилось, а сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то что растрёпаны.

Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей» – она сразу взяла всех за сердце.

«В Китае все жители – китайцы, и сам император – китаец», – помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простой, весело улыбающейся музыкой и ещё чем-то удивительно хорошим.

Мне не удалось дочитать «Соловья», в школе – не хватило времени, а когда я пришёл домой, мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным, погашенным голосом:

– Ты взял рубль?

– Взял; вот – книги...

Сковородником она меня и побила весьма усердно, а книги Андерсена отняла и навсегда спрятала куда-то, что было горше побоев.

Несколько дней я не ходил в школу, а за это время вотчим, должно быть, рассказал о подвиге моём сослуживцам, те – своим детям, один из них принёс эту историю в школу, и, когда я пришёл учиться, меня встретили новой кличкой – вор. Коротко и ясно, но – неправильно: ведь у не скрыл, что рубль взят мною. Попытался объяснить это – мне не поверили, тогда я ушёл домой и сказал матери, что в школу не пойду больше.

Сидя у окна, снова беременная, серая, с безумными, замученными глазами, она кормила брата Сашу и смотрела на меня, открыв рот, как рыба.

– Ты – врёшь, – тихо сказала она. – Никто не может знать, что ты взял рубль.

– Поди спроси.

– Ты сам проболтался. Ну, скажи – сам? Смотри, я сама узнаю завтра, кто принёс это в школу!

Я назвал ученика. Лицо её жалобно сморщилось и начало таять слезами.

Я ушёл в кухню, лёг на свою постель, устроенную за печью на ящиках, лежал и слушал, как в комнате тихонько воет мать.

– Боже мой, боже мой...

Терпения не стало лежать в противном запахе нагретых, сальных тряпок, я встал, пошёл на двор, но мать крикнула:

– Куда ты? Куда? Иди ко мне!..

Потом мы сидели на полу, Саша лежал в коленях матери, хватал пуговицы её платья, кланялся и говорил:

– Бувуга, – что означало: пуговка.

я сидел, прижавшись к боку матери, она говорила, обняв меня:

– Мы – бедные, у нас каждая копейка, каждая копейка...

И всё не договаривала чего-то, тиская меня горячей рукою.

– Экая дрянь... дрянь! – вдруг сказала она слова, которые я уже слышал от неё однажды.

Саша повторил:

– Дянь!

Странный это был мальчик: неуклюжий, большеголовый, он смотрел на всё вокруг прекрасными синими глазами, с тихой улыбкой и словно ожидая чего-то. Говорить он начал необычно рано, никогда не плакал, живя в непрерывном состоянии тихого веселья. Был слаб, едва ползал и очень радовался, когда видел меня, просился на руки ко мне, любил мять уши мои маленькими мягкими пальцами, от которых почему-то пахло фиалкой. Он умер неожиданно, не хворая; ещё утром был тихо весел, как всегда, а вечером, во время благовеста ко всеобщей, уже лежал на столе. Это случилось вскоре после рождения второго ребёнка, Николая.

Мать сделала, что обещала; в школе я снова устроился хорошо, но меня опять перебросило к деду.

Однажды, во время вечернего чая, войдя со двора в кухню, я услышал надорванный крик матери:

– Евгений, я тебя прошу, прошу...

– Глу-по-сти! – сказал вотчим.

– Но ведь я знаю – ты к ней идёшь!

– Н-ну?

Несколько секунд оба молчали, мать закашлялась, говоря:

– Какая ты злая дрянь...

Я слышал, как он ударил её, бросился в комнату и увидел, что мать, упав на колени, опёрлась спиной и локтями о стул, выгнув грудь, закинув голову, хрипя и страшно блестя глазами, а он, чисто одетый, в новом мундире, бьёт её в грудь длинной своей ногою. Я схватил со стола нож с костяной ручкой в серебре, – им резали хлеб, это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца, – схватил и со всею силою ударил вотчима в бок.

По счастью, мать успела оттолкнуть Максимова, нож проехал по боку, широко распоров мундир и только оцарапав кожу. Вотчим, охнув, бросился вон из комнаты, держась за бок, а мать схватила меня, приподняла и с рёвом бросила на пол. Меня отнял вотчим, вернувшись со двора.

Поздно вечером, когда он всё-таки ушёл из дома, мать пришла ко мне за печку, осторожно обнимала, целовала меня и плакала:

– Прости, я виновата! Ах, милый, как ты мог? Ножом?

Я совершенно искренне и вполне понимая, что говорю, сказал ей, что зарезу вотчима и сам тоже зарежусь. Я думаю, что сделал бы это, во всяком случае попробовал бы. Даже сейчас я вижу эту подлую, длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьёт носком в грудь женщины.

Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновлённой уверенностью, отвечаю себе – стоит; ибо это – живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать её из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной.

И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, – русский человек всё-таки настолько ещё здоров и молод душой, что преодолевает и преодолеет их.

Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растёт доброе – человеческое, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой.

XIII

Снова я у деда.

– Что, разбойник? – встретил он меня, стуча рукою по столу. – Ну, теперь уж я тебя кормить не стану, пускай бабушка кормит!

– И буду, – сказала бабушка. – Эка задача, подумаешь!

– Вот и корми! – крикнул дед, но тотчас успокоился, объяснив мне:

– Мы с ней совсем разделились, у нас теперь всё порознь...

Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева, весело щёлкали коклюшки, золотым ежом блестела на вешнем солнце подушка, густо усеянная медными булавками. И сама бабушка, точно из меди лита, – неизменна! А дед ещё более ссохся, сморщился, его рыжие волосы посерели, спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью, зелёные глаза смотрят подозрительно. Посмеиваясь, бабушка рассказала мне о разделе имущества между ею и дедом: он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал:

– Это – твоё, а больше ничего с меня не спрашивай!

Затем отобрал у неё все старинные платья, вещи, лисий салоп, продал всё за семьсот рублей, а деньги отдал в рост под проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами. Он окончательно заболел скупостью и потерял стыд: стал ходить по старым знакомым, бывшим сослуживцам своим в ремесленной управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорён детьми, выпрашивал у них денег на бедность. Он пользовался уважением, ему давали обильно, крупными билетами; размахивая билетом под носом бабушки, дед хвастался и дразнил её, как ребёнок:

– Видала, дура? Тебе сотой доли этого не дадут!

Собранные деньги он отдавал в рост новому своему приятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободке Хлыстом, и его сестре – лавочнице, дородной, краснощёкой бабе, с карими глазами, томной и сладкой, как патока.

Всё в доме строго делилось: один день обед готовила себе бабушка из провизии, купленной на её деньги, на другой день провизию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеды бывали хуже: бабушка брала хорошее мясо, а он – требуху, печёнку, лёгкие, сычуг. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил:

– Постой, погоди, – ты сколько положила?

Высыплет чайники на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет:

– У тебя чай-то мельче моего, значит – я должен положить меньше, мой крупнее, наваристее.

Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему и себе одной крепости и чтоб она выпивала одинаковое с ним количество чашек.

– По последней, что ли? – спрашивала она перед тем, как слить весь чай.

Дед заглядывал в чайник и говорил:

– Ну, уж – по последней!

Даже масло для лампадки пред образом каждый покупал своё, – это после полусотни лет совместного труда!

Мне было и смешно и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке – только смешно.

– А ты – полно! – успокаивала она меня. – Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит! Ему ведь восемь десятков, – отшагай-ка столько-то! Пускай дурит, кому горе? А я себе да тебе – заработаю кусок небойсь!

Я тоже начал зарабатывать деньги: по праздникам, рано утром, брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по двугривенному, железо – тоже, пуд костей по гривеннику, по восемь копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза:

– Вот и спасибо тебе, голуба душа! Мы с тобой не прокормимся, – мы? Велико дело!

Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои пятаки, глядела на них и молча плакала, одна мутная слеза висела у неё на носу, ноздреватом, как пемза.

Более доходной статьёй, чем ветошничество, было воровство дров и тёса в лесных складах на берегу Оки или на Песках, – остров, где во время ярмарки торгуют железом из наскоро сбитых балаганов. После ярмарки балаганы разбирают, а жерди, тёс – складывают в штабеля, и они лежат там, на Песках, почти вплоть до весеннего половодья. За хорошую тесину домовладельцы-мещане давали по гривеннику, в день можно было стащить штуки две, три. Но для удачи необходимы были ненастные дни, когда вьюга или дождь разгоняли сторожей, заставляя их прятаться.

Подобралась дружная ватага: десятилетний сын нищей мордовки, Санька Вяхирь, мальчик милый, нежный и всегда спокойно весёлый; безродный Кострома, вихрастый, костлявый, с огромными чёрными глазами, – он впоследствии, тринадцати лет, удавился в колонии малолетних преступников, куда попал за кражу пары голубей; татарчонок Хаби, двенадцатилетний силач, простодушный и добрый; тупоносый Язь, сын кладбищенского сторожа и могильщика, мальчик лет восьми, молчаливый, как рыба, страдавший «чёрной немочью», а самым старшим по возрасту был сын портнихи-вдовы Гришка Чурка, человек рассудительный, справедливый и страстный кулачный боец; всё – люди с одной улицы.

Воровство в слободе не считалось грехом, являясь обычаем и почти единственным средством к жизни для полуголодных мещан. Полтора месяца ярмарки не могли накормить на весь год, и очень много почтенных домохозяев «прирабатывали на реке» – ловили дрова и брёвна, унесённые половодьем, перевозили на дощаниках мелкий груз, но главным образом занимались воровством с барж и вообще – «мартышничали» на Волге и Оке, хватая всё, что было плохо положено. По праздникам большие хвастались удачами своими, маленькие слушали и учились.

Весною, в горячее время перед ярмаркой, по вечерам улицы слободы были обильно засеяны упившимися мастеровыми, извозчиками и всяким рабочим людом, – слободские ребятишки всегда ошаривали их карманы, это был промысел узаконенный, им занимались безбоязненно, на глазах старших.

Воровали инструмент у плотников, гаечные ключи у легковых извозчиков, а у ломовых – шкворни, железные подоски из тележных осей, – наша компания этими делами не занималась; Чурка однажды решительно заявил:

– Я воровать не буду, мне мамка не велит.

– А я – боюсь! – сказал Хаби.

У Костромы было чувство брезгливости к воришкам, слово – вор он произносил особенно сильно и, когда видел, что чужие ребята обирают пьяных, – разгонял их, если же удавалось поймать мальчика – жестоко бил его. Этот большеглазый, невесёлый мальчик воображал себя взрослым, он ходил особенной походкой,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
вперевалку, точно крючник, старался говорить густым, грубым голосом, весь он был какое-то тугой, надуманный, старый. Вяхирь был уверен, что воровство – грех.

Но таскать тѣс и жерди с Песков не считалось грехом, никто из нас не боялся этого, и мы выработали ряд приёмов, очень успешно облегчавших нам это дело. Вечером, когда темнело, или в ненастный день Вяхирь и Язь отправлялись на Пески через затон по набухшему, мокрому льду, – они шли открыто, стараясь обратить на себя внимание сторожей, а мы, четверо, перебирались незаметно, порознь. Сторожа, встревоженные Язём и Выхирем, следили за ними, мы собирались у заранее назначенного штабеля, выбирали себе поноски, и, пока быстроногие товарищи дразнят сторожей, заставляя их бегать за собою, мы отправляемся назад. У каждого из нас верёвка, на конце её загнут крючком большой гвоздь; зацепив им тесины или жерди, мы волокли их по снегу и по льду, – сторожа почти никогда не замечали нас, а заметив – не могли догнать. Продав поноски, мы делили выручку на шесть частей – приходилось по пятаку, иногда по семи копеек на брата.

На эти деньги можно было очень сытно прожить день, но Выхиря была мать, если он не приносил ей на шкалик или на косушку водки; Кострома копил деньги, мечтая завести голубиную охоту; мать Чурки была больна, он старался заработать как можно больше; Хаби тоже копил деньги, собираясь ехать в город, где он родился и откуда его вывез дядя, вскоре по приезде в Нижний утонувший. Хаби забыл, как называется город, помнил только, что он стоит на Каме, близко от Волги.

Нас почему-то очень смешил этот город, мы дразнили косоглазого татарчонка, распевая:

Город на Каме,
Где – не знаем сами!
Не достать руками,
Не дойти ногами!
Сначала Хаби сердился на нас, но однажды Выхирь сказал ему воркующим голосом, который оправдывал прозвище:

– Чего ты? Разве на товарищев сердуются?

Татарчонок сконфузился и сам стал распевать о городе на Каме.

Нам всё-таки больше нравилось собирание тряпок и костей, чем воровство тѣса. Это стало особенно интересно весной, когда сошёл снег, и после дождей, чисто омывавших мощёные улицы пустынной ярмарки. Там, на ярмарке, всегда можно было собрать в канавах много гвоздей, обломков железа, нередко мы находили деньги, медь и серебро, но для того, чтобы рядские сторожа не гоняли нас и не отнимали мешков, нужно было или платить им семишники, или долго кланяться им. Вообще деньги давались нам нелегко, но жили мы очень дружно, и, хотя иногда ссорились немножко, – я не помню ни одной драки между нами.

Нашим миротворцем был Выхирь, он всегда умел вовремя сказать нам какие-то особенные слова; простые – они удивляли и конфузили нас. Он и сам говорил их с удивлением. Злые выходки Язя не обижали, не пугали его, он находил всё дурное ненужным и спокойно, убедительно отрицал.

– Ну, зачем это ещё? – спрашивал он, и мы ясно видели – незачем!

Мать свою он называл «моя мордовка», – это не сместило нас.

– Вчерась моя мордовка опять привалилась домой пьянѣхонькая! – весело рассказывал он, поблёскивая глазами золотистого цвета. – Расхлебянила дверь, села на пороге и поёт, и поёт, курица!

Положительный Чурка спрашивал:

– Что – поёт?

Выхирь, прихлопывая ладонью по колену, тонким голоском воспроизводил песню своей матери:

Ой, стук-постук –
Молодой пастух,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma

Он – в окошко падогом,

Мы на улицу бегом!

Пастух Борька,

Вечерняя зорька,

Заиграет на свирели –

Все в деревне присмирели!

Он знал множество таких задорных песенок и очень ловко распевал их.

– Да, – продолжает он, – так она и заснула на пороге, выстудила горницу беда как, я весь дрожу, чуть не замёрз, а стащить её – силы не хватает. Уж сегодня утром говорю ей: «Что ты какая страшная пьяница?» А она говорит: «Ничего, потерпи немножко, я уж скоро помру!»

Чурка серьёзно подтверждает:

– Она скоро помрёт, набухла уж вся.

– Жалко будет тебе? – спрашиваю я.

– А как же? – удивляется Вяхирь. – Она ведь у меня хорошая...

И все мы, зная, что мордовка походя колотит Вяхиря, верили, что она хорошая; бывало даже, во дни неудач, Чурка предлагал:

– Давайте сложимся по копейке, Вяхиревой матери на вино, а то она побьёт его!

Грамотных в компании было двое – Чурка да я; Вяхирь очень завидовал нам и ворковал, дёргая себя за острое, мышинное ухо:

– Схороню свою мордовку – тоже пойду в училище, поклонюсь учителю в ножки, чтобы взял меня. Выучусь – в садовники наймусь к архиерею, а то к самому царю!..

Весною мордовку, вместе со стариком, сборщиком на построение храма, и бутылкой водки, придавило упавшей на них поленницей дров; женщину отвезли в больницу, а солидный Чурка сказал Вяхирю:

– Айда ко мне жить, мамка моя выучит тебя грамоте...

И через малое время Вяхирь, высоко задирая голову, читал вывески:

– Балакейная лавка...

Чурка поправлял его:

– Бакалейная, кикимора!

– Я вижу, да перескакивают буквовки.

– Буковки!

– Они прыгают – рады, что читают их!

Он очень смешил и удивлял всех нас своей любовью к деревьям, травам.

Слобода, разбросанная по песку, была скудна растительностью; лишь кое-где, по дворам, одиноко торчали бедные ветлы, кривые кусты бузины, да под забором робко прятались серые сухие былинки; если кто-нибудь из нас садился на них – Вяхирь сердито ворчал:

– Ну, на что траву мнёте? Сели бы мимо, на песок, не всё ли равно вам?

При нём неловко было сломать сучок ветлы, сорвать цветущую ветку бузины или срезать прут ивняка на берегу Оки – он всегда удивлялся, вздёрнув плечи и разводя руками:

– Что вы всё ломаете? Вот уж черти!

И всем было стыдно от его удивления.

По субботам мы устраивали весёлую забаву, – готовились к ней всю неделю, собирая по улицам стоптанные лапти, складывая их в укромных углах. Вечером, в субботу, когда с Сибирской пристани шли домой ватаги крючников-татар, мы, заняв позиции, где-нибудь на перекрёстке, начинали швырять в татар лаптями. Сначала это раздражало их, они бегали за нами, ругались, но скоро начали сами увлекаться игрою и уже зная, что их ждёт, являлись на поле сражения тоже вооружёнными множеством лаптей, мало того – подсмотрев, куда мы прячем боевой материал, они не однажды обкрадывали нас, – мы жаловались им:

– Это – не игра!

Тогда они делили лапти, отдавая нам половину, и – начинался бой. Обыкновенно они выстраивались на открытом месте, мы с визгом носились вокруг их, швыряя лаптями, они тоже выли и оглушительно хохотали, когда кто-нибудь из нас на бегу зарывался головой в песок, сбитый лаптем, ловко брошенным под ноги.

Игра горела долго, иногда вплоть до темноты, собиралось мещанство, выглядывало из-за углов и ворчало, порядка ради. Воронами летали по воздуху серые, пыльные лапти, иногда кому-нибудь из нас сильно доставалось, но удовольствие было выше боли и обиды.

Татары горячились не меньше нас; часто, кончив бой, мы шли с ними в артель, там они кормили нас сладкой кониной, каким-то особенным варевом из овощей, после ужина пили густой кирпичный чай со сдобными орешками из сладкого теста. Нам нравились эти огромные люди, на подбор – силачи, в них было что-то детское, очень понятное, – меня особенно поражала их незлобивость, непоколебимое добродушие и внимательное, серьёзное отношение друг ко другу.

Все они превосходно смеялись, до слёз захлёбываясь смехом, а один из них – касимовец, с изломанным носом, мужик сказочной силы: он снёс однажды с баржи далеко на берег колокол в двадцать семь пудов веса, – он, смеясь, выли и кричал:

– Вву, вву! Слова – трава, а слова – мелка деньга, а золотой монета слова-та!

Однажды он посадил Вяхиря на ладонь себе, поднял его высоко и сказал:

– Вот где живи, небеснай!

В ненастные дни мы собирались у Язя, на кладбище, в сторожке его отца. Это был человек кривых костей, длиннорукий, измызганный, на его маленькой голове, на тёмном лице кустились грязноватые волосы; голова его напоминала засохший репей, длинная, тонкая шея – стебель. Он сладко жмурил какие-то жёлтые глаза и скороговоркой бормотал:

– Не дай господь бессонницу! Ух!

Мы покупали три золотника чая, осьмушку сахара, хлеба, обязательно – шкалик водки отцу Язя, Чурка строго приказывал ему:

– Дрянной Мужик, – ставь самовар!

Мужик, усмехаясь, ставил жестяной самовар, мы, в ожидании чая, рассуждали о своих делах, он давал нам добрые советы:

– Глядите – после завтрая сороковины у Трусовых, большой стол будет, – вот они где, кости вам!

– У Трусовых кости кухарка собирает, – замечал всезнающий Чурка.

Вяхирь мечтал, глядя в окно на кладбище:

– Скоро в лес ходить будем, ох ты!

Язь всегда молчал, внимательно разглядывая всех печальными глазами, молча же он показывал нам свои игрушки – деревянных солдат, добытых из мусорной ямы, безногих лошадей, обломки меди, пуговицы.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Отец его ставил на стол разнообразные чашки, кружки, подавал самовар, – Кострома садился разливать чай, а он, выпив свой шкалик, залезал на печь и, вытянув оттуда длинную шею, разглядывал нас совиными глазами, ворчал:

– Ух, чтоб вам сдохнуть, – будто и не мальчишки ведь, а? Ах, воры, не дай господь бессонницу!

Вяхирь говорил ему:

– Мы вовсе не воры!

– Ну, ин воришки...

Если Язёв отец надоедал нам, – Чурка сердито окрикивал его:

– Отстань, Дрянной Мужик!

Мне, Вяхирию и Чурке очень не нравилось, когда этот человек начинал перечислять, в каком доме есть хворые, кто из слобожан скоро умрёт, – он говорил об этом смачно и безжалостно, а видя, что нам неприятны его речи, – нарочно дразнил и подзуживал нас:

– Ага-а, боитесь, шишиги? То-то! А вот скоро один толстый помрёт, – эх, и долго ему гнить!

Его останавливали, – он не унимался:

– А ведь и вам надо умирать, не помойных-то ямах недолго проживёте!

– Ну, так и умрём, – говорил Вяхирь, – нас в ангелы возьмут...

– Ва-вас? – задышался от изумления Язёв отец. – Это – вас? В ангели?

Хохотал и снова дразнил, рассказывая о покойниках разные пакости.

Но иногда этот человек вдруг начинал говорить журчащим, пониженным голосом что-то странное:

– Слушайте-ка, ребятишки, погодите! Вот третьево дни захоронили одну бабу, узнал я, ребятёнки, про неё историю – что же это за баба?

Он очень часто говорил про женщин и всегда – грязно, но было в его рассказах что-то спрашивающее, жалобное, он как бы приглашал нас думать с ним, и мы слушали его внимательно. Говорил он неумело, бестолково, часто перебивая свою речь вопросами, но от его рассказов оставались в памяти какие-то беспокоящие осколки и обломки:

– Спрашивают её: «Кто поджёт?» – «Я подожгла!» – «Как так, дура? Тебя дома не было в ту ночь, ты в больнице лежала!» – «Я подожгла!» Это она – зачем же? Ух, не дай бог бессонницу...

Он знал историю жизни почти каждого слобожанина, зарытого им в песок унылого, голого кладбища, он как бы отворял пред нами двери домов, мы входили в них, видели, как живут люди, чувствовали что-то серьёзное, важное. Он, кажется, мог бы говорить всю ночь до утра, но как только окно сторожки мутнело, прикрываясь сумраком, Чурка вставал из-за стола:

– Я – домой, а то мамка бояться будет. Кто со мной?

Уходили все; Язь провожал нас до ограды, запирали ворота и, прижав к решётке тёмное, костлявое лицо, глухо говорил:

– Прощайте!

Мы тоже кричали ему – прощай! Всегда неловко было оставлять его на кладбище. Кострома сказал однажды, оглянувшись назад:

– Вот, проснёмся завтра, а он – помер.

– Язю хуже всех жить, – часто говорил Чурка, а Вяхирь всегда возражал:

– Нам вовсе не плохо...

И на мой взгляд нам жилось не плохо, – мне эта уличная, независимая жизнь очень нравилась и нравились товарищи, они возбуждали у меня какое-то большое чувство, всегда беспокойно хотелось сделать что-нибудь хорошее для них.

В школе мне снова стало трудно, ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищепродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после неё. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье.

Но вот наконец я сдал экзамен в третий класс, получил в награду Евангелие, басни Крылова в переплёте и ещё книжку без переплёта. с непонятным титулом – «Фата-Моргана», дали мне также похвальный лист. Когда я принёс эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что всё это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у неё не было денег, дед охал и взвизгивал:

– Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх вы-и...

Я отнёс книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув её и не заметив моего озорства.

Разделавшись со школой, я снова зажил на улице, теперь стало ещё лучше, – весна была в разгаре, заработок стал обильней, по воскресеньям мы всей компанией с утра уходили в поле, в сосновую рощу, возвращались в слободу поздно вечером, приятно усталые и ещё более близкие друг к другу.

Но эта жизнь продолжалась недолго – вотчиму отказали от должности, он снова куда-то исчез, мать, с маленьким братом Николаем, переселилась к деду, и на меня была возложена обязанность няньки, – бабушка ушла в город и жила там в доме богатого купца, вышивая покров на плащаницу.

Немая, высохшая мать едва передвигала ноги, глядя на всё страшными глазами. брат был золотушный, с язвами на щиколотках, и такой слабенький, что даже плакать громко не мог, а только стонал потрясаяще, если был голоден, сытый же дремал и сквозь дрему как-то странно вздыхал, мурлыкал тихонько, точно котёнок.

Внимательно ощупав его, дед сказал:

– Кормить бы надобно его хорошенько, да не хватает у меня кормов-то на всех вас...

Мать, сидя в углу на постели, хрипло вздохнула:

– Ему немного надо...

– Тому – немного, этому – немного, и выходит много...

Он махнул рукой и обратился ко мне:

– Держать Николая надо на воле, на солнышке, в песке...

Я натаскал мешком чистого сухого песку, сложил его кучей на припёке под окном и зарывал брата по шею, как было указано дедушкой. Мальчику нравилось сидеть в песке, он сладко жмурился и светил мне необыкновенными глазами – без белков, только одни голубые зрачки, окружённые светлым колечком.

Я сразу и крепко привязался к брату, мне казалось, что он понимает всё, о чём думаю я, лёжа рядом с ним на песке под окном, откуда ползёт к нам скрипучий голос деда:

– Умереть – не велика мудрость, ты бы вот жить умела!

Мать затяжно кашляет...

Высвободив ручки, мальчик тянется ко мне, покачивая белой головёнкой; волосы у него редкие, отливают сединой, а личико старенькое, мудрое.

Если близко к нам подходит курица, кошка – Коля долго присматривается к ним, потом смотрит на меня и чуть заметно улыбается, – меня смущает эта улыбка – не чувствует ли брат, что мне скучно с ним и хочется убежать на улицу, оставив его?

Двор – маленький, тесный и сорный, от ворот идут построенные из горбушин сарайчики, дровяники и погреба, потом они загибаются, заканчиваясь баней. Крыши сплошь завалены обломками лодок, поленьями дров, досками, сырою щепой – всё это мещане выловили из Оки во время ледохода и половодья. И весь двор неприглядно завален грудями разного дерева; насыщенная водою, оно преет на солнце, распространяя запах гнили.

Рядом – бойня мелкого скота, почти каждое утро там мычали телята, блеяли бараны, кровью пахнет так густо, что иногда мне казалось – этот запах колеблется в пыльном воздухе прозрачно- багровой сеткой...

Когда мычали животные, оглушаемые ударом топора – обухом между рогов, – Коля прищуривал глаза и, надувая губы, должно быть, хотел повторить звук, но только выдувал воздух:

– Ффу...

В полдень дед, высунув голову из окна, кричал:

– Обедать!

Он сам кормил ребёнка, держа его на коленях у себя, – пожует картофеля, хлеба и кривым пальцем сунет в ротик Коли, пачкая тонкие его губы и остренький подбородок. Покормив немного, дед приподнимал рубашонку мальчика, тыкал пальцем в его вздутый животик и вслух соображал:

– Будет, что ли? Али ещё дать?

Из тёмного угла около двери раздавался голос матери:

– Видите же вы – он тянется за хлебом!

– Ребёнок глуп! Он не может знать, сколько надо ему съесть...

И снова совал в рот Коли жвачку. Смотреть на это кормление мне было стыдно до боли, внизу горла меня душило и тошнило.

– Ну, ладно! – говорил наконец дед. – На-ко, отнеси его матери.

– Я брал Колю – он стонал и тянулся к столу. Встречу мне, хрипя, поднималась мать, протягивая сухие руки без мяса на них, длинная, тонкая, точно ель с обломанными ветвями.

Она совсем онемела, редко скажет слово кипящим голосом, а то целый день молча лежит в углу и умирает. Что она умирала – это я, конечно, чувствовал, знал, да и дед слишком часто, назойливо говорил о смерти, особенно по вечерам, когда на дворе темнело и в окна влезал тёплый, как овчина, жирный запах гнили.

Дедова кровать стояла в переднем углу, почти под образами, он ложился головою к ним и окошку, – ложился и долго ворчал в темноте:

– Вот – пришло время умирать. С какой рожей пред богом встанем? Что скажем? А ведь весь век суетились, чего-то делали... До чего дошли?..

Я спал между печью и окном, на полу, мне было коротко, ноги я засовывал в подпечек, их щекотали тараканы. Этот угол доставил мне немало злых удовольствий, – дед, стряпая, постоянно выбивал стёкла в окне концами ухватов и кочерги. Было смешно и странно, что он, такой умный, не догадается обрезать ухваты.

Однажды, когда у него что-то перекипело в горшке, он заторопился и так рванул ухватом, что вышиб перекладину рамы, оба стекла, опрокинул горшок на шестке и разбил его. Это так огорчило старика, что он сел на пол и заплакал.

– Господи, господи...

Днём, когда он ушёл, я взял хлебный нож и обрезал ухваты четверти на три, но дед, увидав мою работу, начал ругаться:

– Бес проклятый, – пилой надо было отпилить, пило-ой! Из концов-то скалки вышли бы, продать бы их можно, дьяволово семя!

Махая руками, он выбежал в сени, а мать сказала:

– Не совался бы ты...

Умерла она в августе, в воскресенье, около полудня. Вотчим только что воротился из своей поездки и снова где-то служил, бабушка с Колей уже перебралась к нему, на чистенькую квартирку около вокзала, туда же на днях должны были перевезти и мать.

Утром, в день смерти, она сказала мне тихо, но более ясным и лёгким голосом, чем всегда:

– Сходи к Евгению Васильевичу, скажи – прошу его прийти!

Приподнялась на постели, упираясь рукою в стену, и села, добавив:

– Скорей беги!

Мне показалось, что она улыбается и что-то новое светилось в её глазах. Вотчим был у обедни, бабушка послала меня за табаком к еврейке-будочнице, готового табаку не оказалось, пришлось ждать, пока будочница натёрла табаку, потом отнести его бабушке.

Когда я воротился к деду, мать сидела за столом, одетая в чистое сиреневое платье, красиво причёсанная, важная по-прежнему.

– Тебе стало лучше? – спросил я, оробев почему-то.

Жутко глядя на меня, она сказала:

– Поди сюда! Ты где шлялся, а?

Я не успел ответить, как она, схватив меня за волосы, взяла в другую руку длинный гибкий нож, сделанный из пилы, и с размаха несколько раз ударила меня плашмя, – нож вырвался из руки у неё.

– Подними! Дай...

Я поднял нож, бросил его на стол, мать оттолкнула меня; я сел на приступок печи, испуганно следя за нею.

Встав со стула, она медленно передвинулась в свой угол, легла на постель и стала вытирать платком вспотевшее лицо. Рука её двигалась неверно, дважды упала мимо лица на подушку и провела платком по ней.

– Дай воды...

Я зачерпнул из ведра чашкой, она, с трудом приподняв голову, отхлебнула немножко и отвела руку мою холодной рукою, сильно вздохнув. Потом взглянула в угол на иконы, перевела глаза на меня, пошевелила губами, словно усмехнувшись, и медленно опустила на глаза длинные ресницы. Локти её плотно прижались к бокам, а руки, слабо шевеля пальцами, ползли на грудь, подвигаясь к горлу. По лицу её плыла тень, уходя в глубь лица, натягивая жёлтую кожу, заострив нос. Удивлённо открывался рот, но дыхания не было слышно.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru
Неизмеримо долго стоял я с чашкой в руке у постели матери, глядя, как застывает, сереет её лицо.

Вошёл дед, я сказал ему:

– Умерла мать...

Он заглянул на постель.

– Что врешь?

Ушёл к печи и стал вынимать пирог, оглушительно гремя заслоном и противнем. Я смотрел на него, зная, что мать умерла, ожидая, когда он поймёт это.

Пришёл вотчим в парусиновом пиджаке, в белой фуражке. Бесшумно взял стул, понёс его к постели матери и вдруг, ударив стулом о пол, крикнул громко, как медная труба:

– Да она умерла, смотрите...

Дед, вытаращив глаза, тихонько двигался от печи с заслоном в руке, спотыкаясь, как слепой.

Когда гроб матери засыпали сухим песком и бабушка, как слепая, пошла куда-то среди могил, она наткнулась на крест и разбила себе лицо. Язёв отец отвёл её в сторожку, и, пока она умывалась, он тихонько говорил мне утешительные слова:

– Ах ты, – не дай бог бессонницу, чего ты, а? Уж это – такое дело... Верно я говорю, бабушка? И богату и просту – всем дорога к погосту, – так ли, бабушка?

Взглянув в окно, он вдруг выскочил из сторожки. но тотчас же вернулся вместе с Вяхирем, сияющий, весёлый.

– Ты гляди-ко, – сказал он, протягивая мне сломанную шпору, – гляди, какая вещь! Это мы с Вяхирем тебе дарим. Гляди – колёсико, а? Не иначе – казак носил да потерял... Я хотел купить у Вяхиря штучку эту, семишник давал...

– Что ты врешь! – тихо, но сердито сказал Вяхирь, а Язёв отец, прыгая предо мною, подмигивал на него и говорил:

– Вяхирь-то, а? Строгий! Ну – не я, он дарит это тебе, он...

Бабушка умылась, закутала платком вспухшее, синее лицо и позвала меня домой, – я отказался, зная, что там, на поминках, будут пить водку и, наверное, поссорятся. Дядя Михаил ещё в церкви вздыхал, говоря Якову:

– Выпьем сегодня, а?

Вяхирь старался рассмешить меня: нацепил шпору на подбородок и доставал репеёк языком, а Язёв отец нарочито громко хохотал, вскрикивая:

– Гляди, ты гляди, чего он делает! – Но видя, что всё это не веселит меня, он сказал серьёзно: – Ну – буде, очнись-ка! Все умрём, даже птица умирает. Вот что: я те материну могилу дёрном обложу – хошь? Вот сейчас пойдём в поле, – ты, Вяхирь, я; Санька мой с нами; нарежем дёрна и так устроим могилу – лучше нельзя!

Мне понравилось это, и мы пошли в поле.

Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:

– Ну, Лексей, ты – не медаль, на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди...

И пошёл я в люди.

1913–1914 гг.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru

В людях

I

Я – в людях, служу «мальчиком» при магазине «модной обуви», на главной улице города.

Мой хозяин – маленький, круглый человечек; у него бурое, стёртое лицо, зелёные зубы, водянисто-грязные глаза. Он кажется мне слепым, и, желая убедиться в этом, я делаю гримасы.

– Не криви рожу, – тихонько, но строго говорит он.

Неприятно, что эти мутные глаза видят меня, и не верится, что они видят, – может быть, хозяин только догадывается, что я гримасничаю?

– Я сказал – не криви рожу, – ещё тише внушает он, почти не шевеля толстыми губами.

– Не чеди рук, – ползет ко мне его сухой шопот. – Ты служишь в первоклассном магазине на главной улице города, это надо помнить! Мальчик должен стоять при двери, как статуя...

Я не знаю, что такое статуя, и не могу не чесать рук, – обе они до локтей покрыты красными пятнами и язвами, их нестерпимо разъедает чесоточный клещ.

– Ты чем занимался дома? – спрашивает хозяин, рассматривая руки.

Я рассказываю, он качает круглой головой, плотно оклеенной серыми волосами, и обидно говорит:

– Ветошничество – это хуже нищенства, хуже воровства.

Не без гордости я заявляю:

– Я ведь и воровал тоже.

Тогда, положив руки на конторку, точно кот лапы, он испуганно упирается пустыми глазами в лицо мне и шипит:

– Что-о? Как это воровал?

Я объясняю – как и что.

– Ну, это сочтём за пустяки. А если ты у меня украдёшь ботинки али деньги, я тебя устрою в тюрьму до твоих совершенных лет...

Он сказал это спокойно, я испугался и ещё больше невзлюбил его.

Кроме хозяина, в магазине торговал мой брат, Саша Яковлев, и старший приказчик – ловкий, липкий и румяный человек. Саша носил рыженький сюртучок, манишку, галстук, брюки навывпуск, был горд и не замечал меня.

Когда дед привёл меня к хозяину и просил Сашу помочь мне, поучить меня, – Саша важно нахмурился, предупреждая:

– Нужно, чтоб он меня слушался!

Положив руку на голову мою, дед согнул мне шею.

– Слушай его, он тебя старше и по годам и по должности...

А Саша, выкатив глаза, внушил мне:

– Помни, что дедушка сказал!

И с первого же дня начал усердно пользоваться своим старшинством.

– Каширин, не вытаращивай зенки, – советовал ему хозяин.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Я – ничего-с, – отвечал Саша, наклоняя голову, но хозяин не отставал:

– Не бычись, покупатели подумают, что ты козёл...

Приказчик почтительно смеялся, хозяин уродливо растягивал губы, Саша, багрово налившись кровью, скрывался за прилавком.

Мне не нравились эти речи, я не понимал множества слов, иногда казалось, что эти люди говорят на чужом языке.

Когда входила покупательница, хозяин вынимал из кармана руку, касался усов и приклеивал на лицо своё сладостную улыбку; она, покрывая щёки его морщинами, не изменяла слепых глаз. Приказчик вытягивался, плотно приложив локти к бокам, а кисти их почтительно развешивал в воздухе, Саша пугливо мигал, стараясь спрятать выпученные глаза, я стоял у двери, незаметно почесывая руки, и следил за церемонией продажи.

Стоя перед покупательницей на коленях, приказчик примеряет башмак, удивительно растопырив пальцы. Руки у него трепещут, он дотрагивается до ноги женщины так осторожно, точно он боится сломать ногу, а нога – толстая, похожа на бутылку с покатыми плечиками, горлышком вниз.

Однажды какая-то дама сказала, дрыгая ногой и поёживаясь:

– Ах, как вы щекочете...

– Это-с – из вежливости, – быстро и горячо объяснил приказчик.

Было смешно смотреть, как он липнет к покупательнице, и чтобы не смеяться, я отворачивался к стеклу двери. Но неодолимо тянуло наблюдать за продажей, – уж очень забавляли меня приемы приказчика, и в то же время я думал, что никогда не сумею так вежливо растопыривать пальцы, так ловко насаживать башмаки на чужие ноги.

Часто, бывало, хозяин уходил из магазина в маленькую комнатку за прилавком и звал туда Сашу; приказчик оставался глаз на глаз с покупательницей. Раз, коснувшись ноги рыжей женщины, он сложил пальцы щепотью и поцеловал их.

– Ах, – вздохнула женщина, – какой вы шалунишка! А он надул щеки и тяжело произнес:

– Мм-ух!

Тут я расхохотался до того, что, боясь свалиться с ног, повис на ручке двери, дверь отворилась, я угодил головой в стекло и вышиб его. Приказчик топал на меня ногами, хозяин стучал по голове моей тяжёлым золотым перстнем, Саша пытался трепать мои уши, а вечером, когда мы шли домой, строго внушал мне:

– Прогонят тебя за эти штуки! Ну, что тут смешного?

И объяснил: если приказчик нравится дамам – торговля идёт лучше.

– Даме и не нужно башмаков, а она придёт да лишние купит, только бы поглядеть на приятного приказчика. А ты – не понимаешь! Возись с тобой...

Это меня обидело, – никто не возился со мной, а он тем более.

По утрам кухарка, женщина больная и сердитая, будила меня на час раньше, чем его; я чистил обувь и платье хозяев, приказчика, Саши, ставил самовар, приносил дров для всех печей, чистил судки для обеда. Придя в магазин, подметал пол, стирал пыль, готовил чай, разносил покупателям товар, ходил домой за обедом; мою должность у двери в это время исполнял Саша и, находя, что это унижает его достоинство, ругал меня:

– Увалень! Работай вот за тебя...

Мне было тягостно и скучно, я привык жить самостоятельно, с утра до ночи на песчаных улицах Кунавина, на берегу мутной Оки, в поле, и в лесу. Не хватало

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
бабушки, товарищей, не с кем было говорить, а жизнь раздражала, показывая мне
свою неказистую, лживую изнанку.

Нередко случалось, что покупательница уходила, ничего не купив, – тогда они, трое, чувствовали себя обиженными. Хозяин прятал в карман свою сладкую улыбку, командовал:

– Каширин, приברי товар!

И ругался:

– Ишь нарыла, свинья! Скушно дома сидеть дуре, так она по магазинам шляется. Была бы ты моей женой – я б тебя...

Его жена, сухая, черноглазая, с большим носом, топала на него ногами и кричала, как на слугу.

Часто, проводив знакомую покупательницу вежливыми поклонами и любезными словами, они говорили о ней грязно и бесстыдно, вызывая у меня желание выбежать на улицу и, догнав женщину, рассказать, как говорят о ней.

Я, конечно, знал, что люди вообще плохо говорят друг о друге за глаза, но эти говорили обо всех особенно возмутительно, как будто они были кем-то признаны за самых лучших людей и назначены в судьи миру. Многим завидуя, они никогда никого не хвалили и о каждом человеке знали что-нибудь скверное.

Как-то раз в магазин пришла молодая женщина, с ярким румянцем на щеках и сверкающими глазами, она была одета в бархатную ротонду с воротником черного меха, – лицо её возвышалось над мехом, как удивительный цветок. Сбросив с плеч ротонду на руки Саши, она стала ещё красивее: стройная фигура была туго обтянута голубовато-серым шёлком, в ушах сверкали брильянты, – она напоминала мне Василису Прекрасную, и я был уверен, что это сама губернаторша. Её приняли особенно почтительно, изгибаясь перед нею, как перед огнём, захлёбываясь любезными словами. Все трое метались по магазину, точно бесы; на стёклах шкапов скользили их отражения, казалось, что всё кругом загорелось, тает и вот сейчас примет иной вид, иные формы.

А когда она, быстро выбрав дорогие ботинки, ушла, хозяин, причмокнув, сказал со свистом:

– С-сука...

– Одно слово – актриса, – с презрением молвил приказчик.

И они стали рассказывать друг другу о любовниках дамы, о её кутежах.

После обеда хозяин лёг спать в комнате за магазином, а я, открыв золотые его часы, накапал в механизм уксуса. Мне было очень приятно видеть, как он, проснувшись, вышел в магазин с часами в руках и растерянно бормотал:

– Что за оказия? Вдруг часы вспотели! Никогда этого не бывало – вспотели! Уж не к худу ли?

Несмотря на обилие суеты в магазине и работы дома, я словно засыпал в тяжёлой скуке, и всё чаще думалось мне: что бы такое сделать, чтоб меня прогнали из магазина?

Снежные люди молча мелькают мимо двери магазина, – кажется, что они кого-то хоронят, провожают на кладбище, но опоздали к выносу и торопятся догнать гроб. Трясутся лошади, с трудом одолевая сугробы. На колокольне церкви за магазином каждый день уныло звонят – великий пост; удары колокола бьют по голове, как подушкой: не больно, а глупеешь и глохнешь от этого.

Однажды, когда я разбирал на дворе, у двери в магазин, ящик только что полученного товара, ко мне подошел церковный сторож, кособокий старичок, мягкий, точно из тряпок сделан, и растрепанный, как будто его собаки рвали.

– Ты бы, человек божий, украл мне калошки, а? – предложил он.

я промолчал. Присев на пустой ящик, он зевнул, перекрестил рот и – снова:

– Украдь, а?

– Воровать нельзя! – сообщил я ему.

– А воруют, однако. Уважь старость!

Он был приятно не похож на людей, среди которых я жил; я почувствовал, что он вполне уверен в моей готовности украсть, и согласился подать ему калоши в форточку окна.

– Вот и ладно, – не радуясь, спокойно сказал он. – Не оманешь? Ну, ну, уж я вижу, что не оманешь...

Посидел с минуту молча, растирая грязный, мокрый снег подошвой сапога, потом закурил глиняную трубку и вдруг испугал меня:

– А ежели я тебя оману? Возьму эти самые калоши, да к хозяину отнесу, да и скажу, что продал ты мне их за полтину? А? Цена им свыше двух целковых, а ты – за полтину! На гостинцы, а?

Я немотно смотрел на него, как будто он уже сделал то, что обещал, а он всё говорил тихонько, гнусаво, глядя на свой сапог и попыхивая голубым дымом.

– Если окажется, напримерно, что это хозяин же и научил меня: иди испытай мне мальчика – насколько он вор? Как тогда будет?

– Не дам я тебе калоши, – сказал я сердито.

– Теперь уж нельзя не дать, коли обещал!

Он взял меня за руку, привлёк к себе и, стучая холодным пальцем по лбу моему, лениво продолжал:

– Как же это ты ни с того, ни с сего, – на, возьми?!

– Ты сам просил.

– Мало ли чего я могу попросить! Я тебя попрошу церкву ограбить, как же ты – ограбишь? Разве можно человеку верить? Ах ты, дурачок...

И, оттолкнув меня, он встал.

– Калошев мне не надо краденых, я не барин, калошей не ношу. Это я пошутил только... А за простоту твою, когда пасха придёт, я те на колокольню пуцу, звонить будешь, город поглядишь...

– Я знаю город.

– С колокольни он краше...

Зарывая носки сапог в снег, он медленно ушёл за угол церкви, а я, глядя вслед ему, уныло, испуганно думал: действительно пошутил старичок или подослан был хозяином проверить меня? Идти в магазин было боязно.

На двор выскочил Саша и закричал:

– Какого чорта ты возишься!

Я замахнулся на него клещами, вдруг взбесившись.

Я знал, что он и приказчик обкрадывают хозяина: они прятали пару ботинок или туфель в трубу печи, потом, уходя из магазина, скрывали их в рукавах пальто. Это не нравилось мне и пугало меня, – я помнил угрозу хозяина.

– Ты воруеть? – спросил я Сашу.

– Не я, а старший приказчик, – объяснил он мне строго, – я только помогаю ему. Он говорит – послужи! Я должен слушаться, а то он мне пакость устроит. Хозяин! Он сам вчерашний приказчик, он всё понимает. А ты молчи!

Говоря, он смотрел в зеркало и поправлял галстук теми же движениями неестественно растопыренных пальцев, как это делал старший приказчик. Он неумоимо показывал мне своё старшинство и власть надо мною, кричал на меня басом, а приказывая мне, вытягивал руку вперёд отталкивающим жестом. Я был выше его и сильнее, но костляв и неуклюж, а он – плотненький, мягкий и масляный. В сюртуке и брюках навыпуск он казался мне важным, солидным, но было в нём что-то неприятное, смешное. Он ненавидел кухарку, бабу странную, – нельзя было понять, добрая она или злая.

– Лучше всего на свете люблю я бои, – говорила она, широко открыв чёрные, горячие глаза. – Мне всё едино, какой бой: петухи ли дерутся, собаки ли, мужики – мне это всё едино!

И если на дворе дрались петухи или голуби, она, бросив работу, наблюдала за дракою до конца её, глядя в окно, глухая, немая. По вечерам она говорила мне и Саше:

– Что вы, ребяташки, зря сидите, подрались бы лучше!

Саша сердится:

– Я тебе, дуре, не ребяташка, а второй приказчик!

– Ну, этого я не вижу. Для меня, покуда не женат, ребёнок!

– Дура, дурья голова...

– Бес умён, да его бог не любит.

Её поговорки особенно раздражали Сашу, он дразнил её, а она, презрительно скосив на него глаза, говорила:

– Эх ты, таракан, богова ошибка!

Не однажды он уговаривал меня намазать ей, сонной, лицо ваксой или сажей, натывать в её подушку булавок или как-нибудь иначе «подшутить» над ней, но я боялся кухарки, да и спала она чутко, часто просыпаясь; проснётся, зажжёт лампу и сидит на кровати, глядя куда-то в угол. Иногда она приходила ко мне за печку и, разбудив меня, просила хрипло:

– Не спится мне, Лексейка, боязно чего-то, поговори-ка ты со мной.

Сквозь сон я что-то рассказывал ей, а она сидела молча и покачивалась. Мне казалось, что горячее тело её пахнет воском и ладаном и что она скоро умрёт. Может быть, даже сейчас вот ткнётся лицом в пол и умрёт. Со страха я начинал говорить громко, но она останавливала меня:

– Шш! А то сволочи проснутся, подумают про тебя, что ты любовник мой...

Сидела она около меня всегда в одной позе: согнувшись, сунув кисти рук между колен, сжимая их острыми костями ног. Грудей у неё не было, и даже сквозь толстую холстину рубахи проступали рёбра, точно обручи на разохшейся бочке. Сидит долго молча и вдруг прошепчет:

– Хоть умереть бы, что ли, такая всё тоска...

Или спросит кого-то:

– Вот и дожила – ну?

– Спи! – говорила она, прерывая меня на полуслове, разгибалась и, серая, таяла бесшумно в темноте кухни.

– Ведьма! – звал её Саша за глаза.

Я предложил ему:

– А ты в глаза скажи ей это!

– Думаешь, побоюсь?

Но тотчас же сморщился, говоря:

– Нет, в глаза не скажу! Может, она вправду ведьма...

Относясь ко всем пренебрежительно и сердито, она и мне ни в чём не мирволила, – дёрнет меня за ногу в шесть часов утра и кричит:

– Буде дрыхнуть-то! Тащи дров! Ставь самовар! Чисти картошку!..

Просыпался Саша и ныл:

– Что ты орёшь? Я хозяину скажу, спать нельзя...

Быстро передвигая по кухне свои сухие кости, она сверкала в его сторону воспалёнными бессонницей глазами:

– У, богова ошибка! Был бы ты мне пасынок, я бы тебя ощипала.

– Проклятая, – ругался Саша и по дороге в магазин внушал мне: – Надо сделать, чтоб её прогнали. Надо, незаметно, соли во всё подбавлять, – если у неё всё будет пересолено, прогонят её. А то керосину! Ты чего зеваешь?

– А ты?

Он сердито фыркнул:

– Трус!

Кухарка умерла на наших глазах: наклонилась, чтобы поднять самовар, и вдруг села на пол, точно кто-то толкнул её в грудь, потом молча свалилась на бок, вытягивая руки вперёд, а изо рта у нее потекла кровь.

Мы оба тотчас поняли, что она умерла, но, стиснутые испугом, долго смотрели на неё, не в силах слова сказать. Наконец Саша стремглав бросился вон из кухни, а я, не зная, что делать, прижался у окна, на свету. Пришёл хозяин, озабоченно присел на корточки, пощупал лицо кухарки пальцем, сказал:

– Действительно умерла... Что такое?

И стал креститься в угол, на маленький образок Николы Чудотворца, а помолившись, скомандовал в сени:

– Каширин, беги, объяви полиции!

Пришёл полицейский, потоптался, получил на чай, ушёл; потом снова явился, а с ним – ломовой извозчик; они взяли кухарку за ноги, за голову и унесли её на улицу. Заглянула из сеней хозяйка, приказала мне:

– Вымой пол!

А хозяин сказал:

– Хорошо, что она вечером померла...

Я не понял, почему это хорошо. Когда ложились спать, Саша сказал мне необычно кротко:

– Не гаси лампу!

– Боишься?

Он закутал голову одеялом и долго лежал молча. Ночь была тихая, словно прислушивалась к чему-то, чего-то ждала, а мне казалось, что вот в следующую секунду ударят в колокол и вдруг все в городе забегают, закричат в великом смятении страха.

Саша высунул нос из-под одеяла и предложил тихонько:

– Давай ляжем на печи, рядом?

– Жарко на печи.

Помолчав, он сказал:

– Как она – сразу, а? Вот тебе и ведьма... Не могу уснуть...

– И я не могу.

Он стал рассказывать о покойниках, как они, выходя из могил, бродят до полуночи по городу, ищут, где жили, где у них остались родные.

– Покойники помнят только город, – тихонько говорил он, – а улицы и дома не помнят уж...

Становилось всё тише, как будто темнее. Саша приподнял голову и спросил:

– Хочешь, посмотрим мой сундук?

Мне давно хотелось узнать, что он прячет в сундуке. Он запирает его всяким замком, а открывал всегда с какими-то особенными предосторожностями и, если я пытался заглянуть в сундук, грубо спрашивал:

– Чего тебе надо? Ну?

Когда я согласился, он сел на постели, не спуская ноги на пол, и уже тоном приказания велел мне поставить сундук на постель, к его ногам. Ключ висел у него на гайтане, вместе с нательным крестом. Оглянув тёмные углы кухни, он важно нахмурился, отпер замок, подул на крышку сундука, точно она была горячая, и, наконец приподняв её, вынул несколько пар белья.

Сундук был до половины наполнен аптечными коробками, свёртками разноцветной чайной бумаги, жестянками из-под ваксы и сардин.

– Это что?

– А вот увидишь...

Он обнял сундук ногами и склонился над ним, напевая тихонько:

– Царю небесный...

Я ожидал увидеть игрушки: я никогда не имел игрушек и относился к ним с наружным презрением, но не без зависти к тому, у кого они были. Мне очень понравилось, что у Саши, такого солидного, есть игрушки; хотя он и скрывает их стыдливо, но мне понятен был этот стыд.

Открыв первую коробку, он вынул из неё оправу от очков, надел её на нос и, строго глядя на меня, сказал:

– Это ничего не значит, что стёкол нет, это уж такие очки!

– Дай мне посмотреть!

– Тебе они не по глазам. Это для тёмных глаз, а у тебя какие-то светлые, – объяснил он и по-хозяйски крякнул, но тотчас же испуганно осмотрел всю кухню.

В коробке из-под ваксы лежало много разнообразных пуговиц, – он объяснил мне с гордостью:

– Это я всё на улице собрал! Сам. Тридцать семь уж...

В третьей коробке оказались большие медные булавки, тоже собранные на улице, потом – сапожные подковки, стёртые, сломанные и цельные, пряжки от башмаков и туфель, медная дверная ручка, сломанный костяной набалдашник трости, девичья головная гребёнка, «Сонник и оракул» и ещё множество вещей такой же ценности.

В моих поисках тряпок и костей я легко мог бы собрать таких пустяковых штук за один месяц в десять раз больше. Сашины вещи вызвали у меня чувство разочарования, смущения и томительной жалости к нему. А он разглядывал каждую штучку внимательно, любовно гладил её пальцами, его толстые губы важно оттопырились, выпуклые глаза смотрели умиленно и озабоченно, но очки делали его детское лицо смешным.

– Зачем это тебе?

Он мельком взглянул на меня сквозь оправу очков и спросил ломким дискантом:

– Хочешь, подарю что-нибудь?

– Нет, не надо...

Видимо, обиженный отказом и недостатком внимания к богатству его, он помолчал минуту, потом тихонько предложил:

– Возьми полотенце, перетрём всё, а то запыхалось...

Когда вещи были перетёрты и уложены, он кувырнулся в постель, лицом к стене. Дождь пошёл, капало с крыши, в окна торкался ветер.

Не оборачиваясь ко мне, Саша сказал:

– погоди, когда в саду станет суше, я тебе покажу такую штуку – ахнешь!

Я промолчал, укладываясь спать.

Прошло ещё несколько секунд, он вдруг вскочил и, царапая руками стену, с потрясающей убедительностью заговорил:

– я боюсь... Господи, я боюсь! Господи помилуй! Что же это?

Тут и я испугался до онемения: мне показалось, что у окна во двор, спиной ко мне, стоит кухарка, наклонив голову, упираясь лбом в стекло, как стояла она живая, глядя на петушиный бой.

Саша рыдал, царапая стену, дрыгая ногами. Я с трудом, точно по горячим углям, не оглядываясь, перешёл кухню и лёг рядом с ним.

Наревевшись до утомления, мы заснули.

Через несколько дней после этого был какой-то праздник, торговали до полудня, обедали дома, и, когда хозяева после обеда легли спать, Саша таинственно сказал мне:

– Идём!

Я догадался, что сейчас увижу штуку, которая заставит меня ахнуть.

Вышли в сад. На узкой полосе земли, между двух домов, стояло десятка полтора старых лип, могучие стволы были покрыты зелёной ватой лишая, чёрные голые сучья торчали мёртво. И ни одного вороньего гнезда среди них. Деревья – точно памятники на кладбище, кроме этих лип, в саду ничего не было, ни куста, ни травы; земля на дорожках плотно утоптана и черна, точно чугунная; там, где из-под жухлой прошлогодней листвы видны её лысины, она тоже подёрнута плесенью, как стоячая вода ряской.

Саша прошёл за угол, к забору с улицы, остановился под липой и, выкатив глаза,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.maх
поглядел в мутные окна соседнего дома. Присел на корточки, разгрёб руками кучу листьев, – обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Он приподнял их – под ними оказался кусок кровельного железа, под железом – квадратная дощечка, наконец предо мною открылась большая дыра, уходя под корень.

Саша зажѐг спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дырку и сказал мне:

– Гляди! Не бойся только...

Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел, неприятно распустил губы, глаза его стали влажны, он тихонько отводил свободную руку за спину. Страх его передался мне, я очень осторожно заглянул в углубление под корнем, – корень служил пещере сводом, – в глубине её Саша зажѐг три огонька, они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширна, глубиной как внутренность ведра, но шире, бока её были сплошь выложены кусками разноцветных стѐкол и черепков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчовый покров, из-под покрова высывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. За гробом возвышался аналой, на нём лежал медный нательный крест, а вокруг аналая горели три восковые огарка, укрепленные в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет.

Острия огня наклонялись к отверстию пещеры; внутри её тускло блестели разноцветные искры, пятна. Запах воска, тёплой гнили и земли бил мне в лицо, в глазах переливалась, прыгала раздробленная радуга. Всё это вызвало у меня тягостное удивление и подавило мой страх.

– Хорошо? – спросил Саша.

– Это зачем?

– Часовня, – объяснил он. – Похоже?

– Не знаю.

– А воробей – покойник! Может, мощи будут из него, потому что он – невинно пострадавший мученик...

– Ты его мёртвым нашёл?

– Нет, он залетел в сарай, а я накрыл его шапкой и задушил.

– Зачем?

– Так...

Он заглянул мне в глаза и снова спросил:

– Хорошо?

– Нет!

Тогда он наклонился к пещере, быстро прикрыл её доской, железом, втиснул в землю кирпичи, встал на ноги и, очищая с колен грязь, строго спросил:

– Почему не нравится?

– Воробья жалко.

Он посмотрел на меня неподвижными глазами, точно слепой, и толкнул в грудь, крикнув:

– Дурак! Это ты от зависти говоришь, что не нравится! Думаешь, у тебя в саду, на Канатной улице, лучше было сделано?

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
Я вспомнил свою беседу и уверенно ответил:

– Конечно, лучше!

Саша сбросил с плеч на землю свой сюртучок и, засучивая рукава, поплевав на ладони, предложил:

– Когда так, давай драться!

Драться мне не хотелось, я был подавлен ослабляющей скукой, мне неловко было смотреть на озлобленное лицо брата.

Он наскочил на меня, ударил головой в грудь, опрокинул, уселся верхом на меня и закричал:

– Жизни али смерти?

Но я был сильнее его и очень рассердился; через минуту он лежал вниз лицом, протянув руки за голову, и хрипел. Испугавшись, я стал поднимать его, но он отбивался руками и ногами, всё более пугая меня. Я отошёл в сторону, не зная, что делать, а он, приподняв голову, говорил:

– Что, взял? Вот буду так валяться, покуда хозяева не увидят, а тогда пожалуюсь на тебя, тебя и прогонят!

Он ругался, угрожал; его слова рассердили меня, я бросился к пещере, вынул камни, гроб с воробьём перебросил через забор на улицу, изрыл всё внутри пещеры и затоптал её ногами.

– Вот тебе, видел?

Саша отнёсся к моему буйству странно: сидя на земле, он, приоткрыв немножко рот и сдвинув брови, следил за мною, ничего не говоря, а когда я кончил, он, не торопясь, встал, отряхнулся и, набросив сюртучок на плечи, спокойно и зловеще сказал:

– Теперь увидишь, что будет, погоди немножко! Это ведь я нарочно сделал для тебя, это – колдовство! Ага?..

Я так и присел, точно ушибленный его словами, всё внутри у меня облилось холодом. А он ушёл, не оглянувшись, ещё более подавив спокойствием своим.

Я решил завтра же убежать из города, от хозяина, от Саши с его колдовством, от всей этой нудной, дурацкой жизни.

На другой день утром новая кухарка, разбудив меня, закричала:

– Батюшки! Что у тебя с рожей-то?..

«Началось колдовство!» – подумал я угнетённо.

Но кухарка так залихватно хохотала, что я тоже улыбнулся невольно и взглянул в её зеркало: лицо у меня было густо вымазано сажей.

– Это – Саша?

– А то я! – смешливо кричала кухарка.

Я начал чистить обувь, сунул руку в башмак, – в палец мне впилась булавка.

«Вот оно – колдовство!»

Во всех сапогах оказались булавки и иголки, пристроенные так ловко, что они впивались мне в ладонь. Тогда я взял ковш холодной воды и с великим удовольствием вылил её на голову ещё не проснувшегося или притворно спавшего колдуна.

Но всё-таки я чувствовал себя плохо: мне всё мерещился гроб с воробьём, серые,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyтама
скрюченные лапки и жалобно торчавший вверх восковой его нос, а вокруг –
неустанное мелькание разноцветных искр, как будто хочет вспыхнуть радуга – и не
может. Гроб расширился, когти птицы росли, тянулись вверх и дрожали, оживая.

Бежать я решил вечером этого дня, но перед обедом, разогревая на керосинке судок
со щами, я, задумавшись, вскипятил их, а когда стал гасить огонь, опрокинул
судок себе на руки, и меня отправили в больницу.

Помню тягостный кошмар больницы: в жёлтой, зыбкой пустоте слепо копошились,
урчали и стонали серые и белые фигуры в саванах, ходил на костылях длинный
человек с бровями, точно усы, тряс большой чёрной бородой и рычал, присвистывая:

– Пре-освященному донесу!

Койки напоминали гробы, больные, лёжа кверху носами, были похожи на мёртвых
воробьёв. Качались жёлтые стены, парусом выгибался потолок, пол зыбился, сдвигая
и раздвигая ряды коек, всё было ненадёжно, жутко, а за окнами торчали сучья
деревьев, точно розги, и кто-то тряс ими.

В двери приплясывал рыжий, тоненький покойник, дергал коротенькими руками саван
свой и визжал:

– Мне не надо сумасшедших!

А человек на костылях орал в голову ему:

– Пре-освящен-ному-с...

Дед, бабушка да и все люди всегда говорили, что в больнице морят людей, – я
считал свою жизнь поконченной. Подошла ко мне женщина в очках и тоже в саване,
написала что-то на чёрной доске в моём изголовье, – мел сломался, крошки его
посыпались на голову мне.

– Тебя как зовут? – спросила она.

– Никак.

– У тебя же есть имя?

– Нет.

– Не дури, а то высекут!

Я и до неё был уверен, что высекут, а потому не стал отвечать ей. Она фыркнула,
точно кошка, и кошкой, бесшумно, ушла.

Зажгли две лампы, их жёлтые огни повисли под потолком, точно чьи-то потерянные
глаза, висят и мигают, досадно ослепляя, стремясь сблизиться друг с другом.

В углу кто-то сказал:

– Давай в карты играть?

– Как же я без руки-то?

– Ага, отрезали тебе руку!

Я тотчас сообразил: вот – руку отрезали за то, что человек играл в карты. А что
сделают со мной перед тем, как уморить меня?

Руки мне жгло и рвало, словно кто-то вытаскивал кости из них. Я тихонько
заплакал от страха и боли, а чтобы не видно было слёз, закрыл глаза, но слёзы
приподнимали веки и текли по вискам, попадая в уши.

Пришла ночь, все люди повалились на койки, спрятавшись под серые одеяла, с
каждой минутой становилось всё тише, только в углу кто-то бормотал:

– Ничего не выйдет, и он – дрянь, и она – дрянь...

Написать бы письмо бабушке, чтобы она пришла и выкрала меня из больницы, пока я еще жив, но писать нельзя: руки не действуют и не на чём. Попробовать – не удастся ли улизнуть отсюда?

Ночь становилась всё мертвее, точно утверждаясь навсегда. Тихонько спустив ноги на пол, я подошёл к двери, половинка её была открыта, – в коридоре, под лампой, на деревянной скамье со спинкой, торчала и дымилась седая ежовая голова, глядя на меня тёмными впадинами глаз. Я не успел спрятаться.

– кто бродит? Подь сюда!

Голос не страшный, тихий. Я подошёл, посмотрел на круглое лицо, утыканное короткими волосами, – на голове они были длиннее и торчали во все стороны, окружая её серебряными лучиками, а на поясе человека висела связка ключей. Будь у него борода и волосы длиннее, он был бы похож на апостола Петра.

– Это – варёны руки? Ты чего же шлэндаешь ночью? По какому закону?

Он выдул в грудь и лицо мне много дыма, обнял меня тёплой рукой за шею и привлёк к себе.

– Боишься?

– Боюсь!

– Здесь все боятся вначале. А бояться нечего. Особенно со мной – я никого в обиду не дам... Курить желаешь? Ну, не кури. Это тебе рано, погоди года два... А отец-мать где? Нету отца-матери! Ну, и не надо – без них проживём, только не трусь! Понял?

Я давно уже не видал людей, которые умеют говорить просто и дружески, понятными словами, – мне было невыразимо приятно слушать его.

Когда он отвёл меня к моей койке, я попросил:

– Посиди со мной!

– Можно, – согласился он.

– Ты – кто?

– Я? Солдат, самый настоящий солдат, кавказский. И на войне был, а – как же иначе? Солдат для войны живёт. Я с венграми воевал, с черкесом, поляком – сколько угодно! Война, брат, бо-ольшое озорство!

Я на минуту закрыл глаза, а когда открыл их, на месте солдата сидела бабушка в тёмном платье, а он стоял около неё и говорил:

– Поди-ка померли все, а?

В палате играло солнце, – позолотит в ней всё и спрячется, а потом снова ярко взглянет на всех, точно ребёнок шалит.

Бабушка наклонилась ко мне, спрашивая:

– что, голубок? Изувечили? Говорила я ему, рыжему бесу...

– Сейчас я всё сделаю по закону, – сказал солдат, уходя, а бабушка, стирая слёзы с лица, говорила:

– Наш солдат, балахонский, оказался...

Я всё ещё думал, что сон вижу, и молчал. Пришёл доктор, перевязал мне ожоги, и вот я с бабушкой еду на извозчике по улицам города. Она рассказывает:

– А дед у нас – вовсе с ума сходит, так жаден стал – глядеть тошно! Да ещё у него недавно сторублёвую из псалтиря скорняк Хлыст вытащил, новый приятель его.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
что было – и-и!

Ярко светит солнце, белыми птицами плывут в небе облака, мы идём по мосткам через Волгу, гудит, вздувается лёд, хлюпает вода под тесинами мостков, на мясисто-красном соборе ярмарки горят золотые кресты. Встретилась широкорожая баба с охалкой атласных веток вербы в руках – весна идёт, скоро пасха!

Сердце затрепетало жаворонком.

– Люблю я тебя очень, бабушка!

Это её не удивило, спокойным голосом она сказала мне:

– Родной потому что, а меня, не хвастаясь скажу, и чужие любят, слава тебе, богородица!

Улыбаясь, она добавила:

– Вот – обрадуется она скоро, сын воскреснет! А Варюша, дочь моя...

И замолчала...

II

Дед встретил меня на дворе, – тесал топором какой-то клин, стоя на коленях. Приподнял топор, точно собираясь швырнуть его в голову мне, и, сняв шапку, насмешливо сказал:

– Здравствуйте, преподобное лицо, ваше благородие! Отслужили? Ну, уж теперь как хотите живите, да! Эх вы-и...

– Знаем, знаем, – торопливо проговорила бабушка, отмахиваясь от него, а войдя в комнату и ставя самовар, рассказывала:

– Теперь – начисто разорился дедушка-то; какие деньги были, всё отдавал крестнику Николаю в рост, а расписок, видно, не брал с него, – уж не знаю, как это у них случилось, только – разорился, пропали деньги. А всё за то, что бедным не помогали мы, несчастных не жалели, господь-то и подумал про нас: для чего же я Кашириных добром оделил? Подумал да и лишил всего...

Оглянувшись, она сообщила:

– Уж я все стараюсь господа задобрить немножко, чтобы не больно он старика-то пригнетал, – стала теперь от трудов своих тихую милостыню подавать по ночам. Вот, хошь, пойдём сегодня – у меня деньги есть...

Пришёл дед, сощурился и спросил:

– Жрать нацелились?

– Не твое, – сказала бабушка. – А коли хочешь, садись с нами, и на тебя хватит.

Он сел к столу, молвив тихонько:

– Налей...

Всё в комнате было на своём месте, только угол матери печально пустовал, да на стене, над постелью деда, висел лист бумаги с крупной подписью печатными буквами:

«Исусе Спасе едино живый! Да пребудет святое имя твоё со мною по вся дни и часы живота моего».

– Это кто писал?

Дед не ответил, бабушка, подождав, сказала с улыбкой:

– Этой бумаге сто рублей цена!

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
– Не твоё дело! – крикнул дед. – Всё чужим людям раздам!

– Раздавать-то нечего, а когда было – не раздавал, – спокойно сказала бабушка.

– Молчать! – взвизгнул дед.

Здесь всё в порядке, всё по-старому.

В углу на сундуке, в бельевой корзинке, проснулся Коля и смотрел оттуда; синие полоски глаз едва видны из-под век. Он стал ещё более серым, вялым, тающим; он не узнал меня, отвернулся молча и закрыл глаза.

На улице меня ждали печальные вести: Вяхирь помер – его на страстной неделе «ветряк задушил»; Хаби – ушёл жить в город, у Язя отнялись ноги, он не гулял. Сообщив мне всё это, черноглазый Кострома сердито сказал:

– Уж очень скоро мрут мальчишки!

– Да ведь помер только Вяхирь?

– Всё равно: кто ушёл с улицы, тоже будто помер. Только подружисься, привыкнешь, а товарища либо в работу отдадут, либо умрёт. Тут на вашем дворе, у Чеснокова, новые живут – Евсеенки; парнишка – Нюшка, ничего, ловкий! Две сестры у него; одна ещё маленькая, а другая хромая, с костылём ходит, красивая.

Подумав, он добавил:

– Мы, брат, с Чуркой влюбились в неё, всё ссоримся!

– С ней?

– Зачем? Промежду себя. С ней – редко!

Я, конечно, знал, что большие парни и даже мужики влюбляются, знал и грубый смысл этого. Мне стало неприятно, жалко Кострому, неловко смотреть на его угловатое тело, в чёрные сердитые глаза.

Хромую девушку я увидел вечером, в тот же день. Сходя с крыльца на двор, она уронила костыль и беспомощно остановилась на ступенях, вцепившись в струну перил прозрачными руками, тонкая, слабенькая. Я хотел поднять костыль, но забинтованные руки действовали плохо, я долго возился и досадовал, а она, стоя выше меня, тихонько смеялась:

– Что это с руками у тебя?

– Сварил.

– А вот я – хромаю. Ты с этого двора? Долго в больнице лежал? А я лежала там до-олго!

Вздыхнув, она прибавила:

– Очень долго!

На ней было белое платье с голубыми подковками, старенькое, но чистое, гладко причёсанные волосы лежали на груди толстой, короткой косой. Глаза у неё – большие, серьёзные, в их спокойной глубине горел голубой огонёк, освещающая худенькое, остроносое лицо. Она приятно улыбалась, но – не понравилась мне. Вся её болезненная фигурка как будто говорила: «Не трогайте меня, пожалуйста!»

Как могли товарищи влюбиться в неё?

– Я – давно хвораю, – рассказывала она охотно и словно хвастаясь. – Меня соседка заколдовала, поругалась с мамой и заколдовала меня, назло ей... В больнице страшно?

– Да...

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
С нею было неловко, я ушёл в комнату.

Около полуночи бабушка ласково разбудила меня.

– Пойдём, что ли? Потрудишься людям – руки-то скорее заживут...

Взяла меня за руку и повела во тьме, как слепого. Ночь была чёрная, сырая, непрерывно дул ветер, точно река быстро текла, холодный песок хватал за ноги. Бабушка осторожно подходила к тёмным окнам мещанских домишек, перекрестясь трижды, оставляла на подоконниках по пятаку и по три кренделя, снова крестилась, глядя в небо без звёзд, и шептала:

– Пресвятая царица небесная, помоги людям! Все – грешники пред тобою, матушка!

Чем дальше уходили мы от дома, тем глуше и мертвее становилось вокруг. Ночное небо, бездонно углублённое тьмой, словно навсегда спрятало месяц и звёзды. Выкатилась откуда-то собака, остановилась против нас и зарычала, во тьме блестят её глаза; я трусливо прижался к бабушке.

– Ничего, – сказала она, – это просто собака, бесу – не время, ему поздно, петухи-то ведь уже пропели!

Подманила собаку, погладила её и советует:

– Ты смотри, собачонка, не пугай мово внучонка!

Собака потёрлась о мои ноги, и дальше пошли втроём. Двенадцать раз подходила бабушка под окна, оставляя на подоконниках «тихую милостыню»; начало светать, из тьмы выростали серые дома, поднималась белая, как сахар, колокольня Напольной церкви; кирпичная ограда кладбища поредела, точно худая рожега.

– Устала старуха, – говорила бабушка, – домой пора! Проснутся завтра бабы, а ребятишкам-то их припасла богородица немножко! Когда всего не хватает, так и немножко – годится! Охо-хо, Олёша, бедно живёт народ, и никому нет о нём заботы!

Богатому о господе не думается,
О Страшном суде не мерещится,
Бедный-то ему ни друг, ни брат,
Ему бы всё только золото собирать –
А быть тому злату в аду угольями!
Вот оно как! Жить надо – друг о дружке, а бог – обо всех! А рада я, что ты опять со мной...

Я тоже спокойно рад, смутно чувствуя, что приобщился чему-то, о чём не забуду никогда. Около меня тряслась рыжая собака с лисьей мордой и добрыми виноватыми глазами.

– Она будет с нами жить?

– А что ж? Пускай живёт, коли хочет. Вот я ей крендель дам, у меня два осталось. Давай сядем на лавочку, что-то я устала...

Сели у ворот на лавку, собака легла к ногам нашим, разгрызая сухой крендель, а бабушка рассказывала:

– Тут одна еврейка живет, так у ней – девять человек, мал мала меньше. Спрашиваю я её: «Как же ты живешь, Мосевна?» А она говорит: «Живу с богом со своим – с кем иначе жить?»

Я прислонился к тёплому боку бабушки и заснул.

Жизнь снова потекла быстро и густо, широкий поток впечатлений каждый день приносил душе что-то новое, что восхищало и тревожило, обижало, заставляло думать.

Вскоре я тоже всеми силами стремился как можно чаще видеть хромую девочку, говорить с нею или молча сидеть рядом, на лавочке у ворот, – с нею и молчать было приятно. Была она чистенькая, точно птица пеночка, и прекрасно рассказывала

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
о том, как живут казаки на Дону: там она долго жила у дяди, машиниста
маслобойни, потом отец её, слесарь, переехал в Нижний.

– А ещё дядя, второй, так тот служит при самом царе.

Вечерами, по праздникам, всё население улицы выходило «за ворота», парни и девушки отправлялись на кладбище водить хороводы, мужики расходились по трактирам, на улице оставались бабы и ребятишки. Бабы рассаживались у ворот прямо на песке или на лавочках и поднимали громкий галдёж, ссорясь и судача; ребятишки начинали играть в лапту, в городки, в «шар-мазло», – матери следили за играми, поощряя ловких, осмеивая плохих игроков. Было оглушительно шумно и незабвенно весело; присутствие и внимание «больших», возбуждая нас, мелочь, вносило во все игры особенное оживление, страстное соперничество. Но как бы сильно ни увлекались игрою мы трое – Кострома, Чурка и я, – всё-таки нет-нет да тот или другой бежит похвастаться перед хроменькой девушкой.

– Видела, Людмила, как я все пять чушек из города вышиб?

Она ласково улыбалась, кивая головой несколько раз кряду.

Раньше наша компания старалась держаться во всех играх вместе, а теперь я видел, что Чурка и Кострома играют всегда в разных партиях, всячески соперничая друг с другом в ловкости и силе, часто – до слёз и драки. Однажды они подрались так бешено, что должны были вмешаться большие, и врагов разливали водою, как собак.

Людмила, сидя на лавочке, топала о землю здоровой ногой, а когда бойцы подкатывались к ней, отталкивала их костылём, боязливо вскрикивая:

– Перестаньте!

Лицо у неё было досиня бледное, глаза погасли и закатились, точно у кликуши.

Другой раз Кострома, позорно проиграв Чурке партию в городки, спрятался за ларь с овсом у бакалейной лавки, сел там на корточки и молча заплакал, – это было почти страшно: он крепко стиснул зубы, скулы его высунулись, костлявое лицо окаменело, а из чёрных, угрюмых глаз выкатываются тяжёлые, крупные слёзы. Когда я стал утешать его, он прошептал, захлёбываясь слезами:

– Погоди... я его кирпичом по башке... увидит!

Чурка стал заносчив, ходил посредине улицы, как ходят парни-женихи, заломив картуз набекрень, засунув руки в карманы; он выучился ухарски сплёвывать сквозь зубы и обещал:

– Скоро курить выучусь. Уж я два раза пробовал, да тошнит.

Всё это не нравилось мне. Я видел, что теряю товарища, и мне казалось, что виною этому Людмила.

Как-то раз вечером, когда я разбирал на дворе собранные кости, тряпки и всякий хлам, ко мне подошла Людмила, покачиваясь, размахивая правой рукой.

– Здравствуй, – сказала она, трижды кивнув головой. – Кострома с тобой ходил?

– Да.

– А Чурка?

– Чурка с нами не дружится. Это всё ты виновата, влюбились они в тебя и – дерутся...

Она покраснела, но ответила насмешливо:

– Вот ещё! Чем же я виновата?

– А зачем влюбляешь?

– Я их не просила влюбляться! – сказала она сердито и пошла прочь, говоря: –

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru
Глупости всё это! Я старше их, мне четырнадцать лет. В старших девочек не влюбляются...

– Много ты знаешь! – желая обидеть её, крикнул я. – Вон лавочница, Хлыстова сестра, совсем старая, а как путается с парнями-то!

Людмила воротилась ко мне, глубоко всаживая свой костыль в песок двора.

– Ты сам ничего не знаешь, – заговорила она торопливо, со слезами в голосе, и милые глаза её красиво разгорелись. – Лавочница – распутная, а я – такая, что ли? Я ещё маленькая, меня нельзя трогать и щипать, и всё... ты бы вот прочитал роман «Камчадалка», часть вторая, да и говорил бы!

Она ушла, всхлипывая. Мне стало жаль её – в словах её звучала какая-то неведомая мне правда. Зачем щиплют её товарищи мои? А ещё говорят – влюблены...

На другой день, желая загладить вину свою перед Людмилой, я купил на семишник леденцов «ячменного сахара», любимого ею, как я уже знал.

– Хочешь?

Она насильно сердито сказала:

– Уйди, я с тобой не дружусь!

Но тотчас взяла леденцы, заметив мне:

– Хоть бы в бумажку завернул, – руки-то грязные какие.

– Я мыл, да уж не отмываются.

Она взяла мою руку своей, сухой и горячей, посмотрела.

– Как испортил...

– А у тебя пальцы истыканы...

– Это – иглой, я шью много...

Через несколько минут она предложила мне, оглядываясь:

– Слушай, давай спрячемся куда-нибудь и станем читать «Камчадалку» – хочешь?

Долго искали, куда спрятаться, везде было неудобно. Наконец решили, что лучше всего забраться в предбанник: там – темно, но можно сесть у окна – оно выходит в грязный угол между сараем и соседней бойней, люди редко заглядывают туда.

И вот она сидит, боком к окну, вытянув больную ногу на скамье, опустив здоровую на пол, сидит и, закрыв лицо растрёпанной книжкой, взволнованно произносит множество непонятных и скучных слов. Но я – волнуюсь. Сидя на полу, я вижу, как серьёзные глаза двумя голубыми огоньками двигаются по страницам книжки, иногда их увлажняет слеза, голос девочки дрожит, торопливо произнося незнакомые слова в непонятных соединениях. Однако я хватаю эти слова и, стараясь уложить их в стихи, перевёртываю всячески, – это уж окончательно мешает мне понять, о чём рассказывает книга.

На коленях у меня дремлет собака, я зову её – Ветер, потому что она мохнатая, длинная, быстро бегают и ворчит, как осенний ветер в трубе.

– Ты слушаешь? – спрашивает девочка. Я молча киваю головой. Сумятица слов всё более возбуждает меня, всё беспокойнее моё желание расставить их иначе, как они стоят в песнях, где каждое слово живёт и горит звездой в небе.

Когда стало темно, Людмила, опустив побелевшую руку с книгой, спросила:

– Хорошо ведь? Вот видишь...

С этого вечера мы часто сживали в предбаннике. Людмила, к моему удовольствию,
Страница 140

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyuma
скоро отказалась читать «камчадалку». Я не мог ответить ей, о чём идёт речь в этой бесконечной книге, – бесконечной потому, что за второй частью, с которой мы начали чтение, явилась третья; и девочка говорила мне, что есть четвертая.

Особенно хорошо было нам в ненастные дни, если ненастье не падало на субботу, когда топили баню.

На дворе льёт дождь, – никто не выйдет на двор, не заглянет к нам, в тёмный наш угол. Людмила очень боялась, что нас «застанут».

– Знаешь, что тогда подумают? – тихонько спрашивала она.

Я знал и тоже опасался, как бы не «застанут». Мы просиживали целые часы, разговаривая о чём-то, иногда я рассказывал бабушкины сказки, Людмила же – о жизни казаков на реке Медведице.

– Ой, как там хорошо! – вздыхала она. – Здесь – что? Здесь только нищим жить...

Я решил, что, когда вырасту, непременно схожу посмотреть реку Медведицу.

Скоро мы перестали нуждаться в предбаннике: мать Людмилы нашла работу у скорняка и с утра уходила из дому, сестрёнка училась в школе, брат работал на заводе изразцов. В ненастные дни я приходил к девочке, помогая ей стряпать, убирать комнату и кухню, она смеялась:

– Мы с тобой живём, как муж с женой, только спим порознь. Мы даже лучше живём – мужья женам не помогают...

Если у меня были деньги, я покупал сладостей, мы пили чай, потом охлаждали самовар холодной водой, чтобы крикливая мать Людмилы не догадалась, что его грели. Иногда к нам приходила бабушка, сидела, плетя кружева или вышивая, рассказывала чудесные сказки, а когда дед уходил в город, Людмила пробиралась к нам, и мы пировали беззаботно.

Бабушка говорила:

– Ой, хорошо мы живём! Свой грош – строй что хошь!

Она поощряла нашу дружбу.

– Мальчику с девочкой дружить – это хорошее дело! Только баловать не надо...

И простейшими словами объясняла, что значит «баловать». Говорила она красиво, одухотворённо, и я хорошо понял, что не следует трогать цветы, пока они не распустились, а то не быть от них ни запаху, ни ягод.

«Баловать» не хотелось, но это не мешало мне и Людмиле говорить о том, о чём принято молчать. Говорили, конечно, по необходимости, ибо отношения полов в их грубой форме слишком часто и назойливо лезли в глаза, слишком обижали нас.

Отец Людмилы, красивый мужчина лет сорока, был кудряв, усат и как-то особенно победно шевелил густыми бровями. Он был странно молчалив, – я не помню ни одного слова, сказанного им. Лаская детей, он мычал, как немой, и даже жену бил молча.

Вечерами, по праздникам, одев голубую рубаху, плисовые шаровары и ярко начищенные сапоги, он выходил к воротам с большой гармоникой, закинутой на ремне за спину, и становился точно солдат в позиции «на караул». Тотчас же мимо наших ворот начиналось «гулянье»: уточками шли одна за другой девицы и бабы, поглядывая на Евсеенку прикрито, из-под ресниц, и открыто, жадными глазами, а он стоит, оттопырив нижнюю губу, и тоже смотрит на всех выбирающим взглядом тёмных глаз. Было что-то неприятно-собачье в этой безмолвной беседе глазами, в медленном, обречённом движении женщин мимо мужчины, – казалось, что любая из них, если только мужчина повелительно мигнёт ей, покорно свалится на сорный песок улицы, как убитая.

– Выпялился козёл, бесстыжая харя! – ворчит мать Людмилы. Тонкая и высокая, с длинным, нечистым лицом, с коротко остриженными – после тифа – волосами, она была похожа на изработанную метлу.

Рядом с нею сидит Людмила и безуспешно старается отвлечь внимание её от улицы, упрямо расспрашивает о чём-нибудь.

– Отстань, назола, урод несчастный! – бормочет мать, беспокойно мигая; её узкие монгольские глаза светлы и неподвижны, – задели за что-то и навсегда остановились.

– Ты не сердись, мамочка, всё равно уж, – говорит Людмила. – Ты погляди-ка, как рогожница разоделась!

– Я бы получше оделась, кабы вас троих не было, сожрали вы меня, слопали, – безжалостно и точно сквозь слёзы отвечает мать, вцепившись глазами в большую, широкую вдову рогожника.

Она похожа на маленький дом, грудь у неё выпятилась, подобно крыльцу; красное лицо, прикрытое и срезанное зелёным платком, напоминает слуховое окно, в час, когда стёкла его отражают солнце.

Евсеенко, перекинув гармонию на грудь, играет. На гармонии множество ладов, звуки её неотразимо тянут куда-то, со всей улицы катятся ребятишки, падают к ногам гармониста и замирают в песке, восхищённые.

– погоди, свернут тебе башку, – обещает Евсеенко мужу.

Он молча косится на неё.

А рогожница камнем села неподалеку, на скамью у Хлыстовой лавки, и, склонив голову на плечо, слушает, пылая.

В поле, за кладбищем, рдеет вечерняя заря, по улице, как по реке, плывут ярко одетые большие куски тела, вихрем выются дети, тёплый воздух ласков и пьян. Чем-то острым дышит нагретый за день песок, особенно слышен жирный, сладковатый запах боен – запах крови; а со дворов, где живут скорняки, солоно и едко пахнет мездрой. Бабий говор, пьяный рёв мужиков, звонкие крики детей, пение басовитой гармоники – всё сливается густым гулом, мощно вздыхает неутомимо творящая земля. Всё – грубо, обнажённо и внушает большое, крепкое чувство доверия к этой чёрной жизни, бесстыдно-животной. Хвастаясь своими силами, она тоскливо и напряжённо ищет, куда излить их.

И сквозь шум порою доходят до сердца, навсегда укрепляясь в памяти, какие-то особенно жуткие слова:

– одного всем сразу нельзя бить – надо по очереди...

– кто нас пожалеет, коли сами себя не жалеем...

– али бог бабу на смех родил?..

Ночь близко; свежее воздух, тише гул, деревянные дома пухнут, растут, одеваются тенями. Детей растащили по дворам – спать, иные заснули тут же под заборами, у ног и на коленях матерей. Ребятишки побольше становятся к ночи смирнее, мягче. Евсеенко незаметно исчез, точно растаял, рогожницы тоже нет, басовитая гармоника играет где-то далеко, за кладбищем. Мать Людмилы сидит на лавке, скорчившись, выгнув спину, точно кошка. Бабушка моя ушла пить чай к соседке, повитухе и сводне, большой, жилистой бабе с утиным носом и золотой медалью «за спасение погибавших» на плоской, мужской груди. Вся улица боится её, считая колдуньей; про неё говорят, что она вынесла из огня, во время пожара, троих детей какого-то полковника и его больную жену.

У бабушки с нею – дружба; встречаясь на улице, обе они ещё издали улыбаются друг другу как-то особенно хорошо.

Кострома, Людмила и я сидим у ворот на лавке; Чурка вызвал брата Людмилы бороться, – обнявшись, они топчутся на песке и пылят.

– Перестаньте! – боязливо просит Людмила.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Скосив на неё чёрные глаза, Кострома рассказывает про охотника Калинина, седенького старичка с хитрыми глазами, человека дурной славы, знакомого всей слободе. Он недавно помер, но его не зарыли в песке кладбища, а поставили гроб поверх земли, в стороне от других могил. Гроб – чёрный, на высоких ножках, крышка его расписана белой краской, – изображены крест, копьё, трость и две кости.

Каждую ночь, как только стемнеет, старик встаёт из гроба и ходит по кладбищу, всё чего-то ищет вплоть до первых петухов.

– Не говори о страшном! – просит Людмила.

– Пусти! – кричит Чурка, освобождаясь от объятий брата её, и насмешливо говорит Костроме: – Что врёшь? Я сам видел, как зарывали гроб, а сверху – пустой, для памятника... А что ходит покойник – это пьяные кузнецы выдумали...

Кострома, не глядя на него, сердито предложил:

– Поди переспи на кладбище, коли так!

Они начали спорить, а Людмила, скучно покачивая головой, спрашивала:

– Мамочка, покойники по ночам встают?

– Встают, – повторила мать, точно издали отозвалось эхо.

Подошёл сын лавочницы, Валёк, толстый, румяный парень лет двадцати, послушал наш спор и сказал:

– Кто из трёх до света пролежит на гробу – двугривенный дам и десяток папирос, а кто струсит – уши надеру, сколько хочу, ну?

Все замолчали, смутясь, а мать Людмилы сказала:

– Глупости какие! Разве можно детей подбивать на этакое...

– Давай рубль – пойду! – угрюмо предложил Чурка. Кострома тотчас же ехидно спросил:

– А за двугривенный – трусишь? – И сказал Вальку: – Дай ему рубль, всё равно не пойдет, форсит только...

– Ну, бери рубль!

Чурка встал с земли и молча, не торопясь, пошёл прочь, держась близко к забору. Кострома, сунув пальцы в рот, пронзительно свистнул вслед ему, а Людмила тревожно заговорила:

– Ах, господи, хвастунишка какой... что же это!

– Куда вам, трусы! – издевался Валёк. – А ещё первые бойцы улицы считаетесь, котята...

Было обидно слушать его издёвки; этот сытый парень не нравился нам, он всегда подстрекал ребятишек на злые выходки, сообщал им пакостные сплетни о девицах и женщинах; учил дразнить их; ребятишки слушались его и больно платились за это. Он почему-то ненавидел мою собаку, бросал в неё камнями; однажды он дал ей в хлебе иглу.

Но ещё обиднее было видеть, как уходит Чурка, съевшись, пристыженный.

Я сказал Вальку:

– Давай рубль, я пойду...

Он, посмеиваясь и пугая меня, отдал рубль Евсеенковой, но женщина строго сказала:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Не хочу, не возьму!

И сердито ушла. Людмила тоже не решилась взять бумажку; это ещё более усилило насмешки Валька. Я уже хотел идти, не требуя денег, но подошла бабушка и, узнав, в чём дело, взяла рубль, а мне спокойно сказала:

– Пальтишко надень да одеяло возьми, а то к утру холодно станет...

Её слова внушили мне надежду, что ничего страшного не случится со мною.

Валёк поставил условием, что я должен до света лежать или сидеть на гробе, не сходя с него, что бы ни случилось, если даже гроб закачается, когда старик Калинин начнёт вылезать из могилы. Спрыгнув на землю, я проиграю.

– Гляди же, – предупредил Валёк, – я за тобой всю ночь следить буду!

Когда я пошёл на кладбище, бабушка, перекрестив меня, посоветовала:

– Ежели что померещится – не шевелись, а только читай богородицу дево радуйся...

Я шёл быстро, хотелось поскорее начать и кончить всё это. Меня сопровождали Валёк, Кострома и ещё какие-то парни. Перелезая через кирпичную ограду, я запутался в одеяле, упал и тотчас вскочил на ноги, словно подброшенный песком. За оградой хохотали. Что-то ёкнуло в груди, по коже спины пробежал неприятный холодок.

Спотыкаясь, я дошёл до чёрного гроба. С одной стороны он был занесён песком, с другой – его коротенькие, толстые ножки обнажились, точно кто-то пытался приподнять его и пошатнул. Я сел на край гроба, в ногах его, оглянулся: бугроватое кладбище тесно заставлено серыми крестами, тени, размахнувшись, легли на могилы, обняли их щетинистые холмы. Кое-где, заплутавшись среди крестов, торчат тонкие, тощие берёзки, связывая ветвями разъединённые могилы; сквозь кружево их теней торчат былинки – эта серая щетина самое жуткое! Снежным сугробом поднялась в небо церковь, среди неподвижных облаков светит маленькая, истаявшая луна.

Язёв отец – Дрянной Мужик – лениво бьёт в сторожевой колокол; каждый раз, когда он дёргает верёвку, она, задевая за железный лист крыши, жалобно поскрипывает, потом раздаётся сухой удар маленького колокола, – он звучит кратко, скучно.

«Не дай господь бессонницу», – вспоминается мне поговорка сторожа.

Жутко. И почему-то – душно, я обливаюсь потом, хотя ночь свежая. Успею ли я добежать до сторожки, в случае если старик Калинин начнёт вылезать из могилы?

Кладбище хорошо знакомо мне, десятки раз я играл среди могил с Язём и другими товарищами. Вон там, около Церкви, похоронена мать...

Ещё не всё уснуло, со слободы доносятся всплески смеха, обрывки песен. На буграх, в железнодорожном карьере, где берут песок, или где-то в деревне Катывовке верещит, захлёбываясь, гармоника, за оградой идёт всегда пьяный кузнец Мячов и поёт – я узнаю его по песне:

А у нашей маменьки
И грехи-то маленькие, –
Она не любя никого,
Только тятю одного...

Приятно слышать последние вздохи жизни, но после каждого удара колокола становится тише, тишина разливается, как река по лугам, все топит, скрывает. Душа плавает в бескрайней, бездонной пустоте и гаснет, подобно огню спички во тьме, растворяясь бесследно среди океана этой пустоты, где живут, сверкая, только недостижимые звёзды, а всё на земле исчезло, ненужно и мёртво.

Закутавшись в одеяло, я сидел, подобрав ноги, на гробнице лицом к церкви, и, когда шевелился, гробница поскрипывала, песок под нею хрустел.

Что-то ударило о землю сзади меня раз и два, потом близко упал кусок кирпича, – это было страшно, но я тотчас догадался, что швыряют из-за ограды Валёк и его

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
компания – хотят испугать меня. Но от близости людей мне стало лучше.

Невольно думалось о матери... Однажды, застав меня, когда я пробовал курить папиросы, она начала бить меня, а я сказал:

– Не трогай, и без того уж мне плохо, тошнит очень...

Потом, наказанный, я сидел за печью, а она говорила бабушке:

– Бесчувственная мальчишка, никого не любит...

Обидно было слушать это. Когда мать наказывала меня, мне было жалко её, неловко за неё: редко она наказывала справедливо и по заслугам.

И вообще – очень много обидного в жизни, вот хотя бы эти люди за оградой, – ведь они хорошо знают, что мне боязно одному на кладбище, а хотят напугать ещё больше. Зачем?

Хотелось крикнуть им: «Подите к чорту!»

Но это было опасно, – кто знает, как отнесётся к этому чорт? Он, наверное, где-нибудь близко.

В песке много кусочков слюды, она тускло блестела в лунном свете, и это напоминало мне, как однажды я, лёжа на плотках на Оке, смотрел в воду, – вдруг, почти к самому лицу моему всплыл подлещик, повернулся боком и стал похож на человеческую щеку, потом взглянул на меня круглым птичьим глазом, нырнул и пошёл в глубину, колеблясь, как падающий лист клёна.

Память работала всё напряжённее, воскрешая различные случаи жизни, точно защищаясь ими против воображения, упрямо создававшего страшное.

Вот катится ёж, стуча по песку твёрдыми лапками: он напоминает домового – такой же маленький, встрёпанный.

Вспоминаю, как бабушка, сидя на корточках перед подпечком, приговаривала:

– Ласковый хозяин, выведи тараканов...

Далеко за городом – не видным мне – становилось светлее, утренний холодок сжимал щёки, слипались глаза.

Я свернулся калачиком, окутав голову одеялом, – будь что будет!

Разбудила меня бабушка – стоит рядом со мной и, стаскивая одеяло, говорит:

– Вставай! Не озяб ли? Ну, что – страшно?

– Страшно, только ты не говори никому про это, ребятишкам не говори!

– А почто молчать? – удивилась она. – Коли не страшно, так и хвалиться нечем...

Пошли домой, и дорогой она ласково говорила:

– Всё надо самому испытать, голуба душа, всё надо самому знать... Сам не поучишься – никто не научит...

К вечеру я стал «героем» улицы, все спрашивали меня:

– Да неужто не страшно?

И когда я говорил: «Страшно!» – качая головами, восклицали:

– Ага! Вот видишь?

Лавочница же громко и убеждённо заявила:

– Стало быть, вдали, что Калинин встаёт. Кабы вставал, – разве испугался бы

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
мальчишки? Да он бы его смахнул с кладбища и не видать куда.

Людмила смотрела на меня с ласковым удивлением, даже дед был, видимо, доволен мною, всё ухмылялся. Только Чурка сказал угрюмо:

– Ему – легко, у него бабушка – ведьма!

III

Незаметно, как маленькая звезда на утренней заре, погас брат Коля. Бабушка, он и я спали в маленьком сарайчике, на дровах, прикрытых разным тряпьем; рядом с нами, за щелявой стеной из горбушин, был хозяйский курятник; с вечера мы слышали, как встряхивались и клохтали, засыпая, сытые куры; утром нас будил золотой горластый петух.

– О, чтоб тебя розорвало! – ворчала бабушка, просыпаясь.

Я уже не спал, наблюдая, как сквозь щели дровяника пробиваются ко мне на постель лучи солнца, а в них пляшет какая-то серебряная пыль, – эти пылинки – точно слова в сказке. В дровах шуршат мыши, бегают красненькие букашки с чёрными точками на крыльях.

Иногда, уходя от душных испарений куриного помета, я вылезал из дровяника, забирался на крышу его и следил, как в доме просыпались безглазые люди, огромные, распухшие во сне.

Вот высунулась из окна волосатая башка лодочника ферманова, угрюмого пьяницы; он смотрит на солнце крошечными щёлками заплывших глаз и хрюкает, точно кабан. Выбежал на двор дед, обеими руками приглаживая рыженькие волосёнки, – спешит в баню обливаться холодной водой. Болтливая кухарка домохозяйина, остроносая, густо обрызганная веснушками, похожа на кукушку, сам хозяин – на старого, ожиревшего голубя, и все люди напоминают птиц, животных, зверей.

Утро такое милое, ясное, но мне немножко грустно и хочется уйти в поле, где никого нет, – я уж знаю, что люди, как всегда, запачкают светлый день.

Однажды, когда я лежал на крыше, бабушка позвала меня и негромко сказала, кивнув головой на свою постель:

– Помер Коля-то...

Мальчик съехал с кумача подушки и лежал на войлоке, синеватый, голенький, рубашка сбилась к шее, обнажив вздутый живот и кривые ножки в язвах, руки странно подложены под поясницу, точно он хотел приподнять себя. Голова чуть склонилась набок.

– Слава богу, отошёл, – говорила бабушка, расчёсывая волосы свои. – Что бы он жил, убогонький-то?

Притопывая, точно танцуя, явился дед, осторожно потрогал пальцем закрытые глаза ребёнка; бабушка сердито сказала:

– Что трогаешь немытыми-то руками?

Он забормотал:

– Вот – родили... жил, ел... ни то ни сё...

– Проснись, – остановила его бабушка.

Он слепо взглянул на неё и пошёл на двор, говоря:

– Мне хоронить не на что, как хошь сама...

– Тыфу ты, несчастный!

Я ушёл и вплоть до вечера не возвращался домой.

Хоронили Колю утром другого дня; я не пошёл в церковь и всю обедню сидел у

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyтама
разрытой могилы матери, вместе с собакой и Язёвым отцом. Он вырыл могилу дешёво
и всё хвастался этим передо мной.

– Это я только по знакомству, а то бы – рубль...

Заглядывая в жёлтую яму, откуда исходил тяжелый запах, я видел в боку её чёрные, влажные доски. При малейшем движении моём бугорки песку вокруг могилы осыпались, тонкие струйки текли на дно, оставляя по бокам морщины. Я нарочно двигался, чтобы песок скрыл эти доски.

– Не балуй, – сказал Язёв отец, покуривая. Бабушка принесла на руках белый гробик, Дрянной Мужик прыгнул в яму, принял гроб, поставил его рядом с чёрными досками и, выскочив из могилы, стал толкать туда песок и ногами и лопатой. Трубка его дымилась, точно кадило. Дед и бабушка тоже молча помогли ему. Не было ни попов, ни нищих, только мы четверо в густой толпе крестов.

Отдавая деньги сторожу, бабушка сказала с укором:

– А ты всё-таки потревожил Варину-то домовину...

– Как иначе! И то я чужой земли прихватил. Это – ничего!

Бабушка поклонилась могиле до земли, всхлипнула, взвыла и пошла, а за нею – дед, скрыв глаза под козырьком фуражки, одёргивая потёртый сюртук.

– Сеяли семя в непахану землю, – сказал он вдруг, убегая вперёд, точно ворон по пашне.

Я спросил бабушку:

– Чего он?

– Бог с ним! У него свои мысли, – ответила она.

Было жарко, бабушка шла тяжело, ноги её тонули в тёплом песке, она часто останавливалась, отирая потное лицо платком.

Я спросил её, понатужась:

– Чёрное-то в могиле – это материн гроб?

– Да, – сказала она сердито. – Пёс неумный... Года ещё нет, а сгнила Варя-то! Это всё от песку, – он воду пропускает. Кабы глина была, лучше бы...

– Все гниют?

– Все. Только святых минует это...

– Ты – не сгниешь!

Она остановилась, поправила картуз на моей голове и серьёзно посоветовала:

– Не думай-ка про это, не надо. Слышишь?

Но я думал: «Как это обидно и противно – смерть. Вот гадость!»

Мне было очень плохо.

Когда пришли домой, дед уже приготовил самовар, накрыл на стол.

– Попьём чайку, а то – жарко, – сказал он. – Я уж своего заварю. На всех.

Подошёл к бабушке и похлопал её по плечу.

– Что, мать, а?

Бабушка махнула рукой.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– что уж тут!

– То-то вот! Прогневался на нас господь, отрывает кусок за куском... Кабы семьи-то крепко жили, как пальцы на руке...

Давно не говорил он так мягко и миролюбиво. Я слушал его и ждал, что старик погасит мою обиду, поможет мне забыть о жёлтой яме и чёрных, влажных клочьях в боку её.

Но бабушка сурово остановила его:

– Перестань-ка, отец! всю жизнь говоришь ты эти слова, а кому от них легче? всю жизнь ел ты всех, как ржа железо...

Дед крикнул, взглянул на неё и замолчал.

Вечером, у ворот я с тоскою поведал Людмиле о том, что увидел утром, но это не произвело на неё заметного впечатления.

– Сиротой жить лучше. Умри-ка у меня отец с матерью, я бы сестру оставила на брата, а сама – в монастырь на всю жизнь. куда мне ещё? замуж я не гожусь, хромая – не работница. да ещё детей тоже хромых нарожаешь...

она говорила разумно, как все бабы нашей улицы, и, должно быть, с этого вечера я потерял интерес к ней; да и жизнь пошла так, что я всё реже встречал подругу.

Через несколько дней после смерти брата дед сказал мне:

– Ложись сегодня раньше, на свету разбужу, в лес пойдем за дровами...

– А я – травок пособираю, – заявила бабушка.

Лес, еловый и берёзовый, стоял на болоте, верстах в трёх от слободы. Обилен сухостоем и валежником, он размахнулся в одну сторону до Оки, в другую – шёл до шоссеиной дороги на Москву, и дальше, за дорогу. Над его мягкой щетиной чёрным шатром высоко поднималась сосновая чаща – «Савёлова Грива».

Все это богатство принадлежало графу Шувалову и охранялось плохо; кунавинское мещанство смотрело на него как на своё, собирало валежник, рубило сухостой, не брезгуя при случае и живым деревом. По осени, запасая дрова на зиму, в лес снаряжались десятки людей с топорами и верёвками за поясом.

Вот и мы трое идём на рассвете по зелёно-серебряному росному полю; слева от нас, за Окою, над рыжими боками Дятловых гор, над белым Нижним-Новгородом, в холмах зелёных садов, в золотых главах церквей, встаёт не торопясь русское ленивенькое солнце. Тихий ветер сонно веет с тихой, мутной Оки, качаются золотые лютики, отягчённые росью, лиловые колокольчики немотно опустились к земле, разноцветные бессмертники сухо торчат на малоплодном дёрне, раскрывает алые звезды «ночная красавица» – гвоздика...

Тёмною ратью двигается лес навстречу нам. Крылатые ели – как большие птицы; берёзы – точно девушки. Кислый запах болота течёт по полю. Рядом со мною идет собака, высунув розовый язык, останавливается и, приняв хавшись, недоумённо качает лисьей головой.

Дед, в бабушкиной кацавейке, в старом картузе без козырька, щурится, чему-то улыбается, шагает тонкими ногами осторожно, точно крадётся. Бабушка, в синей кофте, в чёрной юбке и белом платке на голове, катится по земле споро – за нею трудно поспеть.

Чем ближе лес, тем оживлённее дед; потягивая воздух носом, покрякивая, он говорит вначале отрывисто, невнятно, потом, словно пьянея, весело и красиво:

– Леса – господни сады. Никто их не сеял, один ветер божий, святое дыхание уст его... Бывало, в молодости, в Жигулях, когда я бурлаком ходил... Эх, Лексей, не доведётся тебе видеть-испытать, что мною испытано! На Оке леса – от Касимова до Муромы, али – за Волгой лес, до Урала идёт, да! Всё это безмерно и пречудесно...

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Бабушка смотрит на него искоса и подмигивает мне, а он, спотыкаясь о кочки, дробно сыплет сухонькие слова, засевая ими мою память.

– Вели мы из Саратова расшиву с маслом к Макарию на ярмарку, и был у нас приказчик Кирилло, из Пуреха, а водоливом – татарин касимовский, Асаф, что ли... Дошли до Жигуля, а хватил ветер верховой в глаза нам – выбились из силушки, встали на мёртвую, закачались, – сошли на берег кашу варить. А – май на земле, Волга-то морем лежит, и волна по ней стайно гуляет, будто лебеди, тысячами, в Каспий плывут. Горы-то Жигули, зелёные по-вешнему, в небо взмахнули, в небушке облака белые пасутся, солнце тает на землю золотом. Отдыхаем, любуемся, подобрели все друг ко другу; на реке-то сиверко, холодно, а на берегу – тепло, душисто! Под вечер Кирилло наш – суровый был мужчина и в летах – встал на ноги, шапку снял, да и говорит: «Ну, ребята, я вам боле не начальник, не слуга, идите – сами, а я в леса отойду!» Мы все встряхнулись – как да что? Нам ведь без ответного перед хозяином человека нельзя – без головы люди не ходят! Оно хоть и Волга, а и на прямом пути сбиться можно. Народ – зверь безумный, ему – чего жалко? Испугались. А он – своё: «Не хочу боле этак жить, пастухом вашим, уйду в леса!» Мы было – которые – собрались бить его да вязать, а – которые – задумались о нём, кричат: «Стойте!» А водолив-татарин тоже кричит: «И я ухожу!» Совсем беда. Ему, татарину, за две путины хозяином не плачено, да полпути в третьи сделал – большие деньги по той поре! Кричали, кричали до самой ночи, а к ночи семеро ушло от нас, остались мы – не то шестнадцать, не то – четырнадцать. Вот те и лес!

– Они – в разбойники ушли?

– Может – в разбойники, а может – в отшельники, – в ту пору не очень разбирали эти дела...

Бабушка крестится.

– Пресвятая мать божия! Как подумаешь про людей-то, так станет жалко всех.

– Всем дан один разум, – знай, куда бес тянет...

Входим в лес по мокрой тропе, среди болотных кочек и хилого ельника. Мне кажется, что это очень хорошо – навсегда уйти в лес, как ушел Кирилло из Пуреха. В лесу нет болтливых людей, драк, пьянства, там забудешь о противной жадности деда, о песчаной могиле матери, обо всём, что, обижая, давит сердце тяжёлой скукой. На сухом месте бабушка говорит:

– Надо закусить, сядемте-ка!

В лукошке у неё ржаной хлеб, зелёный лук, огурцы, соль и творог в тряпицах; дед смотрит на всё это конфузливо и мигает.

– А я ничего не взял еды-то, ох, мать честная...

– Хватит на всех...

Сидим, прислонясь к медному стволу мачтовой сосны; воздух насыщен смолистым запахом, с поля веет тихий ветер, качаются хвощи; тёмной рукой бабушка срывает травы и рассказывает мне о целебных свойствах зверобоя, буквицы, подорожника, о таинственной силе папоротника, клейкого иван-чая, пыльной травы-плавуна.

Дед рубит валежник, а я должен сносить нарубленное в одно место, но я незаметно ухожу в чащу, вслед за бабушкой, – она тихонько плавает среди могучих стволов и, точно ныряя, всё склоняется к земле, осыпанной хвоей. Ходит и говорит сама с собою:

– Рано опята пошли – мало будет гриба! Плохо ты, господи, о бедных заботишься, бедному и гриб – лакомство!

Я иду за нею молча, осторожно, заботаюсь, чтобы она не замечала меня: мне не хочется мешать её беседе с богом, травами, лягушками...

Но она видит меня.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– Сбежал от деда-то?

И, кланяясь чёрной земле, пышно одетой в узорчатую ризу трав, она говорит о том, как однажды бог, во гневе на людей, залил землю водою и потопил всё живое.

– А премилая мать его собрала заранее все семена в лукошко, да и спрятала, а после просит солнышко: осуши землю из конца в конец, за то люди тебе славу споют! Солнышко землю высушило, а она её спрятанным зерном и засеяла. Смотрит господь: опять обрастает земля живым – и травами, и скотом, и людьми!.. Кто это, говорит, наделал против моей воли? Тут она ему покаялась, а господу-то уж и самому жалко было видеть землю пустой, и говорит он ей: это хорошо ты сделала!

Мне нравится рассказ, но я удивлён и пресерьёзно говорю:

– Разве так было? Божья-то мать родилась долго спустя после потопы.

Теперь бабушка удивлена.

– Это кто тебе сказал?

– В училище, в книжках написано..

Это её успокаивает, она советует мне:

– А ты брось-ка, забудь это, книжки все; врут они, книжки-то!

И смеётся тихонько, весело.

– Придумали, дурачки! Бог – был, а матери у него не было, эка! От кого же он родился?

– Не знаю.

– Вот хорошо! До «не знаю» доучился!

– Поп говорил, что божья мать родилась от Иоакима и Анны.

– Марья Якимовна, значит?

Бабушка уже сердится, – стоит против меня и строго смотрит прямо в глаза мне:

– Если ты эдак будешь думать, я тебя так-то ли отшлёпаю!

Но через минуту объясняет мне:

– Богородица всегда была, раньше всего! От неё родился бог, а потом..

– А Христос – как же?

Бабушка молчит, смущённо закрыв глаза.

– А Христос... да, да, да?

Я вижу, что победил, запутал её в тайнах божьих, и это мне неприятно.

Уходим всё дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько дышит какой-то особенный шум, мечтательный и возбуждающий мечты. Скрипят клесты, звенят синицы, смеётся кукушка, свистит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поёт странная птица – щур. Изумрудные лягушата прыгают под ногами между корней; подняв золотую головку, лежит уж и стережет их. Щёлкает белка, в лапах сосен мелькает её пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется видеть всё больше, идти всё дальше.

Между стволов сосен являются прозрачные, воздушные фигуры огромных людей и исчезают в зелёной густоте; сквозь неё просвечивает голубое, в серебре, небо. Под ногами пыльным ковром лежит мох, расшитый брусничником и сухими нитями клюквы, костяника сверкает в траве каплями крови, грибы дразнят крепким запахом.

– Пресвятая богородица, ясный свет земной, – вздыхая, молится бабушка.

Она в лесу – точно хозяйка и родная всему вокруг, – она ходит медведицей, всё видит, всё хвалит и благодарит. От неё – точно тепло течёт по лесу, и когда мох, примятый её ногой, расправляется и встаёт – мне особенно приятно это видеть.

Идёшь и думаешь: хорошо быть разбойником, грабить жадных, богатых, отдавать награбленное бедным, – пусть все будут сыты, веселы, не завистливы и не лаются друг с другом, как злые псы. Хорошо также дойти до бабушкина бога, до её богородицы и сказать им всю правду о том, как плохо живут люди, как нехорошо, обидно хоронят они друг друга в дрянном песке. И сколько вообще обидного на земле, чего вовсе не нужно. Если богородица поверит мне, пусть даст такой ум, чтоб я мог всё устроить иначе, получше как-нибудь. Пусть бы люди слушали меня с доверием, – уж я бы поискал, как жить лучше! Это ничего, что я маленький, – Христос был всего на год старше меня, а уж в то время мудрецы его слушали...

Однажды, ослеплённый думами, я провалился в глубокую яму, распоров себе сучком бок и разорвав кожу на затылке. Сидел на дне, в холодной грязи, липкой, как смола, и с великим стыдом чувствовал, что сам я не вылезу, а пугать криком бабушку было неловко. Однако я позвал её.

Она живо вытащила меня и, крестясь, говорила:

– Слава те господи! Ну, ладно что пустая берлога, а кабы там да хозяин лежал?

И заплакала сквозь смех. Потом повела меня к ручью, вымыла, перевязала раны своей рубашкой, приложив каких-то листьев, утоливших боль, и отвела в железнодорожную будку, – до дому я не мог дойти, сильно ослабев.

Я стал почти каждый день просить бабушку:

– Пойдём в лес!

Она охотно соглашалась, и так мы прожили все лето, до поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи. Собранное бабушка продавала, и этим кормились.

– Дармоеды! – скрипел дед, хотя мы совершенно не пользовались его хлебом.

Лес вызывал у меня чувство душевного покоя и уюта; в этом чувстве исчезали все мои огорчения, забывалось неприятное, и в то же время у меня росла особенная настороженность ощущений: слух и зрение становились острее, память – более чуткой, вместилище впечатлений – глубже.

И всё более удивляла меня бабушка, я привык считать её существом высшим всех людей, самым добрым и мудрым на земле, а она неустанно укрепляла это убеждение. Как-то вечером, набрав белых грибов, мы, по дороге домой, вышли на опушку леса; бабушка присела отдохнуть, а я зашёл за деревья – нет ли ещё гриба?

Вдруг слышу её голос и вижу: сидя на тропе, она спокойно срезает корни грибов, а около неё, вывесив язык, стоит серая, поджарая собака.

– А ты иди, иди прочь! – говорит бабушка. – Иди с богом!

Незадолго перед этим Валёк отравил мою собаку; мне очень захотелось приманить эту, новую. Я выбежал на тропу, собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на меня зелёным взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка у неё была не собачья, и, когда я свистнул, она дико бросилась в кусты.

– Видал? – улыбаясь, спросила бабушка. – А я вначале опозналась, думала – собака, гляжу – ан клыки-то волчьи, да и шея тоже! Испугалась даже: ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь! Хорошо, что летом волки смиренны...

Она никогда не плутала в лесу, безошибочно определяя дорогу к дому. По запахам трав она знала, какие грибы должны быть в этом месте, какие – в ином, и часто экзаменовала меня.

– А какое дерево рыжик любит? А как ты отличишь хорошую сыроежку от ядовитой? А

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
какой гриб любит папоротник?

По незаметным царапинам на коре дерева она указывала мне беличьи дупла, я влезал на дерево и опустошал гнездо зверька, выбирая из него запасы орехов на зиму; иногда в гнёздах их было фунтов до десяти...

И однажды, когда я занимался этим делом, какой-то охотник всадил мне в правую сторону тела двадцать семь штук бекасиной дробы; одиннадцать бабушка выковыряла иглой, а остальные сидели в моей коже долгие годы, постепенно выходя.

Бабушке нравилось, что я терпеливо отношусь к боли.

– Молодец, – хвалила она, – есть терпение, будет и уменье!

Каждый раз, когда у неё скопилось немножко денег от продажи грибов и орехов, она раскладывала их под окнами «тихой милостыней», а сама даже по праздникам ходила в отрепье, в заплатках.

– Хуже нищей ходишь, срамишь меня, – ворчал дед.

– Ничего, я тебе – не дочь, я ведь не в невестах...

Их ссоры становились всё более частыми.

– я не более других грешен, – обиженно кричал дед, – а наказан больше!

Бабушка поддразнивала его:

– Черти знают, кто чего стоит. И говорила мне с глазу на глаз:

– Боится старик мой чортушек-то! Вон как стареет быстро, со страху-то... Эх, бедный человек...

Я очень окреп за лето и одичал в лесу, утратив интерес к жизни сверстников, к Людмиле, – она казалась мне скучно-умной...

Однажды дед пришёл из города мокрый весь – была осень, и шли дожди – встряхнулся у порога, как воробей, и торжественно сказал:

– Ну, шалыган, завтра собирайся на место!

– Куда ещё? – сердито спросила бабушка.

– К сестре твоей Матрёне, к сыну её...

– Ох, отец, худо ты выдумал!

– Молчи, дура! Может, его чертёжником сделают.

Бабушка молча опустила голову. Вечером я сказал Людмиле, что уйду в город, там буду жить.

– И меня скоро повезут туда, – сообщила она задумчиво. – Папа хочет, чтобы мне вовсе отрезали ногу, без ноги я буду здоровая.

За лето она похудела, кожа лица её стала голубоватой, а глаза выросли.

– Боишься? – спросил я.

– Боюсь, – сказала она, беззвучно заплакав. Нечем было утешить её – я сам боялся жизни в городе. Мы долго сидели в унылом молчании, прижавшись друг к другу.

Будь лето, я уговорил бы бабушку пойти по миру, как она ходила, будучи девочкой. Можно бы и Людмилу взять с собой, – я бы возил её в тележке...

Но была осень, по улице летел сырой ветер, небо окутано неиссякаемыми облаками, земля сморщилась, стала грязной и несчастной...

Я снова в городе, в двухэтажном белом доме, похожем на гроб, общий для множества людей. Дом – новый, но какой-то худосочный, вспухший, точно нищий, который внезапно разбогател и тотчас объелся до ожирения. Он стоит боком на улицу, в каждом этаже его по восемь окон, а там, где должно бы находиться лицо дома, – по четыре окна; нижние смотрят в узенький проезд, на двор, верхние – через забор, на маленький домик прачки и в грязный овраг.

Улицы, как я привык понимать её, – нет; перед домом распластался грязный овраг, в двух местах его перерезали узкие дамбы. Налево овраг выходит к арестантским ротам, в него сваливают мусор со дворов и на дне его стоит лужа густой, тёмно-зелёной грязи; направо, в конце оврага, киснет илистый Звездин пруд, а центр оврага – как раз против дома; половина засыпана сором, заросла крапивой, лопухами, конским щавелём, в другой половине священник Доримедонт Покровский развёл сад; в саду – беседка из тонких дранок, окрашенных зелёною краской. Если в эту беседку бросать камни – дранки с треском лопаются.

Место донельзя скучное, нахально грязное; осень жестоко изуродовала сорную глинистую землю, претворив её в рыжую смолу, цепко хватающую за ноги. Я никогда ещё не видал так много грязи на пространстве столь небольшом, и, после привычки к чистоте поля, леса, этот угол города возбуждал у меня тоску.

За оврагом тянутся серые, ветхие заборы, и далеко среди них я вижу бурый домишко, в котором жил зимою, будучи мальчиком в магазине. Близость этого дома ещё более угнетает меня. Почему мне снова пришлось жить на этой улице?

Хозяина моего я знаю, он бывал в гостях у матери моей вместе с братом своим, который смешно пищал:

– Андрей-папá, Андрей-папá.

Они оба такие же, как были: старший, горбоносый, с длинными волосами, приятен и, кажется, добрый; младший, Виктор, остался с тем же лошадиным лицом и в таких же веснушках. Их мать – сестра моей бабушки – очень сердита и криклива. Старший – женат, жена у него пышная, белая, как пшеничный хлеб, у неё большие глаза, очень тёмные.

В первые же дни она раза два сказала мне:

– Я подарила матери твоей шёлковую тальму, со стеклярусом...

Мне почему-то не хотелось верить, что она подарила, а мать приняла подарок. Когда же она напомнила мне об этой тальме ещё раз, я посоветовал ей:

– Подарила, так уж не хвастайся.

Она испуганно отскочила от меня.

– Что-о? Ты с кем говоришь?

Лицо её покрылось красными пятнами, глаза выкатились, она позвала мужа.

Он пришёл в кухню с циркулем в руках, с карандашом за ухом, выслушал жену и сказал мне:

– Ей и всем надо говорит – вы. А дерзостей не надо говорить!

Потом нетерпеливо сказал жене:

– Не беспокой ты меня пустяками!

– Как – пустяки! Если твоя родня...

– Чорт её возьми, родню! – закричал хозяин и убежал.

Мне тоже не нравилось, что эти люди – родня бабушке; по моим наблюдениям, родственники относятся друг к другу хуже чужих: больше чужих зная друг о друге худого и смешного, они злее сплетничают, чаще ссорятся и дерутся.

Хозяин понравился мне, он красиво встряхивал волосами, заправляя их за уши, и напоминал мне чем-то Хорошее Дело. Часто, с удовольствием смеялся, серые глаза смотрели добродушно, около ястребиного носа забавно играли смешные морщинки.

– Довольно вам ругаться, звери-курицы! – говорил он жене и матери, обнажая мягкой улыбкой мелкие, плотные зубы.

Свекровь и сноха ругались каждый день; меня очень удивляло, как легко и быстро они ссорятся. С утра, обе нечёсанные, расстёгнутые, они начинали метаться по комнатам, точно в доме случился пожар: суетились целый день, отдыхая только за столом во время обеда, вечернего чая и ужина. Пили и ели много, до опьянения, до усталости, за обедом говорили о кушаньях и ленивенько переругивались, готовясь к большой ссоре. Что бы ни изготовила свекровь, сноха непременно говорила:

– А моя мамаша делает это не так.

– Не так, значит – хуже!

– Нет – лучше!

– Ну, и ступай к своей мамаше.

– Я здесь – хозяйка!

– А я кто?

Вмешивался хозяин:

– Довольно, звери-курицы! Что вы-с ума сошли?

В доме всё было необъяснимо странно и смешно: ход из кухни в столовую лежал через единственный в квартире маленький, узкий клозет; через него вносили в столовую самовары и кушанье, он был предметом весёлых шуток и – часто – источником смешных недоразумений. На моей обязанности лежало наливать воду в бак клозета, а спал я в кухне, против его двери и у двери на парадное крыльцо: голове было жарко от кухонной печи, в ноги дуло с крыльца; ложась спать, я собирал все половики и складывал их на ноги себе.

В большой зале, с двумя зеркалами в простенках, картинами-премиями «Нивы» в золотом багете, с парой карточных столов и дюжиной венских стульев, было пустынно и скучно. Маленькая гостиная тесно набита пёстрой мягкой мебелью, горками с «приданым», серебром и чайной посудой; её украшали три лампы, одна другой больше. В тёмной, без окон, спальне, кроме широкой кровати, стояли сундуки, шкапы, от них исходил запах листового табаку и персидской ромашки. Эти три комнаты всегда были пусты, а хозяева теснились в маленькой столовой, мешая друг другу. Тотчас после утреннего чая, в восемь часов, хозяин с братом раздвигали стол, раскладывали на нём листы белой бумаги, готовальни, карандаши, блюда с тушью и принимались за работу, один на конце стола, другой против него. Стол качался. Он загромождал всю комнату, и когда из детской выходила нянька с хозяйкой, они задевали углы стола.

– Да не шляйтесь вы тут! – кричал Виктор.

Хозяйка обиженно просила мужа:

– Вася, скажи ему, чтоб он на меня не орал!

– А ты не тряси стол, – миролюбиво советовал хозяин.

– Я – беременная, тут – тесно..

– Ну, мы уйдем работать в залу.

Но хозяйка кричала, негодуя:

– Господи, кто же в зале работает?

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru
Из двери клозета высовывается злое, раскалённое огнем печи лицо старухи Матрёны Ивановны, она кричит:

– Вот, Вася, гляди: ты работаешь, а она в четырёх комнатах отелиться не может. Дворянка с Гребешка, умишка ни вершка!.

Виктор ехидно смеётся, а хозяин кричит:

– Довольно!

Но сноха, облив свекровь ручьями ядовитейшего красноречия, валится на стул и стонет:

– Уйду! Умру!

– Не мешайте мне работать, чорт вас возьми! – орёт хозяин, бледный от натуги. – Сумасшедший дом – ведь для вас же спину ломаю, вам на корм! О, звери-курицы...

Сначала эти ссоры пугали меня, особенно я был испуган, когда хозяйка, схватив столовый нож, убежала в клозет и, заперев обе двери, начала дико рычать там. На минуту в доме стало тихо, потом хозяин упёрся руками в дверь, согнулся и крикнул мне:

– Лезь, разбей стекло, сними крючок с пробоя!

Я живо вскочил на спину его, вышиб стекло над дверью, но когда нагнулся вниз – хозяйка усердно начала колотить меня по голове черенком ножа. Я всё-таки успел отпереть дверь, и хозяин, с боем вытащив супругу в столовую, отнял у неё нож. Сидя в кухне и потирая избитую голову, я быстро догадался, что пострадал зря: нож был тупой, им даже хлеба кусок трудно отрезать, а уж кожу – никак не прорежешь; мне не нужно было влезать на спину хозяина, я мог бы разбить стекло со стула и, наконец, удобнее было снять крючок взрослому – руки у него длиннее. После этой истории – ссоры в доме больше уже не пугали меня.

Братья пели в церковном хоре; случилось, что они начинали тихонько напевать за работой, старший пел баритоном:

Кольцо души девицы
Я в мо-ре ур-ронил...
Младший вступал тенором:

И с тем кольцом я счастье
Земное погубил.
Из детской раздавался тихий возглас хозяйки:

– Вы с ума сошли? Ребёнок спит...

Или:

– Ты, Вася, женат, можно и не петь о девицах, к чему это? Да скоро и ко всенощной ударят...

– Ну, так мы – церковное...

Но хозяйка внушала, что церковное вообще неуместно петь где-либо, а тут ещё... – и она красноречиво показала рукой на маленькую дверь.

– Надо будет переменить квартиру, а то – чорт знает что! – говорил хозяин.

Не менее часто он говорил, что надо переменить стол, но он говорил это на протяжении трех лет.

Слушая беседы хозяев о людях, я всегда вспоминал магазин обуви – там говорили так же. Мне было ясно, что хозяева тоже считают себя лучшими в городе, они знают самые точные правила поведения и, опираясь на эти правила, неясные мне, судят всех людей безжалостно и беспощадно. Суд этот вызывал у меня лютую тоску и досаду против законов хозяев, нарушать законы – стало источником удовольствия для меня.

Работы у меня было много: я исполнял обязанности горничной, по средам мыл пол в кухне, чистил самовар и медную посуду, по субботам – мыл полы всей квартиры и обе лестницы. Колот и носил дрова для печей, мыл посуду, чистил овощи, ходил с хозяйкой по базару, таская за нею корзину с покупками, бегал в лавочку, в аптеку.

Моё ближайшее начальство – сестра бабушки, шумная, неукротимо гневная старуха, вставала рано, часов в шесть утра; наскоро умывшись, она, в одной рубахе, становилась на колени перед образом и долго жаловалась богу на свою жизнь, на детей, на сноху.

– Господи! – со слезами в голосе восклицает она, прижав ко лбу пальцы, сложенные щепотью. – Господи, ничего я не прошу, ничего мне не надо, – дай только отдохнуть, успокой меня, господи, силой твоею!

Её вопли будили меня; проснувшись, я смотрел из-под одеяла и со страхом слушал жаркую молитву. Осеннее утро смутно заглядывает в окно кухни, сквозь стекла, облитые дождём; на полу, в холодном сумраке, качается серая фигура, тревожно размахивая рукою; с её маленькой головы из-под сбитого платка осыпались на шею и плечи жиденькие светлые волосы, платок всё время спадал с головы; старуха, резко поправляя его левой рукой, бормочет:

– А, чтоб те розорвало!

С размаху бьёт себя по лбу, по животу, плечам и шипит:

– А сноху – накажи, господи, меня ради; зачти ей всё, все обиды мои! И открой глаза сыну моему, – на неё открой и на Викторушку! Господи, помоги Викторушке, подай ему милостей твоих...

Викторушка спит тут же в кухне, на полатах; разбуженный стонами матери, он кричит сонным голосом:

– Мамаша, опять вы орёте спозаранку! Это просто беда! – Ну, ну, спи себе, – виновато шепчет старуха. Минуту, две качается молча и вдруг снова мстительно возглашает: – И чтоб постреляло их в кости, и ни дна бы им ни покрывки, господи...

Так страшно даже дедушка мой не молился.

Помолясь, она будила меня:

– Вставай, будет дрыхнуть, не затем живешь!.. Ставь самовар, дров неси, – лучины-то не приготовил с вечера? У!

Я стараюсь делать всё быстро, только бы не слышать шипучего шопота старухи, но угодить ей – невозможно; она носится по кухне, как зимняя вьюга, и шипит, завывая:

– Тише, бес! Викторушку разбудишь, я те задам! Беги в лавочку...

По будням к утреннему чаю покупали два фунта пшеничного хлеба и на две копейки грошовых булочек для молодой хозяйки. Когда я приносил хлеб, женщины подозрительно осматривали его и, взвешивая на ладони, спрашивали:

– А привеска не было? Нет? Ну-ка, открой рот! – и торжествующе кричали: – Сожрал привесок, вон крошки-то в зубах!

...Работал я охотно, – мне нравилось уничтожать грязь в доме, мыть полы, чистить медную посуду, отдушники, ручки дверей; я не однажды слышал, как в мирные часы женщины говорили про меня:

– Усердный.

– Чистоплотен.

– Только дерзок очень.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
– Ну, матушка, кто ж его воспитывал!

И обе старались воспитывать во мне почтение к ним, но я считал их полоумными, не любил, не слушал и разговаривал с ними зуб за зуб. Молодая хозяйка, должно быть, замечала, как плохо действуют на меня некоторые речи, и поэтому всё чаще говорила:

– Ты должен помнить, что взят из нищей семьи! Я твоей матери шёлковую тальму подарила. Со стеклярусом!

Однажды я сказал ей:

– Что же, мне за эту тальму шкуру снять с себя для вас?

– Батюшки, да он поджечь может! – испуганно вскричала хозяйка.

Я был крайне удивлен: почему – поджечь?

Они обе то и дело жаловались на меня хозяину, а хозяин говорил мне строго:

– Ты, брат, смотри у меня!

Но однажды он равнодушно сказал жене и матери:

– Тоже и вы хороши! Ездите на мальчишке, как на мерине, – другой бы давно убежал али издох от такой работы...

Это рассердило женщин до слёз; жена, топая ногою, кричала исступлённо:

– Да разве можно при нём так говорить, дурак ты длинноволосый! Что же я для него, после этих слов? Я женщина беременная.

Мать выла плачевно:

– Бог тебя прости, Василий, только – помяни мое слово – испортишь ты мальчишку!

Когда они ушли, в гневе, – хозяин строго сказал:

– Видишь, чортушка, какой шум из-за тебя? Вот я отправлю тебя к дедушке, и будешь снова тряпичником!

Не стерпев обиды, я сказал:

– Тряпичником-то лучше жить, чем у вас! Приняли в ученики, а чему учите? Помоги выносить...

Хозяин взял меня за волосы, без боли, осторожно и, заглядывая в глаза мне, сказал удивлённо:

– Однако ты ёрш! Это, брат, мне не годится, не-ет...

Я думал – меня прогонят, но через день он пришёл в кухню с трубкой толстой бумаги в руках, с карандашом, угольником и линейкой.

– Кончишь чистить ножи – нарисуй вот это!

На листе бумаги был изображён фасад двухэтажного дома со множеством окон и лепных украшений.

– Вот тебе циркуль! Смеряй все линии, нанеси концы их на бумагу точками, потом проведи по линейке карандашом от точки до точки. Сначала вдоль – это будут горизонтальные, потом поперёк – это вертикальные. Валяй! Я очень обрадовался чистой работе и началу учения, но смотрел на бумагу и инструменты с благоговейным страхом, ничего не понимая.

Однако тотчас же, вымыв руки, сел учиться. Провёл на листе все горизонтальные, сверил – хорошо! Хотя три оказались лишними. Провёл все вертикальные и с изумлением увидел, что лицо дома нелепо исказилось: окна перебрались на места

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.maх простенок, а одно, выехав за стену, висело в воздухе, по соседству с домом. Парадное крыльцо тоже поднялось на воздух до высоты второго этажа, карниз очутился посредине крыши, слуховое окно – на трубе.

Я долго, чуть не со слезами, смотрел на эти непоправимые чудеса, пытаюсь понять, как они совершились. И, не поняв, решил исправить дело помощью фантазии: нарисовал по фасаду дома на всех карнизах и на гребне крыши ворон, голубей, воробьёв, а на земле перед окном – кривоногих людей, под зонтиками, не совсем прикрывшими их уродства. Затем исчертил всё это наискось полосками и отнёс работу учителю.

Он высоко поднял брови, взбил волосы и угрюмо осведомился:

– Это что же такое?

– Дождик идёт, – объяснил я. – При дожде все дома кажутся кривыми, потому что дождик сам – кривой всегда. Птицы – вот это всё птицы – спрятались на карнизах. Так всегда бывает в дождь. А это – люди бегут домой, вот – барыня упала, а это разносчик с лимонами...

– Покорно благодарю, – сказал хозяин и, склонясь над столом, сметая бумагу волосами, захохотал, закричал: – Ох, чтоб тебя вдребезги разнесло, зверь-воробей!

Пришла хозяйка, покачивая животом, как бочонком, посмотрела на мой труд и сказала мужу:

– Ты его выпори!

Но хозяин миролюбиво заметил:

– Ничего, я сам начинал не лучше...

Отметив красным карандашом разрушения фасада, он дал мне ещё бумаги.

– Валяй ещё раз! Будешь чертить это, пока не добьёшься толку.

Вторая копия у меня вышла лучше, только окно оказалось на двери крыльца. Но мне не понравилось, что дом пустой, и я населил его разными жителями: в окнах сидели барыни с веерами в руках, кавалеры с папиросами, а один из них, некурящий, показывал всем длинный нос. У крыльца стоял извозчик и лежала собака.

– Зачем же ты опять напачкал? – сердито спросил хозяин.

Я объяснил ему, что без людей – скучно очень, но он стал ругаться.

– К чорту всё это! Если хочешь учиться – учись! А это – озорство...

Когда мне наконец удалось сделать копию фасада похожей на оригинал, это ему понравилось.

– Вот видишь, сумел же! Этак, пожалуй, мы с тобой дойдём до дела скоро...

И задал мне урок:

– Сделай план квартиры: как расположены комнаты, где двери, окна, где что стоит. Я указывать ничего не буду – делай сам!

Я пошёл в кухню и задумался – с чего начать?

Но на этой точке и остановилось моё изучение чертёжного искусства.

Подошла ко мне старуха хозяйка и зловеще спросила:

– Чертить хочешь?

Схватив за волосы, она ткнула меня лицом в стол так, что я разбил себе нос и губы, а она, подпрыгивая, изорвала чертёж, сошвырнула со стола инструменты и,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
уперев руки в бока, победоносно закричала:

– На, черти! Нет, это не сойдется! Чтобы чужой работал, а брата единого, родную кровь – прочь?

Прибежал хозяин, приплыла его жена, и начался дикий скандал: все трое наскакивали друг на друга, плевались, выли, а кончилось это тем, что, когда бабы разошлись плакать, хозяин сказал мне:

– Ты покуда брось всё это, не учись – сам видишь, вон что выходит!

Мне было жалко его – такой он измятый, беззащитный и навеки оглушён криками баб.

Я и раньше понимал, что старуха не хочет, чтобы я учился, нарочно мешает мне в этом. Прежде чем сесть за чертёж, я всегда спрашивал её:

– Делать нечего?

Она хмуро отвечала:

– Когда будет – скажу, торчи знай за столом, балуйся...

И через некоторое время посылала меня куда-нибудь или говорила:

– Как у тебя парадная лестница выметена? В углах – сорьё, пыль! Иди мети...

Я шёл, смотрел – пыли не было.

– Ты спорить против меня? – кричала она.

Однажды она облила мне все чертежи квасом, другой раз опрокинула на них лампаду масла от икон, – она озорничала, точно девчонка, с детской хитростью и с детским неумением скрыть хитрости. Ни прежде, ни после я не видал человека, который раздражался бы так быстро и легко, как она, и так страстно любил бы жаловаться на всех и на всё. Люди вообще и все любят жаловаться, но она делала это с наслаждением особенным, точно песню пела.

Её любовь к сыну была подобна безумию, смешила и пугала меня своей силой, которую я не могу назвать иначе, как яростной силой. Бывало, после утренней молитвы, она встанет на приступок печи и, положив локти на крайнюю доску полатей, горячо шипит:

– Случайный ты мой, божий, кровинушка моя горячая, чистая, алмазная, ангельское перо лёгкое! Спит, – спи, робёнок, одень твою душеньку весёлый сон, приснишь тебе невестушка, первая красавица, королевшна, богачка, купецкая дочь! А недругам твоим – не родясь издохнуть, а дружкам – жить им до ста лет, а девицы бы за тобой – стаями, как утки за селезнем!

Мне нестерпимо смешно: грубый и ленивый Виктор похож на дятла – такой же пёстрый, большеносый, такой же упрямый и тупой.

Шопот матери иногда будил его, и он бормотал сонно:

– Подите вы к чорту, мамаша, что вы тут фыркаете прямо в рожу мне!.. Жить нельзя!

Иногда она покорно слезала с приступка, усмехаясь:

– Ну, спи, спи... грубиян!

Но бывало и так: ноги её подгибались, шлепнувшись на край печи, она, открыв рот, громко дышала, точно обожгла язык, и клокотали жгучие слова:

– Та-ак? Это ты мать к чорту послал, сукин сын? Ах ты, стыд мой полуночный, заноза проклятая, дьявол тебя в душу мою засадил, сгнить бы тебе до рождения!

Она говорила слова грязные, слова пьяной улицы – было жутко слышать их.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru
Спала она мало, беспокойно, вскакивая с печи иногда по нескольку раз в ночь, валилась на диван ко мне и будила меня.

– Что вы?

– Молчи, – шептала она, крестясь, присматриваясь к чему-то в темноте. – Господи... Илья пророк... Великомученица Варвара... сохрани нечаянную смерти...

Дрожащей рукой она зажигала свечу. Её круглое носатое лицо напряжённо надувалось, серые глаза, тревожно мигая, присматривались к вещам, изменённым сумраком. Кухня – большая, но загромождена шкафами, сундуками; ночью она кажется маленькой. В ней тихонько живут лунные лучи, дрожит огонёк неугасимой лампы перед образами, на стене сверкают ножи, как ледяные сосульки, на полках – чёрные сковородки, чьи-то безглазые рожи.

Старуха слезала с печи осторожно, точно с берега реки в воду, и, шлёпая босыми ногами, шла в угол, где над лоханью для помоев висел ушастый рукомойник, напоминая отрубленную голову; там же стояла кадка с водой.

Захлёбываясь и вздыхая, она пила воду, потом смотрела в окно, сквозь голубой узор инея на стёклах.

– Помилуй мя, боже, помилуй мя, – просит она шопотом.

Иногда, погасив свечу, опускалась на колени и обиженно шипела:

– Кто меня любит, господи, кому я нужна?

Влезая на печь и перекрестив дверцу в трубе, она щупала, плотно ли лежат вьюшки; выпачкав руки сажей, отчаянно ругалась и как-то сразу засыпала, точно её пришибла невидимая сила. Когда я был обижен ею, я думал: жаль, что не на ней женился дедушка, – вот бы грызла она его!. Да и ей доставалось бы на орехи. Обижала она меня часто, но бывали дни, когда пухлое, ватное лицо её становилось грустным, глаза тонули в слезах и она очень убедительно говорила:

– Ты думаешь – легко мне? Родила детей, нянчила, на ноги ставила – для чего? Вот – живу кухаркой у них, сладко это мне? Привёл сын чужую бабу и променял на неё свою кровь – хорошо это? Ну?

– Нехорошо, – искренне говорил я.

– Ага? То-то...

И она начинала бесстыдно говорить о снохе:

– Бывала я с нею в бане, видела её! На что польстился? Такие ли красавицами зовутся?..

Об отношениях мужчин к женщинам она говорила всегда изумительно грязно; сначала её речи вызвали у меня отвращение, но скоро я привык слушать их внимательно, с большим интересом, чувствуя за этими речами какую-то тяжкую правду.

– Баба – сила, она самого бога обманула, вот как! – жужжала она, пристукивая ладонью по столу. – Из-за Евы все люди в ад идут, на-ка вот!

О силе женщины она могла говорить без конца, и мне всегда казалось, что этими разговорами она хочет кого-то напугать. Я особенно запомнил, что «Ева – бога обманула».

На дворе нашем стоял флигель, такой же большой, как дом; из восьми квартир двух зданий в четырёх жили офицеры, в пятой – полковой священник. Весь двор был полон денщиками, вестовыми, к ним ходили прачки, горничные, кухарки; во всех кухнях постоянно разыгрывались романы и драмы, со слезами, бранью, дракой. Дрались солдаты друг с другом, с землекопами, рабочими домохозяина; били женщин. На дворе постоянно кипело то, что называется развратом, распутством, – звериный, неукротимый голод здоровых парней. Эта жизнь, насыщенная жестокой чувственностью, бессмысленным мучительством, грязной хвастливостью победителей, подробно и цинично обсуждалась моими хозяевами за обедом, вечерним чаем и

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
ужином. Старуха всегда знала все истории на дворе и рассказывала их горячо, злорадно.

Молодая слушала эти рассказы, молча улыбаясь пухлыми губами. Виктор хохотал, а хозяин, морщась, говорил:

– Довольно, мамаша...

– Господи, уж и слова мне нельзя сказать! – жаловалась рассказчица.

Виктор поощрял её:

– Валяйте, мамаша, чего стесняться! Всё свои ведь...

Старший сын относился к матери с брезгливым сожалением, избегал оставаться с нею один на один, а если это случалось, мать закидывала его жалобами на жену и обязательно просила денег. Он торопливо совал ей в руку рубль, три, несколько серебряных монет.

– Напрасно вы, мамаша, берёте деньги, не жалко мне их, а – напрасно!

– Я ведь для нищих, я – на свечи, в церковь...

– Ну, какие там нищие! Испортите вы Виктора вконец.

– Не любишь ты брата, великий грех на тебе!

Он уходил, отмахиваясь от неё.

Виктор обращался с матерью грубо, насмешливо. Он был очень прожорлив, всегда голодал. По воскресеньям мать пекла оладьи и всегда прятала несколько штук в горшок, ставя его под диван, на котором я спал; приходя от обедни, Виктор доставал горшок и ворчал:

– Не могла больше-то, гвозди-kozyри!

– А ты жри скорее, чтобы не увидели...

– Я нарочно скажу, как ты для меня оладьи вор�ешь, вилки в затылке!

Однажды я достал горшок и съел пару оладей, – Виктор избил меня за это. Он не любил меня так же, как и я его, издевался надо мною, заставлял по три раза в день чистить его сапоги, а ложась спать на полати, раздвигал доски и плевал в щели, стараясь попасть мне на голову.

Должно быть, подражая брату, который часто говорил «звери-курицы», Виктор тоже употреблял поговорки, но все они были удивительно нелепы и бессмысленны.

– Мамаша – кругом направо! – где мои носки?

Он преследовал меня глупыми вопросами:

– Алёшка, отвечай: почему пишется – синенький, а говорится – финики? Почему говорят – колокола, а не – около кола? Почему – к дереву, а не где плачу?

Мне не нравилось, как все они говорят; воспитанный на красивом языке бабушки и деда, я вначале не понимал такие соединения несоединимых слов, как «ужасно смешно», «до смерти хочу есть», «страшно весело»; мне казалось, что смешное не может быть ужасным, весёлое – не страшно и все люди едят вплоть до дня смерти.

Я спрашивал их:

– Разве можно так говорить?

Они ругались:

– Какой учитель, скажите? Вот – нарвать уши...

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Но и «нарвать уши» казалось мне неправильным: нарвать можно травы, цветов, орехов.

Они пытались доказать мне, что уши тоже можно рвать, но это не убеждало меня, и я с торжеством говорил:

– А всё-таки уши-то не оторваны!

Крутом было так много жестокого озорства, грязного бесстыдства – неизмеримо больше, чем на улицах Кунавина, обильного «публичными домами», «гулящими» девицами. В Кунавине за грязью и озорством чувствовалось нечто, объяснявшее неизбежность озорства и грязи: трудная, полуголодная жизнь, тяжёлая работа. Здесь жили сытно и легко, работу заменяла непонятная, ненужная сутолока, суета. И на всём здесь лежала какая-то едкая, раздражающая скука.

Плохо мне жилось, но ещё хуже чувствовал я себя, когда приходила в гости ко мне бабушка. Она являлась с чёрного крыльца, входя в кухню, крестилась на образа, потом в пояс кланялась младшей сестре, и этот поклон, точно многопудовая тяжесть, сгибал меня, душил.

– А, это ты, Акулина, – небрежно и холодно встречала бабушку моя хозяйка.

Я не узнавал бабушки: скромно поджав губы, незнакомо изменив всё лицо, она тихонько садилась на скамью у двери, около лохани с помоями, и молчала, как виноватая, отвечая на вопросы сестры тихо, покорно.

Это мучило меня, и я сердито говорил:

– Что ты где села?

Ласково подмигнув мне, она отзывалась внушительно:

– А ты помалкивай, ты здесь не хозяин!

– Он всегда суется не в свое дело, хоть бей его, хоть ругай, – начинала хозяйка свои жалобы.

Нередко она злорадно спрашивала сестру:

– Что, Акулина, нищенкой живешь?

– Эка беда...

– И всё – не беда, коли нет стыда.

– Говорят – Христос тоже милостыней жил...

– Болваны это говорят, еретики, а ты, старая дура, слушаешь! Христос – не нищий, а сын божий, он придёт, сказано, со славою судить живых и мёртвых – и мертвых, помни! От него не спрячешься, матушка, хоть в пепел сожгись... Он тебе с Василием отплатит за гордость вашу, за меня, как я, бывало, помощи просила у вас, богатых!

– Я ведь посильно помогала тебе, – равнодушно говорила бабушка. – А господь нам отплатил, ты знаешь...

– Мало вам! Мало...

Сестра долго пилила и скребла бабушку своим неутомимым языком, а я слушал её злой визг и тоскливо недоумевал: как может бабушка терпеть это? И не любил её в такие минуты.

Выходила из комнат молодая хозяйка, благосклонно кивала головою бабушке.

– Идите в столовую, ничего, идите!

Сестра кричала вослед бабушке:

– Ноги оботри, деревня еловая, на болоте строена!

Хозяин встречал бабушку весело:

– А, премудрая Акулина, как живёшь? Старичок Каширин дышит?

Бабушка улыбалась ему своей улыбкой из души.

– Всё гнёшься, работаешь?

– Всё работаю! Как арестант.

С ним бабушка говорила ласково и хорошо, но – как старшая. Иногда он вспоминал мою мать:

– Да-а, Варвара Васильевна... Какая женщина была – богатырь, а?

Жена его обращалась к бабушке и вставляла слово:

– Помните, я ей тальму подарила, чёрную, шёлковую, со стеклярусом?

– Как же...

– Совсем ещё хорошая тальма была...

– Да-да, – бормотал хозяин, – тальма, пальма, а жизнь – шельма!

– Что это ты говоришь? – подозрительно спрашивала его жена.

– Я? Так себе... Дни весёлые проходят, люди хорошие проходят...

– Не понимаю я, к чему это у тебя? – беспокоилась хозяйка.

Потом бабушку уведят смотреть новорождённого, я собираю со стола грязную чайную посуду, а хозяин говорит мне негромко и задумчиво:

– Хороша старуха, бабушка твоя...

Я глубоко благодарен ему за эти слова, а оставшись глаз на глаз с бабушкой, говорю ей, с болью в душе:

– Зачем ты ходишь сюда, зачем? Ведь ты видишь, какие они...

– Эх, Олёша, я всё вижу, – отвечает она, глядя на меня с доброй усмешкой на чудесном лице, и мне становится совестно: ну, разумеется, она всё видит, всё знает, знает и то, что живёт в моей душе этой минутой.

Осторожно оглянувшись, не идет ли кто, она обнимает меня, задушевно говоря:

– Не пришла бы я сюда, кабы не ты здесь, – зачем они мне? Да дедушка захворал, провозилась я с ним, не работала, денег нету у меня... А сын, Михаила, Сашу прогнал, поить-кормить надо его. Они обещали за тебя шесть рублей в год давать, вот я и думаю – не дадут ли хоть целковый? Ты ведь около полугода прожил уж... – И шепчет на ухо мне: – Они велели пожурить тебя, поругать, не слушаешься никого, говорят. Уж ты бы, голуба душа, пожил у них, потерпел годочка два, пока окрепнешь! Потерпи, а?

Я обещал терпеть. Это очень трудно. Меня давит эта жизнь, нищая, скучная, вся в суете, ради еды, и я живу, как во сне.

Иногда мне думается: надо убежать! Но стоит окаянная зима, по ночам воют вьюги, на чердаке возится ветер, трещат стропила, сжатые морозом, – куда убежишь?

Гулять меня не пускали, да и времени не было гулять: короткий зимний день истлевал в суете домашней работы неуловимо быстро.

Но я обязан был ходить в церковь; по субботам – ко всеобщей, по праздникам – к поздней обедне.

Мне нравилось бывать в церквах; стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас – он точно плавится в огнях свеч, стекая густозолотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся тёмные фигуры икон; весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчёлы, а головы женщин и девушек похожи на цветы.

Всё вокруг гармонично слито с пением хора, всё живёт странною жизнью сказки, вся церковь медленно покачивается, точно люлька, – качается в густой, как смола, тёмной пустоте.

Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко в воду озера, спряталась от земли, чтобы жить особенною, ни на что не похожую жизнью. Вероятно, это ощущение было вызвано у меня рассказом бабушки о граде Китеже, и часто я, дремотно покачиваясь вместе со всем окружающим, убаюканный пением хора, шорохом молитв, вздохами людей, твердил про себя певучий, грустный рассказ:

Обложили окаянные татарове
Да своей поганой силищей,
Обложили они славен Китеж-град
Да во светлый час, заутренний...
Ой ли, господи, боже наш,
Пресвятая богородица!
Ой, сподобьте вы рабей своих
Достоять им службу утренню,
Дослушать святое писание!
Ой, не дайте татарину
Святу церкву на глумление,
Жён, девиц – на посрамление,
Малых детушек – на игрище,
Старых старцев на смерть лютую!
А услышал господь Саваоф,
Услыхала богородица
Те людские воздыхания,
Христианские жалости.
И сказал господь Саваоф.
Свет архангеле Михаиле:
– А поди-ка ты, Михайло,
Сотряхни землю под Китежем,
Погрузи Китеж во озеро;
Ин пускай там люди молятся
Без отдыху да без устали
От заутрени до всенощной
Все святы службы церковные
Во веки и века веков!
В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей медом: кажется, я и думал в форме её стихов.

В церкви я не молился, – было неловко пред богом бабушки повторять сердитые дедовы молитвы и плачевные псалмы; я был уверен, что бабушкину богу это не может нравиться, так же как не нравилось мне, да к тому же они напечатаны в книгах, – значит, бог знает их на память, как и все грамотные люди.

Поэтому в церкви, в те минуты, когда сердце сжималось сладкой печалью о чём-то или когда его кусали и царапали маленькие обиды истекшего дня, я старался сочинять свои молитвы; стоило мне задуматься о невесёлой доле моей – сами собою, без усилий, слова слагались в жалобы:

Господи, господи – скушно мне!
Хоть бы уж скорее вырасти!
А то – жить терпенья нет,
Хоть удавись, – господи прости!
Из ученья – не выходит толку.
Чортова кукла, бабушка Матрёна,
Рычит на меня волком,
И жить мне – очень солоно!
Много «молитв» моих я и до сего дня помню, – работа ума в детстве ложится на

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
душу слишком глубокими шрамами – часто они не зарастают всю жизнь.

В церкви было хорошо, я отдыхал там так же, как в лесу и поле. Маленькое сердце, уже знакомое со множеством обид, выпачканное злой грубостью жизни, омывалось в неясных, горячих мечтах.

Но я ходил в церковь только в большие морозы или когда вьюга бешено металась по городу, когда кажется, что небо замёрзло, а ветер распылит его в облака снега, и земля, тоже замерзая под сугробами, никогда уже не воскреснет, не оживёт.

Тихими ночами мне больше нравилось ходить по городу, из улицы в улицу, забираясь в самые глухие углы. Бывало, идёшь – точно на крыльях несёшься; один, как луна в небе; перед тобою ползёт твоя тень, гасит искры света на снегу, смешно тычется в тумбы, в заборы. Посредине улицы шагает ночной сторож, с трещоткой в руках, в тяжёлом тулупе, рядом с ним – трясётся собака.

Неуклюжий человек похож на собачью конуру, – она ушла со двора и двигается по улице, неизвестно куда, а огорчённая собака – за нею.

Иногда встретятся весёлые барышни и кавалеры – я думаю, что и они тоже убежали от всеобщей.

Порою, сквозь форточки освещённых окон, в чистый воздух прольются какие-то особенные запахи – тонкие, незнакомые, намекающие на иную жизнь, неведомую мне; стоишь под окном и, пригнувшись, прислушиваясь, – догадываешься: какая это жизнь, что за люди живут в этом доме? Всеночная, а они – весело шумят, смеются, играют на каких-то особенных гитарах, из форточки густо течёт меднострунный звон.

Особенно интересовал меня одноэтажный, приземистый дом на углу безлюдных улиц – Тихоновской и Мартыновской. Я наткнулся на него лунной ночью, в ростепель, перед масленицей; из квадратной форточки окна, вместе с тёплым паром, струился на улицу необыкновенный звук, точно кто-то очень сильный и добрый пел, закрыв рот; слов не слышно было, но песня показалась мне удивительно знакомой и понятной, хотя слушать её мешал струнный звон, надоедливо перебивая течение песни. Я сел на тумбу, сообразив, что это играют на какой-то скрипке, чудесной мощности и невыносимой – потому что слушать её был почти больно. Иногда она пела с такой силой, что – казалось – весь дом дрожит и гудят стёкла в окне. Капало с крыши, из глаз у меня тоже закапали слёзы.

Незаметно подошёл ночной сторож и столкнул меня с тумбы, спрашивая:

– Ты чего тут торчишь?

– Музыка, – объяснил я.

– Мало ли что! Пошёл...

Я быстро обежал кругом квартала, снова воротился по окну, но в доме уже не играли, из форточки бурно вытекал на улицу весёлый шум, и это было так не похоже на печальную музыку, точно я слышал её во сне.

Почти каждую субботу я стал бегать к этому дому, но только однажды, весной, снова услышал там виолончель – она играла почти непрерывно до полуночи; когда я воротился домой, меня отколотили.

Ночные прогулки под зимними звёздами, среди пустынных улиц города, очень обогащали меня. Я нарочно выбирал улицы подальше от центра: на центральных было много фонарей, меня могли заметить знакомые хозяев, тогда хозяева узнали бы, что я прогуливаюсь всеночные. Мешали пьяные, городские и «гулящие» девицы; а на дальних улицах можно было смотреть в окна нижних этажей, если они не очень замёрзли и не занавешены изнутри.

Много разных картин показали мне эти окна: видел я, как люди молятся, целуются, дерутся, играют в карты, озабоченно и беззвучно беседуют, – предо мною, точно в панораме за копейку, тянулась немая, рыба жизнь.

Видел я в подвале, за столом, двух женщин, – молодую и постарше; против них

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.maх алтаря.

Играть хотелось страстно, и я увлекался играми до неистовства. Был достаточно ловок, силен и скоро заслужил славу игрока в бабки, в шар и в городки в ближних улицах.

Великим постом меня заставили говеть, и вот я иду исповедоваться к нашему соседу, отцу Доримедонту Покровскому. Я считал его человеком суровым и был во многом грешен лично перед ним; разбивал камнями беседку в его саду, враждовал с его детьми, и вообще он мог напомнить мне немало разных поступков, неприятных ему. Это меня очень смущало, и, когда я стоял в бедненькой церкви, ожидая очереди исповедоваться, сердце моё билось трепетно.

Но отец Доримедонт встретил меня добродушно ворчливым восклицанием:

– А, сосед... Ну, вставай на колени! В чём грешен?

Он накрыл голову мою тяжёлым бархатом, я задышался в запахе воска и ладана, говорить было трудно и не хотелось.

– Старших слушаешься?

– Нет.

– Говори – грешен!

Неожиданно для себя я выпалил:

– Просвиры своровал.

– Это – как же? Где? – спросил священник, подумав и не спеша.

– У Трёх Святителей, у Покрова, у Николы...

– Ну-ну, по всем церквам! Это, брат, нехорошо, грех, – понимаешь?

– Понимаю.

– Говори – грешен! Несуразный. Воровал-то, чтобы есть?

– Когда ел, а то – проигрую деньги в бабки, а просвиру домой надо принести, я и украду...

Отец Доримедонт начал что-то шептать, невнятно и устало, потом задал ещё несколько вопросов и вдруг строго спросил:

– Не читал ли книг подпольного издания?

Я, конечно, не понял вопроса и переспросил:

– Чего?

– Запрещённых книжек не читал ли?

– Нет, никаких...

– Отпускаются тебе грехи твои... Встань!

Я удивлённо взглянул в лицо ему – оно казалось задумчивым и добрым. Мне было неловко, совестно: отправляя меня на исповедь, хозяева наговорили о ней страхов и ужасов, убедив каяться честно во всех прегрешениях моих.

– Я в вашу беседку камнями кидал, – заявил я.

Священник поднял голову и сказал:

– И это нехорошо! Ступай...

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– И в собаку кидал...

– Следующий! – позвал отец Доримедонт, глядя мимо меня.

Я ушёл, чувствуя себя обманутым и обиженным: так напрягался в страхе исповеди, а всё вышло не страшно и даже не интересно! Интересен был только вопрос о книгах, неведомых мне; я вспомнил гимназиста, читавшего в подвале книгу женщинам, и вспомнил Хорошее Дело, – у него тоже было много чёрных книг, толстых, с непонятными рисунками.

На другой день мне дали пятиалтынный и отправили меня причащаться. Пасха была поздняя, уже давно стаял снег, улицы просохли, по дорогам курилась пыль; день был солнечный, радостный.

Около церковной ограды азартно играла в бабки большая компания мастеровых; я решил, что успею причаститься, и попросил игроков:

– Примите меня!

– Копейку за вход в игру, – гордо заявил рябой и рыжий человек.

Но я не менее гордо сказал:

– Три под вторую пару слева!

– Деньги на кон!

И началась игра!

Я разменял пятиалтынный, положил три копейки под пару бабок в длинный кон; кто собьёт эту пару – получает деньги, промахнётся – я получу с него три копейки. Мне посчастливилось: двое целились в мои деньги, и оба не попали, – я выиграл шесть копеек со взрослых, с мужиков. Это очень подняло дух мой...

Но кто-то из игроков сказал:

– Гляди за ним, ребята, а то убежит с выигрышем...

Тут я обиделся и объявил сгоряча, как в бубен ударил:

– Девять копеек под левой крайней парой!

Однако это не вызвало у игроков заметного впечатления, только какой-то мальчуган моих лет крикнул, предупреждая:

– Глядите, – он счастливый, это чертёжник со Звездинки, я его знаю!

Худощавый мастеровой, по запаху скорняк, сказал ехидно:

– Чертёнок? Хар-рошо...

Прицелившись налитком, он метко сбил мою ставку и спросил, нагибаясь ко мне:

– Ревёшь?

Я ответил:

– Под крайней правой – три!

– И сотру, – похвастался скорняк, но проиграл.

Больше трёх раз кряду нельзя ставить деньги на кон, – я стал бить чужие ставки и выиграл ещё копейки четыре да кучу бабок. Но когда снова дошла очередь до меня, я поставил трижды и проиграл все деньги, как раз вовремя обедня кончилась, звонили колокола, народ выходил из церкви.

– Женат? – спросил скорняк, намереваясь схватить меня за волосы, но я вывернулся, убежал и, догнав какого то празднично одетого паренька, вежливо

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
осведомился:

– Вы причащались?

– Ну, так что? – ответил он, осматривая меня подозрительно.

Я попросил его рассказать мне, как причащают, что говорит в это время священник и что должен был делать я.

Парень сурово избычился и устрашающим голосом зарычал:

– Прогулял причастье, еретик? Ну, а я тебе ничего не скажу – пускай отец шкуру спустит с тебя!

Я побежал домой, уверенный, что начнут расспрашивать и неизбежно узнают, что я не причащался.

Но, поздравив меня, старуха спросила только об одном:

– Дьячку за теплоту – много ли дал?

– Пятачок, – наобум сказал я.

– И три копейки за глаза ему, а семишник себе оставил бы, чучело!

..Весна. Каждый день одет в новое, каждый новый день ярче и милей; хмельно пахнет молодыми травами, свежей зеленью берёз, нестерпимо тянет в поле слушать жаворонка, лёжа на тёплой земле вверх лицом. А я – чищу зимнее платье, помогаю укладывать его в сундук, крошу листовую табак, выбиваю пыль из мебели, с утра до ночи вожусь с неприятными, ненужными мне вещами.

В свободные часы мне совершенно нечем жить; на убогой нашей улице – пусто, дальше – не позволено уходить; на дворе сердитые, усталые землекопы, растрёпанные кухарки и прачки, каждый вечер – собачьи свадьбы, – это противно мне и обижает до того, что хочется ослепнуть.

Я иду на чердак, взяв с собою ножницы и разноцветной бумаги, вырезаю из неё кружевные рисунки и украшаю ими стропила.. Всё-таки пища моей тоске. Мне тревожно хочется идти куда-то, где меньше спят, меньше ссорятся, не так назойливо одолевают бога жалобами, не так часто обижают людей сердитым судом.

..В субботу на пасхе приносят в город из Оранского монастыря чудотворную икону Владимирской божией матери; она гостит в городе до половины июня и посещает все дома, все квартиры каждого церковного прихода.

К моим хозяевам она явилась в будни утром; я чистил в кухне медную посуду, когда молодая хозяйка пугливо закричала из комнаты:

– Отпирай парадную – Оранскую несут!

Я бросился вниз, грязный, с руками в сале и тёртом кирпиче, отпер дверь, – молодой монах с фонарём в одной руке и кадилом в другой тихонько проворчал:

– Дрыхнете? Помогай..

Двое обывателей вносили по узкой лестнице тяжёлый киот, я помогал им, поддерживая грязными руками и плечом край киота, сзади топали тяжёлые монахи, неохотно распевая густыми голосами:

– «Пресвятая богородице, моли бога о на-ас...»

Я подумал с печальной уверенностью: «Обидится на меня она за то, что я, грязный, несу её, и отсохнут у меня руки...»

Икону поставили в передний угол на два стула, прикрытые чистой простынёй, по бокам киота встали, поддерживая его, два монаха, молодые и красивые, подобно ангелам – ясноглазые, радостные, с пышными волосами.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
Служили молебн.

– «О, всепетая мати», – высоким голосом выводил большой поп и всё щупал багровыми пальцами припухшую мочку уха, спрятанного в пышных волосах.

– «Пресвятая богородице, помилуй нас», – устало пели монахи. Я любил богородицу; по рассказам бабушки, это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости – всё благое и прекрасное. И, когда нужно было приложиться к ручке её, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы.

Кто-то могучей рукой швырнул меня к порогу, в угол. Непамятно, как ушли монахи, унося икону, но очень помню: хозяева, окружив меня, сидевшего на полу, с великим страхом и заботой рассуждали – что же теперь будет со мной?

– Надо поговорить со священником, который поучёнее, – говорил хозяин и беззлобно ругал меня:

– Невежа, как же ты не понимаешь, что в губы нельзя целовать? А ещё... в школе учился...

Несколько дней я обречённо ждал – что же будет? Хватался за киот грязными руками, приложился незаконно, – уж не пройдёт мне даром это, не пройдёт!

Но, видимо, богородица простила невольный грех, вызванный искреннею любовью. Или же наказание её было так легко, что я не заметил его среди частых наказаний, испытанных мною от добрых людей.

Иногда, чтобы позлить старую хозяйку, я сокрушённо говорил ей:

– А богородица-то, видно, забыла наказать меня...

– А ты погоди, – ехидно обещала старуха. – Ещё поглядим...

..Украшая стропила чердака узорами из розовой чайной бумаги, листиками свинца, листьями деревьев и всякой всячиной, я распевал на церковные мотивы всё, что приходило в голову, как это делают калмыки в дороге:

Сижу я на чердаке,
С ножницами в руке.
Режу бумагу, режу...
Скушно мне, невеже!
Был бы я собакой –
Бегал бы где хотел,
А теперь орёт на меня всякой:
Сиди да молчи, пострел,
Молчи, пока цел!
Старуха, разглядывая мою работу, усмехалась, качала головой.

– Ты бы вот этак-то кухню украсил...

Однажды на чердак пришел хозяин, осмотрел содеянное мною, вздохнул и сказал:

– Забавен ты, Пешков, чорт тебя возьми... фокусник, что ли, выйдет из тебя? Не догадаешься даже...

Он дал мне большой николаевский пятак.

Я укрепил монету лапками из тонкой проволоки и повесил её, как медаль, на самом видном месте среди моих пёстрых работ.

Но через день монета исчезла, вместе с лапками, – я уверен, что это старуха стащила её!

V

Весною я всё-таки убежал: пошёл утром в лавочку за хлебом к чаю, а лавочник, продолжая при мне ссору с женой, ударил её по лбу гирей; она выбежала на улицу и там упала; тотчас собрались люди, женщину посадили в пролётку, повезли её в

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
больницу; я побежал за извозчиком, а потом, незаметно для себя, очутился на
набережной Волги, с двугривенным в руке.

Ласково сиял весенний день, Волга разлилась широко, на земле было шумно,
просторно, – а я жил до этого дня, точно мышонок в погребе. И я решил, что не
вернусь к хозяевам и не пойду к бабушке в Кунавино, – я не сдержал слова, было
стыдно видеть её, а дед стал бы злорадствовать надо мной.

Дня два-три я шлялся по набережной, питаюсь около добродушных крючников, ночуя с
ними на пристанях; потом один из них сказал мне:

– Ты, мальчишка, зря треплешься тут, вижу я! Иди-ка на «Добрый», там посудника
надо...

Я пошёл; высокий, бородатый буфетчик, в чёрной шёлковой шапочке без козырька,
посмотрел на меня сквозь очки мутными глазами и тихо сказал:

– Два рубля в месяц. Паспорт.

Паспорта у меня не было, буфетчик подумал и предложил:

– Мать приведи.

Я бросился к бабушке, она отнеслась к моему поступку одобрительно, уговорила
деда сходить в ремесленную управу за паспортом для меня, а сама пошла со мною на
пароход.

– Хорошо, – сказал буфетчик, взглянув на нас. – Идём.

Привёл меня на корму парохода, где за столиком сидел, распивая чай и
одновременно куря толстую папиросу, огромный повар в белой куртке, в белом
колпаке. Буфетчик толкнул меня к нему.

– Посудник.

И тотчас пошёл прочь, а повар, фыркнув, ошетилил чёрные усы и сказал вслед ему:

– Нанимаете всякого беса, або дешевле...

Сердито вскинул большую голову в чёрных, коротко остриженных волосах, вытаращил
тёмные глаза, напрягся, надулся и закричал зычно:

– Кто ты такой?

Мне очень не понравился этот человек, – весь в белом, он всё-таки казался
чумазым, на пальцах у него росла шерсть, из больших ушей торчали волосы.

– Я хочу есть, – сказал я ему.

Он мигнул, и вдруг его свирепое лицо изменилось от широкой улыбки, толстые,
калёные щёки волною отошли к ушам, открыв большие лошадиные зубы, усы мягко
опустились – он стал похож на толстую, добрую бабу.

Выплеснув за борт чай из своего стакана, налил свежего, подвинул мне непочатую
французскую булку, большой кусок колбасы.

– Лопай! Отец-мать есть? Воровать умеешь? Ну, не бойся, здесь все вору – научат!

Говорил он, точно лаял. Его огромное, досиня выбритое лицо было покрыто около
носа сплошной сетью красных жилок, пухлый багровый нос опускался на усы, нижняя
губа тяжело и брезгливо отвисла, в углу рта приклеилась, дымясь, папироса. Он,
видимо, только что пришёл из бани – от него пахло берёзовым веником и перцовкой,
на висках и на шее блестел обильный пот.

Когда я напился чаю, он сунул мне рублёвую бумажку.

– Ступай, купи себе два фартука с нагрудниками. Стой, – я сам куплю!

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru
Поправил колпак и пошёл, тяжело покачиваясь, щупая ногами палубу, точно медведь.

..Ночь, ярко светит луна, убегая от парохода влево, в луга. Старенький рыжий пароход, с белой полосой на трубе не торопясь и неровно шлёпает плицами по серебряной воде, навстречу ему тихонько плывут тёмные берега, положив на воду тени, над ними красно светятся окна изб, в селе поют, – девки водят хоровод, и припев «ай-люли» звучит, как аллилуйя...

За пароходом на длинном буксире тянется баржа, тоже рыжая; она прикрыта по палубе железной клеткой, в клетке – арестанты, осуждённые на поселение и в каторгу. На носу баржи, как свеча, блестит штык часового; мелкие звёзды в синем небе тоже горят, как свечи. На барже тихо, её богато облил лунный свет, за чёрной сеткой железной решётки смутно видны круглые серые пятна, – это арестанты смотрят на Волгу. Всхлипывает вода, не то плачет, не то смеётся робко. Всё вокруг какое-то церковное, и маслом пахнет так же крепко, как в церкви.

Смотрю на баржу и вспоминаю раннее детство, путь из Астрахани в Нижний, железное лицо матери и бабушку – человека, который ввёл меня в эту интересную, хотя и трудную жизнь – в люди. А когда я вспоминаю бабушку, всё дурное, обидное уходит от меня, изменяется, всё становится интереснее, приятнее, люди – лучше и милей...

Меня почти до слёз волнует красота ночи, волнует эта баржа – она похожа на гроб и такая лишняя на просторе широко разлившейся реки, в задумчивой тишине тёплой ночи. Неровная линия берега, то поднимаясь, то опускаясь, приятно тревожит сердце, – мне хочется быть добрым, нужным для людей.

Люди на пароходе нашем – особенные, все они – старые и молодые, мужчины и женщины – кажутся мне одинаковыми. Наш пароход идет медленно, деловые люди садятся на почтовые, а к нам собираются всё какие-то тихие бездельники. С утра до вечера они пьют, едят и пачкают множество посуды, ножей, вилок, ложек; моя работа – мыть посуду, чистить вилки и ножи, я занимаюсь этим с шести часов утра и почти вплоть до полуночи. Днём, между двумя и шестью часами, и вечером от десяти до полуночи, работы у меня меньше, – пассажиры, отдыхая от еды, только пьют чай, пиво, водку. В эти часы свободна вся буфетная прислуга – моё начальство. За столом около отвода пьют чай повар Смурый, его помощник Яков Иваныч, кухонный посудник Максим и официант для палубных пассажиров Сергей, горбун, со скуластым лицом, изрытым оспой, с масляными глазами. Яков Иваныч рассказывает разные мерзости, посмеиваясь рыдающим смешком, показывая зелёные, гнилые зубы. Сергей растягивает до ушей свой лягушечий рот, хмурый Максим молчит, глядя на них строгими глазами неуловимого цвета.

– Аз-зиаты! Мор-рдва! – изредка гулким голосом произносит старший повар.

Эти люди не нравятся мне. Толстый, лысенький Яков Иваныч говорит только о женщинах и всегда – грязно. Лицо у него пустое, в сизых пятнах, на одной щеке бородавка с кустиком рыжих волос, он их закручивает в иголку. Когда на пароход является податливая, разбитная пассажирка, он ходит около неё как-то особенно робко и пугливо, точно нищий, говорит с нею слащаво и жалобно, на губах у него появляется мыльная пена, он то и дело слизывает её быстрым движением поганого языка. Мне почему-то кажется, что вот такими жирненькими должны быть палачи.

– Бабу надо уметь накалить, – учит он Сергея и Максима; они слушают его внимательно и надуваются, краснеют.

– Азиаты, – брезгливо бухает Смурый, тяжело встаёт и командует мне: – Пешкóв – марш!

В каюте у себя он суёт мне книжку в кожаном переплёте и ложится на койку, у стены ледника.

– Читай!

Я сажусь на ящик макарон и добросовестно читаю:

– «Умбракул, распещрённый звёздами, значит удобное сообщение с небом, которое имеют они освобождением себя от профанов и пороков»...

Смурый, закулив папироску, фыркает дымом и ворчит:

- Верблюды! Написали...
- «Оголение левой груди означает невинность сердца»...
- У кого – оголение?:
- Не сказано.
- То значит – у баб... Э, распутники.

Он закрывает глаза и лежит, закинув руки за голову, папироса чуть дымится, прилепившись к углу губ, он поправляет её языком, затягивается так, что в груди у него что-то свистит, и огромное лицо тонет в облаке дыма. Иногда мне кажется, что он уснул, я перестаю читать и разглядываю проклятую книгу – надоела она мне до тошноты.

Но он хрипит:

- Читай!
- «Венерабль отвечает: посмотри, любезный мой фрер Сюверьян»...
- Северьян... I
- Напечатано – Сюверьян...
- Ну? Вот чертовщина! Там в конце стихами написано, катай оттуда...

Я катаю:

Профаны, любопытствующие знать наши дела –
Никогда слабые ваши очи не узрят оных.
Вы и того не узнаете, как поют фреры.
– Стой, – говорит Смурый, – да это ж не стихи! Дай книгу...

Он сердито перелистывает толстые, синие страницы и суёт книгу под тюфяк.

- Возьми другую...

На моё горе у него в чёрном сундуке, окованном железом, много книг – тут: «Омировы наставления», «Мемории артиллерийские», «Письма лорда Седенгали», «О клопе насекомом зловредном, а также об уничтожении оногo, с приложением советов против сопутствующих ему»; были книги без начала и конца. Иногда повар заставлял меня перебирать эти книги, называть все титулы их, – я читал, а он сердито ворчал:

- Сочиняют, ракалии. Как по зубам бьют, а за что – нельзя понять. Гервасий! А на чорта он мне сдался, Гервасий этот! Умбракул...

Странные слова, незнакомые имена надоедливо запоминались, щекотали язык, хотелось ежеминутно повторять их – может быть, в звуках откроется смысл? А за окном неустанно пела и плескала вода. Хорошо бы уйти на корму – там, среди ящиков товара, собираются матросы, кочегары, обыгрывают пассажиров в карты, поют песни, рассказывают интересные истории. Хорошо сидеть с ними и, слушая простое, понятное, смотреть на берега камы, на сосны, вытянутые, как медные струны, на луга, где от половодья остались маленькие озёра и лежат, как куски разбитого зеркала, отражая синее небо. Наш пароход отъединён от земли, убегает прочь от неё, а с берега, в тишине уставшего дня, доносится звон невидимой колокольни, напоминая о сёлах, о людях. На волне качается лодка рыбака, похожая на краюху хлеба; вот на берегу явилась деревенька, куча мальчишек полощется в реке, по жёлтой ленте песка идёт мужик в красной рубахе. Издали, с реки, всё кажется приятным, всё – точно игрушечное, забавно мелко и пёстро. Хочется крикнуть на берег какие-то ласковые, добрые слова, – на берег и на баржу.

Эта рыжая баржа очень занимала меня, я целый час мог, не отрываясь, смотреть, как она роет тупым носом мутную воду. Пароход тащил её, точно свинью; ослабевая, буксир хлестал по воде, потом снова натягивался, роняя обильные капли, и дёргал

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
баржу за нос. Мне очень хотелось видеть лица людей, зверями сидевших в железной клетке. В Перми, когда их сводили на берег, я пробирался по сходням баржи; мимо меня шли десятки серых человечков, гулко топая ногами, звякая кольцами кандалов, согнувшись под тяжестью котомок; шли женщины и мужчины, старые и молодые, красивые и уродливые, но совсем такие же, как все люди, только иначе одетые и обезображенные бритьём. Конечно, это – разбойники, но бабушка так много говорила хорошего о разбойниках.

Смурый, более других похожий на свирепого разбойника, угрюмо поглядывая на баржу, ворчал:

– Избави боже такой судьбины!

Как-то раз я спросил его:

– Почему это – вы стряпаете, а другие убивают, грабят?

– Я не стряпаю, а готовлю, стряпают – бабы, – сказал он, усмехаясь; подумав, прибавил: – Разница меж людьми – в глупости. Один умнее, другой – меньше, третий – совсем дурак. А чтобы поумнеть, надо читать правильные книги, чёрную магию и – что там ещё? Все книги надо читать, тогда найдешь правильные...

Он постоянно внушал мне:

– Ты – читай! Не поймёшь книгу – семь раз прочитай, семь не поймёшь – прочитай двенадцать...

Со всеми на пароходе, не исключая и молчаливого буфетчика, Смурый говорил отрывисто, брезгливо распуская нижнюю губу, ощетинив усы, – точно камнями швырял в людей. Ко мне он относился мягко и внимательно, но в этом внимании было что-то пугавшее меня немножко; иногда повар казался мне полоумным, как сестра бабушки.

Иногда он говорил мне:

– Подожди читать...

И долго лежит, закрыв глаза, посапывая носом; колышется его большой живот, шевелятся сложенные на груди, точно у покойника, обожжённые, волосатые пальцы рук, – вяжут невидимыми спицами невидимый чулок.

И вдруг начнёт ворчать:

– Да. Вот тебе – разум, иди и живи! А разума скупое дано и не ровно. Коли бы все были одинаково разумны, а то – нет... Один понимает, другой не понимает, и есть такие, что вовсе уж не хотят понять, на!

Спотыкаясь на словах, он рассказывал истории из своей солдатской жизни, – смысла этих историй я не мог уловить, они казались мне неинтересными, да и рассказывал он не с начала, а что на память приходило.

– Призывает того солдата полковой командир, спрашивает: «Что тебе говорил поручик?» Так он отвечает всё, как было, – солдат обязан отвечать правду. А поручик посмотрел на него, как на стену, и отвернулся, опустил голову. Да...

Повар сердится, дышит дымом и ворчит:

– Разве же я знаю, что можно говорить, чего нельзя? Тогда поручика засудили в крепость, а матушка его говорит... а, боже мой! Я же не учёный ничему...

Жарко. Всё вокруг тихонько трясётся, гудит, за железной стенкой каюты плещет водой и бухает колесо парохода, мимо иллюминатора широкой полосой течёт река, вдали видна полоска лугового берега, маячат деревья. Слух привык ко всем звукам, – кажется, что вокруг тихо, хотя на носу парохода матрос заунывно воет:

– Се-емь, се-емь...

Не хочется принимать участия ни в чём, не хочется слушать, работать, только бы сидеть где-либо в тени, где нет жирного, горячего запаха кухни, сидеть и

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.maх
смотреть полусонно, как скользит по воде эта тихонькая, уставшая жизнь.

– Читай! – сердито приказывает повар.

Его боятся даже классные официанты, да и смиренный, скупой на слова буфетчик, похожий на судака, тоже, видимо, боится Смурого.

– Эй ты, свинья! – кричит он на буфетную прислугу. – Поди сюда, вор! Азиаты.. Умбракул..

Матросы и кочегары относятся к нему почтительно, заискивающе, – он давал им вываренное бульонное мясо, расспрашивал о деревне, о семьях. Масленные и копчёные кочегары–белоруссы считались на пароходе низшими людьми, их звали одним именем – ягуты, и дразнили:

– Ягу, бягу, на берягу..

Когда Смурый слышал это, он, ощетинаясь, налившись кровью, орал кочегару:

– Ты что позволяешь смеяться над собой, лыковая харя? Бей кацапа в морду!

Как-то раз боцман, красивый и злой мужик, сказал ему:

– Ягут да хохол – одна вера!

Повар схватил его за шиворот, за пояс, поднял на воздух и начал трясти, спрашивая:

– Хочешь – расшибу?

Ссорились часто, иногда до драки, но Смурого не били, – он обладал нечеловечьей силищей, а кроме этого, с ним часто и ласково беседовала жена капитана, высокая, дородная женщина с мужским лицом и гладко, как у мальчика, остриженными волосами.

Он жестоко пил водку, но никогда не пьянел. Начиная пить с утра, выпивая бутылку в четыре приёма, и вплоть до вечера сосал пиво. Лицо у него постепенно бурело, тёмные глаза изумлённо расширялись.

Бывало, вечером, сядет он на отводе, огромный, белый, и часами сидит молча, хмуρο глядя в текучую даль. В этот час все особенно боялись его, а я – жалел.

Выходил из кухни Яков Иваныч, потный, раскалённый; стоял, почёсывая голый череп, и, махнув рукою, скрывался или говорил издали:

– Стерлядь уснула..

– Ну, в солянку..

– А если уху закажут или паровую?

– Готовь. Сожрут.

Иногда я решался подойти к нему, он тяжело передвигал глаза на меня.

– Что?

– Ничего..

– Добре..

Я всё-таки спросил его в один из таких часов:

– Зачем вы пугаете всех, ведь вы – добрый?

Против ожидания, он не рассердился.

– Это я только к тебе добрый.

Но тотчас же добавил, простодушно и задумчиво:

– А пожалуй, верно, я ко всем добрый. Только не показываю этого, нельзя это показывать людям, а то они замордуют. На доброго всякий лезет, как бы на кочку в болоте... И затопчут. Иди, принеси пива...

Выпив бутылку, стакан за стаканом, он обсосал усы и сказал:

– Будь ты, птица, побольше, то я бы многому тебя научил. Мне есть что сказать человеку, я не дурак... Ты читай книги, в них должно быть всё, что надо. Это не пустяки, книги! Хочешь пива?

– Я не люблю.

– Добре. И не пей. Пьянство – это горе. Водка – чортово дело. Будь я богатый, погнал бы я тебя учиться. Неучёный человек – бык, его хоть в ярмо, хоть на мясо, а он только хвостом мотает...

Капитанша дала ему том Гоголя, я прочитал «Страшную месть», мне это очень понравилось, но Смурый сердито крикнул:

– Ерунда, сказка! Я знаю – есть другие книги...

Отнял у меня книгу, принёс от капитанши другую и угрюмо приказал:

– читай Тараса... как его? Найди. Она говорит – хорошо... Кому – хорошо? Ей хорошо, а мне, може, и нехорошо? Волосы остригла себе, на! А что ж уши не остригла?

Когда Тарас вызвал Остапа драться, повар густо засмеялся.

– Это – так! А что ж! Ты – учён, а я – силен! Что печатают! Верблюды...

Он слушал внимательно, но часто ворчал:

– А, ерунда! Нельзя же человека разрубить с плеча до сиденья, нельзя! И на пику нельзя поднять – переломится пика! Я ж сам солдат...

Измена Андрия вызвала у него отвращение.

– Подлое чадо, а? Из-за бабы! Тьфу...

Но когда Тарас пристрелил сына, повар, спустив ноги с койки, упёрся в неё руками, согнулся и заплакал, – медленно потекли по щекам слёзы, капая на палубу; он сопел и бормотал:

– А, боже мой... боже мой...

И вдруг заорал на меня:

– Да читай же, чортова кость!

Он снова заплакал и – ещё сильнее и горше, когда Остап перед смертью крикнул: «Батько! Слышишь ли ты?»

– Всё погубло, – всхлипывал Смурый, – всё, а! Уже – конец? Эх, проклятое дело! А были люди, Тарас этот – а? Да-а, это – люди...

Взял у меня из рук книгу и внимательно рассмотрел её, окапав переплёт слезами.

– Хорошая книга! Просто – праздник!

Потом мы читали «Ивангоэ», – Смурому очень понравился Ричард Плантагенет.

– Это настоящий король! – внушительно говорил он. Мне книга показалась скучной.

Вообще мы не сходились во вкусах, – меня очень увлекала «Повесть о Томасе Ионесе» – старинный перевод «Истории Тома Джонса, найдёныша», а Смурый ворчал:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax

– Хлупость! Что мне до него, до Томася? На что он мне сдался? Должны быть иные книги...

Однажды я сказал ему, что мне известно – есть другие книги, подпольные, запрещённые; их можно читать только ночью, в подвалах.

Он вытаращил глаза, ощетинился.

– Ш-шо такое? Шо ты врешь?

– Я не вру, меня про них поп на исповеди спрашивал, а до того я сам видел, как их читают и плачут...

Повар, угрюмо глядя в лицо мне, спросил:

– Кто плачет?

– Барыня, которая слушала. А другая убежала даже со страху...

– Проснись, бредишь, – сказал Смурый, медленно прикрывая глаза, а помолчав, забормотал:

– Конечно, где-нибудь есть... что-нибудь скрытое. Не быть его – не может... Не таковы мои годы, да и характер мой тож... Ну, а однако ж...

Он мог говорить столь красноречиво целый час...

Незаметно для себя я привык читать и брал книгу с удовольствием; то, о чём рассказывали книги, приятно отличалось от жизни, – она становилась всё тяжелее.

Смурый, тоже увлекаясь чтением всё больше, часто отрывал меня от работы.

– Пешков, иди читать.

– У меня немытой посуды много.

– Максим вымоет.

Он грубо гнал старшего посудника на мою работу, тот со зла бил стаканы, а буфетчик смиренно предупреждал меня:

– Ссажу с парохода.

Однажды Максим нарочно положил в таз с грязной водой и спитым чаем несколько стаканов, а я выплеснул воду за борт, и стаканы полетели туда же.

– Это моя вина! – сказал Смурый буфетчику. – Запишите мне.

Буфетная прислуга стала смотреть на меня исподлобья, мне говорили:

– Эй ты, книгочей! Ты за что деньги получаешь?

И старались дать мне работы возможно больше, зря пачкая посуду. Я понимал, что всё это плохо кончится для меня, и не ошибся.

Под вечер с какой-то маленькой пристани к нам на пароход села краснорожая баба с девицей в жёлтом платке и розовой новой кофте. Обе они были выпивши, – баба улыбалась, кланялась всем и говорила на ó, точно дьякон:

– Простите, родные, выпила я немножко! Судили меня, оправдали, вот я на радостях и выпила...

Девушка тоже смеялась, глядя на людей мутными глазами, и толкала бабу:

– А ты иди, чумовая, иди знай...

Они поместились около рубки второго класса, против каюты, где спали Яков

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru
Иванович и Сергей. Баба скоро куда-то исчезла, а к девушке подсел Сергей, жадно
растягивая лягушечий рот.

Ночью, когда я, кончив работу, ложился спать на столе, Сергей пришёл ко мне и схватил меня за руку.

– Иди, мы тебя женим...

Он был пьян. Я попытался вырвать руку, но он ударил меня.

– Иди-и!

Подбежал Максим, тоже пьяный, и вдвоём они потащили меня по палубе к своей каюте, мимо спящих пассажиров. Но у дверей каюты стоял Смурый, в двери, держась за косяки, – Яков Иваныч, а девица колотила его по спине кулаками, пьяным голосом кричала:

– Пуститя...

Смурый выдернул меня из рук Сергея и Максима, схватил их за волосы и, стукнув головами, отшвырнул, – они оба упали.

– Азиат! – сказал он Якову, захлопнув дверь на нос ему, и загудел, толкая меня:

– Ступай прочь!

Я убежал на корму. Ночь была облачная, река – чёрная; за кормой кипели две серые дорожки, расходясь к невидимым берегам; между этих дорожек тащилась баржа. То справа, то слева являются красные пятна огня и, ничего не осветив, исчезают за неожиданным поворотом берега; после них становится ещё более темно и обидно.

Пришёл повар, сел рядом со мною, вздохнул тяжело и закурил папиросу.

– Они тебя к этой тащили? Эт, поганцы! Я же слышал, как они посягали...

– Вы отняли её у них?

– Её? – Он грубо обругал девицу и продолжал тяжёлым голосом: – Тут все гады. Пароходишко этот – хуже деревни. В деревне жил?

– Нет.

– Деревня – насквозь беда! Особенно зимой...

Бросив окурки за борт, он помолчал и заговорил снова:

– Пропадёшь ты в свином стаде, жалко мне тебя, кутёнок. И всех жалко. Иной раз не знаю, что сделал бы... даже на колени бы встал и спросил: «Что же вы делаете, сукины сыны, а? Что вы, слепые?» Верблюды...

Пароход протяжно загудел, буксир шлёпнулся в воду; в густой темноте закачался огонь фонаря, указывая, где пристань, из тьмы спускались ещё огни.

– Пьяный Бор, – ворчал повар. – И река есть – Пьяная. Был каптенармус – Пьянков... И писарь Запивохин... Пойду на берег...

Крупные камские бабы и девки таскали с берега дрова на длинных носилках. Изгибаясь под ляжками, упруго пританцовывая, пара за парой они шли к трюму кочегарни и сбрасывали полсажени поленьев в чёрную яму, звонко выкрикивая:

– Трушша!

Когда они шли с дровами, матросы хватили их за груди, за ноги, бабы визжали, плевали на мужиков; возвращаясь назад, они оборонялись от щипков и толчков ударами носилок. Я видел это десятки раз – каждый рейс: на всех пристанях, где грузили дрова, было то же самое.

Мне казалось, что я – старый, живу на этом пароходе много лет и знаю всё, что

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma... может случиться на нём завтра, через неделю, осенью, в будущем году.

Уже светало. На песчаном обрыве выше пристани обозначился мощный сосновый лес. В гору, к лесу, шли бабы, смеялись и пели, подвывая; вооружённые длинными носилками, они были похожи на солдат.

Хотелось плакать, слёзы кипели в груди, сердце точно варилось в них; это было больно.

Но плакать – стыдно, и я стал помогать матросу Бляхину мыть палубу.

Это был незаметный человек, Бляхин. Весь какой-то линючий, блёклый, он всё прятался по углам, поплёскивая оттуда маленькими глазками.

– По-настоящему прозвище мне не Бляхин, а... Потому, видишь ты, – мать у меня была распутной жизни. Сестра есть, так и сестра тоже. Такая, стало быть, назначена судьба обеим им. Судьба, братаня, всем нам – якорь. Ты б пошёл, ан – погоди...

И теперь, шаркая шваброй по палубе, он говорил мне тихонько:

– Видал, как бабов забирают! То-то вот! И сырое полено долго поджигать – загорится! Не люблю я этого, братаня, не уважаю. И родись я бабой – утопился бы в чёрном омуте, вот тебе Христос святой порукой!.. И так воли нет никому, а тут ещё – зажигают! Скопцы-то, я те скажу, не дурак народ. Про скопцов – слышал? Умный народ, очень правильно догадался: напроць все мелкие вещи, да и служи богу, чисто...

Мимо нас прошла по лужам капитанша, высоко подбирая юбки; она всегда вставала рано. Высокая, стройная, и такое простое, ясное лицо у неё... Захотелось побежать за нею и просить всей душой:

«Скажите мне что-нибудь, скажите!..»

Пароход медленно отвалил от пристани, а Бляхин сказал, крестясь:

– Поехали...

VI

В Сарапуле Максим ушёл с парохода, – ушёл молча, ни с кем не простясь, серьёзный и спокойный. За ним, усмехаясь, сошла весёлая баба, а за нею – девица, измятая, с опухшими глазами. Сергей же долго стоял на коленях перед каютой капитана, целовал филёнку двери, стучался в неё лбом и зывал:

– Простите меня, я не виноват! Это – Максимка...

Матросы, буфетная прислуга, даже некоторые пассажиры знали, что он врёт, но поощрительно советовали:

– Валяй, валяй – простит!

Капитан гнал его прочь, даже толкнул ногой, так что Сергей опрокинулся, но всё-таки простил. И Сергей тотчас же забегал по палубе, разнося подносы с посудой для чая, по-собачьи искательно заглядывая людям в глаза.

На место Максима взяли с берега вятского солдатика, костлявого, с маленькой головкой и рыжими глазами. Помощник повара тотчас послал его резать кур; солдатик зарезал пару, а остальных распустил по палубе; пассажиры начали ловить их, – три курицы перелетели за борт. Тогда солдатик сел на дрова около кухни и горько заплакал.

– Ты что, дурак? – изумлённо спросил его Смурый. – Разве солдаты плачут?

– Я – нестроевой роты, – тихонько сказал солдат. Это погубило его, через полчаса все люди на пароходе хохотали над ним; подойдут вплоть к нему, уставятся глазами прямо в лицо, спросят:

– Этот?

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
И затрясутся в судорогах обидного, нелепого смеха. Солдат сначала не видел людей, не слышал смеха; собирая слёзы с лица рукавом ситцевой старенькой рубахи, он словно прятал их в рукав. Но скоро его рыжие глазки гневно разгорелись, и он заговорил вятской сорочьей скороговоркой:

– Што вылупили шары-то на меня? Ой, да чтобы вас розорвало на кусочки...

Это ещё более развеселило публику, солдата начали тыкать пальцами, дёргать за рубаху, за фартук, играя с ним, точно с козлом, и так травили его до обеда, а пообедав, кто-то надел на ручку деревянной ложки кусок выжатого лимона и привязал за спиной солдата к тесёмкам его фартука; солдат идёт, ложка болтается сзади него, все хохочут, а он – суетится, как пойманный мышонок, не понимая, что вызывает смех.

Смурый следит за ним молча, серьёзно, лицо у повара сделалось бабьим.

Мне стало жалко солдата, я спросил повара:

– Можно сказать ему про ложку?

Он молча кивнул головой.

Когда я объяснил солдату, над чем смеются, он быстро нащупал ложку, оторвал её, бросил на пол, раздавил ногой и – вцепился в мои волосы обеими руками; мы начали драться, к великому удовольствию публики, тотчас окружившей нас.

Смурый расшвырял зрителей, рознял нас и, натрепав уши сначала мне, схватил за ухо солдата. Когда публика увидела, как этот маленький человек трясёт головой и танцует под рукою повара, она неистово заорала, засвистала, затопала ногами, раскалываясь от хохота.

– Ура, гарнизон! Дай повару головой в брюхо!

Эта дикая радость стада людей возбуждала у меня желание броситься на них и колотить по грязным башкам поленом.

Смурый выпустил солдата и, спрятав руки за спину, пошёл на публику кабаном, ошестинившись, страшно оскалив зубы.

– По местам – марш! Аз-зиаты...

Солдат снова бросился на меня, но Смурый одной рукой схватил его в охапку, снёс на отвод и начал качать воду, поливая голову солдата, повёртывая его тщедушное тело, точно куклу из тряпок.

Прибежали матросы, боцман, помощник капитана, снова собралась толпа людей; на голову выше всех стоял буфетчик, тихий и немой, как всегда.

Солдат, присев на дрова около кухни, дрожащими руками снял сапоги и начал отжимать онучи, но они были сухи, а с его жиденьких волос капала вода, – это снова рассмешило публику.

– Всё едино, – сказал солдат тонко и высоко, – убью мальчишку!

Придерживая меня за плечо, Смурый что-то говорил помощнику капитана, матросы разгоняли публику, и, когда все разошлись, повар спросил солдата:

– Что же с тобой делать?

Тот промолчал, глядя на меня дикими глазами и весь странно дергаясь.

– Смир-рно, кликуша! – сказал Смурый.

Солдат ответил:

– Дудочки, это тебе не в роте.

Я видел, что повар сконфузился, его надутые щёки дрябло опустились, он плюнул и

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyтама
пошёл прочь, уводя меня с собою; ошавевший, я шагал за ним и всё оглядывался на
солдата, а Смурый недоуменно бормотал:

– Эт, цаца какая, а? Извольте вам...

Нас догнал Сергей и почему-то шопотом сказал:

– Он зарезаться хочет!

– Где? – рявкнул Смурый и побежал.

Солдат стоял в двери каюты для прислуги, с большим ножом в руках, – этим ножом
отрубали головы курам, кололи дрова на растопку, он был тупой и выщерблен, как
пила. Перед каютой стояла публика, разглядывая маленького смешного человечка с
мокрой головой; курносое лицо его дрожало, как студень, рот устало открылся,
губы прыгали. Он мычал:

– Мучители... му-учители...

Вскочив на что-то, я смотрел через головы людей в их лица – люди улыбались,
хихикали, говорили друг другу:

– Гляди, гляди...

Когда он стал сухонькой детской ручкой заправлять в штаны выбившуюся рубаху,
благообразный мужчина рядом со мною сказал, вздохнув:

– Умирать собрался, а штаны поправляет...

Публика смеялась громче. Было ясно: никто не верит, что солдат может зарезаться,
– не верил и я, а Смурый, мельком взглянув на него, стал толкать людей своим
животом, приговаривая:

– Пошёл прочь, дурак!

Он называл дураком многих сразу, – подойдёт к целой кучке людей и кричит на них:

– По местам, дурак!

Это было тоже смешно, однако казалось верным: сегодня с утра все люди – один
большой дурак.

Разогнав публику, он подошёл к солдату, протянул руку.

– Дай сюда нож...

– Всё едино, – сказал солдат, протягивая нож острием; повар сунул нож мне и
толкнул солдата в каюту.

– ляг и спи! Ты что такое, а?

Солдат молча сел на койку.

– Он тебе есть принесет и водки, – пьешь водку?

– Немножко пью...

– Ты смотри, не трогай его – это не он посмеялся над тобой, слышишь? Я говорю –
не он...

– А зачем меня мучили? – тихонько спросил солдат.

Смурый не сразу и угрюмо отозвался:

– Ну, а я знаю?

Идя со мною в кухню, он бормотал:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Н-на... действительно, привязались к убогому! Видишь – как? То-то! Люди, брат, могут с ума свести, могут... Привяжутся, как клопы, и – шабаш! Даже куда там – клопы! Злее клопов...

Когда я принёс солдату хлеба, мяса и водки, он сидел на койке, покачивался взад и вперед и плакал тихонько всхлипывая, как баба. Поставив тарелку на столик, я сказал:

– Ешь...

– Затвори дверь.

– Темно будет.

– Затвори, а то они опять прилезут...

Я ушёл. Солдат был неприятен мне, он не возбуждал сострадания и жалости у меня. Это было неловко, – бабушка многократно поучала меня:

«Людей надо жалеть, все несчастны, всем трудно...»

– Отнёс? – спросил меня повар. – Ну, что он там?

– Плачет...

– Эт... мешок! Какой он солдат?

– Мне его жалко.

– Ну? Что такое?

– Людей – надо жалеть...

Смурый взял меня за руку, подтянул к себе и внушительно сказал:

– Насильно не пожалеешь, а врать не годится, – понял? Ты не привыкай кисели разводить, знай сам себя...

И, оттолкнув, прибавил угрюмо:

– Не место тебе здесь! На, покури...

Я был глубоко взволнован, весь измят поведением пассажиров, чувствуя нечто невыразимо оскорбительное и подавляющее в том, как они травили солдата, как радостно хохотали, когда Смурый трепал его за ухо. Как могло нравиться им всё это противное, жалкое, что тут смешило их столь радостно?

Вот они снова расселись, разлеглись под низким тентом, – пьют, жуют, играют в карты, мирно и солидно беседуя, смотрят на реку, точно это не они свистели и улюлюкали час тому назад. Все они такие же тихие, ленивые, как всегда; с утра до вечера они медленно толкуются на пароходе, как мошки или пылинки в лучах солнца. Вот десяток людей, толкаясь у сходен и крестясь, уходит с парохода на пристань, а с пристани прямо на них лезут ещё такие же люди, так же согнули спины под тяжестью котомок и сундуков, так же одеты...

Эта постоянная смена людей ничего не изменяет в жизни парохода, – новые пассажиры будут говорить о том же, о чём говорили ушедшие: о земле, о работе, о боге, о бабах, и теми же словами.

– Положено господом богом терпеть, и – терпи, человек! Ничего не поделаешь, такая наша судьба...

Эти слова скучно слушать, и они раздражают: я не терплю грязи, я не хочу терпеть злое, несправедливое, обидное отношение ко мне; я твердо знаю, чувствую, что не заслужил такого отношения. И солдат не заслужил. Может быть – он сам хочет быть смешным...

Прогнали с парохода Максима – это был серьёзный, добрый парень, а Сергея,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyuma
человека подлого, оставили. Всё это – не так. А почему эти люди, способные
затравить человека, довести его почти до безумия, всегда покорно подчиняются
сердитым окрикам матросов, безобидно выслушивают ругательства?

– Чего навалились на борт? – кричит боцман, прищурился красивые, но злые глаза. –
Пароход накренили, разойдись, черти драповые...

Черти смиренно переваливаются на другой борт, а оттуда их снова гонят, как
баранов.

– А, окаянные...

Жаркими ночами, под раскалённым за день железным тентом, – душно; пассажиры
тараканами расползаются по всей палубе, ложатся где попало; перед пристанью
матросы будят их пинками.

– Эй, чего растянулись на дороге! Пошли прочь, на места...

Они встают и сонно двигаются туда, куда их толкают.

Матросы такие же, как они, только иначе одеты, но командуют ими, как
полицейские.

Тихое, робкое и грустно-покорное заметно в людях прежде всего, и так странно,
страшно, когда сквозь эту кору покорности вдруг прорвётся жестокое,
бессмысленное и почти всегда невесёлое озорство. Мне кажется, что люди не знают,
куда их везут, им всё равно, где их высадят с парохода. Где бы они ни сошли на
берег, посидев на нём недолго, они снова придут на этот или другой пароход,
снова куда-то поедут. Все они какие-то заплутавшиеся, безродные, вся земля чужая
для них. И все они до безумия трусливы.

Однажды за полночь что-то лопнуло в машине, выстрелив, как из пушки. Палуба
сразу заволочлась белым облаком пара, он густо поднимался из машинного трюма,
курился во всех щелях; кто-то невидимый кричал оглушительно:

– Гаврило, сурик, войлок...

Я спал около машинного трюма, на столе, на котором мыл посуду, и когда проснулся
от выстрела и сотрясения, на палубе было тихо, в машине горячо шипел пар, часто
стучали молотки. Но через минуту все палубные пассажиры разногласно завывали,
заорали, и сразу стало жутко.

В белом тумане – он быстро редел – метались, сшибая друг друга с ног,
простоволосые бабы, встрёпанные мужики с круглыми рыбьими глазами, все тащили
куда-то узлы, мешки, сундуки, спотыкаясь и падая, призывая бога, Николу
Угодника, били друг друга; это было очень страшно, но в то же время интересно; я
бегал за людьми и всё смотрел – что они делают?

Первый раз я видел ночную тревогу и как-то сразу понял, что люди делали её по
ошибке: пароход шёл не замедляя движения, за правым бортом, очень близко, горели
костры косарей, ночь была светлая, высоко стояла полная луна.

А люди носились по палубе всё быстрее, выскочили классные пассажиры, кто-то
прыгнул за борт, за ним – другой, и ещё; двое мужиков и монах отбивали поленьями
скамью, привинченную к палубе; с кормы бросили в воду большую клетку с курами;
среди палубы, около лестницы на капитанский мостик, стоял на коленях мужик и,
кланяясь бежавшим мимо него, выл волком:

– Православные, грешен...

– Лодку, дьяволы! – кричал толстый барин, в одних брюках, без рубашки, и бил
себя в грудь кулаком.

Бегали матросы, хватая людей за шиворот, колотили их по головам, бросали на
палубу. Тяжело ходил Смурый, в пальто, надетом на ночное бельё, и гулким голосом
уговаривал всех:

– Да постыдитесь! Чего вы, рехнулись? Пароход же стоит, встал, ну! Вот – берег!

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyтама
Дураков, что попрыгали в воду, косари переловили, повытаскивали, вон они, –
видите две лодки?

А людей третьего класса он бил кулаками по головам, сверху вниз, и они мешками,
молча, валились на палубу.

Ещё суматоха не утихла, как на Смурого налетела дама в тальме, со столовой
ложкой в руке, и, размахивая ложкой под носом у него, закричала:

– Как ты смеешь?

Мокрый господин, удерживая её, обсасывал усы и с досадой говорил:

– Оставь его, болвана...

Смурый, разводя руками, сконфуженно мигал и спрашивал меня:

– Что такое, а? За что она меня? Здравствуйте! Да я же её в первый раз вижу!..

А какой-то мужичок, сморкаясь кровью, вскрикивал:

– Ну, люди! Ну, разбойники!..

За лето я дважды видел панику на пароходе, и оба раза она была вызвана не прямой
опасностью, а страхом перед возможностью её. Третий раз пассажиры поймали двух
воров, – один из них был одет странником, – били их почти целый час потихоньку
от матросов, а когда матросы отняли воров, публика стала ругать их:

– Вор вора кроет, известно!

– Сами вы жульё, вот и мирволите жуликам...

Жулики были забиты до бесчувствия, они не могли стоять на ногах, когда их
сдавали полиции на какой-то пристани...

И много было такого, что, горячо волнуя, не позволяло понять людей – злые они
или добрые? смиренные или озорники? И почему именно так жестоко, жадно злы, так
постыдно смиренные?

Я спрашивал об этом повара, но он, окружая лицо своё дымом папиросы, говорил
нередко с досадой:

– Эх, что тебя щекотит! Люди, ну, и люди... Один – умный, другой – дурак. Ты читай
книжки, а не бормочи. В книжках, когда они правильные, должно быть всё сказано...

Церковных (Духовных – в ред. 1960 г.) книг и житий он не любил.

– Ну, это для попов, для поповых сынов...

Мне захотелось сделать ему приятное – подарить книгу. В Казани на пристани я
купил за пятак «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», но в тот час
повар был пьян, сердит, и я не решился отдать ему подарок и сначала сам прочитал
«Предание». Оно мне очень понравилось, – всё так просто, понятно, интересно и
кратко. Я был уверен, что эта книга доставит удовольствие моему учителю.

Но, когда я поднёс ему книгу, он молча смял её ладонями в круглый ком и швырнул
за борт.

– Вот как твою книгу, дурень! – сказал он угрюмо. – Я ж тебя учу, как собаку, а
ты всё хочешь дичь жрать, а?

Топнул ногой и заорал:

– Это – какая книга? Я глупости все уж читал! Что в ней написано – правда? Ну,
говори!

– Не знаю.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Так я знаю! Когда человеку отрубить голову, он упадёт с лестницы вниз, и другие уж не полезут на сеновал – солдаты не дураки! Они бы подожгли сено и – шабаш! Понял?

– Понял.

– То-то ж! Я знаю про царя Петра – этого с ним не было! Пошёл прочь...

Я понимал, что повар прав, но книжка всё-таки нравилась мне: купив ещё раз «Предание», я прочитал его вторично и с удивлением убедился, что книжка действительно плохая. Это смутило меня, и я стал относиться к повару ещё более внимательно и доверчиво, а он почему-то всё чаще, с большей досадой говорил:

– Эх, как бы надо учить тебя! Не место тебе здесь...

Я тоже чувствовал – не место. Сергей относился ко мне отвратительно; я несколько раз замечал, что он таскает у меня со стола чайные приборы и продаёт их пассажирам потихоньку от буфетчика. Я знал, что это считается воровством, – Смурый не однажды предупреждал меня:

– Смотри, не давай официантам чайной посуды со своего стола!

Было и ещё много плохого для меня, часто мне хотелось убежать с парохода на первой же пристани, уйти в лес. Но удерживал Смурый: он относился ко мне всё мягче, – и меня страшно пленяло непрерывное движение парохода. Было неприятно, когда он останавливался у пристани, и я всё ждал – вот случится что-то, и мы поплывем из Камы в Белую, в Вятку, а то – по Волге, я увижу новые берега, города, новых людей.

Но этого не случилось – моя жизнь на пароходе оборвалась неожиданно и постыдно для меня. Вечером, когда мы ехали из Казани к Нижнему, буфетчик позвал меня к себе, я вошёл, он притворил дверь за мною и сказал Смурому, который угрюмо сидел на ковровой табуретке:

– Вот.

Смурый грубо спросил меня:

– Ты даёшь Серёжке приборы?

– Он сам берёт, когда я не вижу.

Буфетчик тихонько сказал:

– Не видит, а – знает.

Смурый ударил себя по колену кулаком, потом почесал колено, говоря:

– Постойте, успеете...

И задумался. Я смотрел на буфетчика, он – на меня, но казалось, что за очками у него нет глаз.

Он жил тихо, ходил бесшумно, говорил пониженным голосом. Иногда его выцветшая борода и пустые глаза высывались откуда-то из-за угла и тотчас исчезали. Перед сном он долго стоял в буфете на коленях у образа с неугасимой лампадой, – я видел его сквозь глазок двери, похожей на червонного туза, но мне не удалось видеть, как молится буфетчик: он просто стоял и смотрел на икону и лампаду, вздыхая, поглаживая бороду.

Помолчав, Смурый спросил:

– Серёжка давал тебе денег?

– Нет.

– Никогда?

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
– Никогда.

– Он не соврёт, – сказал Смурый буфетчику, а тот негромко ответил:

– Всё равно. Пожалуйста.

– Идём! – крикнул мне повар, подошел к моему столу и легонько щёлкнул меня пальцем в темя. – Дурак! И я – дурак! Мне надо было следить за тобой...

В Нижнем буфетчик рассчитал меня: я получил около восьми рублей – первые крупные деньги, заработанные мною.

Смурый, прощаясь со мною, угрюмо говорил:

– Н-ну, вот... Теперь гляди в оба – понимаешь? Рот разевать нельзя...

Он сунул мне в руку пёстрый бисерный кисет.

– На-ка, вот тебе! Это хорошее рукоделье, это мне крестница вышила... Ну, прощай! Читай книги – это самое лучшее!

Взял меня под мышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу пристани. Мне было жалко и его и себя; я едва не заревел, глядя, как он возвращается на пароход, расталкивая крючников, большой, тяжёлый, одинокий...

Сколько потом встретил я подобных ему добрых, одиноких, отломившихся от жизни людей!..

VII

Дед и бабушка снова переехали в город. Я пришёл к ним, настроенный сердито и воинственно, на сердце было тяжело, – за что меня сочли вором?

Бабушка встретила меня ласково и тотчас ушла ставить самовар; дед насмешливо, как всегда, спросил:

– Много ли золота накопил?

– Сколько есть – всё моё, – ответил я, садясь у окна. Торжественно вынул из кармана коробку папирос и важно закурил.

– Та-ак, – сказал дед, пристально всматриваясь в мои действия, – вот оно что. Чортово зелье куришь? Не рано ли?

– Мне вот даже кисет подарили, – похвастал я.

– Кисет! – завизжал дедушка. – Ты что, дразнишь меня?

Он бросился ко мне, вытянув тонкие, крепкие руки, сверкая зелёными глазами; я вскочил, ткнул ему головой в живот, – старик сел на пол и несколько тяжёлых секунд смотрел на меня, изумлённо мигая, открыв тёмный рот, потом спросил спокойно:

– Это ты меня толкнул, деда? Матери твоей родного отца?

– Довольно уж вы меня били, – пробормотал я, поняв, что сделал отвратительно.

Сухонький и лёгкий, дед встал с пола, сел рядом со мною, ловко вырвал папиросу у меня, бросил её за окно и сказал испуганным голосом:

– Дикая башка, понимаешь ли ты, что это тебе никогда богом не простится, во всю твою жизнь? Мать, – обратился он к бабушке, – ты гляди-ка, он меня ударил ведь? Он! Ударил. Спроси-ка его!

Она не стала спрашивать, а просто подошла ко мне и схватила за волосы, начала трепать, приговаривая.

– А за это – вот как его, вот как...

Было не больно, но нестерпимо обидно, и особенно обижал ехидный смех деда, – он подпрыгивал на стуле, хлопая себя ладонями по коленям, и каркал сквозь смех:

– Та-ак, та-ак...

Я вырвался, выскочил в сени, лёг там в углу, подавленный, опустошённый, слушая, как гудит самовар.

Подошла бабушка, наклонилась надо мной и чуть слышно шепнула:

– Ты меня прости, ведь я не больно потрепала тебя, я ведь нарочно! Иначе нельзя, – дедушка-то старик, его надо уважить, у него тоже косточки наломаны, ведь он тоже горя хлебнул полным сердцем, – обижать его не надо. Ты не маленький, ты поймешь это... Надо понимать, Олёша! Он – тот же ребёнок, не боле того...

Слова её омывали меня, точно горячей водой, от этого дружеского шопота становилось и стыдно и легко, я крепко обнял её, мы поцеловались.

– Иди к нему, иди, ничего! Только не кури при нём сразу-то, дай привыкнуть...

Я вошёл в комнату, взглянул на деда и едва удержался от смеха – он действительно был доволен, как ребёнок, весь сиял, сучил ногами и колотил лапками в рыжей шерсти по столу.

– Что, козёл? Опять бодаться пришёл? Ах ты, разбойник! Весь в отца! Фармазон, вошёл в дом – не перекрестился, сейчас табак курить, ах ты, Бонапарт, цена-копейка!

Я молчал. Он истёк словами и тоже замолчал устало, но за чаем начал поучать меня:

– Страх перед богом человеку нужен, как узда коню. Нет у нас друга, кроме господ! Человек человеку – лютей враг!

Что люди – враги, в этом я чувствовал какую-то правду, а всё остальное не трогало меня.

– Теперь опять иди к тётке Матрёне, а весной – на пароход. Зиму-то проживи у них. А не сказывай, что весной уйдёшь от них...

– Ну, зачем же обманывать людей? – сказала бабушка, только что обманув деда притворной трёпкой, данной мне.

– Без обмана не проживёшь, – настаивал дед, – ну-ка скажи – кто живёт без обмана?

Вечером, когда дед сел читать псалтырь, я с бабушкой вышел за ворота, в поле; маленькая, в два окна, хибарка, в которой жил дед, стояла на окраине города, «на задах» Канатной улицы, где когда-то у деда был свой дом.

– Вот куда заехали! – посмеиваясь, говорила бабушка. – Не может старик места по душе себе найти, всё переезжает. И здесь нехорошо ему, а мне – хорошо!

Перед нами раскинулось версты на три скудное дёрновое поле, изрезанное оврагами, ограниченное гребнем леса, линией берёз казанского тракта. Из оврагов высунулись розгами ветки кустарника, лучи холодного заката окрасили их кровью. Тихий вечерний ветер качал серые былинки; за ближним оврагом – тоже, как былинки, – маячили тёмные фигуры мещанских парней и девиц. Вдали, направо, стояла красная стена старообрядческого кладбища, его звали «Бугровский скит», налево, над оврагом, поднималась с поля тёмная группа деревьев, там – еврейское кладбище. Всё вокруг бедно, всё безмолвно прижималось к израненной земле. Маленькие домики окраины города робко смотрели окнами на пыльную дорогу, по дороге бродят мелкие, плохо кормленные куры. У Девичьего монастыря идёт стадо, мычат коровы; из лагеря доносится военная музыка – ревут и ухают медные трубы.

Идёт пьяный, жестоко растягивая гармонику, спотыкается и бормочет:

– Я дойду до тебя... обязательно...

– Дурачок, – щурясь на красное солнце, говорит бабушка, – куда тебе пойти? Упадешь скоро, уснешь, а во сне тебя оберут... И гармония, утеха твоя, пропадет...

Я рассказываю ей, как жил на пароходе, и смотрю вокруг. После того, что я видел, здесь мне грустно, я чувствую себя ершом на сковороде. Бабушка слушает молча и внимательно, так же, как я люблю слушать её, и, когда я рассказал о Смуром, она, истово перекрестясь, говорит:

– Хороший человек, помоги ему богородица, хороший! Ты, гляди, не забывай про него! Ты всегда хорошее крепко помни, а что плохо – просто забывай...

Мне очень трудно было рассказать ей, почему меня рассчитали, но, скрепя сердце, я рассказал. Это не произвело на неё никакого впечатления, она только заметила равнодушно:

– Мал ты ещё, не умеешь жить...

– Вот все говорят друг другу: не умеешь жить, – мужики, матросы, тётка Матрёна – сыну, а что надо уметь?

Поджав губы, она покачала головой.

– Уж этого я не знаю!

– А тоже говоришь!

– Отчего не сказать? – спокойно молвила бабушка. – Ты не обижайся, ты еще маленький, тебе и не должно уметь. Да и кто умеет? Одни жулики. Вон дедушка-то и умён и грамотен, а тоже ничего не сумел...

– Ты сама-то хорошо жила?..

– я? Хорошо. И плохо жила – всяко...

Мимо нас не спеша проходили люди, влача за собою длинные тени, дымом вставала пыль из-под ног, хороня эти тени. Вечерняя грусть становилась всё тяжелей, из окон изливался ворчливый голос деда:

– «Господи, да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажеш мене...»

Бабушка сказала, улыбаясь:

– Надоел же он богу-то, поди! Каждый вечер скулит, а о чём? Ведь уж старенький, ничего не надо, а всё жалуется, всё топорщится... Бог-от, чай, прислушается к вечерним голосам да и усмехнётся: опять Василий Каширин бубнит!.. Пойдём-ка спать...

Я решил заняться ловлей певчих птиц; мне казалось, что это хорошо прокормит: я буду ловить, а бабушка – продавать. Купил сеть, круг, западни, наделал клеток, и вот, на рассвете, я сижу в овраге, в кустах, а бабушка с корзиной и мешком ходит по лесу, собирая последние грибы, калину, орехи.

Только что поднялось усталое сентябрьское солнце; его белые лучи то гаснут в облаках, то серебряным веером падают в овраг ко мне. На дне оврага ещё сумрачно, оттуда поднимается белёсый туман; крутой глинистый бок оврага тёмн и гол, а другая сторона, более пологая, прикрыта жухлой травой, густым кустарником в жёлтых, рыжих и красных листьях; свежий ветер срывает их и мечет по оврагу.

На дне, в репьях, кричат щеглята, я вижу в серых отрепьях бурьяна алые чепчики на бойких головках птиц. Вокруг меня щёлкают любопытные синицы; смешно надувая белые щеки, они шумят и суетятся, точно молодые кунавинские мещанки в праздник; быстрые, умненькие, злые, они хотят всё знать, всё потрогать – и попадают в западню одна за другою. Жалко видеть, как они бьются, но моё дело торговое, суровое; я пересаживаю птиц в запасные клетки и прячу в мешок, – во тьме они сидят смиренно.

На куст боярышника опустилась стая чижей, куст облит солнцем, чижи рады солнцу и

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.maх
щебечут ещё веселей; по ухваткам они похожи на мальчишек-школьников. Жадный, домовитый сорокопут запоздал улететь в тёплые края, сидит на гибкой ветке шиповника, чистит носом перья крыла и зорко высматривает добычу чёрными глазами. Вспорхнул вверх жаворонком, поймал шмеля, заботливо насадил его на шип и снова сидит, вращая серой, вороватой головкой. Бесшумно пролетела вещая птица шур, предмет жадных мечтаний моих, – вот бы поймать! Снегирь, отбившийся от стаи, сидит на ольхе, красный, важный, как генерал, и сердито поскрипывает, качая чёрным носом.

Чем выше солнце, тем больше птиц и веселее их щебет. Весь овраг наполняется музыкой, её основной тон – непрерывный шелест кустарника под ветром; задорные голоса птиц не могут заглушить этот тихий, сладко-грустный шум, – я слышу в нём прощальную песнь лета, он нашёптывает мне какие-то особенные слова, они сами собою складываются в песню. А в то же время память, помимо воли моей, восстанавливает картины прожитого.

Откуда-то сверху кричит бабушка:

– Ты – где?

Она сидит на краю оврага, разостлала платок, разложила на нём хлеб, огурцы, репу, яблоки; среди всей этой благостыни стоит, блестя на солнце, маленький, очень красивый гранёный графин, с хрустальной пробкой – головой Наполеона, в графине – шкалик водки, настоящей на зверобое.

– Хорошо-то как, господи! ~ благодарно говорит бабушка.

– А я песню сложил!

– Да ну?

Я говорю ей что-то, похожее на стихи:

Всё ближе зима, всё заметнее,
Прощай, моё солнышко летнее!..
Но она, не дослушав меня, перебивает:

– Такая песня – есть, только она – лучше! И нараспев говорит:

Ой, уходит солнце летнее
В тёмные ночи, за далёкие леса!
Эх, осталася я, девушка,
Без весенней моей радости, одна..
Выйду ль утром за околицу,
Вспомню майские гулянки мои, –
Поле чистое нерадостно глядит, –
Потеряла я в нём молодость свою.
Ой, подруженьки, любезные мои!
Уж как выпадет да первый лёгкий снег, –
Выньте сердце из белой моей груди,
Схороните моё сердце во снегу!..
Мое авторское самолюбие нимало не страдает, мне очень нравится песня и очень жалко девушку.

А бабушка говорит:

– Вот как горе поется! Это, видишь, девица сложила: погуляла она с весны-то, а к зиме мил любовник бросил её, может, к другой отошёл, и заплакала она от сердечной обиды.. Чего сам не испытаешь – про то хорошо-верно не скажешь, а она, видишь, как хорошо составила песню!

Когда она впервые продала птиц на сорок копеек, это очень удивило её.

– Гляди-ка ты! Я думала ~ пустое дело, мальчишья забава, а оно вон как обернулось!

– Дёшево ещё продала...

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– Да ну?

В базарные дни она продавала на рубль и более, и всё удивлялась: как много можно заработать пустяками!

– А женщина целый день стирает бельё или полы моет по четвертаку в день, вот и пойми! А ведь нехорошо это! И птиц держать в клетках нехорошо. Брось-ка ты это, Олёша!

Но я очень увлекся птицеводством, оно мне нравилось и, оставляя меня независимым, не причиняло неудобств никому, кроме птиц. Я обзавёлся хорошими снастями; беседы со старыми птицеловами многому научили меня, – я один ходил ловить птиц почти за тридцать вёрст, в Кстовский лес, на берег Волги, где, в мачтовом сосняке, водились клесты и ценимые любителями синицы-аполлоновки – длиннохвостые белые птички редкой красоты.

Бывало – выйдешь с вечера и всю ночь шлёпаешь по казанскому тракту, иногда – под осенним дождём, по глубокой грязи. За спиной обшитый клеёнкой мешок, в нём садки и клетки с приманочной птицей. В руке солидная ореховая палка. Холодно и боязно в осенней тьме, очень боязно!.. Стоят по сторонам дороги старые, битые громом берёзы, простирая над головой моей мокрые сучья; слева, под горой, над чёрной Волгой, плывут, точно в бездонную пропасть уходя, редкие огоньки на мачтах последних пароходов и барж, бухают колёса по воде, гудят свистки.

С чугунной земли встают избы придорожных деревень, подкатываются под ноги сердитые, голодные собаки, сторож бьёт в било и пугливо кричит:

– Кто идёт? Кого черти носят – не к ночи будь сказано?

Я очень боялся, что у меня отнимут снасти, и брал с собой для сторожей пятаки. В деревне Фокиной сторож подружился со мной и всё ахал:

– Опять идёшь? Ах ты, бесстрашный, непокойный житель ночной, а?

Звали его Нифонт, был он маленький, седенький, похожий на святого, часто он доставал из-за пазухи репу, яблоко, горсть гороху и совал мне в руки, говоря:

– На-ка, друг, я те гостинцу припас, покушай в сладость.

И провожал меня до околицы.

– Айда, с богом!

В лес я приходил к рассвету, налаживал снасти, развешивал манков, ложился на опушке леса и ждал, когда придёт день. Тихо. Всё вокруг застыло в крепком осеннем сне; сквозь сероватую мглу чуть видны под горою широкие луга; они разрезаны Волгой, перекинулись через неё и расплылись, растаяли в туманах. Далеко, за лесами луговой стороны, восходит, не торопясь, посветлевшее солнце, на чёрных гривах лесов вспыхивают огни, и начинается странное, трогающее душу движение: всё быстрее встаёт туман с лугов и серебрится в солнечном луче, а за ним поднимаются с земли кусты, деревья, стога сена, луга точно тают под солнцем и текут во все стороны, рыжевато-золотые. Вот солнце коснулось тихой воды у берега, – кажется, что вся река подвинулась, подалась туда, где окунулось солнце. Восходя всё выше, оно, радостное, благословляет, греет оголённую, озябшую землю, а земля кадит сладкими запахами осени. Прозрачный воздух показывает землю огромной, бесконечно расширяя её. Всё плывет вдоль и манит дойти до синих краёв земли. Я видел восход солнца в этом месте десятки раз и всегда предо мною рождался новый мир, по-новому красивый...

Я как-то особенно люблю солнце, мне нравится самое имя его, сладкие звуки имени, звон, скрытый в них; люблю, закрыв глаза, подставить лицо горячему лучу, поймать его на ладонь руки, когда он проходит мечом сквозь щель забора или между ветвей. Дедушка очень почитает «князь Михаила Черниговского и боярина Фёдора, не поклонившихся солнцу», – эти люди кажутся мне чёрными, как цыгане, угрюмыми, злыми, и у них всегда большие глаза, как у бедной мордвы. Когда солнце поднимется над лугами, я невольно улыбаюсь от радости.

Надо мною звенит хвойный лес, отряхая с зелёных лап капли росы; в тени, под

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
деревьями, на узорных листьях папоротника сверкает серебряной парчой иней утренняя заморозка. Порыжевшая трава примята дождями, склонённые к земле стебли неподвижны, но когда на них падает светлый луч – заметен лёгкий трепет в травах, быть может, последнее усилие жизни.

Проснулись птицы; серые москочки пуховыми шариками падают с ветки на ветку, огненные клесты крошат кривыми носами шишки на вершинах сосен, на конце сосновой лапы качается белая аполлоновка, взмахивая длинными рулевыми перьями, чёрный бисерный глазок недоверчиво косится на сеть, растянутую мной. И как-то вдруг слышишь, что уже весь лес, за минуту важно задумчивый, налил сотнями птичьих голосов, наполнен хлопотами живых существ, чистейших на земле, – по образу их человек, отец красоты земной, создал в утешение себе эльфов, херувимов, серафимов и весь ангельский чин.

Мне немножко жалко ловить пичужек, совестно сажать их в клетки, мне больше нравится смотреть на них, но охотничья страсть и желание заработать денег побеждают сожаление.

Птицы смешат меня своими хитростями: лазоревая синица внимательно и подробно осмотрела западню, поняла, чем она грозит ей, и, зайдя сбоку, безопасно, ловко таскает семя сквозь палочки западни. Синицы очень умны, но они слишком любопытны, и это губит их. Важные снегири – глуповаты: они идут в сеть целой стаей, как сытые мещане в церковь; когда их накроешь, они очень удивлены, выкатывают глаза и щиплют пальцы толстыми клювами. Клест идёт в западню спокойно и солидно; поползень, неведомая, ни на кого не похожая птица, долго сидит перед сетью, поводя длинным носом, опираясь на толстый хвост; он бежит по стволам деревьев, как дятел, всегда сопровождая синиц. В этой дымчатой пичужке есть что-то жуткое, она кажется одинокой, никто её не любит, и она никого. Он, как сорока, любит воровать и прятать мелкие блестящие вещи.

К полудню я кончаю ловлю, иду домой лесом и полями, – если идти большой дорогой, через деревни, мальчишки и парни отнимут клетки, порвут и поломают снасть, – это уж было испытано мною.

Я прихожу к вечеру усталый, голодный, но мне кажется, что за день я вырос, узнал что-то новое, стал сильнее. Эта новая сила даёт мне возможность слушать злые насмешки деда спокойно и беззлобно; видя это, дед начинал говорить толково, серьёзно:

– Бросай пустые-то дела, брось! Через птиц никто в люди не выходил, не было такого случая, я знаю! Избери-ка ты себе место и расти на нём свой разум. Человек не для пустяков живёт, он – богово зерно, он должен дать колос зёрен добрых! Человек – вроде рубля: перевернулся в хорошем обороте – три целковых стало! Думаешь, легко жить-то? Нет, очень не легко! Мир человеку – темная ночь, каждый сам себе светить должен. Всем дано по десятку пальцев, а всякий хочет больше взять своими-то руками. Надо явить силу, а нет силы – хитрость; кто мал да слаб, тот – ни в рай, ни в ад! Живи будто со всеми, а помни, что – один; всякого слушай, никому не верь; на глаз поверишь, криво отмеришь. Помалкивай, – дома да города строят не языком, а рублём да топором. Ты не башкирец, не калмык, у коих всё богатство – вши да овцы...

Он мог говорить этими словами целый вечер, и я знал их на память. Слова нравились мне, но к смыслу их я относился недоверчиво. Из его слов было ясно, что человеку мешают жить, как он хочет, две силы: бог и люди.

Сидя у окна, бабушка сучила нитки для кружев; жужжало веретено в её ловких руках, она долго слушала дедову речь молча и вдруг говорила:

– Всё будет так, как мать божия улыбнётся.

– Чего это? – кричал дед. – Бог! Я про бога не забыл, я бога знаю! Дура старая, что – бог-то дураков на землю посеял, что ли?

..Мне казалось, что лучше всех живут на земле казаки и солдаты; жизнь у них – простая, весёлая. В хорошую погоду они рано утром являлись против нашего дома, за оврагом, усеяв голое поле, точно белые грибы, и начинали сложную, интересную игру: ловкие, сильные, в белых рубахах, они весело бегали по полю с ружьями в руках, исчезали в овраге и вдруг, по зову трубы, снова высыпавшись на поле, с

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
криками «ура», под зловещий бой барабанов, бежали прямо на наш дом, оцетинившись
штыками, и казалось, что сейчас они скovyрнут с земли, размечут наш дом, как
стог сена.

Я тоже кричал «ура» и самозабвенно бежал с ними; злая трель барабана вызывала у
меня кипучее желание разрушить что-нибудь, изломать забор, бить мальчишек.

Во время отдыха солдаты угощали меня махоркой, показывали тяжёлые ружья, иногда
тот или другой, направив штык в живот мне, кричал нарочито свирепо:

– Коли таракана!

Штык блестел, казалось, что он живой, извивается, как змея, и хочет ужалить, –
это было немножко боязно, но больше приятно.

Мордвин-барабанщик учил меня колотить палками по коже барабана; сначала он брал
кисти моих рук и, вымотав их до боли, совал мне палки в намятые пальца.

– Стучи – рас-дува, рас-дува! Трам-та-та-там! Стучи ему – левы – тиха, правы –
шибка, трам-та-та-там! – грозно кричал он, расширяя птичьи глаза.

Я бегал по полю с солдатами вплоть до конца учения и потом провожал их через
весь город до казарм, слушая громкие песни, разглядывая добрые лица, всё такие
новенькие, точно пяточки, только что отчеканенные.

Плотная масса одинаковых людей весело текла по улице единою силою, возбуждавшей
чувство приязни к ней, желание погрузиться в неё, как в реку, войти, как в лес.
Эти люди ничего не боятся, на всё смотрят смело, всё могут победить, они
достигнут всего, чего захотят, а главное – все они простые, добрые.

Но однажды, во время отдыха, молодой унтер дал мне толстую папиросу.

– Покури! Она у меня – этакая, никому бы не дал, да уж больно ты – парень хорош!

Я закурил. Он отодвинулся на шаг, и вдруг красное пламя ослепило меня, обожгло
мне пальцы, нос, брови; серый солёный дым заставил чихать и кашлять; слепой,
испуганный, я топтался на месте, а солдаты, окружив меня плотным кольцом,
хохотали громко и весело. Я пошёл домой, – свист и смех катились за мной, что-то
щёлкнуло, точно кнут пастуха. Болели обожжённые пальцы, саднило лицо, из глаз
текли слёзы, но меня угнетала не боль, а тяжёлое, тупое удивление: зачем это
сделано со мной? Почему это забавляет добрых парней?

Дома я залез на чердак и долго сидел там, вспоминая всё необъяснимо жестокое,
что так обильно встречалось на пути моём. Особенно ярко и живо вспомнился мне
маленький солдатик из Сарапула, – стоит предо мной и, словно живой, спрашивает:

– Что? Понял?

Вскоре мне пришлось пережить ещё нечто более тяжёлое и поразительное.

Я стал бегать в казармы казаков, – они стояли около Печёрской слободы. Казаки
казались иными, чем солдаты, не потому, что они ловко ездили на лошадях и были
красивее одеты, – они иначе говорили, пели другие песни и прекрасно плясали.
Бывало, по вечерам, вычистив лошадей, они соберутся в кружок около конюшен, и
маленький рыжий казак, встряхнув вихрами, высоким голосом запоёт, как медная
труба; тихонько, напряжённо вытягиваясь, заведёт печальную песню про тихий Дон,
синий Дунай. Глаза у него закрыты, как закрывает их зорьянка-птица, которая часто
поёт до того, что падает с ветки на землю мёртвой, ворот рубахи казака
расстёгнут, видны ключицы, точно медные удила, и весь этот человек – литой,
медный. Качаясь на тонких ногах, точно земля под ним волнуется, разводя руками,
слепой и звонкий, он как бы перестал быть человеком, стал трубою горниста,
свирелью пастуха. Иногда мне казалось, что он опрокинется, упадёт спиной на
землю и умрёт, как зорьянка, – потому что истратил на песню всю свою душу, всю её
силу.

Спрятав руки в карманы и за широкие спины, вокруг него венком стоят товарищи,
строго смотрят на его медное лицо, следят за рукою, тихо плавающей в воздухе, и
поют важно, спокойно, как в церкви на клиросе. Все они – бородатые и безбородые

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– были в эту минуту похожи на иконы: такие же грозные и отдалённые от людей. Песня длинна, как большая дорога, она такая же ровная, широкая и мудрая; когда слушаешь её, то забываешь – день на земле или ночь, мальчишка я или уже старик, забываешь всё! Замрут голоса певцов, – слышно, как вздыхают кони, тоскуя по приволью степей, как тихо и неустраимо двигается с поля осенняя ночь; а сердце растёт и хочет разорваться от полноты каких-то необычных чувств и от великой, немой любви к людям, к земле.

Маленький, медный казак казался мне не человеком, а чем-то более значительным – сказочным существом, лучше и выше всех людей. Я не мог говорить с ним. Когда он спрашивал меня о чём-нибудь, я счастливо улыбался и молчал смущённо. Я готов был ходить за ним молча и покорно, как собака, только бы чаще видеть его, слышать, как он поёт.

Однажды я видел, как он, стоя в углу конюшни, подняв к лицу руку, рассматривает надетое на пальце гладкое серебряное кольцо; его красивые губы шевелились, маленькие рыжие усы вздрагивали, лицо было грустное, обиженное.

Но как-то раз, тёмным вечером, я пришёл с клетками в трактир на Старой Сенной площади, трактирщик был страстный любитель певчих птиц и часто покупал их у меня.

Казак сидел около стойки, в углу, между печью и стеной; с ним была дородная женщина, почти вдвое больше его телом, её круглое лицо лоснилось, как сафьян, она смотрела на него ласковыми глазами матери, немножко тревожно; он был пьян, шаркал вытянутыми ногами по полу и, должно быть, больно задевал ноги женщины, – она, вздрагивая, морщилась, просила его тихонько:

– Не дурите...

Казак с великим усилием поднимал брови, но они вяло снова опускались. Ему было жарко, он расстегнул мундир и рубаху, обнажив шею. Женщина, спустив платок с головы на плечи, положила на стол крепкие белые руки, сцепив пальцы докрасна. Чем больше я смотрел на них, тем более он казался мне провинившимся сыном доброй матери; она что-то говорила ему ласково и укоризненно, а он молчал смущённо, – нечем было ответить на заслуженные упреки.

Вдруг он встал, словно уколотый, неверно – низко на лоб – надел фуражку, пришлёпнул её ладонью и, не застегиваясь, пошёл к двери; женщина тоже поднялась, сказав трактирщику:

– Мы сейчас воротимся, Кузьмич...

Люди проводили их смехом, шутками. Кто-то сказал густо и сурово:

– Вернётся лоцман, – он ей задаст!

Я ушёл вслед за ними; они опередили меня шагов на десять, двигаясь во тьме, наискось площади, целиком по грязи, к откосу, высокому берегу Волги. Мне было видно, как шатается женщина, поддерживая казака, я слышал, как чавкает грязь под их ногами; женщина негромко, умоляюще спрашивала:

– Куда же вы? Ну, куда же?

Я пошёл за ними по грязи, хотя это была не моя дорога. Когда они дошли до панели откоса, казак остановился, отошёл от женщины на шаг и вдруг ударил её в лицо; она вскрикнула с удивлением и испугом:

– Ой, да за что же это?

Я тоже испугался; подбежал вплоть к ним, а казак схватил женщину поперёк тела, перебросил её через перила под гору, прыгнул за нею, и оба они покатались вниз, по траве откоса, чёрной кучей. Я обомлел, замер, слушая, как там, внизу, трещит, рвётся платье, рычит казак, а низкий голос женщины бормочет, прерываясь:

– Я закричу... закричу...

Она громко, болезненно охнула, и стало тихо. Я нащупал камень, пустил его вниз,
Страница 193

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– зашуршала трава. На площади хлопала стеклянная дверь кабака, кто-то ухнул, должно быть, упал, и снова тишина, готовая каждую секунду испугать чем-то.

Под горою появился большой белый ком; всхлипывая и сопя, он тихо, неровно поднимается кверху, – я различаю женщину. Она идёт на четвереньках, как овца, мне видно, что она по пояс голая, висят её большие груди, и кажется, что у неё три лица. Вот она добралась до перил, села на них почти рядом со мною, дышит, точно запаленная лошадь, оправляя сбитые волосы; на белизне её тела ясно видны тёмные пятна грязи; она плачет, стирает слёзы со щёк движениями умывающейся кошки, видит меня и тихонько восклицает:

– Господи – кто это? Уйди, бесстыдник!

Я не могу уйти, окаменев от изумления и горького, тоскливого чувства, – мне вспоминаются слова бабушкиной сестры:

«Баба – сила, Ева самого бога обманула...»

Женщина встала и, прикрыв грудь обрывками платья, обнажив ноги, быстро пошла прочь, а из-под горы поднялся казак, замахал в воздухе белыми тряпками, тихонько свистнул, прислушался и заговорил весёлым голосом:

– Дарья! Что? Казак всегда возьмёт что надо... ты думала – пьяный? Не-е, это я тебе показался... Дарья!

Он стоит твердо, голос его звучит трезво и насмешливо. Нагнувшись, он вытер тряпками свои сапоги и заговорил снова:

– Эй, возьми кофту... Дашк! Да не ломайся...

И казак громко произнёс позорное женщине слово.

Я сижу на куче щебня, слушаю этот голос, одинокий в ночной тишине и такой подавляюще властный.

Перед глазами пляшут огни фонарей на площади; справа, в чёрной куче деревьев, возвышается белый институт благородных девиц. Лениво нанизывая грязные слова одно на другое, казак идёт на площадь, помахивая белым тряпьем, и наконец исчезает, как дурной сон.

Внизу, под откосом, на водокачке пытит паротводная трубка, по съезду катится пролётка извозчика, вокруг – ни души. Отравленный, я иду вдоль откоса, сжимая в руке холодный камень, – я не успел бросить его в казака. Около церкви Георгия Победоносца меня остановил ночной сторож, сердито расспрашивая – кто я, что несусь за спиной в мешке.

Я подробно рассказал ему о казаке – он начал хохотать, покрикивая:

– Ловко-о! Казаки, брат, дотошный народ, они не нам чета! А бабёнка-то сука...

Он подавился смехом, а я пошёл дальше, не понимая – над чем же он смеётся?

И думал в ужасе: а что, если бы такое случилось с моей матерью, с бабушкой?

VIII

Когда выпал снег, дед снова отвёл меня к сестре бабушки.

– Это не худо для тебя, не худо, – говорил он мне.

Мне казалось, что за лето я прожил страшно много, постарел и поумнел, а у хозяев в это время скука стала гуще. Всё так же часто они хворают, расстраивая себе желудки обильной едой, так же подробно рассказывают друг другу о ходе болезней, старуха так же страшно и злобно молится богу. Молодая хозяйка после родов похудела, умалилась в пространстве, но двигается столь же важно и медленно, как беременная. Когда она шьёт детям бельё, то тихонько поёт всегда одну песню:

Спиря, Спиря, Спиридон, –
Спиря, братик мой родной;

Сама сяду в саночки,
Спирю – на запяточки...

Если войти в комнату, она тотчас перестаёт петь и сердито кричит:

– Чего тебе?

Я уверен, что она не знала ни одной песни, кроме этой.

Вечером хозяева зовут меня в комнату и приказывают:

– Ну-ка, расскажи, как ты жил на пароходе!

Я сажусь на стул около двери уборной и говорю; мне приятно вспоминать о другой жизни в этой, куда меня сунули против моей воли. Я увлекаюсь, забываю о слушателях, но – ненадолго; женщины никогда не ездили на пароходе и спрашивают меня:

– А всё-таки поди-ка боязно?

Я не понимаю – чего бояться?

– А вдруг он свернёт на глубокое место да и потонет!

Хозяин хохочет, а я – хотя и знаю, что пароходы не тонут на глубоких местах, – не могу убедить в этом женщин. Старуха уверена, что пароход не плавает по воде, а идёт, упираясь колёсами в дно реки, как телега по земле.

– Коли он железный, как же он плывёт? Небось топор не плавает...

– А ковш ведь не тонет в воде?

– Сравнил! Ковш – маленький, пустой...

Когда я говорю о Смуром и его книгах, они смотрят на меня подозрительно; старуха говорит, что книги сочиняют дураки и еретики.

– А псалтирь? А царь Давид?

– Псалтирь – священное писание, да и то царь Давид прощенья просил у бога за псалтирь.

– Где это сказано?

– На ладони у меня, – я те вот хвачу по затылку, и узнаешь – где!

Она всё знает, обо всём говорит уверенно и всегда – дико.

– На Печорке татарин помер, так душа у него горлом излилась, чёрная, как дёготь!

– Душа – дух, – говорю я, но она презрительно кричит:

– У татарина-то? Дурак!

Молодая хозяйка тоже боится книг.

– Это очень вредно книжки читать, а особенно – в молодых годах, – говорит она. – У нас на Гребешке одна девица хорошего семейства читала-читала, да – в дьякона и влюбилась. Так дьяконова жена так срамила её – ужас даже! На улице, при людях...

Иногда я употреблял слова из книг Смурого; в одной из них, без начала и конца, было сказано: «Собственно говоря, никто не изобрел пороха; как всегда, он явился в конце длинного ряда мелких наблюдений и открытий».

Не знаю почему, но мне очень запомнилась эта фраза, особенно же полюбилось сочетание двух слов: «собственно говоря»; я чувствовал в них силу, – много они принесли горя мне, смешного горя. Есть такое.

Однажды, на предложение хозяев рассказать им ещё что-нибудь о пароходе, я

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru ответил:

– Мне уж нечего рассказывать, собственно говоря...

Это их изумило, они закаркали:

– Как? Как ты сказал?

И все четверо начали дружно хохотать, повторяя:

– Собственно говоря, а – ба-аюшки!

Даже хозяин сказал мне:

– Плохо ты выдумал, чудак!

С той поры они долго звали меня:

– Эй, собственно говоря! Иди-ка подотри пол за ребенком, собственно говоря...

Это бестолковое издевательство не обижало, но очень удивляло меня.

Я жил в тумане отупляющей тоски и, чтобы побороть её, старался как можно больше работать. Недостатка в работе не ощущалось, – в доме было двое младенцев, няньки не угождали хозяевам, их постоянно меняли; я должен был возиться с младенцами, каждый день мыл пелёнки и каждую неделю ходил на Жандармский ключ полоскать бельё, – там меня осмеивали прачки.

– Ты что за бабье дело взялся?

Иногда они доводили меня до того, что я шлёпал их жгутами мокрого белья, они щедро платили мне тем же, но с ними было весело, интересно.

Жандармский ключ бежал по дну глубокого оврага, спускаясь к Оке, овраг отрезал от города поле, названное именем древнего бога – Ярило. На этом поле, по семякам, городское мещанство устраивало гулянье; бабушка говорила мне, что в годы её молодости народ ещё веровал Яриле и приносил ему жертву: брали колесо, обвёртывали его смолёной паклей и, пустив под гору, с криками, с песнями, следили – докатится ли огненное колесо до Оки. Если докатится, бог Ярило принял жертву: лето будет солнечное и счастливое.

Прачки были, в большинстве, с Ярила, всё бойкие, зубастые бабы; они знали всю жизнь города, и было очень интересно слушать их рассказы о купцах, чиновниках, офицерах, на которых они работали. Полоскать бельё зимою, в ледяной воде ручья – каторжное дело; у всех женщин руки до того мёрзли, что трескалась кожа. Согнувшись над ручьём, запертым в деревянную колоду, под стареньким, щелявым навесом, который не защищал от снега и ветра, бабы полоскали бельё; лица их налиты кровью, нащипаны морозом; мороз жжёт мокрые пальцы, они не гнутся, из глаз текут слёзы, а женщины неумно гуторят, передавая друг другу разные истории, относясь ко всем и ко всему с какой-то особенной храбростью.

Лучше всех рассказывала Наталья Козловская, женщина лет за тридцать, свежая, крепкая, с насмешливыми глазами, с каким-то особенно гибким и острым языком. Она пользовалась вниманием всех подруг, с нею советовались о разных делах и уважали её за ловкость в работе, за аккуратную одежду, за то, что она отдала дочь учиться в гимназию. Когда она, сгибаясь под тяжестью двух корзин с мокрым бельём, спускалась с горы по скользкой тропе, её встречали весело, заботливо спрашивали:

– Как дочка-то?

– Ничего, спасибо, учится, слава богу!

– Гляди – барыней будет?

– А того ради и учу. Откуда баре, холёные хари? Все из нас, из черноты земной, а откуда ещё-то? Чем больше науки, тем длинней руки, больше возьмут; а кем больше взято, у того дело и свято... Бог посылает нас сюда глупыми детьми, а назад

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
требует умными стариками, значит – надо учиться!

Когда она говорила, все молчали, внимательно слушая складную, уверенную речь. Её хвалили в глаза и за глаза, удивлялись её выносливости, разуму, но – никто не подражал ей. Она обшила себе рукава кофты рыжей кожей от голенища сапога, – это позволяло ей не обнажать рук по локти, не мочить рукава. Все говорили, что она хорошо придумала, но никто не сделал этого себе, а когда сделал я – меня осмеяли:

– Эх ты, у бабы разуму учишься?

Про дочь её говорили:

– Эко важное дело! Ну, одной барыней больше будет, легко ли? Да, может, ещё и не доучится, помрёт...

– Тоже ведь и учёные не сладко живут: вон у Бахилова дочь-то училась-училась, да и сама в учительши пошла, ну, а коли учительша, значит – вековуша...

– Конечно! Замуж-то и без грамоты возьмут, было бы за что взять...

– Бабий ум не в голове...

Было странно и неловко слушать, что они сами о себе говорят столь бесстыдно. Я знал, как говорят о женщинах матросы, солдаты, землекопы, я видел, что мужчины всегда хвастаются друг перед другом своей ловкостью в обманах женщин, выносливостью в сношениях с ними; я чувствовал, что они относятся к «бабам» враждебно, но почти всегда за рассказами мужчин о своих победах, вместе с хвастовством, звучало что-то, позволявшее мне думать, что в этих рассказах хвастовства и выдумки больше, чем правды.

Прачки не рассказывали друг другу о своих любовных приключениях, но во всём, что говорилось ими о мужиках, я слышал чувство насмешливое, злое и думал, что, пожалуй, это правда: баба – сила!

– Как ни кружись, с кем ни дружись, а к бабе придёшь, не минуешь, – сказала однажды Наталья, и какая-то старуха простуженным голосом крикнула ей:

– А куда кроме? От бога и то к нам уходят, монахи-те, отшельники-те...

Эти разговоры под плачущий плеск воды, шлёпанье мокрых тряпок, на дне оврага, в грязной щели, которую даже зимний снег не мог прикрыть своим чистым покровом, эти бесстыдные, злые беседы о тайном, о том, откуда все племена и народы, вызывали у меня пугливое отвращение, отталкивая мысль и чувство в сторону от «романов», назойливо окружавших меня; с понятием о «романе» у меня прочно связалось представление о грязной, распутной истории.

Но всё-таки в овраге, среди прачек, в кухнях у денщиков, в подвале у рабочих-землекопов было несравнимо интереснее, чем дома, где застывшее однообразие речей, понятий, событий вызывало только тяжкую и злую скуку. Хозяева жили в заколдованном кругу еды, болезней, сна, суетливых приготовлений к еде, ко сну; они говорили о грехах, о смерти, очень боялись её, они толклись, как зёрна вокруг жернова, всегда ожидая, что вот он раздавит их.

В свободные часы я уходил в сарай колоть дрова, желая побыть наедине с самим собою, но это редко удавалось, – приходили денщики и рассказывали о жизни на дворе.

Чаще других ко мне являлись в сарай Ермохин и Сидоров. Первый – длинный, сутулый калужанин, весь свитый из толстых и крепких жил, малоголовый, с мутными глазами. Он был ленив, досадно глуп, двигался медленно, неловко, а когда видел женщину, то мычал и наклонялся вперед, точно хотел упасть в ноги ей. Все на дворе удивлялись быстроте его побед над кухарками, горничными, завидовали ему, боялись его медвежьей силы. Сидоров, тощий и костлявый туляк, был всегда печален, говорил тихонько, кашлял осторожно, глаза его пугливо горели, он очень любил смотреть в тёмные углы; рассказывает ли что-нибудь вполголоса, или сидит молча, но всегда смотрит в тот угол, где темнее.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– Ты что смотришь?

– А может, мыша выбежит... Люблю мышей, такие, катаются, тихонькие...

Я писал денщикам письма в деревни, записки возлюбленным, мне это нравилось; но было приятнее, чем для других, писать письма для Сидорова, – он аккуратно каждую субботу посылал письма сестре в Тулу.

Пригласив меня к себе в кухню, он садился за стол рядом со мною, крепко растирал ладонями стриженую голову и шептал в ухо мне:

– Ну, валяй! Сначала – как надо: любезнейшая моя сестрица, здравствуй на много лет – как надо! Теперь пиши: рубль я получил, только этого не надо и благодарю. Мне ничего не надо, мы живём хорошо, – мы живём вовсе не хорошо, а как собаки, ну, ты про то не пиши, а пиши – хорошо! Она – маленькая, ей четырнадцать лет всего – зачем ей знать? Теперь пиши сам, как тебя учили...

Он наваливался на меня с левого бока, горячо и пахуче дышал в ухо мне и шептал настойчиво:

– Чтоб она не давала парням обниматься с нею и трогать её за груди и никак!
Пиши: если кто говорит ласково, ты ему не верь, это он хочет обмануть вас, испортить...

От усилий сдержать кашель серое лицо его наливалось кровью, он надувал щёки, на глазах выступали слёзы, он ёрзал по стулу и толкал меня.

– Ты мешаешь!

– Ничего, пиши!.. Господам не верь больше всего, они обманут девушку в один раз. Он знает свои слова и всё может сказать, а как ты ему поверила, то – тебя в публичный дом. А если накопишь рубль, так отдай попу, он и сохранит, когда хороший человек. А лучше зарывай в землю, чтоб никто не видел, и помни – где.

Было очень грустно слушать этот шопот, заглушаемый визгом жестяного вертуна форточки. Я оглядываюсь на закопчённое чело печи, на шкаф с посудой, засиженный мухами, – кухня невероятно грязна, обильна клопами, горько пропахла жареным маслом, керосином, дымом. На печи, в лучине, шуршат тараканы, уныние вливается в душу, почти до слёз жалко солдата, его сестру. Разве можно, разве хорошо жить так?

Я пишу что-то, уже не слушая шопот Сидорова, пишу о том, как скучно и обидно жить, а он, вздыхая, говорит мне:

– Много пишешь, спасибо! Теперь она будет знать, чего надо бояться...

– Ничего не надо бояться, – сердито говорю я, хотя сам боюсь многого.

Солдат смеётся прикашливая:

– Чудачок! Как же не бояться? А – господа, а – бог? Да мало ли!

Получив письмо от сестры, он беспокойно просил:

– Читай, пожалуйста, скорее...

И заставлял меня прочитывать написанное каракулями, обидно краткое и пустое письмо по три раза.

Был он добрый, мягкий, но к женщинам относился так же, как все, – по-собачьи грубо и просто. Вольно и невольно наблюдая эти отношения, часто с поразительной и поганой быстротой развивающиеся на моих глазах с начала до конца, я видел, как Сидоров возбуждал у бабы доброе чувство жалобами на свою солдатскую жизнь, как он опьяняет её ласковой ложью, а после всего, рассказывая Ермохину о своей победе, брезгливо морщится и плюёт, точно принял горького лекарства. Это меня било по сердцу, я сердито спрашивал солдата – зачем все они обманывают баб, лгут им, а потом, издеваясь над женщиной, передают её один другому и часто – бьют?

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
Он только тихонько усмехался и говорил:

– Тебе не надо интересоваться этими делами, это всё плохо, это – грех! Ты – маленький, тебе рано...

Но однажды я добился ответа более определённого и очень памятного мне.

– Думаешь – она не знает, что я её обманываю? – сказал он, подмигнув и кашляя. – Она – зна-ет! Она сама хочет, чтобы обманули. Все врут в этом деле, это уж такое дело, стыдно всем, никто никого не любит, а просто – баловство! Это больно стыдно, вот, погоди, сам узнаешь! Нужно, чтоб было ночью, а днём – в темноте, в чулане, да! За это бог из рая прогнал, из-за этого все несчастливы...

Он говорил так хорошо, так грустно, покаянно, что это немного примирило меня с его романами; я относился к нему более дружественно, чем к Ермохину, которого ненавидел и всячески старался высмеять, раздражить – это мне удавалось, и частенько он бегал за мной по двору с недобрыми намерениями, которые только по неловкости редко удавались ему.

– Это – запрещено, – говорил Сидоров.

Что запрещено – я знал, но что от этого люди несчастны – не верилось. И видел, что несчастны, а не верил потому, что нередко наблюдал необычное выражение в глазах влюбленных людей, чувствовал особенную доброту любящих; видеть этот праздник сердца всегда было приятно.

Но всё-таки жизнь, помню, казалась мне всё более скучной, жёсткой, неизбежно установленной навсегда в тех формах и отношениях, как я видел её изо дня в день. Не думалось о возможности чего-либо лучшего, чем то, что есть, что неустранимо является перед глазами каждый день.

Но однажды солдаты рассказали мне историю, сильно взволновавшую меня.

В одной из квартир жил закройщик лучшего портного в городе, тихий, скромный, нерусский человек. У него была маленькая, бездетная жена, которая день и ночь читала книги. На шумном дворе, в домах, тесно набитых пьяными людьми, эти двое жили невидимо и безмолвно, гостей не принимали, сами никуда не ходили, только по праздникам в театр.

Муж с утра до позднего вечера был на службе, жена, похожая на девочку-подростка, раза два в неделю днём выходила в библиотеку. Я часто видел, как она, покачиваясь, словно прихрамывая, мелкими шагами идёт по дамбе, с книгами в ремнях, словно гимназистка, простенькая, приятная, новая, чистая, в перчатках на маленьких руках. Лицо у неё птичье, с быстрыми глазками, вся она красивенькая, как фарфоровая фигурка на подзеркальнике. Солдаты говорили, что у неё не хватает ребра в правом боку, оттого она и качается так странно на ходу, но мне это казалось приятным и сразу отличало её от других дам на дворе – офицерских жён; эти, несмотря на их громкие голоса, пёстрые наряды и высокие турнюры, были какие-то подержанные, точно они долго и забыто лежали в тёмном чулане, среди разных ненужных вещей.

Маленькая закройщица считалась во дворе полоумной, говорили, что она потеряла разум в книгах, дошла до того, что не может заниматься хозяйством, её муж сам ходит на базар за провизией, сам заказывает обед и ужин кухарке, огромной, нерусской бабе, угрюмой, с одним красным глазом, всегда мокрым, и узенькой розовой щелью вместо другого. Сама же барыня – говорили о ней – не умеет отличить буженину от телятины и однажды позорно купила вместо петрушки – хрен! Вы подумайте, какой ужас!

Все трое, они были чужими в доме, как будто случайно попали в одну из клеток этого большого садка для кур, напоминая синиц, которые, спасаясь от мороза, влетают через форточку в душное и грязное жилище людей.

И вдруг денщики рассказали мне, что господа офицеры затеяли с маленькой закройщицей обидную и злую игру: они почти ежедневно, то один, то другой, передают ей записки, в которых пишут о любви к ней, о своих страданиях, о её красоте. Она отвечает им, просит оставить её в покое, сожалеет, что причина горю, просит бога, чтобы он помог им разлюбить её. Получив такую записку,

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
офицеры читают её все вместе, смеются над женщиной и вместе же составляют письмо к ней от лица кого-либо одного.

Рассказывая мне эту историю, денщики тоже смеялись, ругали закройщицу.

– Дура несчастная, кривуля, – говорил Ермохин басом, а Сидоров тихонько поддерживал его:

– Всякая баба хочет, чтоб её обманули. Она всё знает...

Не поверил я, что закройщица знает, как смеются над нею, и тотчас решил сказать ей об этом. Выследив, когда её кухарка пошла в погреб, я вбежал по чёрной лестнице в квартиру маленькой женщины, сунулся в кухню – там было пусто, вошёл в комнаты – закройщица сидела у стола, в одной руке у неё тяжёлая золочёная чашка, в другой – раскрытая книга; она испугалась, прижала книгу к груди и стала негромко кричать:

– Кто это? Августа! Кто ты?

Я начал быстро и сбивчиво говорить ей, ожидая, что она бросит в меня книгой или чашкой. Она сидела в большом малиновом кресле, одетая в голубой капот с бахромою по подолу, с кружевами на вороте и рукавах, по её плечам рассыпались русые волнистые волосы. Она была похожа на ангела с царских дверей. Прижимаясь к спинке кресла, она смотрела на меня круглыми глазами, сначала сердито, потом удивлённо, с улыбкой.

Когда я сказал всё, что хотел, и, потеряв храбрость, обернулся к двери, она крикнула мне:

– Постой!

Ткнула чашку на поднос, бросила книгу на стол и, сложив ладшки, заговорила густым голосом взрослого человека:

– Какой ты странный мальчик... Подойди поближе! Я подвинулся очень осторожно, она взяла мою руку и, глядя её маленькими холодными пальцами, спросила:

– Тебя никто не научил сказать мне это, нет? Ну, хорошо, я вижу, верю – ты сам придумал...

Выпустив мою руку, она закрыла глаза и тихонько, протяжно сказала:

– Так об этом говорят грязные солдаты!

– Вы бы съехали с квартиры-то, – солидно посоветовал я.

– Зачем?

– Одолеют они вас.

Она приятно засмеялась, потом спросила:

– Ты учился? Книжки читать любишь?

– Некогда мне читать.

– Если бы любил, нашлось бы время. Ну – спасибо!

Она протянула мне шепотью сложенные пальцы и в них серебряную монету, – было стыдно взять эту холодную вещь, но я не посмел отказаться от неё и, уходя, положил её на столбик перил лестницы.

Я унёс от этой женщины впечатление глубокое, новое для меня; предо мною точно заря занялась, и несколько дней я жил в радости, вспоминая просторную комнату и в ней закройщицу в голубом, похожую на ангела. Вокруг всё было незнакомо красиво, пышный золотистый ковёр лежал под её ногами, сквозь серебряные стёкла окон смотрел, греясь около неё, зимний день.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Мне захотелось взглянуть на неё ещё раз, – что будет, если я пойду, попрошу у
неё книжку?

Я сделал это и снова увидел её на том же месте, также с книгой в руках, но щека у неё была подвязана каким-то рыжим платком, глаз запух. Давая мне книгу в чёрном переплёте, закройщица невнятно промычала что-то. Я ушёл с грустью, унося книгу, от которой пахло креозотом и анисовыми каплями. Книгу я спрятал на чердак, завернув её в чистую рубашку и бумагу, боясь, чтобы хозяева не отняли, не испортили её.

Они, получая «Ниву» ради выкоек и премий, не читали её, но, посмотрев картинки, складывали на шкаф в спальне, а в конце года переплетали и прятали под кровать, где уже лежали три тома «Живописного обозрения». Когда я мыл пол в спальне, под эти книги подтекала грязная вода. Хозяин выписывал газету «Русский курьер» и вечерами, читая её, ругался:

– Чорт их поймёт, зачем они пишут всё это! Скучища же...

В субботу, развешивая на чердаке бельё, я вспомнил о книге, достал её, развернул и прочитал начальную строку: «Дома – как люди: каждый имеет свою физиономию». Это удивило меня своей правдой, – я стал читать дальше, стоя у слухового окна, и читал, пока не озяб, а вечером, когда хозяева ушли ко всеобщей, снёс книгу в кухню и утонул в желтоватых, изношенных страницах, подобных осенним листьям; они легко вводили меня в иную жизнь, к новым именам и отношениям, показывая мне добрых героев, мрачных злодеев, непохожих на людей, приглядевшихся мне. Это был роман Ксавье де Монтепэна, длинный, как все его романы, обильный людьми и событиями, изображавший незнакомую, стремительную жизнь. Всё в романе этом было удивительно просто и ясно, как будто некий свет, скрытый между строк, освещал доброе и злое, помогая любить и ненавидеть, заставляя напряжённо следить за судьбами людей, спутанных в тесный рой. Сразу возникло настойчивое желание помочь этому, помешать тому, забывалось, что вся эта неожиданно открывшаяся жизнь насквозь бумажная; всё забывалось в колебаниях борьбы, поглощалось чувством радости на одной странице, чувством огорчения на другой.

Я зачитался до того, что, когда услышал звонок колокольчика на парадном крыльце, не сразу понял, кто это звонит и зачем.

Свеча почти догорела, подсвечник, только что утром вычищенный мною, был залит салом; светильня лампадки, за которую я должен был следить, выскользнула из держальца и погасла. Я заметался по кухне, стараясь скрыть следы моих преступлений, сунул книгу в подпечек и начал оправлять лампадку. Из комнат выскочила нянька.

– Оглох? Звонят!

Я бросился отпирать двери.

– Дрых? – сурово спросил хозяин; жена его, тяжело поднимаясь по лестнице, жаловалась, что я её простудил, старуха ругалась. В кухне она сразу увидела сожжённую свечу и начала допрашивать меня – что я делал.

Я молчал, точно свалившись откуда-то с высоты, весь разбитый, в страхе, что она найдёт книгу, а она кричала, что я сожгу дом. Пришёл хозяин с женой ужинать, старуха пожаловалась им:

– Вот, глядите, всю свечу сжёг и дом сожгёт...

Ужиная, они все четверо пилили меня своими языками, вспоминая вольные и невольные проступки мои, угрожая мне погибелью, но я уже знал, что всё это они говорят не со зла и не из добрых чувств, а только от скуки. И было странно видеть, какие они пустые и смешные по сравнению с людьми из книги.

Вот они кончили есть, отяжелели, устало разошлись спать; старуха, потревожив бога сердитыми жалобами, забралась на печь и примолкла. Тогда я встал, вынул книгу из подпечка, подошёл к окну; ночь была светлая, луна смотрела прямо в окно, но мелкий шрифт не давался зрению. А читать хотелось мучительно. Взяв с полки медную кастрюлю, я отразил её свет луны на книгу – стало ещё хуже, темнее. Тогда я забрался на лавку, в угол, к образам, начал читать стоя, при свете

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
лампады, и, утомлённый, заснул, опустился на лавку, а проснулся от крика и толчков старухи. Держа книгу в руках, она больно стучала ею по плечам моим, красная со зла, яростно вскидывая рыжей головою, босая, в одной рубахе. С полатей выл Виктор:

– Мамаша, да не орите вы! Жить нельзя...

«Пропала книга, изорвут», – думал я.

За утренним чаем меня судили. Хозяин строго спрашивал:

– Где ты взял книгу?

Женщины кричали, перебивая друг друга, Виктор подозрительно нюхал страницы и говорил:

– Духами пахнет, ей-богу...

Узнав, что книга принадлежит священнику, они все ещё раз осмотрели её, удивляясь и негодуя, что священник читает романы, но всё-таки это несколько успокоило их, хотя хозяин ещё долго внушал мне, что читать – вредно и опасно.

– Вон они, читатели-то, железную дорогу взорвали, хотели убить...

Хозяйка сердито и пугливо крикнула мужу:

– Ты с ума сошёл. Что ты ему говоришь?

Я отнёс Монтепэна солдату, рассказал ему, в чём дело, – Сидоров взял книгу, молча открыл маленький сундучок, вынул чистое полотенце и, завернув в него роман, спрятал в сундук, сказав мне:

– Не слушайся их – приходи ко мне и читай, я никому не скажу! А если придёшь – нет меня, ключ висит за образом, отопри сундук и читай...

Отношение хозяев к книге сразу подняло её в моих глазах на высоту важной и страшной тайны. То, что какие-то «читатели» взорвали где-то железную дорогу, желая кого-то убить, не заинтересовало меня, но я вспомнил вопрос священника на исповеди, чтение гимназиста в подвале, слова Смурого о «правильных книгах» и вспомнил дедовы рассказы о чернокнижниках-фармазонах:

«А при Благословенном государе Александре Павлыче дворянишки, совратясь к чернокнижии и фармазонству, затеяли предать весь российский народ римскому папе, езуиты! Тут Аракчеев-генерал изловил их на деле да, невзирая на чины-звания, – всех в Сибирь в каторгу, там они и исхизли, подобно тле...»

Вспоминался «умбракул, распещрённый звёздами», «Гервасий» и торжественные, насмешливые слова: «Профаны, любопытствующие знать наши дела! Никогда слабые ваши очи не узрят оных!»

Я чувствовал себя у порога каких-то великих тайн и жил, как помешанный. Хотелось дочитать книгу, было боязно, что она пропадёт у солдата или он как-нибудь испортит её. Что я скажу тогда закройщице?

А старуха, зорко следя, чтобы я не бегал к денщику, грызла меня:

– Книжник! Книжки-то вон распутству учат, вон она, книгодея, до чего дошла, – на базар сама сходить не может, только с офицерами путается, днём принимает их, я зна-аю!

Мне хотелось закричать:

«Это неправда! Она не путается...»

Но я боялся защищать закройщицу – вдруг старуха догадается, что книга-то её?

Несколько дней мне жилось отчаянно плохо; мною овладела рассеянность, тревожная тоска, я не мог спать, в страхе за судьбу Монтепэна, и вот однажды кухарка

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
закройщицы, остановив меня на дворе, сказала:

– Принеси книгу!

Я выбрал время после обеда, когда хозяева улеглись отдыхать, и явился к закройщице сконфуженный, подавленный.

Она встретила меня такая же, какую я её встретил в первый раз, только одета иначе: в серой юбке, чёрной бархатной кофте, с бирюзовым крестом на открытой шее. Она была похожа на самку снегиря.

Когда я сказал ей, что не успел прочитать книгу и что мне запрещают читать, у меня от обиды и от радости видеть эту женщину глаза налились слезами.

– Ф-фу, какие глупые люди! – сказала она, сдвинув тонкие брови. – А ещё у твоего хозяина такое интересное лицо. Ты погоди огорчаться, я подумаю. Я напишу ему!

Это меня испугало, я объявил ей, что солгал хозяевам, сказал, что книга взята не у неё, а у священника.

– Не надо, не пишите! – просил я её. – Они будут смеяться над вами, ругать вас. Вас ведь никто не любит во дворе, все осмеивают, говорят, что вы дуручка и у вас не хватает ребра...

Выпалив всё это, я тотчас понял, что сказал лишнее и обидное для неё, – она закусила верхнюю губу и хлопнула себя по бедру, как будто сидела верхом на лошади. Я смущённо опустил голову, желая провалиться сквозь землю, но закройщица навалилась на стул и весело захохотала, повторяя:

– Ой, как глупо... как глупо! Но что же делать? – спросила она сама себя, пристально разглядывая меня, а потом, вздохнув, сказала: – Ты – очень странный мальчик, очень...

Взглянув в зеркало рядом с ней, я увидел скуластое, широконосое лицо, с большим синяком на лбу, давно не стриженные волосы торчали во все стороны вихрами, – вот это и называется «очень странный мальчик»?.. Не похож странный мальчик на фарфоровую тонкую фигурку...

– Ты не взял тогда денежку, которую я дала. Почему?

– Мне не надо.

Она вздохнула.

– Ну, что ж делать! Если тебе позволят читать, приходи, я тебе дам книги...

На подзеркальнике лежали три книги; та, которую я принёс, была самая толстая. Я смотрел на неё с грустью. Закройщица протянула мне маленькую розовую руку.

– Ну, прощай!

Я осторожно дотронулся до её руки и быстро ушёл.

А пожалуй, верно говорят про неё, что она ничего не знает, – вот, двугривенный назвала денежкой, точно ребёнок.

Но это мне нравилось...

IX

И грустно и смешно вспоминать, сколько тяжёлых унижений, обид и тревог принесла мне быстро вспыхнувшая страсть к чтению!

Книги закройщицы казались страшно дорогими, и, боясь, что старая хозяйка сожжёт их в печи, я старался не думать об этих книгах, а стал брать маленькие разноцветные книжки в лавке, где по утрам покупал хлеб к чаю.

Лавочник был очень неприятный парень – толстогубый, потный, с белым дряблым лицом, в золотушных шрамах и пятнах, с белыми глазами и коротенькими, неловкими

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.maх пальцами на пухлых руках. Его лавка являлась местом вечерних собраний для подростков и легкомысленных девиц улицы; брат моего хозяина тоже почти каждый вечер ходил к нему пить пиво и играть в карты. Меня часто посылали звать его к ужину, и я не однажды видел в тесной, маленькой комнатке за лавкою придурковатую румяную жену лавочника сидевшей на коленях Викторушки или другого парня. Это, видимо, не обижало лавочника; не обижался он и тогда, когда его сестру, которая помогала ему торговать в лавке, крепко обнимали певчие, солдаты и все, кому это нравилось. Товару в лавочке было немного, он объяснял это тем, что дело у него новое, – он не успел наладить его, хотя лавка была открыта ещё осенью. Он показывал гостям и покупателям грязные картинки, давал – желающим – списывать бесстыдные стихи.

Я читал пустые книжонки Миши Евстигнеева, платя по копейке за прочтение каждой; это было дорого, а книжки не доставляли мне никакого удовольствия. «Гуак, или Непреоборимая верность», «Франциль Венециан», «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга» и вся литература этого рода тоже не удовлетворяла меня, часто возбуждая злую досаду: казалось, что книжка издевается надо мною, как над дурачком, рассказывая тяжёлыми словами невероятные вещи.

«Стрельцы», «Юрий Милославский», «Таинственный монах», «Япанча, татарский наездник» и подобные книги нравились мне больше – от них что-то оставалось; но ещё более меня увлекали жития святых – здесь было что-то серьёзное, чему верилось и что порою глубоко волновало. Все великомученики почему-то напоминали мне Хорошее дело, великомученицы – бабушку, а преподобные – деда, в его хорошие часы.

Читал я в сарае, уходя колоть дрова, или на чердаке, что было одинаково неудобно, холодно. Иногда, если книга интересовала меня или надо было прочитать её скорее, я вставал ночью и зажигал свечу, но старая хозяйка, заметив, что свечи по ночам умяляются, стала измерять их лучинкой и куда-то прятала мерки. Если утром в свече не доставало вершка или если я, найдя лучинку, не обламывал её на сгоревший кусок свечи, в кухне начинался яростный крик, и однажды Викторушка возмущённо провозгласил с полатей:

– Да перестаньте же лаяться, мамаша! Жить нельзя! Конечно, он жгёт свечи, потому что книжки читает, у лавочника берёт, я знаю! Поглядите-ка у него на чердаке...

Старуха сбегала на чердак, нашла какую-то книжку и разодрала её в клочья.

Это, разумеется, огорчило меня, но желание читать ещё более окрепло. Я понимал, что, если в этот дом придет святой, – мои хозяева начнут его учить, станут переделывать на свой лад; они будут делать это от скуки. Если они перестанут судить людей, кричать, издеваться над ними – они разучатся говорить, онемеют, им не видно будет самих себя. Для того чтобы человек чувствовал себя, необходимо, чтобы он как-то относился к людям. Мои хозяева не умели относиться к ближним иначе, как учительно, с осуждением, и если бы начать жить так же, как они, – так же думать, чувствовать, – всё равно – они осуждали бы и за это. Уж такие люди.

Я всячески исхитрялся читать, старуха несколько раз уничтожала книги, и вдруг я оказался в долгу у лавочника на огромную сумму в сорок семь копеек! Он требовал денег и грозил, что станет отбирать у меня за долг хозяйские, когда я приду в лавку за покупками.

– Что тогда будет? – спрашивал он меня, издеваясь.

Был он нестерпимо противен мне и, видимо, чувствуя это, мучил меня разными угрозами, с наслаждением особенным: когда я входил в лавку, его пятнистое лицо расплывалось, и он спрашивал ласково:

– Долг принёс?

– Нет.

Это его пугало, он хмурился.

– Как же? Что же мне – к мировому подавать на тебя, а? Чтобы тебя описали да – в колонию?

Мне негде было взять денег – жалованье моё платили деду, я терялся, не зная – как быть? А лавочник, в ответ на мою просьбу подождать с уплатою долга, протянул ко мне масленую, пухлую, как оладья, руку и сказал:

– Поцелуй – подожду!

Но когда я схватил с прилавка гирю и замахнулся на него, он, приседая, крикнул:

– Что, что ты, что ты – я шучу!

Понимая, что он не шутит, я решил украсть деньги, чтобы разделаться с ним. По утрам, когда я чистил платье хозяина, в карманах его брюк звенели монеты, иногда они выскакивали из кармана и катились по полу, однажды какая-то провалилась в щель под лестницу, в дровяник; я позабыл сказать об этом и вспомнил лишь через несколько дней, найдя двугривенный в дровах. Когда я отдал его хозяину, жена сказала ему:

– Вот видишь? Надо считать деньги, когда оставляешь в карманах.

Но хозяин сказал, улыбаясь мне:

– Он не украдет, я знаю!

Теперь, решив украсть, я вспомнил эти слова, его доверчивую улыбку и почувствовал, как мне трудно будет украсть. Несколько раз я вынимал из кармана серебро, считал его и не мог решиться взять. Дня три я мучился с этим, и вдруг всё разрешилось очень быстро и просто; хозяин неожиданно спросил меня:

– Ты что, Пешкóв, скучный стал, нездоровится, что ли?

Я откровенно рассказал ему все мои печали; он нахмурился.

– Вот видишь, к чему они ведут, книжки-то? От них – так или эдак – непременно беда...

Дал полтинник и посоветовал строго:

– Смотри же, не проболтайся жене али матери – шум будет!

Потом, добродушно усмехаясь, сказал:

– Настойчив ты, чорт тебя возьми! Ничего, это хорошо. Однако – книжки брось! С Нового года я выпишу хорошую газету, вот тогда и читай...

И вот, вечерами, от чая до ужина, я читаю хозяевам вслух «Московский листок» – романы Вашкова, Рокшанина, Рудниковского и прочую литературу для пищеварения людей, насмерть убиенных скукой.

Мне не нравится читать вслух, это мешает мне понимать читаемое; но мои хозяева слушают внимательно, с некоторою как бы благоговейною жадностью, ахают, изумляясь злодейству героев, и с гордостью говорят друг другу:

– А мы-то живём – тихо, смирно, ничего не знаем, слава те, господи!

Они путают события, приписывают поступки знаменитого разбойника Чуркина ямщику Фоме Кручине, путают имена; я поправляю ошибки слушателей, – это очень изумляет их.

– Ну, и память же у него!

Нередко в «Московском листке» встречаются стихи Леонида Граве, мне они очень нравятся, я списываю некоторые из них в тетрадку, но хозяева говорят о поэте:

– Старик ведь, а стихи сочиняет.

– Пьяница, полоумный, ему всё равно.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
Нравятся мне стихи Стружкина, графа Меммото-Мори, а женщины, и старая и молодая, утверждают, что стихи – балаганство.

– Это только петрушки да актёры стихами говорят.

Тяжёлые были мне эти зимние вечера на глазах хозяев, в маленькой, тесной комнате. Мёртвая ночь за окном; изредка потрескивает мороз, люди сидят у стола и молчат, как мороженые рыбы. А то – вьюга шаркает по стёклам и по стене, гудит в трубах, стучит вьюшками; в детской плачут младенцы, – хочется сесть в тёмный угол и, съёжившись, выть волком.

В одном конце стола сидят женщины, шьют или вяжут чулки; за другим – Викторушка, выгнув спину, копирует, нехотя, чертежи и время от времени кричит:

– Да не трясите стол! Жить нельзя, гвозди-козыри, собаки на мышах...

В стороне, за огромными пядьцами, сидит хозяин, вышивая крестиками по холстине скатерть; из-под его пальцев появляются красные раки, синие рыбы, жёлтые бабочки и рыжие осенние листья. Он сам составил рисунок вышивки и третью зиму сидит над этой работой, – она очень надоела ему, и часто, днём, когда я свободен, он говорит мне:

– Ну-ко, Пешков, садись за скатерть, действуй!

Я сажусь и действую толстой иглой, – мне жалко хозяина и всегда, во всём хочется посылить помочь ему. Мне всё кажется, что однажды он бросит чертить, вышивать, играть в карты и начнёт делать что-то другое, интересное, о чём он часто думает, вдруг бросая работу и глядя на неё неподвижно удивлёнными глазами, как на что-то незнакомое ему; волосы его спустились на лоб и щёки, он похож на послушника в монастыре.

– Ты о чём думаешь? – спрашивает его жена.

– Так, – отвечает он, принимаясь за работу.

Я молча удивляюсь: разве можно спрашивать, о чём человек думает? И нельзя ответить на этот вопрос, – всегда думается сразу о многом: обо всём, что есть перед глазами, о том, что видели они вчера и год тому назад; всё это спутано, неуловимо, всё движется, изменяется.

Фельетонов «Московского листка» не хватало на вечер, я предложил читать журналы, лежавшие в спальне под кроватью, молодая хозяйка недоверчиво сказала:

– Чего же там читать? Там только картинки...

Но под кроватью, кроме «Живописного обозрения», оказался ещё «Огонёк», и вот мы читаем Салиаса «Граф Тятин-Балтийский». Хозяину очень нравится придурковатый герой повести, он безжалостно и до слёз хохочет над печальными приключениями барчука и кричит:

– Нет, это забавная штука!

– Враньё поди-ка, – говорит хозяйка, ради оказания самостоятельности своего ума.

Литература из-под кровати сослужила мне великую службу: я завоевал право брать журналы в кухню и получил возможность читать ночами.

На моё счастье, старуха перешла спать в детскую, – запоем запила нянька. Викторушка не мешал мне. Когда все в доме засыпали, он тихонько одевался и до утра исчезал куда-то. Огня мне не давали, унося свечку в комнаты, денег на покупку свеч у меня не было; тогда я стал тихонько собирать сало с подсвечников, складывал его в жестянку из-под сардин, подливал туда лампадного масла и, скрутив светильню из ниток, зажигал по ночам на печи дымный огонь.

Когда я перевёртывал страницу огромного тома, красный язычок светильни трепетно колебался, грозя погаснуть, светильня ежеминутно тонула в растопленной пахучей жидкости, дым ел глаза, но все эти неудобства исчезали в наслаждении, с которым я рассматривал иллюстрации и читал объяснения к ним.

Эти иллюстрации раздвигали предо мною землю всё шире и шире, украшая её сказочными городами, показывая мне высокие горы, красивые берега морей. Жизнь чудесно разрасталась, земля становилась заманчивее, богаче людьми, обильнее городами и всячески разнообразнее. Теперь, глядя в заволжские дали, я уже знал, что там нет пустоты, а прежде, бывало, смотришь за Волгу, становится как-то особенно скучно: плоско лежат луга, в тёмных заплатах кустарника, на конце лугов зубчатая чёрная стена леса, над лугами – мутная, холодная синева. Пусто на земле, одиноко. И сердце тоже пустеет, тихая грусть щекочет его, все желания исчезают, думать – не о чём, хочется закрыть глаза. Ничего не обещает унылая пустота, высасывая из сердца всё, что там есть.

Объяснения к иллюстрациям понятно рассказывали про иные страны, иных людей, говорили о разных событиях в прошлом и настоящем; я многого не могу понять, и это меня мучит. Иногда в мозг вонзаются какие-то странные слова – «метафизика», «хилиазм», «чартист», – они нестерпимо беспокоят меня, растут чудовищно, всё заслоняют, и мне кажется, что я никогда не пойму ничего, если мне не удастся открыть смысл этих слов, – именно они стоят сторожами на пороге всех тайн. Часто целые фразы долго живут в памяти, как заноза в пальце, мешая мне думать о другом.

Помню, я прочитал странные стихи:

В сталь закован, по безлюдью,
Нем и мрачен, как могила,
Едет гуннов царь, Аттила, –
за ним чёрною тучею идут воины и кричат:
Где же Рим, где Рим могучий?
Рим – город, это я уже знал, но кто такие – гунны? Это необходимо знать.

Выбрав хорошую минуту, я спрашиваю хозяина.

– Гунны? – удивлённо повторяет он. – Чорт знает, что это такое! Ерунда, наверное...

И неодобрительно качает головою.

– Чепуха кипит в голове у тебя, это плохо, Пешков!

Плохо ли, хорошо ли, но я хочу знать.

Мне кажется, что полковому священнику Соловьёву должно быть известно – что такое гунны, и, поймав его на дворе, я спрашиваю.

Бледный, больной и всегда сердитый, с красными глазами, без бровей, с жёлтой бородкой, он говорит мне, тыкая в землю чёрным посохом:

– А тебе какое дело до этого, а?

Поручик Нестеров на мой вопрос свирепо ответил:

– Что-о?

Тогда я решил, что о гуннах нужно спросить в аптеке у провизора; он смотрит на меня всегда ласково, у него умное лицо, золотые очки на большом носу.

– Гунны, – сказал мне провизор Павел Гольдберг, – были кочевым народом, вроде киргизов. Народа этого больше нет, весь вымер.

Мне стало грустно и досадно – не потому, что гунны вымерли, а оттого, что смысл слова, которое меня так долго мучило, оказался столь простым и ничего не дал мне.

Но я очень благодарен гуннам, – после столкновения с ними слова стали меня меньше беспокоить, и благодаря Аттиле я познакомился с провизором Гольдбергом.

Этот человек знал простой смысл всех мудрых слов, у него были ключи ко всем тайнам. Поправив очки двумя пальцами, он пристально смотрел сквозь толстые

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
стёкла в глаза мне и говорил, словно мелкие гвозди вбивая в мой лоб.

– Слова, дружище, это – как листья на дереве, и, чтобы понять, почему лист таков, а не иной, нужно знать, как растёт дерево, – нужно учиться! Книга, дружище, – как хороший сад, где всё есть: и приятное и полезное...

Я часто бегал к нему в аптеку за содой и магнезией для взрослых, которые постоянно страдали «изжогой», за бобковой мазью и слабительными для младенцев. Краткие поучения провизора внушали мне всё более серьёзное отношение к книгам, и незаметно они стали необходимыми для меня, как пьянице водка.

Они показывали мне иную жизнь – жизнь больших чувств и желаний, которые приводили людей к подвигам и преступлениям. Я видел, что люди, окружавшие меня, не способны на подвиги и преступления, они живут где-то в стороне от всего, о чём пишут книги, и трудно понять – что интересного в их жизни? Я не хочу жить такой жизнью... Это мне ясно, – не хочу...

Из пояснений к рисункам я знал, что в Праге, Лондоне, Париже нет среди города оврагов и грязных дамб из мусора, там прямые, широкие улицы, иные дома и церкви. Там нет шестимесячной зимы, которая запирает людей в домах, нет великого поста, когда можно есть только квашеную капусту, солёные грибы, толокно и картофель, с противным льняным маслом. Великим постом – нельзя читать книг, – у меня отобрали «Живописное обозрение», и эта пустая, постная жизнь снова подошла вплоть ко мне. Теперь, когда я мог сравнить её с тем, что знал из книг, она казалась мне ещё более нищей и безобразной. Читая, я чувствовал себя здоровее, сильнее, работал спорно и ловко, у меня была цель: чем скорее кончу, тем больше останется времени для чтения. Лишённый книг, я стал вялым, ленивым, меня начала одолевать незнакомая мне раньше болезненная забывчивость.

Помнится, именно в эти пустые дни случилось нечто таинственное: однажды вечером, когда все ложились спать, вдруг гулко прозвучал удар соборного колокола, он сразу встряхнул всех в доме, полуодетые люди бросились к окнам, спрашивая друг друга:

– Пожар? Набат?

Было слышно, что и в других квартирах тоже суетятся, хлопают дверями; кто-то бегал по двору с лошадью в поводу. Старая хозяйка кричала, что ограбили собор, хозяин останавливал её:

– Полноте, мамаша, ведь слышно же, что это не набат!

– Ну, так архиерей помер...

Викторушка слез с полатей, одевался и бормотал:

– А я знаю, что случилось, знаю!

Хозяин послал меня на чердак посмотреть, нет ли зарева, я побежал, вылез через слуховое окно на крышу – зарева не было видно; в тихом морозном воздухе бухал, не спеша, колокол; город сонно прилёг к земле; во тьме бежали, поскрипывая снегом, невидимые люди, взвизгивали полозья саней, и всё зловещее охал колокол. Я воротился в комнаты.

– Зарева нет.

– Фу ты, господи! – сказал хозяин, одетый в пальто и шапку, приподнял воротник и стал нерешительно совать ноги в калоши. Хозяйка умоляла его:

– Не ходи! Ну, не ходи же...

– Ерунда!

Викторушка, тоже одетый, дразнил всех:

– А я знаю...

Когда братья ушли на улицу, женщины, приказав мне ставить самовар, бросились к

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
окнам, но почти тотчас с улицы позвонил хозяин, молча вбежал по лестнице и, отворив дверь в прихожую, густо сказал:

– Царя убили!

– Убили-таки! – воскликнула старуха.

– Убили, мне офицер сказал... Что ж теперь будет?

Позвонил Викторушка и, неохотно раздеваясь, сердито сказал:

– А я думал – война!

Потом все они сели пить чай, разговаривали спокойно, но тихонько и осторожно. И на улице стало тихо, колокол уже не гудел. Два дня они таинственно шептались, ходили куда-то, к ним тоже являлись гости и что-то подробно рассказывали. Я очень старался понять – что случилось? Но хозяева прятали газету от меня, а когда я спросил Сидорова – за что убили царя, он тихонько ответил:

– Про то запрещено говорить...

И всё это быстро стёрлось, затянулось ежедневными пустяками, и я вскоре пережил очень неприятную историю.

В одно из воскресений, когда хозяева ушли к ранней обедне, а я, поставив самовар, отправился убирать комнаты, – старший ребёнок, забравшись в кухню, вытащил кран из самовара и уселся под стол играть краном. Углей в трубе самовара было много, и, когда вода вытекла из него, он распаялся. Я ещё в комнатах услышал, что самовар гудит неестественно гневно, а войдя в кухню, с ужасом увидел, что он весь посинел и трясётся, точно хочет подпрыгнуть с пола. Отпаявшаяся втулка крана уныло опустилась, крышка съехала набекрень, из-под ручек стекали капли олова, – лиловато-синий самовар казался вдребезги пьяным. Я облил его водою, он зашипел и печально развалился на полу.

Позвонили на парадном крыльце, я отпер двери и на вопрос старухи – готов ли самовар, кратко ответил:

– Готов.

Это слово, сказанное, вероятно, в смущении и страхе, было принято за насмешку и усугубило наказание. Меня избили. Старуха действовала пучком сосновой лучины, это было не очень больно, но оставило под кожей спины множество глубоких заноз; к вечеру спина у меня вспухла подушкой, а в полдень на другой день хозяин принуждён был отвезти меня в больницу.

Когда доктор, длинный и тощий до смешного, осмотрел меня, он сказал спокойно глухим басом:

– Здесь нужно составить протокол об истязании.

Хозяин покраснел, зашаркал ногами и стал что-то тихо говорить доктору, а тот, глядя через голову его, кратко отвечал:

– Не могу. Нельзя.

Но потом спросил меня:

– Жаловаться хочешь?

Мне было больно, но я сказал:

– Не хочу, лечите скорее.

Меня отвели в другую комнату, положили на стол, доктор вытаскивал занозы приятно холодными щипчиками и балагурил:

– Прекрасно отделали кожу тебе, приятель, теперь ты станешь непромокаемый...

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Когда он кончил работу, нестерпимо щекотавшую меня, он сказал:

– Сорок две щепочки вытащено, приятель, запомни, хвастаться будешь! Завтра в этот час приходи на перевязку. Часто бьют?

Я подумал и ответил:

– Раньше – чаще били...

Доктор захохотал басом.

– Всё к лучшему идёт, приятель, всё!

Когда он вывел меня к хозяину, то сказал ему:

– Извольте получить, починен! Завтра пришлите, переведем. На ваше счастье – комик он у вас...

Сидя на извозчике, хозяин говорил мне:

– И меня, Пешкóв, тоже били – что поделаешь? Били, брат! Тебя всё-таки хоть я жалею, а меня и жалеть некому было, некому! Людей везде – теснота, а пожалеть – нет ни одного сукина сына! Эх, звери-курицы...

Он всю дорогу ругался, мне было жалко его, и я был очень благодарен ему, что он говорит со мною по-человечески.

Дома меня встретили, как именинника, женщины заставили подробно рассказать, как доктор лечил меня, что он говорил, – слушали и ахали, сладостно причмокивая, морщась. Удивлял меня этот их напряжённый интерес к болезням, к боли и ко всему неприятному!

Я видел, как они довольны мною, что я отказался жаловаться на них, и воспользовался этим, испросив у них разрешения брать книги у закройщицы. Они не решились отказать мне, только старуха удивлённо воскликнула:

– Ну и бес!

Через день я стоял перед закройщицей, а она ласково говорила:

– А мне сказали, что ты болен, отвезён в больницу, – видишь, как неверно говорят?

Я промолчал. Стыдно было сказать правду – зачем ей знать грубое и печальное? Так хорошо, что она не похожа на других людей.

Снова я читаю толстые книги Дюма-отца, Понсон-де-Террайля, Монтепэна, Законнэ, Габорио, Эмара, Буагобэ, – я глотаю эти книги быстро, одну за другой, и мне – весело. Я чувствую себя участником жизни необыкновенной, она сладко волнует, возбуждая бодрость. Снова коптит мой самодельный светильник, я читаю ночи напролет, до утра, у меня понемногу заболевают глаза, и старая хозяйка любезно говорит мне:

– погоди, книгожора, лопнут зенки-то, ослепнешь!

Однако я очень скоро понял, что во всех этих интересно запутанных книгах, несмотря на разнообразие событий, на различие стран и городов, речь всё идет об одном: хорошие люди – несчастливы и гонимы дурными, дурные – всегда более удачливы и умны, чем хорошие, но в конце концов что-то неуловимое побеждает дурных людей и обязательно торжествуют хорошие. Надоела «любовь», о которой все мужчины и женщины говорили одними и теми же словами. Это однообразие становилось не только скучным, но и возбуждало смутные подозрения.

Бывало, уже с первых страниц начинаешь догадываться, кто победит, кто будет побеждён, и как только станет ясен узел событий, стараешься развязать его силою своей фантазии. Перестав читать книгу, думаешь о ней, как о задаче из учебника арифметики, и всё чаще удается правильно решить, кто из героев придёт в рай всяческого благополучия, кто будет ввергнут во узилище.

Но за всем этим я вижу проблески живой и значительной для меня правды, черты иной жизни, иных отношений. Мне ясно, что в Париже извозчики, рабочие, солдаты и весь «чёрный народ» не таков, как в Нижнем, в Казани, в Перми, – он смелее говорит с господами, держится с ними более просто и независимо. Вот – солдат, но он не похож ни на одного из тех, кого я знаю, – ни на Сидорова, ни на вятича с парохода, ни, тем более, на Ермохина; он – больше человек, чем все они. В нём есть нечто общее со Смуром, но он не так звероват и груб. Вот – лавочник, и он также лучше всех известных мне лавочников. И священники в книгах не такие, каких я знаю, – они сердечнее, более участливо относятся к людям. Вообще вся жизнь за границей, как рассказывают о ней книги, интереснее, легче, лучше той жизни, которую я знаю: за границей не дерутся так часто и зверски, не издеваются так мучительно над человеком, как издевались над вятским солдатом, не молятся богу так яростно, как молится старая хозяйка.

Особенно заметно, что, рассказывая о злодеях, людях жадных и подлых, книги не показывают в них той необъяснимой жестокости, того стремления издеваться над человеком, которое так знакомо мне, так часто наблюдалось мною. Книжный злодей жесток деловито, почти всегда можно понять, почему он жесток, а я вижу жестокость бесцельную, бессмысленную, ею человек только забавляется, не ожидая от неё выгод.

С каждой новой книгой эта несхожесть русской жизни с жизнью иных стран выступает предо мною всё яснее, возбуждая смутную досаду, усиливая подозрение в правдивости жёлтых, зачитанных страниц с грязными углами.

И вдруг мне попал в руки роман Гонкура «Братья Земганно», я прочитал его сразу, в одну ночь, и, удивлённый чем-то, чего до этой поры не испытывал, снова начал читать простую, печальную историю. В ней не было ничего запутанного, ничего внешне интересного, с первых страниц она казалась серьёзной и сухой, как жития святых. Её язык, такой точный и лишённый прикрас, сначала неприятно удивил меня, но дорогие слова, крепко построенные фразы так хорошо ложились на сердце, так внушительно рассказывали о драме братьев-акробатов, что у меня руки дрожали от наслаждения читать эту книгу. Я плакал навзрыд, читая, как несчастный артист со сломанными ногами ползёт на чердак, где его брат тайно занимается любимым искусством.

Отдавая эту славную книгу закройщице, я просил её дать мне ещё такую же.

– Как это такую же? – спросила она, усмехаясь.

Эта усмешка смутила меня, и я не сумел объяснить, чего мне хочется, а она говорила:

– Это – скучная книга, вот, подожди, я тебе принесу другую, интереснее...

Через несколько дней она дала мне Гринвуда «Подлинную историю маленького оборвыша»; заголовок книги несколько уколот меня, но первая же страница вызвала в душе улыбку восторга, – так с этой улыбкою я и читал всю книгу до конца, перечитывая иные страницы по два, по три раза.

Так вот как трудно и мучительно даже за границей живут иногда мальчишки! Ну, мне вовсе не так плохо, значит – можно не унывать!

Много бодрости подарил мне Гринвуд, а вскоре после него мне попала уже настоящая «правильная» книга – «Евгения Гранде».

Старик Гранде ярко напомнил мне деда, было обидно, что книжка так мала, и удивляло, как много в ней правды. Эту правду, очень знакомую мне и надоевшую в жизни, книга показывала в освещении совершенно новом – незлобивом, спокойном. Все ранее прочитанные мною книги, кроме Гонкура, судили людей так же строго и крикливо, как мои хозяева, очень часто они вызывали симпатию к преступнику и чувство досады на добродетельных людей. Всегда было жалко видеть, что, при огромной затрате разума и воли, человек всё-таки не может достичь желаемого, – добродетельные люди стоят перед ним с первой до последней страницы неизбежно, точно каменные столбы. Хотя об эти столбы неизбежно разбиваются все злые намерения порока, но – камни не возбуждают симпатии. Ведь как бы ни была красива и крепка стена, но, когда хочешь сорвать яблоко с яблони за этой стеной, –

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyuma
нельзя любоваться ею. А мне уже казалось, что наиболее ценное и живое спрятано
где-то за добродетелью..

У Гонкура, Гринвуда, Бальзака – не было злодеев, не было добряков, были просто люди, чудесно живые; они не позволяли сомневаться, что всё сказанное и сделанное ими было сказано и сделано именно так и не могло быть сделано иначе.

Таким образом я понял, какой великий праздник «хорошая, правильная» книга. Но как найти её? Закройщица не могла помочь мне в этом.

– Вот хорошая книга, – говорила она, предлагая мне Арсена Гуссэ «Руки, полные роз, золота и крови», романы Бэло, Поль де Кока, Поль Феваля, но я читал их уже с напряжением.

Ей нравились романы Марриета, Вернера, – мне они казались скучными. Не радовал и Шпильгаген, но очень понравились рассказы Ауэрбаха. Сю и Гюго тоже не очень увлекали меня, я предпочитал им Вальтер-Скотта. Мне хотелось книг, которые волновали бы и радовали, как чудесный Бальзак. Фарфоровая женщина тоже всё меньше нравилась мне.

Являясь к ней, я надевал чистую рубаху, причёсывался, всячески стараясь принять благообразный вид, – едва ли это удавалось мне, но я всё ждал, что она, заметив моё благообразие, заговорит со мною более просто и дружески, без этой рыбьей улыбки на чистеньком, всегда праздничном лице. Но она, улыбаясь, спрашивала усталым и сладким голосом:

– Прочитал? Понравилось?

– Нет.

Чуть приподняв тонкие брови, она смотрела на меня и, вздыхая, знакомо говорила в нос:

– Но почему же?

– Я уж читал об этом.

– О чём – об этом?

– О любви...

Прищурясь, она смеялась сахарным смешком.

– Ах, но ведь во всех книгах пишут о любви!

Сидя в большом кресле, она болтает маленькими ножками в меховых туфлях, позёвывая, кутается в голубой халатик и стучит розовыми пальцами по переплёту книги на коленях у неё.

Мне хочется спросить: «Что же вы не съезжаете с квартиры? Ведь офицеры всё пишут записки вам, смеются над вами...»

Но не хватает смелости сказать ей это, и я ухожу, унося толстую книгу о «любви» и печальное разочарование в сердце.

На дворе говорят об этой женщине всё хуже, насмешливее и злее. Мне очень обидно слышать эти рассказы, грязные и, наверное, лживые; за глаза я жалею женщину, мне боязно за неё. Но когда, придя к ней, я вижу её острые глазки, кошачью гибкость маленького тела и это всегда праздничное лицо, – жалость и страх исчезают, как дым.

Весною она вдруг уехала куда-то, а через несколько дней и муж её переменил квартиру.

Когда комнаты стояли пустые, в ожидании новых насельников, я зашёл посмотреть на голые стены с квадратными пятнами на местах, где висели картины, с изогнутыми гвоздями и ранами от гвоздей. По крашеному полу были разбросаны разноцветные лоскутки, клочья бумаги, изломанные аптечные коробки, склянки от духов и

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
блестела большая медная булавка.

Мне стало грустно, захотелось ещё раз увидеть маленькую закройщицу, – сказать, как я благодарен ей...

Х

Ещё до отъезда закройщицы под квартирую моих хозяев поселилась черноглазая молодая дама с девочкой и матерью, седенькой старушкой, непрерывно курившей папиросы из янтарного мундштука. Дама была очень красивая; властная, гордая, она говорила густым, приятным голосом, смотрела на всех вскинув голову, чуть-чуть прищурив глаза, как будто люди очень далеко от неё и она плохо видит их. Почти каждый день к крыльцу её квартиры черный солдат Тюфяев подводил тонконового рыжего коня, дама выходила на крыльцо в длинном, стального цвета, бархатном платье, в белых перчатках с раструбами, в жёлтых сапогах. Держа в одной руке шлейф и хлыст с лиловым камнем в рукоятке, она гладила маленькой рукой ласково оскаленную морду коня, – он косился на неё огненным глазом, весь дрожал и тихонько бил копытом по утопанной земле.

– Робэр, Ро-обэр, – негромко говорила она и крепко хлопала коня по красиво выгнутой шее.

Потом, поставив ногу на колено Тюфяева, дама ловко прыгала на седло, и конь, гордо танцуя, шёл по дамбе; она сидела на седле так ловко, точно приросла к нему.

Красива она была той редкой красотой, которая всегда кажется новой, невиданною и всегда наполняет сердце опьяняющей радостью. Глядя на неё, я думал, что вот таковы были Диана Пуатье, королева Марго, девица Ла-Вальер и другие красавицы, героини исторических романов.

Её постоянно окружали офицеры дивизии, стоявшей в городе, по вечерам у неё играли на пианино и скрипке, на гитарах, танцевали и пели. Чаще других около неё вертелся на коротеньких ножках майор Олесов, толстый, краснорожий, седой и сальный, точно машинист с парохода. Он хорошо играл на гитаре и вёл себя, как покорный, преданный слуга дамы.

Так же счастливо красива, как мать, была и пятилетняя девочка, кудрявая, полненькая. Её огромные синеватые глаза смотрели серьёзно, спокойно ожидающим взглядом, и было в этой девочке что-то недетски вдумчивое.

Бабушка с утра до вечера занята хозяйством вместе с Тюфяевым, угрюмо немым, и толстой, косоглазой горничной; няньки у ребенка не было, девочка жила почти беспризорно, целыми днями играя на крыльце или на куче брёвен против него. Я часто по вечерам выходил играть с нею и очень полюбил девочку, а она быстро привыкла ко мне и засыпала на руках у меня, когда я рассказывал ей сказку. Заснёт, а я её отнесу в постель. Скоро дошло до того, что, ложась спать, она непременно требовала, чтобы я пришел проститься с нею. Я приходил, она важно протягивала мне пухлую ручку и говорила:

– Прощай до завтра! Бабушка, как нужно сказать?

– Храни тебя господь, – говорила бабушка, выпуская изо рта и острого носа сизые струйки дыма.

– Храни тебя господь до завтра, а я уж буду спать, – повторяла девочка, кутаясь в одеяло, обшитое кружевом. Бабушка внушала ей:

– Не до завтра, а – всегда!

– А разве завтра не всегда бывает?

Она любила слово «завтра» и всё, что нравилось ей, переносила в будущее; натывает в землю сорванных цветов, сломанных веток и говорит:

– Завтра это будет сад...

– Когда-нибудь завтра я тоже купю себе ошадь и поеду верхом, как мама...

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Она была умненькая, но не очень весёлая, – часто во время оживлённой игры вдруг задумается и спросит неожиданно:

– Зачем у священников во'осы, как у женщин?

Обожглась крапивой и, грозя ей пальцем, сказала:

– Смотри, я помо'юсь богу, так он сде'ает тебе очень п'охо. Бог всем может сде'ать п'охо – он даже маму может наказать...

Иногда на неё спускалась тихая, серьёзная печаль; прижимаясь ко мне, глядя в небо синими, ожидающими глазами, она говорила:

– Бабушка бывает сердитая, а мама никогда не бывает, она тойко смеется. Её все юбят, потому что ей всегда некогда, всё приходят гости, гости, и смотрят на неё, потому что она красивая. Она – ми'ая, мама. И О'есов так говорит: ми'ая мама!

Мне страшно нравилось слушать девочку, – она рассказывала о мире, незнакомом мне. Про мать свою она говорила всегда охотно и много, – предо мною тихонько открывалась новая жизнь, снова я вспоминал королеву Марго, это ещё более углубляло доверие к книгам, а также интерес к жизни.

Однажды вечером, когда я сидел на крыльце, ожидая хозяев, ушедших гулять на Откос, а девочка дремала на руках у меня, подъехала верхом её мать, легко прыгнула на землю и, вскинув голову, спросила:

– Что это она – спит?

– Да.

– Вот как...

Выскочил солдат Тюфяев, принял коня, дама сунула хлыст за кушак и сказала, протянув руки:

– Дай мне её!

– Я сам отнесу!

– Но! – крикнула дама на меня, как на лошадь, и топнула ногою о ступень крыльца.

Девочка проснулась, мигая, посмотрела на мать и тоже протянула к ней руки. Они ушли.

Я привык, чтобы на меня кричали, но было неприятно, что эта дама тоже кричит, – всякий послушает её, если она даже и тихо прикажет.

Через несколько минут меня позвала косоглазая горничная, – девочка капризничает, не хочет идти спать, не простясь со мною.

Я, не без гордости перед матерью, вошёл в гостиную, – девочка сидела на коленях матери, дама ловкими руками раздевала её.

– Ну, вот, – сказала она, – вот он пришёл, это чудовище!

– Это не чудовище, а мой майчик...

– Вот как? Очень хорошо. Давай же подарим что-нибудь твоему мальчику. Хочешь?

– Да, хочу!

– Прекрасно, я это сделаю, а ты иди спать.

– Прощай до завтра, – сказала девочка, протянув мне руку. – Храни тебя господь до завтра...

Дама удивлённо воскликнула:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– Кто это тебя научил – бабушка?

– Да-а...

Когда она ушла, дама поманила меня пальцем.

– Что же тебе подарить?

Я сказал, что мне ничего не надо дарить, а не даст ли она мне какую-нибудь книжку?

Она приподняла мой подбородок горячими, душистыми пальцами, спрашивая с приятной улыбкой:

– Вот как, ты любишь читать, да? Какие же книги ты читал?

Улыбаясь, она стала ещё красивее; я смущённо назвал ей несколько романов.

– Что же в них нравится тебе? – спрашивала она, положив руки на стол и тихонько шевеля пальцами.

От неё исходил сладкий, крепкий запах каких-то цветов, с ним странно сливался запах лошадиного пота. Она смотрела на меня сквозь длинные ресницы задумчиво-серьёзно, – до этой минуты никто ещё не смотрел на меня так.

От множества мягкой и красивой мебели в комнате было тесно, как в птичьем гнезде; окна закрывала густая зелень цветов, в сумраке блестели снежно-белые изразцы печи, рядом с нею лоснился чёрный рояль, а со стен в тусклом золоте рам смотрели какие-то тёмные грамоты, криво усеянные крупными буквами славянской печати, и под каждой грамотой висела на шнуре тёмная, большая печать. Все вещи смотрели на эту женщину так же покорно и робко, как я.

Я объяснил ей, как умел, что жить очень трудно и скучно, а читая книги, забываешь об этом.

– Да-а, вот как? – сказала она, вставая. – Это – недурно, это, пожалуй, верно... Ну, что ж? Я стану давать тебе книги, но сейчас у меня нет... А впрочем, возьми вот это...

Она взяла с дивана истрёпанную книжку в жёлтой обложке.

– Прочитаешь – дам вторую часть, их четыре...

Я ушёл, унося с собой «Тайны Петербурга» князя Мещерского, и начал читать эту книгу с большим вниманием, но с первых же страниц мне стало ясно, что петербургские «тайны» значительно скучнее мадридских, лондонских и парижских. Забавною показалась мне только басня о Свободе и Палке.

«Я выше тебя, – сказала Свобода, – потому что умнее».

Но Палка ответила ей:

«Нет, я выше тебя, потому что я – сильнее тебя».

Спорили, спорили и подрались; Палка избил Свободу, и Свобода – помнится мне – умерла в больнице от побоев.

В книге шла речь о нигилисте. Помню, что – по князю Мещерскому – нигилист есть человек настолько ядовитый, что от взгляда его издыхают курицы. Слово нигилист показалось мне обидным и неприличным, но больше я ничего не понял и впал в уныние: очевидно, я не умею понимать хорошие книги! А что книга хорошая, в этом я был убежден: ведь не станет же такая важная и красивая дама читать плохие!

– Ну, что же, понравилось? – спросила она, когда я возвратил ей жёлтый роман Мещерского.

Мне было очень трудно ответить – нет, я думал, что это её рассердит.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru
Но она только рассмеялась, уходя за портьеру, где была её спальня, и вынесла оттуда маленький томик в переплёте синего сафьяна.

– Это тебе понравится, только не пачкай!

Это были поэмы Пушкина. Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданное красивое место, – всегда стремишься обежать его сразу. Так бывает после того, когда долго ходишь по моховым кочкам болотистого леса и неожиданно развернётся пред тобою сухая поляна, вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на неё очарованный, а потом счастливо обежишь всю, и каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли тихо радует.

Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной и читать её было неловко. Пролог к «Руслану» напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки изумляли меня своей чеканной правдой.

Там, на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей,
– мысленно повторял я чудесные строки и видел эти, очень знакомые мне, едва заметные тропы, видел таинственные следы, которыми примята трава, ещё не стряхнувшая капель росы, тяжёлых, как ртуть. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично всё, о чём говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою – лёгкой и приятной, стихи звучали, как благовест новой жизни. Какое это счастье – быть грамотным!

Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне; прочитав их несколько раз, я уже знал их на память; лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну. Нередко я пересказывал эти сказки денщикам; они, слушая, хохочут, ласково ругаются, Сидоров гладит меня по голове и тихонько говорит:

– Вот славно, а? Ах, господи...

Возбуждение, охватившее меня, было замечено хозяевами, старуха ругалась:

– Зачитался, пострел, а самовар четвёртый день не чищен! Как возьму скалку...

Что – скалка? Я оборонялся против неё стихами:

Душою черной зло любя,
Колдунья старая...
Дама ещё выше выросла в моих глазах, – вот какие книги читает она! Это – не фарфоровая закройщица...

Когда я принёс ей книгу и с грустью отдал, она уверенно сказала:

– Это тебе понравилось! Ты слышал о Пушкине?

Я что-то уже читал о поэте в одном из журналов, но мне хотелось, чтобы она сама рассказала о нём, и я сказал, что не слышал.

Кратко рассказав мне о жизни и смерти Пушкина, она спросила, улыбаясь, точно весенний день:

– Видишь, как опасно любить женщин?

По всем книжкам, прочитанным мною, я знал, что это действительно – опасно, но и – хорошо.

Я сказал:

– Опасно, а все любят! И женщины тоже ведь мучаются от этого...

Она взглянула на меня, как смотрела на всё, сквозь ресницы, и сказала серьёзно:

– Вот как? Ты это понимаешь? Тогда я желаю тебе – не забывай об этом!

И начала спрашивать, какие стихи понравились мне.

я стал что-то говорить ей, размахивая руками, читая на память. Она слушала меня молча и серьёзно, потом встала и прошлась по комнате, задумчиво говоря:

– Тебе, милейший зверь, нужно бы учиться! Я подумаю об этом... Твои хозяева – родственники тебе?

И, когда я ответил утвердительно, она воскликнула:

– О! – как будто осуждая меня.

Она дала мне «Песни Беранже», превосходное издание, с гравюрами, в золотом обрезе и красном кожаном переплете. Эти песни окончательно свели меня с ума странной тесной связью едкого горя с буйным весельем.

С холодом в груди я читал горькие слова «Старого нищего»:

Червь зловредный – я вас беспокою?

Раздавите гадину ногою!

Что жалеть? Приплюсните скорей!

Отчего меня вы не учили,

Не дали исхода дикой силе?

Вышел бы из червя – муравей!

Я бы умер, братьев обнимая,

А бродягой старым умирая, –

Призываю мщенье на людей!

А вслед за этим я до слёз хохотал, читая «Плачущего мужа». И особенно запомнились мне слова Беранже:

Жизни весёлой наука –

Не тяжела для простых!..

Беранже возбудил у меня неукротимое веселье, желание озорничать, говорить всем людям дерзкие, острые слова, и я, в краткий срок, очень преуспел в этом. Его стихи я тоже заучил на память и с великим увлечением читал денщикам, забегаая в кухни к ним на несколько минут.

Но скоро я должен был отказаться от этого, потому что строки:

А девушке в семнадцать лет

Какая шапка не пристанет! –

вызвали отвратительную беседу о девушках, – это оскорбило меня до бешенства, и я ударил солдата Ермохина кастрюлей по голове. Сидоров и другие денщики вырвали меня из неловких рук его, но с той поры я не решался бегать по офицерским кухням.

Гулять на улицу меня не пускали, да и некогда было гулять, – работа всё росла; теперь, кроме обычного труда за горничную, дворника и «мальчика на посылах», я должен был ежедневно набивать гвоздями на широкие доски коленкор, наклеивать на него чертежи, переписывать сметы строительных работ хозяина, проверять счета подрядчиков, – хозяин работал с утра до ночи, как машина.

В те годы казённые здания ярмарки отходили в частную собственность торговцев; торговые ряды торопливо перестраивались; мой хозяин брал подряды на ремонт лавок и на постройку новых. Он составлял чертежи «на переделку перемычек, пробить в крыше слуховое окно» и т. п.; я носил эти чертежи к старенькому архитектору, вместе с конвертом, куда пряталась двадцатипятирублевая бумажка, – архитектор брал деньги и подписывал: «Чертеж с натурою верен, и надзор за работами принял Имярек». Разумеется, натуры он не видал, а надзора за работами не мог принять, ибо по болезни вовсе не выходил из дома.

Я же разносил взятки смотрителю ярмарки и ещё каким-то нужным людям, получая от них «разрешительные бумажки на всякое беззаконие», как именовал хозяин эти документы. За всё это я получил право дожидаться хозяев у двери, на крыльце, когда они вечерами уходили в гости. Это случалось не часто, но они возвращались домой после полуночи, и несколько часов я сидел на площадке крыльца или на куче бревен, против него, глядя в окна квартиры моей дамы, жадно слушая весёлый говор и музыку.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
Окна открыты. Сквозь занавеси и сети цветов я видел, как по комнатам двигаются
стройные фигуры офицеров, катается круглый майор, плавают она, одетая
удивительно просто и красиво.

Я назвал её про себя – Королева Марго.

«Вот та самая весёлая жизнь, о которой пишут во французских книгах», – думал я, глядя в окна. И всегда мне было немножко печально: детской ревности моей больно видеть вокруг Королевы Марго мужчин, – они вились около неё, как осы над цветком.

Реже других к ней приходил высокий, невесёлый офицер, с разрубленным лбом и глубоко спрятанными глазами; он всегда приносил с собою скрипку и чудесно играл, – так играл, что под окнами останавливались прохожие, на брёвнах собирался народ со всей улицы, даже мои хозяева – если они были дома – открывали окна и, слушая, хвалили музыканта. Не помню, чтобы они хвалили ещё кого-нибудь, кроме соборного протодьякона, и знаю, что пирог с рыбьими жирами нравился им всё-таки больше, чем музыка.

Иногда офицер пел и читал стихи глуховатым голосом, странно задыхаясь, прижимая ладонь ко лбу. Однажды, когда я играл под окном с девочкой и Королева Марго просила его петь, он долго отказывался, потом чётко сказал:

Только песне нужна красота,
Красоте же – и песни не надо...

Мне очень понравились эти стихи, и почему-то стало жалко офицера.

Мне было приятнее смотреть на мою даму, когда она сидела у рояля, играя, одна в комнате. Музыка опьяняла меня, я ничего не видел, кроме окна и за ним, в жёлтом свете лампы, стройную фигуру женщины, гордый профиль её лица и белые руки, птицами летавшие по клавиатуре.

Смотрел я на неё, слушал грустную музыку и бредил: найду где-то клад и весь отдам ей, – пусть она будет богата! Если б я был Скобелевым, я снова объявил бы войну туркам, взял бы выкуп, построил бы на Откосе – лучшем месте города – дом и подарил бы ей, – пусть только она уедет из этой улицы, из этого дома, где все говорят про неё обидно и гадко.

И соседи и вся челядь нашего двора, – а мои хозяева в особенности, – все говорили о Королеве Марго так же плохо и злобно, как о закройщице, но говорили более осторожно, понижая голоса и оглядываясь.

Боялись её, может быть, потому, что она была вдовой очень знатного человека, – грамоты на стенах комнаты её были жалованы дедам её мужа старыми русскими царями: Годуновым, Алексеем и Петром Великим, – это сказал мне солдат Тюфяев, человек грамотный, всегда читавший евангелие. Может быть, люди боялись, как бы она не избилась своим хлыстом с лиловым камнем в ручке, – говорили, что она уже избилась им какого-то важного чиновника.

Но слова вполголоса были не лучше громко сказанных слов; моя дама жила в облаке вражды к ней, вражды непонятной мне и мучившей меня. Викторושка рассказывал, что, возвращаясь домой после полуночи, он посмотрел в окно спальни Королевы Марго и увидел, что она в одной рубашке сидит на кушетке, а майор, стоя на коленях, стрижёт ногти на её ногах и вытирает их губкой.

Старуха, ругаясь, плевалась, молодая хозяйка визжала, покраснев:

– Виктор, фу! Какой бесстыжий! Ах, какие пакостники эти господа!

Хозяин молчал, улыбался, – я был очень благодарен ему за то, что он молчит, но со страхом ждал, что и он вступится сочувственно в шум и вой. Взвизгивая, ахая, женщины подробно спрашивали Викторושку, как именно сидела дама, как стоял на коленях майор – Виктор прибавлял всё новые подробности.

– Роба красная, язык высунул...

Я не видел ничего зазорного в том, что майор стрижёт ногти даме, но я не верил, что он высунул язык, это мне показалось обидною ложью, и я сказал Викторושке:

– Если это нехорошо, так зачем вы в окошко-то смотрели? Вы – не маленький...

Меня изругали, конечно, но ругань не обижала меня, мне только одного хотелось – сбежать вниз, встать на колени перед дамой, как стоял майор, и просить её:

«Пожалуйста, уезжайте из этого дома!»

Теперь, когда я знал, что есть другая жизнь, иные люди, чувства, мысли, этот дом, со всеми его жителями, возбуждал во мне отвращение всё более тяжёлое. Весь он был оплетён грязною сетью позорных сплетен, в нём не было ни одного человека, о котором не говорили бы злостно. Полковой поп, больной, жалкий, был ославлен как пьяница и развратник; офицеры и жёны их жили, по рассказам моих хозяев, в свальном грехе; мне стали противны однообразные беседы солдат о женщинах, и больше всего опротивели мне мои хозяева – я очень хорошо знал истинную цену излюбленных ими, беспощадных суждений о людях. Наблюдения за пороками людей – единственная забава, которою можно пользоваться бесплатно. Мои хозяева только забавлялись, словесно истязуя ближних, и как бы мстили всем за то, что сами живут так благочестиво, трудно и скучно.

Когда о Королеве Марго говорили пакостно, я переживал судорожные припадки чувств не детских, сердце мое набухало ненавистью к сплетникам, мною овладевало неукротимое желание злить всех, озорничать, а иногда я испытывал мучительные приливы жалости к себе и ко всем людям, – эта немая жалость была ещё тяжелее ненависти.

Я знал о Королеве больше, чем знали они, и я боялся, чтобы им не стало известно то, что я знаю.

По праздникам, когда хозяева уходили в собор к поздней обедне, я приходил к ней утром; она звала меня в спальню к себе, я садился на маленькое, обитое золотистым шёлком кресло, девочка влезала мне на колени, я рассказывал матери о прочитанных книгах. Она лежала на широкой кровати, положив под щёку маленькие ладони, сложенные вместе, тело её спрятано под покрывалом, таким же золотистым, как и всё в спальне, тёмные волосы, заплетённые в косу, перекинувшись через смуглое плечо, лежали впереди её, иногда свешиваясь с кровати на пол.

Слушая меня, она смотрит в лицо моё мягкими глазами и, улыбаясь чуть заметно, говорит:

– Вот как?

Даже благожелательная улыбка её была, в моих глазах, только снисходительной улыбкой королевы. Она говорила густым ласкающим голосом, и мне казалось, что она говорит всегда одно:

«Я знаю, что я неизмеримо лучше, чище всех людей, и никто из них не нужен мне».

Иногда я заставлял её перед зеркалом, – она сидела на низеньком кресле, причёсывая волосы; концы их лежали на коленях её, на ручках кресла, спускались через спинку его почти до полу, – волосы у неё были так же длинны и густы, как у бабушки. Я видел в зеркале её смуглые, крепкие груди, она надевала при мне лиф, чулки, но её чистая нагота не будила у меня ощущений стыдных, а только радостное чувство гордости за неё. Всегда от неё исходил запах цветов, защищавший её от дурных мыслей о ней.

Я был здоров, силен, хорошо знал тайны отношений мужчины к женщине, но люди говорили при мне об этих тайнах с таким бессердечным злорадством, с такой жестокостью, так грязно, что эту женщину я не мог представить себе в объятиях мужчины, мне трудно было думать, что кто-то имеет право прикасаться к ней дерзко и бесстыдно, рукою хозяина её тела. Я был уверен, что любовь кухонь и чуланов неведома Королеве Марго, она знает какие-то иные, высшие радости, иную любовь.

Но однажды, перед вечером, придя в гостиную, я услышал за портьерой спальни звучный смех дамы моего сердца и мужской голос, просивший:

– Подожди же... Господи! Не верю...

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Мне нужно было уйти, я понимал это, но – не мог уйти...

– Кто там? – спросила она. – Ты? Войди...

В спальне было душно от запаха цветов, сумрачно, окна были занавешены... Королева Марго лежала на постели, до подбородка закрывшись одеялом, а рядом с ней, у стены, сидел в одной рубашке, с раскрытой грудью, скрипач-офицер, – на груди у него тоже был шрам, он лежал красной полосой от правого плеча к соску и был так ярок, что даже в сумраке я отчетливо видел его. Волосы офицера были смешно встрепаны, и впервые я видел улыбку на его печальном, изрубленном лице, – улыбался он странно. А его большие, женские глаза смотрели на Королеву так, как будто он только впервые разглядел красоту её.

– Это мой друг, – сказала Королева Марго, не знаю – мне или ему.

– Чего ты так испугался? – услышал я, точно издали, её голос. – Поди сюда...

Когда я подошёл, она обняла меня за шею голой, горячей рукой и сказала:

– Вырастешь – и ты будешь счастлив... Иди!

Я положил книгу на полку, взял другую и ушёл, как во сне.

Что-то хрустнуло в сердце у меня. Конечно, я ни минуты не думал, что моя Королева любит, как все женщины, да и офицер не позволял думать так. Я видел перед собою его улыбку, – улыбался он радостно, как улыбается ребёнок, неожиданно удивлённый, его печальное лицо чудесно обновилось. Он должен был любить её – разве можно её не любить? И она тоже могла щедро одарить его любовью своей – он так чудесно играл, так задушевно умел читать стихи...

Но уже потому, что я должен был найти эти утешения, для меня ясно было, что не всё хорошо, не всё верно в моём отношении к тому, что я видел, и к самой Королеве Марго. Я чувствовал себя потерявшим что-то и прожил несколько дней в глубокой печали.

...Однажды я буйно и слепо наозорничал, и, когда пришёл к даме за книжкой, она сказала мне очень строго:

– Однако ты отчаянный шалун, как я слышала! Не думала я этого...

Я не стерпел и начал рассказывать, как мне тошно жить, как тяжело слушать, когда о ней говорят плохо. Стоя против меня, положив руку на плечо мне, она сначала слушала мою речь внимательно, серьёзно, но скоро засмеялась и оттолкнула меня тихонько.

– Довольно, я всё это знаю – понимаешь? Знаю!

Потом взяла меня за обе руки и сказала очень ласково:

– Чем меньше ты будешь обращать внимания на все эти гадости, тем лучше для тебя... А руки ты плохо моешь...

Ну, этого она могла бы и не говорить; если б она чистила медь, мыла полы и стирала пелёнки, и у неё руки были бы не лучше моих, я думаю.

– Умеет жить человек – на него злятся, ему завидуют; не умеет – его презирают, – задумчиво говорила она, обняв меня, привлекая к себе и с улыбкой глядя в глаза мои. – Ты меня любишь?

– Да.

– Очень?

– Да.

– А – как?

– Не знаю.

– Спасибо; ты – славный! Я люблю, когда меня любят...

Она усмехнулась, хотела что-то сказать, но, вздохнув, долго молчала, не выпуская меня из рук своих.

– Ты – чаще приходи ко мне; как можешь, так и приходи...

Я воспользовался этим и много получил доброго от неё. После обеда мои хозяева ложились спать, а я сбегал вниз и, если она была дома, сидел у неё по часу, даже больше.

– Читать нужно русские книги, нужно знать свою, русскую жизнь, – поучала она меня, втыкая ловкими розовыми пальцами шпильки в свои душистые волосы.

И, перечисляя имена русских писателей, спрашивала:

– Ты запомнишь?

Она часто говорила задумчиво и с лёгкой досадой:

– Тебе нужно учиться, учиться, а я всё забываю об этом! Ах, боже мой...

Посидев у неё, я бежал наверх с новой книгой в руках и словно вымытый изнутри.

Я уже прочитал «Семейную хронику» Аксакова, славную русскую поэму «В лесах», удивительные «Записки охотника», несколько томиков Гребёнки и Соллогуба, стихи Веневитинова, Одоевского, Тютчева. Эти книги вымыли мне душу, очистив её от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности; я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял её необходимость для меня. От этих книг в душе спокойно сложилась стойкая уверенность: я не один на земле и – не пропаду!

Приходила бабушка, я с восторгом рассказывал ей о Королеве Марго, – бабушка, вкусно понюхивая табачок, говорила уверенно:

– Ну, ну, вот и хорошо! Хороших-то людей много ведь, только поищи – найдёшь!

И однажды предложила:

– Может, сходить к ней, сказать спасибо за тебя?

– Нет, не надо...

– Ну и не надо... Господи, господи, хорошо-то все как! Жить я согласна – веки вечные!

Королеве Марго не удалось позаботиться о том, чтобы я учился, – на троицу разыгралась противная история и едва не погубила меня.

Незадолго перед праздниками у меня страшно вспухли веки и совсем закрылись глаза, хозяева испугались, что я ослепну, да и сам я испугался. Меня отвели к знакомому доктору-акушеру Генриху Родзевичу, он прорезал мне веки изнутри, несколько дней я лежал с повязкой на глазах, в мучительной, чёрной скуке. Накануне троицы повязку сняли, и я снова встал на ноги, точно поднялся из могилы, куда был положен живым. Ничего не может быть страшнее, как потерять зрение; это невыразимая обида, она отнимает у человека девять десятых мира.

В весёлый день троицы я, на положении больного, с полудня был освобождён от всех моих обязанностей и ходил по кухням, навещая денщиков. Все, кроме строгого Тюфяева, были пьяны; перед вечером Ермохин ударил Сидорова поленом по голове, Сидоров без памяти упал в сених, испуганный Ермохин убежал в овраг.

По двору быстро разбежался тревожный говор, что Сидоров убит. Около крыльца собрались люди, смотрели на солдата, неподвижно растянувшегося через порог из кухни в сени головой; шептали, что надо позвать полицию, но никто не звал и никто не решался дотронуться до солдата.

Явилась прачка Наталья Козловская, в новом сиреневом платье, с белым платком на

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
плечах, сердито растолкала людей, вошла в сени, присела на корточки и сказала
громко:

– Дураки – он жив! Воды давайте...

Её стали уговаривать:

– Не совалась бы не в своё дело-то!

– Воды, говорю! – крикнула она, как на пожаре; деловито приподняв новое своё платье выше колен, одёрнула нижнюю юбку и положила окровавленную голову солдата на колено себе.

Публика неодобрительно и боязливо разошлась; в сумраке сеней я видел, как сердито сверкают на круглом белом лице прачки глаза, налитые слезами. Я принёс ведро воды, она велела лить воду на голову Сидорова, на грудь и предупредила:

– Меня не облей, – мне в гости идти...

Солдат очнулся, открыл тупые глаза, застонал.

– Поднимай, – сказала Наталья, взяв его под мышки и держа на вытянутых руках, на весу, чтобы не запачкать платья. Мы внесли солдата в кухню, положили на постель, она вытерла его лицо мокрой тряпкой, а сама ушла, сказав:

– Смачивай тряпку водой и держи на голове, а я пойду, поищу того дурака. Черти, так и жди, что до каторги допьются.

Ушла, спустив с ног на пол и швырнув в угол испачканную нижнюю юбку, заботливо оправив шумящее, помятое платье.

Сидоров, потягиваясь, икал, охал, с головы его на мою босую ступню падала тёмными каплями тяжёлая кровь, – это было неприятно, но со страху я не решался отодвинуть ногу из-под этой капли.

Было горько; на дворе сияет праздничный день, крыльцо дома, ворота убраны молодыми берёзками; к каждой тумбе привязаны свежесрубленные ветки клёна, рябины, вся улица весело зазеленела, всё так молодо, ново; с утра мне казалось, что весенний праздник пришёл надолго и с этого дня жизнь пойдёт чище, светлее, веселее.

Солдата стошнило, душный запах тёплой водки и зелёного лука наполнил кухню, к стёклам окна то и дело прилипают какие-то мутные, широкие рожи с раздавленными носами, ладони, приложенные к щекам, делают эти рожи безобразно ушастыми.

Солдат бормотал, вспоминая:

– Это – как же я? Упал? Ермохин? Хор-рош товарищ...

Потом стал кашлять, заплакал пьяными слезами и заныл:

– Сестричка моя... сестрёнка...

Встал на ноги, скользкий, мокрый и вонючий, пошатнулся и, шлёпнувшись на койку, сказал, странно ворочая глазами:

– Совсем убили...

Мне стало смешно.

– Кто, чорт, смеётся? – спросил солдат, тупо глядя на меня. – Как ты смеёшься? Меня убили навсегда...

Он стал отталкивать меня обеими руками и бормотал:

– Первый срок – Илья пророк, второй – Егорий на коне, а третий – не ходи ко мне! Пошёл прочь, волк...

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
Я сказал:

– Не дури!

Он нелепо рассердился, заорал, зашаркал ногами.

– Меня убили, а ты...

И тяжело, вялой, грязной рукою ударил меня по глазам, – я взвыл, ослеп и кое-как выскочил на двор, навстречу Наталье; она вела за руку Ермохина и покрикивала:

– Иди, лошадь! Ты что? – поймав меня, спросила она.

– Дерётся...

– Дерётся-а? – с удивлением протянула Наталья и, дёрнув Ермохина, сказала ему:

– Ну, леший, значит – благодари бога своего!

Я промыл глаза водою и, глядя из сеней в дверь, видел, как солдаты мирились, обнимаясь и плача, потом оба стали обнимать Наталью, а она колотила их по рукам, вскрикивая:

– Прочь лапы, псы! Что я вам – потаскушка из ваших? Валитесь дрыхнуть, пока бар ваших дома нет, – ну, живо! А то беда будет вам!

Она уложила их, как малых детей, одного – на полу, другого на койке, и, когда они захрапели, вышла в сени.

– Измазалась я вся, а – в гости одета! Ударил он тебя?.. Ишь ведь дурак какой! Вот она, водочка-то. Не пей, паренёк, никогда не пей...

Потом я сидел с нею у ворот на лавочке и спрашивал, как это она не боится пьяных.

– Я и тверёзых не боюсь, они у меня – вот где! – Она показала туго сжатый, красный кулак. – У меня муженёк, покойник, тоже заливно пьянствовал, так я его, бывало, пьяньего-то, свяжу по рукам, по ногам, а проспится – стяну штаны с него да прутьями здоровыми и отхлещу: не пей, не пьянствуй, коли женился – жена тебе забава, а не водка! Да. Вспорю до устали, так он после этого как воск у меня...

– Сильная вы, – сказал я, вспомнив о женщине Еве, которая даже бога обманула.

Наталья сказала, вдохнув:

– Бабе силы надо больше, чем мужику, ей на двоих силы-то надо бы, а господь обделил её! Мужик – человек неровный.

Она говорила спокойно, беззлобно, сидела, сложив руки на большой груди, опираясь спиною о забор, печально уставив глаза на сорную, засыпанную щебнем дамбу. Я заслушался умных речей, забыл о времени и вдруг увидел на конце дамбы хозяйку под руку с хозяином; они шли медленно, важно, как индейский петух с курицей, и пристально смотрели на нас, что-то говоря друг другу.

Я побежал отпереть дверь парадного крыльца, отпер; подымаясь по лестнице, хозяйка ядовито сказала мне:

– С прачками любезничаешь? Научился обхождению у нижней-то барыни?

Это было до того глупо, что даже не задело меня; более обидным показалось, что хозяин, усмехнувшись, молвил:

– Что ж – пора!..

На другой день утром, спустившись в сарай за дровами, я нашёл у квадратной прорези для кошек, в двери сарая, пустой кошелек; я десятки раз видел его в руках Сидорова и тотчас же отнёс ему.

– А где же деньги? – спросил он, исследуя пальцем внутренность кошелька. – Рубль тридцать? Давай сюда!

Голова у него была в чалме из полотенца; жёлтый, похудевший, он сердито мигал опухшими глазами и не верил, что я нашел кошелек пустым.

Пришёл Ермохин и начал убеждать его, кивая на меня:

– Это он украл, он, веди его к хозяевам! Солдат у солдата не украдёт!

Эти слова подсказали мне, что украл именно он, он же и подбросил кошелек в сарай ко мне, – я тотчас крикнул ему в глаза:

– Врёшь, ты украл!

И окончательно убедился, что я прав в своей догадке, – его дубовое лицо исказилось страхом и гневом, он завертелся и завыл тонко:

– Докажи!

Чем бы я доказал? Ермохин с криком вытащил меня на двор, Сидоров шёл за нами и тоже что-то кричал, из окон высунулись головы разных людей; спокойно покуривая, смотрела мать Королевы Марго. Я понял, что пропал в глазах моей дамы, и – ошалел.

Помню – солдаты держали меня за руки, а хозяева стоят против них, сочувственно поддакивая друг другу, слушают жалобы, и хозяйка говорит уверенно:

– Конечно, это его дело! То-то он вчера с прачкой у ворот любезничал: значит, были деньги, от неё без денег ничего не возьмёшь...

– Так точно! – кричал Ермохин.

Подо мною пол заходил, меня опалила дикая злоба, я заорал на хозяйку и был усердно избит.

Но не столько побои мучили меня, сколько мысль о том, что теперь думает обо мне Королева Марго. Как оправдаюсь я перед ней? Солоно мне было в эти сквернейшие часы.

На моё счастье, солдаты быстро разнесли эту историю по всему двору, по всей улице, и вечером, лёжа на чердаке, я услышал внизу крик Натальи Козловской:

– Нет, зачем я буду молчать! Нет, голубчик, иди-ка, иди! Я говорю – иди! А то я к барину пойду, он тебя заставит...

Я сразу почувствовал, что этот шум касается меня. Кричала она около нашего крыльца, голос её звучал всё более громко и торжествующе.

– Ты вчера сколько мне показывал денег? Откуда они у тебя – расскажи.

Задыхаясь от радости, я слышал, как Сидоров уныло тянет:

– Ай-яй, Ермохин...

– А мальчишку ославили, избили, а?

Мне хотелось сбегать вниз на двор, плясать от радости, благодарно целовать прачку, но в это время, – должно быть, из окна, – закричала моя хозяйка:

– Мальчишку за то били, что он ругается, а что он вор – никто этого не думал, кроме тебя, халда!

– Вы сами, сударыня, халда, корова вы этакая, позвольте вам сказать.

Я слушал эту брань, как музыку, сердце больно жгли горячие слёзы обиды и благодарности Наталье, я задышался в усилиях сдержать их.

Потом на чердак медленно поднялся по лестнице хозяин, сел на связь стропил около меня и сказал, оправляя волосы:

– Что, брат, Пешкóв, не везёт тебе?

Я молча отвернулся от него.

– А всё-таки ругаешься ты безобразно, – продолжал он, а я тихо объявил ему:

– Когда встану – уйду от вас...

Он посидел, помолчал, куря папироску, и, внимательно разглядывая конец её, сказал негромко:

– Что же, твоё дело! Ты уж не маленький, сам гляди, как будет лучше для тебя...

И ушёл. Как всегда – было жалко его.

На четвёртые сутки после этого – я ушёл из дома. Мне нестерпимо хотелось проститься с Королевой Марго, но у меня не хватило смелости пойти к ней, и, признаться, я ждал, что она сама позовёт меня.

Прощаясь с девочкой, я попросил:

– Скажи маме, что я очень благодарю её, очень! Скажешь?

– Скажу, – обещала она, ласково и нежно улыбаясь. – Прощай до завтра, да?

Я встретил её лет через двадцать, замужем за офицером-жандармом.

XI

Я снова посудником на пароходе «Пермь», белом, как лебедь, просторном и быстром. Теперь я «чёрный» посудник, или «кухонный мужик», я получаю семь рублей в месяц, моя обязанность – помогать поварам.

Буфетчик, круглый и надутый спесью, лыс, как мяч; заложив руки за спину, он целые дни тяжело ходит по палубе, точно боров в знойный день ищет тенистый угол. В буфете красуется его жена, дама лет за сорок, красивая, но измятая, напудренная до того, что со щёк её осыпается на яркое платье белая липкая пыль.

В кухне воеводит дорогой повар Иван Иванович, по прозвищу Медвежонок, маленький, полненький, с ястребиным носом и насмешливыми глазами. Он – щёголь, носит крахмальные воротнички, ежедневно бреется, щёчки у него синие, тёмные усы подкручены вверх; в свободные минуты он непрерывно беспокоит усы, поправляя печёными красными пальцами, и всё смотрит в круглое ручное зеркальце.

Самый интересный человек на пароходе – кочегар Яков Шумов, широкогрудый, квадратный мужик. Курносое лицо его плоско, точно лопата, медвежьи глазки спрятаны под густыми бровями, щёки – в мелких колечках волос, похожих на болотный мох, на голове эти волосы сваялись плотной шапкой, он с трудом просовывает в них кривые пальцы.

Он ловко играл в карты на деньги и удивлял своим обжорством; как голодная собака, он постоянно тёрся около кухни, выпрашивая куски мяса, кости, а по вечерам пил чай с Медвежонком и рассказывал про себя удивительные истории.

Смолоду он был подпаском у городского пастуха в Рязани, потом прохожий монах сманил его в монастырь; там он четыре года послушничал.

– И быть бы мне монахом, чёрной божьей звездой, – скороговоркой балагурил он, – только пришла к нам в обитель богомолочка из Пензы – забавная такая, да и сомутила меня: экой ты ладной, экой крепкой, а я, баёт, честная вдова, одинокая, и шёл бы ты ко мне в дворники, у меня, баёт, домик свой, а торгую я птичьим пухом и пером...

– Ладно-о, она меня – в дворники, я к ней – в любовники, и жил около её тёплого хлеба года с три время...

– Смело врѣшь, – прерывает его Медвежонок, озабоченно разглядывая прыщички на своём носу. – Кабы за ложь деньги платили – быть бы тебе в тысячах!

Яков жуёт, по слепому его лицу двигаются сивые колечки волос, шевелятся мохнатые уши; выслушав замечание повара, он продолжает так же мерно и быстро:

– Была она меня старше, стало мне с ней скушно, стало мне нудно, и связался я с племянницей ейной, а она про то узнала да по шее меня со двора-то...

– Это тебе награда – лучше не надо, – говорит повар так же легко и складно, как Яков.

Кочегар продолжает, сунув за щёку кусок сахара:

– Проболтался я по ветру некоторое время и приснастился к старичку володимерцу, офене, и пошли мы с ним сквозь всю землю: на Балкан-горы ходили, к самым – к туркам, к румынам тоже, ко грекам, австриякам разным – все народы обошли, у того – купишь, этому – продашь.

– А воровали? – серьёзно спрашивает повар.

– Старичок – ни-ни! И мне сказал: в чужой земле ходи честно, тут, дескать, такой порядок, что за пустяки башку оторвут. Воровать я – верно – пробовал, только – неутешно вышло: затеял я у купца коня свести со двора, ну – не сумел, поймали, начали, конешное дело, бить, били-били – в полицию оттащили. А было нас – двое, один-то настоящий, законный конокрад, а я так себе, из любопытства больше. А у купца этого я работал, печь в новой бане клал, и начал купец хворать, тут я ему во сне приснился нехорошо, испугался он и давай просить начальство: отпустите его, – это меня, значит, а то-де он во сне снится: не простишь ему, бает, не выздоровеешь, колдун он, видно – это я, стало быть, колдун! Н-ну, купец он знатный, отпустили меня...

– Тебя бы не отпустить, а в воду опустить дня на три, чтобы из тебя дурь вымокла, – вставил повар.

Яков тотчас подхватил его слова:

– Правильно, дури во мне много, прямо сказать – на целую деревню дури во мне...

Запустив палец за тугой воротничок, повар сердито оттягивает его, мотая головой и жалуясь с досадой:

– Какова чушь! Живёт на земле вот такой арестант, жрёт, пьёт, шляется, а – к чему? Ну, скажи, зачем ты живёшь?

Чавкая, кочегар отвечает:

– Это мне неизвестно. Живу и живу. Один – лежит, другой – ходит, чиновник сиднем сидит, а есть – всякий должен.

Повар ещё более сердится.

– То есть, какая ты свинья, что даже – невыразимо! Прямо – свиной корм...

– Чего ты ругаешься? – удивляется Яков. – Мужики – все одного дуба жёлуди. Ты – не ругайся, я ведь с этого лучше никак не стану...

Этот человек сразу и крепко привязал меня к себе; я смотрел на него с неизбывным удивлением, слушал разинув рот. В нём было, как я думал, какое-то своё, крепкое знание жизни. Он всем говорил «ты», смотрел на всех из-под мохнатых бровей одинаково прямо, независимо, и всех – капитана, буфетчика, важных пассажиров первого класса – как бы выравнивал в один ряд с самим собою, с матросами, прислужгой буфета и палубными пассажирами.

Бывало – стоит он перед капитаном или машинистом, заложив за спину свои длинные обезьяньи руки, и молча слушает, как его ругают за лень или за то, что он беспечно обыграл человека в карты, стоит – и видно, что ругань на него не

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
действует, угрозы ссадить с парохода на первой пристани не пугают его.

В нём есть что-то всем чужое – как это было в Хорошем Деле, он, видимо, и сам уверен в своей особенности, в том, что люди не могут понять его.

Я никогда не видал этого человека обиженным, задумавшимся, не помню, чтобы он долго молчал, – из его мохнатого рта всегда и даже как будто помимо его желания непрерывным ручьём текли слова. Когда его ругают или он слушает чей-либо интересный рассказ, губы его шевелятся, точно он повторяет про себя то, что слышит, или тихонько продолжает говорить своё. Каждый день, кончив вахту, он вылезал из люка кочегарни, босой, потный, вымазанный нефтью, в мокрой рубахе без пояса, с раскрытой грудью в густой кудрявой шерсти, и тотчас по палубе растекался его ровный, однозвучный, сиповатый голос, сеялись слова, точно капли дождя.

– Здорово, мать! Куда едешь? В Чистополь? Знаю, бывал там, у богатого татарина батраком жил. А звали татарина Усан Губайдулин, о трёх жёнах был старик, ядрёный такой, морда красная. А одна молодуха, за-абавная была татарочка, я с ней грех имел...

Он везде – был, со всеми женщинами на своём пути имел грех; он рассказывал обо всём беззлобно, спокойно, как будто никогда в жизни своей не испытал ни обиды, ни поругания. Через минуту его речь звучала где-то на корме.

– Честной народ, которые – в карты играют! В стуколку, в три листика, в ремешок, эй! Утешное дело – карта, сидя можно деньги взять, купеческое занятие...

Я заметил, что он редко говорит: хорошо, плохо, скверно, но почти всегда: забавно, утешно, любопытно. Красивая женщина для него – забавная бабочка, хороший солнечный день – утешный денёк. А чаще всего он говорил:

– Наплевать!

Все считали его лентяем, а мне казалось, что он делает свою трудную работу перед топкой, в адской, душной и вонючей жаре, так же добросовестно, как все, но я не помню, чтобы он жаловался на усталость, как жаловались другие кочегары.

Однажды у старухи пассажирки кто-то вытащил кошель с деньгами; было это ясным, тихим вечером, все люди жили добродушно и мирно. Капитан дал старухе пять рублей, пассажиры тоже собрали между собою сколько-то; когда деньги отдали старухе, она, крестясь и кланяясь в пояс людям, сказала:

– Родимые – тут на три целковых с гривенником лишку вышло противу моих-то!

Кто-то весело крикнул:

– Бери всё, бабка, чего зря звонить? Трёшница никогда не лишняя...

Кто-то складно сказал:

– Деньги – не люди, лишними не будут...

А Яков подошёл к старухе и предложил серьёзно:

– Давай мне лишнее-то, я в карты сыграю!

Публика засмеялась, думая, что кочегар шутит, но он стал настойчиво уговаривать смущенную старуху:

– Давай, бабка! На кой тебе деньги? Тебе завтра – на погост...

Его прогнали, изругав; он, покачивая головою, говорил мне с удивлением:

– Чудак народ! Чего бы путаться в чужое дело? Ведь она сама объявила – деньги ей лишние! А меня бы трёшка утешила...

Деньги, должно быть, очень забавляли его своей внешностью, – разговаривая, он любил чистить серебро и медь о штаны, а высветлив монету до блеска и пошевеливая

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
бровями, разглядывал её, держа в кривых пальцах перед курносым лицом. Но он был не жаден на деньги.

Однажды он предложил мне играть с ним в стуколку, я не умел.

– Не умеешь? – удивился он. – Как же ты? А ещё грамотен! Надо тебя обучить. Давай играть внарошку, на сахар...

Он выиграл у меня полфунта пилёного сахара и всё прятал куски за мохнатую щёку, потом, найдя, что я умею уже играть, предложил:

– Теперь давай всерьёз играть, на деньги! Есть деньги?

– Есть пять рублей.

– А у меня два с гаком.

Разумеется, он живо обыграл меня. Желая отыграться, я поставил на кон поддёвку в пять рублей и – проиграл, поставил новые сапоги в трёшницу – тоже проиграл. Тогда Яков сказал мне недовольно, почти сердито:

– Нет, ты играть не можешь, больно горяч – сейчас поддевку долой, сапоги! Это мне не надо. На-ко, возьми обратно одежду и деньги возьми, четыре целковых, а рубль – мне за науку... Ладно ли?

Я был очень благодарен ему.

– Наплевать! – сказал он в ответ на мои благодарности. – Игра – это игра, забава, значит, а ты словно в драку лезешь. Горячиться и в драке не надо – бей с расчётом! Чего там горячиться? Ты – молодой, должен держать себя крепко. Раз – не удалось, пять – не удалось, семь – плюнь! Отойди. Простынешь – опять валяй! Это – игра!

Мне он всё более нравился и не нравился. Иногда его рассказы напоминали бабушку. Было в нём много чего-то, что привлекало меня, но – резко отталкивало его густое, видимо, на всю жизнь устоявшееся, равнодушие к людям.

Как-то раз, на закате солнца, пьяный пассажир второго класса, дородный купец-пермяк, упал за борт и, барахтаясь, поплыл по красно-золотой водной дороге. Машину быстро застопорили, пароход остановился, пустив из-под колёс облако пены, красные лучи заката окровавили её; в этой кипящей крови, уже далеко за кормой, бултыхалось тёмное тело, раздавался по реке дикий крик, потрясавший душу. Пассажиры тоже орали, толкаясь, наваливаясь на борта, сгрудившись на корме. Товарищ утопавшего – тоже пьяный, рыжий и лысый – бил всех кулаками, прорываясь к борту, и рычал:

– Прочь! Я его сейчас достигну...

Уже двое матросов бросились в воду и саженками плыли к утопавшему, с кормы спускали шлюпку, а среди криков команды, визга женщин спокойной и ровной струйкой растекался сиповатый голос Якова:

– Уто-онет, всё едино утонет, потому – поддёвка на нём! В длинной одежде – обязательно утонешь. Напримерно – бабы, отчего они скорее мужика тонут? От юбок. Баба, как попала в воду, так сейчас и на дно, гирей-пудовкой... Глядите – вот и потонул, я зря не скажу...

Купец действительно потонул, его искали часа два и не нашли. Товарищ его, отрезвев, сидел на корме и, отдуваясь, жалобно бормотал:

– Ну, вот, доехали-и! Как теперь быть, а? Что родным-то скажу, а? Родные у него...

Яков встал перед ним, спрятав руки за спину, и начал утешать:

– Ничего, купец! Никто ведь не знает, где ему заказано помереть. Иной человек поест грибов, да хватить – и помер! Тыщи людей грибы едят на здоровье, а один – на смерть! А – что грибы?

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
Широкий, крепкий, он жерновом стоял перед купцом и сыпал на него слова, как отруби. Сначала купец молча плакал, отирая слёзы с бороды широкими ладонями, но, прислушавшись, взвыл:

– Леший! Что ты из меня душеньку тянешь? Православные, уберите его, а то – грех будет!

Яков, спокойно отходя, сказал:

– Чудак народ! К нему – с добром, а он – колом...

Иногда кочегар казался мне дурачком, но чаще я думал, что он нарочно притворяется глупым. Мне упрямо хотелось выпросить его о том, как он ходил по земле, что видел, но это плохо удавалось; закидывая голову вверх, чуть приоткрыв медвежьи тёмные глаза, он гладил рукою мшистое свое лицо и тянул, вспоминая:

– Народишку везде, браток, как муравья! И там народ, и тут, – суета, я те скажу! Боле всего, конечно, крестьян, – прямо засыпана земля мужиком, как осенним листом, скажем. Болгаре? Видал болгаров, и греков тоже, а то – сербей, румынцев тоже и всяких цыган, – много их, разных! Какой народ? Да ведь какой же? В городах – городской, в деревнях – деревенской, совсем как у нас. Схожести много. Которые даже говорят по-нашему, только плохо, как, например, татаре али мордва. Греки не могут по-нашему, они лопочут как попало, говорят будто слова, а что к чему – нельзя понять. С ними надо на пальцах говорить. А старичок мой – он прикидывался, что будто и греков понимает, бормочет – карамара да калимера. Хитрый был старичок, здорово калил их!.. Опять ты спрашиваешь – какие? Чудак, какие же люди могут быть? Ну, конечно, чёрные они, и румыне тоже чёрные, это одна вера. Болгаре – тоже чёрные, ну, эти веруют по-нашему. А греки – это вроде турков...

Мне казалось, что он говорит не всё, что знает; есть у него ещё что-то, о чём он не хочет сказать.

По картинам журналов я знал, что столица Греции Афины – древнейший и очень красивый город, но Яков, сомнительно покачивая головой, отвергал Афины.

– Это тебе наврали, браток, Афинов нету, а есть – Афон, только это не город, а гора, и на ней – монастырь. Боле ничего. Называется: святая гора Афон, такие картинки есть, старик торговал ими. Есть город Белгород, стоит на Дунай-реке, вроде Ярославля алибо Нижнего. Города у них неказисты, а вот деревни – другое дело! Бабы тоже, ну, бабы просто до смерти утешны! Из-за одной я чуть не остался там, – как бишь её звали?

Он крепко трёт ладонями слепое лицо, жёсткие волосы тихонько хрустят, в горле у него, глубоко где-то, звучит смех, напоминая бряканье разбитого бубенчика.

– Забывчив человек! А ведь как мы с ней, бывало... Прощалась она – плакала, и я плакал даже, ей-бо-о...

Он со спокойным бесстыдством начинал поучать меня, как нужно обращаться с женщинами.

Мы сидим на корме, тёплая лунная ночь плывёт навстречу нам, луговой берег едва виден за серебряной водою, с горного – мигают жёлтые огни, какие-то звёзды, пленённые землёю. Всё вокруг движется, бессонно трепещет, живёт тихою, но настойчивой жизнью. В милую, грустную тишину падают сиповатые слова:

– Бывало, раскинет руки, распнется...

Рассказ Якова бесстыден, но не противен, в нём нет хвастовства, в нём нет жестокости, а звучит что-то простодушное и немножко печали. Луна в небе тоже бесстыдно гола и так же волнует, заставляя грустить о чём-то. Вспоминается только хорошее, самое лучшее – Королева Марго и незабвенные своею правдой стихи:

Только песне нужна красота,
Красоте же – и песни не надо...

Стряхивая с себя это мечтательное настроение, как лёгкую дремоту, я снова выпрашиваю кочегара об его жизни, о том, что он видел.

– Чудак ты, – говорит он, – чего же тебе сказать? Я всё видел. Спроси: монастыри видел? Видел. А трактиры? Тоже видел. Видел господскую жизнь и мужицкую. Жил сыто, жил и голодно...

Медленно, точно переходя глубокий ручей по зыбкому, опасному мосту, он вспоминает:

– Ну, вот, примерно, сию я в части, за конокрадство – будет мне Сибирь, думаю! А квартальный – ругается, печи у него дымят в новом доме. Я говорю: «Это дело я, ваше благородие, могу поправить». Он – на меня: «Молчать! Тут, баэт, самолучший мастер ничего не мог...» А я ему: «Случается, что и пастух умнее генерала», – я тогда осмелел очень ко всему, всё едино – впереди Сибирь! Он говорит: «Валяй, ну, говорит, если ещё хуже буде – я те кости в дробь истолку!» В двое суток я ему дело наладил – удивляется квартальный, кричит: «Ах ты, дурак, болван! Ведь ты – мастер, а ты коней крадешь, как это?» Я ему баю: «Это, мол, ваше благородие, просто глупость.» – «Верно, говорит, глупость, жалко, говорит, мне тебя!» Да. Жалко, дескать. Видал? Полицейский человек, по должности своей безжалостный, а вот пожалел...

– Ну, и что же? – спрашиваю я.

– Ничего. Пожалел. А чего ещё?

– Чего ж тебя жалеть, ты вон какой камень!

Яков добродушно смеётся:

– Ч-чудак! Камень, говорит, а? А ты и камень сумеи пожалеть, камень тоже своему месту служит, камнем улицы мостят. Всякой материал жалеть надо, зря ничего не лежит. Что есть песок? А и на нем растут былинки...

Когда кочегар говорит так, мне особенно ясно, что он знает что-то непостижимое для меня...

– Что ты думаешь о поваре? – спрашиваю я.

– Про Медвежонка-то? – равнодушно говорит Яков. – Что про него думать? Тут думать вовсе нечего.

Это верно. Иван Иванович такой строго правильный, гладкий, что мысль не может зацепиться за него. В нём интересно только одно: он не любит кочегара, всегда ругает его и – всегда приглашает пить чай.

Однажды он сказал ему:

– Кабы стояло крепостное право да был бы я твой барин – я бы те, дармоеда, каждую неделю по семи раз порол!

Яков серьёзно заметил:

– Семь разов – многонько!

Ругая кочегара, повар зачем-то кормит его всякой всячиной; грубо сунет ему кусок и скажет:

– Жри!

Яков не торопясь жуёт и говорит:

– Множество силы накоплю я через тебя, Иван Иваныч!

– А куда тебе, лентяю, сила?

– Как куда? Жить буду долго...

– Да зачем тебе жить, леший!

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
– И леший живет. Али, скажешь, не забавно жить-то? Жить, Иван Иванович, утешно
очень...

– Экой едиот!

– Чего это?

– Е-ди-от.

– Вона какое слово, – удивляется Яков, а Медвежонок говорит мне:

– Вот, сообрази: мы кровь сочим, кости сушим в адовой жаре у плиты, а он – на
вот, жуёт себе, как боров!

– Всякому своя судьба, – говорит кочегар, пережёвывая пищу.

Я знаю, что перед топкой тяжелее и жарче работать, чем у плиты, я несколько раз
по ночам пытался «шуровать» вместе с Яковым, и мне странно, что он почему-то не
хочет указать повару на тяжесть своего труда. Нет, этот человек знает что-то
особенное...

Его все ругали – капитан, машинист, боцман – все, кому не лень, и было странно:
почему его не рассчитают? Кочегары относились к нему заметно лучше других людей,
хотя и высмеивали за болтовню, за игру в карты. Я спрашивал их:

– Яков – хороший человек?

– Яков-то? Ничего. Он – безобидный, с ним что хошь делай, хоть калёные угли за
пазуху ему клади...

При тяжелом труде у котлов и при его лошадином аппетите, кочегар спал очень мало
– сменится с вахты и, часто не переодеваясь, потный, грязный, торчит всю ночь на
корме, беседуя с пассажирами или играя в карты.

Он стоял предо мною, как запертый сундук, в котором, я чувствовал, спрятано
нечто необходимое мне, и я упрямо искал ключа, который отпер бы его.

– Чего ты, браток, добиваешься, не могу я понять? – справлялся он, разглядывая
меня невидимыми из-под бровей глазами. – Ну, земля, ну, действительно, что
обошел я её много, а еще что? Ч-чудак! Я те, вот лучше послушай, расскажу, что
однова со мной было.

И рассказывает. Жил-был в уездном городе молодой судья, чахоточный, а жена у
него – немка, здоровая, бездетная. И влюбилась немка в краснорядца-купца; купец
– женатый, жена – красивая, трое детей. Вот купец заметил, что немка влюбилась в
него, и затеял посмеяться над нею: позвал её к себе в сад ночью, а сам пригласил
двоих приятелей и спрятал их в саду, в кустах.

Чудесно! Ну, пришла немка, то да се, я – вот она, дескать, вся тут! А он ей
говорит: я тебе, барыня, не могу отвечать, я – женатый, а вот припас я для тебя
двух приятелей, так они – один вдов, другой холостой. Немка – ах! – да как
хлобыснет его по харе, он – опрокинулся через скамью, а она его, в морду-то,
башмаком да каблуком! А я её провожал, – я дворником был у судьи; гляжу в щель,
сквозь забор – вижу, кипит похлёбка. Тут выскочили приятели на неё да – за косы,
а я перемахнул через забор, растолкал их: «Этак, баю, нельзя, господа купцы!»
Барыня к нему со всей душой, а он придумал срамно. Увел её, а они мне кирпичом
голову прошибли... Затосковала она, ходит по двору сама не своя и говорит мне:
«Уеду я к своим, к немцам, Яков, как только муж помрёт, – уеду!» Я говорю:
«Конешно, надо уезжать!» Помер судья, и уехала она. Ласковая была, разумная
такая. И судья тоже ласковый был, упокой господи...

Недоумеваю, не понимая смысла этой истории, я молчу. Чувствую в этом что-то
знакомое, безжалостное, нелепое, но – что сказать?

– Хороша история? – спрашивает Яков.

Я что-то говорю, возмущённо ругаюсь, но он спокойно объясняет:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Люди сытые, всем довольны; ну, иной раз хочется пошутить, а не выходит у них шутка, не умеют будто. Люди серьёзные, торговые, конечно. Торговля требует немалого ума; умом жить поди-ка скушно, вот и захочется побаловать.

За кормою, вся в пене, быстро мчится река, слышно кипение бегущей воды, чёрный берег медленно провожает её. На палубе храпят пассажиры, между скамей – между сонных тел – тихо двигается, приближаясь к нам, высокая, сухая женщина в чёрном платье, с открытой седой головою, – кочегар, толкнув меня плечом, говорит тихонько:

– Глади – тоскует...

И мне кажется, что чужая тоска забавляет его.

Рассказывал он много, я слушал его жадно, хорошо помню все его рассказы, но не помню ни одного веселого. Он говорил более спокойно, чем книги, – в книгах я часто слышал чувство писателя, его гнев, радость, его печаль, насмешку. Кочегар не смеялся, не осуждал, ничто не обижало его и не радовало заметно; он говорил, как равнодушный свидетель перед судьёй, как человек, которому одинаково чужды обвиняемые, обвинители, судьи... Это равнодушие вызывало у меня все более злую тоску, будило чувство сердитой неприязни к Якову.

Жизнь горела перед ним, как огонь в топке под котлами, он стоял перед топкой с деревянным молотком в корявой медвежьей лапе и тихонько стучал по крану форсунки, убавляя или прибавляя топлива.

– Обижали тебя?

– Кто ж меня обидит? Я ведь сильный, как дам раза!..

– Я не про побои, а душу – обижали?

– Душу нельзя обидеть, душа обиды не принимает, – говорит он. – Души человеческой никак не коснешься, ничем...

Палубные пассажиры, матросы, все люди говорили о душе так же много и часто, как о земле, работе, о хлебе и женщинах. Душа – десятое слово в речах простых людей, слово ходовое, как пятак. Мне не нравится, что слово это так прижилось на скользких языках людей, а когда мужики матерщинничают, злобно и ласково, поганя душу, – это бьёт меня по сердцу.

Я очень помню, как осторожно говорила бабушка о душе, таинственном вместилище любви, красоты, радости, я верил, что после смерти хорошего человека белые ангелы относят душу его в голубое небо, к доброму богу моей бабушки, а он ласково встречает её:

– Что, моя милая, что, моя чистая, – настрадалась, намаялась?

И дает душе серафимовы крылья – шесть белых крылий.

Яков Шумов говорит о душе так же осторожно, мало и неохотно, как говорила о ней бабушка. Ругаясь, он не задевал душу, а когда о ней рассуждали другие, молчал, согнув красную бычью шею. Когда я спрашиваю его – что такое душа? – он отвечает:

– Дух, дыхание божие...

Мне мало этого, я спрашиваю еще о чём-то, тогда кочегар, наклонив голову, говорит:

– О душе, браток, и попы мало понимают, это дело закрытое...

Он держит меня в постоянных думах о нём, в упорном напряжении понять его, но это напряжение безуспешно. Кроме его, я ничего не вижу, он все заслоняет от меня своей широкой фигурой.

Ко мне подозрительно ласково относится буфетчица, – утром я должен подавать ей умываться, хотя это обязанность второклассной горничной Луши, чистенькой и веселой девушки. Когда я стою в тесной каюте, около буфетчицы, по пояс голой, и

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
вижу её жёлтое тело, дряблое, как перекишенное тесто, вспоминается литое, смуглое
тело королевы Марго, и – мне противно. А буфетчица всё говорит о чём-то, то
жалобно и ворчливо, то сердито и насмешливо.

Смысл её речей не доходит до меня, хотя я как бы издали догадываюсь о нём, – это
жалкий, нищенский, стыдный смысл. Но я не возмущаюсь – я живу далеко от
буфетчицы и ото всего, что делается на пароходе, я – за большим мохнатым камнем,
он скрывает от меня весь этот мир, день и ночь плывущий куда-то.

– Совсем влюбилась в тебя наша Гавриловна, – как сквозь сон слышу я насмешливые
слова Луши. – Разевай рот, лови счастье...

Не только она высмеивает меня, вся буфетная прислуга знает о слабости хозяйки, а
повар говорит, морщась:

– Всего баба покушала – пирожного захотела, безе! Н-народ... Гляди, Пешков, в оба,
а зри – в три...

И Яков тоже внушает мне отечески деловито:

– Конечно, ежели бы ты был лета на два старше, ну – я бы те сказал иначе как, а
теперь, при твоих годах, – лучше, пожалуй, не сдавайся! А то – как хошь...

– Брось, – говорю я, – пакость это...

– Конечно...

Но тотчас же, пытаюсь растрепать пальцами свалывшиеся волосы на голове, сеет
свои кругленькие слова:

– Ну, тоже и её дело надо понять, – это дело – скучное, дело зимнее... И собака
любит, когда её гладят, того боле – человек! Баба живёт лаской, как гриб
сыростью. Ей поди самой стыдно, а – что делать? Тело просит холи и – ничего.

Я спрашиваю, с напряжением глядя в его неуловимые глаза:

– Тебе – жалко ее?

– Мне-то? Мать она мне, что ли? Матерей не жалеют, а ты... чудак!

Он смеётся негромко, разбитым бубенчиком.

Иногда я, глядя на него, как бы проваливаюсь в немую пустоту, в бездонную яму и
сумрак.

– Вот все женятся, а ты, Яков, почему не женишься?

– А на што? Бабу я и так завсегда добуду, это, слава богу, просто... Женатому надо
на месте жить, крестьянствовать, а у меня – земля плохая, да и мало её, да и ту
дядя отобрал. Воротился брательник из солдат, давай с дядей спорить, судиться,
да – колом его по голове. Кровь пролил. Его за это – в острог на полтора года, а
из острога – одна дорога – опять в острог. А жена его утешная молодуха была... да
что говорить! Женился – значит, сиди около своей конуры хозяином, а солдат – не
хозяин своей жизни.

– Ты богу молишься?

– Ч-чудак! Конечно, молюсь...

– А как?

– Всяко.

– Ты какие молитвы читаешь?

– Молитвов я не знаю. Я, братец, просто: господи Исусе, живого – помилуй,
мертвого – упокой, спаси, господи, от болезни... Ну, еще что-нибудь скажу...

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
– что?

– А так! Ему – что ни скажи, все дойдет!

Он относится ко мне ласково, с любопытством, как к неглупому кутёнку, который умеет делать забавные штуки. Бывало, сидишь с ним ночью, от него пахнет нефтью, гарью, луком, – он любил лук и грыз сырые луковицы, точно яблоки; вдруг он спросит:

– Ну-кася, Олёха, ероха-воха, скажи стишок!

Я знаю много стихов на память, кроме того, у меня есть толстая тетрадь, где записано любимое. Читаю ему «Руслана», он слушает неподвижно, слепой и немой, сдерживая хрипящее дыхание, потом говорит негромко:

– Утешная, складная сказочка! Сам, что ли, придумал? Пушкин? Есть такой барин Мухин-Пушкин, видал я его...

– Не тот, того давно убили!

– За што?

Я рассказываю теми краткими словами, как рассказывала мне Королева Марго. Яков слушает, потом спокойно говорит:

– Из-за баб очень достаточно пропадает народа...

Часто я передаю ему разные истории, вычитанные из книг; все они спутались, скипелись у меня в одну длиннейшую историю беспокойной, красивой жизни, насыщенной огненными страстями, полной безумных подвигов, пурпурового благородства, сказочных удач, дуэлей и смертей, благородных слов и подлых деяний. Рокамболь принимал у меня рыцарские черты Ля-Моля, Аннибала, Колонна; Людовик XI – черты отца Гранде; корнет Отлетаев сливается с Генрихом IV. Эта история, в которой я, по вдохновению, изменял характеры людей, перемещал события, была для меня миром, где я был свободен, подобно дедову богу, – он тоже играет всем, как хочет. Не мешая мне видеть действительность такую, какова она была, не охлаждая моего желания понимать живых людей, этот книжный хаос прикрывал меня прозрачным, но непроницаемым облаком от множества заразной грязи, от ядовитых отрав жизни.

Книги сделали меня неуязвимым для многого: зная, как любят и страдают, нельзя идти в публичный дом; копеечный развратшко возбуждал отвращение к нему и жалость к людям, которм он был сладок. Рокамболь учил меня быть бойким не поддаваться силе обстоятельств, герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному великому делу. Любимым героем моим был веселый король Генрих IV, мне казалось, что именно о нём говорит славная песня Беранже:

Он мужику дал много льгот
И выпить сам любил;
Да – если счастлив весь народ,
С чего бы царь не пил?

Романы рисовали Генриха IV добрым человеком, близким своему народу; ясный, как солнце, он внушал мне убеждение что Франция – прекраснейшая страна всей земли, страна рыцарей, одинаково благородных в мантии короля и одежде крестьянина: Анж Питу такой же рыцарь, как и д'Артаньян. Когда Генриха убили, я угрюмо заплакал и заскрипел зубами от ненависти к Равальяку. Этот король почти всегда являлся главным героем моих рассказов кочегару, и мне казалось, что Яков тоже полюбил Францию и «Хенрика».

– Хороший человек был Хенрик-король – с ним хоть ершей ловить, хоть что хошь, – говорил он.

Он не восхищался, не перебивал моих рассказов вопросами, он слушал молча, опустив брови, с лицом неподвижным, – старый камень, прикрытый плесенью. Но если я почему-либо прерывал речь, он тотчас осведомлялся:

– Конец?

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax

– Нет еще.

– А ты не останавливайся!

О французах он говорил, вздыхая:

– Прохладно живут...

– Как это?...

– А вот мы с тобой в жаре живём, в работе, а они – в прохладе. И делов у них никаких нет, только пьют да гуляют, – утешная жизнь!

– Они и работают.

– Не видать этого по историям-то по твоим, – справедливо заметил кочегар, и мне вдруг стало ясно, что огромное большинство книг, прочитанных мною, почти совсем не говорит, как работают, каким трудом живут благородные герои.

– Ну-кась, посплю я немножко, – говорил Яков, опрокидываясь на спину там, где сидел, и через минуту мерно свистал носом.

Осенью, когда берега Камы порыжели, деревья озолотились, а косые лучи солнца стали белеть, – Яков неожиданно ушёл с парохода. Ещё накануне этого он говорил мне:

– Послезавтра прибудем мы с тобой, ероха-воха в Пермь сходим в баню, попаримся за милую душу, а оттелева – зарядим в трактир с музыкой – утешно! Люблю я глядеть, как машина играет.

Но в Сарапуле сел на пароход толстый мужчина с дряблым, бабьим лицом без бороды и усов. Теплая длинная чуйка и картуз с наушниками из лисьего меха ещё более усиливали его сходство с женщиной. Он тотчас же занял столик около кухни, где было теплее, спросил чайный прибор и начал пить жёлтый кипяток, не расстегнув чуйки, не сняв картуза, обильно потея.

Осенние тучи неугомонно сеяли мелкий дождь, и казалось что когда этот человек вытрет клетчатый платком пот с лица, дождь идёт тише, а по мере того, как человек снова потеет, – и дождь становится сильнее.

Скоро около него очутился Яков, и они стали рассматривать карту в календаре, – пассажир водил по ней пальцем, а кочегар спокойно говорил:

– Что ж! Ничего. Это мне – наплевать...

– И хорошо, – тоненьким голосом сказал пассажир, сунув календарь в приоткрытый кожаный мешок у своих ног. Тихонько разговаривая, они начали пить чай.

Перед тем как Яков пошел на вахту, я спросил его, что это за человек. Он ответил, усмехаясь:

– Видать, будто голубь, скопец, значит. Из Сибири, дале-еко! Забавный, по планту живёт...

Он пошёл прочь от меня, ступая по палубе чёрными пятками, твердыми, точно копыта, но снова остановился, почесывая бок.

– Я к нему в работники нанялся; как в Перму приедем, слезу с парохода, прощай, ероха-воха! По железной дороге ехать, потом – по реке да на лошадях ещё; пять недель будто ехать надо, вона, куда человек забился...

– Ты его знаешь? – спросил я, удивлённый неожиданным решением Якова.

– Отколе? И не видывал николи, я в его местах не жил ведь...

Наутро Яков, одетый в короткий, сальный полушубок, в опорках на босую ногу, в изломанной, без полей, соломенной шляпе Медвежонка, тискал мою руку чугунными пальцами и говорил:

– Вали со мной, а? Он возьмёт и тебя, голубь-то, ежели сказать ему; хошь-скажу? Отрежут тебе лишнее, денег дадут. Им это – праздник, человека изуродовать, они за это наградят...

Скопец стоял у борта с беленьким узелком под мышкой, упорно смотрел на Якова мёртвыми глазами, грузный, вспухший, как утопленник. Я негромко обругал его, кочегар ещё раз тиснул мою ладонь.

– Пускай его, наплевать! Всяк своему богу молится, нам – что? Ну, прощай! живи на счастье!

И ушёл Яков Шумов, переваливаясь с ноги на ногу, как медведь, оставив в сердце моём нелегкое, сложное чувство, – было жалко кочегара и досадно на него, было, помнится, немножко завидно, и тревожно думалось: зачем пошел человек неведомо куда?

И – что же за человек Яков Шумов?

XII

Позднею осенью, когда рейсы парохода кончились, я поступил учеником в мастерскую иконописи, но через день хозяйка моя, мягкая и пьяненькая старушка, объявила мне владимирским говором:

– Дни теперя коротенькие, вечера длинные, так ты с утра будешь в лавку ходить, мальчиком при лавке постоишь, а вечерами – учись!

И отдала меня во власть маленького быстроногого приказчика, молодого парня с красивеньким, приторным лицом. По утрам, в холодном сумраке рассвета, я иду с ним через весь город по сонной купеческой улице Ильинке на Нижний базар; там, во втором этаже Гостиного двора, помещается лавка. Приспособленная из кладовой, темная, с железною дверью и одним маленьким окном на террасу, крытую железом, лавка была тесно набита иконами разных размеров, киотами, гладкими и с «виноградом», книгами церковнославянской печати, в переплетах желтой кожи. Рядом с нашей лавкой помещалась другая, в ней торговал тоже иконами и книгами чернобородый купец, родственник староверческого начетчика, известного за Волгой, в керженских краях; при купце – сухонький и бойкий сын, моего возраста, с маленьким серым личиком старика, с беспокойными глазами мышонка.

Открыв лавку, я должен был сбегать за кипятком в трактир; напившись чаю – прибрать лавку, стереть пыль с товара и потом – торчать на террасе, зорко следя, чтобы покупатели не заходили в лавку соседа.

– Покупатель – дурак, – уверенно говорил мне приказчик. – Ему всё едино, где купить, лишь бы дешево, а в товаре он не понимает!

Быстро щелкая дощечками икон, хвастаясь тонким знанием дела, он поучал меня:

– Мстёрской работы – товар дешевый, три вершка на четыре – себе стоит... шесть вершков на семь – себе стоит... Святых знаешь? Запомни: Вонифатий – от запоя; Варвара Великомученица – от зубной боли, нечаянная смерти; Василий Блаженный – от лихорадки, горячки... Богородиц знаешь? Гляди: Скорбящая, Троеручица, Абалацкая-Знамение, Не рыдай мене, мати, Утоли моя печали, Казанская, Дейсус, Покрова, Семистрельная...

Я быстро запомнил цены икон по размерам и работе, запомнил различия в иконах богородиц, но запомнить значение святых было нелегко.

Задумаешься, бывало, о чем-нибудь, стоя у двери лавки, а приказчик вдруг начнет проверять мои знания:

– Трудных родов разрешитель – кто будет?

Если я ошибаюсь, он презрительно спрашивает:

– Для чего у тебя голова?

Еще труднее было зазывать покупателей; уродливо написанные иконы не нравились

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
мне, продавать их было неловко. По рассказам бабушки я представлял себе богородицу молодой, красивой, доброй; такую она была и на картинках журналов, а иконы изображали ее старой, строгой, с длинным, кривым носом и деревянными ручками.

В базарные дни, среду и пятницу, торговля шла бойко, на террасе то и дело появлялись мужики и старухи, иногда целые семьи, всё – старообрядцы из Заволжья, недоверчивый и угрюмый лесной народ. Увидишь, бывало, как медленно, точно боясь провалиться, шагает по галерее тяжелый человек, закутанный в овчину и толстое, дома валянное сукно, – становится неловко перед ним, стыдно. С великим усилием встанешь на дороге ему, вертишься под его ногами в пудовых сапогах и комаром поешь:

– Что вам угодно, почтенный? Псалтири следованные и толковые, Ефрема Сирина книги, Кирилловы, уставы, часословы – пожалуйста, взгляните! Иконы все, какие желаете, на разные цены, лучшей работы, темных красок! На заказ пишем кого угодно, всех святых и богородиц! Именную, может, желаете заказать, семейную? Лучшая мастерская в России! Первая торговля в городе!

Непроницаемый и непонятный покупатель долго молчит, глядя на меня, как на собаку, и вдруг, отодвинув меня в сторону деревянной рукою, идет в лавку соседа, а приказчик мой, потирая большие уши, сердито ворчит:

– Упустил, тор-рговец..

В лавке соседа гудит мягкий, сладкий голос, течет одуряющая речь:

– Мы, родимый, не овчиной торгуем, не сапогом, а – божьей благодатью, которая превыше сребра-злата, и нет ей никакой цены..

– Ч-чёрт! – шепчет мой приказчик с завистью и восхищением. – Здорово заливаешь глаза мужику! Учись! Учись!

Я учился добросовестно, – всякое дело надо делать хорошо, коли взялся за него. Но я плохо преуспевал в заманивании покупателей и в торговле, – эти угрюмые мужики, скупые на слова, старухи, похожие на крыс, всегда чем-то испуганные, поникшие, вызывали у меня жалость к ним, хотелось сказать тихонько покупателю настоящую цену иконы, не запрашивая лишнего двугривенного. Все они казались мне бедными, голодными, и было странно видеть, что эти люди платят по три рубля с полтиной за Псалтырь – книгу, которую они покупали чаще других.

Они удивляли меня своим знанием книг, достоинств письма на иконах, а однажды седенький старичок, которого я загонял в лавку, кротко сказал мне:

– Неправда это будет, малый, что ваша мастерская по иконам самолучшая в России, самолучшая-то – Рогожина, в Москве!

Смутясь, я посторонился, а он тихонько пошел дальше, не зайдя и в лавку соседа.

– Съел? – ехидно спросил меня приказчик.

– Вы мне не говорили про мастерскую Рогожина.. Он начал ругаться:

– Шляются вот эдакие тихони и всё знают, анафемы, всё понимают, старые псы..

Красивенький, сытый и самолюбивый, он ненавидел мужиков и в добрые минуты жаловался мне:

– Я – умный, я чистоту люблю, хорошие запахи – ладан, одеколон, а при таком моем достоинстве должен вонючему мужику в пояс кланяться, чтоб он хозяйке пятак барыша дал! Хорошо это мне? Что такое мужик? Кислая шерсть, вошь земная, а между тем..

Он огорченно умолкал.

Мне мужики нравились, в каждом из них чувствовалось нечто таинственное, как в Якове.

Бывало, влезет в лавку грузная фигура в чапане, надетом сверху полушубка, снимет мохнатую шапку, перекрестится двумя перстами, глядя в угол, где мерцает лампада, и стараясь не задевать глазами неосвященных икон, потом молча пощупает взглядом вокруг себя и скажет:

– Дай-кошь Псалтирь толковую!

Засучив рукава чапана, он долго читает выходной лист, шевеля землистыми, до крови потрескавшимися губами.

– Подревнее – нет?

– Древние – тысячи целковых стоят, как вы знаете...

– Знаем.

Помуслив палец, мужик перевертывает страницу, – там, где он коснулся ее, остается темный снимок с пальца. Приказчик, глядя в темя покупателя злым взглядом, говорит:

– Священное писание всё одной древности, господь слова своего не изменял...

– Знаем, слышали! Господь не изменял, да Никон изменил.

И, закрыв книгу, покупатель молча уходит.

Иногда эти лесные люди спорили с приказчиком, и мне было ясно, что они знают писание лучше, чем он.

– Язычники болотные, – ворчал приказчик.

Я видел также, что, хотя новая книга и не по сердцу мужику, он смотрит на нее с уважением, прикасается к ней осторожно, словно книга способна вылететь птицей из рук его. Это было очень приятно видеть, потому что и для меня книга – чудо, в ней заключена душа написавшего ее; открыв книгу, я освобождаю эту душу, и она таинственно говорит со мною.

Весьма часто старики и старухи приносили продавать древнепечатные книги дониконовских времен или списки таких книг, красиво сделанные скитницами на Иргизе и Керженце; списки миней, не правленных Дмитрием Ростовским; древнего письма иконы, кресты и медные складни с финифтью, поморского литья, серебряные ковши, даренные московскими князьями кабацким целовальникам; всё это предлагалось таинственно, с оглядкой, из-под полы.

И мой приказчик и наш сосед очень зорко следили за такими продавцами, стараясь перехватить их друг у друга; покупая древности за рубли и десятки рублей, они продавали их на ярмарке богатым старообрядцам за сотни.

Приказчик поучал меня:

– Ты следи за этими лешими, за колдуньями, во все глаза следи! Они счастье с собой приносят.

Когда являлся такой продавец, приказчик посылал меня за начетчиком Петром Васильичем, знатоком старопечатных книг, икон и всяких древностей.

Это был высокий старик, с длинной бородою Василия Блаженного, с умными глазами на приятном лице. Плюсна одной ноги у него была отрублена, он ходил прихрамывая, с длинной палкой в руке, зиму и лето в легкой, тонкой поддевке, похожей на рясу, в бархатном картузе странной формы, похожем на кастрюлю. Бодрый, прямой, он, входя в лавку, опускал плечи, изгибал спину, охал тихонько, часто крестился двумя перстами и всё время бормотал молитвы, псалмы. Это благочестие и старческая слабость сразу внушали продавцу доверие к начетчику.

– В чем дела-то выпачканы у вас? – спрашивал старик.

– Вот икона продается, принес человек, говорит – строгановская.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– чего?

– Строгановская.

– Ага... Плохо слышу, заградил господь ухо мое от мерзости словес никонианских...

Сняв картуз, он держит икону горизонтально, смотрит вдоль письма, сбоку, прямо, смотрит на шпонку в доске, щуря глаза, и мурлычет:

– Безбожники никониане, любовь нашу к древнему благообразию заметя и диаволом научаемы преехидно фальшам разным, ныне и святые образа поддельвают ловко, ой, ловко! С виду-те образ будто и впрямь строгановских али устюжских писем, а то – суздальских, ну, а взглядишь оком внутренним – фальша!

Если он говорит «фальша», значит – икона дорогая и редкая. Ряд условных выражений указывает приказчику, сколько можно дать за икону, за книгу; я знаю, что слова «уныние и скорбь» значат – десять рублей, «Никон-тигр» – двадцать пять; мне стыдно видеть, как обманывают продавца, но ловкая игра начетчика увлекает меня.

– Никониане-то, черные дети Никона-тигра, всё могут сделать, бесом руководимы, – вот и левкас будто настоящий, и доличное одной рукой написано, а лик-то, гляди, – не та кисть, не та! Старые-то мастера, как Симон Ушаков, – хоть он еретик был, – сам весь образ писал, и доличное и лик, сам и чку строгал и левкас наводил, а наших дней богомерзкие людишки этого не могут! Раньше-то иконопись святым делом была, а ныне – художество одно, так-то, боковы!

Наконец он осторожно кладет икону на прилавок и, надев картуз, говорит:

– Грехи.

Это значит – покупай!

Утопленный в реке сладких ему слов, пораженный знаниями старика, продавец уважительно спрашивает:

– Как же, почтенный, икона-то?

– Икона – никонианской руки.

– Быть того не может! На нее деда, прадеда молились...

– Никон-от пораньше прадеда твоего жил.

Старик подносит икону к лицу продавца и уже строго внушает:

– Ты гляди, какая она веселая, али это икона? Это – картина, слепое художество, никонианская забава, – в этой вещи духа нет! Буду ли я неправо говорить? Я – человек старый, за правду гонимый, мне скоро до бога идти, мне душой кривить – расчета нет!

Он выходит из лавки на террасу, умирающий от старческой слабости, обиженный недоверием к его оценке. Приказчик платит за икону несколько рублей, продавец уходит, низко поклонясь Петру Васильичу; меня посылают в трактир за кипятком для чая; возвратясь, я застаю начетчика бодрым, веселым; любовно разглядывая покупку, он учит приказчика:

– Гляди – икона – строгая, писана тонко, со страхом божиим, человечье – отринуто в ней...

– А чье письмо? – спрашивает приказчик, сияя и подпрыгивая.

– Это тебе рано знать.

– А сколько дадут знатоки?

– Это мне неизвестно. Давай, кое-кому покажу...

– Ох, Петр Васильич...

– А если продам – тебе полсотни, а что сверх того – мое!

– Ох...

– Да ты не охай...

Они пьют чай, бесстыдно торгуясь, глядя друг на друга глазами жуликов. Приказчик весь в руках старика, это ясно; а когда старик уйдет, он скажет мне:

– Ты, смотри, не болтай хозяйке про эту покупку!

Условившись о продаже иконы, приказчик спрашивает:

– А что новенького в городе, Петр Васильич?

Расправив бороду желтой рукой, обнажив масляные губы, старик рассказывает о жизни богатых купцов: о торговых удачах, о кутежах, о болезнях, свадьбах, об изменах жен и мужей. Он печет эти жирные рассказы быстро и ловко, как хорошая кухарка блины, и поливает их шипящим смехом. Кругленькое лицо приказчика буреет от зависти и врсторга, глаза подернуты мечтательной дымкой; вздыхая, он жалобно говорит:

– Живут люди! А я вот...

– У всякого своя судьба, – гудит басок начетчика. – Одному судьбу ангелы куют серебряными молоточками, а другому – бес обухом топора...

Этот крепкий, жилистый старик всё знает – всю жизнь города, все тайны купцов, чиновников, попов, мещан. Он зорок, точно хищная птица, в нем смешалось что-то волчье и лисье; мне всегда хочется рассердить его, но он смотрит на меня издали и словно сквозь туман. Он кажется мне окруженным бездонною пустотой; если подойти к нему ближе – куда-то провалишься. И я чувствую в нем нечто родственное кочегару Шу-мову.

Хотя приказчик в глаза и за глаза восхищается его умом, но есть минуты, когда ему так же, как и мне, хочется разозлить, обидеть старика.

– А ведь обманщик ты для людей, – вдруг говорит он, задорно глядя в лицо старика.

Старик, лениво усмехаясь, отзывается:

– Один господь без обмана, а мы – в дураках живем; ежели дурака не обмануть – какая от него польза?

Приказчик горячится:

– Не все же мужики – дураки, ведь купцы-то из мужиков выходят!

– Мы не про купцов беседу ведем. Дураки жуликами не живут. Дурак – свят, в нем мозги спят...

Старик говорит всё более лениво, и это очень раздражает. Мне кажется, что он стоит на кочке, а вокруг него – трясина. Рассердить его нельзя, он недостижим гневом или умеет глубоко прятать его.

Но часто бывало, что он сам начинал привязываться ко мне, – подойдет вплоть и, усмехаясь в бороду, спросит:

– Как ты французского-то сочинителя зовешь – Понос?

Меня отчаянно сердит эта дрянная манера коверкать имена, но, сдерживаясь до времени, я отвечаю:

– Понсон де Террайль.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– Где теряет?

– А вы не дурите, вы не маленький.

– Верно, не маленький. Ты чего читаешь?

– Ефрема Сирина.

– А кто лучше пишет: гражданские твои али этот? Я молчу.

– Гражданские-то о чем больше пишут? – не отстает он.

– Обо всем, что в жизни случается.

– Стало быть, о собаках, о лошадях, – это они случаются.

Приказчик хохочет, я злюсь. Мне очень тяжело, неприятно, но, если я сделаю попытку уйти от них, приказчик остановит:

– Куда?

А старик пытается меня:

– Ну-ка, грамотник, разгрызи задачу: стоят перед тобой тыща голых людей, пятьсот баб, пятьсот мужиков, а между ними Адам, Ева – как ты найдешь Адам-Еву?

Он долго допрашивает меня и, наконец, с торжеством объявляет:

– Дурачок, они ведь не родились, а созданы, значит – у них пупков нет!

Старик знает бесчисленное множество таких «задач», он может замучить ими.

Первое время дежурств в лавке я рассказывал приказчику содержание нескольких книг, прочитанных мною, теперь эти рассказы обратились во зло мне: приказчик передавал их Петру Васильеву, нарочито перевирая, грязно искажая. Старик ловко помогал ему в этом бесстыдными вопросами; их липкие языки забрасывали хламом постыдных слов Евгению Гранде, Людмилу, Генриха IV.

Я понимал, что они делают это не со зла, а со скуки, но мне от этого было не легче. Сотворив грязь, они рылись в ней, как свиньи, и хрюкали от наслаждения мять и пачкать красивое – чужое, непонятное и смешное им.

Весь Гостиный двор, всё население его, купцы и приказчики жили странной жизнью, полною глуповатых по-детски, но всегда злых забав. Если приезжий мужик спрашивал, как ближе пройти в то или иное место города, ему всегда указывали неверное направление, – это до такой степени вошло у всех в привычку, что уже не доставляло удовольствия обманщикам. Поймав пару крыс, связывали их хвостами, пускали на дорогу и любовались тем, как они рвутся в разные стороны, кусают друг друга; а иногда обольют крысу керосином и зажгут ее. Навязывали на хвост собаке разбитое железное ведро; собака в диком испуге, с визгом и грохотом мчалась куда-то, люди смотрели и хохотали.

Было много подобных развлечений, казалось, что все люди – деревенские в особенности – существуют исключительно для забав Гостиного двора. В отношении к человеку чувствовалось постоянное желание посмеяться над ним, сделать ему больно, неловко. И было странно, что книги, прочитанные мною, молчат об этом постоянном, напряженном стремлении людей издеваться друг над другом.

Одна из таких забав Гостиного двора казалась мне особенно обидной и противной.

Внизу, под нашей лавкой, у торговца шерстью и валяными сапогами был приказчик, удивлявший весь Нижний базар своим обжорством; его хозяин хвастался этой способностью работника, как хвастаются злобой собаки или силою лошади. Нередко он вызывал соседей по торговле на пари:

– Кто идет на десять целковых? Стою на том, что Мишка сожрет в два часа времени десять фунтов окорока!

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
Но все знали, что Мишка способен сделать это, и говорили:

- Пари не держим, а ветчины можно купить, пускай жрет, мы поглядим.
- Только – чтобы чистого мяса дать, без костей!

Поспорят немного и лениво, и вот из темной кладовой вылезает тощий, безбородый, скуластый парень в длинном драповом пальто, подпоясанный красным кушаком, весь облепленный клочьями шерсти. Почтительно сняв картуз с маленькой головы, он молча смотрит мутным взглядом глубоко ввалившихся глаз в круглое лицо хозяина, налитое багровой кровью, обросшее толстым, жестким волосом.

- Батман окорока сожрешь?
- В какое время-с? – тонким голосом деловито спрашивает Мишка.
- В два часа.
- Трудно-с!
- Чего там – трудно!
- Позвольте парочку пива-с!
- Валяй, – говорит хозяин и хвастается: – Вы не думайте, что он натошак, нет, он поутру фунта два калача смял да в полдень обедал, как полагается...

Приносят ветчину, собираются зрители, всё матерые купцы, туго закутанные в тяжелые шубы, похожие на огромные гири, люди с большими животами, а глаза у всех маленькие, в жировых опухолях и подернуты сонной дымкой неизбывной скуки.

Тесным кольцом, засунув руки в рукава, они окружают едока, вооруженного ножом и большой краюхой ржаного хлеба; он истово крестится, садится на куль шерсти, кладет окорок на ящик, рядом с собою, измеряет его пустыми глазами.

Отрезав тонкий ломоть хлеба и толстый мяса, едок аккуратно складывает их вместе, обеими руками подносит ко рту, – губы его дрожат, он облизывает их длинным собачьим языком, видны мелкие острые зубы, – и собачьей ухваткой наклоняет морду над мясом.

- Начал!
- Смотрите на часы!

Все глаза деловито направлены на лицо едока, на его нижнюю челюсть, на круглые желваки около ушей; смотрят, как острый подбородок равномерно падает и поднимается, вяло делятся мыслями:

- Чисто – медведь мнет!
- А ты видал медведя за едой?
- Али я в лесу живу? Это говорится так – жрет, как медведь.
- Говорится – как свинья.
- Свинья свинью не ест...

Неохотно смеются, и тотчас кто-то знающий поправляет:

- Свинья всё жрет – и поросят и свою сестру...

Лицо едока постепенно буреет, уши становятся сизыми, провалившиеся глаза вылезают из костяных ям, дышит он тяжело, но его подбородок двигается всё так же равномерно.

- Навались, Михаиле, время! – поощряют его. Он беспокойно измеряет глазами остатки мяса, пьет пиво и снова чавкает. Публика оживляется, всё чаще заглядывая

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
на часы в руках Мишкина хозяина, люди предупреждают друг друга:

– Не перевел бы часы-то он назад – возьмите у него! кусков!

За Мишкой следи: не спускал бы в рукава

– Не сожрет в срок!

Мишкин хозяин задорно кричит:

– Держу четвертной билет! Мишка, не выдай!

Публика задорит хозяина, но никто не принимает пари.

А Мишка всё жуёт, жуёт, лицо его стало похоже на ветчину, острый, хрящеватый нос жалобно свистит. Смотреть на него страшно, мне кажется, что он сейчас закричит, заплачет:

«Помилуйте...»

Или – заглотается мясом по горло, ткнется головой в ноги зрителям и умрет.

Наконец он всё съел, вытаращил пьяные глаза и хрипит устало:

– Испить дайте...

А его хозяин, глядя на часы, ворчит.

– Опоздал, подлец, на четыре минуты...

Публика дразнит его:

– Жаль, не шли на спор с тобой, проиграл бы ты!

– А все-таки зверь-парень!

– Н-да, его бы в цирк...

– Ведь как господь может изуродовать человека, а?

– Айдайте чай пить, что ли?

И плывут, как баржи, в трактир.

Я хочу понять, что сгрудило этих тяжелых, чугунных людей вокруг несчастного парня, почему его болезненное обжорство забавляет их?

Сумрачно и скучно в узкой галерее, тесно заваленной шерстью, овчинами, пенькой, канатом, валяным сапогом, шорным товаром. От панели ее отделяют колонны из кирпича; неуклюже толстые, они обглоданы временем, обрызганы грязью улицы. Все кирпичи и щели между ними, наверное, мысленно пересчитаны тысячи раз и навсегда легли в памяти тяжелой сетью своих уродливых узоров.

По панели не спеша идут пешеходы; по улице не торопясь двигаются извозчики, сани с товаром; за улицей, в красном кирпичном квадрате двухэтажных лавок, – площадь, заваленная ящиками, соломой, мятой оберточной бумагой, покрытая грязным, истоптанным снегом.

Всё это, вместе с людьми, лошадьми, несмотря на движение, кажется неподвижным, лениво кружится на одном месте, прикрепленное к нему невидимыми цепями. Вдруг почувствуешь, что эта жизнь – почти беззвучна, до немоты бедна звуками. Скрипят полозья саней, хлопают двери магазинов, кричат торговцы пирогами, сбитнем, но голоса людей звучат невесело, нехотя, они однообразны, к ним быстро привыкаешь и перестаешь замечать их.

Похоронно гудят колокола церквей, – этот унылый звон всегда в памяти уха; кажется, что он плавает в воздухе над базаром непрерывно, с утра до ночи, он прославляет все мысли, чувства, ложится пригнетающим медным осадком поверх всех

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
впечатлений.

Скука, холодная и нудная, дышит отовсюду: от земли, прикрытой грязным снегом, от серых сугробов на крышах, от мясного кирпича зданий; скука поднимается из труб серым дымом и ползет в серенькое, низкое, пустое небо; скукой дымятся лошади, дышат люди. Она имеет свой запах – тяжелый и тупой запах пота, жира, конопляного масла, подовых пирогов и дыма; этот запах жмет голову, как теплая, тесная шапка, и, просачиваясь в грудь, вызывает странное опьянение, темное желание закрыть глаза, отчаянно заорать, и бежать куда-то, и удариться головой с разбега о первую стену.

Я всматриваюсь в лица купцов, откормленные, туго налитые густой, жирной кровью, нащипанные морозом и неподвижные, как во сне. Люди часто зевают, расширяя рты, точно рыбы, выкинутые на сухой песок.

Зимой торговля слабая, и в глазах торгашей нет того настороженного, хищного блеска, который несколько красит, оживляет их летом. Тяжелые шубы, стесняя движения, пригибают людей к земле; говорят купцы лениво, а когда сердятся – спорят; я думаю, что они делают это нарочно, лишь бы показать друг другу: мы – живы!

Мне очень ясно, что скука давит их, убивает, и только безуспешной борьбой против ее всепоглощающей силы я могу объяснить себе жестокие и неумные забавы людей.

Иногда я беседую об этом с Петром Васильевым. Хотя вообще он относится ко мне насмешливо, с издевкой, но ему нравится мое пристрастие к книгам, и порою он разрешает себе говорить со мною поучительно, серьезно.

– Не нравится мне, как живут купцы, – говорю я.

Намотав прядь бороды на длинный палец, он спрашивает:

– А откуда бы тебе знать, как они живут? Али ты в гости часто ходишь к ним? Здесь, парень, улица, а на улице человеки не живут, на улице они торгуют, а то – прошел по ней скоренько да и – опять домой! На улицу люди выходят одетые, а под одежей не знать, каковы они есть; открыто человек живет у себя дома, в своих четырех стенах, а как он там живет – это тебе неизвестно!

– Да ведь мысли-то у него одни, что здесь, что дома?

– А кто может знать, какие у соседа мысли? – строго округляя глаза, говорит старик веским баском. – Мысли – как воши, их не сочтешь, – сказывают старики. Может, человек, придя домой-то, падет на колени да и заплачет, бога умоляя: «Прости, господи, согрешил во святой день твой!» Может, дом-от для него – монастырь и живет он там только с богом одним? Так-то вот! Каждый паучок знай свой уголок, плети паутину да умей понять свой вес, чтобы выдержала тебя...

Когда он говорит серьезно, голос звучит еще ниже, басовитее, как бы сообщая важные тайны.

– Ты вот рассуждаешь, а рассуждать тебе – рано, в твои-то годы не умом живут, а глазами! Стало быть, гляди, помни да помалкивай. Разум – для дела, а для души – вера! Что книги читаешь – это хорошо, а во всем надо знать меру: некоторые зачитываются и до безумства и до безбожия...

Он казался мне бессмертным, – трудно было представить, что он может постареть, измениться. Ему нравилось рассказывать истории о купцах, о разбойниках и фальшивомонетчиках, которые становились именитыми людьми; я уже много слышал таких историй от деда, и дед рассказывал лучше начетчика. Но смысл рассказов был одинаков: богатство всегда добывалось грехом против людей и бога. Петр Васильев людей не жалел, а о боге говорил с теплым чувством, вздыхая и пряча глаза.

– Так вот и обманывают бога-то, а он, батюшко Исус, всё видит и плачет: люди мои, люди, горестные люди, ад вам уготован!

Раз я осмелился напомнить ему:

– Ведь вы тоже обманываете мужиков...

Это его не обидело.

– Велико ли мое дело? – сказал он. – Слизну трешницу, пятишницу – вот и вся недолга.

Заставая меня за чтением, он брал из моих рук книгу, придирчиво спрашивал о прочитанном и, недоверчиво удивляясь, говорил приказчику:

– Ты гляди-ко, – понимает книги-то, шельмец!

И толково, памятно поучал:

– Слушай слова мои, это тебе годится! Кириллов – двое было, оба – епископы; один – александрийской, другой – ерусалимской. Первый ратоборствовал супро-ти окаянного еретика Нестория, который учил похабно, что-де богородица – человек есть, а посему – не имела бога родить, но родила человека же, именем и делами Христа, сиречь – спасителя миру; стало быть, надо ее называть не богородица, а христородица, – понял? Это названо – ересь! Ерусалимской же Кирилл боролся против Ария-еретика...

Меня очень восхищало его знание церковной истории, а он, потрепывая бороду холеной поповской рукой, хвастался:

– Я на этом деле – генерал; я в Москву к Троице ездил на словесное прение с ядовитыми учеными никонианами, попами и светскими; я, малый, даже с профессорами беседы водил, да! Одного попа до того загонял словесным-то бичом, что у него ажно кровь носом пошла, – вот как!

Щеки у него покрывались румянцем, глаза расцветал.

Кровотечение из носа противника он, видимо, считал высшим пунктом своего успеха, самым ярким рубином в золотом венце славы своей и рассказывал об этом сладострастно.

– Кра-асивый попище, здоровенный! Стоит он пред аналоем, а из носу-то кап, кап! И не видит сраму своего. Лют был поп, аки лев пустынный, голосище – колокол! А я его тихонько, да всё в душу, да между ребер ей словами-то своими, как шильями!.. Он же прямо, как печь жаркая, накаляется злобой еретической... Эх, бывали дела-а!

Нередко приходили еще начетчики: Пахомий, человек с большим животом, в засаленной поддевке, кривой на один глаз, обрюзглый и хрюкающий; Лукиян, маленький старичок, гладкий, как мышь, ласковый и бойкий, а с ним большой мрачный человек, похожий на кучера, чернородый, с мертвым лицом, неприятным, но красивым, с неподвижными глазами.

Почти всегда они приносили продавать старинные книги, иконы, кадилницы, какие-то чаши; иногда приводили продавцов – старуху или старика из-за Волги. Кончив дела, усаживались у прилавка, точно вороны на меже, пили чай с калачами и постным сахаром и рассказывали друг другу о гонениях со стороны никонианской церкви, там – сделали обыск, отобрали богослужебные книги; тут – полиция закрыла молельню и привлекла хозяев ее к суду по 103 статье. Эта 103 статья чаще всего являлась темой их бесед, но они говорили о ней спокойно, как о чем-то неизбежном, вроде морозов зимою.

Слова – полиция, обыск, тюрьма, суд, Сибирь, – слова, постоянно звучавшие в их беседах о гонении за веру, падали на душу мне горячими углями, разжигая симпатию и сочувствие к этим старикам; прочитанные книги научили меня уважать людей, упорных в достижении своих целей, ценить духовную стойкость.

Я забывал всё плохое, что видел в этих учителях жизни, чувствовал только их спокойное упорство, за которым – мне казалось – скрыта непоколебимая вера учителей в свою правду, готовность принять за правду все муки.

Впоследствии, когда мне удалось видеть много таких и подобных хранителей старой веры, и в народе и в интеллигенции, я понял, что это упорство – пассивность людей, которым некуда идти с того места, где они стоят, да и не хотят они никуда идти, ибо, крепко связанные путами старых слов, изжитых понятий, они остолбенели

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
в этих словах и понятиях. Их воля неподвижна, неспособна развиваться в направлении к будущему и, когда какой-либо удар извне сбрасывает их с привычного места, они механически катятся вниз, точно камень с горы. Они держатся на своих постах у погоста отживших истин мертвою силою воспоминаний о прошлом и своей болезненной любовью к страданию, угнетению, но, если отнять у них возможность страдания, они, опустошенные, исчезают, как облака в свежий ветреный день.

Вера, за которую они не без удовольствия и с великим самолюбованием готовы пострадать, – это, бесспорно, крепкая вера, но напоминает она заношенную одежду, – промасленная всякой грязью, она только поэтому малодоступна разрушающей работе времени. Мысль и чувство привыкли к тесной, тяжелой оболочке предрассудков и догматов и хотя обескрылены, изуродованы, но живут уютно, удобно.

Эта вера по привычке – одно из наиболее печальных и вредных явлений нашей жизни; в области этой веры, как в тени каменной стены, всё новое растет медленно, искаженно, вырастает худосочным. В этой темной вере слишком мало лучей любви, слишком много обиды, озлобления и зависти, всегда дружной с ненавистью. Огонь этой веры – фосфорический блеск гниения.

Но для того, чтобы убедиться в этом, мне пришлось пережить много тяжелых лет, многое сломать в душе своей, выбросить из памяти. А в то время, когда я впервые встретил учителей жизни среди скучной и бессовестной действительности, – они показались мне людьми великой духовной силы, лучшими людьми земли. Почти каждый из них судился, сидел в тюрьме, был высылаем из разных городов, странствовал по этапам с арестантами; все они жили осторожно, все прятались.

Однако я видел, что, жалуясь на «утеснение духа» никонианами, старцы и сами охотно очень, даже с удовольствием, утесняют друг друга.

Кривой Пахомий, выпивши, любил хвастаться своей поистине удивительной памятью, – некоторые книги он знал «с пальца», – как еврей-ешиботник знает Талмуд, – ткнет пальцем в любую страницу, и с того слова, на котором остановится палец, Пахомий начинает читать дальше наизусть, мягоньким гнусавым голоском. Он всегда смотрит в пол, и его единственный глаз бегаёт по полу так тревожно, точно ищет нечто потерянное, очень ценное. Чаще всего он показывал этот фокус на книге князя Мышецкого «Виноград Российский», – он особенно хорошо знал «многотерпеливые и многожественные страдания дивных и всехрабрых страдальцев», а Петр Васильев всё старался поймать его на ошибках.

– Врешь! Это не с Киприаном Благоюродивым было, а с Денисом Целомудрым.

– Какой еще Денис? Дионисий речется...

– Ты за слово не цепляйся!

– А ты меня не учи!

Через минуту оба они, раздутые гневом, глядя в упор друг на друга, говорят:

– Чревоугодник ты, бесстыжая рожа, вон какое чрево наел...

Пахомий отвечает, точно на счетах считая:

– А ты – любострастник, козел, бабий прихвостень.

Приказчик, спрятав руки в рукава, ехидно улыбается и поощряет хранителей древнего благочестия, словно мальчишек:

– Та-ак его! А ну-ка, еще!

Однажды старцы подрались. Петр Васильев, с неожиданной ловкостью отшлепав товарища по щекам, обратил его в бегство и, устало отирая пот с лица, крикнул вслед бегущему:

– Смотри – это на тебя грех ляжет! Ты, окаянный, длань мою во грех-то ввел, тьфу тебе!

Он особенно любил упрекать всех товарищей своих, что они недостаточно тверды

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.maх
верой и все впадают в «нетовщину».

– Это всё Алексаша вас смущает, – какой ведь петух запел!

Нетовщина раздражала и, видимо, пугала его, но на вопрос: в чем суть этого учения? – он отвечал не очень вразумительно:

– Нетовщина – еретичество самое горькое, в нем – один разум, а бога нет! Вон в козаках, чу, ничего уж и не почитают, окромя Библии, а Библия – это от немцев саратовских, от Лютора, о коем сказано: «имя себе прилично сочета: воистину бо – Лютор, иже лют глаголется, люте бо, любо люто!» Называются не-товцы шалопутами, а также штундой, и всё это – от Запада, от тамошних еретиков.

Притопывая изуродованной ногой, он говорил холодно и веско:

– Вот кого новообрядствующей-то церкви надо гнать, вот кого зорить да жечь! А не нас, мы – искони Русь, наша вера истинная, восточная, корневая русская вера, а это всё – Запад, искаженное вольнодумство! От немцев, от французов – какое добро? Вон они в двенадцатом-то году...

Увлекаясь, он забывал, что перед ним мальчишка, крепкой рукою брал меня за кушак и, то подтягивая к себе, то отталкивая, говорил красиво, взволнованный, горячо и молодо:

– Блуждает разум человек в дебрях вымыслов своих, подобно лютому волку блуждает он, дьяволу подчиненный, истязуя душеньку человечью, божий дар! Что выдумали, бесовы послушники? Богомилы, через которых вся нетовщина пошла, учили: сатана-де суть сын господень, старшой брат Исуса Христа, – вот куда доходили! Учили также: начальство – не слушать, работу – не работать, жен, детей – бросить; ничего-де человеку не надо, никакого порядка, а пускай человек живет как хочет, как ему бес укажет. Вон опять явился Алексашка этот, о, черви...

Случалось, что в это время приказчик заставлял меня что-либо делать, я отходил от старика, но он, оставаясь один на галерее, продолжал говорить в пустоту вокруг себя:

– О бескрылые души, о котята слепорожденные, – камо бегу от вас?

И потом, откинув голову, упираясь руками в колени, долго молчал, пристально и неподвижно глядя в зимнее, серое небо.

Он стал относиться ко мне более внимательно и ласково; заставая меня за книгой, гладил по плечу и говорил:

– Читай, мальй, читай, годится! Умишко у тебя будто есть; жаль – старших не уважаешь, со всеми зуб за зуб, ты думаешь – это озорство куда тебя приведет? Это, мальй, приведет тебя не куда иначе, как в арестантские роты. Книги – читай, однако помни – книга книгой, а своим мозгом двигай! Вон у хлыстов был наставник Данило, так он дошел до мысли, что-де ни старые, ни новые книги не нужны, собрал их в куль да – в воду! Да... Это, конечно, тоже – глупость! Вот и Алексаша, песья голова, мутит...

Он всё чаще вспоминал про этого Алексашу и однажды, придя в лавку озабоченный, суровый, объявил приказчику:

– Александра Васильев здесь, в городе, вчера прибыл! Искал, искал его – не нашел. Скрывается! Посижу, поди-ка заглянет сюда...

Приказчик недружелюбно отозвался:

– Я ничего не знаю, никого!

Кивнув головою, старик сказал:

– Так и следует: для тебя – все люди покупатели да продавцы, а иных нет! Угости-ка чайком...

Когда я принес большой медный чайник кипятку, в лавке оказались гости: старичок

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Лукиян, весело улыбающийся, а за дверью, в темном уголке, сидел новый человек, одетый в теплое пальто и высокие валяные сапоги, подпоясанный зеленым кушаком, в шапке, неловко надвинутой на брови. Лицо у него было неприметное, он казался тихим, скромным, был похож на приказчика, который только что потерял место и очень удручен этим.

Петр Васильев, не глядя в его сторону, что-то говорил, строго и веско, а он судорожным движением правой руки всё сдвигал шапку: подымет руку, точно собираясь перекреститься, и толкнет шапку вверх, потом – еще и еще, а сдвинув ее почти до темени, снова туго и неловко натянет до бровей. Этот судорожный жест заставил меня вспомнить дурачка Игошу Смерть в Кармане.

– Плавают в мутной нашей речке разные налимы и всё больше мутят воду-то, – говорил Петр Васильев.

Человек, похожий на приказчика, тихо и спокойно спросил:

– Это ты – про меня, что ли?

– Хоть бы и про тебя...

Тогда человек еще спросил, негромко, но очень задушевно:

– Ну, а про себя как ты скажешь, человек?

– Про себя я только богу скажу – это мое дело...

– Нет, человек, и мое тоже, – сказал новый торжественно и сильно. – Не отвращай лица твоего от правды, не ослепляй себя самонамеренно, это есть великий грех пред богом и людьми!

Мне нравилось, что он называет Петра Васильева человеком, и меня волновал его тихий, торжественный голос. Он говорил так, как хорошие попы читают «Господи, Владыко живота моего», и всё наклонялся вперед, съезжая со стула, взмахивая рукою пред своим лицом...

– Не осуждай меня, я не грязнее тебя во грехе...

– Закипел самовар, зафыркал, – пренебрежительно выговорил старый начетчик, а тот продолжал, не останавливаясь на его словах:

– Только богу известно, кто боле мутит источники духа свята, может, это – ваш грех, книжные, бумажные люди, а я не книжный, не бумажный, я – простой, живой человек...

– Знаю я простоту твою, слышал довольно!

– Это вы путаете людей, вы ломаете прямые-то мысли, вы, книжники и фарисеи... Я – что говорю, скажи?

– Ересь! – сказал Петр Васильев, а человек, двигая ладонью перед лицом своим, точно читая написанное на ней, жарко говорил:

– Вы думаете, перегнав людей из одного хлева в другой, – лучше сделаете им? А я говорю – нет! Я говорю – освободись, человек! К чему дом, жена и всё твое перед господом? Освободись, человек, ото всего, за что люди бьют и режут друг друга, – от злата, серебра и всякого имущества, оно же есть тлен и пакость! Не на полях земных спасение души, а в долинах райских! Оторвитесь ото всего, говорю я, порвите все связки, веревки, порушьте сеть мира сего – это плетение антихристово... Я иду прямым путем, я не виляю душой, темного мира не приемлю...

– А хлеб, воду, одёжу – приемлешь? Это ведь, гляди, мирское! – ехидно сказал старик.

Но и эти слова не коснулись Александра, он продолжал всё более задушевно, и, хотя голос его звучал негромко, казалось, что он трубит в медную трубу.

– Что дорого тебе, человек? Только бог един дорог; встань же пред ним – чистый

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiyama
ото всего, сорви путы земные с души твоей, и увидит господь: ты – один, он –
один! Так приблизишься господу, это – един путь до него. Вот в чем спасение
указано – отца-мать, брось, указано, всё брось и даже око, соблазняющее тебя, –
вырви! Бога ради истреби себя в вещах и сохрани в духе, и восплает душа твоя на
веки и веки...

– Ну-ко тебя ко псам смердящим, – сказал Петр Васильев, вставая. – Я было думал,
что ты с прошлого году-то умнее стал, а ты – хуже того...

Старик, покачиваясь, вышел из лавки на террасу; это встревожило Александра, он
удивленно и торопливо спросил:

– Уходишь? А... как же?

Но ласковый Лукиян, подмигнув успокоительно, проговорил:

– Ничего... ничего...

Тогда Александр опрокинулся на него:

– Вот и ты, хлопотун наземный, тоже сеешь хламные слова, а – что толку? Ну –
трегубая аллилуйя, ну – сугубая...

Лукиян улыбнулся ему и тоже пошел на террасу, а он, обращаясь к приказчику,
сказал уверенно:

– Не могут они терпеть духа моего, не могут! Исчезают, яко дым от лица огня...

Приказчик взглянул на него исподлобья и сухо заметил:

– Я в эти дела не вникаю.

Человек как будто сконфузился, надвинул шапку, пробормотал:

– Как же можно не вникать? Это дела такие... они требуют, чтобы вникали...

Посидел с минуту молча, опустив голову; потом его позвали старики, и все трое
они, не простясь, ушли.

Этот человек вспыхнул предо мною, словно костер в ночи, ярко погорел и угас,
заставив меня почувствовать какую-то правду в его отрицании жизни.

Вечером, выбрав время, я с жаром рассказал о нем старшему мастеру иконописной,
тихому и ласковому Ивану Ларионовичу; он выслушал меня и объяснил:

– Бегун, видно, это есть такие сектари – не признают ничего.

– Как же они живут?

– В бегах живут, всё странствуют по земле, затем и дано им нарицание – бегуны.
Земля и всё прилагаемое к ней – чужое для нас, говорят они, а полиция считает их
вредными, ловит...

Хотя мне жилось горько, но я не понимал: как это можно бежать ото всего? В
жизни, окружавшей меня тою порой, было много интересного, дорогого мне, и скоро
Александр Васильев поблек в моей памяти.

Но время от времени, в тяжелые часы, он являлся предо мною: идет полем, по серой
дороге, к лесу, толкает шапку судорожным движением белой; нерабочей руки и
бормочет:

– Я иду путем правильным, я ничего не приемлю! Связки-те, веревки-те порви...

Рядом с ним вспоминался отец, как бабушка видела его во сне: с палочкой ореховой
в руке, а следом за ним пестрая собака бежит, трясет языком...

XIII

Иконописная мастерская помещалась в двух комнатах большого полукаменного дома;

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
одна комната о трех окнах во двор и двух – в сад; другая – окно в сад, окно на
улицу Окна маленькие, квадратные, стекла в них, радужные от старости, неохотно
пропускают в мастерскую бедный, рассеянный свет зимних дней.

Обе комнаты тесно заставлены столами, за каждым столом сидит, согнувшись,
иконописец, за иными – по двое. С потолка спускаются на бечевках стеклянные
шары; налитые водой, они собирают свет лампы, отбрасывая его на квадратную доску
иконы белым, холодным лучом.

В мастерской жарко и душно; работает около двадцати человек «богомазов» из
Палеха, Холуя, Мстёры; все сидят в ситцевых рубахах с расстегнутыми воротами, в
тиковых подштанниках, босые или в опорках. Над головами мастеров простерта сизая
пелена сожженной махорки, стоит густой запах олифы, лака, тухлых яиц. Медленно,
как смола, течет заунывная владимирская песня:

Какой нынче стал бессовестный народ –

При народе мальчик девочку прельстил...

Поют и другие песни, тоже невеселые, но эту – чаще других. Ее тягучий мотив не
мешает думать, не мешает водить тонкой кисточкой из волос горностая по рисунку
иконы, раскрашивая складки «доличного», накладывая на костяные лица святых
тоненькие морщинки страдания. Под окном стучит молоточком чеканщик Гоголев –
пьяный старик, с огромным синим носом; в ленивую струю песни непрерывно
вторгается сухой стук молотка – словно червь точит дерево.

Иконопись никого не увлекает; какой-то злой мудрец раздробил работу на длинный
ряд действий, лишенных красоты, не способных возбудить любовь к делу, интерес к
нему. Косоглазый столяр Панфил, злой и ехидный, приносит выстроганные им и
склеенные кипарисовые и липовые доски разных размеров; чахоточный парень Давидов
грунтует их; его товарищ Сорокин кладет «левкас»; Миляшин сводит карандашом
рисунок с подлинника; старик Гоголев золотит и чеканит по золоту узор; доличники
пишут пейзаж и одеяние иконы, затем она, без лица и ручек, стоит у стены, ожидая
работы личников.

Очень неприятно видеть большие иконы для иконостасов и алтарных дверей, когда
они стоят у стены без лица, рук и ног, – только одни ризы или латы и коротенькие
рубашечки архангелов. От этих пестро расписанных досок веет мертвым; того, что
должно оживить их, – нет, но кажется, что оно уже было и чудесно исчезло,
оставив только свои тяжелые ризы.

Когда «тельце» написано личником, икону сдают мастеру, который накладывает по
узору чеканки «финифть»; надписи пишет тоже отдельный мастер, а кроет лаком сам
управляющий мастерской, Иван Ларионыч, тихий человек.

Лицо у него серое, борода тоже серая, из тонких шёлковых волос, серые глаза
как-то особенно глубоки и печальны. Он хорошо улыбается, но ему не улыбнешься,
неловко как-то. Он похож на икону Симеона Столпника – такой же сухой, тощий, и
его неподвижные глаза так же отвлеченно смотрят куда-то вдаль, сквозь людей и
стены.

Через несколько дней после того, как я поступил в мастерскую, мастер по
хоругвям, донской казак Капендюхин, красавец и силач, пришел пьяный и, крепко
сцепив зубы, прищурился сладкие, бабьи глаза, начал молча избивать всех железными
кулаками. Невысокий и стройный, он метался по мастерской, словно кот в погребе
среди крыс; растерявшиеся люди прятались от него по углам и оттуда кричали друг
другу:

– Бей!

Личнику Евгению Ситанову удалось ошеломить взбесившегося буяна ударом табурета
по голове. Казак сел на пол, его тотчас опрокинули и связали полотенцами, он
стал грызть и рвать их зубами зверя. Тогда взбесился Евгений – вскочил на стол
и, прижав локти к бокам, приготовился прыгнуть на казака; высокий, жилистый, он
неизбежно раздавил бы своим прыжком грудную клетку Капендюхина, но в эту минуту
около него появился Ларионыч в пальто и шапке, погрозил пальцем Ситанову и
сказал мастерам тихо и деловито:

– Вынести его в сени, пусть отрезвеет...

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Казака вытащили из мастерской, расставили столы, стулья и снова уселись за работу, перекидываясь краткими замечаниями о силе товарища, предрекая, что его когда-нибудь убьют в драке.

– Убить его трудно, – сказал Ситанов очень спокойно, как говорят о деле, хорошо знакомом.

Я смотрел на Ларионича, недоуменно соображая: почему эти крепкие, буйные люди так легко подчиняются ему?

Он всем показывал, как надо работать, даже лучшие мастера охотно слушали его советы; Капендюхина он учил больше и многословнее, чем других.

– Ты, Капендюхин, называешься – живописец, это значит, ты должен живо писать, итальянской манерой. Живопись маслом требует единства красок теплых, а ты вот подвел избыточно белил, и вышли у богородицы глазки холодные, зимние. Щечки написаны румяно, яблоками, а глазки – чужие к ним. Да и неверно поставлены – один заглянул в переносье, другой на висок отодвинут, и вышло личико не свято-чистое, а хитрое, земное. Не думаешь ты над работой, Капендюхин.

Казак, слушая, кривит лицо, потом, бесстыдно улыбаясь бабьими глазами, говорит приятным голосом, немножко сиплым от пьянства:

– Эх, Ив-ан Ларионич, отец, – не мое это дело. Я музыкантом родился, а меня – в монахи!

– Усердием всякое дело можно одолеть.

– Нет, что такое я? Мне бы в кучера да тройку борзых, э...

И, выгнув кадык, он отчаянно затягивает:

Э, и-ах за-апрягу я тройку борзых
Темно-карих лошадей,

Ох, да и помчуся в ноченьку морозну
Да прямо – ой, прямо к любушке своей!

Иван Ларионович, покорно улыбаясь, поправляет очки на сером, печальном носу и отходит прочь, а десяток голосов дружно подхватывают песню, сливаясь в могучий поток, и, точно подняв на воздух всю мастерскую, мерными толчками качает ее.

По привычке – кони знают,
Где су-дарушка живет...

Ученик Пашка Одинцов, бросив отливать желтки яиц, держа в руках по скорлупе, великолепным дискантом ведет подголосье.

Опьяненные звуками, все забылись, все дышат одной грудью, живут одним чувством, искоса следя за казаком. Когда он пел, мастерская признавала его своим владыкой; все тянулись к нему, следя за широкими взмахами его рук, – он разводил руками, точно собираясь лететь. Я уверен, что если бы он, вдруг прервав песню, крикнул: «Бей, ломай всё!» – все, даже самые солидные мастера, в несколько минут разнесли бы мастерскую в щепы.

Пел он редко, но власть его буйных песен была всегда одинаково неотразима и победна; как бы тяжело ни были настроены люди, он поднимал и зажигал их, все напрягались, становясь в жарком слиянии сил могучим органом.

У меня эти песни вызвали горячее чувство зависти к певцу, к его красивой власти над людьми; что-то жутко волнующее вливалось в сердце, расширяя его до боли, хотелось плакать и кричать поющим людям: «Я люблю вас!»

Чахоточный, желтый Давидов, весь в клочьях волос, тоже открывал рот, странно уподобляясь галчонку, только что вылупившемуся из яйца.

Веселые, буйные песни пелись только тогда, когда их заводил казак, чаще же пели унылые и тягучие о «бессовестном народе», «Уж как под лесом-лесочком» и о смерти Александра I: «Как поехал наш Лександра свою армию смотреть».

Иногда, по предложению лучшего личника нашей мастерской жихарева, пробовали петь

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
церковное, но это редко удавалось. Жихарев всегда добивался какой-то особенной, только ему одному понятной стройности и всем мешал петь.

Это был человек лет сорока пяти, сухой, лысый, в полувенце черных курчаво-цыганских волос, с большими, точно усы, черными бровями. Острая густая бородка очень украшала его тонкое и смуглое, нерусское лицо, но под горбатым носом торчали жесткие усы, лишние при его бровях. Синие глаза его были разные: левый – заметно больше правого.

– Пашка! – кричал он тенором моем товарищу, ученику, – ну-ко, заведи: «Хвалите!» Народ, прислушайся!

Вытирая руки о передник, Пашка заводил:

– «Хва-алите...»

– «...и-имя господне», – подхватывало несколько голосов, а Жихарев тревожно кричал:

– Евгений – ниже! Опусть голос в самые недра души...

Ситанов глухо, точно в бочку бьет, зовет:

– «Р-рабы господа...»

– Не то-о! Тут надо так хватить, чтобы земля сотряслась и распахнулись бы сами собою двери, окна!

Жихарев весь дергался в непонятном возбуждении, его удивительные брови ходят по лбу вверх и вниз, голос у него срывается, и пальцы играют на невидимых гуслях

– Рабы господа – понимаешь? – многозначительно говорит он. – Это надо почувствовать до зерна, сквозь всю шелуху. Р-рабы, хвалите господа! Как же вы, народ живой, не-понимаете?

– Это у нас никогда не выходит, как вам известно, – вежливо говорит Ситанов.

– Ну, оставим!

Жихарев обиженно принимается за работу. Он лучший мастер, может писать лица по-византийски, по-фряжски и «живописно», итальянской манерой. Принимая заказы на иконостасы, Ларионич советуется с ним, – он тонкий знаток иконописных подлинников, все дорогие копии чудотворных икон – Феодоровской, Смоленской, Казанской и других – проходят через его руки. Но, роясь в подлинниках, он громко ворчит:

– Связали нас подлиннички эти... Надо сказать прямо: связали!..

Несмотря на важное свое положение в мастерской, он заносчив менее других, ласково относится к ученикам – ко мне и Павлу; хочет научить нас мастерству – этим никто не занимается, кроме него.

Его трудно понять; вообще – невеселый человек, он иногда целую неделю работает молча, точно немой; смотрит на всех удивленно и чуждо, будто впервые видя знакомых ему людей, и хотя очень любит пение, но в эти дни не поет и даже словно не слышит песен. Все следят за ним, подмигивая на него друг другу. Он согнулся над косо поставленной иконой, доска ее стоит на коленях у него, середина упирается на край стола, его тонкая кисть тщательно выписывает темное, отчужденное лицо, сам он тоже темный и отчужденный.

Вдруг он говорит, четко и обиженно:

– Предтеча – что такое? Течь, по-древнему, значит – идти. Предтеча – предшественник, а – не иное что...

В мастерской становится тихо, все косятся в сторону Жихарева, усмехаясь, а в тишине звучат странные слова:

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax

– Его надо не в овчине писать, а с крыльями...

– Ты – с кем говоришь? – спрашивают его.

Он молчит, не слышит вопроса или не хочет ответить, потом – снова падают в ожидающую тишину его слова:

– Жития надо знать, а кто их знает – жития? Что мы знаем? Живем без окрыления... Где – душа? Душа – где? Подлиннички... да! – есть. А сердца – нет...

Эти думы вслух вызывают у всех, кроме Ситанова, насмешливые улыбки; почти всегда кто-нибудь злорадно шепчет:

– В субботу – запьет...

Длинный, жилистый Ситанов, юноша двадцати двух лет, с круглым лицом без усов и бровей, печально и серьезно смотрит в угол.

Помню, закончив копию Феодоровской божией матери, кажется, в Кунгур, Жихарев положил икону на стол и сказал громко, взволнованно:

– Кончена матушка! Яко чаша ты, – чаша бездонная, в кою польются теперь горькие, сердечные слезы мира людского...

И, накинув на плечи чье-то пальто, ушел – в кабак. Молодежь засмеялась, засвистала; люди постарше завистливо вздохнули вслед ему, а Ситанов подошел к работе, внимательно посмотрел на нее и объяснил:

– Конечно, он запьет, потому что жалко сдавать работу. Эта жалость – не всем доступна...

Запой Жихарева начинались всегда по субботам. Это, пожалуй, не была обычная болезнь алкоголика-мастерового; начиналось это так: утром он писал записку и куда-то посылал с нею Павла, а перед обедом говорил Ларионычу:

– Я сегодня – в баню!

– Надолго ли?

– Ну, господи...

– Уж, пожалуйста, не позже, как до вторника!

Жихарев согласно кивал голым черепом, брови у него дрожали.

Возвратясь из бани, он одевался франтом, надевал манишку, косынку на шею, выпускал по атласному жилету длинную серебряную цепь и молча уезжал, приказав мне и Павлу

– К вечеру приберите мастерскую почище; большой стол вымыть, выскоблить!

У всех являлось праздничное настроение, все подтягивались, чистились, бежали в баню, наскоро ужинали; после ужина являлся Жихарев, с кульками закусок, с пивом и вином, а за ним – женщина, преувеличенная во всех измерениях почти безобразно. Ростом она была вершков двенадцати сверх двух аршин, все наши стулья и табуретки становились перед нею игрушечными, даже длинный Ситанов – подросток обок с нею. Она очень стройная, но ее грудь бугром поднята к подбородку, движения медленны, неуклюжи. Ей за сорок лет, но круглое, неподвижное лицо ее, с огромными глазами лошади, свежо и гладко, маленький рот кажется нарисованным, как у дешевой куклы. Жеманно улыбаясь, она совала всем широкую теплую ладонь и говорила ненужные слова:

– Здравствуйте. Морозно сегодня. Как у вас густо пахнет. Это краской пахнет. Здравствуйте.

Смотреть на нее, спокойную и сильную, как большая полноводная река, приятно, но в речах ее – что-то снотворное, все они не нужны и утомляют. Перед тем, как сказать слово, она надувалась, еще более округляя почти багровые щеки.

Молодежь, ухмыляясь, шепчется:

– Вот так машина!

– Колокольня!

Сложив губы бантиком, а руки под грудями, она садится за накрытый стол, к самовару, и смотрит на всех по очереди добрым взглядом лошадиных глаз.

Все относятся к ней почтительно, молодежь даже немножко боится ее, – смотрит юноша на это большое тело жадными глазами, но когда с его взглядом встретится ее тесно обнимающий взгляд, юноша смущенно опускает свои глаза. Жихарев тоже почтителен к своей гостье, говорит с нею на «вы», зовет ее кумушкой, угощая, кланяется низко.

– Да вы не беспокойтесь, – сладко тянет она, – какой вы беспокойный, право!

Сама она живет не спеша, руки ее двигаются только от локтей до кисти, а локти крепко прижаты к бокам. От нее исходит спиртной запах горячего хлеба.

Старик Гоголев, заикаясь от восторга, хвалит красоту женщины – точно дьячок акафист читает, она слушает, благосклонно улыбаясь, а когда он запутается в словах – она говорит о себе:

– А в девицах мы вовсе некрасивой были, это всё от женской жизни прибавилось нам. К тридцати годам сделались мы такой примечательной, что даже дворяне интересовались, один уездный предводитель коляску с парой лошадей обещали...

Капендюхин, выпивший, встрепанный, смотрит на нее ненавидящим взглядом и грубо спрашивает:

– Это – за что же обещал?

– За любовь нашу, конечно, – объясняет гостья.

– Любовь, – бормочет Капендюхин, смущаясь, – какая там любовь?

– Вы, такой прекрасный молодец, очень хорошо знаете про любовь, – говорит женщина просто.

Мастерская трясется от хохота, а Ситанов ворчит Капендюхину:

– Дура, коли не хуже! Эдакую можно любить только от великой тоски, как всем известно...

Он бледнеет от вина, на висках у него жемчужинами выступил пот, умные глаза тревожно горят. А старик Гоголев, покачивая уродливым носом, оттирает слезы с глаз пальцами и спрашивает:

– Деток у тебя сколько было?

– Дитя у нас было одно...

Над столом висит лампа, за углом печи – другая. Они дают мало света, в углах мастерской сошлись густые тени, откуда смотрят недописанные, обезглавленные фигуры. В плоских серых пятнах, на месте рук и голов, чудится жуткое, – больше, чем всегда, кажется, что тела святых таинственно исчезли из раскрашенных одежд, из этого подвала. Стекланные шары подняты к самому потолку, висят там на крючках, в облаке дыма, и синевато поблескивают.

Жихарев беспокойно ходит вокруг стола, всех угощая, его лысый череп склоняется то к тому, то к другому, тонкие пальцы всё время играют. Он похудел, хищный нос его стал острее; когда он стоит боком к огню, на щеку его ложится черная тень носа.

– Пейте, ешьте, друзья, – говорит он звонким тенором.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
А женщина поет хозяйственно:

– Что вы, куманек, беспокоитесь? У всякого своя рука, свой аппетит; больше того, сколько хочется, – никто не может съесть!

– Отдыхай, народ! – возбужденно кричит Жихарев. – Друзья мои, все мы – рабы божьи, давайте споем «Хвалите имя»...

Песнопение не удается; все уже размякли, опьянев от еды и водки В руках Капендюхина – двухрядная гармония, молодой Виктор Салаутин, черный и серьезный, точно вороненок, взял бубен, водит по тугой коже пальцем, кожа глухо гудит, задорно брякают бубенчики.

– Р-русскую! – командует Жихарев. – Кумушка, пожалуйста!

– Ах, – вздыхает женщина, вставая, – как вы беспокоитесь!

Выходит на свободное место и стоит на нем прочно, как часовня. На ней широкая коричневая юбка, желтая батистовая кофта и алый платок на голове.

Задорно вопит гармоника, звонят ее колокольчики, брякают бубенцы, кожа бубна издает звук тяжелый, глухо вздыхающий; это неприятно слышать: точно человек сошел с ума и, охая, рыдая, колотит лбом о стену.

Жихарев не умеет плясать, он просто семенит ногами, притопывает каблуками ярко начищенных сапог, прыгает козлом и всё не в такт разымчивой музыке. Ноги у него – точно чужие, тело некрасиво извивается, он бьется, как оса в паутине или рыба в сети, – это невесело. Но все, даже пьяные, смотрят на его судороги внимательно, все молча следят за его лицом и руками. Лицо Жихарева изумительно играет, становясь то ласковым и сконфуженным, то вдруг гордым, и – сурово хмурится; вот он чему-то удивился, ахнул, закрыл на секунду глаза, а открыв их, – стал печален. Сжав кулаки, он крадется к женщине и вдруг, топнув ногой, падает на колени перед нею, широко раскинув руки, подняв брови, сердечно улыбаясь. Она смотрит на него сверху вниз с благосклонной улыбкой и предупреждает спокойно:

– Устанете вы, куманек!

Она пытается умильно прикрыть глаза, но эти глаза, объемом в трехкопеечную монету, не закрываются, и ее лицо, сморщившись, принимает неприятное выражение.

Она тоже не умеет плясать, только медленно раскачивает свое огромное тело и бесшумно передвигает его с места на место. В левой руке у нее платок, она лениво помахивает им; правая рука уперта в бок – это делает ее похожей на огромный кувшин.

А Жихарев ходит вокруг этой каменной бабы, противоречиво изменяя лицо, – кажется, что пляшет не один, а десять человек, все разные: один – тихий, покорный; другой – сердитый, пугающий; третий – сам чего-то боится и, тихонько охая, хочет незаметно уйти от большой неприятной женщины. Вот явился еще один – оскалил зубы и судорожно изгибается, точно раненая собака. Эта скучная, некрасивая пляска вызывает у меня тяжелое уныние, будит нехорошие воспоминания о солдатах, прачках и кухарках, о собачьих свадьбах.

В памяти тихие слова Сидорова:

«В этом деле все – врут, это уж такое дело – стыдно всем, никто никого не любит, а просто – баловство...»

Я не хочу верить, что «все врут в этом деле», – как же тогда Королева Марго? И Жихарев не врет, конечно. Я знаю, что Ситанов полюбил «гулящую» девицу, а она заразила его постыдной болезнью, но он не бьет ее за это, как советуют ему товарищи, а нанял ей комнату, лечит девицу и всегда говорит о ней как-то особенно ласково, смущенно.

Большая женщина всё качается, мертво улыбаясь, помахивая платочком, Жихарев судорожно прыгает вокруг ее, я смотрю и думаю: неужели Ева, обманувшая бога, была похожа на эту лошадь? У меня возникает чувство ненависти к ней.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyтама
Безликие иконы смотрят с темных стен, к стеклам окон прижалась темная ночь.
Лампы горят тускло в духоте мастерской; прислушаешься, и – среди тяжелого топота, в шуме голосов выделяется торопливое падение капель воды из медного умывальника в ушат с помоями.

Как всё это не похоже на жизнь, о которой я читал в книгах! Жутко не похоже. Вот, наконец, всем стало скучно. Капендюхин сует гармонику в руки Салаутина и кричит:

– Делай! С дымом!

Он пляшет, как Ванька Цыган, – точно по воздуху летает; потом задорно и ловко пляшет Павел Одинцов, Сорокин; чахоточный Давидов тоже двигает по полу ногами и кашляет от пыли, дыма, крепкого запаха водки и копченой колбасы, которая всегда пахнет плохо дубленой кожей.

Пляшут, поют, кричат, но каждый помнит, что он – веселится, и все точно экзамен сдают друг другу, – экзамен на ловкость и неутомимость

Выпивший Ситанов спрашивает то того, то другого:

– Разве можно любить такую женщину, а?

Кажется, что он сейчас заплачет.

Ларионыч, приподняв острые кости плеч, отвечает ему:

– Женщина как женщина, – чего тебе надо?

Те, о ком говорят, незаметно исчезли. Жихарев явится в мастерскую дня через два-три, сходит в баню и недели две будет работать в своем углу молча, важный, всем чужой.

– Ушли? – спрашивает Ситанов сам себя, осматривая мастерскую печальными синевато-серыми глазами. Лицо у него некрасивое, какое-то старческое, но глаза – ясные и добрые.

Ситанов относится ко мне дружески, – этим я обязан моей толстой тетради, в которой записаны стихи. Он не верит в бога, но очень трудно понять – кто в мастерской, кроме Ларионыча, любит бога и верит в него: все говорят о нем легкомысленно, насмешливо, так же, как любят говорить о хозяйке. Однако, садясь обедать и ужинать, – все крестятся, ложась спать – молятся, ходят в церковь по праздникам.

Ситанов ничего этого не делает, и его считают безбожником.

– Бога нет, – говорит он.

– Откуда же всё?

– Не знаю...

Когда я спросил его: как же это – бога нет? – он объяснил:

– Видишь ли: Бог – Высота!

И поднял длинную руку над своей головой, а потом опустил ее на аршин от пола и сказал:

– Человек – Низость! Верно? А сказано: «Человек создан по образу и подобию божию», как тебе известно! А чему подобен Гоголев?

Это меня опрокидывает: грязный и пьяный старик Гоголев, несмотря на свои годы, грешит грехом Онана; я вспоминаю вятского солдатика Ермохина, сестру бабушки, – что в них богоподобного?

– Люди – свиньи, как это известно, – говорит Ситанов и тотчас же начинает утешать меня:

– Ничего, Максимыч, есть и хорошие, есть!

С ним было легко, просто. Когда он не знал чего-либо, то откровенно говорил:

– Не знаю, об этом не думал!

Это – тоже необыкновенно: до встречи с ним я видел только людей, которые всё знали, обо всем говорили.

Мне было странно видеть в его тетрадке, рядом с хорошими стихами, которые трогали душу, множество грязных стихотворений, возбуждавших только стыд. Когда я говорил ему о Пушкине, он указывал на «Гав-рилиаду», списанную в его тетрадке...

– Пушкин – что? Просто – шутник, а вот Бенедиктов – это, Максимыч, стоит внимания!

И, закрыв глаза, тихонько читал:

Взгляни: вот женщины прекрасной
Обворожительная грудь...

И почему-то особенно выделял три строки, читая их с гордой радостью:

Но и орла не могут взоры
Сквозь эти жаркие затворы
Пройти – и в сердце заглянуть...
– Понимаешь?

Мне очень неловко было сознаться, что – не понимаю я, чему он радуется.

XIV

Мои обязанности в мастерской были несложны утром, когда еще все спят, я должен был приготовить мастерам самовар, а пока они пили чай в кухне, мы с Павлом прибирали мастерскую, отделяли для красок желтки от белков, затем я отправлялся в лавку. Вечером меня заставляли растирать краски и «присматриваться» к мастерству. Сначала я «присматривался» с большим интересом, но скоро понял, что почти все, занятые этим раздробленным на куски мастерством, не любят его и страдают мучительной скукой.

Вечера мои были свободны, я рассказывал людям о жизни на пароходе, рассказывал разные истории из книг и, незаметно для себя, занял в мастерской какое-то особенное место – рассказчика и чтеца.

Я скоро понял, что все эти люди видели и знают меньше меня; почти каждый из них с детства был посажен в тесную клетку мастерства и с той поры сидит в ней. Из всей мастерской только Жихарев был в Москве, о которой он говорил внушительно и хмуро:

– Москва слезам не верит, там гляди в оба!

Все остальные бывали только в Шуе, Владимире; когда говорили о Казани, меня спрашивали:

– А русских много там? И церкви есть?

Пермь для них была в Сибири; они не верили, что Сибирь – за Уралом.

– Судаков-то уральских и осетров откуда привозят, – с Каспийского моря? Значит – Урал на море!

Иногда мне думалось, что они смеются надо мною, утверждая, что Англия – за морем-океаном, а Бонапарт родом из калужских дворян. Когда я рассказывал им о том, что сам видел, они плохо верили мне, но все любили страшные сказки, запутанные истории; даже пожилые люди явно предпочитали выдумку – правде; я хорошо видел, что чем более невероятны события, чем больше в рассказе фантазии, тем внимательнее слушают меня люди. Вообще действительность не занимала их, и все мечтательно заглядывали в будущее, не желая видеть бедность и уродство настоящего.

Это меня тем более удивляло, что я уже довольно резко чувствовал противоречия между жизнью и книгой; вот предо мною живые люди, и в книгах нет таких: нет Смурого, кочегара Якова, бегуна Александра Васильева, Жихарева, прачки Натальи...

В сундуке Давидова оказались потрепанные рассказы Голицинского, «Иван Выжигин» Булгарина, томик барона Брамбеуса; я прочитал всё это вслух, всем понравилось, а Ларионыч сказал:

– Чтение отменяет ссоры и шум – это хорошо!

Я стал усердно искать книг, находил их и почти каждый вечер читал. Это были хорошие вечера; в мастерской тихо, как ночью, над столами висят стеклянные шары – белые, холодные звезды, их лучи освещают лохматые и лысые головы, прикившие к столам; я вижу спокойные, задумчивые лица, иногда раздается возглас похвалы автору книги или герою. Люди внимательны и кротки не похоже на себя; я очень люблю их в эти часы, и они тоже относятся ко мне хорошо; я чувствовал себя на месте.

– С книгами у нас стало как весной, когда зимние рамы выставят и первый раз окна на волю откроют, – сказал однажды Ситанов.

Трудно было доставать книги; записаться в библиотеку не догадались, но я все-таки как-то ухитрился и доставал книжки, выпрашивая их всюду, как милостыню. Однажды пожарный брандмейстер дал мне том Лермонтова, и вот я почувствовал силу поэзии, ее могучее влияние на людей.

Помню, уже с первых строк «Демона» Ситанов заглянул в книгу, потом – в лицо мне, положил кисть на стол и, сунув длинные руки в колени, закачался, улыбаясь. Под ним заскрипел стул.

– Тише, братцы, – сказал Ларионыч и, тоже бросив работу, подошел к столу Ситанова, за которым я читал. Поэма волновала меня мучительно и сладко, у меня срывался голос, я плохо видел строки стихов, слезы навертывались на глаза. Но еще более волновало глухое, осторожное движение в мастерской, вся она тяжело ворочалась, и точно магнит тянул людей ко мне. Когда я кончил первую часть, почти все стояли вокруг стола, тесно прислонившись друг ко другу, обнявшись, хмурясь и улыбаясь.

– Читай, читай, – сказал Жихарев, наклоня мою голову над книгой.

Я кончил читать, он взял книгу, посмотрел ее титул и, сунув под мышку себе, объявил:

– Это надо еще раз прочитать! Завтра опять прочитаешь. Книгу я спрячу.

Отошел, запер Лермонтова в ящик своего стола и принялся за работу. В мастерской было тихо, люди осторожно расходились к своим столам; Ситанов подошел к окну, прислонился лбом к стеклу и застыл, а Жихарев, снова отложив кисть, сказал строгим голосом:

– Вот это – житие, рабы божий... да!

Приподнял плечи, спрятал голову и продолжал:

– Деймона я могу даже написать: телом черен и мохнат, крылья огненно-красные – суриком, а личико, ручки, ножки – досиня белые, примерно, как снег в месячную ночь.

Он вплоть до ужина беспокойно и несвойственно ему вертелся на табурете, играл пальцами и непонятно говорил о Демоне, о женщинах и Еве, о рае и о том, как грешили святые.

– Это всё правда! – утверждал он. – Ежели святые грешат с грешными женщинами, то, конечно, Демону лестно согрешить с душой чистой...

Его слушали молча; должно быть, всем, как и мне, не хотелось говорить. Работали неохотно, поглядывая на часы, а когда пробило девять – бросили работу очень

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru дружно.

Ситанов и Жихарев вышли на двор, я пошел с ними. Там, глядя на звезды, Ситанов сказал:

Кочующие караваны

В пространстве брошенных светил...

– этого не выдумаешь!

– Я никаких слов не помню, – заметил Жихарев, вздрагивая на остром холоде. – Ничего не помню, а его – вижу! Удивительно это – человек заставил чёрта пожалеть? Ведь жалко его, а?

– Жалко, – согласился Ситанов.

– Вот что значит – человек! – памятно воскликнул Жихарев.

В сенях он предупредил меня:

– Ты, Максимыч, никому не говори в лавке про эту книгу: она, конечно, запрещенная!

Я обрадовался: так вот о каких книгах спрашивал меня священник на исповеди!

Ужинали вяло, без обычного шума и говора, как будто со всеми случилось нечто важное, о чем надо упорно подумать. А после ужина, когда все улеглись спать, Жихарев сказал мне, вынув книгу:

– Ну-ка, еще раз прочитай это! Порезе, не торопись...

Несколько человек молча встали с постелей, подошли к столу и уселись вокруг него раздетые, поджимая ноги.

И снова, когда я кончил читать, Жихарев сказал, постукивая пальцами по столу:

– Это – житие! Ах, демон, демон... вот как, брат, а?

Ситанов качнулся через мое плечо, прочитал что-то и засмеялся, говоря:

– Спишу себе в тетрадь...

Жихарев встал и понес книгу к своему столу, но остановился и вдруг стал говорить обиженно, вздрагивающим голосом:

– Живем, как слепые щенята, что к чему – не знаем, ни богу, ни демону не надобны! Какие мы рабы господа? Иов – раб, а господь сам говорил с ним! С Моисеем тоже. Моисею он даже имя дал: Мой-сей, значит – богов человек. А мы – чьи?..

Запер книгу и стал одеваться, спросив Ситанова:

– Идешь в трактир?

– Я к своей пойду, – тихо ответил Ситанов.

Когда они ушли, я лег у двери на полу, рядом с Павлом Одинцовым. Он долго возился, сопел и вдруг тихонько заплакал.

– Ты что?

– Жалко мне всех до смерти, – сказал он, – я ведь четвертый год с ними живу, всех знаю...

Мне тоже было жалко этих людей; мы долго не спали, шёпотом беседуя о них, находя в каждом добрые хорошие черты и во всех что-то, что еще более усугубляло нашу ребячью жалость.

Я очень дружно жил с Павлом Одинцовым; впоследствии из него выработался хороший мастер, но его ненадолго хватило, к тридцати годам он начал дико пить, потом я

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru встретил его на Хитровом рынке в Москве босяком и недавно слышал, что он умер в тифе. Жутко вспомнить, сколько хороших людей жестоко погибли на моем веку! Все люди изнашиваются и – погибают, это естественно; но нигде они не изнашиваются так страшно быстро, так бессмысленно, как у нас, на Руси...

Тогда он был круглоголовым мальчонком, года на два старше меня, бойкий, умный и честный, он был даровит: хорошо рисовал птиц, кошек и собак и удивительно ловко делал карикатуры на мастеров, всегда изображая их пернатыми Ситанова – печальным куликом на одной ноге, Жихарева – петухом, с оторванным гребнем, без перьев на темени, большого Давидова – жуткой пигалицей. Но всего лучше ему удавался старый чеканщик Гоголев, в виде летучей мыши с большими ушами, ироническим носом и маленькими ножками о шести когтях каждая. С круглого темного лица смотрели белые кружки глаз, зрачки были похожи не зерна чечевицы и стояли поперек глаз, – это давало лицу живое и очень гнусное выражение.

Мастера не обижались, когда Павел показывал карикатуры, но карикатура Гоголева у всех вызвала неприятное впечатление, и художнику строго советовали.

– Ты лучше порви-ка, а то старик увидит, пришибет тебя!

Грязный и гнилой, вечно пьяный, старик был назойливо благочестив, неугасимо зол и ябедничал на всю мастерскую приказчику, которого хозяйка собиралась женить на своей племяннице и который поэтому уже чувствовал себя хозяином всего дома и людей. Мастерская ненавидела его, но боялась, поэтому боялась и Гоголева.

Павел неистово и всячески изводил чеканщика, точно поставил целью своей не давать Гоголеву ни минуты покоя. Я тоже посильно помогал ему в этом, мастерская забавлялась нашими выходками, почти всегда безжалостно грубыми, но предупреждала нас:

– Попадет вам, ребята! Вышибет вас Кузька-жучок!

Кузька-жучок – это прозвище приказчика, данное ему мастерской.

Предостережения не пугали нас, мы раскрашивали сонному чеканщику лицо; однажды, когда он спал пьяный, вызолотили ему нос, он суток трое не мог вывести золото из рытвин губчатого носа. Но каждый раз, когда нам удавалось разозлить старика, я вспоминал пароход, маленького вятского солдата, и в душе у меня становилось мутно. Несмотря на возраст, Гоголев был все-таки так силен, что часто избивал нас, нападая врасплох; избьет, а потом пожалуется хозяйке.

Она – тоже пьяненькая каждый день и потому всегда добрая, веселая – старалась испугать нас, стучала опухшими руками по столу и кричала:

– Опять вы, беси, озорничаете? Он – старенький, его уважать надо! Кто это ему в рюмку вместо вина – фотогену налил?

– Это мы...

Хозяйка удивлялась:

– А, батюшки, да они еще и сознаются! А, окаянные... Стариков уважать надо!

Она выгоняла нас вон, а вечером жаловалась приказчику, и тот говорил мне сердито:

– Как же это ты: книжки читаешь, даже священное писание, и – такое озорство, а? Гляди, брат!

Хозяйка была одинока и трогательно жалка; бывало, напьется сладких наливок, сядет у окна и поет:

Никто меня не пожалеет,
И никому меня не жаль,
Никто тоски моей не знает,
Кому скажу мою печаль!
И, всхлипывая, тянет старческим дрожащим голосом:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– Ю-у-у...

Однажды я видел, как она, взяв в руки горшок топленого молока, подошла к лестнице, но вдруг ноги ее подогнулись, она села и поехала вниз по лестнице, грузно шлепаясь со ступеньки на ступеньку и не выпуская горшка из рук. Молоко выплескивалось на платье ей, а она, вытянув руки, сердито кричала горшку:

– Что ты, лешой? Куда ты?

Не толстая, но мягкая до дряблости, она была похожа на старую кошку, которая уже не может ловить мышей, а, отягченная сытостью, только мурлычет, сладко вспоминая о своих победах и удовольствиях.

– Вот, – говорил Ситанов, задумчиво хмурясь, – было большое дело, хорошая мастерская, трудился над этим делом умный человек, а теперь всё хиню идет, всё в Кузькины лапы направилось! Работали-работали, а всё на чужого дядю! Подумаешь об этом, и вдруг в башке лопнет какая-то пружинка – ничего не хочется, наплевать бы на всю работу да лечь на крышу и лежать целое лето, глядя в небо...

Павел Одинцов тоже усвоил эти мысли Ситанова и, раскуривая папиросу приемами взрослого, философствовал о боге, о пьянстве, женщинах и о том, что всякая работа исчезает, одни что-то делают, а другие разрушают сотворенное, не ценя и не понимая его.

В такие минуты его острое, милое лицо морщилось, старело, он садился на постель на полу, обняв колени, и подолгу смотрел в голубые квадраты окон, на крышу сарая, притиснутого сугробами снега, на звезды зимнего неба.

Мастера храпят, мычат во сне, кто-то бредит, захлебываясь словами, на полатях выкашливает остатки своей жизни Давидов. В углу, телом к телу, валяются окованные сном и хмелем «рабы божий» Капендюхин, Сорокин, Першин; со стен смотрят иконы без лиц, без рук и ног. Душит густой запах олифы, тухлых яиц, грязи, перекисшей в щелях пола.

– До чего же мне жалко всех! – шепчет Павел. – Господи!

Эта жалость к людям и меня всё более беспокоит. Нам обоим, как я сказал уже, все мастера казались хорошими людьми, а жизнь – была плоха, недостойна их, невыносимо скучна. В дни зимних вьюг, когда все на земле – дома, деревья – тряслось, выло, плакало и великопостно звонили унылые колокола, скука вливалась в мастерскую волною, тяжелой, как свинец, давила людей, умерщвляя в них всё живое, вытаскивая в кабак, к женщинам, которые служили таким же средством забыться, как водка.

В такие вечера – книги не помогали, и тогда мы с Павлом старались развлечь людей своими средствами: мазали рожи себе сажей, красками, украшались пенькой и, разыгрывая разные комедии, сочиненные нами, героически боролись со скукой, заставляя людей смеяться. Вспомнив «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», я изложил эту книжку в разговорной форме, мы влезали на полати к Давидову и лицедействовали там, весело срубая головы воображаемым шведам; публика – хохотала.

Ей особенно нравилась легенда о китайском чёрте Цинги Ю-Тонге; Пашка изображал несчастного чёрта, которому вздумалось сделать доброе дело, а я – всё остальное: людей обоего пола, предметы, доброго духа и даже камень, на котором отдыхал китайский чёрт в великом унынии после каждой из своих безуспешных попыток сотворить добро.

Публика хохотала, а я удивлялся, как легко можно было заставить ее смеяться, – эта легкость неприятно задевала меня.

– Ах, паяцы! – кричали нам. – Ах, супостаты!

Но чем дальше, тем более назойливо думалось мне, что душе этих людей печаль ближе радости.

Веселье у нас никогда не живет и не ценится само по себе, а его нарочито поднимают из-под спуда как средство умерить русскую сонную тоску. Подозрительна

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
внутренняя сила веселья, которое живет не само по себе, не потому, что хочет, просто – хочет жить, а является только по вызову печальных дней.

И слишком часто русское веселье неожиданно и неуловимо переходит в жестокую драку. Пляшет человек, словно разрывая путы, связавшие его, и вдруг, освобождая в себе жесточайшего зверя, в звериной тоске бросается на всех и всё рвет, грызет, сокрушает...

Это натужное веселье, разбуженное толчками извне, раздражало меня, и, до самозабвения возбужденный, я начинал рассказывать и разыгрывать внезапно создавшиеся фантазии, – уж очень хотелось мне вызвать истинную, свободную и легкую радость в людях! Чего-то я достигал, меня хвалили, мне удивлялись, но тоска, которую мне как будто удавалось поколебать, снова медленно густела и крепла, пригнетая людей.

Серый Ларионыч ласково говорил:

– Ну, и забавник ты, господь с тобой!

– Утешитель, – поддерживал его Жихарев. – Ты, Максимыч, направляй себя в цирк али в театр, из тебя должен выйти хо-ороший паец!

Изо всей мастерской в театр ходили, на святках и на масленице, только двое – Капендюхин и Ситанов; старшие мастера серьезно советовали им смыть этот грех купаньем в крещенской проруби на иордани. Ситанов особенно часто убеждал меня:

– Брось всё, учись на актера!

И, волнуясь, рассказывал печальную «Жизнь актера Яковлева».

– Вот что может быть!

Он любил рассказывать о королеве Марии Стюарт, называя ее «шельмой», а особенно восхищался «Испанским дворянином».

– Дон Сезар де Базан – это, Максимыч, благороднейший человек! Удивительный!

В нем самом было что-то от «Испанского дворянина»: однажды на площади перед каланчой трое пожарных, забавляясь, били мужика; толпа людей, человек в сорок, смотрела на избиение и похваливала солдат. Ситанов бросился в драку, хлесткими ударами длинных рук посшибал пожарных, поднял мужика и сунул его к людям, крикнув:

– Уведите!

А сам остался, один против троих; пожарный двор был в десятке шагов, солдаты могли позвать помощь и Ситанова избили бы, но, на его счастье, пожарные, испугавшись, убежали во двор.

– Собаки! – крикнул он вслед им.

По воскресеньям молодежь ходила на кулачные бои к лесным дворам за Петропавловским кладбищем, куда собирались драться против рабочих ассенизационного обоза и мужиков из окрестных деревень. Обоз ставил против города знаменитого бойца – мордвина, великана, с маленькой головой и большими глазами, всегда в слезах. Вытирая слезы грязным рукавом короткого кафтана, он стоял впереди своих, широко расставя ноги, и добродушно вызывал:

– Выходите, что ли, а то – зябко!

Против него с нашей стороны выступал Капендюхин, и всегда мордвин бил его. Но, окровавленный, задышающийся, казак упрямо твердил:

– Жив быть не хочу, а – одолею мордву!

Это, наконец, стало целью его жизни, он даже отказался пить водку, перед сном вытирал тело снегом, ел много мяса и, развивая мускулы, каждый вечер многократно крестился двухпудовой гирей. Но и это не помогало ему. Тогда он зашил в рукавицы

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
куски свинца и похвастался Ситанову:

– Теперь – конец мордве!

Ситанов строго предупредил его:

– Брось, а то я тебя выдам перед боем!

Капендюхин не поверил ему, но когда пришли на бой, Ситанов вдруг сказал мордвину:

– Отступись, Василий Иванович, сначала я с Капен-дюхиным схвачусь!

Казак побагровел и заорал:

– Я с тобой не буду, уйди!

– Будешь, – сказал Ситанов и пошел на него, глядя в лицо казака пригибающим взглядом. Капендюхин затоптался на месте, сорвал рукавицы с рук, сунул их за пазуху и быстро ушел с боя.

И наша и вражья сторона были неприятно удивлены, какой-то почтенный человек сказал Ситанову сердито:

– Это, братец мой, вовсе не закон, чтобы домашние дела на мирском бою решать!

На Ситанова лезли со всех сторон, ругая его. Он долго молчал, но наконец сказал почтенному человеку:

– А ежели я убийство отвел?

Почтенный человек сразу догадался и даже снял картуз, говоря:

– Тогда с нашей стороны тебе – благодарность!

– Только ты, дядя, не звони!

– Зачем? Капендюхин – редкий боец, а неудачи злят человека, мы понимаем! А рукавички его теперь смотреть станем перед боем-то.

– Ваше дело!

Когда почтенный человек отошел, наша сторона стала ругать Ситанова:

– Дернуло тебя, оглобля! Побил бы казак-то, а теперь вот мы будем битыми ходить...

Ругали долго, привязчиво, с удовольствием.

Ситанов вздохнул и сказал:

– Эх вы, шантрапа...

И неожиданно для всех вызвал мордвина на единоборство – тот встал в позицию, весело помахивая кулаками и балагурия-

– Побьемся, погреемся...

Несколько человек, схватившись за руки, опрокинулись спинами на тех, кто сзади, – образовался широкий, просторный круг.

Бойцы зорко присматриваясь друг ко другу, переминались правые руки вперед, левые – у груди. Опытные люди тотчас заметили, что у Ситанова рука длиннее, чем у мордвина. Стало тихо, похрустывал снег под ногами бойцов. Кто-то не выдержал напряжения, пробормотал жалобно и жадно:

– Начинали бы уж...

Ситанов замахнулся правой рукой, мордвин приподнял левую для защиты и получил

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
прямой удар под ложечку левой рукою Ситанова, крикнул, отступил и с
удовольствием сказал:

– Молодой, а не дурак!

Они начали прыгать друг на друга, с размаха бросая в грудь один другому тяжелые кулаки; через несколько минут и свои и чужие возбужденно кричали.

– Прытче, богомаз! Расписывай его, чекань!

Мордвин был много сильнее Ситанова, но значительно тяжелей его, он не мог бить так быстро и получал два и три удара за один. Но битое тело мордвина, видимо, не очень страдало, он всё ухал, посмеивался и вдруг, тяжким ударом вверх, под мышку – вышиб правую руку Ситанова из плеча.

– Разводи – ничья! – крикнуло сразу несколько голосов, и, сломав круг, люди развели бойцов.

Мордвин добродушно говорил:

– Не велико силен, а ловок, богомаз! Хороший боец будет, это я говорю на весь народ.

Подростки начали общий бой, я повел Ситанова к фельдшеру-костоправу; его поступок еще больше возвысил его в моих глазах, увеличил симпатию и уважение к нему.

Он был вообще очень правдив, честен и считал это как бы должностью своей, но размашистый Капендюхин ловко подсмеивался над ним:

– Эх, Женя, напоказ живешь! Начистил душу, как самовар перед праздником, и хвастаешься – вот светло блестит! А душа у тебя – медная, и очень скучно с тобой...

Ситанов спокойно молчал, усердно работая или списывая в тетрадку стихи Лермонтова; на это списывание он тратил всё свое свободное время, а когда я предложил ему: «Ведь у вас деньги-то есть, вы бы купили книгу!» – он ответил:

– Нет, лучше списать своей рукой!

Написав страницу красивым мелким почерком, с фигурными росчерками, ожидая, когда высохнут чернила, он тихонько читал:

Без сожаленья, без участия
Смотреть на землю будешь ты,
Где нет ни истинного счастья.
Ни долговечной красоты...
И говорил, зажмурив глаза:

– Это – правда! Эх, и здорово он правду знает!

Меня очень удивляли отношения Ситанова с Капен-дюхиным – выпивши, казак всегда лез драться к товарищу, Ситанов долго уговаривал его:

– Отстань! Не лезь...

А потом начинал жестоко бить пьяного, так жестоко, что мастера, относившиеся к междоусобным дракам как ко зрелищу, ввязывались в эту драку и разводили друзей.

– Не останови Евгенья вовремя – до смерти убьет и себя не пожалеет, – говорили они.

Трезвый, Капендюхин тоже неумоимо издевался над Ситановым, высмеивая его страсть к стихам и его несчастный роман, грязно, но безуспешно возбуждая ревность. Ситанов слушал издевки казака молча, безобидно, а иногда даже сам смеялся вместе с Капен-дюхиным.

Спали они рядом и по ночам долго шёпотом беседовали о чем-то.

Эти беседы не давали мне покоя – хотелось знать, о чем могут дружески говорить люди, так непохожие один на другого? Но, когда я подходил к ним, казак ворчал:

– Тебе чего надо?

А Ситанов точно не видел меня.

Но однажды они позвали меня, и казак спросил:

– Максимыч, ежели бы ты был богат, что бы сделал?

– Книг купил бы.

– А еще?

– Не знаю.

– Эх, – с досадой отвернулся от меня Капен дюхин, а Ситанов спокойно сказал:

– Видишь – никто не знает, ни старый, ни малый! Я тебе говорю: и богатство само по себе – ни к чему! Всё требует какого-нибудь приложения...

Я спросил:

– О чем вы говорите?

– Спать неохота, вот и говорим, – ответил казак.

Позднее, прислушавшись к их беседам, я узнал, что они говорят по ночам о том же, о чем люди любят говорить и днем: о боге, правде, счастье, о глупости и хитрости женщин, о жадности богатых и о том, что вся жизнь запутана, непонятна.

Я всегда слушал эти разговоры с жадностью, они меня волновали, мне нравилось, что почти все люди говорят одинаково: жизнь – плоха, надо жить лучше! Но в то же время я видел, что желание жить лучше ни к чему не обязывает, ничего не изменяет в жизни мастерской, в отношениях мастеров друг ко другу. Все эти речи, освещая предо мною жизнь, открывали за нею какую-то унылую пустоту, и в этой пустоте, точно соринки в воде пруда при ветре, бестолково и раздраженно плавают люди, те самые, которые говорят, что такая толкотня бессмысленна и обижает их.

Рассуждая много и охотно, всегда кого-нибудь судили, каялись, хвастались, и, возбуждая злые ссоры из-за пустяков, крепко обижали друг друга. Пытались догадаться о том, что будет с ними после смерти, а у порога мастерской, где стоял ушат для помоев, прогнила половица, из-под пола в эту сырую, гнилую, мокрую дыру несло холодом, запахом прокисшей земли, от этого мерзли ноги; мы с Павлом затыкали эту дыру сеном и тряпками. Часто говорили о том, что надо переменить половицу, а дыра становилась всё шире, во дни вьюг из нее садило, как из трубы, люди простужались, кашляли. Жестяной вертун форточки отвратительно визжал, его похабно ругали, а когда я его смазал маслом, Жихарев, прислушавшись, сказал:

– Не визжит форточка, и – стало скушней...

Приходя из бани, ложились в пыльные и грязные постели – грязь и скверные запахи вообще никого не возмущали. Было множество дрянных мелочей, которые мешали жить, их можно было легко извести, но никто не делал этого.

Часто говорили:

– Никто людей не жалеет, ни бог, ни сами себя...

Но когда мы, я и Павел, вымыли изъеденного грязью и насекомыми, умирающего Давидова, нас подняли на смех, снимали с себя рубахи, предлагая нам обыскать их, называли банщиками и вообще издевались так, как будто мы сделали что-то позорное и очень смешное.

С Рождества вплоть до великого поста Давидов лежал на полатах, затажно. кашляя,

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyтама
плевал вниз шматками пахучей крови, не попадая в ушат с помоями, кровь шлепалась
на пол; по ночам он будил людей бредовыми криками.

Почти каждый день говорили:

– Надо бы его в больницу свезти!

Но сначала у Давидова оказался просроченный паспорт, потом ему стало лучше, а под конец решили:

– Всё равно скоро умрет!

Он и сам обещал:

– Я – скоро!

Он был тихий юморист и тоже всегда старался разогнать злую скуку мастерской шуточками, – свесит вниз темное костлявое лицо и свистящим голосом возглашает:

– Народ, слушай голос вознесенного на полати...

И складно говорил грустную чепуху:

На полатях я живу,
Просыпаюсь рано,
И во сне и наяву
Едят меня тараканы...

– Не унывает! – восхищалась публика.

Иногда я с Павлом забирался к нему, – он шутил натужно:

– Чем потчевать, дорогие гости? Паучка свеженького – не желаете?

Умирал он медленно, и это очень надоело ему; он говорил с искренней досадой:

– Никак не могу помереть, просто беда!

Его бесстрашие перед смертью очень пугало Павла, он будил меня по ночам и шептал:

– Максимыч, кажись, помер он... Вот померет ночью, а мы будем лежать под ним, ах, господи! Боюсь я покойников...

Или говорил:

– Ну, что жил, зачем? Двадцать лет не минуло, а уж умирает...

Однажды, лунною ночью, он разбудил меня и, глядя испуганно вытаращенными глазами, сказал:

– Слушай!

На полатях хрипел Давидов, торопливо и четко говоря:

– Дай-ко сюда, да-ай...

Потом начал икать.

– Умирает, ей-богу, вот увидишь! – волновался Павел.

Я весь день возил на себе снег со двора в поле, очень устал, мне хотелось спать, но Павел просил меня:

– Не спи, пожалуйста, Христа ради, не спи!

И вдруг, вскочив на колени, неистово закричал:

– Вставайте, Давидов помер!

Кое-кто проснулся, с постелей поднялось несколько фигур, раздались сердитые вопросы.

Капендюхин влез на полати и удивленно сказал:

– В сам-деле умер будто... хоша – тепленький...

Стало тихо. Жихарев перекрестился и, кутаясь в одеяло, сказал:

– Ну что ж, царство ему небесное!

Кто-то предложил:

– В сени бы его вынести...

Капендюхин слез с полатей, поглядел в окно.

– Пускай полежит до утра, он и живой не мешал никому...

Павел, спрятав голову под подушку, рыдал.

А Ситанов – не проснулся.

XV

Таяли снега в поле, таяли зимние облака в небе, падая на землю мокрым снегом и дождем; всё медленнее проходило солнце свой дневной путь, теплее становился воздух, казалось, что пришло уже весеннее веселье, шутливо прячется где-то за городом в полях и скоро хлынет на город. На улицах – рыжая грязь, около панелей бегут ручьи, на проталинах Арестантской площади весело прыгают воробьи. И в людях заметна воробьиная суетливость. Над весенним шумом, почти непрерывно с утра до вечера, течет великопостный звон, покачивая сердце мягкими толчками, – в этом звоне, как в речах старика, скрыто нечто обиженное, кажется, что колокола обо всем говорят с холодным унынием: «Было-о, было это, было-о...»

В день моих именин мастерская подарила мне маленький, красиво написанный образ Алексия – божия человека, и Жихарев внушительно сказал длинную речь, очень памятную мне.

– Кто ты есть? – говорил он, играя пальцами, приподняв брови. – Не больше как мальчишка, сирота, тринадцати годов от роду, а я – старше тебя вчетверо почти и хвалю тебя, одобряю за то, что ты ко всему стоишь не боком, а лицом! Так и стой всегда, это хорошо!

Говорил он о рабах божьих и о людях его, но разница между людьми и рабами осталась непонятной мне, да и ему, должно быть, неясна была. Он говорил скучно, мастерская посмеивалась над ним, я стоял с иконою в руках, очень тронутый и смущенный, не зная, что мне делать. Наконец Капендюхин досадливо крикнул оратору:

– Да перестань отпевать его, вон у него даже уши посинели.

Потом, хлопнув меня по плечу, тоже похвалил:

– Хорошо в тебе то, что ты всем людям родня, – вот что хорошо! И не то что бить тебя, а и обругать – трудно, когда и есть за что!

Все смотрели на меня хорошими глазами, ласково высмеивая мое смущение, еще немножко – и я бы, наверное, разревелся от неожиданной радости чувствовать себя человеком, нужным для этих людей. А как раз в это утро в лавке приказчик сказал Петру Васильеву, кивая на меня головой:

– Неприятный мальчишка и ни к чему не способный!

Как всегда, я с утра ушел в лавку, но после полудня приказчик сказал мне:

– Иди домой, свали снег с крыши амбара и набивай погреб...

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma

О том, что я именинник, он не знал; я был уверен, что и никто не знает об этом. Когда кончилась церемония поздравлений в мастерской, я переоделся, убежал на двор и залез на крышу сарая сбрасывать плотный, тяжелый снег, обильный в эту зиму. Но, взволнованный, я позабыл отворить дверь погреба и завалил ее снегом. Соскочив на землю и видя эту ошибку, я тотчас принялся откидывать снег от двери; сырой, он крепко слежался; деревянная лопата с трудом брала его, железной не было, и я сломал лопату как раз в тот момент, когда в калитке появился приказчик; оправдалась русская пословица: «За радостью горе по пятам ходит».

– Та-ак, – насмешливо сказал приказчик, подходя ко мне. – Эх ты, работник, чёрт бы тебя побрал! Вот хвачу тебя по безумной твоей башке...

Он замахнулся на меня стержнем лопаты, я отодвинулся и сказал сердито:

– Да ведь я не в дворники нанялся к вам...

Он швырнул палкой в ноги мне, я схватил ком снега и угодил ему в лицо; он убежал, фыркая, а я, бросив работу, ушел в мастерскую. Через несколько минут сверху сбежала его невеста, вертлявая девица в прыщах на пустом лице.

– Максими́ча наверх!

– Не пойду, – сказал я.

Ларионыч спросил тихо и удивленно:

– Как это – не пойдешь?

Я сообщил ему, в чем дело; озабоченно нахмурившись, он пошел наверх, сказав мне вполголоса:

– Экой ты, брат, дерзкой...

Мастерская загудела, поругивая приказчика; Ка-пендюхин сказал:

– Ну, теперь тебя вышибут!

Это меня не пугало. Мои отношения с приказчиком давно уже стали невыносимы, – он ненавидел меня упрямо и всё более остро, я тоже терпеть его не мог, но я хотел понять, почему он так нелепо относится ко мне.

Он разбрасывал по полу лавки серебряные монеты; подметая пол, я находил их и складывал на прилавке в чашку, где лежали гроши и копейки для нищих. Когда я догадался, что значат эти частые находки, я сказал приказчику:

– Вы напрасно подбрасываете мне деньги!

Он вспыхнул и неосторожно закричал:

– Не смей учить меня, я знаю, что делаю!

Но тотчас поправился:

– Как это – напрасно подбрасываю? Они сами падают...

Он запретил мне читать в лавке книги, сказав:

– Это не твоего ума дело! Что ты – в начетчики метишь, дармоед?

Он не прекращал своих попыток поймать меня двугривенными, и я понимал, что если в то время, как метешь пол, монета закатится в щель – он будет убежден, что я украл ее. Тогда я ему еще раз предложил оставить эту игру, но в тот же день, возвращаясь из трактира с кипятком, я услышал, как он внушает недавно нанятому приказчику соседа:

– Ты научи его Псалтырь украсть – скоро мы Псалтыри получим, три короба...

Я понял, что речь идет обо мне, – когда я вошел в лавку, они оба смутились, но,
Страница 268

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiyama
и кроме этого признака, у меня были основания подозревать их в дурацком заговоре против меня.

Приказчик соседа уже не в первый раз служил у него; он считался ловким торговцем, но страдал запоем; на время запоя хозяин прогонял его, а потом опять брал к себе этого худосочного и слабосильного человека с хитрыми глазами. Внешне кроткий, покорный каждому жесту хозяина, он всегда улыбался в бородку себе умненькой улыбочкой, любил сказать острое словцо, и от него исходил тот дрянной запах, который свойствен людям с гнилыми зубами, хотя зубы его были белы и крепки.

Однажды он меня страшно удивил: подошел ко мне, ласково улыбаясь, но вдруг сбил с меня шапку и схватил за волосы. Мы стали драться, с галереи он втолкнул меня в лавку и всё старался повалить на большие киоты, стоявшие на полу, – если бы это удалось ему, я перебил бы стекла, поломал резьбу и, вероятно, поцарапал бы дорогие иконы. Он был очень слаб, и мне удалось одолеть его, но тогда, к великому изумлению моему, бородатый мужчина горько заплакал, сидя-на полу и вытирая разбитый нос.

А на другое утро, когда наши хозяева ушли куда-то и мы были одни, он дружески сказал мне, растирая пальцем опухоль на переносье и под самым глазом:

– Думаешь – это я по своей воле и охоте навалился на тебя? Я – не дурак, я ведь знал, что ты меня побьешь, я человек слабый, пьющий. Это мне хозяин велел, дай, говорит, ему выволочку, да постарайся, чтоб он у себя в лавке побольше напортил во время драки, все-таки – убыток им! А сам я – не стал бы, вон ты как мне рожу-то изукрасил...

Я поверил ему, и мне стало жаль его, я знал, что он живет впроголодь, с женщиной, которая колотит его. Но я все-таки спросил его:

– А если тебя заставят отравить человека – отравишь?

– Он заставит, – сказал приказчик тихонько, с жалкой усмешечкой. – Он – может...

Вскоре после этого он спросил меня:

– Слушай, у меня ни гроша, дома жрать нечего, баба – лается, стащи, друг, у себя в кладовой какую-нибудь иконку, а я продам ее, а? Стащи? А то – Псалтырь?

Я вспомнил магазин обуви, церковного сторожа, мне подумалось: выдаст меня этот человек! Но трудно было отказать, и я дал ему икону, но стащить Псалтырь, стоивший несколько рублей, не решился, это казалось мне крупным преступлением. Что поделаешь? В морали всегда скрыта арифметика; святая наивность «Уложения о наказаниях уголовных» очень ясно выдает эту маленькую тайну, за которой прячется великая ложь собственности.

Когда я услышал, как мой приказчик внушает этому жалкому человеку научить меня украсть Псалтырь, – я испугался. Было ясно, что мой приказчик знает, как я добр за его счет, и что приказчик соседа рассказал ему про икону.

Мерзость доброты на чужой счет и эта дрянная ловушка мне – всё вместе вызывало у меня чувство негодования, отвращения к себе и ко всем. Несколько дней я жестоко мучился, ожидая, когда придут коробка с книгами; наконец они пришли, я разбираю их в кладовой, ко мне подходит приказчик соседа и просит дать ему Псалтырь.

Тогда я спрашиваю его:

– А ты сказал моему про икону?

– Сказал, – ответил он унылым голосом. – Я, брат, ничего не могу скрыть...

Это меня ошеломило, я сел на пол и вытаращил на него глаза, а он начал поспешно бормотать, сконфуженный, отчаянно жалкий:

– Видишь ли, твой сам догадался, то есть это мой хозяин догадался и сказал твоему...

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Мне показалось, что я пропал, – подсадили меня эти люди, и теперь мне уготовано место в колонии для малолетних преступников! Когда так – всё равно! Уж если тонуть, так на глубоком месте. Я сунул в руки приказчика Псалтырь, он спрятал его под пальто и пошел прочь, но тотчас повернулся, и – Псалтырь упал к моим ногам, а человек зашагал прочь, говоря:

– Не возьму! Пропадешь с тобой...

Я не понял этих слов, – почему со мной пропадешь? Но я был очень доволен тем, что он не взял книги. После этого мой маленький приказчик стал смотреть на меня еще более сердито и подозрительно.

Всё это я вспомнил, когда Ларионыч пошел наверх; он пробыл там недолго и воротился еще более подавленно тихим, чем всегда, а перед ужином, с глазу на глаз, сказал мне:

– Хлопотал, чтоб тебя освободили от лавки, отдали бы в мастерскую. Не вышло это! Кузьма не хочет. Очень ты не по душе ему...

В доме у меня был тоже враг – невеста приказчика, чрезмерно игривая девица; с нею играла вся молодежь мастерской, поджидая ее в сенях, обнимая; она не обижалась на это, а только взвизгивала тихонько, как маленькая собачка. С утра до вечера она жевала, ее карманы всегда были набиты пряниками, лепешками, челюсти неустанно двигались, – смотреть на ее пустое лицо с беспокойными серенькими глазками было неприятно. Мне и Павлу она предлагала загадки, всегда скрывавшие какое-нибудь грубенькое бесстыдство, сообщала нам скороговорки, сливавшиеся в неприличное слово.

Однажды кто-то из пожилых мастеров сказал ей:

– А и бесстыдница ты, девушка!

Она бойко ответила словами зазорной песни:

Коли девушка стыдится,
Она в бабы не годится...

Я в первый раз видел такую девицу, она была противна мне и пугала меня, грубо заигрывая, а видя, что эти заигрывания не сладки для меня, становилась всё назойливее.

Как-то раз, на погребке, когда я с Павлом помогал ей парить кадки из-под кваса и огурцов, она предложила нам:

– Хотите, мальчики, я вас научу целоваться?

– Я умею получше тебя, – ответил ей Павел, смеясь, а я сказал ей, чтобы она шла целоваться к жениху, и сказал это не очень любезно. Она рассердилась.

– Ах, какой грубиян! Барышня с ним любезничает, а он нос воротит; скажите, фря какая!

И добавила, погрозив пальцем:

– Ну, погоди, я тебе это припомню!

Павел тоже сказал ей, поддерживая меня:

– Задаст тебе жених-то, коли узнает про твое озорство.

Она презрительно сморщила прыщеватое лицо.

– Не боюсь я его! С моим приданым я десяток найду, получше гораздо. Девке только до свадьбы и побаловать.

И она начала баловать с Павлом, а я с той поры приобрел в ней неутомимую ябедницу.

В лавке становилось всё труднее, я прочитал все церковные книги, меня уже не

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyтама
увлекали более споры и беседы начетчиков, – говорили они всё об одном и том же.
Только Петр Васильев по-прежнему привлекал меня своим знанием темной
человеческой жизни, своим умением говорить интересно и пылко. Иногда мне
думалось, что вот таков же ходил по земле пророк Елисей, одинокий и мстительный.

Но каждый раз, когда я говорил со стариком откровенно о людях, о своих думах,
он, благожелательно выслушав меня, передавал сказанное мною приказчику, а тот
или обидно высмеивал меня, или сердито ругал.

Однажды я сказал старику, что иногда записываю его речи в тетрадь, где у меня
уже записаны разные стихи, изречения из книг; это очень испугало начетчика, он
быстро покачулся ко мне и стал тревожно спрашивать:

– Это зачем же ты? Это, малый, не годится! Для памяти? Нет, ты это брось! Экой
ты какой ведь! Ты дай-кось мне записки-то эти, а?

Он долго и настойчиво убеждал меня, чтобы я отдал ему тетрадь или сжег ее, а
потом стал сердито шептаться с приказчиком.

Когда мы шли домой, приказчик строго сказал мне:

– Ты какие-то записки делаешь – так чтобы этого не было! Слышал? Этим занимаются
только сыщики.

Я неосторожно спросил:

– А как же Ситанов? Он тоже записывает.

– Тоже? Дурак длинный...

Долго помолчав, он необычно мягко предложил:

– Слушай, покажи мне свою тетрадь и Ситанова тоже – я тебе полтину дам! Только
так сделай, чтобы Ситанов не знал, тихонько...

Должно быть, он был уверен, что я исполню его желание, и, не сказав ни слова
больше, побежал впереди меня на коротких ножках.

Дома я рассказал Ситанову о предложении приказчика, Евгений нахмурился.

– Это ты напрасно проболтался... Теперь он научит кого-нибудь выкрасть тетради у
меня и у тебя дай-ка мне твою, я спрячу... А тебя он скоро выживет, гляди!

Я был убежден в этом и решил уйти, как только бабушка вернется в город, – она
всю зиму жила в Балах-не, приглашенная кем-то учить девиц плетению кружев. Дед
снова жил в Кунавине, я не ходил к нему, да и он, бывая в городе, не посещал
меня. Однажды мы столкнулись на улице; он шел в тяжелой енотовой шубе, важно и
медленно, точно поп, я поздоровался с ним; посмотрев на меня из-под ладони, он
задумчиво проговорил:

– А, это ты... ты богомаз теперь, да, да... Ну, иди, иди!

Отодвинул меня с дороги и всё так же важно и медленно пошел дальше.

Бабушку я видел редко; она работала неустанно, подкармливая деда, который
заболевал старческим слабоумием, возилась с детьми дядьев. Особенно много
доставлял ей хлопот Саша, сын Михаила, красивый парень, мечтатель и книголюб. Он
работал по красильным мастерским, часто переходя от одного хозяина к другому, а
в промежутках сидел на шее бабушки, спокойно дожидаясь, когда она найдет ему
новое место. На ее же шее висела сестра Саши, неудачно вышедшая замуж за пьяного
мастерского, который бил ее и выгонял из дома.

Встречаясь с бабушкой, я всё более сознательно восхищался ее душой, но – я уже
чувствовал, что эта прекрасная душа ослеплена сказками, не способна видеть, не
может понять явлений горькой действительности и мои тревоги, мои волнения чужды
ей.

– Терпеть надо, Олеша!

Это – всё, что она могла сказать мне в ответ на мои повести о безобразиях жизни, о муках людей, о тоске – обо всем, что меня возмущало.

Я был плохо приспособлен к терпению, и если иногда проявлял эту добродетель скота, дерева, камня – я проявлял ее ради самоиспытания, ради того, чтобы знать запас своих сил, степень устойчивости на земле. Иногда подростки, по глупому молодечеству, по зависти к силе взрослых, пытаются поднимать и поднимают тяжести, слишком большие для их мускулов и костей, пробуют хвастливо, как взрослые силачи, креститься двухпудовыми гирями.

Я тоже делал всё это в прямом и переносном смысле, физически и духовно, и только благодаря какой-то случайности не надорвался насмерть, не изуродовал себя на всю жизнь. Ибо ничто не уродует человека так страшно, как уродует его терпение, покорность силе внешних условий.

И если в конце концов я все-таки лягу в землю изуродованным, то – не без гордости – скажу в свой последний час, что хорошие люди лет сорок серьезно заботились исказить душу мою, но упрямый труд их не весьма удачен.

Всё более часто меня охватывало буйное желание озорничать, потешать людей, заставлять их смеяться. Мне удавалось это; я умел рассказывать о купцах Нижнего базара, представляя их в лицах; изображал, как мужики и бабы продают и покупают иконы, как ловко приказчик надувает их, как спорят начетчики.

Мастерская хохотала, нередко мастера бросали работу, глядя, как я представляю, но всегда после этого Ларионыч советовал мне:

– Ты бы лучше после ужина представлял, а то мешаешь работать...

Кончив «представление», я чувствовал себя легко, точно сбросил ношу, тяготившую меня; на полчаса, на час в голове становилось приятно пусто, а потом снова казалось, что голова у меня полна острых мелких гвоздей, они шевелятся там, нагреваются.

Вокруг меня вскипала какая-то грязная каша, и я чувствовал, что потихоньку развариваюсь в ней.

Думалось:

«Неужели вся жизнь – такая? И я буду жить так, как эти люди, не найду, не увижу ничего лучше?»

– Сердит становишься, Максимыч, – говорил мне Жихарев, внимательно поглядывая на меня. Ситанов часто спрашивал:

– Ты что?

Я не умел ответить.

Жизнь упрямо и грубо стирала с души моей свои же лучшие письма, ехидно заменяя их какой-то ненужной дрянью, – я сердито и настойчиво противился ее насилию, я плыл по той же реке, как и все, но для меня вода была холоднее, и она не так легко держала меня, как других, – порою мне казалось, что я погружаюсь в некую глубину.

Люди относились ко мне всё лучше, на меня не орали, как на Павла, не помыкали мною, меня звали по отчеству, чтобы подчеркнуть уважительное отношение ко мне. Это – хорошо, но было мучительно видеть, как много люди пьют водки, как они противны пьяные, и как болезненно их отношение к женщине, хотя я понимал, что водка и женщина – единственные забавы в этой жизни.

Часто вспоминалось с грустью, что сама умная, смелая Наталья Козловская тоже называла женщину забавой.

Но как же тогда бабушка? И Королева Марго?

О Королеве я вспоминал с чувством, близким страху, – она была такая чужая всему,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
точно я ее видел во сне.

Я слишком много стал думать о женщинах и уже решал вопрос: а не пойти ли в следующий праздник туда, куда все ходят? Это не было желанием физическим, – я был здоров и брезглив, но порою до бешенства хотелось обнять кого-то ласкового, умного и откровенно, бесконечно долго говорить, как матери, о тревогах души.

Я завидовал Павлу, когда он по ночам говорил мне о своем романе с горничною из дома напротив.

– Вот, брат, штука: месяц тому назад я в нее снегом швырял, не нравилась мне она, а теперь сидишь на лавочке, прижмешься к ней – никого нет дороже!.. – О чем вы говорите?

– Обо всем, конечно. Она мне – про себя, а я ей – тоже про себя. Ну, целуемся... Только она – честная... Она, брат, беда какая хорошая!.. Ну, куришь ты, как старый солдат!

Я курил много; табак, опьяняя, притуплял беспокойные мысли, тревожные чувства. Водка, к счастью моему, возбуждала у меня отвращение своим запахом и вкусом, а Павел пил охотно и, напившись, жалобно плакал:

– Домой хочу я, домой! Отпустите меня домой...

Он был, помнится мне, сирота; мать и отец давно умерли у него, братьев, сестер – не было, лет с восьми он жил по чужим людям.

В этом настроении тревожной неудовлетворенности, еще более возбуждаемой зовами весны, я решил снова поступить на пароход и, спустившись в Астрахань, убежать в Персию.

Не помню, почему именно – в Персию, может быть, только потому, что мне очень нравились персияне-купцы на Нижегородской ярмарке: сидят этакие каменные идолы, выставив на солнце крашенные бороды, спокойно покуривая кальян, а глаза у них большие, темные, всезнающие.

Наверное, я и убежал бы куда-то, но на пасхальной неделе, когда часть мастеров уехала домой, в свои села, а оставшиеся пьянствовали, – гуляя в солнечный день по полю над Окой, я встретил моего хозяина, племянника бабушки.

Он шел в легком сером пальто, руки в карманах брюк, в зубах папираса, шляпа на затылке; его приятное лицо дружески улыбалось мне. У него был подкупающий вид человека свободного, веселого, и, кроме нас двоих, в поле никого не было.

– А, Пешков, Христос воскрес!

Похристосовались, он спросил, каково мне живется, и я откровенно рассказал ему, что мастерская, город и всё вообще – надоело мне и я решил ехать в Персию.

– Брось, – сказал он серьезно. – Какая там, к чёрту, Персия? Это, брат, я знаю, в твои годы и мне тоже хотелось бежать ко всем чертям!..

Мне нравилось, что он так ухарски швыряется чертями; в нем играло что-то хорошее, весеннее, весь он был – набекрень.

– Куришь? – спросил он, протягивая мне серебряный портсигар с толстыми папиросами.

Ну, это уж окончательно победило меня!

– Вот что, Пешков, иди-ка ты опять ко мне! – предложил он. – Я, брат, в этом году взял подрядов на ярмарке тысяч этак на сорок – понимаешь? Вот я и прилажу тебя на ярмарку; будешь ты у меня вроде десятника, принимать всякий материал, смотреть, чтоб всё было вовремя на месте и чтоб рабочие не воровали, – идет? Жалованье – пять в месяц и пятак на обед! Бабы тебя не касаются, с утра ты ушел, вечером пришел; бабы – мимо! Только ты не говори им, что мы виделись, а просто приходи в воскресенье на фоминой и – шабаш!

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
Мы расстались друзьями, на прощанье он пожал мне руку и даже, уходя, издали приветливо помахал шляпой.

Когда я сказал в мастерской, что ухожу, – это сначала вызвало у большинства лестное для меня сожаление, особенно взволновался Павел.

– Ну, подумай, – укоризненно говорил он, – как ты будешь жить с мужиками разными после нас? Плотники, маляры... Эх ты! Это называется – из дьяконов в пономари...

Жихарев ворчал:

– Рыба ищет – где глубже, добрый молодец – что хуже...

Проводы, устроенные мне мастерской, были печальны и нудны.

– Конечно, надо испробовать и то и это, – говорил Жихарев, желтый с похмелья. – А лучше сразу да покрепче зацепиться за одно что-нибудь...

– И уж на всю жизнь, – тихо добавил Ларионыч.

Но я чувствовал, что они говорят с натугой и как бы по обязанности, – нить, скрепляющая меня с ними, как-то сразу перегнила и порвалась.

На полатях ворочался пьяный Гоголев и хрипел:

– З-захочу – все в остроге будут! Я – секрет знаю! Кто тут в бога верует? Аха-а...

Как всегда, у стен прислонились безликие недописанные иконы, к потолку прилипли стеклянные шары. С огнем давно уже не работали, шарами не пользовались, их покрыл серый слой копоти и пыли. Всё вокруг так крепко запомнилось, что, и закрыв глаза, я вижу во тьме весь подвал, все эти столы, баночки с красками на подоконниках, пучки кистей с держальцами, иконы, ушат с помоями в углу, под медным умывальником, похожим на каску пожарного, и свесившуюся с полатей голую ногу Гоголева, синюю, как нога утопленника.

Хотелось поскорее уйти, но на Руси любят затягивать грустные минуты; прощаясь, люди точно заупокойную литургию служат.

Жихарев, сдвинув брови, сказал мне:

– А книгу эту, Демона, я не могу тебе отдать – хочешь двугривенный получить за нее?

Книга была моей собственностью, – старик брандмейстер подарил мне ее, мне было жалко отдавать Лермонтова. Но когда я, несколько обиженный, отказался от денег, Жихарев спокойно сунул монету в кошелек и непоколебимо заявил:

– Как хочешь, а я не отдам книги! Эта книга – не для тебя, это такая книга, что с ней недолго и греха нажить...

– Да ее же в магазине продают, я видел!

Но он сугубо убедительно сказал мне:

– Это ничего не значит, в магазинах и пистолеты продают...

Так и не отдал мне Лермонтова.

Идя наверх, прощаться с хозяйкой, я столкнулся в сенях с ее племянницей, она спросила:

– Говорят – уходишь ты?

– Ухожу.

– Кабы не ушел, так бы выгнали, – сообщила она мне не очень любезно, но вполне искренно.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
А пьяненькая хозяйка сказала:

– Прощай, Христос с тобой! Ты – нехороший мальчик, дерзкий! Хоть я плохого от тебя ничего не видала, а все говорят – нехороший ты!

И вдруг заплакала, говоря сквозь слезы:

– Был бы жив покойник, муженек мой сладкий, милая душенька, дал бы он тебе выволочку, накидал бы тебе подзатыльников, а – оставил бы, не гнал! А нынче всё пошло по-другому, чуть что не так – во-он, прочь! Ох, и куда ты, мальчик, денешься, к чему прислонишься?

XVI

Я еду с хозяином на лодке по улицам Ярмарки, среди каменных лавок, залитых половодьем до высоты вторых этажей. Я – на веслах, хозяин, сидя на корме, неумело правит, глубоко запуская в воду кормовое весло, лодка неуклюже юлит, повертывая из улицы в улицу по тихой, мутно задумавшейся воде.

– Эх, высока нынче вода, чёрт ее возьми! Задержит она работы, – ворчит хозяин, покуривая сигару; дым ее пахнет горелым сукном.

– Тише! – испуганно кричит он. – На фонарь едем!

Справился с лодкой и ругается:

– Ну и лодку дали, подлецы!..

Он показывает мне места, где, после спада воды, начнутся работы по ремонту лавок. Досиня выбритый, с подстриженными усами и сигарой во рту, он не похож на подрядчика. На нем кожаная куртка, высокие до колен сапоги, через плечо – ягдташ, в ногах торчит дорогое двухствольное ружье Лебеля. Он то и дело беспокойно передвигает кожаную фуражку – надвинет ее на глаза, надует губы и озабоченно смотрит вокруг; собьет фуражку на затылок, помолодеет и улыбается в усы, думая о чем-то приятном, – и не верится, что у него много работы, что медленная убыль воды беспокоит его, – в нем гуляет волна каких-то, видимо, неделовых дум.

А я подавлен чувством тихого удивления: так странно видеть этот мертвый город, прямые ряды зданий с закрытыми окнами, – город, сплошь залитый водою и точно плывущий мимо нашей лодки.

Небо серое. Солнце заплуталось в облаках, лишь изредка просвечивая сквозь их гущу большим серебряным, по-зимнему, пятном.

Вода тоже сера и холодна; течение ее незаметно; кажется, что она застыла, уснула вместе с пустыми домами, рядами лавок, окрашенных в грязно-желтый цвет. Когда сквозь облака смотрит белесое солнце, всё вокруг немножко посветлеет, вода отражает серую ткань неба, – наша лодка висит в воздухе между двух небес; каменные здания тоже приподнимаются и чуть заметно плывут к Волге, Оке. Вокруг лодки качаются разбитые бочки, ящики, корзины, щепы и солома, иногда мертвой змеей проплывет жердь или бревно.

Кое-где окна открыты, на крышах рядских галерей сушится белье, торчат валяные сапоги; из окна на серую воду смотрит женщина, к вершине чугунной колонки галерей причалена лодка, ее красный борт отражен водою жирно и мясисто.

Кивая головой на эти признаки жизни, хозяин объясняет мне:

– Это – ярмарочный сторож живет. Вылезет из окна на крышу, сядет в лодку и ездит, смотрит – нет ли где воров? А нет воров – сам ворует...

Он говорит лениво, спокойно, думая о чем-то другом. Вокруг тихо, пустынно и невероятно, как во сне Волга и Ока слились в огромное озеро; вдаль, на мохнатой горе пестро красуется город, весь в садах, еще темных, но почки деревьев уже набухли, и сады одевают дома и церкви зеленоватой теплой шубой. Над водою стелется густо пасхальный звон, слышно, как гудит город, а здесь – точно на забытом кладбище.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax

Наша лодка вертится между двух рядов черных деревьев, мы едем Главной линией к Старому собору. Сигара беспокоит хозяина, застилая ему глаза едким дымом, лодка то и дело тычется носом или бортом о стволы деревьев, – хозяин раздраженно удивляется:

– Этакая подлая лодка!

– Да вы не правьте.

– Как же можно? – ворчит он. – Если в лодке двое, то всегда – один гребет, другой правит. Вот – смотри: Китайские ряды...

Я давно знаю Ярмарку насквозь; знаю и эти смешные ряды с нелепыми крышами; по углам крыш сидят, скрестив ноги, гипсовые фигуры китайцев; когда-то я со своими товарищами швырял в них камнями, и у некоторых китайцев именно мною отбиты головы, руки. Но я уже не горжусь этим...

– Ерунда, – говорит хозяин, указывая на ряды. – Кабы мне дали строить это...

Он свистит, сдвигая фуражку на затылок.

А мне почему-то думается, что он построил бы этот каменный город так же скучно, на этом же низком месте, которое ежегодно заливают воды двух рек. И китайские ряды выдумал бы...

Утопив сигару за бортом, он сопроводил ее плевком отвращения и говорит:

– Скушно, Пешков! Скушно. Образованных людей – нет, поговорить – не с кем. Захочется похвастать – а перед кем? Нет людей. Всё плотники, каменщики, мужики, жулье...

Он смотрит вправо, на белую мечеть, красиво поднявшуюся из воды, на холме, и продолжает, словно вспоминая забытое:

– Начал я пиво пить, сигары курю, живу под немца. Немцы, брат, народ деловой, т-такие звери-курицы! Пиво – приятное занятие, а к сигарам – не привык еще! Накуришься, жена ворчит: «Чем это от тебя пахнет, как от шорника?» Да, брат, живем, ухитряемся... Ну-ка, правь сам...

Положив весло на борт, он берет ружье и стреляет в китайца на крыше, – китаец не потерпел вреда, дробь осеяла крышу и стену, подняв в воздухе пыльные дымки.

– Не попал, – без сожаления сознается стрелок и снова вкладывает в ружье патрон.

– Ты как насчет девчонок – разговелся? Нет? А я в тринадцать лет уже влюблялся...

Он рассказывает, как сон, историю своей первой любви к горничной архитектора, у которого он жил учеником. Тихонько плещет серая вода, омывая углы зданий, за собором тускло блестит водная пустыня, кое-где над нею поднимаются черные прутья лозняка.

В иконописной мастерской часто певали семинарскую песню:

Море синее,
Море бурное...
Скука смертельная, должно быть, это синее море...

– Ночей не спал, – говорит хозяин. – Бывало, встану с постели и стою у дверей ее, дрожу, как собачонка, – дом холодный был! По ночам ее хозяин посещал, мог меня застать, а я – не боялся, да...

Он говорил задумчиво, точно рассматривая старое, изношенное платье – можно надеть еще раз или нет?

– Заметила она меня, пожалела, распахнула дверь и зовет: «Иди, дурачок...»

Я много слышал таких рассказов, надоели они мне, хотя в них была приятная черта, – о первой своей «любви» почти все люди говорили без хвастовства, не грязно, а

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiyama
часто так ласково и печально, что я понимал: это было самое лучшее в жизни
рассказчика. У многих, кажется, только это и было хорошо.

Смеясь и качая головой, хозяин восклицает удивленно:

– А жене этого не скажешь, ни-ни! Ну, что тут та-кого? А не расскажешь! Вот история...

Он рассказывает не мне, а себе самому. Если бы он молчал, говорил бы я, – в этой тишине и пустоте необходимо говорить, петь, играть на гармонии, а то навсегда заснешь тяжким сном среди мертвого города, утонувшего в серой, холодной воде.

– Первое – не женись рано! – поучает он меня. – Женильба – это, брат, дело громаднейшей важности! Жить можно где хочешь и как хочешь, – твоя воля! Живи в Персии – магометашкой, в Москве – городовым, горюй, воруй, – всё можно поправить! А жена – это, брат, как погода, ее не поправишь... нет! Это, брат, не сапог – снял да бросил...

Лицо у него изменилось, он смотрел на серую воду, прихмутив брови, тер пальцем горбатый нос и бормотал:

– Н-да, брат... Гляди в оба! Положим – ты во все стороны гнешься, а всё прямо стоишь... ну, однако – всякому свой капкан поставлен...

Мы въезжаем в кусты Мещерского озера, оно слилось с Волгой.

– Тише гребь, – шепчет хозяин, направляя ружье в кусты.

Застрелив несколько тощих куликов, он командует:

– Едем в Кунавино! Я останусь там до вечера, а ты скажешь дома, что я с подрядчиками задержался...

Высадив его на одной из улиц слободы, тоже утопленной половодьем, я возвращаюсь Ярмаркой на Стрелку, зачаливаю лодку и, сидя в ней, гляжу на слияние двух рек, на город, пароходы, небо. Небо, точно пышное крыло огромной птицы, всё в белых перьях облаков. В синих пропастях между облаками является золотое солнце и одним взглядом на землю изменяет всё на ней. Всё вокруг движется бодро и надежно, быстрое течение реки легко несет несчетные звенья плотов; на плотках крепко стоят бородатые мужики, ворочают длинные весла и орут друг на друга, на встречный пароход. Маленький пароход тащит против течения пустую баржу, река сносит, мотает его, он вертит носом, как щука, и пытит, упрямо упираясь колесами в воду, стремительно бегущую встречу ему. На барже, свесив ноги за борт, сидят плечо в плечо четыре мужика – один в красной рубахе – и поют песню; слов не слышно, но я знаю ее.

Мне кажется, что здесь, на живой реке, я всё знаю, мне всё близко и всё я могу понять. А город, затопленный сзади меня, – дурной сон, выдумка хозяина, такая же малопонятная, как сам он.

Досыта насмотревшись на всё, я возвращаюсь домой, чувствую себя взрослым человеком, способным на всякую работу. По дороге я смотрю с горы кремля на Волгу, – издали, с горы, земля кажется огромной и обещает дать всё, чего захочешь.

Дома у меня есть книги; в квартире, где жила Королева Марго, теперь живет большое семейство: пять барышень, одна красивее другой, и двое гимназистов, – эти люди дают мне книги. Я с жадностью читаю Тургенева и удивляюсь, как у него всё понятно, просто и по-осеннему прозрачно, как чисты его люди и как хорошо всё, о чем он кротко благовестит.

Читаю «Бурсу» Помяловского и тоже удивлен: это странно похоже на жизнь иконописной мастерской; мне так хорошо знакомо отчаяние скуки, перекипающее в жестокое озорство.

Хорошо было читать русские книги, в них всегда чувствовалось нечто знакомое и печальное, как будто среди страниц скрыто замер великопостный звон, – едва откроешь книгу, он уже звучит тихонько.

«Мертвые души» я прочитал неохотно; «Записки из мертвого дома» – тоже; «Мертвые души», «Мертвый дом», «Смерть», «Три смерти», «Живые мощи» – это однообразие названий книг невольно останавливало внимание, возбуждая смутную неприязнь к таким книгам. «Знамение времени», «Шаг за шагом», «Что делать?», «Хроника села Смурина» – тоже не понравились мне, как и все книги этого порядка.

Но мне очень нравились Диккенс и Вальтер Скотт, этих авторов я читал с величайшим наслаждением, по два-три раза одну и ту же книгу. Книги В. Скотта напоминали праздничную обедню в богатой церкви, – немножко длинно и скучно, а всегда торжественно; Диккенс остался для меня писателем, пред которым я почтительно преклоняюсь, – этот человек изумительно постиг труднейшее искусство любви к людям.

По вечерам на крыльце дома собиралась большая компания: братья К., их сестры, подростки; курносый гимназист Вячеслав Семашко; иногда приходила барышня Птицына, дочь какого-то важного чиновника. Говорили о книгах, о стихах, – это было близко, понятно и мне; я читал больше, чем все они. Но чаще они рассказывали друг другу о гимназии, жаловались на учителей; слушая эти рассказы, я чувствовал себя свободнее товарищей, очень удивлялся силе их терпения, но все-таки завидовал им – они учатся!

Мои товарищи были старше меня, но я казался сам себе более взрослым, более зрелым и опытным, чем они; это несколько смущало меня – мне хотелось чувствовать себя ближе к ним. Я приходил домой поздно вечером, в пыли и грязи, насыщенный впечатлениями иного порядка, чем их впечатления, в сущности – очень однообразные. Они много говорили о барышнях, влюблялись то в одну, то в другую, пытались сочинять стихи; нередко в этом деле требовалась моя помощь, я охотно упражнялся в стихосложении, легко находил рифмы, но почему-то стихи у меня всегда выходили юмористическими, а барышню Птицыну, которой чаще других назначались стихотворения, я обязательно сравнивал с овощами – с луковицей.

Семашко говорил мне:

– Какие же это стихи? Это – сапожные гвозди.

Не желая ни в чем отставать от них, я тоже влюбился в барышню Птицыну. Не помню, чем это выражалось у меня, но кончилось – плохо; по гнилой зеленой воде Звездина пруда плавала половица, и я предложил покатать барышню на этой доске. Она согласилась, я подвел доску к берегу и встал на нее, – одного меня она держала хорошо. Но когда пышно одетая барышня, вся в кружевах и лентах, грациозно встала на другом конце доски, а я гордо оттолкнулся палкой от земли, проклятая половица завилыла под нами, и барышня нырнула в пруд. Я рыцарски бросился за нею, быстро извлек ее на берег, – испуг и зеленая тина пруда уничтожили красоту моей дамы!

Грозя мне мокрым кулачком, она кричала:

– Это ты нарочно утопил меня!

И, не поверив искренности моих оправданий, с той поры стала относиться ко мне враждебно

В общем в городе жилось не очень интересно; старая хозяйка относилась ко мне неприязненно, как раньше; молодая смотрела на меня подозрительно; Викто-рушка, еще более порывевший от веснушек, фыркал на всех, чем-то неизлечимо обиженный.

Чертежной работы у хозяина было много; не успевая одолеть ее вдвоем с братом, он пригласил в помощники вотчима моего.

Однажды я пришел с Ярмарки рано, часов в пять, и, войдя в столовую, увидел забытого мною человека у чайного стола, рядом с хозяином. Он протянул мне руку.

– Здравствуйте...

Я ошалел от неожиданности, сразу пожаром вспыхнуло прошлое, обожгло сердце.

– Испугался даже, – крикнул хозяин.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
Вотчим смотрел на меня с улыбкой на страшно худом лице; его темные глаза стали еще больше, весь он был потертый, раздавленный. Я сунул руку в его тонкие горячие пальцы.

– Ну вот, снова встретились, – сказал он, покашливая.

Я ушел, ослабев, как избитый.

Между нами установились какие-то осторожные и неясные отношения – он называл меня по имени и отчеству, говорил со мною как с равным.

– Когда пойдете в лавку, пожалуйста, купите мне четверть фунта табаку Лаферм, сотню гильз Викторсон и фунт вареной колбасы...

Деньги, которые он давал мне, всегда были неприятно нагреты его горячей рукой. Было ясно, что он – чахоточный и не жилец на земле. Он знал это и говорил спокойным баском, закручивая острую черную бородку:

– У меня болезнь почти неизлечимая. Впрочем, если много употреблять мяса, то – можно поправиться. Может быть, я поправлюсь.

Ел он невероятно много, ел и курил папиросы, выпуская их изо рта только во время еды. Я каждый день покупал ему колбасу, ветчину, сардины, но сестра бабушки уверенно и почему-то злорадно говорила:

– Смерть закусками не накормишь, ее не обманешь, нет!

Хозяева относились к вотчиму с обидным вниманием, упорно советовали ему попробовать то или иное лекарство, но за глаза высмеивали его.

– Дворянин! Крошки, говорит, надобно чаще сметать со столов, мухи, дескать, разводятся от крошек, – рассказывала молодая хозяйка, а старуха ей вторила:

– Как же, дворянин! Сюртучишко-то весь протерся, залоснился, а он его всё еще щеткой шаркает. Привередник, чтобы – ни пылинки!

А хозяин точно утешал их:

– Погодите, звери-курицы, умрет он скоро!..

Это бессмысленное враждебное отношение мещан к дворянину невольно сближало меня с вотчимом. Мухомор – тоже поганый гриб, да хоть красив!

Задыхавшийся среди этих людей, вотчим был похож на рыбу, случайно попавшую в куриный садок, – нелепое сравнение, как нелепа была вся эта жизнь.

Я стал находить в нем черты Хорошего Дела – человека, незабвенного для меня; его и Королеву я украшал всем лучшим, что мне давали книги, им отдавал я чистейшее мое, все фантазии, порожденные чтением. Вотчим – такой же чужой и нелюбимый человек, как Хорошее Дело. Он держался со всеми в доме ровно, никогда не заговаривал первый, отвечал на вопросы как-то особенно вежливо и кратко. Мне очень нравилось, когда он учил хозяина: стоит у стола, согнувшись вдвое, и, постукивая сухим ногтем по толстой бумаге, спокойно внушает:

– Здесь необходимо связать стропила ключом. Это пресечет силу давления на стены, иначе стропила будут распирают стены...

– Верно, чёрт возьми! – бормотал хозяин, а жена говорила ему, когда вотчим уходил:

– Просто удивляюсь, как ты позволяешь учить себя!

Ее почему-то особенно раздражало, когда вотчим после ужина чистил зубы и полоскал рот, выгибая острый кадык.

– По-моему, – кислым голосом говорила она, – вам, Евгений Васильевич, вредно так загигать голову.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
Он, вежливо улыбаясь, спрашивал:

– Почему же?

– Да... так уж...

Он начинал чистить костяной палочкой свои синеватые ногти.

– Скажите, ногти еще чистит! – волновалась хозяйка. – Умирает, а туда же...

– Эхе-хе! – вздыхал хозяин. – Сколько на вас, звери-курицы, глупостиросло...

– Да ты что это говоришь? – возмущалась супруга.

А старуха по ночам пылко жаловалась богу:

– Господи, вот повесили мне на шею гнилого этого, а Викторушка – опять в стороне...

Викторушка стал подражать манерам вотчима, его медленной походке, уверенным движениям барских рук, его уменью как-то особенно пышно завязывать галстук и ловко, не чавкая, есть. Он то и дело грубо спрашивал:

– Максимов, как по-французски – колено?

– Меня зовут Евгений Васильевич, – спокойно напоминал вотчим.

– Ну, ладно! А – грудь?

За ужином Викторушка командовал матери:

– Ма мер, донне муазанкор[3] солонины!

– Ах ты, французик, – умилялась старуха. Вотчим невозмутимо, как глухонемой, жевал мясо, ни на кого не глядя.

Однажды старший брат сказал младшему:

– Теперь, Виктор, когда ты по-французски выучился, тебе надо любовницу завести...

Это был единственный раз, когда, я помню, вотчим молча улыбнулся.

А хозяйка возмущенно бросила ложку на стол и закричала мужу:

– Как тебе не стыдно пакости при мне говорить!

Иногда вотчим приходил ко мне в черные сени; там, под лестницей на чердак, я спал; на лестнице, против окна, читал книги.

– Читаете? – спрашивал он, выдыхая дым, в груди у него шипели головни. – Что это?

Я показывал книгу.

– Ах, – говорил он, взглянув на титул, – это я, кажется, читал! Хотите курить?

Курили, поглядывая в окно на грязный двор; он говорил:

– Очень жаль, что вы не можете учиться, у вас, кажется, есть способности...

– Вот я учусь, читаю...

– Этого мало, нужна – школа, система...

Хотелось сказать ему: «У вас, сударь мой, и школа и система была, а – что толку?»

Но он, как бы подозревая мои мысли, добавлял:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma

– При наличии характера – школа хорошо воспитывает. Жизнь могут двигать только очень грамотные люди...

Не однажды он советовал мне:

– Вы бы лучше ушли отсюда, не вижу здесь смысла и пользы для вас...

– Мне нравятся рабочие.

– А... Чем же?

– Интересно с ними.

– Может быть...

А однажды он сказал:

– Какая, в сущности, дрянь эти наши хозяева, дрянь...

Вспомнив, как и когда произнесла это слово моя мать, я невольно отодвинулся от него, – он спросил, улыбаясь:

– Вы не так думаете?

– Так.

– Ну да... Я это вижу.

– Хозяин все-таки нравится мне...

– Да, он, пожалуй, добрый мужик... Но – смешной.

Мне хотелось говорить с ним о книгах, но он, видимо, не любил книг и не однажды советовал:

– Вы – не увлекайтесь, в книгах всё очень прикрашено, искажено в ту или иную сторону. Большинство пишущих книги – это люди вроде нашего хозяина, мелкие люди.

Подобные суждения казались мне смелыми и подкупали меня.

Как-то раз он спросил меня:

– Вы читали Гончарова?

– «Фрегат «Паллада»».

– Это очень скучно, «Паллада». Но вообще Гончаров – самый умный писатель в России. Советую прочитать его роман «Обломов». Это наиболее правдивая и смелая книга у него. И вообще в русской литературе – лучшая книга...

О Диккенсе он говорил:

– Это – чепуха, уверяю вас... А вот в приложениях к газете «Новое время» печатается весьма интересная вещь «Искушение святого Антония» – это вы прочитайте! Вы, кажется, любите церковь и всё это, церковное? «Искушение» вам будет полезно...

Он сам принес мне пачку приложений, я прочитал мудрую работу Флобера; она напомнила мне бесчисленные жития святых, кое-что из историй, рассказанных начетчиком, но особенно глубокого впечатления не вызвала; гораздо более мне понравились напечатанные рядом с нею «Мемуары Упилио Файмали, укротителя зверей».

Когда я сознался в этом вотчиму, он спокойно заметил:

– Значит – вам еще рано читать такие вещи! Но – не забывайте об этой книге...

Иногда он долго сидел со мною, не говоря ни слова, только покашливая и непрерывно исходя дымом. Его красивые глаза жутко горели. Я тихонько смотрел на него и забывал, что этот человек, умирающий так честно и просто, без жалоб, когда-то был близок моей матери и оскорблял ее. Я знал, что он живет с какой-то швейкой, и думал о ней с недоумением и жалостью: как она не брезгует обнимать эти длинные кости, целовать этот рот, из которого тяжело пахнет гнилью? Так же, как, бывало, Хорошее Дело, вотчим неожиданно говорил что-то очень свое:

– Я люблю гончих собак, они – глупые, но я их люблю. Очень красивы. Красивые женщины часто бывают глупы...

Я не без гордости думал:

«Знал бы ты – Королеву Марго!»

– У всех людей, которые долго живут в одном доме, лица становятся одинаковыми, – сказал он однажды; я записал это в свою тетрадь.

Я ждал этих изречений, как благостыни, – приятно было слышать необычные сочетания слов в доме, где все говорили бесцветным языком, закостеневшим в истертых, однообразных формах.

Вотчим никогда не говорил со мною о матери, даже, кажется, имени ее не произнес никогда; это очень нравилось мне, возбуждая чувство, близкое уважению к нему.

Как-то раз я спросил его о боге, – не помню, что именно: он взглянул на меня и очень спокойно сказал:

– Не знаю. Я в бога не верю.

Я вспомнил Ситанова и рассказал о нем, а вотчим, внимательно выслушав меня, заметил всё так же спокойно:

– Он рассуждает, а рассуждающий все-таки верит во что-то... Я просто – не верю!

– А разве это можно?

– Почему же нельзя? Вот видите – не верю...

Я видел одно – он умирает. Едва ли я жалел его, но впервые почувствовал острый и естественный интерес к умирающему ближнему, к тайне смерти.

Вот – сидит человек, касаясь меня коленом, горячий, думающий; уверенно расставляет людей по линиям своих отношений к ним; говорит обо всем, как имущий власть судить и разрешать, – в нем есть нечто нужное мне или нечто, оттеняющее ненужное для меня. Это – существо непостижимой сложности, вместилище бесконечного вихря мыслей; как бы я ни относился к нему, он является частью меня самого, живет где-то во мне, я о нем думаю, и тень души его лежит на моей душе. Завтра он весь исчезнет, весь, со всем, что скрыто в его голове, сердце, что я – мне кажется – умею читать в его красивых глазах. Когда он исчезнет – порвется одна из живых нитей, связующих меня с миром, останется воспоминание, но – оно целиком во мне, навсегда ограничено, неизменно. А живое, изменяющееся – уйдет...

Но это – мысли, а за ними лежит то невыразимое словом, что родит и питает их, что, властно понуждая всматриваться в явления жизни, от каждого из них требует ответа – зачем?

– Кажется, я скоро лягу, знаете, – сказал вотчим однажды, в дождливый день. – Такая глупая слабость! И ничего не хочется...

На другой день за вечерним чаем он особенно тщательно сметал со стола и с колен крошки хлеба, отстранял от себя что-то невидимое, а старуха-хозяйка, глядя на него исподлобья, говорила снохе шепотом:

– Гляди – ошпыивается, чистится...

Дня через два он не пришел работать, а потом старая хозяйка сунула мне большой белый конверт, говоря:

– На-ко, вчера еще бабенка принесла, Ополдень, да забыла я отдать. Миленькая бабенка-то, а уж как она тебе приходится – не знаю, право!

В конверте, на листе бумаги с бланком больницы, было написано крупными буквами:

«Будете иметь свободный час – придите повидаться. Я в Мартыновской. Е. М.»

На другой день, утром, я сидел в больничной палате, на койке вотчима; он был длиннее койки, и ноги его, в серых, сбившихся носках, торчали сквозь прутья спинки. Красивые глаза, мутно плутая по желтым стенам, останавливались на моем лице и на маленьких руках девушки, сидевшей на табурете у изголовья. Она положила руки на подушку, и вотчим терся щекой о них, открыв рот. Девушка была полненькая, в темном гладком платье; по ее овальному лицу медленно стекали слеза; мокрые голубые глаза, не отрываясь, смотрели в лицо вотчима, на острые кости, большой заострившийся нос и темный рот.

– Священника бы, – шептала она, – а он не велит... не понимает ничего...

И, сняв руки с подушки, она прижала их к груди, точно молясь.

На минуту вотчим пришел в себя, посмотрел в потолок, серьезно нахмурясь и словно вспоминая что-то, потом подвинул ко мне свою тощую руку.

– Вы? Спасибо. Вот, видите... Чувствую очень глупо... себя...

Это его утомило, он закрыл глаза; я погладил его длинные холодные пальцы с синими ногтями, девушка тихо попросила.

– Евгений Васильевич, согласитесь, пожалуйста!

– Вот – познакомьтесь, – проговорил он, указав на нее глазами. – Милый человек...

Замолчал, всё шире открывая рот, и вдруг вскрикнул хрипло, точно ворон; завозился на койке, сбивая одеяло, шаря вокруг себя голыми руками; девушка тоже закричала, сунув голову в измятую подушку.

Умер вотчим быстро; умер и тотчас похоронен.

Я вышел из больницы под руку с девушкой. Она качалась, как больная, плакала. В руке у нее был сжатый в ком платок; поочередно прикладывая его к глазам, она свертывала платок всё туже и смотрела на него так, как будто это было самое драгоценное «и последнее ее».

Вдруг остановилась, прижавшись ко мне, говоря с упреком:

– И до зимы не дожил... Ах, господи, господи, что же это такое?

Потом протянула мне руку, мокрую от слез.

– Прощайте. Он вас очень хвалил. Хоронить – завтра.

– Проводить вас до дому?

Она оглянулась.

– Зачем же? Теперь – день, не ночь.

Из-за угла переулка я посмотрел вслед ей, – шла она тихонько, как человек, которому некуда торопиться.

Был август, уже с деревьев падал лист.

У меня не нашлось времени проводить вотчима на кладбище, и я никогда больше не видел эту девушку...

XVII

Каждое утро, в шесть часов, я отправлялся на работы, на Ярмарку. Там меня

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
встречали интересные люди: плотник Осип, седенький, похожий на Николая Угодника, ловкий работник и острослов; горбатый кровельщик Ефимушка; благочестивый каменщик Петр, задумчивый человек, тоже напоминавший святого; штукатур Григорий Шишлин, русобородый, голубоглазый красавец, сиявший тихой добротой.

Я знал этих людей во второй период жизни у чертежника; каждое воскресенье они, бывало, являлись в кухню, степенные, важные, с приятной речью, с новыми для меня, вкусными словами. Все эти солидные мужики тогда казались мне насквозь хорошими; каждый был по-своему интересен, все выгодно отличалось от злых, вороватых и пьяных мещан слободы Кунавина.

Больше всех мне нравился тогда штукатур Шишлин, я даже просился в артель к нему, но он, почесывая золотую бровь белым пальцем, мягко отказал мне:

– Рано для тебя, наша работа – нелегкая, погоди год-другой...

Потом, взметнув красивой голову, спросил:

– Али не ладно живется? Ну, ничего, потерпи, сожмись крепче в самом себе, тогда – стерпишь!

Не знаю, что дал мне этот добрый совет, но я благодарно запомнил его.

Они и теперь приходили к моему хозяину утром каждого воскресенья, рассаживались на скамьях вокруг кухонного стола и, ожидая хозяина, интересно беседовали. Хозяин шумно и весело здоровался с ними, пожимая крепкие руки, садился в передний угол. Появлялись счеты, пачка денег, мужики раскладывали по столу свои счета, измятые записные книжки, – начинался расчет за неделю

Шутя и балагуря, хозяин старался обсчитать их, а они – его; иногда крепко ссорились, но чаще – дружно смеялись.

– Эх, милый человек, а и жуликом ты родился! – говорили мужики хозяину.

Он отвечал, сконфуженно посмеиваясь:

– Ну, и вы, звери-курицы, тоже довольно жуликоваты!

– Да ведь как иначе, друг? – признавался Ефи-мушка, а серьезный Петр говорил:

– Тем и жив, что украдешь, а что выработаеть – богу да царю...

– Вот и мне охота объегорить вас! – смеялся хозяин.

Они добродушно поддерживали его:

– Поддедюлить, значит?

– Подкузьмить?

Григорий Шишлин, прижимая руками к груди пышную бороду, певуче просил:

– Братцы, а давайте просто дела делать, без обмана? Ведь ежели честно жить, – так ведь как хорошо, спокойно, а? Народ родной, а?

Голубые глаза его темнели, увлажнялись; был он в эти минуты удивительно хорош; всех как будто немножко смущала его просьба, все сконфуженно отворачивались от него.

– Мужик на много не оманет, – вздыхая, ворчал благообразный Осип, как бы жалея мужика.

Темный каменщик, согнув над столом сутулую спину, густо говорил:

– Грех – что болото: чем дале, тем вязче!

И в тон речам их хозяин бормочет:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– я – что же? Откликаюсь, как аукнется...

Пофилософствовал; снова пытаются надуть друг друга, а рассчитавшись, потные и усталые от напряжения, идут в трактир пить чай, пригласив с собою и хозяина.

На Ярмарке я должен был следить, чтобы эти люди не воровали гвоздей, кирпича, тесу; каждый из них, кроме работы у моего хозяина, имел свои подряды, и каждый старался стащить что-нибудь из-под носа у меня на свое дело.

Они встретили меня ласково, а Шишлин сказал:

– Помнишь, ты просился в артель ко мне? А теперь – эвон куда тебя вознесло, будешь надо мной начальником, а?

– Ну, ну, – балагурил Осип, – стереги да береги, бог тебе помоги!

Петр недружелюбно заметил:

– Нарядили молодого журавля управлять старыми мышами...

Мои обязанности жестоко смущали меня; мне было стыдно перед этими людьми, – все они казались знающими что-то особенное, хорошее и никому, кроме них, неведомое, а я должен смотреть на них как на воров и обманщиков. Первые дни мне было трудно с ними, но Осип скоро заметил это и однажды, с глазу на глаз, сказал мне:

– Вот что, паренек, ты не надувайся, это ни к чему – понял?

Я, конечно, ничего не понял, но почувствовал, что старик понимает нелепость моего положения, и у меня быстро наладились с ним отношения откровенные.

Он поучал меня где-нибудь в уголке:

– Среди нас, коли хочешь знать, главный вор – каменщик Петруха; он человек многосемейный, жадный. За ним – гляди в оба, он ничем не брезгует, ему всё годится: фунт гвоздей, десяток кирпича, мешок известки – всё подай сюда! Человек он – хороший, богомол, мыслей строгих и грамотен, ну, а воровать – любит! Ефимушка – в баб живет, он – смиренный, он для тебя безобидный. Он тоже умный, горбатые – все не дураки! А вот Григорий Шишлин – этот придурковат, ему не то что чужое взять, абы свое – отдать! Он работает вовсе впустую, его всяк может омануть, а он – не может! Без ума руководится...

– Он – добрый?

Осип посмотрел на меня как-то издали и сказал памятные слова:

– Верно, добрый! Ленивому добрым быть – самое простое; доброта, парень, ума не просит...

– Ну, а сам ты? – спросил я Осипа. Он усмехнулся и ответил:

– Я – как девушка, – буду бабушкой, тогда про себя и скажу, ты погоди покуда! А то – своим умом поищи, где я спрятан, – поищи-ка вот!

Он опрокидывал все мои представления о нем и его друзьях. Мне трудно было сомневаться в правде его отзывов, – я видел, что Ефимушка, Петр, Григорий считают благообразного старика более умным и сведущим во всех житейских делах, чем сами они. Они обо всем советовались с ним, выслушивали его советы внимательно, оказывали ему всякие знаки почтения.

– Сделай милость, посоветуй ты нам, – просили они его; но после одной из таких просьб, когда Осип отошел, каменщик тихо сказал Григорию:

– Еретик.

А Григорий, усмехаясь, добавил:

– Паяц.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
Штукатур дружески предупредил меня:

– Ты гляди, Максимыч, – со стариком надо жить осторожно, он тебя в один час вокруг пальца обернет! Этакие вот старички едучие – избави боже до чего вредны!

Я ничего не понимал.

Мне казалось, что самый честный и благочестивый человек – каменщик Петр; он обо всем говорил кратко, внушительно, его мысль чаще всего останавливалась на боге, аде и смерти.

– Эх, ребята-братцы, как ни бейся, на что ни надейся, а гроба да погоста никому не миновать стать!

У него постоянно болел живот, и бывали дни, когда он совсем не мог есть; даже маленький кусочек хлеба вызывал у него боли до судорог и мучительную тошноту.

Горбатый Ефимушка казался тоже очень добрым и честным, но всегда – смешным, порою – блаженным, даже безумным, как тихий дурачок. Он постоянно влюблялся в разных женщин и обо всех говорил одними и теми же словами:

– Прямо скажу: не баба, а цветок в сметане, ей-бо-о!

Когда бойкие кунавинские мещанки приходили мыть полы в лавках, Ефимушка спускался с крыши и, становясь где-нибудь в уголок, мурлыкал, прищурив серые живые глаза, растягивая большой рот до ушей.

– Экую бабочку ядреную привел мне господь; этакая радость низошла до меня; ну, и что же это за цветок в сметане, да и как же мне судьбу благодарить за этакий подарок? Да я от такой красоты жив – сгорю!

Сначала бабы смеялись над ним, покрикивая одна другой:

– Глядите-ко, как горбатый тает, а – батюшки!

Насмешки нимало не задевали кровельщика, его скуластое лицо становилось сонным, он говорил, точно в бреду, сладкие слова текли пьяным потоком и заметно опьяняли женщин. Наконец какая-нибудь, постарше, говорила удивленно подругам:

– Вы послушайте, как мужик мается, чисто молодой парень!

– Птицей поет...

– Али нищим на паперти, – не сдавалась упрямая.

Но Ефимушка не был похож на нищего; он стоял крепко, точно коренастый пень, голос его звучал всё призывнее, слова становились заманчивей, бабы слушали их молча. Он действительно как бы таял ласковой, дурманной речью.

Кончалось это тем, что во время паужина или после шабаша он, покачивая тяжелой, угловатой головой, говорил товарищам изумленно:

– Ну, и какая же бабочка сладкая да милая, – первой раз в жизни коснулся эдакой!

Рассказывая о своих победах, Ефимушка не хвастался, не насмешничал над побежденной, как всегда делали другие, он только радостно и благодарно умилялся, а серые глаза его удивленно расширялись.

Осип, покачивая голову, восклицал:

– Ах ты, неистребимый мужчина! Который тебе годок пошел?

– А годов мне – четыре на сорок. Да это – ничего! Я сегодня лет на пяток помолодел, как в реке искупался, в живой воде, оздоровел весь, на сердце – покойно! Нет – ведь какие женщины бывают, а?

Каменщик сурово говорил ему:

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Как шагнешь за пятый десяток, гляди, – горько-солоны будут тебе похабные привычки твои!

– Бесстыдник ты, Ефимушка, – вздыхал Григорий Шишлин.

А мне казалось, что красавец завидует удаче горбатого.

Осип смотрел на всех из-под ровненько закрученных серебряных бровей и балагурил:

– У всякой Машки – свои замашки, эта любит чашки да ложки, а другая – пряжки да сережки, а – все Машки будут бабушки...

Шишлин был женат, но жена у него оставалась в деревне, он тоже засматривался на поломоек. Все они были легко доступны, каждая «прирабатывала»; к этому роду заработка в головной слободе относились так же просто, как ко всякой иной работе. Но красавец мужик не трогал женщин, он только смотрел на них издали особенным взглядом, точно жалея кого-то, себя или их. А когда они сами начинали заигрывать с ним, соблазняя его, он, сконфуженно посмеиваясь, уходил прочь.

– Ну вас...

– Что ты, чудачок? – удивлялся Ефимушка. – Разве можно случай терять?

– Я – женатый, – напоминал Григорий.

– Да разве жена узнает?

– Жена всегда узнает, ежели нечестно жил, ее, брат, не обманешь!

– Да как узнает?

– Это мне неизвестно – как, а – должна узнать, ежели сама она честно живет. А ежели я честно живу, а она согрешит – я про нее узнаю...

– Да как? – кричит Ефимушка, но Григорий спокойно повторяет:

– Это мне неизвестно.

Кровельщик возмущенно разводит руками.

– Вот – пожалуйста! Честно, неизвестно... Эх ты, голова!

Рабочие Шишлина, семь человек, относились к нему просто, не чувствуя в нем хозяина, а за глаза называли его теленком. Являясь на работу и видя, что они ленятся, он брал сокол, лопату и артистически принимался за дело сам, ласково покрикивая:

– Наддай, ребятки, наддай!

Однажды, исполняя сердитое поручение хозяина моего, я сказал Григорию:

– Плохие у тебя работники... Он как будто удивился:

– Да ну?

– Эту работу надо бы еще вчера до полудня кончить, а они и сегодня не успеют...

– Это верно – не успеют, – согласился он и, помолчав, осторожно сказал:

– Я, конечно, вижу, да совестно подгонять их – ведь всё свои, из одной деревни со мной. Опять же и то возьми: наказано богом – в поте лица ешь хлеб, так что – для всех наказано, для тебя, для меня. А мы с тобой мене их трудимся, ну – неловко будто подгонять-то их...

Он жил задумчиво; идет по пустым улицам Ярмарки и вдруг, остановясь на одном из мостов Обводного канала, долго стоит у перил, глядя в воду, в небо, в даль за Оку. Настигнешь его, спросишь:

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Ты что?

– А? – просыпаясь, смущенно улыбается он. – Это я так... пристал, поглядел немножко...

– Хорошо, брат, устроено всё у бога, – нередко говорил он. – Небушко, земля, реки текут, пароходы бежат! Сел на пароход, и – куда хошь: в Рязань али в Рыбинской, в Пермь, до Астрахани! В Рязани я был, ничего городок, а скушнее Нижнего-то; Нижний у нас – молодец, веселый! И Астрахань – скушнее. В Астрахани, главное, калмыка много, а я этого не люблю. Не люблю никакой мордвы, калмыков этих, персиян, немцев и всяких народцев...

Он говорит медленно, слова его осторожно нащупывают согласно мыслящего и всегда находят его в каменщике Петре.

– Не народцы они, а – мимородцы, – уверенно и сердито говорит Петр, – мимо Христа родились, мимо Христа идут...

Григорий оживляется, сияет.

– Так ли, нет ли, а я, братцы, люблю чистый народ, русский, чтобы глаз был прямой! Жидов я тоже не люблю и даже не понимаю – зачем богу народцы? Премудро устроено...

Каменщик добавляет сумрачно:

– Премудро, а быдто лишнего многонько!..

Прислушавшись к их речам, вступает Осип, насмешливо и едко:

– Лишнее – есть, вот речи эти ваши – вовсе лишние! Эх вы, сехта, пороть бы вас всех-то.

Осип держится сам по себе, но нельзя понять – с чем он согласен, против чего будет спорить. Иногда кажется, что он равнодушно согласен со всеми людьми, со всеми их мыслями; но чаще видишь, что все надоели ему, он смотрит на людей как на малоумных и говорит Петру, Григорию, Ефимушке:

– Эх вы, щенки свинячьи...

Они усмеваются, не очень весело и охотно, а все-таки усмеваются.

Хозяин выдавал мне на хлеб пяточок в день; этого не хватало, я немножко голодал; видя это, рабочие приглашали меня завтракать и поужинать с ними, а иногда и подрядчики звали меня в трактир чай пить. Я охотно соглашался, мне нравилось сидеть среди них, слушая медленные речи, странные рассказы; им доставляла удовольствие моя начитанность в церковных книгах.

– Наклевался ты книжек досыта, набил зоб туго, – говорил Осип, внимательно глядя на меня васильковыми глазами; трудно уловить их выражение – зрачки у него всегда точно плаваются, тают.

– Ты береги это, прикапливай, годится; вырастешь – иди в монахи народ словесно утешать, а то – в миллионеры...

– Миссионеры, – поправляет каменщик почему-то обиженным голосом.

– Ась? – спрашивает Осип.

– Миссионеры говорится, ведь знаешь! И не глух ты...

– Ну, ладно, в миссионеры, с еретиками спорить. А то в самые еретики запишись, – тоже должность хлебная! При уме и ересью прожить можно...

Григорий сконфуженно смеется, а Петр говорит в бороду:

– Вот колдуны тоже не плохо живут, безбожники разные...

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
Но Осип тотчас возражает:

– Колдун грамотен не живет, грамота колдуну не ко двору...

И рассказывает мне:

– Вот, погляди, послушай: жил в нашей волости бобылек один, Тушкой звали, захудящий мужичонко, пустой; жил – пером, туда-сюда, куда ветер дует, а – ни работник, ни бездельник! Вот пошел он единожды, от нечего делать, на богомолье и плутал года с два срока, а после вдруг объявился в новом виде: волосья – до плеч, на голове – скуфеечка, на корпусе – рыженькая ряска чёртовой кожи; глядит на всех окунем и предлагает упрямо: покайтесь, треклятые! Чего ж не покаяться, а особливо – бабам? И пошло дело на лад: Тушка сыт, Тушка пьян, Тушка бабами через меру доволен...

Каменщик сердито перебивает:

– Да разве в том дело, что сыт да пьян?

– В чём ино?

– Дело – в слове!

– Ну, в слова его я не вникал, – словами я и сам преизбыточно богат...

– Мы Тушникова, Дмитрия Васильича, довольно хорошо знаем, – обиженно говорит Петр, а Григорий молча опустил голову и смотрит в свой стакан.

– Я – не спорю, – примирительно заявляет Осип. – Это вот я всё Максимычу нашему говорю про разные пути-дороги до куска...

– По иным дорогам и в острог попадают...

– Редко ли! – соглашается Осип. – Не со всякой тропы попадешь в попы, надо знать, где свернуть...

Он всегда немножко поддразнивает благочестивых людей – штукатура и каменщика; может быть, он не любит их, но ловко скрывает это. Его отношение к людям вообще неуловимо.

На Ефимушку он смотрит как будто мягче, добрее. Кровельщик не вступает в беседы о боге, правде, сектах, о горе жизни человеческой – любимые беседы его друзей. Поставив стул боком к столу, чтобы спинка стула не мешала горбу, – он спокойно пьет чай, стакан за стаканом, но вдруг настораживается, оглядывая дымную комнату, вслушиваясь в несвязный шум голосов, вскакивает и быстро исчезает. Это значит, что в трактир пришел кто-то, кому Ефимушка должен, а кредиторов у него – добрый десяток, и – так как некоторые бьют его – он бежит от греха.

– Сердятся, чудачки, – недоумевает он, – да ведь кабы я имел деньги, али бы не отдал я?

– Ах, сухостой горький... – напутствует его Осип.

Иногда Ефимушка долго сидит задумавшись, ничего не видя, не слыша; скуластое лицо смягчается, добрые глаза смотрят еще добрее.

– О чем задумался, служивый? – спрашивают его.

– Думаю, – быть бы мне богатому, эх – женился бы на самой настоящей барыне, на дворянке бы, ей-богу, на полковничкой дочери, примерно, любил бы ее – господи! Жив сгорел бы около нее... Потому что, братцы, крыл я однова крышу у полковника на даче...

– И была у него дочь вдовая, – слышали мы это! – недружелюбно прерывает Петр.

Но Ефимушка, растирая ладонями колена, покачивается, долбя горбом воздух, и продолжает:

– Бывало, выйдет она в сад, вся белая да пышная, гляжу я на нее с крыши, и – на что мне солнышко, и – зачем белый день? Так бы голубем под ноги ей и слетел! Просто – цветок лазоревый в сметане! Да с этакой бы госпожой хоть на всю жизнь – ночь!

– А жрать чего стали бы? – сурово спрашивает Петр, но это не смущает Ефимушку.

– Господи! – восклицает он. – Да много ли нам надобно? К тому же она – богатая...

Осип смеется:

– И когда ты, Ефимушка, расточишь себя в делах этих, расточитель?

Кроме женщин, Ефимушка ни о чем не говорит, и работник он неровный – то работает отлично, споро, то у него не ладится, деревянный молоток клевет гребни лениво, небрежно, оставляя свищи. От него всегда пахнет маслом, ворванью; но у него есть свой запах, здоровый и приятный, он напоминает запах свежесрубленного дерева.

С плотником интересно говорить обо всем; интересно, но не очень приятно, его слова всегда тревожат сердце, и трудно понять, когда он говорит серьезно, когда шутит.

С Григорием же всего лучше говорить о боге, он любит это и в этом тверд.

– Гриша, – спрашиваю я, – а знаешь: есть люди, которые не верят в бога?

Он спокойно усмехается:

– Как это?

– Говорят: нет бога!

– О! Она что! Это я знаю.

И, отмахиваясь рукою от невидимой мухи, говорит:

– Еще царем Давидом, помнишь, сказано: «Рече безумен в сердце своем: несть бог», – вон когда еще говорили про это безумные! Без бога – никак нельзя обойтись...

Осип как будто соглашается с ним:

– Отними-ка у Петрухи бога-то – он те покажет кузькину мать!

Красивое лицо Шишлина становится строгим; перебирая бороду пальцами с засохшей известью на ногтях, он таинственно говорит:

– Бог вселен в каждую плоть; совесть и всё внутреннее ядро – от бога дано!

– А – грехи?

– Грехи – от плоти, от сатаны! Грехи – это снаружи, как воспа, не более того! Грешит всех сильнее тот, кто о грехе много думает; не поминай греха – не согрешишь! Мысли о грехе – сатана, хозяин плоти, внушает...

Каменщик сомневается:

– Что-то не так будто бы...

– Так! Бог – безгрешен, а человек – образ и подобие его. Грешит образ, плоть; а подобие грешить не может, оно – подобие, дух...

Он победно улыбается, а Петр ворчит:

– Это будто бы не так...

– А по-твоему, – спрашивает Осип каменщика, – не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься?

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Так-то надежнее будто! Чёрта забудешь – бога разлюбишь, говорили старики...

Шишлин непьющий, он пьянеет с двух рюмок; тогда лицо его становится розовым, глаза детскими, голос поет.

– Братцы мои, как всё это хорошо! Вот живем, работаем немножко, сыты, слава богу, – ах, как хорошо!

Он плакал, слезы стекали ему на бороду и светились на шёлке волос стеклянными бусами.

Его частые похвалы жизни и эти стеклянные слезы были неприятны мне, – бабушка моя хвалила жизнь убедительнее, проще, не так навязчиво.

Все эти разговоры держали меня в постоянном напряжении, возбуждая смутную тревогу. Я уже много прочитал рассказов о мужиках и видел, как резко не похож книжный мужик на живого. В книжках все мужики несчастны; добрые и злые, все они беднее живых словами и мыслями. Книжный мужик меньше говорит о боге, о сектах, церкви, – больше о начальстве, о земле, о правде и тягестях жизни. О женщинах он говорит тоже меньше, не столь грубо, более дружелюбно. Для живого мужика баба – забава, но забава опасная, с бабой всегда надо хитрить, а то она одолеет и запутает всю жизнь. Мужик из книжки или плох или хорош, но он всегда весь тут, в книжке, а живые мужики ни хороши, ни плохи, они удивительно интересны. Как бы перед тобою ни выболтался живой мужик, всегда чувствуется, что в нем осталось еще что-то, но этот остаток – только для себя, и, может быть, именно в этом несказанном, скрытом – самое главное.

Изю всех книжных мужиков мне наиболее понравился Петр «Плотничьей артели»; захотелось прочитать этот рассказ моим друзьям, и я принес книгу на Ярмарку. Мне часто приходилось ночевать в той или другой артели, иногда потому, что не хотелось возвращаться в город по дождю, чаще – потому, что за день я уставал и не хватало сил идти домой.

Когда я сказал, что вот у меня есть книга о плотниках, это всех живо заинтересовало, а Осипа – особенно. Он взял книгу из рук у меня, перелистал ее, недоверчиво покачивая иконописною головой.

– А и впрямь будто про нас написано! Ишь ты, шельмы! Кто писал – барин? Ну, я так и подумал Баре да чиновники на всё горазды! Где господь не догадается, там чиновник домыслит; на то они и живы есть...

– Неосторожно ты, Осип, про бога говоришь, – заметил Петр.

– Ничего! Для господя мое слово – меньше, как мне на лысину снежинка али капля дождевая. Ты – не сомневайся, нам с тобой до бога не дотронуться...

Он вдруг беспокойно заиграл, разбрасывая, словно кремь искры, острые словечки, состригая ими, как ножницами, всё, что противоречило ему. Несколько раз в течение дня он спрашивал:

– Читаем, Максимыч? Ну, дело, дело! Это ладно придумано.

Пошабашив, пошли ужинать к нему в артель, а после ужина явились Петр со своим работником Ардальоном и Шишлин с молодым парнем Фомаю. В сарае, где артель спала, зажгли лампу, и я начал читать; слушали молча, не шевелясь, но скоро Ардальон сказал сердито:

– Ну, с меня довольно!

И ушел. Первым заснул Григорий, удивленно открыв рот, за ним заснули плотники, но Петр, Осип и Фома, пододвинувшись ко мне, слушали с напряжением.

Когда я кончил читать, Осип тотчас погасил лампу, – по звездам было уже около полуночи.

Петр спросил во тьме:

– К чему ж это написано? Против кого?

– Теперь – спать! – сказал Осип, снимая сапоги.

Фома молча отодвинулся в сторону.

Петр повторил требовательно:

– Я говорю – супроти кого написано это?

– Уж они знают! – выговорил Осип, укладываясь спать на подмостки.

– Ежели против мачех, так это совсем пустое дело: от этого мачехи лучше не станут. – настойчиво говорил каменщик. – А против Петра – тоже зря: его грех – его ответ! За убийство – в Сибирь, больше ничего! Книжка – лишняя в таком грехе... лишняя будто, ась?

Осип молчал. Тогда каменщик добавил:

– Делать им нечего, вот и разбирают чужие дела! Вроде баб на посиделках. Прощайте ин, спать надо...

Он на минуту задержался в синем квадрате открытой двери и спросил:

– Осип, ты как думаешь?

– Ой? – сонно отозвался плотник.

– Ну, ладно, спи...

Шишлин свалился на бок там, где сидел. Фома лег на измятой соломе рядом со мною. Слобода спала, издали доносился свист паровозов, тяжелый гул чугунных колес, звон буферов. В сарае разноголосно храпели. Мне было неловко – я ждал каких-то разговоров, а – ничего нет...

Но вдруг Осип заговорил тихо и четко:

– Вы, ребята, не верьте ничему этому, вы – молодые, вам долго жить, копите свой разум! Свой ум – чужим двум! Фома, спишь?

– Нет, – охотно отозвался Фома.

– То-то! Вы оба грамотны, так вы – читайте, а веры ничему не давайте. Они всё могут напечатать, это дело – в ихних руках!

Он спустил ноги с подмостков, уперся руками в край доски и, наклонясь к нам, продолжал:

– Книжку – ее как надо понимать? Это – доноше-ние на людей, книжка! Дескать, глядите, каков есть человек, плотник али кто другой, а вот – барин, так – иной человек! Книжка – не зря пишется, а во чью-нибудь защиту...

Фома густо сказал:

– Петр правильно убил подрядчика-то!

– Ну, это – напрасно, человека убивать никогда не правильно. Я знаю, ты Григорья не любишь, только эти мысли ты брось. Мы все – люди небогатые, сегодня – я хозяин, завтра – опять работник...

– Я не про тебя, дядя Осип...

– Это всё едино...

– Ты – справедливый.

– Погоди, я те расскажу, к чему написано сочинение, – перебил Осип сердитые слова Фомы, – это очень хитрое сочинение! Вот те – барин без мужика, вот – мужик без барина! Теперь гляди: и барину – плохо, и мужику – не хорошо. Барин ослаб,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyumaх одурел, а мужик стал хвастун, пьяница, хворый, стал обиженный – вот оно как! А в крепости у бар было, дескать, лучше: барин за мужика прятался, мужик – за барина, и кружились оба спокойно, сытые.. Я – не спорю, верно, при господах было спокойнее жить – господам не к выгоде, коли мужик беден; им хорошо, коли он богат, да не умен, вот что им на руку. Я это знаю, я ведь сам в крепости господской почти сорок лет прожил, у меня на шкуре много написано.

Я вспомнил, что вот так же говорил о господах извозчик Петр, который зарезался, и мне было очень неприятно, что мысли Осипа совпадают с мыслями того злого старика.

Осип потрогал ногой мою ногу, продолжая:

– Книжки и всякие сочинения надо понимать! Зря никто ничего не делает, это одна видимость, будто зря и книжки не зря пишутся, – а чтобы голову мутить. Все творится с умом, без ума – ни топором тяпать, ни ковырять лапоть...

Говорил он долго, ложился и снова вскакивал, разбрасывая тихонько свои складные прибаутки,» во тьме и тишине.

– Говорится: господа мужику чужие люди. И это – неверно. Мы – тех же господ, только – самый испод; конечно, барин учится по книжкам, а я – по шишкам, да у барина белее задница – тут и вся разница. Не-ет, парни, пора миру жить по-новому, сочинения-то надобно бросить, оставить! Пускай каждый спросит себя: я – кто? Человек. А он кто? Опять человек. Что же теперь: али бог с него на семишник лишнего требует? Не-ет, в податях мы оба пред богом равны...

Наконец под утро, когда рассвет погасил все звезды, Осип сказал мне:

– Видал, как я сочинять могу? Вот чего наговорил – чего и не думал никогда! Вы, ребята, не давайте мне веры, это я больше от бессонницы, чем всурьез. Лежишь-лежишь да и придумаешь чего-нибудь для забавы: во время оно жила-была ворона, летала с поля до горы, от межи до межи, дожидая до своей поры, господь ее накажи: издохла ворона и засохла! Какой тут смысл? Нету никакого смысла... Ну-те-ко – поспим: скоро вставать пора...

XVIII

Как в свое время кочегар Яков, – Осип в моих глазах широко разросся и закрыл собою от меня всех людей. В нем было что-то очень близкое кочегару, но в то же время он напоминал мне деда, начетчика Петра Васильева, повара Смурого, и, напоминая всех людей, цепко укрепившихся в моей памяти, он оставлял в ней свой глубокий узор, въедался в нее, точно окись в медь колокола. Заметно было, что у него два порядка мыслей: днем, за работой, на людях, его бойкие простые мысли деловиты и более понятны, чем те, которые являются у него во время отдыха, по вечерам, когда он идет со мною в город, к своей куме, торговке оладьями, и ночами, когда ему не спится. У него есть особенные, ночные мысли, многосторонние, как огонь в фонаре. Они хорошо светятся, но – где у них настоящее лицо, которая сторона той или другой мысли ближе и дороже Осипу?

Он казался мне гораздо умнее всех людей, когда-либо встреченных мною, я ходил вокруг него в таком же напряжении, как вокруг кочегара Якова, – хочется узнать, понять человека, а он скользит, извивается и – неуловим. В чем скрыта его правда? Чему можно верить в нем?

Я вспоминаю, как он сказал мне:

«Сам поищи, где я спрятан, поищи-ка вот!»

Мое самолюбие задето, но во мне задето больше, чем самолюбие, – для меня жизненно необходимо понять старика.

При всей его неуловимости он – тверд. Казалось, что проживи он еще сто лет, а всё останется таким же, непоколебимо сохранит себя среди поразительно неустойчивых людей. Начетчик вызывал у меня такое же впечатление стойкости, но оно было не очень приятно мне; стойкость Осипа – иная, она более приятна.

Шаткость людей слишком резко бросается в глаза, их фокусные прыжки из одного положения в другое опрокидывали меня; я уже уставал удивляться этим необъяснимым

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru прыжкам, и они потихоньку гасили мой живой интерес к людям, смущали мою любовь к ним.

Однажды, в начале июля, к месту, где мы работали, стремглав подъехала развинченная пролетка; на козлах сидел, мрачно икая, пьяный извозчик, бородатый без шапки и с разбитой губой; в пролетке развалился пьяненький Григорий Шишлин, его держала под руку толстая, краснощекая девица в соломенной шляпке с алым бантом и стеклянными вишнями, с зонтиком в руке и в резиновых калошах на босую ногу. Размахивая зонтиком, раскачиваясь, она хохотала и кричала:

– Да, черти! Ярмарка не открыта, нету ярмарки, а они меня на ярмарку!

Григорий, измятый, растерзанный, сполз с пролетки, сел на землю и со слезами объявил нам, зрителям:

– Н-на коленях стою – премного согрешил! Подумал и согрешил – вот! Ефимушка говорит: Гриша! Гриша, говорит... Он это верно говорит, а вы – простите меня! Я всех вас могу угостить. Он верно говорит, один раз живем... более одного разу – нельзя...

Девица, заливаясь смехом, топала ногами, теряла калоши, а и-звозчик угрюмо кричал:

– Едем скорей дальше! Харламы – едем, лошадь не стоит!

Лошадь, старая разбитая кляча, вся в мыле, стояла как вкопанная, а всё вместе было невыносимо смешно. Рабочие Григория так и покатывались, глядя на хозяина, его нарядную даму и ошалелого возницу.

Не смеялся только Фома, стоял в дверях лавки рядом со мною и бормотал:

– Сорвало свинью... А дома у него – жена, кра-аси-вая баба!

Извозчик всё торопил ехать, девица спустилась с пролетки, приподняла Григория и, уложив его в ноги себе, крикнула, взмахнув зонтом:

– Поехали!

Добродушно издеваясь над хозяином, завидуя ему, люди принялись за работу по окрику Фомы; видимо, ему было неприятно видеть Григория смешным.

– Называется – хозяин! – бормотал он. – Меньше месяца осталось работать, в деревню уедем... Не дотерпел...

Мне было досадно за Григория, – эта девица с вишнями так обидно нелепа была рядом с ним.

Я нередко думал: почему Григорий Шишлин – хозяин, а Фома Тучков – работник?

Крепкий белый парень, кудрявый, с ястребиным носом и серыми умными глазами на круглом лице, Фома был не похож на мужика, – если бы его хорошо одеть. Он сошел бы за купеческого сына из хорошей семьи. Это был человек сумрачный, говорил мало, деловито. Грамотный, он вел счета подрядчика, составлял сметы, умел заставить товарищей работать успешно, но сам работал неохотно.

– Всю работу вовеки не сделаешь, – спокойно говорил он. О книгах отзывался пренебрежительно: «Напечатать всё можно, я тебе что хошь выдумую, это – пустяки...»

Но он ко всему внимательно прислушивался и, если его что-нибудь интересовало, расспрашивал подробно и настойчиво, всегда думая о своем о чем-то, всё измеряя своей мерой.

Раз я сказал Фоме, что вот ему бы надо быть подрядчиком, – он лениво отозвался:

– Кабы сразу тыщами ворочать – ну, еще туда-сюда... А из-за грошей с народом возиться – это из пустого в порожнее. Нет, я вот погляжу-погляжу да в монастырь уйду, в Оранки. Я – красивый, могучий, авось какой-нибудь купчихе понравлюсь,

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
вдове! Бывает этак-то, – один сергацкой парень в два года счастья достиг да еще
на девице женился, здешней, городской; носили икону по домам, а она его и
высмотрела...

Это у него было обдуманно, – он знал много рассказов о том, как послушничество в
монастырях выводило людей на легкую дорогу. Мне его рассказы не нравились, не
нравилось и направление ума Фомы, но я был уверен, что он уйдет в монастырь.

Открылась ярмарка, и Фома, неожиданно для всех, поступил в трактир половым. Не
скажу, чтобы это удивило его товарищей, но все они стали относиться к парню
издевательски; по праздникам, собираясь пить чай, говорили друг другу,
усмехаясь:

– Айда к своему шестерке!

А приходя в трактир, хозяйски кричали:

– Эй, половик! Кудрявенький, поди сюда!

Он подходил и спрашивал, приподнимая голову:

– Что прикажете?

– Не узнал знакомых?

– Узнавать некогда мне...

Он чувствовал, что товарищи презирают его, хотят позабавиться над ним, и смотрел
на них скучно ожидающими глазами; лицо у него становилось деревянным, но,
казалось, оно говорит: «Ну, скорее, смейтесь, что ли...»

– На чайшко-то дать? – спрашивали его; нарочно долго рылись в кошельках и не
давали ни копейки.

Я спросил Фому: как же это он – собирался в монахи, а пошел в лакеи?

– В монахи я не собирался, – ответил он, – а в лакеи – ненадолго пошел...

Года четыре спустя я встретил его в Царицыне, всё еще половым в трактире; а
потом прочитал в газете, что Фома Тучков арестован за покушение на кражу со
взломом.

Особенно меня поразила история каменщика Ардальона – старшего и лучшего
работника в артели Петра. Этот сорокалетний мужик, чернобородый и веселый, тоже
невольно возбуждал вопрос: почему не он – хозяин, а – Петр? Водку он пил редко и
почти никогда не напивался допьяна; работу свою знал прекрасно, работал с
любовью, кирпичи летали в руках у него, точно красные голуби. Рядом с ним
больной и постный Петр казался совершенно лишним человеком в артели; он говорил
о работе:

– Строю для людей дома каменные на гроб себе деревянный...

Ардальон, с веселой яростью укладывая кирпичи, покрикивал:

– Эхма, работай, ребята, во славу божию!

И рассказывал всем, что будущей весной он уедет в Томск, там у него зять взял
большой подряд – строить церковь – и зовет его к себе десятником.

– Это у меня дело решенное. Церкви строить – это я люблю! – говорил он и
предлагал мне: – Айда со мной! В Сибири, брат, грамотному очень просто, там
грамота – козырь!

Я соглашался, и Ардальон победительно кричал:

– Ну, вот! Это дело, а не шутки...

К Петру и Григорию он относился с добродушной насмешкой, как взрослый к детям, и

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.maх
говорил Осипу:

– Хвастуны, всё разум свой друг другу показывают, словно в карты играют. Один – у меня-ста вот какая масть, другой – а у меня, дескать, вот они, козыри!

Осип неопределенно замечает:

– А как иначе? Хвастовство дело человечесье, все девицы вперед грудью ходят...

– Всё – ох да ох, бог да бог, а сами – деньги копят! – не унимался Ардальон.

– Ну, Гриша не накопит...

– Я – про своего. Шел бы, с богом-то, в лес, в пустыню... Эх, надоело мне здесь, двинусь я весной в Сибирь...

Рабочие, завидуя Ардальону, говорили:

– Кабы у нас эдакая зацепка, вроде зятя, мы бы тоже Сибири не испугались...

И вдруг Ардальон пропал. В воскресенье ушел из артели, и дня три никто не знал, где он.

Тревожно догадывались:

– Может, кто-нибудь пришиб его?

– А то – купался да утонул?

Но пришел Ефимушка и объявил, сконфуженный:

– Загулял Ардальон!

– Что врешь? – недоверчиво крикнул Петр.

– Загулял, запил. Просто – как овин загорелся с самой середки. Будто любезная жена померла...

– Он вдовый! Где он?

Петр сердито отправился спасать Ардальона, но тот избил его.

Тогда Осип, крепко поджав губы, глубоко засунул руки в карманы и объявил:

– Пойду-ка я погляжу – отчего такое? Мужик хороший...

Я увязался с ним.

– Вот он, человек, – говорил Осип дорогой. – живет-живет, всё будто хорошо, а вдруг – хвост трубой и пошел катать по всем пустырям. Гляди, Максимыч, учись...

Мы пришли в один из дешевеньких домов «развеселого Кунавина села», нас встретила вороватая старушка. Осип пошептался с нею, и она провела нас в пустую маленькую комнату, темную и грязную, как стойло. На койке спала, разметавшись, большая толстая женщина; старуха толкнула ее кулаком в бок и сказала:

– Выдь! Эй, лягуха, выдь!

Женщина испуганно вскочила, растирая лицо ладонями, спрашивая:

– Господи! Кто это? Что это?

– Сыщики пришли, – сурово сказал Осип; охнув, женщина исчезла, а он плюнул вслед ей и объяснил мне:

– Сыщиков они боятся хуже чертей...

Сняв со стены маленькое зеркало, старуха приподняла кусок обоев.

– Глядите – этот ли?

Осип поглядел в щель переборки.

– Самый он! Выгони девицу оттуда...

Я тоже посмотрел в щель: в такой же тесной конуре, как та, в которой мы были, на подоконнике окна, плотно закрытого ставнями, горела жестяная лампа, около нее стояла косоглазая голая татарка, ушивая рубаху. За нею, на двух подушках постели, возвышалось взбухшее лицо Ардальона, торчала его черная спутанная борода. Татарка вздрогнула, накинула на себя рубаху, пошла мимо постели и вдруг явилась в нашей комнате.

Осип поглядел на нее и снова плюнул:

– У, бесстыдница!

– Сама старий дурак, – ответила она, смеясь.

И Осип засмеялся, грозя ей пальцем.

Мы перешли в конуру татарки, старик сел на постель в ногах Ардальона и долго безуспешно будил его, а тот бормотал:

– Ну, ладно, ладно... погоди, пойдем... Наконец проснулся, дико поглядел на Осипа, на меня и, закрыв красные глаза, промычал:

– Ну, ну...

– Ты что это? – сказал Осип спокойно, без упрека, но невесело.

– Закрутил, – хрипя и кашляя, объяснил Ардальон.

– Что так?

– Да так уж...

– Не ладно будто...

– Чего хорошего...

Ардальон взял со стола початую бутылку водки и стал пить из горлышка, потом предложил Осипу:

– Хошь? Тут и закуска должна быть...

Старик налил в рот себе вина, проглотил, сморщился и стал внимательно жевать кусочек хлеба, а мутный Ардальон вяло говорил:

– Вот – с татаркой связался. Это всё – Ефимушка, татарка, говорит, молодая, сирота из Касимова, на ярмарку собралась.

Из стены весело сказали ломаным языком:

– Татарка – лучи! Как молодой куриса. Гони ему вон, это не отес твоя...

– Вот эта самая, – пробормотал Ардальон, тупо глядя в стену.

– Я видел, – сказал Осип.

Ардальон обратился ко мне:

– Вот как я, брат...

Я ожидал, что Осип станет упрекать Ардальона, учить его, а тот будет смущенно каяться. Но ничего подобного не было, – они сидели рядом, плечо в плечо, и разговаривали спокойно, краткими словами. Очень грустно было видеть их в этой

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
темной грязной конуре; татарка говорила в щель стены смешные слова, но они не слушали их. Осип взял со стола воблу, поколотил ее об сапог и начал аккуратно сдирать шкуру, спрашивая:

- Деньги-то все ухнул?
- За Петрухой есть...
- Гляди, справишься ли? Ехать бы теперь в Томской-то...
- Да что ж, в Томской...
- Али раздумал?
- Кабы чужие звали.
- А что?
- А то – сестра, зять...
- Ну?
- Не больно радшно к своим под начал идти...
- Начал везде одинаков.
- Все-таки...

Они говорили так дружески серьезно, что татарка перестала дразнить их, вошла в комнату, молча сняла со стены платье и исчезла.

– Молодая, – сказал Осип.

Ардальон поглядел на него и без досады проговорил:

- Всё – Ефимушка, смутьян. Ничего, кроме баб, не знает... А татарка – веселая, дурит всё...
- Гляди – не вывернешься, – предупредил его Осип и, дожевав воблу, стал прощаться.

Дорогой назад я спросил Осипа:

- Зачем ты ходил к нему?
- А поглядеть. Человек знакомый. Мно-ого я эдаких случаев видел – живет-живет человек да вдруг как из острога вырвется, – повторил он уже сказанное раньше. – Водочки надо остерегаться!

Но через минуту сказал:

- А без нее – скушно!
- Без водки?
- Ну да! Выпьешь – словно по другой земле пойдешь...

Ардальон – не вывернулся. Спустя несколько дней он пришел на работу, но вскоре снова исчез, а весной я встретил его среди босяков, – он окальвал лед вокруг барж в затоне. Мы хорошо встретились и пошли в трактир пить чай, а за чаем он хвастался:

- Помнишь, каков я работник был, а? Прямо скажу: в своем деле – химик! Сотни мог заработать...
- Однако – не заработал.
- А – не заработал! – с гордостью крикнул он. – Наплевать мне на работу!

Он держался размашисто, люди в трактире прислушивались к его задорным словам со вниманием.

– Помнишь, что тихий вер Петруха про работу говорил? Людям – дом каменный, себе – гроб деревянный. Вот те и вся работа!

Я сказал:

– Петруха – больной, он смерти боится.

Но Ардальон закричал:

– я тоже больной, у меня, может, душа не на месте!

По праздникам я частенько спускался из города в Миллионную улицу, где ютились босяки, и видел, как быстро Ардальон становится своим человеком в «золотой роте». Еще год тому назад – веселый и серьезный, теперь Ардальон стал как-то криклив, приобрел особенную, развалистую походку, смотрел на людей задорно, точно вызывая всех на спор и бой, и всё хвастался:

– Ты гляди, как меня люди принимают, – я тут вроде атамана!

Не жалея заработанных денег, он угощал босяков, становился в драках на сторону слабого и часто зывал:

– Ребята, неправильно! Надо правильно поступать!

Его так и прозвали – Правильный, это очень нравилось ему.

Я усердно присматривался к людям, тесно набитым в старый и грязный каменный мешок улицы. Всё это были люди, отломившиеся от жизни, но казалось, что они создали свою жизнь, независимую от хозяев и веселую. Беззаботные, удалые, они напоминали мне дедушкины рассказы о бурлаках, которые легко превращались в разбойников и отшельников. Когда не было работы, они не брезговали мелким воровством с барж и пароходов, но это не смущало меня, – я видел, что вся жизнь прошита воровством, как старый кафтан серыми нитками, и в то же время я видел, что эти люди иногда работают с огромным увлечением, не щадя сил, как это бывало на спешных паузках, на пожарах, во время ледохода. И вообще они жили более празднично, чем все другие люди.

Но Осип, заметив мою дружбу с Ардальоном, отечески предупредил меня:

– Вот что, душа моя, горький сухостой, ты чего это с Миллионной больно плотно приятельствуешь? Гляди, не получи себе вреда...

Я сказал ему как умел, что мне нравятся эти люди, – живут без работы, весело.

– Яко птицы небесные, – перебил меня он, усмехаясь. – Это они потому так, что – лентяи, пустой народ, работа им – горе!

– Да ведь что же – работа? Говорится: от трудов праведных не нажить домов каменных!

Мне легко было сказать так, я слишком часто слышал эту поговорку и чувствовал ее правду. Но Осип рассердился на меня и закричал:

– Это – кто говорит? Дураки да лентяи, а тебе, кутенок, – не слушать бы этого! Ишь ты! Эти глупости говорятся завистниками, неудачниками, а ты сперва оперись, потом – ввысь! А про дружбу твою я хозяину доложу – не обессудь!

И – доложил. Хозяин при нем же сказал мне:

– Ты, Пешков, Миллионную оставь! Там – воры, проститутки, и дорога оттуда – в острог, в больницу. Брось!

Я стал скрывать мои посещения Миллионной, но скоро был вынужден отказаться от них.

Как-то раз я сидел с Ардальоном и товарищем его Робенком на крыше сарая, во дворе одной из ночлежек; Робенок забавно рассказывал нам, как он пробирался пешком из Ростова-на-Дону в Москву. Это был солдат-сапер, георгиевский кавалер, хромой, – в турецкую войну ему разбили колено. Низенький, коренастый, он обладал страшною силой в руках, – силой, бесполезной ему, работать он не мог по своей хромоте. От какой-то болезни у него вылезли волосы на черепе и на лице – голова его действительно напоминала голову новорожденного.

Поблескивая рыжими глазами, он говорил:

– Ну, вот: Серпухов; сидит поп в палисаднике; батюшка, говорю, подайте турецкому герою... Покачивая головою, Ардальон говорит:

– Ну, ври, ври...

– Чего же я вру? – не обижаясь, спрашивает Робенок, а мой приятель поучительно и лениво ворчит:

– Неправильный ты человек! Тебе в сторожа проситься, хромые всегда сторожами живут, а ты шатаешься зря и всё врешь...

– Да ведь я – чтобы посметься, я – для веселости вру...

– Тебе над собой смеяться надо...

На дворе, темном и грязном, хотя погода стояла сухая, солнечная, появилась женщина и крикнула, встряхивая какую-то тряпкой:

– Кто юбку купит? Эй, подруги...

Из щелей дома полезли женщины, тесно окружая продавщицу; я сразу узнал ее – это прачка Наталья! Я соскочил с крыши, но она, отдав юбку за первую цену, уже тихонько уходила со двора.

– Здравствуйте! – догнав ее за воротами, радостно поздоровался я.

– А дальше что скажешь? – спросила она, искоса взглянув на меня, и вдруг остановилась, сердито крикнув:

– Господи помилуй! Ты чего тут?..

Меня тронуло и смутило ее испуганное восклицание; я понял, что она испугалась за меня: страх и удивление так ясно выразились на ее умном лице. Наскоро я объяснил ей, что не живу в этой улице, а только иногда прихожу посмотреть.

– Посмотреть?! – насмешливо и сердито воскликнула она. – Это чего же, куда же ты смотришь? Проходим в карманы да бабам за пазухи?

Лицо у нее было измятое, под глазами лежали густые тени, губы вяло опустились.

Остановясь у дверей трактира, она сказала:

– Идем, чаем напою! Одет – чистенько, не по-здешнему, а не верю я тебе что-то...

Но в трактире она как будто поверила мне и, разливая чай, стала скучно говорить о том, что она только час тому назад проснулась и еще не пила, не ела.

– А вчера легла – пьяна-пьянехонька, уж и не помню: где пила, с кем?

Мне было жалко ее, неловко перед нею и хотелось спросить – где же ее дочь? А она, выпив водки и горячего чаю, заговорила знакомо бойко, грубо, как все женщины этой улицы; но когда я спросил ее о дочери, сразу отрезвев, она крикнула:

– А тебе зачем знать это? Нет, милый, дочь мою ты не достанешь, нет!

Выпила еще и рассказала:

– Дочери со мной делать нечего. Я – кто? Прачка. Какая я мать ей? Она – образованная, ученая. То-то, брат! И уехала от меня к богатой подруге, в учительницы будто...

Помолчав, она негромко спросила:

– Вот как! Прачка – вам не угодна? А гулящая баба – угодна?

Что она «гулящая», я, конечно, сразу видел это, – иных женщин в улице не было. Но когда она сама сказала об этом, у меня от стыда и жалости к ней навернулись слезы, точно обожгла она меня этим сознанием – она, еще недавно такая смелая, независимая, умная!

– Эх ты, – сказала она, взглянув на меня и вздыхая. – Иди-ка ты отсюда! И прошу я тебя и советую – не суся сюда, пропадешь!

Потом тихонько и как бы сама себе она начала отрывисто говорить, наклоняясь над столом и что-то рисуя пальцем на подносе:

– А что тебе мои просьбы и советы? Если дочь родная не послушала. Я кричу ей: не можешь ты родную мать свою бросить, что ты? А она: удавлюсь, говорит. В Казань уехала, учиться в акушерки хочет. Ну, хорошо... Хорошо... А как же я? А я – вот так... К чему мне прижаться?.. А – к прохожему...

Замолчав, она долго думала о чем-то, беззвучно шевеля губами, и, видимо, забыла обо мне. Углы губ опустились, рот изогнулся серпом, и было мучительно смотреть, как вздрагивает кожа на губах и безмолвно говорят о чем-то трепетные морщинки. Лицо у нее было детское, обиженное. Из-под платка выбилась прядь волос и лежала на щеке, загибаясь за маленькое ухо. В чашку остывшего чая капнула слеза; женщина, заметив это, отодвинула чашку и крепко прикрыла глаза, выжав еще две слезинки, потом вытерла лицо платком.

У меня не хватило терпенья сидеть с нею дольше, я тихонько встал.

– Прощайте!

– А? Иди, иди к чёрту! – отмахнулась она, не глядя на меня, должно быть, забыв, кто с ней.

Я воротился на двор, к Ардальону, – он хотел идти со мною ловить раков, а мне хотелось рассказать ему об этой женщине. Но его и Робенка уже не было на крыше; пока я искал их по запутанному двору, на улице начался шум скандала, обычный для нее.

Я вышел из ворот и тотчас столкнулся с Натальей, – всхлипывая, отирая головным платком разбитое лицо, оправляя другою рукой встрепанные волосы, она слепо шла по панели, а за нею шагали Ардальон и Робенок; Робенок говорил:

– Дай ей еще раз, дай!

Ардальон настиг женщину, помахивая кулаком; она обернулась грудью к нему; лицо у нее было страшное, глаза горели ненавистью.

– Н-на, бей! – крикнула она.

Я вцепился в руку Ардальона, он удивленно взглянул на меня.

– Чего ты?

– Не трогай, – едва мог сказать я ему.

Он захохотал.

– Она тебе – любовница? Ай да Наташка – сожрала монашка!

Робенок тоже хохотал, хлопая себя по бедрам, и они долго поджаривали меня в горячей грязи, – это было мучительно! Но пока они занимались этим, Наталья ушла,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiyuma
а я, не стерпев, наконец, ударил головою в грудь Робенка, опрокинул его и
убежал.

С того дня я долго не заглядывал в Миллионную, но еще раз видел Ардальона, –
встретил его на пароме.

– Ты – где пропал? – радостно спросил он.

Когда я сказал ему, что мне противно вспомнить, как он избил Наталью и грязно
обидел меня, Ардальон добродушно засмеялся.

– Да разве это – всерьез? Это мы шулки ради помазали тебя! А она – да что же ее
не бить, коли она – гулящая? Жен бьют, а таких и недавно не жаль! Только это всё
– баловство одно! Я ведь понимаю – кулак не наука!

– Да чему тебе учить ее? Чем ты лучше?..

Он обнял меня за плечи и, встряхивая, сказал с насмешкой:

– В том и безобразии наше, что никто никого не лучше... Я, брат, всё понимаю, и
снаружи, и с изнанки, всё! Я – не деревня...

Он был немножко выпивши, веселый; смотрел на меня с ласковым сожалением доброго
учителя к бестолковому ученику...

...Иногда я встречал Павла Одинцова; он стал еще бойчее, одевался щеголем, говорил
со мною снисходительно и всё упрекал:

– За какую ты работу взялся – пропадешь! Мужики эти...

Потом грустно рассказывал новости из жизни мастерской.

– Жихарев всё путается с коровой этой; Ситанов, видно, горюет: пить стал через
меру. А Гоголева – волки съели; поехал он на святки домой, а там его, пьяного,
волки и сожрали!

И, заливаясь веселым смехом, Павел смешно сочинял:

– Съели и – тоже все пьяные! Веселые стали, – ходят по лесу на задних лапах, как
ученые собаки, воют, а через сутки – подошли все!..

Я слушал и тоже смеялся, но чувствовал, что мастерская со всем, что я пережил
там, – далеко от меня. Это было немножко грустно.

ХІХ

Зимю работы на Ярмарке почти не было; дома я нес, как раньше, многочисленны
мелкие обязанности: они поглощали весь день, но вечера оставались свободными, я
снова читал вслух хозяевам неприятные мне романы из «Нивы», из «Московского
листка», а по ночам занимался чтением хороших книг и пробовал писать стихи.

Однажды, когда женщины ушли ко всенощной, а хозяин по нездоровью остался дома,
он спросил меня:

– Виктор смеется, что ты будто, Пешков, стихи пишешь, верно, что ли? Ну-ко,
почитай!

Отказать было неловко, я прочитал несколько стихотворений; они, видимо, не
понравились ему, но он все-таки сказал:

– Валяй, валяй! Может, Пушкиным будешь; читал Пушкина?

Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

В его пору еще верили в домовых, ну, сам-то он, поди, не верил, а просто –
шутил! Да-а, брат, – задумчиво протянул он, – надо бы тебе учиться, а опоздал
ты! Чёрт знает, как ты будешь жить... Тетрадь-то свою подальше прячь, а то
привяжутся бабы – засмеют... Бабы, брат, любят это – за сердце задеть...

С некоторого времени хозяин стал тих, задумчив и всё опасливо оглядывался, а звонки пугали его; иногда вдруг болезненно раздражался из-за пустяков, кричал на всех и убегал из дома, а поздней ночью возвращался пьяным... Чувствовалось, что в его жизни произошло что-то, никому кроме него неизвестное, подорвало ему сердце, и теперь он жил не уверенно, не охотно, а как-то так, по привычке.

По праздникам, от обеда до девяти часов, я уходил гулять, а вечером сидел в трактире на Ямской улице; хозяин трактира, толстый и всегда потный человек. страшно любил пение, это знали певчие почти всех церковных хоров и собирались у него; он угощал их за песни водкой, пивом, чаем. Певчие – народ пьяный и малоинтересный; пели они неохотно, только ради угощения, и почти всегда церковное, а так как благочестивые пьяницы считали, что церковному в трактире не место, хозяин приглашал их к себе в комнату, а я мог слушать пение только сквозь дверь. Но нередко в трактире певали деревенские мужики, мастеровые, – трактирщик сам разыскивал певцов по городу, расспрашивал о них в базарные дни у приезжих крестьян и приглашал к себе.

Певец всегда садился на стул у стойки буфета, под бочонком водки, – голова его рисовалась на дне бочонка, как в круглой раме.

Лучше всех – и всегда какие-то особенно хорошие песни – пел маленький, тощий шорник Клещов, человек мятый, жеваный, в клочьях рыжих волос; носишко у него блестел, точно у покойника, крошечные сонные глаза были неподвижны.

Бывало, закроет он их, прислонится ко дну бочонка затылком и, выпятив грудь, тихим, но всепобеждающим тенорком заведет скороговоркой:

Эх, уж как пал туман на поле чистое,
Да призакрыл туман дороги дальние...
Тут он вставал, опираясь поясницей на стойку, изогнувшись назад, и задушевно выводил, подняв лицо к потолку:

Эх, я ку-да, куда пойду,
Где до-орогу я широкою найду?
Голос у него был маленький, но неутомимый; он прошивал глухой, Отемный гомон трактира серебряной струной, грустные слова, стоны и выкрики побеждали всех людей, – даже пьяные становились удивленно серьезны, молча смотрели в столы перед собою, а у меня надрывалось сердце, переполненное тем мощным чувством, которое всегда будит хорошая музыка, чудесно касаясь глубин души.

В трактире становилось тихо, как в церкви, а певец – словно добрый священник. Он не проповедует, а действительно всей душой честно молится за весь род людской, честно, вслух думает о всех горестях бедной человеческой жизни. Отовсюду на него смотрят бородатые люди, на звериных лицах задумчиво мигают детские глаза; иногда кто-нибудь вздохнет, и это хорошо подчеркивает победительную силу песни. В такие минуты мне всегда казалось, что все люди живут фальшивой, надуманной жизнью, а настоящая человеческая жизнь – вот она!

Сидит в углу толсторожая торговка Лысуха, баба отбойная, бесстыдно гуляющая; спрятала голову в жирные плечи и плачет, тихонько моет слезами свои наглые глаза. Недалеко от нее навалился на стол мрачный ок-тавист Митропольский, волосатый детина, похожий на дьякона-расстригу, с огромными глазами на пьяном лице; смотрит в рюмку водки перед собою, берет ее, подносит ко рту и снова ставит на стол, осторожно и бесшумно, – не может почему-то выпить.

И все люди в трактире замерли, точно прислушиваясь к давно забытому, что было дорого и близко им.

Когда Клещов, кончив песню, скромно опускался на стул, трактирщик, подавая ему стакан вина, говорил с улыбкой удовольствия:

– Ну, конечно, хорошо! Хоша ты не столь поешь, сколько рассказываешь, однако – мастер, что и говорить! Иного – никто не скажет...

Клещов, не торопясь, пил водку, осторожно крякал и тихо говорил:

– Спеть всякий может, у кого голос есть, а показать, какова душа в песне, – это только мне дано!

– Ну, не хвастай, однако!

– Кому – нечем, тот не хвастает, – всё так же тихо, но более упрямо говорил певец.

– Заносчив ты, Клещов! – с досадой восклицает трактирщик.

– Выше своей души не заношусь...

А в углу рычал мрачный октавист:

– Что понимаете в пении сего безобразного ангела вы, черви, вы, плесень?

Он всегда и со всеми был не согласен, против всех спорил, всех обличал, и почти каждый праздник его жестоко били за это и певчие и все, кто мог, кто хотел.

Трактирщик любит песни Клещова, но терпеть не может самого певца; жалуется всем на него и явно ищет унижить шорника, посмеяться над ним; это знают и завсегда трактира и сам Клещов.

– Хорош певец, да кичлив, и надо его одернуть, – говорит он, и некоторые гости соглашались с ним.

– Это – верно, заносчив парень!

– Чем заносится? Голос – от бога, не сам нажил! Да и велик ли голос-то? – упрямо твердит трактирщик. Согласная публика вторит ему:

– Верно, тут не голос, а больше – уменье.

Однажды, когда певец, остыв, ушел, трактирщик стал уговаривать Лысуху:

– Вот тебе бы, Марья Евдокимовна, побаловать с Клещовым-то, помотала бы ты его маленько, а? Чего тебе стоит?

– Кабы я помоложе была, – усмехаясь, сказала торговка.

Трактирщик горячо и громко закричал:

– Что молодые умеют? А ты – возьмись! Поглядеть бы, как он завился вокруг тебя! В тоску бы его вогнать, вот он запел бы, а? Возьмись, Евдокимовна, поблагодарю, эй?

Но она не бралась. Большая, дебелая, она, опустив глаза и перебирая пальцами бахрому платка на груди, однообразно и лениво говорила:

– Тут – молодую надо. Кабы я моложе была, ну – не задумалась бы...

Почти всегда трактирщик старался напоить Клещова, но тот, спев две-три песни и выпив за каждую по стакану, тщательно окутывал горло вязаным шарфом, туго натягивал картуз на вихрастую голову и уходил.

Нередко трактирщик выискивал соперников Клещову; споет шорник песню, а он, похвалив его, говорит, волнуясь:

– Тут, кстати, еще один поющий пришел! Нуте-кась, пожалуйста, покажите себя!

Поющий иногда показывал хороший голос, но я не знаю случая, чтобы кто-нибудь из соперников Клещова спел так же просто и задушевно, как умел петь этот маленький, неказистый шорник...

– Н-нда, – не без сожаления говорил трактирщик, – это, конечно, хорошо-о! Главное – голос тут, а вот – душа-то...

Публика посмеивалась:

– Нет, шорника не одолеть, видно!

А Клещов, поглядывая на всех из-под рыжих клочковатых бровей, спокойно и вежливенько говорил трактирщику:

– Балуете вы. Супротив меня не найти вам певца, как у меня дарование – от бога...

– Мы все – от бога!

– Разоритесь на вине, а не найдете... Трактирщик багровел и бормотал:

– Как знать, как знать...

А Клещов настойчиво доказывал ему:

– Еще я скажу вам, что пение – это, например, не петушиный бой...

– Да знаю я! Чего ты пристаешь?

– Я не пристаю, я только доказываю: коли песня – забава, это уж – от лукавого!

– Да будет! Лучше спой еще...

– Петь я всегда могу, хоть во сне даже, – соглашался Клещов, осторожно покашливая, и начинал петь.

И все пустяки, вся дрянь слов и намерений, всё пошное, трактирное – чудесно исчезало дымом; на всех веяло струей иной жизни – задумчивой, чистой, полной любви и грусти.

Я завидовал этому человеку, напряженно завидовал его таланту, его власти над людьми, – он так чудесно пользовался этой властью! Мне хотелось познакомиться с шорником, о чем-то долго говорить с ним, но я не решался подойти к нему, – Клещов смотрел на всех белесыми глазами так странно, точно не видел перед собою никого. И было в нем нечто неприятное мне, мешавшее полюбить его, – а хотелось любить этого человека не тогда только, когда он пел. Неприятно было смотреть, как он, по-стариковски, натягивает на голову картуз и как, всем напоказ, кутает шею красным вязаным шарфом, о котором он говорил:

– Это мне милашка моя связала, девчонка одна...

Если он не пел, то важно надувался, потирал пальцем мертвый, мороженный нос, а на вопросы отвечал односложно, нехотя. Когда я подсел к нему и спросил о чем-то, он, не взглянув на меня, сказал:

– Поди прочь, парнишка!

Гораздо больше нравился мне октавист Митрополь-ский; являясь в трактир, он проходил в угол походкой человека, несущего большую тяжесть, отодвигал стул пинком ноги и садился, раскладывая локти по столу, положив на ладони большую, мохнатую голову. Молча выпив две-три рюмки, он гулко кричал; все, вздрогнув, повертывались к нему, а он, упираясь подбородком в ладони, вызывающе смотрел на людей; грива нечесаных волос дико осыпала его опухшее бурое лицо.

– Что смотрите? Что видите? – вдруг спрашивал он бухающими словами.

Иногда ему отвечали:

– Лешего видим!

Бывали вечера, когда он пил молча и молча же уходил, тяжело шаркая ногами, но несколько раз я слышал, как он обличал людей, подражая пророку:

– Аз есмь бога моего неподкупный слуга и се обличаю вы, яко Исаяя! Горе граду Ариилу, иде же сквернавцы и жулики и всякие мрази безобразнии жительствоуют в грязи подлых вожделений своих! Горе корабельным крилам земли, ибо несут они по путям вселенной людишек препакостных, – разумею вас, пьяницы, обжоры, отребие мира сего, – несть вам числа, окаяннии, и не приемлет вас земля в недра своя!

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Голос его гудел так, что даже стекла в окнах звенели, – это очень нравилось публике, и она похваливала пророка:

– Здорово лупит, косматый пес!

С ним легко было познакомиться, – стоило только предложить ему угощение; он требовал графин водки и порцию бычачьей печенки с красным перцем, любимое его кушанье; оно разрывало рот и все внутренности. Когда я попросил его сказать мне, какие нужно читать книги, он свирепо и в упор ответил мне вопросом:

– Зачем читать?

Но, умягченный моим смущением, прогудел:

– Екклезиаста – читал?

– Читал.

– Екклезиаста читай! Больше – ничего. Там вся мудрость мира, только одни бараны квадратные не понимают ее – сиречь никто не понимает... Ты кто таков – поешь?

– Нет.

– Почему? Надо петь. Это самое нелепое занятие.

С соседнего стола спросили его:

– А ты сам-от – поешь?

– Да, я – бездельник! Ну?

– Ничего.

– Не новость. Всем известно, что у тебя в башке ничего нет. И никогда ничего не будет. Аминь!

В этом тоне он говорил со всеми и со мною, конечно; хотя после двух-трех угощений стал относиться ко мне мягче и даже однажды сказал с оттенком удивления:

– Гляжу я на тебя и не понимаю: что ты, кто ты и зачем ты? А впрочем – чёрт тебя возьми!

К Клещову он относился непонятно: слушал его с явным наслаждением, даже иногда с ласковой улыбкой, но не знакомился с ним и говорил о нем грубо, презрительно:

– Это – болван! Он умеет дышать, он понимает, о чем поет, а все-таки – осёл!

– Почему?

– По природе своей.

Мне хотелось поговорить с ним, когда он трезв, но трезвый он только мычал, глядя на всё отуманенными, тоскливыми глазами. От кого-то я узнал, что этот на всю жизнь пьяный человек учился в Казанской академии, мог быть архиереем, – я не поверил этому. Но однажды, рассказывая ему о себе, я упомянул имя епископа Хрисанфа; октавист тряхнул головою и сказал:

– Хрисанф? Знаю. Учитель мой и благожелатель. В Казани, в академии, – помню! Хрисанф значит – золотой цвет, как верно сказано у Памвы Берынды. Да, он был золотоцветен, Хрисанф!

– А кто это Памва Берында? – спросил я, но Митропольский кратко ответил:

– Не твое дело.

Дома я записал в тетрадь свою: «Непременно читать Памву Берынду», – мне показалось, что именно у этого Берынды я и найду ответы на множество вопросов,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
тревоживших меня.

Певчий очень любил употреблять какие-то неведомые мне имена, странные сочетания слов; это очень раздражало меня.

– Жизнь – не Анисья! – говорил он.

Я спрашивал:

– Кто это – Анисья?

– Полезная, – отвечал он, и мое недоумение забавляло его.

Эти словечки и то, что он учился в академии, заставляли меня думать, что он знает много, и было очень обидно, что он не хочет ни о чем говорить, а если говорит, то непонятно. А может быть, я не умел спросить его?

Но все-таки он оставлял нечто в душе моей; мне нравилась пьяная смелость его обличений, построенных под пророка Исаяю.

– О, нечисть и смрад земли! – рычал он. – Худшие у вас – во славе, а лучшие – гонимы; настанет грозный день, и покаетесь в этом, но поздно будет, поздно!

Слушая этот рев, я вспоминал Хорошее Дело, прачку Наталью, погибшую так обидно и легко, Королеву Марго в туче грязных сплетен, – у меня уже было что вспомнить...

Мое краткое знакомство с этим человеком кончилось курьезно.

Весною я встретил его в поле, около лагерей, он шагал, как верблюд, покачивая головой, одинокий, опухший.

– Гуляешь? – спросил он хрипло. – Идем вместе. Я тоже гуляю. Я, братец мой, болен, да...

Несколько шагов мы прошли молча и вдруг в яме от палатки увидели человека: он сидел на дне ямы, склонясь набок, опираясь плечом на стенку окопа, пальто у него с одной стороны взъехало выше ушей, точно он хотел снять его и не мог.

– Пьяный, – решил певчий, остановясь.

Но под рукою человека валялся на молодой траве большой револьвер, недалеко от него – фуражка, а рядом с нею едва початая бутылка водки, – ее пустое горлышко зарылось в зеленых травинках. Лицо человека было стыдливо спрятано под пальто.

С минуту мы стояли молча, потом Митропольский, широко расставив ноги, сказал:

– Застрелился.

Я сразу понял, что человек не пьян, а – мертв, но это было так неожиданно, что не хотелось верить. Помню, я не чувствовал ни страха, ни жалости, глядя на большой, гладкий череп, высунувшийся из-под пальто, и на синее ухо, – не верилось, что человек мог убить себя в такой ласковый весенний день

Октавист крепко растирал ладонью свои небритые щеки, точно ему было холодно, и хрипел.

– Пожилой. Жена сбежала или чужие деньги промотал...

Он послал меня в город за полицией, а сам присел на край ямы, опустив в нее ноги, зябко кутаясь в потертое пальто Известив о самоубийстве городского, я быстро прибежал назад, но за это время октавист допил водку покойника и встретил меня, размахивая пустой бутылкой.

– Вот что погубило его! – рычал он и, яростно ударив бутылкой о землю, вдребезги разбил ее.

Вслед за мною прибежал городской, заглянул в яму, снял фуражку и, нерешительно перекрестясь, спросил певчего:

– Ты кто таков?

– Не твое дело...

Полицейский подумал и спросил более вежливо:

– Как же это вы – тут мертвый, а вы – пьяный?

– Я двадцать лет пьян! – с гордостью сказал певчий, ударив себя ладонью в грудь.

Я был уверен, что его арестуют за выпитую водку. Из города бежали люди, приехал на дрожках строгий квартальный, спустился в яму и, приподняв пальто самоубийцы, заглянул ему в лицо.

– Кто первый увидел?

– Я, – сказал Митропольский.

Квартальный поглядел на него и зловеще протянул:

– А-а, здравствуй, сударь мой!

Собрались зрители, десятка полтора; запыхавшиеся, оживленные, заглядывали в яму, кружась над нею; кто-то крикнул:

– Это с нашей улицы чиновник, я его знаю!

Октавист, покачиваясь, стоял перед квартальным, сняв картуз, и спорил с ним, невнятно, глухо выкрикивая какие-то слова; потом квартальный толкнул его в грудь, он покачнулся, сел; тогда полицейский, не торопясь, вынул из кармана веревочку, связал ею руки певчего, привычно и покорно спрятанные им за спину, а квартальный начал сердито кричать на зрителей:

– Прочь! Р-рвань...

Прибежал еще старенький городской, с мокрыми красными глазами, с разинутым от усталости ртом, взял в руку конец веревочки, которой был связан октавист, и тихонько повел его в город.

Я тоже пошел с поля, удрученный; в памяти гулким эхом звучали карающие слова

«Горе граду Ариилу!..»

А перед глазами – тягостная картина: полицейский не спеша вытягивает из кармана шинели своей веревочку, а грозный пророк покорно заложил красные волосатые руки за спину и скрестил кисти их так привычно, умело...

Вскоре я у знал, что пророка выслали из города по этапу. А за ним исчез Клещов – женился выгодно и переехал жить в уезд, где открыл шорную мастерскую.

...Я так усердно расхваливал песни шорника хозяину, что он сказал однажды:

– Надо сходить, послушать...

И вот он сидит за столиком против меня, изумленно подняв брови, широко открыв глаза.

По дороге в трактир он высмеивал меня и в трактире первые минуты все издевался надо мной, публикой и удушливыми запахами. Когда шорник запел, он насмешливо улыбнулся и стал наливать пиво в стакан, но налил до половины и остановился, сказав:

– Ого... черт!

Рука его задрожала, он тихонько поставил бутылку и стал напряженно слушать

– Д-да, браг, – сказал он, вздыхая, когда Клещов кончил петь, – действительно –

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
поет... черт его возьми! Даже жарко стало...

Шорник снова запел, вскинув голову, глядя в потолок:

По дороге из богатого села
Чистым полем молодая девка шла...
– Поет, – пробормотал хозяин, качая головой и усмехаясь. А Клещов заливается, как свирель:

Отвечает красна девица ему:
– Сирота я, не нужна я никому...
– Хорошо, – шепчет хозяин, мигая покрасневшими глазами, – ф-фу, черт... хорошо!

Я смотрю на него и радуюсь; а рыдающие слова песни, победив шум трактира, звучат всё сильнее, краше, задушевнее:

Нелюдимо на селе у нас живут,
Меня, девку, на вечорки не зовут,
Ой, бедна я да одета не к лицу,
Не годна я, знать, удалу молодцу...
Сватал вдовый, во работницу себе –
Не хочу я покориться той судьбе!..
Хозяин мой бесстыдно заплакал, – сидит, наклонив голову, и шмыгает горбатым носом, а на колени ему капаят слезы.

После третьей песни он сказал, взволнованный и словно измятый:

– Не могу больше сидеть тут – задыхаюсь, запахи же, чёрт... Едем домой!..

Но на улице он предложил:

– Айда, Пешков, в гостиницу, закусим и всё... Не хочется домой!..

Не торгуясь, сел в сани извозчика и всю дорогу молчал, а в гостинице, заняв столик в углу, сразу начал вполголоса, оглядываясь, сердито тоскуя:

– Разбередил меня этот козел... такую грусть нагнал... Нет, ты вот читаешь, рассуждаешь, а ты скажи – что за дьявольщина? Живешь, живешь, сорок лет прожито, жена, дети, а поговорить не с кем. Иной раз – так бы развернул душу, так бы заговорил обо всем, – а не с кем! С ней заговоришь, с женой – не доходит до нее... Да что – она? У ней – дети... ну, хозяйство, свое дело! Она моей душе чужая. Жена – друг до первого ребенка... как водится. Да она у меня, вообще... ну, ты сам видишь... ни в дудку, ни поплясать... неодушевленное мясо, чёрт вас возьми! Тоска, брат...

Он судорожно выпил холодное горькое пиво, помолчал, взбивая длинные волосы, и снова заговорил:

– Вообще, брат, люди – сволочь! Вот ты там с мужиками говоришь, то да се... я понимаю, очень много неправильного, подлого – верно, брат... Воры всё! А ты думаешь, твоя речь доходит? Ни перчинки! Да. Они – Петр, Осип – жулье! Они мне всё говорят – и как ты про меня выражаешься, и всё... Что, брат?

Я молчал, удивленный.

– То-то! – сказал хозяин, усмехаясь. – Ты правильно в Персию собирался, там хоть ничего не поймешь – чужой язык! А на своем языке – одни подлости!

– Осип рассказывает про меня? – спросил я.

– Ну да! А ты – что думал? Он больше всех говорит, болтун. Он, брат, хитрая штука... Нет, Пешков, слова не доходят. Правда? А на кой чёрт она? Это всё равно как снег осенью – упал на грязь и растаял. Грязи стало больше. Ты – лучше молчи...

Он пил пиво стакан за стаканом и, не пьянея, говорил всё более быстро, сердито:

– Пословица говорит: слово – не долото, а молчание – золото. Эх, брат, тоска, тоска... Верно он пел: «Нелюдимо на селе у нас живут». Сиротство человечье...

Оглянувшись, он понизил голос и сказал:

– Вот – нашел было я себе... сердечного друга – женщина тут одна встретилась, вдова, мужа у нее в Сибирь осудили за фальшивые деньги – сидит здесь, в остроге. Познакомился я с ней... денег у нее ни копейки, ну, она и того, знаешь... сводня меня познакомила с ней... Присматриваюсь – что за милый человек! Красавица, знаешь, молодая... просто – замечательно! Раз, два... потом я ей и говорю: как же это, говорю, муж у тебя – жулик, сама ты себя нечестно держишь – зачем же ты в Сибирь за ним? А она, видишь ли, за ним идет, на поселение, да-а... И вот она говорит мне: каков, говорит, он ни есть, а я его люблю, для меня он хорош! Может, он это из-за меня согрешил? А я с тобою грешу – для него, ему, говорит, деньги нужны, он – дворянин и привык жить хорошо. Кабы, говорит, я одна была, я бы жила честно. Вы, говорит, тоже хороший человек и нравитесь мне очень, но только не говорите со мной про это... Чёрт!.. Отдал я ей всё, что было с собой – восемьдесят рублей с чем-то, – и говорю: извините, говорю... я не могу больше с вами, не могу! Ушел, да – вот...

Помолчав и вдруг опьянев, опустившись, он пробормотал:

– Шесть раз был у нее... Ты не можешь понять, что это такое! Я, может быть, еще шесть раз к ее квартире подходил... войти – не решался... не мог! Теперь она – уехала...

Он положил руки на стол и шёпотом, двигая пальцами, сказал:

– Не дай бог опять встречу ее... не дай бог! Тогда – всё к чёрту! Идем домой... идем! Пошли; он пошатывался и ворчал:

– Вот как, брат...

Меня не удивила история, рассказанная им, – мне давно казалось, что с ним случится что-нибудь необычное.

Но я был очень подавлен всем, что он сказал о жизни, особенно его словами про Осипа.

XX

Три лета прожил я «десятником» в мертвом городе, среди пустых зданий, наблюдая, как рабочие осенью ломают неуклюжие каменные лавки, а весной строят такие же.

Хозяин очень заботился, чтобы я хорошо заработал его пять рублей. Если в лавке перестилали пол – я должен был выбрать со всей ее площади землю на аршин в глубину; босяки брали за эту работу рубль, я не получал ничего, но, занятый этой работой, я не успевал следить за плотниками, а они отвинчивали дверные замки, ручки, воровали разную мелочь.

И рабочие и подрядчики всячески старались обмануть меня, украсть что-нибудь, деля это почти открыто, как бы подчиняясь скучной обязанности, и нимало не сердились, когда я уличал их, но, не сердясь, удивлялись:

– Стараешься ты за пять-то целковых, как за двадцать, глядеть смешно!

Я указывал хозяину, что, выигрывая на моем труде рубль, он всегда теряет в десять раз больше, но он, подмигивая мне, говорил:

– Ладно, притворяйся!

Я понимал, что он подозревает меня в пособничестве воровству, это вызвало у меня чувство брезгливости к нему, но не обижало; таков порядок: все воруют, и сам хозяин тоже любит взять чужое.

Осматривая после ярмарки лавки, взятые им в ремонт, и увидав забытый самовар, посуду, ковер, ножницы, а иногда ящик или штуку товара, хозяин говорил, усмехаясь:

– Составь список вещей и снеси всё в кладовую!

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
А из кладовой он возил вещи домой к себе, заставляя меня по нескольку раз
переправлять опись их.

Я не люблю вещей, мне ничего не хотелось иметь, даже книги стесняли меня. У меня ничего не было, кроме маленького томика Беранже и песен Гейне; хотелось приобрести Пушкина, но единственный букинист города, злой старичок, требовал за Пушкина слишком много. Мебель, ковры, зеркала и всё, что загромождало квартиру хозяина, не нравилось мне, раздражая своей грузной неуклюжестью и запахами краски, лака; мне вообще не нравились комнаты хозяев, напоминая сундуки, набитые ненужным, излишним и было противно, что хозяин таскает из кладовой чужие вещи, всё увеличивая лишнее вокруг себя. В комнатах Королевы Марго было тоже тесно, но зато – красиво.

Жизнь вообще казалась мне бессвязной, нелепой, в ней было слишком много явно глупого. Вот мы перестраиваем лавки, а весной половодье затопит их, выпятит полы, исковеркает наружные двери; спадет вода – загниют балки. Из года в год на протяжении десятилетий вода заливает Ярмарку, портит здания, мостовые; эти ежегодные потопа приносят огромные убытки людям, и все знают, что потопа эти не устроятся сами собою.

Каждую весну ледоход срезает баржи, десятки мелких судов, – люди поохают и – строят новые суда, а ледоход снова ломает их. Что за нелепая толчея на одном и том же месте!

Я спрашиваю об этом Осипа, он удивляется и хохочет.

– Ах ты, цапля, гляди, как цапнул! Да тебе какое дело до этого до всего? Тебе-то что, а?

Но тут же говорит более серьезно, не угашая, однако, огонька насмешки в голубых, не по-старчески ясных глазах:

– Это ты дельно приметил! Положим, ни к чему оно тебе, а может, и годится! Ты вот еще что приметить...

И рассказывает сухонькими словами, щедро присыпая их прибаутками, неожиданными сравнениями и всяким балагурством:

– Вот – жалуются люди: земли мало, а Волга весной рвет берега, уносит землю, откладывает ее в русле своем мелью; тогда другие жалуются: Волга мелеет! Весенние потопа да летние дожди овраги роют, – опять же земля в реку идет!

Он говорит без жалости, без злобы, а как бы наслаждаясь своим знанием жалоб на жизнь, и хотя слова его согласно вторят моим мыслям, – мне неприятно слушать их.

– А еще приметить – пожары...

Я вспоминаю, что, кажется, не было лета, когда бы за Волгою не горели леса; каждый год в июле небо затянуто мутно-желтым дымом; багровое солнце, потеряв лучи, смотрит на землю, как больное око.

– Леса – пустое дело, – говорит Осип, – это имение барское, казенное; у мужика лесов нет. Города горят – это тоже не великое дело, – в городах живут богатые, их жалеть нечего! Ты возьми села, деревни, – сколько деревень за лето сгорит! Может – не меньше сотни, вот это – убыток!

Он тихонько смеется:

– Есть именье, да нет уменя! И выходит у тебя со мной, что будто не на себя человек работает, не на землю, а на огонь да воду!

– Что же ты смеешься?

– А что? Пожар слезой не потушишь, а половодье со слез мощней будет.

Я знаю, что этот благообразный старик – самый умный человек изо всех, кого я видел, но что же он любит, что ненавистно ему?

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
Я думаю об этом, а он продолжает подкладывать в мой костер сухие словечки.

– А ты погляди, как мало люди силу берегут, и свою и чужую, а? Как хозяин-то мотает тебя? А водочка чего стоит миру? Сосчитать невозможно, это выше всякого ученого ума... Изба сгорит – другую можно сбить, а вот когда хороший мужик пропадает зря – этого не поправишь! Ардальон, примерно, али бы Гриша – гляди, как мужик вспыхнул! Глуповатый он, а душевный мужик, Гриша-то! Дымит, как сноп соломы. Бабы-то напали на него, подобно червям на убитого в лесу.

Я спрашиваю его – безобидно, с любопытством:

– Зачем ты рассказываешь хозяину мои мысли?

Спокойно и даже ласково он объясняет:

– А чтоб он знал, какие у тебя вредные мысли; надо, чтоб он тебя учил; кому тебя поучить, кроме хозяина? Я не со зла говорю ему, а по моей жалости к тебе. Парнишко ты не глупый, а в башке у тебя бес мутит. Украдь – я смолчу, к девкам ходи – тоже смолчу, и выпьешь – не скажу! А про дерзости твои всегда передам хозяину, так и знай...

– Не буду я с тобой говорить!

Он помолчал, отковыривая ногтем смолу с ладони, потом, взглянув на меня ласковыми глазами, сказал:

– Врешь, будешь! С кем тебе еще говорить-то? И не скем...

Чистенький, аккуратный, Осип вдруг кажется мне похожим на кочегара Якова, равнодушного ко всему.

Иногда он напоминает начетчика Петра Васильева, иногда – извозчика Петра, порою в нем является что-то общее с дедом – он так или иначе похож на всех стариков, виденных мною. Все они были удивительно интересные старики, но я чувствовал, что жить с ними нельзя, – тяжело и противно. Они как бы выедают душу, их речи – умные речи, – покрывают сердце рыжею ржавчиною. Осип – добрый? Нет. Злой? Тоже нет. Он умный, вот что ясно мне. Но, удивляя своею гибкостью, этот ум мертвил меня, и в конце концов я стал чувствовать, что он мне всячески враждебен,

В душе моей вскипали черные мысли:

«Все люди – чужие друг другу, несмотря на ласковые слова и улыбки, да и на земле все – чужие; кажется, что никто не связан с нею крепким чувством любви. Одна только бабушка любит жить и всё любит. Бабушка и великолепная Королева Марго».

Иногда эти и подобные мысли сгущались темною тучей, жить становилось душно и тяжело, а – как жить иначе, куда идти? Даже говорить не с кем, кроме Оси-па. И я всё чаще говорил с ним.

Он выслушивал мою горячую болтовню с явным интересом, переспрашивал меня, чего-то добиваясь, и спокойно говорил:

– Упрям дятел, да не страшен, никто его не боится! Душевно я советую тебе: иди-ка ты в монастырь, поживешь там до возраста – будешь хорошей беседой богомоллов утешать, и будет тебе спокойно, а монахам – доход! Душевно советую. К мирским делам ты, видно, не способен, что ли...

В монастырь не хотелось, но я чувствовал, что запутался и верчусь в заколдованном круге непонятного. Было тоскливо. Жизнь стала похожа на осенний лес, – грибы уже сошли, делать в пустом лесу нечего, и кажется, что насквозь знаешь его.

Я не пил водки, не путался с девицами, – эти два вида опьянения души мне заменяли книги. Но чем больше я читал, тем более трудно было жить так пусто и ненужно, как, мне казалось, живут люди.

Мне только что минуло пятнадцать лет, но иногда я чувствовал себя пожилым человеком; я как-то внутренне разбух и отяжелел от всего, что пережил, прочитал,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru
о чем беспокойно думалось. Заглянув внутрь себя, я находил свое вместилище впечатлений подобным темному чулану, который тесно и кое-как набит разными вещами. Разобраться в них не было ни сил, ни умения.

И все тяжести, несмотря на их обилие, лежали непрочно, качались и пошатывали меня, как вода не крепко стоящий сосуд.

я брезгливо не любил несчастий, болезней, жалоб; когда я видел жестокое, – кровь, побои, даже словесное издевательство над человеком, – это вызывало у меня органическое отвращение; оно быстро перерождалось в какое-то холодное бешенство, и я сам дрался, как зверь, после чего мне становилось стыдно до боли.

Иногда так страстно хотелось избить мучителя-человека и я так слепо бросался в драку, что даже теперь вспоминаю об этих припадках отчаяния, рожденного бессилием, со стыдом и тоскою.

Во мне жило двое: один, узнав слишком много мерзости и грязи, несколько оробел от этого и, подавленный знанием буднично страшного, начинал относиться к жизни, к людям недоверчиво, подозрительно, с бессильной жалостью ко всем, а также к себе самому. Этот человек мечтал о тихой, одинокой жизни с книгами, без людей, о монастыре, лесной сторожке, железнодорожной будке, о Персии и должности ночного сторожа где-нибудь на окраине города. Поменьше людей, подальше от них...

Другой, крещенный святым духом честных и мудрых книг, наблюдая победную силу буднично страшного, чувствовал, как легко эта сила может оторвать ему голову, раздавить сердце грязной ступней, и напряжен но оборонялся, сцепив зубы, сжав кулаки, всегда готовый на всякий спор и бой. Этот любил и жалел деятельно и, как надлежало храброму герою французских романов, по третьему слову, выхватывая шпагу из ножен, становился в боевую позицию.

Был у меня в ту пору ядовитый враг, дворник одного из публичных домов Малой Покровской улицы. Я познакомился с ним однажды утром, идя на Ярмарку; он стаскивал у ворот дома с пролетки извозчика бесчувственно пьяную девицу; схватив ее за ноги в сбившихся чулках, обнажив до пояса, он бесстыдно дергал ее, ухая и смеясь, плевал на тело ей, а она, съезжая толчками с пролетки, измятая, слепая, с открытым ртом, закинув за голову мягкие и словно вывихнутые руки, стучалась спиною, затылком и синим лицом о сиденье пролетки, о подножку, наконец упала на мостовую, ударившись головою о камни.

Извозчик, хлестнув лошадь, поехал прочь, а дворник впрягся в ноги девицы и, пятясь задом, поволок ее на тротуар, как мертвую. Я обезумел, побежал и, на мое счастье, на бегу, сам бросил или нечаянно уронил саженный ватерпас, что спасло дворника и меня от крупной неприятности. Ударив его с разбегу, я опрокинул дворника, вскочил на крыльцо, отчаянно задергал ручку звонка; выбежали какие-то дикие люди, я не мог ничего объяснить им и ушел, подняв ватерпас.

У съезда догнал извозчика; он, поглядев на меня с высоты козел, одобрительно сказал:

– Ловко ты его двинул!

Я сердито спросил его: как же это он позволил дворнику издеваться над девицей, – он сказал спокойно, брезгливо;

– А мне – пес их возьми! Мне господа заплатили, когда сажали ее в пролетку, – какое мне дело, кто кого бьет?

– А убили бы ее?

– Ну да – скоро убьешь этакую, – сказал извозчик так, как будто он неоднократно пробовал убивать пьяных девиц.

С того дня я почти каждое утро видел дворника; иду по улице, а он метет мостовую или сидит на крыльце, как бы поджидая меня. Я подхожу к нему, он встает, засучивая рукава, и предупредительно извещает:

– Ну, сейчас я тебя обломаю!

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Ему было лет за сорок; маленький, кривоногий, с животом беременной женщины, он, усмехаясь, смотрел на меня лучистыми глазами, и было до ужаса странно видеть, что глаза у него – добрые, веселые. Драться он не умел, да и руки у него были короче моих, – после двух-трех схваток он уступал мне, прижимался спиной к воротам и говорил удивленно:

– Ну, погоди же, хват!..

Эти сражения надоели мне, и я сказал ему однажды:

– Послушай, дурак, отвяжись ты от меня, пожалуйста!

– А ты зачем бьешься? – спросил он укоризненно.

Я тоже спросил его, зачем он так гадко издевался над девицей.

– А тебе что? Жалко ее?

– Жалко, конечно.

Он помолчал, вытер губы и спросил:

– А кошку жалко тебе?

– Ну, и кошку жалко...

Тогда он сказал мне:

– Ты сам дурак, жулик! Погоди, я те покажу...

Я не мог не ходить по этой улице – это был самый краткий путь. Но я стал вставать раньше, чтобы не встречаться с этим человеком, и все-таки через несколько дней увидел его – он сидел на крыльце и гладил дымчатую кошку, лежавшую на коленях у него, а когда я подошел к нему шага на три, он, вскочив, схватил кошку за ноги и с размаху ударил ее головой о тумбу, так что на меня брызнуло теплым, – ударил, бросил кошку под ноги мне и встал в калитку, спрашивая:

– Что?

Ну, что же тут делать! Мы катались по двору, как два пса; а потом, сидя в бурьяне съезда, обезумев от невыразимой тоски, я кусал губы, чтобы не реветь, не орать. Вот вспоминаешь об этом и, содрогаясь в мучительном отвращении, удивляешься – как я не сошел с ума, не убил никого?

Зачем я рассказываю эти мерзости? А чтобы вы знали, милостивые государи, – это ведь не прошло, не прошло! Вам нравятся страхи выдуманные, нравятся ужасы, красиво рассказанные, фантастически страшное приятно волнует вас. А я вот знаю действительно страшное, буднично ужасное, и за мною неотрицаемое право неприятно волновать вас рассказами о нем, дабы вы вспомнили, как живете и в чем живете.

Подлой и грязной жизнью живем все мы, вот в чем дело!

Я очень люблю людей и не хотел бы никого мучить, но нельзя быть сентиментальным и нельзя скрывать грозную правду в пестрых словечках красивенькой лжи. К жизни, к жизни! Надо растворить в ней всё, что есть хорошего, человеческого в наших сердцах и мозгах.

...Меня особенно сводило с ума отношение к женщине; начитавшись романов, я смотрел на женщину как на самое лучшее и значительное в жизни. В этом утверждали меня бабушка, ее рассказы о богородице и Василисе Премудрой, несчастная прачка Наталья и те сотни, тысячи замеченных мною взглядов, улыбок, которыми женщины, матери жизни, украшают ее, эту жизнь, бедную радостями, бедную любовью.

Славу женщине пели книги Тургенева, и всем, что я знал хорошего о женщинах, я украшал памятный мне образ Королевы – Гейне и Тургенев особенно много давали драгоценностей для этого.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Возвращаясь вечером с Ярмарки, я останавливался на горе, у стены кремля, и смотрел, как за Волгой опускается солнце, текут в небесах огненные реки, багровеет и синееет земная, любимая река. Иногда в такие минуты вся земля казалась огромной арестантской баржей; она похожа на свинью, и ее лениво тащит куда-то невидимый пароход.

Но чаще думалось о величине земли, о городах, известных мне по книгам, о чужих странах, где живут иначе. В книгах иноземных писателей жизнь рисовалась чище, милее, менее трудной, чем та, которая медленно и однообразно кипела вокруг меня. Это успокаивало мою тревогу, возбуждая упрямые мечты о возможности другой жизни.

И всё казалось, что вот я встречу какого-то простого, мудрого человека, который выведет меня на широкий, ясный путь.

Однажды, когда я сидел на скамье под стеною кремля, рядом со мною очутился дядя Яков. Я не заметил, как он подошел, и не сразу узнал его; хотя в течение нескольких лет мы жили в одном городе, но встречались редко, случайно и мельком.

– Эк тебя вытянуло, – шутливо сказал он, толкнув меня, и мы стали разговаривать, как чужие, но давно знакомые люди.

По рассказам бабушки я знал, что за эти годы дядя Яков окончательно разорился, всё прожил, прогулял, служил помощником смотрителя на этапном дворе, но служба кончилась плохо, смотритель заболел, а дядя Яков начал устраивать в квартире у себя веселые пиры для арестантов. Это стало известно, его лишили места и отдали под суд, обвиняя в том, что он выпускал арестантов по ночам в город «погулять». Никто из арестантов не убежал, но один был пойман как раз в ту минуту, когда он усердно душил какого-то дьякона. Долго тянулось следствие, однако до суда дело не дошло, – арестанты и надзиратели сумели выгородить доброго дядю из этой истории. Теперь он жил без работы, на средства сына, который пел в церковном хоре Рукавишникова, знаменитом в то время. О сыне он говорил странно:

– Он у меня серьезный стал, важный! Солист. Не успеешь вовремя самовар подать али одежду вычистить – сердится! Аккуратный парень. И чистоplotен...

Сам дядя сильно постарел, весь загрязнился, облез и обмяк. Его веселые кудри сильно поредели, уши оттопырились, на белках глаз и в сафьяновой коже бритых щек явилась густая сеть красных жилок. Говорил он шутливо, но казалось, что во рту у него что-то лежит и мешает языку, хотя зубы его были целы.

Я обрадовался возможности поговорить с человеком, который умел жить весело, много видел и много должен знать. Мне ярко вспомнились его бойкие, смешные песни, и прозвучали в памяти дедовы слова о нем:

«По песням – царь Давид, а по делам – Авессалом ядовит!»

По бульвару мимо нас ходила чистая публика: пышные барыни, чиновники, офицеры; дядя был одет в потертое осеннее пальто, измятый картуз, рыженькие сапоги и ежился, видимо, стесняясь своим костюмом. Мы ушли в один из трактиров Почаинского оврага и заняли место у окна, открытого на рынок.

– Помните, как вы пели:

Нищий вывесил онучи сушить,
А другой нищий онучи украл...
Когда я произнес слова песни, я вдруг и впервые почувствовал ее насмешливый смысл, и мне показалось, что веселый дядя зол и умен.

Но он, наливая водку в рюмку, задумчиво сказал:

– Да, пожил я, почудил, а – мало! Песня эта – не моя, ее составил один учитель семинарии, как, бишь, его звали, покойника? Забыл. Жили мы с ним приятелями. Холостой. Спился и – помер, обморозился. Сколько народу спилось на моей памяти – сосчитать трудно! Ты не пьешь? Не пей, погоди. Дедушку часто видишь? Невеселый старичок. С ума будто сходит.

Выпив, он оживился, расправился, помолодел и стал говорить бойчее.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
Я спросил его про историю с арестантами.

– Ты слышал? – осведомился он, оглянувшись, и, понизив голос, заговорил:

– Что ж, арестанты? Я ведь не судья им. Вижу – люди, как люди, и говорю: братцы, давайте жить дружно, давайте весело жить; есть, говорю, такая песня:

Судьба веселью не помеха!

Пускай она в дугу нас гнет,
Мы будем жить для ради смеха,
Дурак, кто иначе живет!..

Он засмеялся, взглянул в окно на потемневший овраг, уставленный по дну торговыми ларями, и продолжал, поправляя усы:

– Они, конечно, рады, скучно в тюрьме-то. Ну, вот, кончим проверку, сейчас – ко мне; водка, закуска; когда – от меня, когда – от них, и – закачалась, заиграла матушка Русь! Я люблю песни, пляску, а между ними – отличные певцы и плясуны, до удивления! Иной – в кандалах; ну, а в них не спляшешь, так я разрешал снимать кандалы, это правда. Они, положим, сами умеют снять, без кузнеца, ловкий народ, до удивления! А что я их в город на грабеж выпускал – ерунда, это даже не доказано осталось...

Он замолчал и посмотрел в окно, в овраг, где старьевщики запирали свои лари; там гремело железо засовов, визжали ржавые петли, падали какие-то доски, гулко хлопая. Потом, весело подмигнув мне, негромко продолжал:

– Если правду говорить, так один действительно уходил по ночам, только это не кандалник, а просто вор здешний, нижегородский; у него неподалеку, на Печор-ке, любовница жила. Да и с дьяконом случилась история по ошибке: за купца приняли дьякона. Дело было зимой, ночь, выюга, все люди – в шубах, разбери-ка второпях-то, кто купец, кто дьякон?

Это мне показалось смешным, он тоже засмеялся, говоря:

– Да ей-богу! Чёрт их разберет...

Тут дядя неожиданно и странно легко рассердился, оттолкнул тарелку с закуской, брезгливо сморщил лицо и, закурив папиросу, пробормотал глухо:

– Воруют друг у друга, потом друг друга ловят, в тюрьмы прячут, в Сибирь, в каторгу, ну, а я тут при чем? Наплевать мне на всех... У меня – своя душа!

Преодо мною встал мохнатый кочегар – он тоже часто говорил «наплевать». И звали его Яковом.

– Ты о чем думаешь? – мягко спросил дядя.

– Жалко вам было арестантов?

– Их легко пожалеть, такие есть ребята, до удивления! Иногда смотришь и думаешь: а ведь я ему в подметки не гожусь, хоть и начальник над ним! Умные, черти, ловкие...

Вино и воспоминания снова приятно возбудили его; облокотясь о подоконник, помахивая желтой рукою с окурком между пальцев, он оживленно заговорил:

– Один, кривой, гравер и часовых дел мастер, за фальшивые деньги судился и бежал, так послушал бы ты, как он говорил! Огонь! Просто поет, как солист. Объясните, говорит, почему казна может печатать деньги, а я – не могу? Объясните! Никто не может объяснить ему это. Никто, и я тоже не могу. А я – начальник над ним! Другой – знаменитый московский вор, тихонький такой, щеголь, чистюля – тот вежливо говорил: люди, говорит, работают до отупения, а я этого не хочу. Я, говорит, это испытал: работаешь, работаешь, станешь с устатку дураком, на грош напьешься, семишник в карты проиграешь, пятачок бабе за ласку, потом – снова голоден, беден. Нет, говорит, я в эту игру не играю...

Дядя Яков наклонился к столу и продолжал, покраснев до макушки, возбужденный так, что даже его маленькие уши вздрагивали:

– Они, брат, не дураки, они правильно судят! Ну ее к чёрту, всю эту канитель. Например: как я жил? Вспомнить стыдно – всё урывками, украдкой, горе – свое, а веселье – краденое! То отец кричит – не смей, то жена – не моги, то, бывало, сам боишься целковому голову свернуть. Вот и прозевал жизнь, а на старости лет сыну своему лакеем служу. Что скрывать? Служу, брат, смиреннько, а он на меня покрикивает барином этаким. Говорит – отец, а я слышу – лакей! Что же я, для этого родился, для этого мотался, чтобы сыну служить? Да хоть бы и не было этого, – зачем жил, много ли удовольствия получено мною?

Я слушал его невнимательно. Неохотно и не надеясь на ответ, все-таки сказал:

– Я вот тоже не знаю, как мне жить...

Он усмехнулся.

– Ну... Кто это знает? Не видал я таких, чтобы знали! Так, живут люди, кто к чему привык...

И снова заговорил обиженно и сердито:

– Был у меня, за насилие, один человек из Орла, дворянин, отличнейший плясун, так он, бывало, всех смешил, пел про Ваньку:

Ходит Ванька по погосту –

Это – очень просто!

Ах ты, Ванька, высунь нос-то

Подальше погоста!..

Так я думаю, что это вовсе не смешно, а – правда! Как ни вертись, дальше погоста не заглянешь. А тогда – мне всё равно: арестантом жить али зрителем над арестантами...

Он устал говорить, выпил водку и заглянул по-птичь, одним глазом, в пустой графин, молча закурил еще папиросу, пуская дым в усы.

«Как ни бейся, на что ни надейся, а гроба да погоста никому не миновать стать», – нередко говаривал каменщик Петр совершенно непохожий на дядю Якова.

Сколько уже знал я таких и подобных поговорок!

Больше ни о чем не хотелось спрашивать дядю. Грустно было с ним, и жалко было его; всё вспоминались бойкие песни и этот звон гитары, сочившийся радостью сквозь мягкую грусть. Не забыл я и веселого Цыгана, не забыл и, глядя на измятую фигуру дяди Якова, думал невольно: «Помнит ли он, как задавили Цыгана крестом?»

Не хотелось спросить об этом.

Я смотрел в овраг, до краев налитый сыроватой августовской тьмою. Из оврага поднимался запах яблок и дынь. По узкому въезду в город вспыхивали фонари, всё было насквозь знакомо. Вот сейчас загудит пароход на Рыбинск и другой – в Пермь...

– Однако надо идти, – сказал дядя.

У двери трактира, встряхивая мою руку, он шутливо посоветовал:

– Ты не хандри; ты как будто хандришь, а? Плюнь! Ты молоденький еще. Главное, помни: «Судьба – веселью не помеха»! Ну, прощай, мне – к Успенью!

Веселый дядя ушел, оставив меня еще более запутанным его речами.

Я поднялся в город, вышел в поле. Было полнолуние, по небу плыли тяжелые облака, стирая с земли черными тенями мою тень. Обойдя город полем, я пришел к Волге, на Откос, лег там на пыльную траву и долго смотрел за реку, в луга, на эту неподвижную землю. Через Волгу медленно тащились тени облаков; перевалив в луга, они становятся светлее, точно омылись водою реки. Всё вокруг полуспит, всё так приглушено, всё движется как-то неохотно, по тяжкой необходимости, а не по пламенной любви к движению, к жизни.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyuma
И так хочется дать хороший пинок всей земле и себе самому, чтобы всё – и сам я –
завертелось радостным вихрем, праздничной пляской людей, влюбленных друг в
друга, в эту жизнь, начатую ради другой жизни – красивой, бодрой, честной...

Думалось: «надобно что-нибудь делать с собой, а то – пропаду...»

Хмурыми осенними днями, когда не только не видишь, но и не чувствуешь солнца, забываешь о нем, – осенними днями не однажды случалось плутать в лесу. Собыешься с дороги, потеряешь все тропы, наконец, устав искать их, стиснешь зубы и пойдешь прямо чащей, по гнилому валежнику, по зыбким кочкам болота – в конце концов всегда выйдешь на дорогу!

Так я и решил.

Осенью этого года я уехал в Казань, тайно надеясь, что, может быть, пристроюсь там учиться.

1915–1916 гг.

Мои университеты

Итак – я еду учиться в казанский университет, не менее этого.

Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю «исключительными способностями к науке».

– Вы созданы природой для служения науке, – говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос.

Я тогда ещё не знал, что науке можно служить в роли кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне: университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам «кое-какие» экзамены – он так и говорил: «кое-какие», – в университете мне дадут казённую стипендию, и лет через пять я буду «учёным». Всё – очень просто, потому что Евреинову было девятнадцать лет и он обладал добрым сердцем.

Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через две и я отправился вслед за ним.

Провожая меня, бабушка советовала:

– Ты – не сердись на людей, ты сердись всё, строг и заносчив стал! Это – от деда у тебя, а – что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты – одно помни: не бог людей судит, это – чорту лестно! Прощай, ну...

И, отирая с бурых, дряблых щёк скупые слёзы, она сказала:

– Уж не увидимся больше, заедешь ты, непоседа, далеко, а я – помру...

За последнее время я отошёл от милой старухи и даже редко видел её, а тут, вдруг, с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне.

Стоял на корме парохода и смотрел, как она там, у борта пристани, крестится одной рукою, а другой – концом старенькой шали – оттирает лицо своё, тёмные глаза, полные сияния неистребимой любви к людям.

И вот я в полутатарском городе, в тесной квартире одноэтажного дома. Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы, одна из его стен выходила на пустырь пожарища, на пустыре густо разрослись сорные травы, в зарослях полыни, репейника и конского щавеля, в кустах бузины возвышались развалины кирпичного здания, под развалинами – обширный подвал, в нём жили и умирали бездомные собаки. Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Еврейновы – мать и два сына – жили на нищенскую пенсию. В первые же дни я увидел, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трёх здоровых парней, не считая себя самоё?

Была она молчалива; в её серых глазах застыло безнадежное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои: тащит лошадка воз в гору и знает – не вывезу, – а всё-таки везёт!

Дня через три после моего приезда, утром, когда дети ещё спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она тихонько и осторожно спросила меня:

– Вы зачем приехали?

– Учиться, в университет.

Её брови поползли вверх вместе с жёлтой кожей лба, она порезала ножом палец себе и, высасывая кровь, опустилась на стул, но, тотчас же вскочив, сказала:

– О, черт...

Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня:

– Вы хорошо умеете чистить картофель.

Ну, ещё бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила:

– Вы думаете – этого достаточно, чтоб поступить в университет?

В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнёсся к её вопросу серьёзно и рассказал ей порядок действий, в конце которого предо мною должны открыться двери храма науки.

Она вздохнула:

– Ах, Николай, Николай...

А он, в эту минуту, вошёл в кухню мыться, заспанный, взлохмаченный и, как всегда, весёлый.

– Мама, хорошо бы пельмени сделать!

– Да, хорошо, – согласилась мать.

Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мясо – плохо, да и мало его.

Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучок моркови, а Николай, подмигнув мне, объяснил её поведение словами:

– Не в духе...

Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины вообще нервнее мужчин, таково свойство их природы, это неоспоримо доказано одним солидным учёным, кажется – швейцарцем. Джон Стюарт Милль, англичанин, тоже говорил кое-что по этому поводу.

Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно, затем Фукс, Ларошфуко и Ларошжаклен сливались у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить, кто кому отрубил голову: Лавуазье – Дюмурье, или – наоборот? Славный юноша искренно желал «сделать меня человеком», он уверенно обещал мне это, но – у него не было времени и всех остальных условий для того, чтоб серьёзно заняться мною. Эгоизм и легкомыслие юности не позволяли ему видеть, с каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство, ещё менее чувствовал это его брат, тяжёлый, молчаливый гимназист. А мне уже давно и

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyuma
тонко были известны сложные фокусы химии и экономии кухни, я хорошо видел изворотливость женщины, принуждённой ежедневно обманывать желудки своих детей и кормить приبلудного парня неприятной наружности, дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне. Я начал искать какой-либо работы. С утра уходил из дома, чтоб не обедать, а в дурную погоду – отсиживался на пустыре, в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет – фантазия и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашёл способ выращивать хлебные зерна объёмом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать не мало благодетелей для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не только мне одному.

Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные дни жизни, а так как дней этих было много, – я всё более изощрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство, и чем труднее слагались условия жизни – тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создаёт его сопротивление окружающей среде.

Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где легко можно было заработать пятнадцать – двадцать копеек. Там, среди грузчиков, босяков, жуликов, я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскалённые угли, – каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголённо жадные, люди грубых инстинктов, – мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Всё, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Брет-Гарт и огромное количество «бульварных» романов, прочитанных мною, ещё более возбуждали мои симпатии к этой среде.

Профессиональный вор Башкин, бывший ученик учительского института, жестоко битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне:

– Что ты, как девушка, ёжишься, али честь потерять боязно? Девке честь – всё её достояние, а тебе – только хомут. Честен бык, так он – сеном сыт!

Рыженький, бритый, точно актёр, ловкими, мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котёнка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг, более всех ему нравился «Граф Монте-Кристо».

– В этой книге есть и цель и сердце, – говорил он.

Любил женщин и рассказывал о них, вкусно чмокая, с восторгом, с какой-то судорогой в разбитом теле; в этой судороге было что-то болезненное, она возбуждала у меня брезгливое чувство, но речи его я слушал внимательно, чувствуя их красоту.

– Баба, баба! – выпевал он, и жёлтая кожа его лица разгоралась румянцем, тёмные глаза сияли восхищением. – Ради бабы я – на всё пойду. Для неё, как для чорта, – нет греха! Живи влюблён, лучше этого ничего не придумано!

Он был талантливый рассказчик и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви, его песни распевались во всех городах Волги, и – между прочими – ему принадлежит широко распространённая песня:

Не красива я, бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берёт
Девушку за это...

Хорошо относился ко мне тёмный человек Трусков, благообразный, щеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта. Он имел в Адмиралтейской слободе лавочку с вывеской «Часовых дел мастер», но занимался сбытом краденого.

– Ты, Пешков, к воровским шалостям не приучайся! – говорил он мне, солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищуривая хитрые и дерзкие глаза. – Я вижу: у тебя иной путь, ты человек духовный.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– что значит – духовный?

– А – в котором зависти нет ни к чему, только любопытство...

Это было неверно по отношению ко мне, завидовал я много и многому; между прочим, зависть мою возбуждала способность Башкина говорить каким-то особенным, стихоподобным ладом с неожиданными уподоблениями и оборотами слов. Вспоминаю начало его повести об одном любовном приключении:

«Мутноокой ночью сижу я – как сыч в дупле – в номерах, в нищем городе Свияжске, а – осень, октябрь, ленивенько дождь идёт, ветер дышит, точно обиженный татарин песню тянет; без конца песня: о-о-о-у-у-у...

...И вот пришла она, лёгкая, розовая, как облако на восходе солнца, а в глазах – обманная чистота души. «Милый, – говорит честным голосом, – не виновата я против тебя». Знаю – врёт, а верю – правда! Умом – твёрдо знаю, сердцем – не верю, никак!»

Рассказывая, он ритмически покачивался, прикрывал глаза и часто мягким жестом касался груди своей против сердца.

Голос у него был глухой, тусклый, а слова – яркие, и что-то соловьиное пело в них.

Завидовал я Трусову, – этот человек удивительно интересно говорил о Сибири, Хиве, Бухаре, смешно и очень зло о жизни архиереев, а однажды таинственно сказал о царе Александре III:

– Этот царь в своём деле мастер!

Трусов казался мне одним из тех «злодеев», которые в конце романа – неожиданно для читателя – становятся великодушными героями.

Иногда, в душные ночи, эти люди переправлялись через речку Казанку, в луга, в кусты, и там пили, ели, беседуя о своих делах, но чаще – о сложности жизни, о странной путанице человеческих отношений, особенно много о женщинах. О них говорилось с озлоблением, с грустью, иногда – трогательно и почти всегда с таким чувством, как будто заглядывая во тьму, полную жутких неожиданностей. Я прожил с ними две, три ночи под тёмным небом с тусклыми звёздами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника. Во тьме, влажной от близости Волги, ползли во все стороны золотыми пауками огни мачтовых фонарей, в чёрную массу горного берега вкраплены огненные комья и жилы – это светятся окна трактиров и домов богатого села Услон. Глухо бьют по воде плечи колёс пароходов, надсадно, волками воеют матросы на караване барж, где-то бьёт молот по железу, заунывно тянется песня, – тихонько тлеет чья-то душа, – от песни на сердце пеплом ложится грусть.

И ещё грустнее слушать тихо скользящие речи людей, – люди задумались о жизни и говорят каждый о своём, почти не слушая друг друга. Сидя или лёжа под кустами, они курят папиросы, изредка – не жадно – пьют водку, пиво и идут куда-то назад, по пути воспоминаний.

– А вот со мной был случай, – говорит кто-то, придавленный к земле ночною тьмой.

Выслушав рассказ, люди соглашаются:

– Бывает и так, – всё бывает...

«Было», «бывает», «бывало» – слышу я, и мне кажется, что в эту ночь люди пришли к последним часам своей жизни, – всё уже было, больше ничего не будет!

Это отводило меня в сторону от Башкина и Трусова, но всё-таки – нравились мне они, и по всей логике испытанного мною было бы вполне естественно, если б я пошёл с ними. Оскорблённая надежда подняться вверх, начать учиться – тоже толкала меня к ним. В часы голода, злости и тоски я чувствовал себя вполне способным на преступление не только против «священного института собственности». Однако романтизм юности помешал мне свернуть с дороги, идти по которой я был обречён. Кроме гуманного Брет-Гарта и бульварных романов, я уже прочитал немало серьёзных книг, – они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
значительному, чем всё, что я видел.

И в то же время у меня зародились новые знакомства, новые впечатления. На пустырь, рядом с квартирой Евреинова, собирались гимназисты играть в городки, и меня очаровал один из них – Гурий Плетнёв. Смуглый, синеволосый, как японец, с лицом в мелких чёрных точках, точно натёртым порохом, неугасимо весёлый, ловкий в играх, остроумный в беседе, он был насыщен зародышами разнообразных талантов. И, как почти все талантливые русские люди, он жил на средства, данные ему природой, не стремясь усилить и развить их. Обладая тонким слухом и великолепным чутьём музыки, любя её, он артистически играл на гусях, балалайке, гармонике, не пытаясь овладеть инструментом более благородным и трудным. Был он беден, одевался плохо, но его удалству, бойким движениям жилистого тела, широким жестам очень отвечали: измятая, рваная рубаха, штаны в заплатках и дырявые, стоптанные сапоги.

Он был похож на человека, который после длительной и трудной болезни только что встал на ноги, или похож был на узника, вчера выпущенного из тюрьмы, – всё в жизни было для него ново, приятно, всё возбуждало в нём шумное веселье – он прыгал по земле, как ракета-шутиха.

Узнав, как мне трудно и опасно жить, он предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя. И вот я живу в странной, весёлой трущобе – «Марусовке», вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоёванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя. Плетнёв помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна: стол, стул, и это – всё. Три двери выходили в коридор, за двумя жили проститутки, за третьей – чахоточный математик из семинаристов, длинный, тощий, почти страшный человек, обросший жёсткой рыжеватой шерстью, едва прикрытый грязным тряпьем; сквозь дыры тряпок жутко светилась синеватая кожа и рёбра скелета.

Он питался, кажется, только собственными ногтями, объедая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно кашлял глухо бухающими звуками. Проститутки боялись его, считая безумным, но, из жалости, подкладывали к его двери хлеб, чай и сахар, он поднимал с пола свёртки и уносил к себе, всхрапывая, как усталая лошадь. Если же они забывали или не могли почему-либо принести ему свои дары он, открывая дверь, хрипел в коридор:

– Хлеба!

В его глазах, провалившихся в тёмные ямы, сверкала гордость маниака, счастливого сознанием своего величия. Изредка к нему приходил маленький горбатый уродец с вывернутой ногою, в сильных очках на распухшем носу, седоволосый, с хитрой улыбкой на жёлтом лице скопца. Они плотно прикрывали дверь и часами сидели молча, в странной тишине. Только однажды, поздно ночью, меня разбудил хриплый яростный крик математика:

– А я говорю – тюрьма! Геометрия – клетка, да! Мышеловка, да! Тюрьма!

Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а математик вдруг заревел:

– К чорту! Вон!

Когда его гость выкатился в коридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетающуюся, – математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки своей в спутанные волосы на голове, хрипел:

– Эвклид – дурак! Дур-рак... Я докажу, что бог умнее грека!

И хлопнул дверью настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало.

Вскоре я узнал, что человек этот хочет – исходя от математики – доказать бытие бога, но он умер раньше, чем успел сделать это.

Плетнёв работал в типографии ночным корректором газеты, зарабатывая одиннадцать копеек в ночь, и, если я не успевал заработать, мы жили, потребляя в сутки

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
четыре фунта хлеба, на две копейки чая и на три сахара. А у меня не хватало времени для работы, – нужно было учиться. Я преодолевал науки с величайшим трудом, особенно угнетала меня грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами, я совершенно не умел втискивать в них живой и трудный, капризно гибкий русский язык. Но скоро, к удовольствию моему, оказалось, что я начал учиться «слишком рано» и что, даже сдав экзамены на сельского учителя, не получил бы места – по возрасту.

Плетнёв и я спали на одной и той же койке, я – ночами, он – днём. Измятый бессонной ночью, с лицом ещё более потемневшим и воспалёнными глазами, он приходил рано утром, я тотчас бежал в трактир за кипятком, самовара у нас, конечно, не было. Потом, сидя у окна, мы пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика-фельетониста Красное Домино и удивлял меня шутливым отношением к жизни, – мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводне.

У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за «квартиру» ему было нечем, и он платил весёлыми шутками, игрою на гармонике, трогательными песнями; когда он, тенорком, напевал их, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой оперы, она понимала толк в песнях, и нередко из её нахальных глаз на пухлые, сизые щёки пьяницы и обжоры обильно катились мелкие слезинки, она сгоняла их с кожи щёк жирными пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком.

– Ах, Гурочка, – вздыхая, говорила она, – артист вы! И будь вы чуточку покрасивше – устроила бы я вам судьбу! Уж сколько я молодых юношей пристроила к женщинам, у которых сердце сучает в одинокой жизни!

Один из таких «юношев» жил тут же, над нами. Это был студент, сын рабочего-скорняка, парень среднего роста, широкогрудый, с уродливо узкими бёдрами, похожий на треугольник острым углом вниз, угол этот немного отломлен, – ступни ног студента маленькие, точно у женщины. И голова его, глубоко всаженная в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих волос, а на белом, бескровном лице угрюмо тарасились выпуклые, зеленоватые глаза.

С великим трудом, голодая, как бездомная собака, он, вопреки воле отца, исхитрился кончить гимназию и поступить в университет, но у него обнаружился глубокий, мягкий бас, и нему захотелось учиться пению.

Галкина поймала его на этом и пристроила к богатой купчихе лет сорока, сын её был уже студент на третьем курсе, дочь – кончала учиться в гимназии. Купчиха была женщина тощая, плоская, прямая, как солдат, сухое лицо монахини-аскетки, большие серые глаза, скрытые в тёмных ямах, одета она в чёрное платье, в шёлковую старомодную головку, в её ушах дрожат серьги с камнями ядовито-зелёного цвета.

Иногда, вечерами или рано по утрам, она приходила к своему студенту, и я не раз наблюдал, как эта женщина, точно прыгнув в ворота, шла по двору решительным шагом. Лицо её казалось страшным, губы так плотно сжаты, что почти не видны, глаза широко открыты, обречённо, тоскливо смотрят вперёд, но – кажется, что она слепая. Нельзя было сказать, что она уродлива, но в ней ясно чувствовалось напряжение, уродующее её, как бы растягивая её тело и до боли сжимая лицо.

– Смотри, – сказал Плетнёв, – точно безумная!

Студент ненавидел купчиху, прятался от неё, а она преследовала его, точно безжалостный кредитор или шпион.

– Сконфуженный человек я, – каялся он, выпивши. – И – зачем надо мне петь? С такой рожей и фигурой – не пустят меня на сцену, не пустят!

– Прекрати эту канитель! – советовал Плетнёв.

– Да. Но жалко мне её! Не выношу, а – жалко! Если бы вы знали, как она – эх...

Мы – знали, потому что слышали, как эта женщина, стоя на лестнице, ночью, умоляла глухим, вздрагивающим голосом:

– Христа ради... голубчик, ну – Христа ради!

Она была хозяйкой большого завода, имела дома, лошадей, давала тысячи денег на акушерские курсы и, как нищая, просила милостыню ласки.

После чая Плетнёв ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или варёной «требухи», мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой.

Оставаясь один, я бродил по коридорам и закоулкам «Марусовки», присматриваясь, как живут новые для меня люди. Дом был очень набит ими и похож на муравьиную кучу. В нём стояли какие-то кислые, едкие запахи и всюду по углам прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи он гудел; непрерывно трещали машины швеек, хористки оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гаммы студент, громко декламировал спившийся, полубезумный актёр, истерически орал похмелевшие проститутки, и – возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос:

«Зачем всё это?»

Среди голодной молодёжи бестолково болтался рыжий, плешивый, скуластый человек с большим животом, на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади, – за эти зубы прозвали его Рыжий Конь. Он третий год судился с какими-то родственниками, симбирскими купцами, и заявлял всем и каждому:

– Жив быть не хочу, а – разорю их вдребезг! Нищими по миру пойдут, три года будут милостыней жить, – после того я им ворочу всё, что отсужу у них, всё отдам и спрошу: «Что, черти? То-то!»

– Это – цель твоей жизни, Конь? – спрашивали его.

– Весь я, всей душой нацелился на это и больше ничего делать не могу!

Он целые дни торчал в окружном суде, в палате, у своего адвоката, часто, вечерами, привозил на извозчике множество кульков, свёртков, бутылок и устраивал у себя, в грязной комнате с провисшим потолком и кривым полом, шумные пиры, приглашая студентов, швеек – всех, кто хотел сытно поесть и немножко выпить. Сам Рыжий Конь пил только ром, напиток, от которого на скатерти, платье и даже на полу оставались несмываемые тёмнорыжие пятна, – выпив, он завывал:

– Милые вы мои птицы! Люблю вас – честный вы народ! А я – злой подлец и кр-рокодил, – желаю погубить родственников и – погублю! Ей-богу! Жив быть не хочу, а...

Глаза Коня жалобно мигали, и нелепое, скуластое лицо орошалось пьяными слезами, он стирал их со щёк ладонью и размазывал по коленям, – шаровары его всегда были в масляных пятнах.

– Как вы живёте? – кричал он. – Голод, холод, одежда плохая, – разве это – закон? Чему в такой жизни научиться можно? Эх, кабы государь знал, как вы живёте...

И, выхватив из кармана пачку разноцветных кредиток, предлагал:

– Кому денег надо? Берите, братцы!

Хористки и швейки жадно вырывали деньги из его мохнатой руки, он хохотал, говоря:

– Да это – не вам! Это – студентам.

Но студенты денег не брали.

– К черту деньги! – сердито кричал сын скорняка.

Он сам однажды, пьяный, принёс Плетнёву пачку десятирублёвок, смятых в твёрдый ком, и сказал, бросив их на стол:

– Вот – надо? Мне – не надо..

Лёг на койку нашу и зарычал, зарыдал, так что пришлось отпаивать и отливать его водою. Когда он уснул, Плетнёв попытался разглядить деньги, но это оказалось невозможно – они были так туго сжаты, что надо было смочить их водою, чтоб отделить одну от другой.

В дымной, грязной комнате, с окнами в каменную стену соседнего дома, тесно и душно, шумно и кошмарно. Конь орёт всех громче. Я спрашиваю его:

– Зачем вы живёте здесь, а не в гостинице?

– Милый – для души! Тепло душе с вами..

Сын скорняка подтверждает:

– Верно, Конь! И я – тоже. В другом месте я бы пропал..

Конь просит Плетнёва:

– Сыграй! Спой..

Положив гусли на колени себе, Гурий поёт:

Ты взойди-ко, взойди, солнце красное..
Голос у него мягкий, проникающий в душу.

В комнате становится тихо, все задумчиво слушают жалобные слова и негромкий звон гусельных струн.

– Хорошо, чорт! – ворчит несчастный купчихин утешитель.

Среди странных жителей старого дома Гурий Плетнёв, обладая мудростью, имя которой – веселье, играл роль доброго духа волшебных сказок. Душа его, окрашенная яркими красками юности, освещала жизнь фейерверками славных шуток, хороших песен, острых насмешек над обычаями и привычками людей, смелыми речами о грубой неправде жизни. Ему только что исполнилось двадцать лет, по внешности он казался подростком, но все в доме смотрели на него как на человека, который в трудный день может дать умный совет и всегда способен чем-то помочь. Люди получше – любили его, похуже – боялись, и даже старый будочник Никифорыч всегда приветствовал Гурия лисьей улыбкой.

Двор «Марусовки» – «проходной», поднимаясь в гору, он соединял две улицы: Рыбнорядскую со Старо-Горшечной, на последней, недалеко от ворот нашего жилища, приткнулась уютно в уголке будка Никифорыча.

Это – старший городской в нашем квартале; высокий, сухой старик, увешанный медалями, лицо у него – умное, улыбка – любезная, глаза – хитрые.

Он относился очень внимательно к шумной колонии бывших и будущих людей; несколько раз в день его аккуратно вытесанная фигура являлась на дворе, шёл он не торопясь и посматривал в окна квартир взглядом зрителя зоологического сада в клетки зверей. Зимой в одной из квартир были арестованы однорукий офицер Смирнов и солдат Муратов, георгиевские кавалеры, участники Ахал-Текинской экспедиции Скобелева; арестовали их – а также Зобнина, Овсянкина, Григорьева, Крылова и ещё кого-то – за попытку устроить тайную типографию, для чего Муратов и Смирнов, днём, в воскресенье, пришли воровать шрифты в типографию Ключникова на бойкой улице города. За этим делом их и схватили. А однажды ночью в «Марусовке» был схвачен жандармами длинный, угрюмый житель, которого я прозвал Блуждающей Колокольней. Утром, узнав об этом, Гурий возбуждённо растрепал свои чёрные волосы и сказал мне:

– Вот что, Максимыч, тридцать семь чертей, беги, брат, скорее..

Объяснив, куда нужно бежать, он добавил:

– Смотри – осторожнее! Может быть, там сыщики..

Таинственное поручение страшно обрадовало меня, и я полетел в Адмиралтейскую слободу с быстротой стрижа. Там, в тёмной мастерской медника, я увидел молодого кудрявого человека с необыкновенно синими глазами, он лудил кастрюлю, но – был не похож на рабочего. А в углу, у тисков, возился, притирая кран, маленький старичок с ремешком на белых волосах.

Я спросил медника:

– Нет ли работы у вас?

Старичок сердито ответил:

– У нас – есть, а для тебя – нет!

Молодой, мельком взглянув на меня, снова опустил голову над кастрюлей. Я тихонько толкнул ногою его ногу, – он изумлённо и гневно уставился на меня синими глазами, держа кастрюлю за ручку и как бы собираясь швырнуть её в меня. Но увидав, что я подмигиваю ему, сказал спокойно:

– Ступай, ступай...

Ещё раз подмигнув ему, я вышел за дверь, остановился на улице; кудрявый, потягиваясь, тоже вышел и молча уставился на меня, закуривая папиросу.

– Вы – Тихон?

– Ну, да!

– Петра арестовали.

Он нахмурился сердито, щупая меня глазами.

– Какого это Петра?

– Длинный, похож на дьякона.

– Ну?

– Больше ничего.

– А какое мне дело до Петра, дьякона и всего прочего? – спросил медник, и характер его вопроса окончательно убедил меня: это не рабочий. Я побежал домой, гордясь тем, что сумел исполнить поручение. Таково было моё первое участие в делах «конспиративных».

Гурий Плетнёв был близок к ним, но в ответ на мои просьбы ввести меня в круг этих дел, говорил:

– Тебе, брат, рано! Ты – поучись...

Евреинов познакомил меня с одним таинственным человеком. Знакомство это было осложнено предосторожностями, которые внушили мне предчувствие чего-то очень серьёзного. Евреинов повёл меня за город, на Арское поле, предупреждая по дороге, что знакомство это требует от меня величайшей осторожности, его надо сохранить в тайне. Потом, указав мне вдали небольшую серую фигурку, медленно шагавшую по пустынному полю, Евреинов оглянулся, тихо говоря:

– Вот он! Идите за ним и, когда он остановится, подойдите к нему, сказав: «Я приезжий...»

Таинственное – всегда приятно, но здесь оно показалось мне смешным: знойный, яркий день, в поле серою былинкой качается одинокий человечек, – вот и всё. Догнав его у ворот кладбища, я увидел пред собою юношу с маленьким, сухим личиком и строгим взглядом глаз, круглых, как у птицы. Он был одет в серое пальто гимназиста, но светлые пуговицы отпороты и заменены чёрными, костяными, на изношенной фуражке заметен след герба, и вообще в нём было что-то преждевременно ошипанное, – как будто он торопился показаться самому себе

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
человеком вполне созревшим.

Мы сидели среди могил, в тени густых кустов. Человек говорил сухо, деловито и весь, насквозь, не понравился мне. Строго расспросив меня, что я читал, он предложил мне заниматься в кружке, организованном им, я согласился, и мы расстались, – он ушёл первый, осторожно оглядывая пустынное поле.

В кружке, куда входили ещё трое или четверо юношей, я был моложе всех и совершенно не подготовлен к изучению книги Джон Стюарта Милля с примечаниями Чернышевского. Мы собирались в квартире ученика учительского института Миловского, – впоследствии он писал рассказы под псевдонимом Елеонский и, написав томов пять, кончил самоубийством, – как много людей, встреченных мною, ушло самовольно из жизни!

Это был молчаливый человек, робкий в мыслях, осторожный в словах. Жил он в подвале грязного дома и занимался столярной работой для «равновесия тела и души». С ним было скучно. Чтение книги Милля не увлекало меня, скоро основные положения экономики показались очень знакомыми мне, я усвоил их непосредственно, они были написаны на коже моей, и мне показалось, что не стоило писать толстую книгу трудными словами о том, что совершенно ясно для всякого, кто тратит силы свои ради благополучия и уюта «чужого дяди». С великим напряжением высидивал я два, три часа в яме, насыщенной запахом клея, рассматривая, как по грязной стене ползают мокрицы.

Однажды вероучитель опоздал придти в обычный час, и мы, думая, что он уже не придёт, устроили маленький пир, купив бутылку водки, хлеба и огурцов. Вдруг мимо окна быстро мелькнули серые ноги нашего учителя; едва успели мы спрятать водку под стол, как он явился среди нас, и началось толкование мудрых выводов Чернышевского. Мы все сидели неподвижно, как истуканы, со страхом ожидая, что кто-нибудь из нас опрокинет бутылку ногою. Опрокинул её наставник, опрокинул и, взглянув под стол, не сказал ни слова. Ох, уж лучше бы он крепко выругался!

Его молчание, суровое лицо и обиженно прищуренные глаза страшно смутили меня. Поглядывая исподлобья на багровые от стыда лица моих товарищей, я чувствовал себя преступником против вероучителя и сердечно жалел его, хотя водка была куплена не по моей инициативе.

На чтениях было скучно, хотелось уйти в Татарскую слободу, где живут какой-то особенной, чистоплотной жизнью добродушные, ласковые люди; они говорят смешно искажённым русским языком; по вечерам с высоких минаретов их зовут в мечети странные голоса муэдзинов, – мне думалось, что у татар вся жизнь построена иначе, незнакомо мне, не похоже на то, что я знаю и что не радует меня.

Меня влекло на Волгу к музыке трудовой жизни; эта музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце моё; мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда.

Под Казанью села на камень, проломив днище, большая баржа с персидским товаром; артель грузчиков взяла меня перегружать баржу. Был сентябрь, дул верховый ветер, по серой реке сердито прыгали волны, ветер, бешено срывая их гребни, кропил реку холодным дождём. Артель, человек полсотни, угрюмо расположилась на палубе пустой баржи, кутаясь рогожами и брезентом; баржу тащил маленький буксирный пароход, задыхаясь, выбрасывая в дождь красные снопы искр.

Вечерело. Свинцовое, мокрое небо, темнея, опускалось над рекою. Грузчики ворчали и ругались, проклиная дождь, ветер, жизнь, лениво ползали по палубе, пытаются спрятаться от холода и сырости. Мне казалось, что эти полусонные люди не способны к работе, не спасут погибающий груз.

К полуночи доплыли до переката, причалили пустую баржу борт о борт к сидевшей на камнях; артельный староста, ядовитый старичишка, рябой хитрец и сквернослов, с глазами и носом коршуна, сорвав с лысого черепа мокрый картуз, крикнул высоким, бабьим голосом:

– Молись, ребята!

В темноте, на палубе баржи, грузчики сбились в чёрную кучу и заворчали, как медведи, а староста, кончив молиться раньше всех, завизжал:

– фонарей! Ну, молодчики, покажи работу! Честно, детки! С богом – начинай!

И тяжёлые, ленивые, мокрые люди начали «показывать работу». Они, точно в бой, бросились на палубу и в трюмы затонувшей баржи, – с гиком, рёвом, с прибаутками. Вокруг меня с лёгкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали коренастые фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжёлые, угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. Дождь стал гуще, холоднее, ветер усилился, рвал рубахи, закидывая подола на головы, обнажая животы. В мокрой тьме при слабом свете шести фонарей метались чёрные люди, глухо топая ногами о палубы барж. Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырёхпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине. Работали играя, с весёлым увлечением детей, с той пьяной радостью делать, слаще которой только объятие женщины.

Большой бородатый человек в поддёвке, мокрый, скользкий, – должно быть, хозяин груза или доверенный его, – вдруг заорал возбуждённо:

– Молодчики – ведёрко ставлю! Разбойнички – два идёт! делай!

Несколько голосов сразу со всех сторон тьмы густо рывкнули:

– Три ведра!

– Три пошло! делай, знай!

И вихрь работы ещё усилился.

Я тоже хватал мешки, таскал, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я и всё вокруг завертелось в бурной пляске, что эти люди могут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя, – месяца, года, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места куда захотят.

Я жил эту ночь в радости, не испытанной мною, душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания. За бортами плясали волны, хлестал по палубам дождь, свистел над рекою ветер, в серой мгле рассвета стремительно и неустанно бегали полуголые, мокрые люди и кричали, смеялись, любясь своей силой, своим трудом. А тут ещё ветер разодрал тяжёлую массу облаков, и на синем, ярком пятне небес сверкнул розоватый луч солнца – его встретили дружным рёвом весёлые звери, встряхивая мокрой шерстью милых морд. Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлечённых ею.

Казалось, что такому напряжению радостно разъярённой силы ничто не может противостоять, она способна содейть чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещи сказки. Посмотрев минуту, две на труд людей, солнечный луч не одолел тяжкой толщи облаков и утонул среди них, как ребёнок в море, а дождь превратился в ливень.

– Шабаш! – крикнул кто-то, но ему свирепо ответили:

– Я те пошабашу!

И до двух часов дня, пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха, под проливным дождём и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля.

Потом перешли на пароход и там все уснули, как пьяные, а приехав в Казань, вывалились на песок берега потоком серой грязи и пошли в трактир пить три ведра водки.

Там ко мне подошёл вор Башкин, осмотрел меня и спросил:

– Чего тобой делали?

Я с восторгом рассказал ему о работе, он выслушал меня и, вздохнув, сказал

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
презрительно:

– Дурак. И – хуже того – идиёт!

Посвистывая, виляя телом, как рыба, он уплыл среди тесно составленных столов, – за ними шумно пировали грузчики, в углу кто-то, тенором, запевал похабную песню:

Эх, было это дельце ночью порой, –
Вышла прогуляться в садик барыня – эй!
Десяток голосов оглушительно заревел, прихлопывая ладонями по столам:

Сторож город сторожит,
Видит – барыня лежит...
Хохот, свист, и гремят слова, которым, по отчаянному цинизму, вероятно, нет
равных на земле.

Кто-то познакомил меня с Андреем Деренковым, владельцем маленькой, бакалейной лавки, спрятанной в конце бедной, узенькой улицы, над оврагом, заваленным мусором.

Деренков, сухорукий человечек, с добрым лицом в светлой бородке и умными глазами обладал лучшей в городе библиотекой запрещенных и редких книг, – ими пользовались студенты многочисленных учебных заведений Казани и различные революционно настроенные люди.

Лавка Деренкова помещалась в низенькой пристройке к дому скопца-менялы; дверь из лавки вела в большую комнату, ее слабо освещало окно во двор; за этой комнатой – продолжая ее – помещалась тесная кухня; за кухней в темных сенях, между пристройкой и домом, в углу прятался чулан, и в нем скрывалась злокозненная библиотека. Часть ее книг была переписана пером в толстые тетради, – таковы были «Исторические письма» Лаврова, «Что делать?» Чернышевского, некоторые статьи Писарева, «Царь-голод», «Хитрая механика», – все эти рукописи были очень зачитаны, измяты.

Когда я впервые пришел в лавку, Деренков, занятый с покупателями, кивнул мне на дверь в комнату; я вошел туда и вижу: в сумраке, в углу, стоит на коленях, умиленно молясь, маленький старичок, похожий на портрет Серафима Саровского. Что-то неладное, противоречивое почувствовал я, глядя на старичка.

О Деренкове мне говорили, как о «народнике»; в моем представлении народник – революционер, а революционер не должен веровать в бога, – богомольный старичок показался мне лишним в этом доме.

Кончив молиться, он аккуратно пригладил белые волосы головы и бороды, присмотрелся ко мне и сказал:

– Отец Андрея. А вы кто будете? Вот как? А я думал – переодетый студент.

– Зачем же студенту переодеваться? – спросил я.

– Ну, да, – тихо отозвался старик, – ведь как ни переоденся – бог узнает!

Он ушел в кухню, а я, сидя у окна, задумался и вдруг услышал возглас:

– Вот он какой!

У косяка двери в кухню стояла девушка, одетая в белое; ее светлые волосы были коротко острижены, на бледном, пухлом лице сияли, улыбаясь, синие глаза. Она была очень похожа на ангела, как их изображают дешевые олеографии.

– Отчего вы испугались? Разве я такая страшная? – говорила она тонким, вздрагивающим голосом и осторожно, медленно подвигалась ко мне, держась за стену, точно она шла не по твердому полу, а по зыбкому канату, натянутому в воздухе. Это неумение ходить еще больше уподобляло ее существу иного мира. Она вся вздрагивала, как будто в ноги ей впивались иглы, а стена жгла ее детски пухлые руки. И пальцы рук были странно неподвижны.

Я стоял пред нею молча, испытывая чувство странного смятения и острой жалости.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
Все необычно в этой темной комнате.

Девушка села на стул так осторожно, точно боялась, что стул улетит из-под нее. Просто, как никто этого не делает, она рассказала мне, что только пятый день начала ходить, а до того почти три месяца лежала в постели – у нее отнялись руки и ноги.

– Это – нервная болезнь такая, – сказала она улыбаясь.

Помню, мне хотелось, чтобы ее состояние было объяснено как-то иначе; нервная болезнь – это слишком просто для такой девушки и в такой странной комнате, где все вещи робко прижались к стенам, а в углу, пред иконами слишком ярко горит огонек лампы и по белой скатерти большого, обеденного стола беспричинно ползает тень ее медных цепей.

– Мне много говорили о вас, – вот я и захотела посмотреть какой вы, – слышал я детски тонкий голос.

Эта девушка разглядывала меня каким-то невыносимым взглядом, что-то пронизательно читающее видел я в синих глазах. С такой девушкой я не мог – не умел – говорить. И молчал, рассматривая портреты Герцена, Дарвина, Гарибальди.

Из лавки выскочил подросток одних лет со мною, белобрысый, с наглыми глазами, он исчез в кухне, крикнув ломким голосом:

– Ты зачем вылезла, Марья?

– Это мой младший брат, – Алексей, – сказала девушка. – А я – учусь на акушерских курсах, да вот, захворала. Почему вы молчите? Вы – застенчивый?

Пришел Андрей Деренков, сунув за пазуху свою сухую руку, молча погладил сестру по мягким волосам, растрепал их и стал спрашивать – какую работу я ищу?

Потом явилась рыжекудрая, стройная девица с зеленоватыми глазами, строго посмотрела на меня и, взяв белую девушку под руки, увела ее, сказав:

– Довольно, Марья!

Имя не шло девушке, было грубо для нее.

Я тоже ушел, странно взволнованный, а через день, вечером, снова сидел в этой комнате, пытаюсь понять – как и чем живут в ней? Жили – странно.

Милый, кроткий старик Степан Иванович, беленький и как бы прозрачный, сидел в уголке и смотрел оттуда, шевеля темными губами, тихо улыбаясь, как будто просил:

– Не трогайте меня!

В нем жил заячий испуг, тревожное предчувствие несчастья, – что было ясно мне.

Сухорукий Андрей, одетый в серую куртку, замазанную на груди маслом и мукою до твердости древесной коры, ходил по комнате как-то боком, виновато улыбаясь, точно ребенок, которому только что простили какую-то шалость. Ему помогал торговать Алексей – ленивый, грубый парень. Третий брат – Иван, учился в Учительском институте и, живя там в интернате, бывал дома только по праздникам, – это был маленький, чисто одетый, гладко причесанный человечек, похожий на старого чиновника. Больная Мария жила где-то на чердаке и редко спускалась вниз, а когда она приходила, я чувствовал себя неловко, точно меня связывало невидимыми путами.

Хозяйство Деренковых вела сожительница домохозяина-скопца, высокая худощавая женщина с лицом деревянной куклы и строгими глазами злой монахини. Тут же вертелась ее дочь, рыжая Настя, – когда она смотрела зелеными глазами на мужчин – ноздри ее острого носа вздрагивали.

Но действительными хозяевами в квартире Деренковых были студенты Университета, Духовной академии, Ветеринарного института, – шумное сборище людей, которые жили в настроении забот о русском народе, в непрерывной тревоге о будущем России.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Всегда возбужденные статьями газет, выводами только что прочитанных книг, событиями в жизни города и университета, они по вечерам сбегались в лавочку Деренкова со всех улиц Казани для яростных споров и тихого шопота по углам. Приносили с собою толстые книги и, тыкая пальцами в страницы их, кричали друг на друга, утверждая истины, кому какая нравилась.

Разумеется, я плохо понимал эти споры, истины терялись для меня в обилии слов, как звездочки жира в жидком супе бедных. Некоторые студенты напоминали мне стариков начетчиков сектантского Поволжья, но я понимал, что вижу людей, которые готовятся изменить жизнь к лучшему, и хотя искренность их захлебывалась в бурном потоке слов, но – не тонула в нем. Задачи, которые они пытались решать, были ясны мне, и я чувствовал себя лично заинтересованным в удачном решении этих задач. Часто мне казалось, что в словах студентов звучат немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу.

Они смотрели на меня точно столяры на кусок дерева, из которого можно сделать не совсем обыкновенную вещь.

– Самородок! – рекомендовали они меня друг другу с такой же гордостью, с какой уличные мальчишки показывают один другому медный пятак, найденный на мостовой. Мне почему-то не нравилось, когда меня именовали – «самородком» и «сыном народа», – я чувствовал себя пасынком жизни и, порою, очень испытывал тяжесть силы, руководившей развитием моего ума. Так, увидав в окне книжного магазина книгу, озаглавленную неведомыми мне словами «Афоризмы и максимы», я воспылал желанием прочитать ее и попросил студента Духовной академии дать мне эту книгу.

– Здравствуйте! – иронически воскликнул будущий архиерей, человек с головою негра, – курчавый, толстогубый, зубастый. – Это, брат, ерунда. Ты читай, что дают, а в область, тебе не подобающую, – не лезь!

Грубый тон учителя очень задел меня. Книгу я, конечно, купил, заработав часть денег на пристанях, а часть заняв у Андрея Деренкова. Это была первая серьезная книга, купленная мною, она до сей поры сохранилась у меня.

Вообще – со мною обращались довольно строго: когда я прочитал «Азбуку социальных наук», мне показалось, что роль пастушеских племен в организации культурной жизни преувеличена автором, а предприимчивые бродяги, охотники – обижены им. Я сообщил мои сомнения одному филологу, – а он, стараясь придать бабьему лицу своему выражение внушительное, целый час говорил мне о «праве критики».

– Чтоб иметь право критиковать, надо верить в какую-то истину, – во что верите вы? – спросил он меня.

Он читал книги даже на улице, – идет по панели, закрыв лицо книгой, и толкает людей. Валяясь у себя на чердаке в голодном тифе, он кричал:

– Мораль должна гармонически совмещать в себе элементы свободы и принуждения, – гармонически, гар-гар-гарм...

Нежный человек, полубольной от хронического недоедания, изнуренный упорными поисками прочной истины, он не знал никаких радостей, кроме чтения книг, и когда ему казалось, что он примирил противоречия двух сильных умов, его милые, темные глаза детски счастливо улыбаются. Лет через десять после жизни в Казани, я снова встретил его в Харькове; он отбыл пять лет ссылки в Кемь и снова учился в университете. Он показался мне живущим в муравьиной куче противоречивых мыслей, – погибая от туберкулеза, он старался примирить Ницше с Марксом, харкал кровью и хрипел, хватая мои руки холодными липкими пальцами –

– Без синтеза – невозможно жить!

Он умер на пути в университет в вагоне трамвая.

Немало видел я таких великомучеников разума ради, – память о них священна для меня.

Десятка два подобных людей собиравались в квартире Деренкова; среди них был даже японец, студент Духовной академии Пантелеймон Сато. Порою являлся большой, широкогрудый человек, с густою окладистой бородищей и по-татарски бритой

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
головой. Он казался туго зашитым в серый казакин, глухо застегнутый на крючки до подбородка. Обычно он сидел где-нибудь в углу, покуривая трубку и глядя на всех серыми, спокойно читающими глазами. Его взгляд часто и пристально останавливался на моем лице, я чувствовал, что серьезный этот человек мысленно взвешивает меня, и, почему-то, опасался его. Его молчаливость удивляла меня, все вокруг говорили громко, много, решительно, и чем более резко звучали слова, тем больше, конечно, они нравились мне, – я очень долго не догадывался, как часто в резких словах прячутся мысли жалкие и лицемерные. О чем молчит этот бородатый богатырь?

Его звали «Хохол» и, кажется, никто, кроме Андрея, не знал его имени. Вскоре мне стало известно, что человек этот недавно вернулся из ссылки, из Якутской области, где он прожил десять лет. Это усилило мой интерес к нему, но не внушило мне смелости познакомиться с ним, хотя я не страдал ни застенчивостью, ни робостью, а, напротив, болел каким-то тревожным любопытством, жадной все знать и как можно скорее. Это качество всю жизнь мешало мне серьезно заняться чем-либо одним.

Когда говорили о народе, я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди. Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным и единосущным, вместилищем начал всего прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел – плотников, грузчиков, каменщиков; знал – Якова, Осипа, Григория; а тут говорили именно о единосущном народе и ставили себя куда-то ниже его, в зависимость от его воли. Мне же казалось, что именно эти люди воплощают в себе красоту и силу мысли, в них сосредоточена и горит добрая, человеколюбивая воля к жизни, к свободе строительства ее по каким-то новым канонам человеколюбия.

Именно человеколюбия не наблюдал я в человечках, среди которых жил до той поры, а здесь оно звучало в каждом слове, горело в каждом взгляде.

Освежающим дождем падали на сердце мое речи народопоклонников, и очень помогла мне наивная литература о мрачном житии деревни, о великомученике-мужике. Я почувствовал, что только очень крепко, очень страстно любя человека, можно почерпнуть в этой любви необходимую силу для того, чтоб найти и понять смысл жизни. Я перестал думать о себе и начал внимательнее относиться к людям.

Андрей Деренков доверчиво сообщил мне, что скромные доходы его торговли целиком идут на помощь людям, которые верят: «счастье народа – прежде всего». Он вертелся среди них, точно искренно верующий дьячок за архиерейской службой, не скрывая восторга пред бойкой мудростью книжечеев; счастливо улыбаясь, засунув сухую руку за пазуху, дергая другою рукой во все стороны мягкую бородку свою, он спрашивал меня:

– Хорошо? То-то же!

И когда против народников еретически возражал ветеринар Лавров, – обладатель странного голоса, подобного гоготу гуся. – Деренков, испуганно закрывая глаза, шептал:

– Какой смутьян!

Его отношение к народникам было сродно моему, но отношение студенчества к Деренкову казалось мне грубоватым и небрежным отношением господ к работнику, трактирному лакею. Сам он этого не замечал. Часто, проводив гостей, он оставлял меня ночевать; мы чистили комнату и потом, лежа на полу, на войлоках, долго дружеским шопотом беседовали во тьме, едва освещенной огоньком лампы. С тихой радостью верующего он говорил мне:

– Накопятся сотни, тысячи таких хороших людей, займут в России все видные места и сразу переменят всю жизнь.

Он был лет на десять старше меня, и я видел, что рыжеволосая Настя очень нравится ему, он старался не смотреть в ее зазорные глаза, при людях говорил с нею суховато, командующим голосом хозяина, но провожал ее тоскующим взглядом, а говоря наедине с нею, смущенно и робко улыбался, дергая бородку.

Его маленькая сестренка наблюдала словесные битвы тоже из уголка; детское лицо ее смешно надувалось напряжением внимания, глаза широко открывались, а когда звучали особенно резкие слова, – она шумно вздыхала, точно на нее брызнули ледяной водой. Около нее солидным петухом расхаживал рыжеватый медик, он говорил с нею таинственным полушопотом и внушительно хмурил брови. Все это было удивительно интересно.

Но – наступила осень, жизнь без постоянной работы стала невозможна для меня. Увлеченный всем, что творилось вокруг, я работал все меньше и питался чужим хлебом, а он всегда очень туго идет в горло. Нужно было искать на зиму «место», и я нашел его в крендельной пекарне Василия Семенова.

Этот период жизни очерчен мною в рассказах: «Хозяин», «Коновалов», «Двадцать шесть и одна». Тяжелое время! Однако – поучительное.

Тяжело было физически, еще тяжелее – морально.

Когда я опустился в подвал мастерской, между мною и людьми, видеть и слушать которых стало уже необходимо для меня, выросла «стена забвения». Никто из них не ходил ко мне в мастерскую, а я, работая четырнадцать часов в сутки, не мог ходить к Деренкову в будни, в праздничные же дни или спал, или же оставался с товарищами по работе. Часть их с первых же дней стала смотреть на меня как на забавного шута, некоторые отнеслись с наивной любовью детей к человеку, который умеет рассказывать интересные сказки. Чорт знает, что я говорил этим людям, но, разумеется, все, что могло внушить им надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни. Иногда это удавалось мне, и, видя как опухшие лица освещаются человеческой печалью, а глаза вспыхивают обидой и гневом, – я чувствовал себя празднично и с гордостью думал, что «работаю в народе», «просвещаю» его.

Но, разумеется, чаще приходилось мне испытывать мое бессилие, недостаток знаний, неумение ответить даже на простейшие вопросы жизни, быта. Тогда я чувствовал себя сброшенным в темную яму, где люди копошатся, как слепые черви, стремясь только забыть действительность и находя это забвение в кабаках, да в холодных объятиях проституток.

Посещение публичных домов было обязательно каждый месяц в день получения заработка; об этом удовольствии мечтали вслух за неделю до счастливого дня, а прожив его – долго рассказывали друг другу об испытанных наслаждениях. В этих беседах цинически хвастались половой энергией, жестоко глумились над женщинами, говорили о них брезгливо отплевываясь.

Но – странно! – за всем этим я слышал – мне чудилось – печаль и стыд. Я видел, что в «домах утешения», где за рубль можно было купить женщину на всю ночь, мои товарищи вели себя смущенно, виновато, – это казалось мне естественным. А некоторые из них держались слишком развязно, с удалством, в котором я чувствовал нарочитость и фальшь. Меня жутко интересовало отношение полов, и я наблюдал за этим с особенной остротой. Сам я еще не пользовался ласками женщины, и это ставило меня в неприятную позицию: надо мною зло издевались и женщины, и товарищи. Скоро меня перестали приглашать в «дома утешения», заявив откровенно:

– Ты, брат, с нами не ходи.

– Почему?

– Так, уж! Не хорошо с тобой.

Я цепко ухватился за эти слова, чувствуя в них что-то важное для меня, но не получил объяснения более толкового.

– Экой, ты! Сказано тебе – не ходи. Скушно с тобой...

И только Артем сказал, усмехаясь:

– Вроде, как при попе, али при отце.

Девицы сначала высмеивали мою сдержанность, потом стали спрашивать с обидой:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– Брезгуешь?

Сорокалетняя «девушка» пышная и красивая полька Тереза Борута «экономка», глядя на меня умными глазами породистой собаки, сказала:

– Оставимте ж его, подруги, – у него обязательно невеста есть – да? Такой силач обязательно невестой держится, больше ничем.

Алкоголичка, она пила запоем и пьяная была неописуемо отвратительна, а в трезвом состоянии удивляла меня вдумчивым отношением к людям и спокойным исканием смысла в их деяниях.

– Самый же непонятный народ – это обязательно студенты Академии, да! – рассказывала она моим товарищам. – Они такое делают с девушками: велят помазать пол мылом, поставят голую девушку на четвереньки, руками – ногами на тарелки и толкают ее в зад – далеко ли уедет по полу? Так – одну, так и другую. Вот. Зачем это?

– Ты врешь! – сказал я.

– Ой, нет! – воскликнула Тереза не обижаясь, спокойно, и в спокойствии этом было что-то подавляющее.

– Ты выдумала это.

– Как же такое можно выдумать девушке? Разве я – сумасшедшая? – спросила она, вытаращив глаза.

Люди прислушивались к нашему спору с жадным вниманием, а Тереза все рассказывала об играх гостей бесстрастным тоном человека, которому нужно только одно: понять – зачем это?

Слушатели с отвращением отплевывались, дико ругали студентов, а я, – видя, что Тереза возбуждает вражду к людям уже излюбленным мною, – говорил, что студенты любят народ, желают ему добра.

– Так то студенты с Воскресной улицы, штатские, с университета, я ж говорю о духовных, с Арского поля! Они, духовные, – сироты все, а сирота растет обязательно вором или озорником, плохим человеком растет, он же ни к чему не привязан, сирота!

Спокойные рассказы «экономки» и злые жалобы девушек на студентов, чиновников, и вообще на «чистую публику», вызывали в товарищах моих не только отвращение и вражду, но почти радость, она выражалась словами:

– Значит, образованные-то хуже нас!

Мне тяжело и горько было слышать эти слова. Я видел, что в полутемные, маленькие комнаты стекается, точно в ямы, грязь города; вскипает на чадном огне и, насыщенная враждою, злобой, снова изливается в город. Я наблюдал, как в этих щелях, куда инстинкт и скука жизни забивают людей, создаются из нелепых слов трогательные песни о тревогах и муках любви, как возникают уродливые легенды о жизни «образованных людей», зарождается насмешливое и враждебное отношение к непонятному, – и видел, что «дома утешения» являются университетами, откуда мои товарищи выносят знания весьма ядовитого характера.

Смотрел я, как по грязному полу двигаются, лениво шаркая ногами, «девушки для радости», как отвратительно трясутся их дряблые тела под назойливый визг гармоники, или под раздражающий треск струн разбитого пианино, смотрел – и у меня зарождались какие-то неясные, но тревожные мысли. От всего вокруг истекала скука, отравляя душу бессильным желанием куда-то уйти, где-то спрятаться.

Когда в мастерской я начинал рассказывать о том, что есть люди, которые бескорыстно ищут путей к свободе, к счастью народа, – мне возражали:

– А, вот, девки не то говорят про них!

И нещадно, с цинической злостью высмеивали меня, а я был задорным кутенком,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax чувствовал себя не глупее и смелее взрослых собак, – я тоже злился. Начиная понимать, что думы о жизни – не менее тяжелы, чем сама жизнь, я, порою, ощущал в душе вспышки ненависти к упрямо терпеливым людям, с которыми работал. Меня особенно возмущала их способность терпеть, покорная безнадежность, с которой они подчинялись полубезумным издевательствам пьяного хозяина.

И – как нарочно – именно в эти тяжелые дни мне довелось познакомиться с идеей совершенно новой и хотя органически враждебной мне, но все-таки очень смутившей меня.

В одну из тех вьюжных ночей, когда кажется, что злобно воющий ветер изорвал серое небо в мельчайшие клочья и они сыплется на землю, хороня ее под сугробами ледяной пыли, и кажется, что кончилась жизнь земли, солнце погашено, не взойдет больше, – в такую ночь, на Масленой неделе я возвращался в мастерскую от Деренковых. Шаггал, закрыв глаза, против ветра, сквозь мутное кипение серого хаоса и вдруг – упал, наскочив на человека, лежавшего поперек панели. Мы оба выругались, я – по-русски, он – на французском языке:

– О, дьявол...

Это возбудило мое любопытство, я поднял его, поставил на ноги, – он был маленького роста, легкий. Толкая меня, он гневно кричал:

– Моя шапка, чорт вас возьми! Отдайте шапку! Я – замерзну!

Найдя в снегу шапку, я встряхнул ее, надел на его ершистую голову, но он сорвал шапку и, махая ею на меня, ругался на двух языках, гнал меня:

– Прочь!

Вдруг бросился вперед и утонул в кипящей кашнице. Идя дальше, я снова увидел его – он стоял, обняв руками деревянный столб погашенного фонаря, и убедительно говорил:

– Лена, я погибаю... о, Лена...

Видимо, он был пьян и, пожалуй, замерз бы, оставь я его на улице. Я спросил, где он живет.

– Какая это улица? – закричал он со слезами в голосе. – Я не знаю, куда итти.

Я обнял его за талию и повел, допрашивая, где он живет.

– На Булаке, – бормотал он, вздрагивая. – На Булаке... там – бани, – дом...

Шагал он неверно, сбивчиво и мешал мне итти; я слышал, как стучали его зубы:

– Си тю савэ, – бормотал он, толкая меня.

– Что вы говорите?

Он остановился, поднял руку и сказал внятно, – с гордостью, как показалось мне:

– Си тю савэ у же те мен...[4]

И сунул пальцы руки в рот себе, качаясь, почти падая. Присев, я взял его на спину себе и понес, а он, упираясь подбородком в череп мой, ворчал:

– Си тю савэ у... Но я замерзаю, о, боже...

На Балаке я с трудом добился у него – в каком доме он живет; наконец, мы влезли в сени маленького флигеля, спрятанного в глубине двора и вихрях снега. Он нащупал дверь, осторожно постучал и зашипел:

– Шш! Тише...

Дверь открыла женщина в красном капоте, с зажженной свечей в руке; уступив нам дорогу, она молча отошла в сторону и, вынув откуда-то лорнет, стала

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru рассматривать меня.

Я сказал ей, что у человека, кажется, застыли руки и его необходимо раздеть, уложить в постель.

– Да? – спросила она звучно и молодо.

– Руки нужно опустить в холодную воду...

Она молча указала лорнетом в угол, там, на мольберте стояла картина, – река, деревья. Я удивленно взглянул в лицо женщины странно неподвижное, а она отошла в угол комнаты, к столу, на котором горела лампа под розовым абажуром, села там и, взяв со стола валета червей, стала рассматривать его.

– У вас нет водки? – громко спросил я. Она не ответила, раскладывая по столу карты. Человек, которого я привел, сидел на стуле, низко наклонив голову, свесив вдоль туловища красные руки. Я положил его на диван и стал раздевать, ничего не понимая, живя как во сне. Стена предо мною, над диваном была сплошь покрыта фотографиями, среди них тускло светился золотой веночек в белых бантах ленты, на конце ее золотыми буквами было напечатано:

«Несравненной Джильде».

– Чорт побери – тише! – застонал человек, когда я начал растирать его руки.

Женщина озабоченно и молча раскладывала карты. Лицо у нее остроносое, птичье, его освещают большие, неподвижные глаза. Вот она руками девочки-подростка взбила седые свои волосы, пышные, точно парик, и спросила тихо, но звучно:

– Ты видел Мишу, Жорж?

Жорж оттолкнул меня, быстро сел и торопливо сказал:

– Но, ведь, он уехал в Киев...

– Да, в Киев, – повторила женщина, не отводя глаз от карт, и я заметил, что голос ее звучит однотонно, не выразительно.

– Он скоро приедет...

– Да?

– О, да! Скоро.

– Да? – повторила женщина.

Полураздетый Жорж соскочил на пол и в два прыжка встал на колени у ног женщины, говоря ей что-то по-французски.

– Я спокойна, – по-русски ответила она.

– Я – заплутался, знаешь? Метель, страшный ветер, я думал замерзну. Мы немного пили, – торопливо рассказывал Жорж, глядя ее руку, лежавшую на колени. Ему было лет сорок, красное толстогубое лицо его с черными усами казалось испуганным, тревожным, он крепко потирал седую щетину волос на своем круглом черепе и говорил все более трезво.

– Мы завтра едем в Киев, – сказала женщина, не то – спрашивая, не то – утверждая.

– Да, завтра! И тебе нужно отдохнуть. Почему ты не ляжешь? Уже очень поздно...

– Он не приедет сегодня – Миша?

– О, нет! Такая метель... Идем, ляг...

Он увел ее в маленькую дверь за шкафом книг, взяв лампу со стола. Я долго сидел один, ни о чем не думая, слушая его тихий, сиповатый голос. Мохнатые лапы

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiyama шаркали по стеклам окна. В луже растаявшего снега робко отражалось пламя свечи. Комната была тесно заставлена вещами, теплый странный запах наполнял ее, усыпляя мысль.

Вот Жорж явился, пошатываясь, держа в руках лампу, абажур ее дробно стучал о стекло.

– Легла.

Поставил лампу на стол, задумчиво остановился среди комнаты и заговорил, не глядя на меня:

– Ну, что же? Без тебя, вероятно, я бы погиб... Спасибо! Ты кто?

Он склонил голову на-бок, прислушиваясь к шороху в соседней комнате и вздрагивая.

– Это ваша жена? – тихонько спросил я.

– Жена. Все. Вся жизнь! – раздельно, не громко, глядя в пол, сказал этот человек и снова начал крепко растирать голову ладонями.

– Чаю выпить, – а?

Он рассеянно пошел к двери, но остановился, вспомнив, что прислуга объелась рыбой и ее отправили в больницу.

Я предложил поставить самовар, он согласно кивнул головой и, видимо, забыв, что полураздет, шлепая босыми ногами по мокрому полу, отвел меня в маленькую кухню. Там, прислонясь спиной к печке, он повторил:

– Без тебя я бы замерз, – спасибо!

И вдруг, вздрогнув, уставился на меня испуганно расширенными глазами.

– Что же было бы с нею тогда? О, господи...

Быстро, шопотом, глядя в темную дыру двери, он сказал:

– Ты видишь, – она больная. У нее застрелился сын, музыкант, в Москве, а она все ждет его, вот уже два года, почти...

Потом, когда мы пили чай, он бессвязно, не обычными словами рассказал, что женщина – помещица, он – учитель истории, был репетитором ее сына, влюбился в нее, она ушла от мужа-немца, барона, – пела в опере, они жили очень хорошо, хотя первый муж ее всячески старался испортить ей жизнь.

Рассказывал он, как будто читая неясно написанное, прищунив глаза, напряженно присматриваясь к чему-то в полутьме грязной кухни, с прогнившим у печки полом. Обжигался, прихлебывая чай, лицо его морщилось, круглые глаза пугливо мигали.

– Ты – кто? – еще раз спросил он. – Да, – крендельщик, рабочий. – Странно, не похоже. Что это значит?

Слова его звучали беспокойно, он смотрел на меня недоверчиво, взглядом затравленного.

Я кратко рассказал о себе.

– Вот как? – тихо воскликнул он. – Да, вот как...

И вдруг оживился, спрашивая:

– Ты знаешь сказку о «Гадком утенке»? Читал?

Лицо его исказилось, он начал говорить с гневом, изумляя меня неестественными – до визга – повышениями сиповатого голоса.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
– Эта сказка – соблазняет! В твои годы я тоже подумал – не лебедь ли я? И – вот...
Должен был итти в академию – пошел в университет. Отец – священник – отказался от меня. Изучал – в Париже – историю несчастий человечества, историю прогресса. Писал, да. О, как все это...

Он подскочил на стуле, прислушался и затем сказал мне:

– Прогресс – это выдуманно для самоутешения! Жизнь – неразумна, лишена смысла. Без рабства – нет прогресса, без подчинения большинства меньшинству – человечество остановится на путях своих. Желая облегчить нашу жизнь, наш труд, мы только усложняем ее, увеличиваем труд. фабрики и машины для того, чтобы делать еще и еще машины, это – глупо. Все больше становится рабочих, а необходим только крестьянин, производитель хлеба. Хлеб – это все, что надо взять трудом у природы. Чем меньше нужно человеку – тем более он счастлив, чем больше желаний – тем меньше свободы.

Быть может – не в этих словах, но именно эти оглушающие мысли впервые слышал я, да еще в такой резкой, оголенной форме. Человек, взвизгнув от возбуждения, боязливо останавливал взгляд на двери, открытой во внутренние комнаты, минуту слушал тишину и снова шептал почти с яростью.

– Пойми, – каждому нужно немного: кусок хлеба и женщину...

Заговорив о женщине таинственным шопотом, словами, которых я не знал, стихами, которых не читал, – он вдруг стал похож на вора Башкина.

– Беатриче, Фиаметта, Лаура, Нинон, – шептал он имена незнакомые мне и рассказывал о каких-то влюбленных королях, поэтах, читал французские стихи, отсекая ритмы тонкой, голой до локтя рукою.

– Любовь и голод правят миром, – слышал я горячий шопот и вспомнил, что эти слова напечатаны под заголовком революционной брошюры «Царь-голод», – это придавало им в моих мыслях – особенно веское значение.

– Люди ищут забвения, утешения, а не – знания!

Эта мысль окончательно поразила меня.

Я ушел из кухни утром, – маленькие часы на стене показывали шесть с минутами. Шагал в серой мгле по сугробам, слушая вой метели и вспоминая яростные взвизгивания разбитого человека; чувствовал, что его слова остановились где-то в горле у меня, душат. Не хотелось итти в мастерскую видеть людей, – и, таская на себе кучу снега, я шатался по улицам Татарской слободы до поры, когда стало светло и среди волн снега начали нырять фигуры жителей города.

Больше я никогда не встречал учителя и не хотел встретить его. Но впоследствии я неоднократно слышал речи о бессмыслии жизни и бесполезности труда, – их говорили безграмотные странники, бездомные бродяги, «толстовцы» и высоко-культурные люди. Говорил об этом иеромонах, магистр богословия, химик, работавший по взрывчатым веществам, биолог, – неовиталист и многие еще. Но эти идеи уже не влияли на меня так ошеломляюще, как тогда, когда я впервые познакомился с ними.

И только, вот, года два тому назад – спустя более тридцати лет после первой беседы на эту тему – я неожиданно услышал те же мысли и почти в тех же словах от старого знакомого моего, рабочего.

Однажды у меня с ним завязалась беседа «по душе» и этот человек, невесело усмехаясь, сказал мне с тою бесстрашной искренностью, которой обладают, кажется, только русские люди.

– А.М., – милый, – ничего не надо, никуда все это: академии, науки, аэропланы, – лишнее! Надобно только угол тихий и – бабу, чтоб я ее целовал, когда хочу, а она мне честно – душой и телом – отвечала, – вот! Вы – по интеллигентски рассуждаете, вы – уж не наш, а – отравленный человек, для вас идея выше людишек, вы по-еврейски думаете: человек – для субботы?

– Евреи не думают так...

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Чорт их знает, как они думают, – народишко темный, – ответил он, бросив окурки папиросы в реку и следя за ним.

Мы сидели на набережной Невы, на гранитной скамье, лунной ночью осени, оба истерзанные днем бесполезных волнений, упрямого, но безуспешного желания сделать что-то доброе, полезное.

– Вы с нами, а – не наш, вот что я говорю, – продолжал он вдумчиво, тихо. – Интеллигентам приятно беспокоиться, они издаля веков присовокупились к бунтам. Как Христос был идеалистом и бунтовал для надземных целей, так и вся интеллигенция бунтует для утопии. Бунтует – идеалист, а с ним никчемность, негодяйство, сволочь, и все – со зла: видят они, что места в жизни нет для них. Рабочий восстает для революции, – ему нужно добиться правильного распределения орудий и продуктов труда. Захватив власть окончательно, – думаете, согласится он на государство? Ни за что. Все разойдутся, и каждый, за свой страх, устроит себе спокойный уголок...

– Техника, говорите? Так она еще туже затягивает петлю на шее нашей, еще крепче вяжет нас. Нет, надо освободиться от лишнего труда. Человек покоя хочет. Фабрики да науки покоя не дадут. Одному – немного надо. Зачем я буду город громоздить, когда мне только маленький домик нужен? Где кучей живут, там – и водопроводы, и канализация, и электричество. А попробуйте без этого жить, – как легко будет! Нет, много лишнего у нас, и все это – от интеллигенции. Потому я и говорю: интеллигенция – вредная категория.

Я сказал, что никто не умеет так глубоко и решительно обесмысливать жизнь, как это делаем мы, русские.

– Самый свободный народ по духу, – усмехнулся мой собеседник. – Только, – вы не сердитесь, я правильно рассуждаю, так миллионы наши думают, да – сказать не умеют... Жизнь надо устроить проще, тогда она будет милосерднее к людям...

Человек этот никогда не был «толстовцем», не обнаруживал склонности к анархизму, – я хорошо знаю историю его духовного развития.

После беседы с ним я невольно подумал: а что, если, действительно, миллионы русских людей только потому терпят тягостные муки революции, что лелеют в глубине души надежду освободиться от труда? Минимум труда, – максимум наслаждения, это очень заманчиво и увлекает, как все неосуществимое, как всякая утопия. [5]

И мне вспомнились стихи Генрика Ибсена:

Я консерватор? О нет!
Я все тот же, кем был всю жизнь, –
Не люблю перемещать фигуры,
Но – хотел бы смешать всю игру.
Помню только одну революцию, –
Она была умнее последующих
И могла бы все разрушить –
Разумею, конечно, Всемирный потоп.
Но – и тогда Дьявола надули!
Вы знаете – Ной стал диктатором.
О, если это можно сделать честнее,
Я не откажусь помочь вам, –
Вы хлопчете о Всемирном потопе,
Я же, с радостью, суну торпеду под ковчег.
Лавка Деренкова давала ничтожный доход, а количество людей и «делишек»,
нуждавшихся в материальной помощи, – все возрастало.

– Надо придумать что-нибудь, – озабоченно пощупывая бородку, говорил Андрей и виновато улыбался, тяжело вздыхал.

Мне казалось, что этот человек считает себя осужденным на бессрочную каторгу помощи людям и, хотя примирился с наказанием, но все-таки порою оно тяготит его.

Не однажды, разными словами, я спрашивал:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– Почему вы делаете это?

Он, видимо не понимая моих вопросов, отвечал на вопрос – для чего? – говорил книжно и невразумительно о тяжелой жизни народа, о необходимости просвещения, знания.

– А – хотят, ищут люди знания?

– Ну, как же! Конечно! Ведь вы – хотите?

Да, я – хотел. Но – я помнил слова учителя истории:

«Люди ищут забвения, утешения, а не – знания».

Для таких острых идей – вредна встреча с людьми семнадцати лет от роду; идеи притупляются от этих встреч, люди тоже не выигрывают.

Мне стало казаться, что я всегда замечал одно и то же: людям нравятся интересные рассказы только потому, что позволяют им забыть на час времени тяжелую, но привычную жизнь. Чем больше «выдумки» в рассказе, тем жаднее слушают его. Наиболее интересна та книга, в которой много красивой «выдумки». Кратко говоря – я плавал в чадном тумане.

Деренков придумал открыть булочную. Помню, – было совершенно точно высчитано, что это предприятие должно давать не менее тридцати пяти процентов на каждый оборот рубля. Я должен был работать «подручным» пекаря и, как «свой человек», следить, чтоб оный пекарь не воровал муку, яйца, масло и выпеченный товар.

И вот я переселился из большого грязного подвала в маленький, почище, – забота о чистоте его лежала на моей обязанности. Вместо артели в сорок человек предо мною был один, – у него седые виски, острая борода, сухое, копченое лицо, темные, задумчивые глаза и странный рот: маленький – точно у окуня, губы пухлые, толстые и сложены так, как будто он мысленно целуется. И что-то насмешливое светится в глубине глаз.

Он, конечно, воровал, – в первую же ночь работы он отложил в сторону десяток яиц, фунта три муки и солидный кусок масла.

– Это – куда пойдет?

– А это пойдет одной девчоночке, – дружески сказал он и, сморщив переносье, добавил: – Ха-арошая девченка!

Я попробовал убедить его, что воровство считается преступлением. Но – или у меня не хватило красноречия, или я сам был недостаточно крепко убежден в том, что пытался доказать, – речь моя не имела успеха.

Лежа на ларе теста и глядя в окно на звезды, пекарь удивленно забормотал:

– Он меня – учит! Первый раз видит и – готово! – учит. А сам втрое моложе меня. Смешно...

Осмотрел звезды и спросил:

– Будто видел я тебя где-то, – ты у кого работал? У Семенова? Это где бунтовали? Так. Ну, значит, я тебя во сне видел...

Через несколько дней я заметил, что человек этот может спать сколько угодно и в любом положении, даже стоя, опершись на лопату. Засыпая, он приподнимал брови и лицо его странно изменялось, принимая иронически удивленное выражение. А любимой темой его были рассказы о кладах и снах. Он убежденно говорил:

– Землю я вижу насквозь, и вся она, как пирог, кладами начинена: котлы денег, сундуки, чугуны везде зарыты. Не раз бывало: вижу во сне знакомое место, скажем, баню, – под углом у ней сундук серебряной посуды зарыт. Проснулся и пошел ночью рыть, аршина полтора вырыл, – гляжу – угли и собачий череп. Вот оно, – нашел!.. Вдруг – трах! – окно вдребезги, и баба какая-то орет неистово: – Караул, вору! Конечно – убежал, а то бы – избили. Смешно.

Я часто слышу это слово: смешно! – но Иван Лутонин не смеется, а только, улыбочиво прищутив глаза, морщит переносицу, расширяя ноздри.

Сны его – не затейливы, они так же скучны и нелепы, как действительность, и я не понимаю: почему он сны свои рассказывал с увлечением, а о том, что живет вокруг него – не любит говорить?[6]

Весь город взволнован: застрелилась, приехав из-под венца, насильно выданная замуж дочь богатого торговца чаем. За гробом ее шла толпа молодежи, несколько тысяч человек, над могилой студенты говорили речи, полиция разгоняла их. В маленьком магазине рядом с пекарней все кричат об этой драме, комната за магазином набита студентами, к нам в подвал доносятся возбужденные голоса, резкие слова.

– Косы ей драли мало, девице этой, – говорит Лутонин, и вслед за этим сообщает:

– Ловлю, будто, я карасей в пруде, вдруг – полицейский: стой, как ты смеешь? Бежать некуда, нырнул я в воду и – проснулся.

Но, хотя действительность протекала где-то за пределами его внимания, – он скоро почувствовал, что в булочной есть что-то необычайное: в магазине торгуют девицы, неспособные к этому делу, читающие книжки – сестра хозяина и подруга ее, большая, розовощекая, с ласковыми глазами. Приходят студенты, долго сидят в комнате за магазином, и кричат или шепчутся о чем-то. Хозяин бывает редко, а я – «подручный» – являюсь, как будто, управляющим булочной.

– Родственник ты хозяину? – спрашивает Лутонин. – А, может, он тебя в зятя прочит? Нет. Смешно. А – зачем студенты шляются? Для барышень... Н-да. Ну, это может быть... Хотя барышни незначительно вкусно-красивы... Студентки-то, наверно, больше – едят булки, чем для барышень стараются...

Почти ежедневно в пять, шесть часов утра, на улице, у окна пекарни является коротконогая девушка; сложенная из полушарий различных размеров, она похожа на мешок арбузов. Спустив голые ноги в яму перед окном, она, позевывая, зовет:

– Ваня!

На голове у нее пестрый платок, из-под него выбиваются курчавые, светлые волосы, осыпая мелкими колечками ее красные, мячами надутые щеки, низенький лоб, щекоча полусонные глаза. Она лениво отмахивает волосы с лица маленькими руками, пальцы их забавно растопырены, точно у новорожденного ребенка. Интересно – о чем можно говорить с такой девицей. Я бужу пекаря, он спрашивает ее:

– Пришла?

– Видишь.

– Спала?

– Ну, а как же?

– Что видела во сне?

– Не помню...

Тихо в городе. Впрочем – где-то шаркает метла дворника, чирикают только что проснувшиеся воробьи. В стекла окон упираются тепленькие лучи восходящего солнца. Очень приятны мне эти задумчивые начала дней. Вытянув в окно волосатую руку, пекарь щупает ноги девицы, она подчиняется исследованию равнодушно, без улыбки, мигая овечьими глазами.

– Пешков, вынимай сдобное, пора.

Я вынимаю из печи железные листы, пекарь хватает с них десяток плюшек, слоев, саек, бросая их в подол девушке, а она, перебрасывая горячую плюшку с ладони на ладонь, кусает ее желтыми зубами овцы, обжигается и сердито стонет, мычит.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
Любуясь ею, пекарь говорит:

– Опустит подол, бесстыдница...

А когда она уходит, он хвастается предо мною:

– Видал? Как ярочка, вся в кудряшках. Я, брат, чистоплотный: с бабами не живу, только с девицами. Это у меня – тринадцатая. Никифору – крестная дочь.

Слушая его восторги, я думаю:

– И мне – так жить?

Вынув из печи весовой белый хлеб, я кладу на длинную доску десять, двенадцать короваев, и поспешно несу их в лавочку Деренкова, а возвратясь назад, набиваю двухпудовую корзину булками и сдобными, и бегу в Духовную академию, чтоб поспеть к утреннему чаю студентов. Там, в обширной столовой, стою у двери, снабжая студентов булками «на книжку» и «за наличный расчет», – стою и слушаю их споры о Толстом; – один из профессоров академии – Гусев – яростный враг Льва Толстого. Иногда у меня в корзине под булками лежат книжки, я должен незаметно сунуть их в руки того или другого студента, иногда – студенты прячут книги и записки в корзину мне.

Раз в неделю я бегаю еще дальше – в «Сумасшедший дом», где читал лекции психиатр Бехтерев, демонстрируя больных. Однажды он показывал студентам больного манией величия: когда в дверях аудитории явился этот длинный человек, в белом одеянии, в колпаке, похожем на чулок, я невольно усмехнулся, но он, остановясь на секунду рядом со мною, взглянул в лицо мне, и я отскочил, – как будто он ударил в сердце мое черным, но огненным острием своего взгляда. И все время, пока Бехтерев, дергая себя за бороду, почтительно беседовал с больным, я тихонько ладонью гладил лицо свое, как будто обоженное горячей пылью.

Больной говорил глухим басом, он чего-то требовал, грозно вытягивая из рукава халата длинную руку с длинными пальцами, мне казалось, что все его тело неестественно вытягивается, бесконечно растет, что этой темной рукою он, не сходя с места, достигнет меня и схватит за горло. Угрожающе и властно блестел из темных ям костлявого лица пронизывающий взгляд черных глаз. Десятка два студентов рассматривают человека в нелепом колпаке, многие – улыбаясь, большинство – сосредоточенно и печально, их глаза подчеркнуты обыкновенны, в сравнении с его обжигающими глазами. Он страшен, и что-то величественное есть в нем, – есть.

В рыбьем молчании студентов отчетливо звучит голос профессора, каждый вопрос его вызывает грозные окрики глухого голоса, он исходит как будто из-под пола, из мертвых, белых стен, движения тела больного архиерейски медленны и важны.

Ночью я писал стихи о маниаке, называя его «владыкой всех владык, другом и советником бога», и долго образ его жил со мною, мешая мне жить.

Работая от шести часов вечера почти до полудня, днем я спал, и мог читать только между работой, замесив тесто, ожидая, когда закиснет другое, и посадив хлеб в печь. По мере того, как я постигал тайны ремесла, пекарь работал все меньше, он меня «учил», говоря с ласковым удивлением:

– Ты – способный к работе, – через год, два – будешь пекарем. Смешно. Молодой ты, не будут слушать тебя, уважать не будут...

К моему увлечению книгами он относился неодобрительно:

– Ты бы не читал, а спал, – заботливо советовал он, но никогда не спрашивал, какие книги читаю я.

Сны, мечты о кладах и круглая, коротенькая девица совершенно поглощали его. Девица нередко приходила ночью, и тогда он или уводил ее в сени на мешки муки, или – если было холодно – говорил мне, сморщив переносье:

– Выдь на полчаса.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru
– Я уходил, думая: как страшно не похожа эта любовь на ту, о которой пишут в книгах...

В маленькой комнатке за магазином жила сестра хозяина, я кипятил для нее самовары, но старался возможно реже видеть ее – неловко было мне с нею. Ее детские глаза смотрели на меня все тем же невыносимым взглядом, как при первых встречах, в глубине этих глаз я подозревал улыбку и мне казалось, что это насмешливая улыбка.

От избытка сил я был очень неуклюж, пекарь, наблюдая как я ворочаю и таскаю пятипудовые мешки, говорил, сожалея:

– Силы у тебя – на троих, а ловкости нет. И, хоша ты длинный, а все-таки – бык...

Несмотря на то, что я уже немало прочитал книг, любил читать стихи и сам начинал писать их, – говорил я «своими словами». Я чувствовал, что они тяжелы, резки, но мне казалось, что только ими я могу выразить глубочайшую путаницу моих мыслей. А иногда я грубил нарочито, из протеста против чего-то чуждого мне и раздражавшего меня.

Один из учителей моих, студент математик, упрекал меня:

– Чорт вас знает, как говорите вы. Не словами, а – гирями!

Вообще – я не нравился себе, как это часто бывает у подростков; видел себя смешным, грубым. Лицо у меня – скуластое, калмыцкое, голос – не послушен мне.

А сестра хозяина двигалась быстро, ловко, как ласточка в воздухе и мне казалось, что легкость ее движений разноречит с круглой, мягкой фигуркой ее. Что-то неверное есть в ее жестах и походке, что-то нарочное. Голос ее звучит весело, она часто смеется и, слыша этот звонкий смех, я думаю: ей хочется, чтоб я забыл о том, какую я видел ее в первый раз. А я не хотел забыть об этом, мне было дорого необыкновенное, мне нужно было знать, что оно возможно, существует.

Иногда она спрашивала меня:

– Что вы читаете?

Я отвечал кратко, и мне хотелось спросить ее:

– А вам зачем знать это?

Однажды пекарь, лаская коротконогую, сказал мне хмельным голосом:

– Выдь на минутку. Эх, шел бы ты к хозяйской сестре, чего зеваешь? Ведь студенты...

Я обещал разбить ему голову гирей, если он скажет еще что-нибудь такое же, и ушел в сени, на мешки. В щель неплотно прикрытой двери слышу голос Лутонина:

– Зачем я буду сердиться на него? Он насосался книг и – вроде сумасшедшего живет...

В сенях пищат и возятся крысы, в пекарне мычит и стонет девица. Я вышел на двор; там лениво, почти бесшумно сыплется мелкий дождь, но все-таки душно, воздух насыщен запахом гари – горят леса. Уже далеко за полночь. В доме напротив булочной открыты окна; в комнатах, не ярко освещенных, поют:

Сам Варлаамий святой
С золотой головой,
Сверху глядя на них,
Улыбается...

Я пытаюсь представить себе Марию Деренкову лежащей на коленях у меня, – как лежит на коленях пекаря его девица – и всем существом моим чувствую, что это невозможно, даже страшно.

И всю ночь, напролет,
Он и пьет, и поет,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
И еще-о!.. кое-чем
Занимается..

Задорно выделяется из хора густое, басовое – о. Согнувшись, упираясь руками в колени, я смотрю в окно; сквозь кружево занавески мне видно квадратную яму, серые стены ее освещает маленькая лампа под голубым абажуром, перед нею, лицом к окну, сидит девушка и пишет. Вот – подняла голову и красной вставкой для пера поправила прядь волос на виске. Глаза ее прищурены, лицо улыбается. Она медленно складывает письмо, заклеивает конверт, проводя языком по краям его и, бросив конверт на стол, грозит ему маленьким пальцем, – меньше моего мизинца. Но – снова берет письмо, хмурясь, разрывает конверт, читает, заклеивает в другой конверт, пишет адрес, согнувшись над столом, и размахивает письмом в воздухе как белым флагом. Кружась, всплескивая руками, идет в угол, где ее постель, потом выходит оттуда, сняв кофточку – плечи у нее круглые, как пышки – берет лампу со стола и скрывается в углу. Когда наблюдаешь, как ведет себя человек наедине сам с собою, – он кажется безумным. Я хожу по двору, думая о том, как странно живет эта девушка, когда она одна в своей норе.

А когда к ней приходил рыжеватый студент и пониженным голосом, почти шопотом, говорил ей что-то, она вся сжималась, становясь еще меньше, смотрела на него, робко улыбаясь, и прятала руки за спину или под стол. Не нравился мне этот рыжий. Очень не нравился.

Пошатываясь, кутаясь в платок, идет коротконогая и урчит:

– Иди в пекарню..

Пекарь, выкидывая тесто из ларя, рассказывает мне, как утешительна и неутомима его возлюбленная, а я – соображаю:

– Что же будет со мною дальше?

И мне кажется, что где-то близко, за углом, меня ожидает несчастье.

Дела булочной идут так хорошо, что Деренков ищет уже другую, более обширную пекарню и решил нанять еще подручного. Это – хорошо, у меня слишком много работы, я устаю до отупения.

– В новой пекарне ты будешь старшим подручным, – обещает мне пекарь. – Скажу, чтоб положили тебе десять рублей в месяц. Да.

Я понимаю, что ему выгодно иметь меня старшим, он – не любит работать, а я работаю охотно, усталость полезна мне, она гасит тревоги души, сдерживает настойчивые требования инстинкта пола. Но – не позволяет читать.

– Хорошо, что ты бросил книжки, – крысы бы съели их! – говорит пекарь. – А – неужто ты снов не видишь? Наверно – видишь, только – скрытен ты. Смешно. Ведь сны рассказывать – самое безвредное дело, тут опасаться нечего..

Он очень ласков со мною, кажется, – даже уважает меня. Или – боится, как хозяйского ставленника, хотя это не мешает ему аккуратно воровать товар.

Умерла бабушка. Я узнал о смерти её через семь недель после похорон, из письма, присланного двоюродным братом моим. В кратком письме – без запятых – было сказано, что бабушка, собирая милостыню на паперти церкви и упав, сломала себе ногу. На восьмой день «прикинулся антонов огонь». Позднее я узнал, что оба брата и сестра с детьми – здоровые, молодые люди – сидели на шее старухи, питаются милостыней, собранной ею. У них не хватило разума позвать доктора.

В письме было сказано:

«Схоронили её на Петропавловском где все наши провожали мы и нищие они её любили и плакали. Дедушка тоже плакал нас прогнал а сам остался на могиле мы смотрели из кустов как он плакал он тоже скоро помрёт».

Я – не плакал, только – помню – точно ледяным ветром охватило меня. Ночью, сидя на дворе, на поленнице дров, я почувствовал настойчивое желание рассказать кому-нибудь о бабушке, о том, какая она была сердечно-умная, мать всем людям. Долго носил я в душе тяжёлое желание, но рассказать было некому, так оно,

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
невывысказанное, и перегорело.

Я вспомнил эти дни много лет спустя, когда прочитал удивительно правдивый рассказ А.П. Чехова про извозчика, который беседовал с лошадей о смерти сына своего. И пожалел, что в те дни острой тоски не было около меня ни лошади, ни собаки и что я не догадался поделиться горем с крысами, – их было много в пекарне, и я жил с ними в отношениях доброй дружбы.

Около меня начал коршуном кружиться городской Никифорыч. Статный, крепкий, в серебряной щетине на голове, с окладистой, заботливо постриженной бородкой, он, вкусно причмокивая, смотрел на меня, точно на битого гуся перед рождеством.

– Читать любишь, слышал я? – спрашивал он. – Какие же книги, например? Скажем – жития святых али библию?

И библию читал я, и четьи-минеи, – это удивляло Никифорыча, видимо, сбивая его с толка.

– М-да? чтение – законно полезное! А – графа Толстого сочинений не случалось читать?

Читал я и Толстого, но – оказалось – не те сочинения, которые интересовали полицейского.

– Это, скажем так, обыкновенные сочинения, которые все пишут, а, говорят, в некоторых он против попов вооружился, – их бы почитать!

«Некоторые», напечатанные на гектографе, я тоже читал, но они мне показались скучными, и я знал, что о них не следует рассуждать с полицией.

После нескольких бесед на ходу, на улице, старик стал приглашать меня:

– Заходи ко мне на будку, чайку попить.

Я, конечно, понимал, что он хочет от меня, но – мне хотелось идти к нему. Посоветовался с умными людьми, и было решено, что если я уклонюсь от любезности будочника, – это может усилить его подозрения против пекарни.

И вот – я в гостях у Никифорыча. Треть маленькой конуры занимает русская печь, треть – двуспальная кровать за ситцевым пологом, со множеством подушек в кумачовых наволоках, остальное пространство украшает шкаф для посуды, стол, два стула и скамья под окном. Никифорыч, расстегнув мундир, сидит на скамье, закрывая телом своим единственное маленькое окно, рядом со мною – его жена, пышногрудая бабёнка лет двадцати, румяноликая, с лукавыми и злыми глазами странного, сизого цвета; ярко-красные губы её капризно надуты, голосок сердито суховат.

– Известно мне, – говорит полицейский, – что в пекарню к вам ходит крестница моя Секлетя, девка распутная и подлая. И все бабы – подлые.

– Все? – спрашивает его жена.

– До одной! – решительно подтверждает Никифорыч, брякая медалями, точно конь сбруей. И, выхлебнув с блюдца чай, смачно повторяет:

– Подлые и распутные от последней уличной... и даже до цариц! Савская царица к царю Соломону пустыней ездил за две тысячи вёрст для распутства. А также царица Екатерина, хоша и прозвана Великой...

Он подробно рассказывает историю какого-то истопника, который в одну ночь с царицей получил все чины от сержанта до генерала. Его жена, внимательно слушая, облизывает губы и толкает ногою под столом мою ногу. Никифорыч говорит очень плавно, вкусными словами и, как-то незаметно для меня, переходит на другую тему:

– Например: есть тут студент первого курса Плетнёв.

Супруга его, вздохнув, вставила:

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax

– Некрасивый, а – хорош!

– Кто?

– Господин Плетнёв.

– Во-первых – не господин, господином он будет, когда выучится, а покамест просто студент, каких у нас тысячи. Во-вторых – что значит – хорош?

– Весёлый. Молодой.

– Во-первых – паяц в балагане тоже весёлый...

– Паяц – за деньги веселится.

– Цыц! Во-вторых – и кобель кутёнком бывает...

– Паяц – вроде обезьяны...

– Цыц, сказал я, между прочим! Слышала?

– Ну, слышала.

– То-то...

И Никифорыч, укротив жену, советует мне:

– Вот – познакомься-ко с Плетнёвым, – очень интересный!

Так как он видел меня с Плетнёвым на улице, вероятно, не один раз, я говорю:

– Мы знакомы.

– Да? Так...

В его словах звучит досада, он порывисто двигается, брякают медали. А я – насторожился: мне было известно, что Плетнёв печатает на гектографе некие листочки.

Женщина, толкая меня ногою, лукаво подзадоривает старика, а он, надуваясь павлином, распускает пышный хвост своей речи. Шалости супруги его мешают мне слушать, и я снова не замечаю, когда изменился его голос, стал тише, внушительнее.

– Незримая нить – понимаешь? – спрашивает он меня и смотрит в лицо моё округлёнными глазами, точно испугавшись чего-то. – Прими государь-императора за паука...

– Ой, что ты! – воскликнула женщина.

– Тебе – молчать! Дура, – это говорится для ясности, а не в поношение, кобыла! Убирай самовар...

Сдвинув брови, прищутив глаза, он продолжает внушительно:

– Незримая нить – как бы паутинка – исходит из сердца его императорского величества государь-императора Александра Третьего и прочая, – проходит она сквозь господ министров, сквозь его высокопревосходительство губернатора и все чины вплоть до меня и даже до последнего солдата. Этой нитью всё связано, всё оплетено, незримой крепостью её и держится на веки вечные государево царство. А – полячишки, жида и русские подкуплены хитрой английской королевой, стараются эту нить порвать где можно, будто бы они – за народ!

Грозным шопотом он спрашивает, наклоняясь ко мне через стол:

– Понял? То-то. Я тебе почему говорю? Пекарь твой хвалит тебя, ты, дескать, парень умный, честный и живёшь – один. А к вам, в булочную, студенты шляются, сидят у Деренковой по ночам. Ежели – один, понятно. Но – когда много? А? Я

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
против студентов не говорю – сегодня он студент, а завтра – товарищ прокурора.
Студенты – хороший народ, только они торопятся роли играть, а враги царя –
подзуживают их! Понимаешь? И ещё скажу...

Но он не успел сказать – дверь широко распахнулась, вошёл красноносый, маленький старичок с ремешком на кудрявой голове, с бутылкой водки в руке и уже выпивший.

– Шашки двигать будем? – весело спросил он и тотчас весь заблестел огоньками прибауток.

– Тесть мой, жене отец, – с досадой, угрюмо сказал Никифорыч.

Через несколько минут я простился и ушёл, лукавая баба, притворяя за мною дверь будки, ущипнула меня, говоря:

– Облака-то какие красные – огонь!

В небе таяло одно маленькое, золотистое облако.

Не желая обижать учителей моих, я скажу всё-таки, что будочник решительнее и нагляднее, чем они, объяснил мне устройство государственного механизма. Где-то сидит паук, и от него исходит, скрепляя, опутывая всю жизнь, «незримая нить». Я скоро научился всюду ощущать крепкие петельки этой нити.

Поздно вечером, заперев магазин, хозяйка позвала меня к себе и деловито сообщила, что ей поручено узнать – о чём говорил со мной будочник?

– Ах, боже мой! – тревожно воскликнула она, выслушав подробный доклад, и забегала, как мышь, из угла в угол комнаты, встряхивая головою. – Что, – пекарь не выпрашивает вас ни о чём? Ведь его любовница – родня Никифорыча, да? Его надо прогнать.

Я стоял, прислонясь у косяка двери, глядя на неё исподлобья. Она как-то слишком просто произнесла слово «любовница» – это не понравилось мне. И не понравилось её решение прогнать пекаря.

– Будьте очень осторожны, – говорила она, и, как всегда, меня смущал цепкий взгляд её глаз, казалось – он спрашивает меня о чём-то, чего я не могу понять. Вот она остановилась предо мною, спрятав руки за спину.

– Почему вы всегда такой угрюмый?

– У меня недавно бабушка умерла.

Это показалось ей забавным; улыбаясь, она спросила:

– Вы очень любили её?

– Да. Больше вам ничего не нужно?

– Нет.

Я ушёл и ночью написал стихи, в которых, помню, была упрямая строка:

«Вы – не то, чем хотите казаться».

Было решено, чтоб студенты посещали булочную возможно реже. Не видя их, я почти потерял возможность спрашивать о непонятном мне в прочитанных книгах и стал записывать вопросы, интересовавшие меня, в тетрадь. Но однажды, усталый, заснул над нею, а пекарь прочитал мои записки. Разбудив меня, он спросил:

– Что это ты пишешь? «Почему Гарибальди не прогнал короля?» Что такое Гарибальди? И – разве можно гонять королей?

Сердито бросил тетрадь на ларь, залез в приямок и ворчал там:

– Скажи пожалуйста – королей гонять надобно ему! Смешно. Ты эти затеи – брось. Читатель! Лет пять тому назад в Саратове таких читателей жандармы ловили, как

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
мышей, да. Тобой и без этого Никифорыч интересуется. Ты – оставь королей гонять, это тебе не голуби!

Он говорил с добрым чувством ко мне, а я не мог ответить ему так, как хотелось бы, – мне запретили говорить с пекарем на «опасные темы».

В городе ходила по рукам какая-то волнующая книжка, её читали и – ссорились. Я попросил ветеринара Лаврова достать мне её, но он безнадежно сказал:

– Э, нет, батя, не ждите! Впрочем – кажется, её на-днях будут читать в одном месте, может быть, я сведу вас туда..

В полночь успеньева дня я шагаю Арским полем, следя, сквозь тьму, за фигурой Лаврова, он идёт сажень на пятьдесят впереди. Поле – пустынно, а всё-таки я иду «с предосторожностями», – так советовал Лавров, – насвистываю, напеваю, изображая «мастерового под хмельком». Надо мною лениво плывут чёрные клочья облаков, между ними золотым мячом катится луна, тени кроют землю, лужи блестят серебром и сталью. За спиной сердито гудит город.

Путеводитель мой останавливается у забора какого-то сада за духовной академией, я торопливо догоняю его. Молча перелезаем через забор, идём густо заросшим садом, задевая ветви деревьев, крупные капли воды падают на нас. Остановясь у стены дома, тихо стучим в ставень наглухо закрытого окна, – окно открывает кто-то бородатый, за ним я вижу тьму и не слышу ни звука.

– Кто?

– От Якова.

– Влезайте.

В крошечной тьме чувствуется присутствие многих людей, слышен шорох одежд и ног, тихий кашель, шопот. Вспыхивает спичка, освещая моё лицо, я вижу у стен на полу несколько тёмных фигур.

– Все?

– Да.

– Занавесьте окна, чтобы не видно было свет сквозь щели ставен.

Сердитый голос громко говорит: – Какой это умник придумал собрать нас в нежилом доме? – Тише! В углу зажгли маленькую лампу. Комната – пустая, без мебели, только – два ящика, на них положена доска, а на доске – как галки на заборе – сидят пятеро людей. Лампа стоит тоже на ящике, поставленном «попом». На полу у стен ещё трое и на подоконнике один, юноша с длинными волосами, очень тонкий и бледный. Кроме его и бородача, я знаю всех. Бородатый басом говорит, что он будет читать брошюру «Наши разногласия», её написал Георгий Плеханов, «бывший народоволец».

Во тьме на полу кто-то рычит:

– Знаем!

Таинственность обстановки приятно волнует меня; поэзия тайны – высшая поэзия. Чувствую себя верующим за утренней службой во храме и вспоминаю катакомбы, первых христиан. Комнату наполняет глуховатый бас, отчётливо произносятся слова.

– Ер-рунда, – снова рычит кто-то из угла.

Там в темноте загадочно и тускло блестит какая-то медь, напоминая о шлеме римского воина. Догадываюсь, что это отдушник печи.

В комнате гудят пониженные голоса, они сцепились в тёмный хаос горячих слов, и нельзя понять, кто что говорит. С подоконника, над моей головой, насмешливо и громко спрашивают:

– Будем читать или нет?

Это говорит длинноволосый бледный юноша. Все замолчали, слышен только бас чтеца. Вспыхивают спички, сверкают красные огоньки папирос, освещая задумавшихся людей, прищуренные или широко раскрытые глаза.

Чтение длится утомительно долго, я устаю слушать, хотя мне нравятся острые и задорные слова, легко и просто они укладываются в убедительные мысли.

Как-то сразу, неожиданно пресекается голос чтеца, тотчас же комната наполнилась возгласами возмущения:

– Ренегат!

– Медь звенящая!..

– Это – плевок в кровь, пролитую героями.

– После казни Генералова, Ульянова...

И снова с подоконника раздаётся голос юноши:

– Господа, – нельзя ли заменить ругательства серьёзными возражениями, по существу?

Я не люблю споров, не умею слушать их, мне трудно следить за капризными прыжками возбуждённой мысли, и меня всегда раздражает обнажённое самолюбие спорящих. Юноша, наклонясь с подоконника, спрашивает меня: – Вы – Пешков, булочник? Я – Федосеев. Нам надо бы познакомиться. Собственно – здесь делать нечего, шум этот – надолго, а пользы в нём мало. Идёмте? О Федосееве я уже слышал как об организаторе очень серьёзного кружка молодёжи, и мне понравилось его бледное, нервное лицо с глубокими глазами. Идя с мною по полю, он спрашивал, есть ли у меня знакомства среди рабочих, что я читаю, много ли имею свободного времени, и, между прочим, сказал: – Слышал я об этой булочной вашей, – странно, что вы занимаетесь чепухой. Зачем это вам?

С некоторой поры я и сам чувствовал, что мне это не нужно, о чём и сказал ему. Его обрадовали мои слова; крепко пожав мне руку, ясно улыбаясь, он сообщил, что через день уезжает недели на три, а возвратясь, даст мне знать, как и где мы встретимся. Дела булочной шли весьма хорошо, лично мои – всё хуже. Переехали в новую пекарню, и количество обязанностей моих возросло ещё более. Мне приходилось работать в пекарне, носить булки по квартирам, в академию и в «институт благородных девиц». Девицы, выбирая из корзины моей сдобные булки, подсовывали мне записочки, и нередко на красивых листочках бумаги с изумлением читал циничные слова, написанные полудетским почерком. Странно чувствовал я себя, когда весёлая толпа чистеньких, ясноглазых барышень окружала корзину и, забавно гримасничая, перебирала маленькими розовыми лапками кучу булок, – смотрел я на них и старался угадать – которые пишут мне бесстыдные записки, может быть, не понимая их зазорного смысла? И, вспоминая грязные «дома утешения», думал: «Неужели из этих домов и сюда простирается «незримая нить»?»

Одна из девиц, полногрудая брюнетка, с толстой косою, остановив меня в коридоре, сказала торопливо и тихо: – Дам тебе десять копеек, если ты отнесёшь эту записку по адресу.

Её тёмные, ласковые глаза налились слезами, она смотрела на меня, крепко прикусив губы, а щёки и уши у неё густо покраснели. Принять десять копеек я благородно отказался, а записку взял и вручил сыну одного из членов судебной палаты, длинному студенту с чахоточным румянцем на щеках. Он предложил мне полтинник, молча и задумчиво отсчитав деньги мелкой медью, а когда я сказал, что это мне не нужно, – сунул медь в карман своих брюк, но – не попал, и деньги рассыпались по полу.

Растерянно глядя, как пятаки и семишники катятся во все стороны, он потирал руки так крепко, что трещали суставы пальцев, и бормотал, трудно вздыхая: – Что же теперь делать? Ну, прощай! Мне нужно подумать... Не знаю, что он выдумал, но я очень пожалел барышню. Скоро она исчезла из института, а лет через пятнадцать я встретил её учительницей в одной крымской гимназии, она страдала туберкулёзом и говорила обо всём в мире с беспощадной злобой человека, оскорблённого жизнью.

Кончив разносить булки, я ложился спать, вечером работал в пекарне, чтоб к полуночи выпустить в магазин сдобное, – булочная помещалась около городского театра, и после спектакля публика заходила к нам истреблять горячие слойки. Затем шёл месить тесто для весового хлеба и французских булок, а замесить руками пятнадцать, двадцать пудов – это не игрушка.

Снова спал часа два, три и снова шёл разносить булки.

Так – изо дня в день.

А мною овладел нестерпимый зуд сеять «разумное, доброе, вечное». Человек общительный, я умел живо рассказывать, фантазия моя была возбуждена пережитым и прочитанным. Очень немного нужно было мне для того, чтоб из обыденного факта создать интересную историю, в основе которой капризно извивалась «незримая нить». У меня были знакомства с рабочими фабрик Крестовникова и Алафузова; особенно близок был мне старик ткач Никита Рубцов, человек, работавший почти на всех ткацких фабриках России, беспокойная, умная душа.

– Пятьдесят и семь лет хожу я по земле, Лексей ты мой Максимыч, молодой ты мой шиш, новый челночок! – говорил он придушенным голосом, улыбаясь большими, серыми глазами в тёмных очках, самодельно связанных медной проволокой, от которой у него на переносице и за ушами являлись зелёные пятна окиси. Ткачи звали его Немцем за то, что он брил бороду, оставляя тугие усы и густой клок седых волос под нижней губой. Среднего роста, широкогрудый, он был исполнен скорбной весёлостью.

– Люблю в цирк ходить, – говорил он, склоняя на левое плечо лысый, шишковатый череп. – Лошадей – скотов – как выучивают, а? Утешительно. Гляжу на скот с почтением, – думаю: ну, значит, и людей можно научить пользоваться разумом. Скота – сахаром подкупают циркачи, ну, мы, конечно, сахар в лавочке купить способны. Нам – для души сахар нужно, а это будет – ласка! Значит, парень, лаской надо действовать, а не поленом, как установлено промежду нас, – верно?

Сам он был не ласков с людьми, говорил с ними полупрезрительно и насмешливо, в спорах возражал односложными восклицаниями, явно стараясь обидеть совопросника. Я познакомился с ним в пивной, когда его собирались бить и уже дважды ударили, я вступился и увёл его.

– Больно ударили вас? – спросил я, идя с ним во тьме, под мелким дождём осени.

– Ну, – так-ли бьют? – равнодушно сказал он. – Постой-ка, – почему это ты со мной на «вы» говоришь?

С этого и началось наше знакомство. Вначале он высмеивал меня остроумно и ловко, но когда я рассказал ему, какую роль в жизни нашей играет «незримая нить», он задумчиво воскликнул:

– А ты – не глуп, нет! Ишь ты?.. – И стал относиться ко мне отечески ласково, даже именуя меня по имени и отчеству.

– Мысли твои, Лексей ты мой Максимыч, шило моё милое, – правильные мысли, только никто тебе не поверит, невыгодно..

– Вы верите?

– Я – пёс бездомный, короткохвостый, а народ состоит из цепных собак, на хвосте каждого репья много: жёны, дети, гармошки, калошки. И каждая собачка обожает свою конуру. Не поверят. У нас – у Морозова на фабрике – было дело! Кто впереди идёт, того по лбу бьют, а лоб – не задница, долго саднится.

Он стал говорить несколько иначе, когда познакомился со слесарем Шапошниковым, рабочим Крестовникова, – чахоточный Яков, гитарист, знаток библии поразил его яростным отрицанием бога. Расплёвывая во все стороны кровавые шматки изгнивших лёгких, Яков крепко и страстно доказывал:

– Первое: создан я вовсе не «по образу и подобию божию», – я ничего не знаю, ничего не могу и, притом, не добрый человек, нет, не добрый! Второе: бог не

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma знает, как мне трудно, или знает, да не в силе помочь, или может помочь, да – не хочет. Третье: бог не всезнающий, не всемогущий, не милостив, а – проще – нет его! Это – выдуманно, всё выдуманно, вся жизнь выдуманна, однако – меня не обманешь!

Рубцов изумился до немоты, потом посерел от злости и стал дико ругаться, но Яков торжественным языком цитат из библии обезоружил его, заставил умолкнуть и вдумчиво съёжиться.

Говоря, Шапошников становился почти страшен. Лицо у него было смуглое, тонкое, волосы курчавые и чёрные, как у цыгана, из-за синеватых губ сверкали волчьи зубы. Тёмные глаза его неподвижно упирались прямо в лицо противника, и трудно было выдержать этот тяжёлый, сгибающий взгляд – он напоминал мне глаза больного манией величия.

Идя со мною от Якова, Рубцов говорил угрюмо:

– Против бога предо мной не выступали. Этого я никогда не слышал. Всякое слышал, а такого – нет. Конечно, человек этот не жилец на земле. Ну, – жалко! Раскалился добела... Интересно, брат, очень интересно.

Он быстро и дружески сошёлся с Яковым и весь как-то закипел, заволновался, то и дело отирая пальцами больные глаза.

– Та-ак, – ухмыляясь, говорил он, – бога, значит, в отставку? Хм! Насчёт царя у меня, шпигорь ты мой, свои слова: мне царь не помеха. Не в царях дело – в хозяевах. Я с каким хошь царём помирюсь, хошь с Иван Грозным: на, сиди, царствуй, коли любо, только – дай ты мне управу на хозяина, – во-от! Дашь – золотыми цепями к престолу прикую, молиться буду на тебя...

Прочитав «Царь–Голод», он сказал:

– Всё – обыкновенно правильно!

Впервые видя литографированную брошюру, он спрашивал меня:

– Кто это тебе написал? Чётко пишет. Ты скажи ему – спасибо[7].

Рубцов обладал ненасытной жадностью знать. С величайшим напряжением внимания он слушал сокрушительные богохульства Шапошникова, часами слушал мои рассказы о книгах и радостно хохотал, закинув голову, выгибая кадык, восхищаясь:

– Ловкая штучка умишко человечесий, ой, ловкая!

Сам он читал с трудом, – мешали больные глаза, но он тоже много знал и нередко удивлял меня этим:

– Есть у немцев плотник необыкновенного ума, – его сам король на советы приглашает.

Из расспросов моих выяснилось, что речь идёт о Бебеле.

– Как вы это знаете?

– Знаю, – кратко отвечал он, почёсывая мизинцем шишковатый череп свой.

Шапошникова не занимала тяжкая сумятица жизни, он был весь поглощён уничтожением бога, осмеянием духовенства, особенно ненавидя монахов.

Однажды Рубцов миролюбиво спросил его:

– Что ты, Яков, всё только против бога кричишь?

Он завыл ещё более озлобленно:

– А что ещё мешает мне, ну? Я почти два десятка лет веровал, в страхе жил пред ним. Терпел. Спорить – нельзя. Установлено сверху. Жил связан. Вчитался в библию – вижу: выдуманно! Выдуманно, Никита!

И, размахивая рукою, точно разрывая «незримую нить», он почти плакал:

– Вот – умираю через это раньше время!

Было у меня ещё несколько интересных знакомств, нередко забегал я в пекарню Семёнова к старым товарищам, они принимали меня радостно, слушали охотно. Но – Рубцов жил в Адмиралтейской слободе, Шапошников – в Татарской, далеко за Кабаном, верстах в пяти друг от друга, я очень редко мог видеть их. А ко мне ходить – невозможно, нигде было принять гостей, к тому же новый пекарь, отставной солдат, вёл знакомство с жандармами; задворки жандармского управления соприкасались с нашим двором, и солидные «синие мундиры» лазили к нам через забор – за булками для полковника Гангардта и хлебом для себя. И ещё: мне было рекомендовано не очень «высовываться в люди», дабы не привлекать к булочной излишнего внимания.

Я видел, что работа моя теряет смысл. Всё чаще случалось, что люди, не считаясь с ходом дела, выбирали из кассы деньги так неосторожно, что иногда нечем было платить за муку. Деренков, теребя бородку, уныло усмехался:

– Обанкротимся.

Ему жилось тоже плохо: рыжекудрая Настя ходила «не порожней» и фыркала злой кошкой, глядя на всё и на всех зелёным, обиженным взглядом.

Она шагала прямо на Андрея, как будто не видя его; он, виновато ухмыляясь, уступал ей дорогу и вздыхал.

Иногда он жаловался мне:

– Несерьёзно всё. Все всё берут, – без толку. Купил себе полдюжины носков – сразу исчезли!

Это было смешно – о носках, – но я не смеялся, видя, как бьётся скромный, бескорыстный человек, стараясь наладить полезное дело, а все вокруг относятся к этому делу легкомысленно и беззаботно, разрушая его. Деренков не рассчитывал на благодарность людей, которым служил, но – он имел право на отношение к нему более внимательное, дружеское и не встречал этого отношения. А семья его быстро разрушилась, отец заболел тихим помешательством на религиозной почве, младший брат начал пить и гулять с девицами, сестра вела себя, как чужая, и у неё, видимо, разыгрывался невесёлый роман с рыжим студентом, я часто замечал, что глаза её опухли от слёз, и студент стал ненавистен мне.

Мне казалось, что я влюблен в Марию Деренкову. Я был влюблен также в продавщицу из нашего магазина Надежду Щербатову, дородную, краснощёкую девицу, с неизменно ласковой улыбкой алых губ. Я вообще был влюблен. Возраст, характер и запутанность моей жизни требовали общения с женщиной, и это было скорее поздно, чем преждевременно. Мне необходима была женская ласка или хотя бы дружеское внимание женщины, нужно было говорить откровенно о себе, разобраться в путанице бессвязных мыслей, в хаосе впечатлений.

Друзей у меня – не было. Люди, которые смотрели на меня как на «материал, подлежащий обработке», не возбуждали моих симпатий, не вызывали на откровенность. Когда я начинал говорить им не о том, что интересовало их, – они советовали мне:

– Бросьте это!

Гурия Плетнёва арестовали и отвезли в Петербург, в «Кресты». Первый сказал мне об этом Никифорыч, встретив меня рано утром на улице. Шагая навстречу мне задумчиво и торжественно, при всех медалях, – как будто возвращаясь с парада, – он поднял руку к фуражке и молча разминул со мной, но тотчас остановясь, сердитым голосом сказал в затылок мне:

– Гурия Александровича арестовали сегодня ночью...

И, махнув рукою, добавил потише, оглядываясь:

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– Пропал юноша!

Мне показалось, что на его хитрых глазах блестят слёзы.

Я знал, что Плетнёв ожидал ареста, он сам предупредил меня об этом и советовал не встречаться с ним ни мне, ни Рубцову, с которым он так же дружески сошёлся, как и я.

Никифорыч, глядя под ноги себе, скучно спросил:

– Что не приходишь ко мне?..

Вечером я пришёл к нему, он только что проснулся и, сидя на постели, пил квас, жена его, согнувшись у окошка, чинила штаны.

– Так-то вот, – заговорил будочник, почёсывая грудь, обросшую енотовой шерстью, и глядя на меня задумчиво. – Арестовали. Нашли у него кастрюлю, – он в ней краску варил для листков против государя.

И, плюнув на пол, он сердито крикнул жене:

– Давай штаны!

– Сейчас, – ответила она, не поднимая головы.

– Жалеет, плачет, – говорил старик, показав глазами на жену. – И мне – жаль. Однако – что может сделать студент против государя?

Он стал одеваться, говоря:

– Я, на минуту, выйду.. Ставь самовар, ты.

Жена его неподвижно смотрела в окно, но когда он скрылся за дверью будки, она, быстро повернувшись, протянула к двери туго сжатый кулак, сказав, с великой злобой, сквозь оскаленные зубы:

– У, стерво старое!

Лицо у неё опухло от слёз, левый глаз почти закрыт большим синяком. Вскочила, подошла к печи и, наклонясь над самоваром, зашипела:

– Обману я его, так обману – завоюет! Волком завоюет. Ты – не верь ему, ни единому слову не верь! Он тебя ловит. Врёт он, – никого ему на жаль. Рыбак. Он – всё знает про вас. Этим живёт. Это охота его – людей ловить...

Она подошла вплоть ко мне и голосом нищенки сказала:

– Приласкал бы ты меня, а?

Мне была неприятна эта женщина, но её глаз смотрел на меня с такою злой, острой тоской, что я обнял её и стал гладить жестковатые волосы, растрёпанные и жирные.

– За кем он теперь следит?

– На Рыбнорядской, в номерах за какими-то.

– Не знаешь фамилию?..

Улыбаясь, она ответила:

– Вот я скажу ему, про что ты спрашиваешь меня! Идёт... Гурочку-то он выследил...

И отскочила к печке.

Никифорыч принёс бутылку водки, варенья, хлеба. Сели пить чай. Марина, сидя рядом со мною, подчёркнуто ласково угощала меня, заглядывая в лицо моё здоровым глазом, а супруг её внушал мне:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru
– Незримая эта нить – в сердцах, в костях, ну-ко – вытрави, выдери её? Царь – народу – бог!

И неожиданно спросил:

– Ты вот начитан в книгах, евангелие читал? Ну, как, по-твоему, всё верно там?

– Не знаю.

– По-моему – приписано лишнее. И – не мало. Например – насчёт нищих: блаженны нищие, – чем же это блаженны они? Зря немножко сказано. И вообще, насчёт бедных – много непонятного. Надо различать: бедного от обедневшего. Беден – значит – плох! А кто обеднел – он несчастлив, может быть. Так надо рассуждать. Это – лучше.

– Почему?

Он, пытливо глядя на меня, помолчал, а потом заговорил отчётливо и веско, видимо – очень продуманные мысли.

– Жалости много в евангелии, а жалость – вещь вредная. Так я думаю. Жалость требует громадных расходов на ненужных и вредных даже людей. Богадельни, тюрьмы, сумасшедшие дома. Помогать надо людям крепким, здоровым, чтоб они зря силу не тратили. А мы помогаем слабым, – слабого разве сделаешь сильным? От этой канители крепкие слабеют, а слабые – на шею у них сидят. Вот чем заняться надо – этим! Передумать надо многое. Надо понять – жизнь давно отвернулась от евангелия, у неё – свой ход. Вот, видишь – из чего Плетнёв пропал? Из-за жалости. Нищим подаём, а студенты пропадают. Где здесь разум, а?

Впервые слышал я эти мысли в такой резкой форме, хотя и раньше сталкивался с ними, – они более живучи и шире распространены, чем принято думать. Лет через семь, читая о Ницше, я очень ярко вспомнил философию казанского городского. Скажу кстати: редко встречались мне в книгах мысли, которых я не слышал раньше, в жизни.

А старый «ловец человеков» всё говорил, постукивая в такт словам пальцами по краю подноса. Сухое лицо его строго нахмурилось, но смотрел он не на меня, а в медное зеркало ярко вычищенного самовара.

– Идти пора тебе, – дважды напоминала ему жена, – он не отвечал ей, нанизывал слово за словом на стержень своей мысли, и – вдруг она, неуловимо для меня, потекла по новому пути.

– Ты – парень неглупый, грамотен, разве пристало тебе булочником быть? Ты мог бы не меньше деньги заработать и другой службой государеву царству...

Слушая его, я думал, как предупредить незнакомых людей на Рыбнорядской улице о том, что Никифору следит за ними? Там, в номерах, жил недавно возвратившийся из ссылки, из Ялуторовска, Сергей Сомов, человек, о котором мне рассказывали много интересного.

– Умные люди должны жить кучей, как, примерно, пчёлы в улье или осы в гнёздах. Государево царство...

– Гляди – девять часов, – сказала женщина.

– Чорт!

Никифору встал, застёгивая мундир.

– Ну, ничего, на извозчике поеду. Прощай, брат! Заходи, не стесняйся...

Уходя из будки, я твёрдо сказал себе, что уже никогда больше не приду в «гости» к Никифору, – отталкивал меня старик, хотя и был интересен. Его слова о вреде жалости очень взволновали и крепко въелись мне в память. Я чувствовал в них какую-то правду, но было досадно, что источник её – полицейский.

Споры на эту тему были нередки, один из них особенно жестоко взволновал меня.

В городе явился «толстовец», – первый, которого я встретил, – высокий, жилистый человек, смуглолицый, с чёрной бородой козла и толстыми губами негра. Сутулясь, он смотрел в землю, но, порою, резким движением вскидывал лысоватую голову и обжигал страстным блеском тёмных, влажных глаз, – что-то ненавидящее горело в его остром взгляде. Беседовали в квартире одного из профессоров, было много молодёжи и между нею – тоненький, изящный попик, магистр богословия, в чёрной шёлковой рясе; она очень выгодно оттеняла его бледное красивое лицо, освещённое сухонькой улыбкой серых, холодных глаз.

Толстовец долго говорил о вечной непоколебимости великих истин евангелия; голос у него был глуховатый, фразы короткие, но слова звучали резко, в них чувствовалась сила искренней веры, он сопровождал их однообразным, как бы подсекающим жестом волосатой левой руки, а правую держал в кармане.

– Актёр, – шептали в углу рядом со мною.

– Очень театрален, да...

А я незадолго перед этим прочитал книгу – кажется, Дрепера – о борьбе католицизма против науки, и мне казалось, что это говорит один из тех яростно верующих во спасение мира силою любви, которые готовы, из милосердия к людям, резать их и жечь на кострах.

Он был одет в белую рубаху с широкими рукавами и какой-то серенький, старый халатик поверх её, – это тоже отделяло его от всех. В конце проповеди своей он вскричал:

– Итак – со Христом вы или с Дарвином?

Он бросил этот вопрос, точно камень, в угол, где тесно сидела молодёжь и откуда на него со страхом и восторгом смотрели глаза юношей и девушек. Речь его, видимо, очень поразила всех, люди молчали, задумчиво опутив головы. Он обвёл всех горящим взглядом и строго добавил:

– Только фарисеи могут пытаться соединить эти два непримиримых начала и, соединяя их, постыдно лгут сами себе, развращают ложью людей...

Встал попик, аккуратно откинул рукава рясы и заговорил плавно, с ядовитой вежливостью и снисходительной усмешкой:

– Вы, очевидно, придерживаетесь вульгарного мнения о фарисеях, оно же суть не токмо грубо, но и насквозь ошибочно...

К великому изумлению моему, он стал доказывать, что фарисеи были подлинными и честными хранителями заветов иудейского народа и что народ всегда шёл с ними против его врагов.

– Читайте, например, Иосифа Флавия...

Вскочив на ноги и подсекая Флавия широким, уничтожающим жестом, толстовец закричал:

– Народы и ныне идут с врагами своими против друзей, народы не по своей воле идут. Их гонят, насилуют. Что мне ваш Флавий?

Попик и другие разодрали основную тему спора на мельчайшие частицы, и она исчезла.

– Истина – это любовь, – восклицал толстовец, а глаза его сверкали ненавистью и презрением.

Я чувствовал себя опьянённым словами, не улавливал мысли в них, земля подо мною качалась в словесном вихре, и часто я с отчаянием думал, что нет на земле человека глупее и бездарнее меня.

А толстовец, отирая пот с багрового лица, свирепо закричал:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Выбросьте евангелие, забудьте о нём, чтоб не лгать! Распните Христа вторично,
это – честнее!

Преодо мною стеной встал вопрос: как же? Если жизнь – непрерывная борьба за счастье на земле, – милосердие и любовь должны только мешать успеху борьбы?

Я узнал фамилию толстовца – Клопский, узнал, где он живёт, и на другой день вечером явился к нему. Жил он в доме двух девушек-помещиц, с ними он и сидел в саду за столом, в тени огромной старой липы. Одетый в белые штаны и такую же рубаху, расстёгнутую на тёмной волосатой груди, длинный, угловатый, сухой, – он очень хорошо отвечал моему представлению о бездомном апостоле, проповеднике истины.

Он черпал серебряною ложкой из тарелки малину с молоком, вкусно глотал, чмокал толстыми губами и, после каждого глотка, сдувал белые капельки с редких усов кота. Прислуживая ему, одна девушка стояла у стола, другая – прислонилась к стволу липы, сложив руки на груди, мечтательно глядя в пыльное, жаркое небо. Обе они были одеты в лёгкие платья сиреневого цвета и почти неразличимо похожи одна на другую.

Он говорил со мною ласково и охотно о творческой силе любви, о том, что надо развивать в своей душе это чувство, единственно способное «связать человека с духом мира» – с любовью, расплывённой повсюду в жизни.

– Только этим можно связать человека! Не любя – невозможно понять жизнь. Те же, которые говорят: закон жизни – борьба, это – слепые души, обречённые на гибель. Огонь непобедим огнём, так и зло непобедимо силою зла!

Но когда девушки ушли, обняв друг друга, в глубину сада, к дому, человек этот, глядя вслед им прищуренными глазами, спросил:

– А ты – кто?

И, выслушав меня, начал, постукивая пальцами по столу, говорить о том, что человек – везде человек и нужно стремиться не к перемене места в жизни, а к воспитанию духа в любви к людям.

– Чем ниже стоит человек, тем ближе он к настоящей правде жизни, к её святой мудрости...

Я несколько усомнился в его знакомстве с этой «святой мудростью», но промолчал, чувствуя, что ему скучно со мной; он посмотрел на меня отталкивающим взглядом, зевнул, закинул руки за шею себе, вытянул ноги и, устало прикрыв глаза, пробормотал, как бы сквозь дрему:

– Покорность любви... закон жизни...

Вздвогнув, взмахнул руками, хватаясь за что-то в воздухе, уставился на меня испуганно:

– Что? Устал я, прости!

Снова закрыл глаза и, как от боли, крепко сжал зубы, обнажив их; нижняя губа его опустилась, верхняя – приподнялась, и синеватые волосы редких усов ошетинились.

Я ушёл с неприязненным чувством к нему и смутным сомнением в его искренности.

Через несколько дней я принёс рано утром булки знакомому доценту, холостяку, пьянице, и ещё раз увидел клопского. Он, должно быть, не спал ночь, лицо у него было бурое, глаза красны и опухли, – мне показалось, что он пьян. Толстенький доцент, пьяный до слёз, сидел в нижнем белье и с гитарой в руках, на полу среди хаоса сдвинутой мебели, пивных бутылок, сброшенной верхней одежды, сидел, раскачиваясь, и рычал:

– Милосердия...

Клопский резко и сердито кричал:

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiyama
– Нет милосердия! Мы сгинем от любви или будем раздавлены в борьбе за любовь, –
всё едино: нам суждена гибель...

Схватив меня за плечо, ввёл в комнату и сказал доценту:

– Вот – спроси его – чего он хочет? Спроси: нужна ему любовь к людям?

Тот посмотрел на меня слезящимися глазами и засмеялся:

– Это – булочник! Я ему должен.

Покачнулся, сунув руку в карман, вынул ключ и протянул мне:

– На, бери всё!

Но толстовец, взяв у него ключ, махнул на меня рукою.

– Ступай? После получишь.

И швырнул булки, взятые у меня, на диван в углу.

Он не узнал меня, и это было приятно мне. Уходя, я унёс в памяти его слова о
гибели от любви и отвращение к нему в сердце.

Скоро мне сказали, что он признался в любви одной из девушек, у которых жил, и,
в тот же день, – другой. Сёстры поделились между собою радостью, и она
обратилась в злобу против влюблённого; они велели дворнику сказать, чтоб
проповедник любви немедля убрался из их дома. Он исчез из города.

Вопрос о значении в жизни людей любви и милосердия – страшный и сложный вопрос –
возник предо мною рано, сначала – в форме неопределённого, но острого ощущения
разлада в моей душе, затем – в чёткой форме определённо ясных слов: «Какова роль
любви?»

Всё, что я читал, было насыщено идеями христианства, гуманизма, воплями о
сострадании к людям, – об этом же красноречиво и пламенно говорили лучшие люди,
которых я знал в ту пору.

Всё, что непосредственно наблюдалось мною, было почти совершенно чуждо
сострадания к людям. Жизнь развёртывалась предо мною как бесконечная цепь вражды
и жестокости, как непрерывная, грязная борьба за обладание пустяками. Лично мне
нужны были только книги, всё остальное не имело значения в моих глазах.

Стоило выйти на улицу и посидеть час у ворот, чтоб понять: все эти извозчики,
дворники, рабочие, чиновники, купцы – живут не так, как я и люди, излюбленные
мною, не того хотят, не туда идут. Те же, кого я уважал, кому верил, – странно
одиноки, чужды и – лишние среди большинства, в грязненькой и хитрой работе
муравьёв, кропотливо строящих кучу жизни; эта жизнь казалась мне насквозь
глупой, убийственно скучной. И нередко я видел, что люди милосердны и
любвеобильны только на словах, на деле же незаметно для себя подчиняются общему
порядку жизни.

Очень трудно было мне.

Однажды ветеринар Лавров, жёлтый и опухший от водянки, сказал мне, задыхаясь:

– Жестокость нужно усилить до того, чтоб все люди устали от неё, чтоб она
опротивела всем и каждому, как вот эта треклятая осень!

Осень была ранняя, дождлива, холодна, богата болезнями и самоубийствами. Лавров
тоже отравился цианистым кали, не желая дожидаться, когда его задушит водянка.

– Скотов лечил – скотом и подох! – проводил труп ветеринара его квартирохозяин,
портной Медников, тощенький, благочестивый человек, знавший на память все
акафисты божией матери. Он порол детей своих – девочку семи лет и гимназиста
одиннадцати – ремённой плёткой о трёх хвостах, а жену бил бамбуковой тростью по
икрам ног и жаловался:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru
– Мировой судья осудил меня за то, что я будто у китайца перенял эту системочку, а я никогда в жизни китайца не видал, кроме как на вывесках да на картинах.

Один из его рабочих, унылый, кривоногий человек, по прозвищу Дунькин Муж, говорил о своём хозяине:

– Боюсь я кротких людей, которые благочестивые! Буйный человек сразу виден, и всегда есть время спрятаться от него, а кроткий ползёт на тебя невидимый, подобный коварному змею в траве, и вдруг ужалит в самое открытое место души. Боюсь кротких...

В словах Дунькина Мужа, кроткого, хитрого наушника, любимого Медниковым, – была правда.

Иногда мне казалось, что кроткие, разрыхляя, как лишай, каменное сердце жизни, делают его более мягким и плодотворным, но чаще, наблюдая обилие кротких, их ловкую приспособляемость к подлому, неуловимую изменчивость и гибкость душ, комариное их нытьё, – я чувствовал себя, как стреноженная лошадь в туче оводов.

Об этом я и думал, идя от полицейского.

Вздыхал ветер, и дрожали огни фонарей, а казалось – дрожит тёмносерое небо, засеая землю мелким, как пыль, октябрьским дождём. Мокрая проститутка тащила вверх по улице пьяного, держа его под руку, толкая, он что-то бормотал, всхлипывал. Женщина утомлённо и глухо сказала:

– Такая твоя судьба...

«Вот, – подумал я, – и меня кто-то тащит, толкает в неприятные углы, показывая мне грязное, грустное и странно пёстрых людей. Устал я от этого».

Может быть, не в этих словах было подумано, но именно эта мысль вспыхнула в мозгу, именно в тот печальный вечер я впервые ощутил усталость души, едкую плесень в сердце. С этого часа я стал чувствовать себя хуже, начал смотреть на себя самого как-то со стороны, холодно, чужими и враждебными глазами.

Я видел, что почти в каждом человеке угловато и несложно совмещаются противоречия не только слова и деяния, но и чувствований, их капризная игра особенно тяжело угнетала меня. Эту игру я наблюдал и в самом себе, что было ещё хуже. Меня тянуло во все стороны – к женщинам и книгам, к рабочим и весёлому студенчеству, но я никуда не поспевал и жил «ни в тех ни в сех», вертясь, точно кубарь, а чья-то невидимая, но сильная рука жарко подхлестывала меня невидимой плёткой.

Узнав, что Яков Шапошников лёг в больницу, я пошёл навестить его, но там криворотая, толстая женщина в очках и белом платочке, из-под которого свисали красные, варёные уши, сухо сказала:

– Помер.

И, видя, что я не ухожу, а молча торчу пред нею, рассердилась, крикнула:

– Ну? Что ещё?

Я тоже рассердился и сказал:

– Вы – дура.

– Николай, – гони его!

Николай вытирал тряпкой какие-то медные прутья, крикнул и хлестнул меня прутом по спине. Тогда я взял его в охапку, вынес на улицу и посадил в лужу воды у крыльца больницы. Он отнёсся к этому спокойно, посидел минуту молча, вытаращив на меня глаза, а потом встал, говоря:

– Эх ты, собака!

Я ушёл в Державинский сад, сел там на скамью у памятника поэту, чувствуя острое

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
желание сделать что-нибудь злое, безобразное, чтоб на меня бросилась куча людей и этим дала мне право бить их. Но, несмотря на праздничный день, в саду было пустынно и вокруг сада – ни души, только ветер метался, гоняя сухие листья, шурша отклеившейся афишей на столбе фонаря.

Прозрачно-синие, холодные сумерки сгущались над садом. Огромный бронзовый идолище возвышался предо мною, я смотрел на него и думал: жил на земле одинокий человек Яков, уничтожал, всей силой души, бога и умер обыкновенной смертью. Обыкновенной. В этом было что-то тяжёлое, очень обидное.

«А Николай идиот; он должен был драться со мною или позвать полицию и отправить меня в участок...»

Пошёл к Рубцову, он сидел в своей конуре у стола, пред маленькой лампой и чинил пиджак.

– Яков помер.

Старик поднял руку с иглой, видимо, желая перекреститься, но только отмахнулся рукою и, зацепив за что-то нитку, тихо матерно выругался.

Потом – заворчал:

– Между прочим – все помрём, такое у нас глупое обыкновение, – да, брат! Он вот помер, а тут медник был один, так его тоже – долой со счёта. В то воскресенье, с жандармами. Меня с ним Гурка свёл. Умный медник! Со студентами несколько путался. Ты слышал, бунтуются студенты, – верно? На-ко, зашей пиджак мне, не вижу я ни чорта...

Он передал мне свои лохмотья, иглу с ниткой, а сам, заложив руки за спину, стал шагать по комнате, кашляя и ворча:

– То – здесь, то – инде вспыхнет огонёк, а чорт дунет, и – опять скука! Несчастливый этот город. Уеду отсюда, пока ещё пароходы ходят.

Остановился и, почёсывая череп, спросил:

– А – куда поедешь? Везде бывал. Да. Везде ездил, а только себя извездил.

Плюнув, он добавил:

– Ну – и жизнь, сволочь! Жил, жил, а – ничего не нажил, ни душе, ни телу...

Он замолчал, стоя в углу у двери и как будто прислушиваясь к чему-то, потом решительно подошёл ко мне, присел на край стола:

– Я тебе скажу, Лексей ты мой Максимыч, – зря Яков большое сердце своё на бога истратил. Ни бог, ни царь лучше не будут, коли я их отрекусь, а надо, чтоб люди сами на себя рассердились, опровергли бы свою подлую жизнь, – во-от! Эх, стар я, опоздал, скоро совсем слеп стану – горе, брат! Ушил? Спасибо... Пойдём в трактир, чай пить...

По дороге в трактир, спотыкаясь во тьме, хватая меня за плечи. он бормотал:

– Помяни моё слово: не дотерпят люди, разозлятся когда-нибудь и начнут всё крушить – в пыль сокрушат пустышки свои! Не дотерпят...

В трактир мы не попали, наткнувшись на осаду матросами публичного дома, – ворота его защищали алафузовские рабочие.

– Каждый праздник здесь драка! – одобрительно сказал Рубцов, снимая очки, и, опознав среди защитников дома своих товарищей, немедленно ввязался в битву, подзадоривая, науськивая:

– Держись, фабрика! Дави лягушек! Глуши плотву! И – эхма-а!

Странно и забавно было видеть, с каким увлечением и ловкостью действовал умный старик, пробиваясь сквозь толпу матросов-речников, отражая их кулаки, сбивая с

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
ног толчками плеча.

– Бей плешивого воеводу!

На крышу дома забрались двое и складно, бойко пели:

Мы не воры, мы не плуты, не разбойники,
Судовые мы ребята, рыболовники!
Свистел полицейский, в темноте блестили медные пуговицы, под ногами хлюпала
грязь, а с крыши неслоь:

Мы закидываем сети по сухим берегам,
По купеческим домам, по амбарам, по клетям..
– Стой! Лежачего не бьют..

– Дедушка – держи скулу крепче!

Потом Рубцова, меня и ещё человек пять, врагов или друзей, повели в участок, и
успокоенная тьма осенней ночи провожала нас бойкой песней:

Эх, мы поймали сорок щук,
Из которых шубы шьют!
– До чего же хорош народ на Волге! – с восхищением говорил Рубцов, часто
сморкаясь, сплёвывая, и шептал мне: – Ты – беги! Выбери минуту и – беги! Зачем
тебе в участок лезть?

Я и какой то длинный матрос, следом за мною, бросились в проулок, перескочили
через забор, другой, и – с этой ночи я больше не встречал милейшего умницу
Никиту Рубцова.

Вокруг меня становилось пусто. Начинались студенческие волнения, – смысл их был
не понятен мне, мотивы – не ясны. Я видел весёлую суету, не чувствуя в ней
драмы, и думал, что ради счастья учиться в университете можно претерпеть даже
истязания. Если б мне предложили: «Иди, учись, но за это, по воскресеньям, на
Николаевской площади мы будем бить тебя палками!» – я, наверное, принял бы это
условие.

Зайдя в крендельную Семёнова, я узнал, что крендельщики собираются идти к
университету избивать студентов:

– Гирями будем бить! – говорили они с весёлой злобой.

Я стал спорить, ругаться с ними, но вдруг почти с ужасом почувствовал, что у
меня нет желания, нет слов защищать студентов.

Помню, я ушёл из подвала, как изувеченный, с какой-то необоримой, насмерть
уничтожающей тоскою в сердце.

Ночью сидел на берегу Кабана, швыряя камни в чёрную воду, и думал тремя словами,
бесконечно повторяя их:

«Что мне делать?»

С тоски начал учиться играть на скрипке, пилил по ночам в магазине, смущая
ночного сторожа и мышей. Музыка я любил и стал заниматься ею с великим
увлечением, но мой учитель, скрипач театрального оркестра, во время урока, –
когда я вышел из магазина, – открыл не запёртый мною ящик кассы, и, возвратясь,
я застал его набивающим карманы свои деньгами. Увидав меня в дверях, он вытянул
шею, подставил скучное, бритое лицо и тихо сказал:

– Ну – бей!

Губы у него дрожали, из бесцветных глаз катились какие-то масляные слёзы,
странно крупные.

Мне хотелось ударить скрипача; чтоб не сделать этого, я сел на пол, подложив под
себя кулаки, и велел ему положить деньги в кассу. Он разгрузил карманы, пошёл к
двери, но, остановясь, сказал идиотски высоким и страшным голосом:

– Дай десять рублей!

Деньги я ему дал, но учиться на скрипке бросил.

В декабре я решил убить себя. Я пробовал описать мотив этого решения в рассказе «Случай из жизни Макара». Но это не удалось мне – рассказ вышел неуклюжим, неприятным и лишённым внутренней правды. К его достоинствам следует отнести – как мне кажется – именно то, что в нём совершенно отсутствует эта правда. Факты – правдивы, а освещение их сделано как будто не мною, и рассказ идёт не обо мне. Если не говорить о литературной ценности рассказа – в нём для меня есть нечто приятное, – как будто я перешагнул через себя.

Купив на базаре револьвер барабанщика, заряженный четырьмя патронами, я выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце, но только пробил лёгкое, и через месяц, очень сконфуженный, чувствуя себя донельзя глупым, снова работал в булочной.

Однако – недолго. В конце марта, вечером, придя в магазин из пекарни, я увидел в комнате продавщицы Хохла. Он сидел на стуле у окна, задумчиво покуривая толстую папиросу и смотря внимательно в облака дыма.

– Вы свободны? – спросил он, не здороваясь.

– На двадцать минут.

– Садитесь, поговорим.

Как всегда, он был туго зашит в казакин из «чортовой кожи», на его широкой груди расстилалась светлая борода, над упрямым лбом торчит щетина жёстких, коротко стриженных волос, на ногах у него тяжёлые, мужицкие сапоги, от них крепко пахнет дёгтем.

– Нуте-с, – заговорил он спокойно и негромко, – не хотите ли вы приехать ко мне? Я живу в селе Красновидове, сорок пять вёрст вниз по Волге, у меня там лавка, вы будете помогать мне в торговле, это отнимет у вас не много времени, я имею хорошие книги, помогу вам учиться – согласны?

– Да.

– В пятницу приходите в шесть утра к пристани Курбатова, спросите дощаник из Красновидова, – хозяин Василий Панков. Впрочем – я уже буду там и увижу вас. До свидания!

Встал, протянув мне широкую ладонь, а другой рукой вынул из-за пазухи тяжёлую, серебряную луковицу-часы и сказал:

– Кончили в шесть минут! Да – моё имя – Михайло Антонов, а фамилия – Ромась. Так.

Он ушёл не оглядываясь, твёрдо ставя ноги, легко неся тяжёлое, богатырски литое тело.

Через два дня я поплыл в Красновидово.

Волга только что вскрылась, сверху, по мутной воде, тянутся, покачиваясь, серые, рыхлые льдины, дощаник перегоняет их, и они трутся о борта, поскрипывая, рассыпаясь от ударов острыми кристаллами. Играет верховый ветер, загоняя на берег волну, ослепительно сверкает солнце, отражаясь яркобелыми пучками от синевато-стеклянных боков льдин. Дощаник, тяжело нагруженный бочками, мешками, ящиками, идёт под парусом, – на руле молодой мужик Панков, щеголевато одетый в пиджак дублёной овчины, вышитый на груди разноцветным шнурком.

Лицо у него – спокойное, глаза холодные, он молчалив и мало похож на мужика. На носу дощаника, растопырив ноги, стоит с багром в руках батрак Панкова, Кукушкин, растрёпанный мужичонка в рваном армяке, подпоясанном верёвкой, в измятой поповской шляпе, лицо у него в синяках и ссадинах. Расталкивая льдины длинным багром, он презрительно ругается:

– Сторонись... Куда лезешь...

Я сижу рядом с Ромасём под парусом на ящиках, он тихо говорит мне:

– Мужики меня не любят, особенно – богатые! Нелюбовь эту придётся и вам испытать на себе.

Кукушкин, положив багор поперёк бортов, под ноги себе, говорит с восхищением, обратив к нам изувеченное лицо:

– Особо тебя, Антоныч, поп не любит...

– Это верно, – подтверждает Панков.

– Ты ему, псу рябому, кость в горле!

– Но есть и друзья у меня, – будут и у вас, – слышу я голос Хохла.

Холодно. Мартовское солнце ещё плохо греет. На берегу качаются тёмные ветви голых деревьев, кое-где в щелях и под кустами горного берега лежит снег кусками бархата. Всюду на реке – льдины, точно пасётся стадо овец. Я чувствую себя, как во сне.

Кукушкин, затискивая в трубку табак, философствует:

– Положим, ты попу не жена, однако, по должности своей, он обязался любить всякую тварь, как написано в книгах.

– Кто это тебя избил? – спрашивает Ромась, усмехаясь.

– Так, какие-то тёмных должностей люди, наверно – жулики, – презрительно говорит Кукушкин. И – с гордостью: – Нет, меня, одна, антиллеристы били, это – действительно! Даже и понять нельзя – как я жив остался.

– За что били? – спрашивает Панков.

– Вчера? Али – антиллеристы?

– Ну – вчера?

– Да – разве можно понять, за что бьют? Народ у нас вроде козла, чуть что – сейчас и бодается! Должностью своей считают это – драку!

– Я думаю, – говорит Ромась, – за язык бьют тебя, говоришь ты неосторожно...

– Пожалуй, так! Человек я любопытного характера, навык обо всём спрашивать. Для меня – радость, коли новенькое что услышу.

Нос дощаника сильно ткнулся о льдину, по борту злобно шаркнуло. Кукушкин, покачнувшись, схватил багор. Панков с упреком говорит:

– А ты гляди на дело, Степан!

– А ты меня не разговаривай! – отпихивая льдины, бормочет Кукушкин. – Не могу я за один раз и должность мою исполнять и беседу вести с тобой...

Они беззлобно спорят, а Ромась говорит мне:

– Земля здесь хуже, чем у нас, на Украине, а люди – лучше. Очень способный народ!

Я слушаю его внимательно и верю ему. Мне нравится его спокойствие и ровная речь, простая, веская. Чувствуется, что этот человек знает много и что у него есть своя мера людей. Мне особенно приятно, что он не спрашивает – почему я стрелялся? Всякий другой, на его месте, давно бы уже спросил, а мне так надоел этот вопрос. И – трудно ответить. Чорт знает, почему я решил убить себя. Хохлу я, наверное, отвечал бы длинно и глупо. Да мне и вообще не хочется вспоминать об

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
этом, – на Волге так хорошо, свободно, светло.

Дощаник плывёт под берегом, влево широко размахнулась река, вторгаясь на песчаный берег луговой стороны. Видишь, как прибывает вода, заплёскивая и качая прибрежные кусты, а встречу ей по ложбинам и щелям земли шумно катятся светлые потоки вешних вод. Улыбается солнце, желтоносые грачи блестя в его лучах чёрной сталью оперения, хлопотливо каркают, строя гнёзда. На припёке трогательно пробивается из земли к солнцу ярко-зелёная щетинка травы. Телу – холодно, а в душе – тихая радость и тоже возникают нежные ростки светлых надежд. Очень уютно весною на земле.

К полудню доплыли до Красновидова; на высокой, круто срезанной горе стоит голубоглазая церковь, от неё, гуськом, тянутся по краю горы хорошие, крепкие избы, блестя жёлтым тёсом крыш и парчовыми покровами соломы. Просто и красиво.

Сколько раз любовался я этим селом, проезжая мимо его на пароходах.

Когда, вместе с Кукушкиным, я начал разгружать дощаник, Ромась, подавая мне с борта мешки, сказал:

– Однако – сила у вас есть!

И, не глядя на меня, спросил:

– А грудь – не болит?

– Нимало.

Я был очень тронут деликатностью его вопроса, – мне особенно не хотелось, чтоб мужики знали о моей попытке убить себя.

– Силёнка – имеется, можно сказать – свыше должности, – болтал кукушкин. – какой губернии, молодчик? Нижегородской? Водохлёбами дразнят вас. А ещё – «Чаи, примечай, отколе чайки летят» – это тоже про вас сложено.

С горы, по съезду, по размякшей глине, среди множества серебром сверкающих ручьёв, широко шагал, скользя и покачиваясь, длинный, сухощавый мужик, босый, в одной рубахе и портах, с курчавой бородою, в густой шапке рыжеватых волос.

Подойдя к берегу, он сказал звучно и ласково:

– С приездом.

Оглянулся, поднял толстую жердь, другую, положил их концами на борта и, легко прыгнув в дощаник, скомандовал:

– Упрись ногами в концы жердей, чтоб не съехали с борта, и принимай бочки. Парень, иди сюда, помогай.

Он был картинно красив и, видимо, очень силён. На румянном лице его, с прямым, большим носом, строго сияли голубоватые глаза.

– Простудишься, Изот, – сказал Ромась.

– я-то? Не бойся.

Выкатили бочку керосина на берег. Изот, смерив меня глазами, спросил:

– Приказчик?

– Поборись с ним, – предложил Кукушкин.

– А тебе опять рожу испортили?

– Что с ними сделаешь?

– С кем это?

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
– А – которые бьют...

– Эх ты! – сказал Изот, вздохнув, и обратился к Ромасю: – Телеги сейчас спустятся. Я вас издали увидал, – плывут. Хорошо плыли. Ты – иди, Антоныч, я послезу тут.

Было видно, что человек этот относился к Ромасю дружески и заботливо, даже – покровительственно, хотя Ромась был старше его лет на десять.

Через полчаса я сидел в чистой и уютной комнате новенькой избы, стены её ещё не утратили запаха смолы и пакли. Бойкая, остроглазая баба накрывала стол для обеда. Хохол выбирал книги из чемодана, ставя их на полку у печки.

– Ваша комната на чердаке, – сказал он.

Из окна чердака видна часть села, овраг против нашей избы, в нём – крыши бань, среди кустов. За оврагом – сады и чёрные поля; мягкими увалами они уходили к синему гребню леса, не горизонте. Верхом на коньке крыши бани сидел синий мужик, держа в руке топор, а другую руку прислонил ко лбу, глядя на Волгу, вниз. Скрипела телега, надсадно мычала корова, шумели ручьи. Из ворот избы вышла старуха, вся в чёрном, и, оборотясь к воротам, сказала крепко:

– Издохнуть бы вам!

Двое мальчишек, деловито заграждавшие путь ручью камнями и грязью, услышав голос старухи, стремглав бросились прочь от неё, а она, подняв с земли щепку, плюнула на неё и бросила в ручей. Потом, ногою в мужицком сапоге, разрушила постройку детей и пошла вниз, к реке.

Как-то я буду жить здесь?

Позвали обедать. Внизу за столом сидел Изот, вытянув длинные ноги с багровыми ступнями, и что-то говорил, но – замолчал, увидя меня.

– Что ж ты? – хмуро спросил Ромась. – Говори.

– Да уж и нечего, всё сказал. Значит – так решили: сами, дескать, управимся. Ты ходи с пистолетом, а то – с палкой потолще. При Баринове – не всё говорить можно, у него да у Кукушкина – языки бабьи. Ты, парень, рыбу ловить любишь?

– Нет.

Ромась заговорил о необходимости организовать мужиков, мелких садовладельцев, вырвать их из рук скупщиков. Изот, внимательно выслушав его, сказал:

– Окончательно мироеды житья не дадут тебе.

– Увидим.

– Да уж – так!

Я смотрел на Изота и думал:

«Наверное, – вот с таких мужиков пишут рассказы Каронин и Златовратский...»

Неужели удалось мне подойти к чему-то серьёзному и теперь я буду работать с людьми настоящего дела?

Изот, пообедав, говорил:

– Ты, Михайло Антонов, не торопись, хорошо – скоро не бывает. Легонько надо!

Когда он ушёл, Ромась сказал задумчиво:

– Умный человек, честный. Жаль – малограмотен, едва читает. Но – упрямо учится. Вот – помогите ему в этом!

Вплоть до вечера он знакомил меня с ценами товаров в лавке, рассказывая:

– Я продаю дешевле, чем двое других лавочников села, конечно – это им не нравится. Делают мне пакости, собираются избить. Живу я здесь не потому, что мне приятно или выгодно торговать, а – по другим причинам. Это – затея вроде вашей булочной...

Я сказал, что догадываюсь об этом.

– Ну, да... Надо же учить людей уму-разуму, – так?

Лавка была заперта, мы ходили по ней с лампой в руках, и на улице кто-то тоже ходил, осторожно шлёпая по грязи, иногда тяжело влезая на ступени крыльца.

– Вот – слышите? – ходит! Это – Мигун, боббель, злое животное, он любит делать зло, точно красивая девка кокетничать. Вы будьте осторожны в словах с ним да и – вообще...

Потом, в комнате, закулив трубку, прислонясь широкой спиной к печке и прищурив глаза, он пускал струйки дыма в бороду себе и, медленно составляя слова в простую, ясную речь, говорил, что давно уже заметил, как бесполезно трачу я годы юности.

– Вы человек способный, по природе – упрямый и, видимо, с хорошими желаниями. Вам надо учиться, да – так, чтоб книга не закрывала людей. Один сектант, старичок, очень верно сказал: «Всякое научение – от человека исходит». Люди учат большее, – грубо они учат, наука их крепче въедается.

Говорил он знакомое мне, о том, что прежде всего надо будить разум деревни. Но и в знакомых словах я улавливал более глубокий, новый для меня смысл.

– Там у вас студенты много балакают о любви к народу, так я говорю им на это: народ любить нельзя. Это – слова, любовь к народу...

Усмехнулся в бороду, пытливо глядя на меня, и начал шагать по комнате, продолжая крепко, внушительно:

– Любить – значит: соглашаться, снисходить, не замечать, прощать. С этим нужно идти к женщине. А – разве можно не замечать невежества народа, соглашаться с заблуждениями его ума, снисходить ко всякой его подлости, прощать ему зверство? Нет?

– Нет.

– Вот видите! У вас там все Некрасова читают и поют, ну, знаете, с Некрасовым далеко не уедешь! Мужика надо внушать: «Ты, брат, хоть и не плох человек сам по себе, а живёшь плохо и ничего не умеешь делать, чтоб жизнь твоя стала легче, лучше. Зверь, пожалуй, разумнее заботится о себе, чем ты, зверь защищает себя лучше. А из тебя, мужика, разрослось всё, – дворянство, духовенство, учёные, цари – все это бывшие мужики. Видишь? Понял? Ну – учись жить, чтоб тебя не мордовали...»

Уйдя в кухню, он велел кухарке вскипятить самовар, а потом стал показывать мне свои книги, – почти все научного характера: Бокль, Ляйель, Гартполь Лекки, Леббок, Тэйлор, Милль, Спенсер, Дарвин, а из русских – Писарев, Добролюбов, Чернышевский, Пушкин, «фрегат «Паллада»» Гончарова, Некрасов.

Он гладил их широкой ладонью, ласково, точно котят, и ворчал почти умиленно:

– Хорошие книги! А это – редчайшая: её сожгла цензура. Хотите знать, что есть государство, – читайте эту!

Он подал мне книгу Гоббса «Левиафан».

– Эта – тоже о государстве, но легче, веселее!

Весёлая книга оказалась «Государем» Маккиавели.

За чаем он кратко рассказал о себе: сын черниговского кузнеца, он был смазчиком

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.maх поездов на станции Киев, познакомился там с революционерами, организовал кружок самообразования рабочих, его арестовали, года два он сидел в тюрьме, а потом – сослали в Якутскую область на десять лет.

– Вначале – жил там с якутами, в улусе, думал – пропаду. Зима там, чорт побери, такая, знаете, что в человеке застывает мозг. Да и лишний разум там. Потом вижу: то – здесь, то – тут торчит русский, наткано их не густо, а всё-таки – есть! И, чтоб не скучали, новых к ним заботливо добавляют. Хорошие люди были. Был студент Владимир Короленко, – он теперь тоже воротился. Я с ним хорошо жил, потом – разошлись. Мы оказались во многом похожи один на другого, а на сходстве дружба не ладится. Но это серьёзный, упрямый человек, способен ко всякой работе. Даже иконы писал, это мне не нравилось. Теперь, говорят, хорошо пишет в журналах.

Долго, до полуночи, беседовал он, видимо, желая сразу прочно поставить меня рядом с собою. Впервые мне было так серьёзно хорошо с человеком. После попытки самоубийства моё отношение к себе сильно понизилось, я чувствовал себя ничтожным, виноватым пред кем-то, и мне было стыдно жить. Ромась, должно быть, понимал это и, человечно, просто открыв предо мною дверь в свою жизнь, – выпрямил меня. Незабвенный день.

В воскресенье мы открыли лавку после обедни, и тотчас же к нашему крыльцу стали собираться мужики. Первым явился Матвей Баринов, грязный, растрёпанный человек, с длинными руками обезьяны и рассеянным взглядом красивых, бабьих глаз.

– Что слышно в городе? – спросил он, поздоровавшись, и, не ожидая ответа, закричал вступая Кукушкину:

– Степан! Твои кошки опять петуха сожрали!

И тотчас рассказал, что губернатор поехал из Казани в Петербург к царю хлопотать, чтоб всех татар выселили на Кавказ и в Туркестан. Похвалил губернатора:

– Умный! Понимает своё дело...

– Ты сам выдумал всё это, – спокойно заметил Ромась.

– Я? Когда?

– Не знаю...

– До чего ты мало веришь людям, Антоныч, – сказал Баринов с упрёком, сожалея качая головою. – А я – жалею татар. Кавказ требует привычки.

Осторожно подошёл маленький, сухощавый человек, в рваной поддёвке с чужого плеча; серое лицо его искажала судорога, раздёргивая тёмные губы в болезненную улыбку; острый левый глаз непрерывно мигал, над ним вздрагивала седая бровь, разорванная шрамами.

– Почёт мигуну! – насмешливо сказал Баринов. – Чего ночью украл?

– Твои деньги – звучным тенором ответил мигун, сняв шапку пред Ромасём.

Вышел со двора хозяин нашей избы и сосед наш Панков, в пиджаке, с красным платочком на шее, в резиновых галошах и с длинной, как вожжи, серебряной цепочкой на груди. Он смерил мигуна сердитым взглядом:

– Если ты, старый чорт, будешь в огород ко мне лазить, я тебя – колом по ногам!

– Начинается обыкновенный разговор, – спокойно заметил мигун и, вздыхая, добавил: – Как жить, коли – не бить?

Панков стал ругать его, а он прибавил:

– Какой же старый я? Сорок шесть годов...

– А на святках тебе пятьдесят три было, – вскричал Баринов. – Сам говорил – пятьдесят три! Зачем врешь?

Пришёл солидный, бородатый старик Суслов[8] и рыбак Изот, так собралось человек десять. Хохол сидел на крыльце, у двери лавки, покуривая трубку, молча слушая беседу мужиков; они уселись на ступенях крыльца и на лавочках, по обе стороны его.

День был холодный, пёстрый, по синему, вымороженному зимою небу быстро плыли облака, пятна света и теней купались в ручьях и лужах, то ослепляя глаза ярким блеском, то лаская взгляд бархатной мягкостью. Нарядно одетые девицы павами плыли вниз по улице, к Волге, шагали через лужи, поднимая подола юбок и показывая чугунные башмаки. Бежали мальчишки с длинными удищами на плечах, шли солидные мужики, искоса оглядывая группу у нашей лавки, молча приподнимая картузы и войлочные шляпы.

Мигун с Кукушкиным миролюбиво разбирались в неясном вопросе: кто больше дерётся – купец или барин? Кукушкин доказывал – купец, Мигун защищал помещика, и его звучный тенорок одолевал растрёпанную речь Кукушкина.

– Господина Фингерова папаша Наполеон Бонапарта за бороду драл. А господин Фингеров, бывало, ухватит двоих за овчину на затылках, разведёт ручки свои да и треснет лбами – готово! Оба лежат недвижимы.

– Эдак – ляжешь! – согласился Кукушкин, но добавил: – Ну, зато купец ест больше барина...

Благообразный Суслов, сидя на верхней ступени крыльца, жаловался:

– Не крепок становится мужик на земле, Михайло Антонов. При господах не дозволялось зря жить, каждый человек был к делу прикреплен...

– А ты подай прошение, чтобы крепостное право опять завели, – ответил ему Изот. Ромась молча взглянул на него и стал выколачивать трубку о перила крыльца.

Я ждал: когда же он заговорит? И, внимательно слушая несвязную беседу мужиков, пытался представить – что именно скажет Хохол? Мне казалось, что он уже пропустил целый ряд удобных моментов вмешаться в беседу мужиков. Но он равнодушно молчал и сидел идольски неподвижно, следя, как ветер морщит воду в лужах и гонит облака, стискивая их в густо-серую тучу. На реке гудел пароход, снизу возносилась визгливая песня девиц, подыгрывала гармоника. Икая и рыча, вниз по улице шагал пьяный, размахивая руками, ноги его неестественно сгибались, попадая в лужи. Мужики говорили всё медленнее, уныние звучало в их словах, и меня тоже тихонько трогала печаль, потому что холодное небо грозило дождём, и вспоминался мне непрерывный шум города, разнообразие его звуков, быстрое мелькание людей на улицах, бойкость их речи, обилие слов, раздражающих ум.

Вечером, за чаем, я спросил Хохла: когда же он говорит с мужиками?

– О чём?

– Ага, – сказал он, внимательно выслушав меня, – ну, знаете, если бы я говорил с ними об этом, да ещё на улице, – меня бы снова отправили к якутам...

Он натискал табака в трубку, раскурил её, сразу окутался дымом и спокойно, памятно заговорил о том, что мужик – человек осторожный, недоверчивый. Он – сам себя боится, соседа боится, а особенно – всякого чужого. Ещё не прошло тридцати лет, как ему дали волю, каждый сорокалетний крестьянин родился рабом и помнит это. Что такое воля – трудно понять. Рассуждая просто – воля, это значит: живу как хочу. Но – везде начальство, и все мешают жить. У помещиков отнял крестьянство царь, стало быть, теперь царь единый господин надо всем крестьянством. И снова: а что ж такое воля? Вдруг придёт день, когда царь объяснит, что она значит. Мужик очень верит в царя, единого господина всей земли и всех богатств. Он отнял крестьян у помещиков, – может отнять пароходы и лавки у купцов. Мужик – царист, он понимает: много господ – плохо, один – лучше. Он ждёт, что наступит день, когда царь объявит ему смысл воли. Тогда – хватай кто что может. Этого дня все хотят и каждый – боится, каждый живёт настороже внутри себя: не прозевать бы решительный день всеобщей делёжки. И – сам себя боится: хочет много, и есть что взять, а – как возьмёшь? Все точат зубы на одно и то же. К тому же везде – неисчислимое количество начальства, явно враждебного мужику да

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorikiy@mail.ru и царю. Но – и без начальства нельзя, все передерутся, перебьют друг друга.

Ветер сердито плескал в стёкла окон обильным вешним дождём. Серая мгла изливалась по улице; в душе у меня тоже стало серовато и скучно. Спокойный, негромкий голос раздумчиво говорил:

– Внушайте мужику, чтобы он постепенно научался отбирать у царя власть в свои руки, говорите ему, что народ должен иметь право выбирать начальство из своей среды – и станового, и губернатора, и царя...

– Это – на сто лет!

– А вы думали всё сделать к троицыну дню? – серьёзно спросил Хохол.

Вечером он ушёл куда-то, а часов в одиннадцать я услышал на улице выстрел, – он хлопнул где-то близко. Выскочив во тьму, под дождь, я увидел, что Михаил Антонович идёт к воротам, обходя потоки воды неторопливо и тщательно, большой, чёрный.

– Вы – что? Это я выпалил...

– В кого?

– А тут какие-то с кольями наскочили на меня. Я говорю: «Отстаньте, стрелять буду», – не слушают. Ну, тогда я выстрелил в небо, – ему не повредишь...

Он стоял в сенях, раздеваясь, отжимая рукой мокрую бороду, и фыркал, как лошадь.

– А сапоги чортовы, оказывается, худые у меня! Надо переобуться. Вы умеете револьвер чистить? Пожалуйста, а то заржавеет. Смажьте керосином...

Восхищало меня его непоколебимое спокойствие, тихое упрямство взгляда его серых глаз. В комнате, расчёсывая бороду перед зеркалом, он предупредил меня:

– Вы ходите по селу осторожней, особенно – в праздники, вечерами, вас, наверное, тоже захотят бить. Но палку с собой не носите, это раздражает драчунов и может внушить им мысль, что вы – боитесь. А бояться – не надо! Они сами народ трусоватый...

Я начал жить очень хорошо, каждый день приносил мне новое и важное. С жадностью стал читать книги по естествознанию, Ромась учил меня:

– Это, Максимыч, прежде всего и всего лучше надо знать, в эту науку вложен лучший разум человеческий.

Вечерами, трижды в неделю, приходил Изот, я учил его грамоте. Сначала он отнёсся ко мне недоверчиво, с легонькой усмешкой, но после нескольких уроков добродушно сказал:

– Хорошо объясняешь! Тебе бы, парень, учителем быть...

И – вдруг предложил:

– Ты будто сильный, ну-ка, давай на палке потянемся?

Взяли из кухни палку, сели на пол и, упёршись друг другу ступнями в ступни ног, долго старались поднять друг друга с пола, а Хохол, ухмыляясь, подзадоривал нас:

– А – ну? Уть!

Изот поднял меня, и это, кажется, ещё более расположило его в мою пользу.

– Ничего, ты – здоров! – утешил он меня. – Жаль, рыбу не любишь ловить, а то ходил бы со мной на Волгу. Ночью на Волге – царствие небесное!

Учился он усердно, довольно успешно и – очень хорошо удивлялся; бывало, во время урока, вдруг встанет, возьмёт с полки книгу, высоко подняв брови, с натугой прочитает две-три строки и, покраснев, смотрит на меня, изумлённо говоря:

– Читаю ведь, мать его курицу!

И повторяет, закрыв глаза:

Словно как мать над сыновней могилой,
Стонет кулик над равниной унылой...
– Видал?

Несколько раз он, вполголоса, осторожно спрашивал:

– Объясни ты мне, брат, как же это выходит всё-таки? Глядит человек на эти чёрточки, а они складываются в слова, и я знаю их – слова живые, наши! Как я это знаю? Никто мне их не шепчет. Ежели бы это картинки были, ну, тогда понятно. А здесь как будто самые мысли напечатаны, – как это?

Что я мог ответить ему? И моё «не знаю» огорчало человека.

– Колдовство! – говорил он, вздыхая, и рассматривал страницы книги на свет.

Была в нём приятная и трогательная наивность, что-то прозрачное, детское; он всё более напоминал мне славного мужика из тех, о которых пишут в книжках. Как почти все рыбаки, он был поэт, любил Волгу, тихие ночи, одиночество, созерцательную жизнь.

Смотрел на звёзды и спрашивал:

– Хохол говорит – и там, может, кое-какие жители есть, в роде нашем, – как думаешь, верно это? Знак бы им подать, спросить – как живут? Поди-ка – лучше нас, веселее...

В сущности, он был доволен своей жизнью, он сирота, бобыль и ни от кого не зависим в своём тихом, любимом деле рыбака. Но к мужикам относился неприязненно и предупреждал меня:

– Ты не гляди, что они ласковы, это – хитряга народ, фальшивый, ты им не верь! Сейчас они с тобою – так, а завтра – иначе. Каждому только сам он виден, а общественное дело – каторгой считают.

И с ненавистью, странной в человеке такой мягкой души, он говорил о «мироедах»:

– Они – почему богаче других? Потому что – умнее. Так ты, сволочь, помни, если умный: крестьянство должно жить стадом, дружно, тогда оно – сила! А они расщепляют деревню – как полено на лучину, ведь вот что! Сами себе враги. Это – злодейский народ. Вот как Хохол мается с ними...

Красивый, сильный, он очень нравился женщинам, и они одолевали его.

– Конечно, в этом я избалован, – добродушно каялся он. – Для мужёв – обидно это, я сам бы обижался на ихом месте. Однако баб нельзя не пожалеть, баба – она вроде как вторая твоя душа. Живёт она – без праздников, без ласки; работает, как лошадь, и больше ничего. Мужьям любить некогда, а я – свободный человек. Многих, в первый же год после свадьбы, мужья кулаками кормят. Да, я в этом – грешен, балуюсь с ними. Об одном прошу: вы, бабы, только не сердитесь друг на друга, меня хватит на всех! Не завидуйте одна другой, все вы мне одинаковы, всех жалею...

И, конфузливо усмехаясь в бороду, он рассказал:

– Я даже чуть-чуть с барыней одной не пошалил, – на дачу приехала из города барыня. Красавица, белая, как молоко, а волосья – лён. И глазёнки синеваты, добрые. Я ей рыбу продавал и всё, бывало, гляжу на неё. «Ты – что?» – спрашивает. «Сами знаете», – говорю. «Ну, хорошо, говорит, я к тебе ночью приду, жди!» И – верно! Пришла. Только – комаров она стеснялась, укусили её комары, ну, и не вышло у нас ничего. «Не могу, говорит, кусают очень», а сама чуть не плачет. Через сутки к ней муж прибыл, судья какой-то. Да, вот они какие, барыни-то, – с грустью и упреком кончил он. – Комары им жить мешают...

Изот очень хвалил Кукушкина:

– Вот, приглядишься к мужику, – хорошей души этот! Не любят его, ну – напрасно! Болтун, конечно, так ведь – у всякого скота своя пестрота.

Кукушкин был безземелен, женат на пьяной бабе-батрачке, маленькой, но очень ловкой, сильной и злой. Избу свою он сдал кузнецу, а сам жил в бане, работая у Панкова. Он очень любил новости, а когда их не было – сам выдумывал разные истории, нанизывая их всегда на одну нить.

– Михайло Антонов – слышал ты? Тиньковский урядник в монахи идёт, от своей должности, – не желаю, бает, мужиков мордовать, – шабаш!

Хохол серьёзно говорил:

– Вот так всё начальство и разбежится от вас.

Вытаскивая из нечесанных русых волос на голове соломинки, сено, куриный пух, Кукушкин сообщает:

– Все – не убегут, а которые совесть имеют – им, конечно, тяжело на своих должностях. Не веришь ты, Антоныч, в совесть, вижу я. А ведь без совести и при большом уме не проживёшь! Вот, послушай случай...

И рассказывает о какой-то «умнейшей» помещице:

– Такая злодейка была, что даже губернатор, не взирая на высокую свою должность, в гости к ней приехал. «Сударыня, говорит, будьте осторожнее на всякий случай, слухи, говорит, о вашей подлости злодейской даже в Петербург достигли!» Она, конечно, наливкой угостила его, а сама говорит: «Поезжайте с богом, не могу я переломить характер мой!» Прошло три года с месяцем, и вдруг она собирает мужиков: «Вот, говорит, вам вся моя земля и прощайте, и простите меня, а я...»

– В монастырь, – подсказывает Хохол.

Кукушкин, внимательно глядя на него, подтверждает:

– Верно, в игуменьи! Значит – и ты слышал про неё?

– Никогда не слышал.

– А – откуда же знаешь?

– Я – тебя знаю.

Фантазёр бормочет, покачивая головой:

– До чего ты не верующий людям...

И так – всегда: плохие, злые люди его рассказов устают делать зло и «пропадают без вести», но чаще Кукушкин отправляет их в монастыри, как мусор на «свалку».

У него являются неожиданные и странные мысли, – он вдруг нахмурится и заявляет:

– Напрасно мы татар победили, – татары лучше нас!

А о татарах никто не говорил, говорили в это время об организации артели садовладельцев.

Ромась рассказывает о Сибири, о богатом сибирском крестьянине, но вдруг Кукушкин задумчиво бормочет:

– Если селёдку года два, три не ловить, она может до того разродиться, что море выступит из берегов и будет потоп людям. Замечательно плодущая рыба!

Село считает Кукушкина пустым человеком, а рассказы и странные мысли его раздражают мужиков, вызывая у них ругань и насмешки, но слушают они его всегда с интересом, внимательно, как бы ожидая встретить правду среди его выдумок.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma

– Пустобрёх, – зовут его солидные люди, и только щёголь Панков говорит серьёзно:

– Степан – человек с загадкой...

Кукушкин очень способный работник, он бондарь, печник, знает пчёл, учит баб разводить птицу, ловко плотничает, и всё ему удаётся, хотя работает он копотливо, неохотно. Любит кошек, у него в бане штук десять сытых зверей и зверят, он кормит их воронами, галками и, приучив кошек есть птицу, усилил этим отрицательное отношение к себе: его кошки душат цыплят, кур, а бабы охотятся за зверьём Степана, нещадно избивают их. У бани Кукушкина часто слышен яростный визг огорчённых хозяек, но это не смущает его.

– Дуры, кошка – охотничий зверь, она ловчее собаки. Вот я их приучу к охоте на птицу, разведём сотни кошек – продавать будем, доход вам, дурёхи!

Он знал грамоту, но – забыл, а вспомнить – не хочет. Умный по природе своей, он быстрее всех схватывает существенное в рассказах Хохла.

– Так, так, – говорит он, жмурясь, как ребёнок, глотающий горькое лекарство, – значит – Иван-то Грозный мелкому народу не вреден был...

Он, Изот и Панков приходят к нам вечерами и нередко сидят до полуночи, слушая рассказы Хохла о строении мира, о жизни иностранных государств, о революционных судорогах народов. Панкову нравится французская революция.

– Вот это – настоящий поворот жизни, – одобряет он.

Он два года тому назад отделился от отца, богатого мужика с огромным зобом и страшно вытаращенными глазами, взял – «по любви» – замуж сироту, племянницу Изота, держит её строго, но одевает в городское платье. Отец проклял его за строптивость и, проходя мимо новенькой избы сына, ожесточённо плюёт на неё. Панков сдал Ромасю в аренду избу и пристроил к ней лавку против желания богатеев села, и они ненавидят его за это, он же относится к ним внешне равнодушно, говорит о них пренебрежительно, а с ними – грубо и насмешливо. Деревенская жизнь тяготит его:

– Знай я ремесло – жил бы в городе...

Складный, всегда чисто одетый, он держится солидно и очень самолюбив; ум его осторожен, недоверчив.

– Ты от сердца али по расчету за такое дело взялся? – спрашивает он Ромася.

– А – как думаешь?

– Нет – ты скажи.

– По-твоему – как лучше?

– Не знаю! А – по-твоему?

Хохол упрям и в конце концов заставляет мужика высказаться.

– Лучше – от ума, конечно! Ум без пользы не живёт, а где польза – там дело прочное. Сердце – плохой советчик нам. По сердцу, я бы такого наделал – беда! Попа обязательно поджёт бы, – не суйся куда не надо!

Поп, злой старичок, с мордочкой крота, очень насолил Панкову, вмешавшись в его ссору с отцом.

Сначала Панков относился ко мне неприязненно и почти враждебно, даже хозяйски покрикивал на меня, но скоро это исчезло у него, хотя, я чувствовал, осталось скрытое недоверие ко мне, да и мне Панков был неприятен.

Очень памятны мне вечера в маленькой, чистой комнатке с бревенчатыми стенами. Окна плотно закрыты ставнями, на столе, в углу, горит лампа, перед нею крутолобый, гладко остриженный человек с большой бородой, он говорит:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Суть жизни в том, чтобы человек всё дальше отходил от скота...

Трое мужиков слушают внимательно, у всех хорошие глаза, умные лица. Изот сидит всегда неподвижно, как бы прислушиваясь к чему-то отдалённому, что слышит только он один. Кукушкин вертится, точно его комары кусают, а Панков, пощипывая светлые усики, соображает тихо:

– Значит, – все-таки была нужда народу разбиться на сословия.

Мне очень нравится, что Панков никогда не говорит грубо с Кукушкиным, батраком своим, и внимательно слушает забавные выдумки мечтателя.

Кончится беседа, – я иду к себе, на чердак, и сижу там, у открытого окна, глядя на уснувшее село и в поля, где непоколебимо властвует молчание. Ночная мгла пронизана блеском звёзд, тем более близких земле, чем дальше они от меня. Безмолвие внушительно сжимает сердце, а мысль растекается в безграничии пространства, и я вижу тысячи деревень, так же молча прижавшихся к плоской земле, как притиснуто к ней наше село. Неподвижность, тишина.

Мглистая пустота, тепло обняв меня, присасывается тысячами невидимых пиявок к душе моей, и постепенно я чувствую сонную слабость, смутная тревога волнует меня. Мал и ничтожен я на земле...

Жизнь села встаёт предо мною безрадостно. Я многократно слышал и читал, что в деревне люди живут более здорово и сердечно, чем в городе. Но – я вижу мужиков в непрерывном, каторжном труде, среди них много нездоровых, надорвавшихся в работе и почти совсем нет весёлых людей. Мастерские и рабочие города, работая не меньше, живут веселее и не так нудно, надоедливо жалуются на жизнь, как эти угрюмые люди. Жизнь крестьянина не кажется мне простой, она требует напряжённого внимания к земле и много чуткой хитрости в отношении к людям. И не сердечна эта бедная разумом жизнь, заметно, что все люди села живут ощупью, как слепые, все чего-то боятся, не верят друг другу, что-то волчьё есть в них.

Мне трудно понять, за что они так упрямо не любят Хохла, Панкова и всех «наших», людей, которые хотят жить разумно.

Я отчётливо вижу преимущества города, его жажду счастья, дерзкую пылкость разума, разнообразие его целей и задач. И всегда, в такие ночи, мне вспоминаются двое горожан:

«Ф. Калугин и З. Небей

Часовых дел мастера, а также принимают в починку разные аппараты, хирургические инструменты, швейные машины, музыкальные ящики всех систем и прочее».

Эта вывеска помещается над узенькой дверью маленького магазина, по сторонам двери пыльные окна, у одного сидит Ф. Калугин, лысый, с шишкой на жёлтом черепе и с лупой в глазу; круглолицый, плотный, он почти непрерывно улыбается, ковыряя тонкими щипчиками в механизме часов, или что-то распекает, открыв круглый рот, спрятанный под седую щёткой усов. У другого окна – З. Небей, курчавый, чёрный, с большим, кривым носом, с большими, как сливы, глазами и остренькой бородкой; сухой, тощий, он похож на дьявола. Он тоже разбирает и слаживает какие-то тоненькие штучки и, порою, неожиданно кричит басом:

– Тра-та-там, там, там!

За спинами у них хаотически нагромождены ящики, машины, какие-то колёса, аристократы, глобусы, всюду на полках металлические вещи разных форм, и множество часов качают маятниками на стенах. Я готов целый день смотреть, как работают эти люди, но моё длинное тело закрывает им свет, они строят мне страшные рожи, машут руками – гонят прочь. Уходя, я с завистью думаю: «Какое счастье уметь всё делать!»

Уважаю этих людей и верю, что они знают тайны всех машин, инструментов и могут починить всё на свете. Это – люди!

А деревня не нравится мне, мужики – непонятны. Бабы особенно часто жалуются на болезни, у них что-то «подкапывает к сердцу», «спирает в грудях» и постоянно

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
«резь в животе», – об этом они больше и охотнее всего говорят, сидя по
праздникам у своих изб или на берегу Волги. Все они страшно легко раздражаются,
неистово ругая друг друга. Из-за разбитой глиняной корчаги, ценою в двенадцать
копеек, три семьи дрались кольями, переломили руку старухе и разбили череп
парню. Такие драки почти каждую неделю.

Парни относятся к девицам откровенно цинично и озорничают над ними: поймают
девок в поле, завернут им юбки и крепко свяжут подола мочалом над головами. Это
называется «пустить девку цветком». По пояс обнажённые снизу девицы визжат,
ругаются, но, кажется, им приятна эта игра, заметно, что они развязывают юбки
свои медленнее, чем могли бы. В церкви за всенощной парни щиплют девицам
ягодицы, кажется, только для этого они и ходят в церковь. В воскресенье поп с
амвона говорил:

– Скоты! Нет разве иного места для безобразия вашего?

– На Украине народ, пожалуй, более поэт в религии, – рассказывает Ромась, – а
здесь, под верою в бога, я вижу только грубейшие инстинкты страха и жадности.
Такой, знаете, искренней любви к богу, восхищения красотой и силой его – у
здешних нет. Это, может быть, хорошо: легче освободятся от религии, она же –
вреднейший предрассудок, скажу вам!

Парни хвастливы, но – трусы. Уже раза три они пробовали побить меня, застигая
ночью на улице, но это не удалось им, и только однажды меня ударили палкой по
ноге. Конечно, я не говорил Ромасю о таких стычках, но, заметив, что я
прихрамываю, он сам догадался, в чём дело.

– Эге, всё-таки – получили подарок? Я ж говорил вам!

Хотя он и не советует мне гулять по ночам, но всё же иногда я выхожу огородами
на берег Волги и сижу там под вётрами, глядя сквозь прозрачную завесу ночи вниз,
за реку, в луга. Величественно медленное течение Волги, богато позолоченное
лучами невидимого солнца, отражёнными мёртвой луною. Я не люблю луну, в ней есть
что-то зловещее, и, как у собаки, она возбуждает у меня печаль, желание уныло
завывать. Меня очень обрадовало, когда я узнал, что она светит не своим светом,
что она мертва и нет и не может быть жизни на ней. До этого я представлял её
населённой медными людьми, они сложены из треугольников, двигаются, как циркули,
и уничтожающе, величественно звонят. На ней всё – медное; растения, животные –
всё непрерывно, приглушённо звенит враждебно земле, замышляет злое против неё.
Мне было приятно узнать, что она – пустое место в небесах, но всё-таки хотелось
бы, чтоб на луну упал большой метеор с силою, достаточной для того, чтоб она,
вспыхнув от удара, засияла над землёй собственным светом.

Глядя, как течение Волги колеблет парчовую полосу света и, зарождённое где-то
далеко во тьме, исчезает в чёрной тени горного берега, – я чувствую, что мысль
моя становится бодрее и острее. Легко думается о чём-то неуловимом словами,
чуждом всему, что пережито днём. Владычное движение водной массы почти
безмолвно. По тёмной, широкой дороге скользит пароход чудовищной птицей в
огненном оперении, мягкий шум течёт вслед за ним, как трепет тяжёлых крыльев.
Под луговым берегом плавают огонёк, от него, по воде, простирается острый
красный луч – это рыбак лучит рыбу, а можно думать, что на реку опустилась с
неба одна из его бесприютных звёзд и носится над водою огненным цветком.

Вычитанное из книг развивается в странные фантазии, воображение неустанно ткёт
картины бесподобной красоты, и точно плывёшь в мягком воздухе ночи вслед за
рекою.

Меня находит Изот, ночью он кажется ещё крупнее, ещё более приятен.

– Ты опять тут? – спрашивает он и, садясь рядом, долго, сосредоточенно молчит,
глядя на реку и в небо, поглаживая тонкий шёлк золотистой бороды.

Потом – мечтает:

– Выучусь, начитаюсь – пойду вдоль всех рек и буду всё понимать! Буду учить
людей! Да. Хорошо, брат, поделиться душой с человеком! Даже бабы – некоторые –
если с ними говорить по душе – и они понимают. Недавно одна сидит в лодке у меня
и спрашивает: «Что с нами будет, когда помрём? Не верю, говорит, ни в ад, ни в

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
тот свет». Видал? Они, брат, тоже..

Не найдя слова, он помолчал и наконец добавил:

– Живые души...

Изот был ночной человек. Он хорошо чувствовал красоту, хорошо говорил о ней тихими словами мечтающего ребёнка. В бога он веровал без страха, хотя и церковно, представляя его себе большим, благообразным стариком, добрым и умным хозяином мира, который не может побороть зла только потому, что «не поспекает он, больно много человека разродилось. Ну – ничего, он – поспеет, увидишь! А вот Христа я не могу понять – никак! Ни к чему он для меня. Есть бог, ну и – ладно. А тут – ещё один! Сын, говорят. Мало ли что – сын? Чай бог-то не померк...»

Но чаще Изот сидит молча, думая о чём-то, и лишь порою говорит, вздохнув:

– Да, вот оно как...

– Что?

– Это я про себя...

И снова вздыхает, глядя в мутные дали.

– Хорошо это – жизнь!

Я соглашусь:

– Да, хорошо!

Могуче движется бархатная полоса тёмной воды, над нею изогнуто простерлась серебряная полоса Млечного Пути, сверкают золотыми жаворонками большие звёзды, и сердце тихо поёт свои неразумные думы о тайнах жизни.

Далеко над лугами из красноватых облаков вырываются лучи солнца, и – вот оно распустило в небесах свой павлиний хвост.

– Удивительно это – солнце! – бормочет Изот, счастливо улыбаясь.

Яблони цветут, село окутано розоватыми сугробами и горьким запахом, он проникает всюду, заглушая запахи дёгтя и навоза. Сотни цветущих деревьев, празднично одетые в розоватый атлас лепестков, правильными рядами уходят от села в поле. В лунные ночи, при лёгком ветре, мотыльки цветов колебались, шелестели едва слышно, и казалось, что село заливают золотисто-голубые, тяжёлые волны. Неустанно и страстно пели соловьи, а днём задорно дразнились скворцы и невидимые жаворонки изливали на землю непрерывный нежный звон свой.

По праздникам, вечерами, девки и молодухи ходили по улице, распевая песни, открыв рты, как птенцы, и томно улыбались хмельными улыбками. Изот тоже улыбался, точно пьяный, он похудел, глаза его провалились в тёмные ямы, лицо стало ещё строже, красивей и – святей. Он целые дни спал, являясь на улице только под вечер, озабоченный, тихо задумчивый. Кукушкин грубо, но ласково издевался над ним, а он, смущённо ухмыляясь, говорил:

– Молчи, знай. Что поделаешь?

И восхищался:

– Ой, сладко жить! И ведь как ласково жить можно, какие слова есть для сердца! Иное – до смерти не забудешь, воскреснешь – первым вспомнишь!

– Смотри – побьют тебя мужья, – предупреждал его Хохол, тоже ласково усмехаясь.

– И – есть за что, – соглашался Изот.

Почти каждую ночь, вместе с песнями соловьёв, разливался в садах, в поле, на берегу реки высокий, волнующий голос Мигуна, он изумительно красиво пел хорошие песни, за них даже мужики многое прощали ему.

Вечерами, по субботам, у нашей лавки собиралось всё больше народа и – неизбежно – старик Суслов, Баринов, кузнец Кротов, Мигун. Сидят и задумчиво беседуют. Уйдут одни, являются другие, и так – почти до полуночи. Иногда скандалят пьяные, чаще других солдат Костин, человек одноглазый и без двух пальцев на левой руке. Засучив рукава, размахивая кулаками, он подходит к лавке шагом бойцового петуха и орёт натужно, хрипло:

– Хохол, вредная нация, турецкая вера! Отвечай – почему в церковь не ходишь, а? Еретицкая душа! Смутьян человеческий! Отвечай – кто ты таков есть?

Его дразнят:

– Мишка, – ты зачем пальцы себе отстрелил? Турка испугался?

Он лезет драться, но его хватают и со смехом, с криками сталкивают в овраг, – катясь кубарем по откосу, он визжит нестерпимо:

– Караул! Убили...

Потом вылезает, весь в пыли, и просит у Хохла на шкалик водки.

– За что?

– За потеху, – отвечает Костин. Мужики дружно хохочут.

Однажды утром, в праздник, когда кухарка подожгла дрова в печи и вышла на двор, а я был в лавке, – в кухне раздался сильный вздох, лавка вздрогнула, с полок повалились жестянки карамели, зазвенели выбитые стёкла, забарабанило по полу. Я бросился в кухню, из двери её в комнату лезли чёрные облака дыма, за ним что-то шипело и трещало, – Хохол схватил меня за плечо:

– Стойте...

В сенях завывала кухарка.

– Э, дура...

Ромась сунулся в дым, загремел чем-то, крепко выругался и закричал:

– Перестань! Воды!

На полу кухни дымились поленья дров, горела лучина, лежали кирпичи, в чёрном жерле печи было пусто, как выметено. Нащупав в дыму ведро воды, я залил огонь на полу и стал швырять поленья обратно в печь.

– Осторожней! – сказал Хохол, ведя за руку кухарку, и, втолкнув её в комнату, скомандовал:

– Запри лавку! Осторожнее, Максимыч, может, ещё взорвёт... – И, присев на корточки, он стал рассматривать круглые, еловые поленья, потом начал вытаскивать из печи брошенные мною туда.

– Что вы делаете?

– А – вот!

Он протянул мне странно разорванный кругляш, и я увидел, что внутренность его была высверлена коловоротом и странно закоптела.

– Понимаете? Они, черти, начинили полено порохом. Дурачье! Ну, – что можно сделать фунтом пороха?

И, отложив полено в сторону, он начал мыть руки, говоря:

– Хорошо, что Аксинья ушла, а то ушибло бы её...

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
Кисловатый дым разошёлся, стало видно, что на полке перебита посуда, из рамы
окна выдавлены все стёкла, а в устье печи – вырваны кирпичи.

В этот час спокойствие Хохла не понравилось мне, – он вёл себя так, как будто
глупая затея нимало не возмущает его. А по улице бегали мальчишки, звенели
голоса:

– У Хохла пожар! Горим!

Причитая, выла баба, а из комнаты тревожно кричала Аксинья:

– В лавку ломаются, Михайло Антоныч!

– Ну, ну, тихо! – говорил он, вытирая полотенцем мокрую бороду.

В открытые окна комнаты смотрели искажённые страхом и гневом волосатые рожи,
щурились глаза, разъедаемые дымом, и кто-то возбуждённо, визгливо кричал:

– Выгнать их из села! Скандалы у них бесперечь! Что такое, господи?

Маленький рыжий мужичок, крестясь и шевеля губами, пытался влезть в окно и – не
мог; в правой руке у него был топор, а левая, судорожно хватаясь за подоконник,
срывалась.

Держа в руке полено, Ромась спросил его:

– Куда ты?

– Тушить, батюшка...

– Так нигде же не горит...

Мужик, испуганно открыв рот, исчез, а Ромась вышел на крыльцо лавки и, показывая
полено, говорил толпе людей:

– Кто-то из вас начинил этот кругляш порохом и сунул его в наши дрова. Но пороха
оказалось мало, и вреда никакого не вышло...

Я стоял сзади Хохла, смотрел на толпу и слышал, как мужик с топором пугливо
рассказывает:

– Как он размахнётся на меня поленом...

А солдат Костин, уже выпивший, кричал:

– Выгнать его, изувера! Под суд...

Но большинство людей молчало, пристально глядя на Ромася, недоверчиво слушая его
слова:

– Для того, чтоб взорвать избу, надо много пороха, пожалуй – пуд! Ну, идите же...

Кто-то спрашивал:

– Где староста?

– Урядника надо!

Люди разошлись не торопясь, неохотно, как будто сожалев о чём-то.

Мы сели пить чай, Аксинья разливала, ласковая и добрая как никогда, и,
сочувственно поглядывая на Ромася, говорила:

– Не жалуетесь вы на них, вот они и озорничают.

– Не сердит вас это? – спросил я.

– Времени не хватит сердиться на каждую глупость.

Я подумал: «Если б все люди так спокойно делали своё дело!»

А он уже говорил, что скоро поедет в Казань, спрашивая, какие книги привезти.

Иногда мне казалось, что у этого человека на месте души действует – как в часах – некий механизм, заведённый сразу на всю жизнь. Я любил Хохла, очень уважал его, но мне хотелось, чтоб однажды он рассердился на меня или на кого-нибудь другого, кричал бы и топал ногами. Однако он не мог или не хотел сердиться. Когда его раздражали глупостью или подлостью, он только насмешливо прищуривал серые глаза и говорил короткими, холодными словами что-то, всегда очень простое, безжалостное.

Так, он спросил Сулова:

– Зачем же вы, старый человек, кривите душой, а?

Жёлтые щёки и лоб старика медленно окрасились в багровый цвет, казалось, что и белая борода его тоже порозовела у корней волос.

– Ведь – нет для вас пользы в этом, а уважение вы потеряете.

Сулов, опустив голову, согласился:

– Верно – нет пользы!

И потом говорил Изоту:

– Это – душеводитель! Вот эдаких бы подобрать в начальство...

..Кратко, толково Ромась внушает, что и как я должен делать без него, и мне кажется, что он уже забыл о попытке поугатать его взрывом, как забывают об укусе мухи.

Пришёл Панков, осмотрел печь и хмуро спросил:

– Не испугались?

– Ну, чего же?

– Война!

– Садись чай пить.

– Жена ждёт.

– Где был?

– На рыбалке. С Изотом.

Он ушёл и в кухне ещё раз задумчиво повторил:

– Война.

Он говорил с Хохлом всегда кратко, как будто давно уже переговорив обо всём важном и сложном. Помню, выслушав историю царствования Ивана Грозного, рассказанную Ромасём, Изот сказал:

– Скушный царь!

– Мясник, – добавил Кукушкин, а Панков решительно заявил:

– Ума особого не видно в нём. Ну, перебил он князей, так на их место расплодил мелких дворянишек. Да ещё чужих навёз, иноземцев. В этом – нет ума. Мелкий помещик хуже крупного. Муха – не волк, из ружья не убьёшь, а надоедает она хуже волка.

Явился Кукушкин с ведром разведённой глины и, вмазывая кирпичи в печь, говорил:

– Удумали, черти! Вошь свою перевести – не могут, а человека извести – пожалуйста! Ты, Антоныч, много товару сразу не вози, лучше – поменьше да почаще, а то, гляди, подождут тебя. Теперь, когда ты эту штуку устроишь, – жди беды!

«Эта штука», очень неприятная богатеям села, – артель садовладельцев. Хохол почти уже наладил её при помощи Панкова, Сулова и ещё двух-трёх разумных мужиков. Большинство домохозяев начало относиться к Ромасю благосклонней, в лавке заметно увеличивалось количество покупателей, и даже «никчемные» мужики – Баринов, Мигун – всячески старались помочь всем, чем могли, делу Хохла.

Мне очень нравился Мигун, я любил его красивые, печальные песни. Когда он пел, то закрывал глаза, и его страдальческое лицо не дёргалось судорогами. Жил он тёмными ночами, когда нет луны или небо занавешено плотной тканью облаков. Бывало, с вечера зовёт меня тихонько:

– Приходи на Волгу.

Там, налаживая на стерлядей запрещённую снасть, сидя верхом на корме своего челнока, опустив кривые, тёмные ноги в тёмную воду, он говорит вполголоса:

– Измывается надо мной барин, – ну, ладно, могу терпеть, пёс его возьми, он – лицо, он знает неизвестное мне. А – когда свой брат, мужик, теснит меня – как я могу принять это? Где между нами разница? Он – рублями считает, я – копейками, только и всего!

Лицо Мигуна болезненно дёргается, прыгает бровь, быстро шевелятся пальцы рук, разбирая и подтачивая напильником крючки снасти, тихо звучит сердечный голос:

– Считаюсь я вором, верно – грешен! Так ведь и все грабежом живут, все друг дружку сосут да грызут. Да. Бог нас – не любит, а чорт – балует!

Чёрная река ползёт мимо нас, чёрные тучи двигаются над нею, лугового берега не видно во тьме. Осторожно шаркают волны о песок берега и замывают ноги мои, точно увлекая меня за собою в безбрежную, куда-то плывущую тьму.

– Жить-то надо? – вздыхая, спрашивает Мигун.

Вверху, на горе, уныло воет собака. Как сквозь сон, я думаю:

«А зачем надо жить таким и так, как ты?»

Очень тихо на реке, очень черно и жутко. И нет конца этой тёплой тьме.

– Убьют Хохла. И тебя, гляди, убьют, – бормочет Мигун, потом неожиданно и тихо запекает песню:

Меня-а мамонька любила-а, –
Говорила:

– Эх-ма, Яша, эх ты, милая душа,
Живи тихо-о...

Он закрывает глаза, голос его звучит сильнее и печальней, пальцы, разбирая бечёвку снасти, шевелятся медленнее.

Не послушал я родимой,
Эх, – не послушал...

У меня странное ощущение: как будто земля, подмытая тяжёлым движением тёмной, жидкой массы, опрокидывается в неё, а я – съезжаю, соскальзываю с земли во тьму, где навсегда утонуло солнце.

Кончив петь так же неожиданно, как начал, Мигун молча стаскивает челнок в воду, садится в него и почти бесшумно исчезает в черноте. Смотрю вслед ему и думаю:

«Зачем живут такие люди?»

В друзьях у меня и Баринов, безалаберный человек, хвастун, лентяй, сплетник и непоседливый бродяга. Он жил в Москве и говорит о ней, отплёвываясь:

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma
– Адов город! Бестолочь. Церквей – четырнадцать тысяч и шесть штук, а народ – сплошь жулик! И все – в чесотке, как лошади, ей-богу! Купцы, военные, мещане – все, как есть, ходят и чешутся. Действительно, – царь-пушка есть там, струмент громадный! Пётр Великий сам её отливал, чтобы по бунтарям стрелять; баба одна, дворянка, бунт подняла против него, за любовь к нему. Жил он с ней ровно семь лет, изо дня в день, потом бросил с троими ребятами. Разгневалась она и – бунт! Так, братец ты мой, как он бабахнет из этой пушки по бунту – девять тысяч триста восемь человек сразу уложил! Даже – сам испугался: «Нет, – говорит Филарет-митрополиту, – надо её, сволочь, заклепать от соблазну!» Заклепали...

Я говорю ему, что всё это ерунда, он – сердится:

– Гос-споди боже мой! Какой у тебя характер скверный! Мне эту историю подробно учёный человек сказывал, а ты...

Ходил он в Киев «ко святым» и рассказывал:

– Город этот – вроде нашего села, тоже на горе стоит, и – река, забыл однако какая. Против Волги – лужица! Город путаный, надо прямо сказать. Все улицы – кривые и в гору лезут. Народ – хохол, не такой крови, как Михайло Антонов, а – полупольской, полутатарской. Балакает, – не говорит. Нечёсанный народ, грязный. Лягушек ест, – лягушки у них фунтов по десяти. Ездит на быках и даже пашет на них. Быки у них – замечательные, самый маленький – вчетверо больше нашего. Восемьдесят три пуда весом. Монахов там – пятьдесят семь тысяч и двести семьдесят три архиерея... Ну, чудак! Как же ты можешь спорить? Я – сам всё видел, своими глазами, а ты – был там? Не был. Ну, то-то же! Я, брат, точность больше всего люблю...

Он любил цифры, выучился у меня складывать и умножать их, но терпеть не мог деления. Увлечённо умножал многозначные числа, храбро ошибался при этом и, написав длинную линию цифр палкой на песке, смотрел на них поражённо, вытаращив детские глаза, восклицая:

– Такую штуку никто и выговорить не может!

Он – человек нескладный, растрёпанный, оборванный, а лицо у него почти красивое, в курчавой, весёлой бородке, голубые глаза улыбаются детской улыбкой. В нём и Кукушкине есть что-то общее, и, должно быть, поэтому они сторонятся друг от друга.

Баринов дважды ездил на Каспий ловить рыбу и – бредит:

– Море, братец мой, ни на что не похоже. Ты перед ним – мошка! Глядишь ты на него, и – нет тебя! И жизнь там сладкая. Туда сбегается всякий народ, даже архимандрит один был: ничего – работал! Кухарка тоже была одна, жила она у прокурора в любовницах – ну, чего бы ещё надо? Однако – не стерпела: «Очень ты мне, прокурор, любезен, а всё-таки – прощай!» Потому – кто хоть раз видел море, его снова туда тянет. Простор там. Как в небе – никакой толкотни! Я тоже уйду туда навеки. Не люблю я народ, вот что! Мне бы отшельником жить, в пустынях, ну – не знаю я пустынь порядочных...

Он болтался в селе, как бездомная собака, его презирали, но слушали рассказы его с таким же удовольствием, как песни Мигуна.

– Ловко врёт! Занятно!

Его фантазии иногда смущали разум даже таких положительных людей, как Панков, – однажды этот недоверчивый мужик сказал Хохлу:

– Баринов доказывает, что про Грозного не всё в книгах написано, многое скрыто. Он будто оборотень был, Грозный, орлом оборачивался, – с его времени орлов на деньгах и чеканят – в честь ему.

Я замечал – который раз? – что всё необычное, фантастическое, явно, а иногда я плохо выдуманное, нравится людям гораздо больше, чем серьёзные рассказы о правде жизни.

Но когда я говорил об этом Хохлу, он, усмехаясь, говорил:

– Это пройдёт! Лишь бы люди научились думать, а до правды они додумаются. И чудаков этих – Баринова, Кукушкина – вам надо понять. Это, знаете, – художники, сочинители. Таким же, наверное, чудачком Христос был. А – согласитесь, что ведь он кое-что неплохо выдумал...

Удивляло меня, что все эти люди мало и неохотно говорят о боге, – только старик Суслов часто и с убеждением замечал:

– Всё – от бога!

И всегда я слышал в этих словах что-то безнадежное. Очень хорошо жилось с этими людьми, и многому научился я от них в ночи бесед. Мне казалось, что каждый вопрос, поставленный Ромасём, пустил, как мощное дерево, корни свои в плоть жизни, а там, в недрах её, корни сплелись с корнями другого, такого же векового дерева, и на каждой ветви их ярко цветут мысли, пышно распускаются листья звучных слов. Я чувствовал свой рост, насосавшись возбуждающего мёда книг, увереннее говорил, и уже не раз Хохол, усмехаясь, похваливал меня:

– Хорошо действуете, Максимыч!

Как я был благодарен ему за эти слова!

Панков иногда приводил жену свою, маленькую женщину с кротким лицом и умным взглядом синих глаз, одетую «по-городскому». Она тихонько садилась в угол, скромно поджав губы, но через некоторое время рот её удивлённо открывался и глаза расширялись пугливо. А иногда она, слыша меткое словцо, смущённо смеялась, закрывая лицо руками. Панков же, подмигнув Ромасю, говорил:

– Понимает!

К Хохлу приезжали осторожные люди, он уходил с ними на чердак ко мне и часами сидел там.

Туда Аксинья подавала им есть и пить, там они спали, невидимые никому, кроме меня и кухарки, по-собачьи преданной Ромасю, почти молившейся на него. По ночам Изот и Панков отвозили этих гостей в лодке на мимо идущий пароход или на пристань в Лобышки. Я смотрел с горы, как на чёрной – или посеребрённой луною – реке мелькает чечевица лодки, летает над нею огонёк фонаря, привлекая внимание капитана парохода, – смотрел и чувствовал себя участником великого, тайного дела.

Приезжала из города Мария Деренкова, но я уже не нашёл в её взгляде того, что смущало меня, – глаза её показались мне глазами девушки, которая счастлива сознанием своей миловидности и рада, что за нею ухаживает большой, бородатый человек. Он говорил с нею так же спокойно и немножко насмешливо, как со всеми, только бороду поглаживал чаще, да глаза его сияли теплее. А её тонкий голосок звучал весело, она была одета в голубое платье, голубая лента на светлых волосах. Детские руки её были странно спокойны – как будто искали, за что бы схватиться? Она почти непрерывно напевала что-то, не открывая рта, и обмахивала платочком розоватое, тающее лицо. Было в ней что-то волновавшее меня по-новому, неприязненно и сердито. Я старался возможно меньше видеть её.

В середине июля пропал Изот. Заговорили, что он утонул и дня через два подтвердилось: верстах в семи ниже села к луговому берегу прибило его лодку с проломленным дном и разбитым бортом. Несчастье объяснили тем, что Изот, вероятно, заснул на реке и лодку его снесло на пыжи трёх барж, стоявших на якорях, верстах в пяти ниже села.

Ромась был в Казани, когда случилось это. Вечером ко мне в лавку пришёл Кукушкин, уныло сел на мешки, помолчал, глядя на ноги себе, потом, закуривая, спросил:

– Когда Хохол воротится?

– Не знаю.

Он начал крепко растирать ладонью битое своё лицо, тихонько ругаясь матерными

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
словами, рыча, как подавившийся костью.

– Что ты?

Он взглянул на меня, кусая губы. Глаза его покраснели, челюсть дрожала. Видя, что он не может говорить, я тревожно ждал чего-то печального. Наконец, выглянув на улицу, он с трудом выговорил, заикаясь:

– Ездил я с Мигуном. Лодку смотрели Изотову. Топором дно-то прорублено – понял? Значит – убит Изотушка! Не иначе...

Встряхивая голову, он стал нанизывать матерные слова одно на другое, всхлипывал сухим, горячим звуком, а потом, замолчав, начал креститься. Нестерпимо было видеть, как этот мужик хочет заплакать и – не может, не умеет, дрожит весь, задыхаясь в злобе и печали. Вскочил и ушёл, встряхивая голову.

На другой день вечером мальчишки, купаясь, увидели Изота под разбитой баржей, обсохшей на берегу немного выше села. Половина днища баржи была на камнях берега, половина – в воде, а под нею, у кормы, зацепившись за изломанные полости руля, распласталось, вниз лицом, длинное тело Изота с разбитым, пустым черепом, – вода вымыла мозг из него. Рыбака ударили сзади, затылок его был точно стёсан топором. Течение колебало Изота, забрасывая ноги его к берегу, двигая руками рыбака, казалось, что он напрягает силы свои, пытаясь выкарабкаться на берег.

Угрюмо, сосредоточенно на берегу стояло десятка два мужиков-богачей, бедняки ещё не воротились с поля. Суетился, размахивая посошком, вороватый, трусливый староста, шмыгал носом и отирал его рукавом розовой рубахи. Широко расставив ноги, выпятив живот, стоял кряжистый лавочник Кузьмин, глядя – по очереди – на меня и Кукушкина. Он грозно нахмурил брови, но его бесцветные глаза слезились и рябое лицо показалось жалким.

– Ой, озорство! – причитал староста, семена кривыми ногами. – Ох, мужики, нехорошо!

Дородная молодуха, сноха его, сидя на камне, тупо смотрела в воду и крестилась дрожащей рукой, губы её шевелились, и нижняя, толстая, красная, как-то неприятно, точно у собаки, отвисала, обнажая жёлтые зубы овцы. С горы цветными комьями катились девки, ребяташки, поспешно шагали пыльные мужики. Толпа осторожно и негромко гудела:

– Занозистый был мужик.

– Чем это?

– Это вон Кукушкин занозист...

– Зря извели человека...

– Изот – смирно жил...

– Смирно-о? – завыл Кукушкин, бросаясь к мужикам. – Так за что же вы его убили, а? Сволочь! А?

Вдруг истерически захохотала какая-то баба, и хохот кликуши точно плетью ударил толпу, мужики заорали, налезая друг на друга, ругаясь, рыча, а Кукушкин, подскочив к лавочнику, с размаха ударил его ладонью по шероховатой щеке:

– На, животный!

Размахивая кулаками, он тотчас же выскочил из свалки и почти весело крикнул мне:

– Уходи, драться будут!

Его уже ударили, он плевал кровью из разбитой губы, но лицо его сияло удовольствием...

– Видал, как я Кузьмина шарахнул?

К нам подбежал Баринов, пугливо оглядываясь на толпу у баржи, она сбилась тесной кучей, из неё вырывался тонкий голос старосты:

– Нет, ты докажи – кому я мирволю? Ты – докажи!

– Уходить надо отсюда мне, – ворчал Баринов, поднимаясь в гору. Вечер был зноен, тягостная духота мешала дышать. Багровое солнце опускалось в плотные, синеватые тучи, красные отблески сверкали на листве кустов; где-то ворчал гром.

Предо мною шевелилось тело Изота, и на разбитом черепе волоса, выпрямленные течением, как будто встали дыбом. Я вспоминал его глуховатый голос, хорошие слова:

«В каждом человеке детское есть, – на него и надо упирать, на детское это! Возьми Хохла: он будто железный, а душа в нём – детская!»

Кукушкин, шагая рядом со мною, говорил сердито:

– Всех нас вот эдак... Господи, глупость какая!

Хохол приехал дня через два, поздно ночью, видимо, очень довольный чем-то, необычно ласковый. Когда я впустил его в избу, он хлопнул меня по плечу.

– Мало спите, Максимыч!

– Изота убили.

– Что-о?

Скулы у него вздулись желваками и борода задрожала, точно струясь, стекая на грудь. Не снимая фуражку, он остановился среди комнаты, прищурил глаза, мотая головой.

– Так. Неизвестно – кто? Ну, да...

Медленно прошёл к окну и сел там, вытянув ноги.

– Я же говорил ему... Начальство было?

– Вчера. Становой.

– Ну, что же? – спросил он и сам себе ответил:

– Конечно – ничего!

Я сказал ему, что становой, как всегда, остановился у Кузьмина и велел посадить в холодную Кукушкина за пощёчину лавочнику.

– Так. Ну, что же тут скажешь?

Я ушёл в кухню кипятить самовар.

За чаем Ромась говорил:

– Жалко этот народ, – лучших своих убивает он! Можно думать – боится их. «Не ко двору» они ему, как здесь говорят. Когда шёл я этапом в Сибирь эту, – каторжанин один рассказал мне: занимался он воровством, была у него целая шайка, пятеро. И вот один начал говорить: «Бросимте, братцы, воровство, всё равно – толку нет, живём плохо!» И за это они его удушили, когда он пьяный спал. Рассказчик очень хвалил мне убитого: «Триих, говорит, прикончил я после того – не жалко, а товарища до сего дня жалею, хороший был товарищ, умный, весёлый, чистая душа». – «Что же вы убили его, спрашиваю, боялись – выдаст?» Даже обиделся: «Нет, говорит, он бы ни за какие деньги не выдал, ни за что! А – так как-то, неладно стало дружить с ним, все мы – грешны, а он будто праведник. Нехорошо».

Хохол встал и начал шагать по комнате, заложив руки за спину, держа в зубах трубку, белый весь, в длинной татарской рубахе до пят. Крепко топая босыми подошвами, он говорил тихо и задумчиво:

– Много раз натыкался я на эту боязнь праведника, на изгнание из жизни хорошего человека. Два отношения к таким людям: либо их всячески уничтожают, сначала затравив хорошенько, или – как собаки – смотрят им в глаза, ползают пред ними на брюхе. Это – реже. А учиться жить у них, подражать им – не могут, не умеют. Может быть – не хотят?

Взяв стакан остывшего чая, он сказал:

– Могут и не хотеть! Подумайте, – люди с великим трудом наладили для себя какую-то жизнь, привыкли к ней, а кто-то один – бунтует: не так живёте! Не так? Да мы же лучшие силы наши вложили в эту жизнь, дьявол тебя возьми! И – бац его, учителя, праведника. Не мешай! А всё же таки живая правда с теми, которые говорят: не так живёте! С ними правда. И это они двигают жизнь к лучшему.

Махнув рукою на полку книг, он добавил:

– Особенно – эти! Эх, если б я мог написать книгу! Но – не гожусь на это, – мысли у меня тяжёлые, нескладные.

Он сел за стол, облокотился и, сжав голову руками, сказал:

– Как жалко Изота...

И долго молчал.

– Ну, давайте ляжем спать...

Я ушёл к себе, на чердак, сел у окна. Над полями вспыхивали зарницы, обнимая половину небес; казалось, что луна испуганно вздрагивает, когда по небу разольётся прозрачный, красноватый свет. Надрывно лаяли и выли собаки, и, если б не этот вой, можно было бы вообразить себя живущим на необитаемом острове. Рокотал отдалённый гром, в окно вливался тяжёлый поток душного тепла.

Преодо мною лежало тело Изота, на берегу, под кустами ивняка. Синее лицо его было обращено к небу, а остеклевшие глаза строго смотрели внутрь себя. Золотистая борода слиплась острыми комьями, в ней прятался изумлённо открытый рот.

«Главное, Максимыч, доброта, ласка! Я пасху люблю за то, что она – самый ласковый праздник!»

К синим его ногам, чисто вымытым Волгой, прилипли синие штаны, высохнув на знойном солнце. Мухи гудели над лицом рыбака, от его тела исходил одуряющий, тошнотворный запах.

Тяжёлые шаги на лестнице; согнувшись в двери, вошёл Ромась и сел на мою койку, собрав бороду в горсть.

– А я, знаете, женюсь! Да.

– Трудно будет здесь женщине...

Он пристально посмотрел на меня, как будто ожидая: что ещё скажу я? Но я не находил, что сказать. Отблески зарниц вторгались в комнату, заливая её призрачным светом.

– Женюсь на Маше Деренковой...

Я невольно улыбнулся: до этой минуты мне не приходило в голову, что эту девушку можно назвать – Маша. Забавно. Не помню, чтоб отец или братья называли её так – Маша.

– Вы что смеётесь?

– Так.

– Думаете – стар я для неё?

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
– О, нет!

– Она сказала мне, что вы были влюблены в неё.

– Кажется – да.

– А теперь? Прошло?

– Да, я думаю.

Он выпустил бороду из пальцев, тихо говоря:

– В ваши годы это часто кажется, а в мои – это уж не кажется, но просто охватывает всего, и ни о чём нельзя больше думать, нет сил!

И, оскалив крепкие зубы усмешкой, он продолжал:

– Антоний проиграл цезарю Октавиану битву при Акциуме потому, что, бросив свой флот и командование, побежал на своём корабле вслед за Клеопатрой, когда она испугалась и отплыла из боя, – вот что бывает!

Встал Ромась, выпрямился и повторил, как поступающий против своей воли:

– Так вот как – женюсь!

– Скоро?

– Осенью. Когда кончим с яблоками.

Он ушёл, наклонив голову в двери ниже, чем это было необходимо, а я лёг спать, думая, что, пожалуй, лучше будет, если я осенью уйду отсюда. Зачем он сказал про Антония? Не понравилось это мне.

Уже наступала пора снимать скороспелые сорта яблок. Урожай был обилен, ветви яблонь гнулись до земли под тяжестью плодов. Острый запах окутал сады, там гомонили дети, собирая червобоину и сбитые ветром жёлтые и розовые яблоки.

В первых числах августа Ромась приплыл из Казани с дощаником товара и другим, гружённым коробами. Было утро, часов восемь буднего дня. Хохол только что переоделся, вымылся и, собираясь пить чай, весело говорил:

– А хорошо плыть ночью по реке...

И вдруг, потянув носом, спросил озабоченно:

– Как будто – гарью пахнет?

В ту же минуту на дворе раздался вопль Аксиньи:

– Горим!

Мы бросились на двор, – горела стена сарая со стороны огорода, в сарае мы держали керосин, дёготь, масло. Несколько секунд мы оторопело смотрели, как деловито жёлтые языки огня, обесцвеченные ярким солнцем, лижут стену, загибаются на крышу. Аксинья притащила ведро воды. Хохол выплеснул его на цветущую стену, бросил ведро и сказал:

– К чорту! Выкатывайте бочки, Максимыч! Аксинья – в лавку!

Я быстро выкатил на двор и на улицу бочку дёгтя и взялся за бочку керосина, но, когда я повернул её, – оказалось, что втулка бочки открыта, и керосин потёк на землю. Пока я искал втулку, огонь – не ждал, сквозь дощатые сени сарая просунулись острые его клинья, потрескивала крыша, и что-то насмешливо пело. Выкатив неполную бочку, я увидел, что по улице отовсюду с воем и визгом бегут бабы, дети. Хохол и Аксинья выносят из лавки товар, спуская его в овраг, а среди улицы стоит чёрная, седая старуха и, грозя кулаком, кричит пронзительно:

– А-а-а, дьяволы!..

Снова вбежав в сарай, я нашёл его полным густейшего дыма, в дыму гудело, трещало, с крыши свешивались, извиваясь, красные ленты, а стена уже превратилась в раскалённую решётку. Дым душил меня и ослеплял, у меня едва хватило сил подкатить бочку к двери сарая, в дверях она застряла и дальше не шла, а с крыши на меня сыпались искры, жала кожу. Я закричал о помощи, прибежал Хохол, схватил меня за руку и вытолкнул на двор.

– Бегите прочь! Сейчас взорвёт...

Он бросился в сени, а я за ним и – на чердак, там у меня лежало много книг. Вышвырнув их в окно, я захотел отправить вслед за ними ящик шапок, окно было узко для него, тогда я начал выбивать косяки полупудовой гирей, но – глухо бухнуло, на крышу сильно плеснуло, я понял, что это взорвалась бочка керосина, крыша надо мною запылала, затрещала, мимо окна лилась, заглядывая в него, рыжая струя огня, и мне стало нестерпимо жарко. Бросился к лестнице, – густые облака дыма поднимались навстречу мне, по ступенькам вползали багровые змеи, а внизу, в сенях, так трещало, точно чьи-то железные зубы грызли дерево. Я – растерялся. Слеплённый дымом, задыхаясь, я стоял неподвижно какие-то бесконечные секунды. В слуховое окно над лестницей заглянула рыжебородая, жёлтая рожа, судорожно искривилась, исчезла, и тотчас же крышу пронзили кровавые копыя пламени.

Помню, мне казалось, что волосы на голове моей трещат, и кроме этого, я не слышал иных звуков. Понимал, что – погиб, отяжелели ноги. и было больно глазам, хотя я закрыл их руками.

Мудрый инстинкт жизни подсказал мне единственный путь спасения – я схватил в охапку мой тюфяк, подушку, связку мочала, окутал голову овчинным тулупом Ромась и выпрыгнул в окно.

Очнулся я на краю оврага, предо мною сидел на корточках Ромась и кричал:

– Что-о?

Я встал на ноги, очумело глядя, как таяла наша изба, вся в красных стружках, чёрную землю пред нею лизали алые, собачьи языки. Окна дышали чёрным дымом, на крыше росли, качаясь, жёлтые цветы.

– Ну, что? – кричал Хохол. Его лицо, облитое потом, выпачканное сажей, плакало грязными слезами, глаза испуганно мигали, в мокрой бороде запуталось мочало. Меня облила освежающая волна радости – такое огромное, мощное чувство! – потом ожгла боль в левой ноге, я лёг и сказал Хохлу:

– Ногу вывихнул.

Ощупав ногу, он вдруг дёрнул её – меня хлестнуло острой болью, и через несколько минут, пьяный от радости, прихрамывая, я сносил к нашей бане спасённые вещи, а Ромась, с трубкой в зубах, весело говорил:

– Был уверен, что сгорите вы, когда взорвало бочку и керосин хлынул на крышу. Огонь столбом поднялся, очень высоко, а потом в небе вырос эдакий гриб и вся изба сразу окунулась в огонь. Ну, думаю, пропал Максимыч!

Он был уже спокоен, как всегда, аккуратно укладывал вещи в кучу и говорил чумазой, растрёпанной Аксинье:

– Сидите тут, стерегите, чтоб не воровали, а я пойду гасить...

В дыму под оврагом летали белые куски бумаги.

– Эх, – сказал Ромась, – жалко книг! Родные книжки были...

Горело уже четыре избы. День был тихий, огонь не торопился, растекаясь направо и налево, гибкие крючья его цеплялись за плетни и крыши как бы неохотно. Раскалённый гребень чесал солому крыш, кривые, огненные пальцы перебирали плетни, играя на них, как на гуслях, в дымном воздухе разносилось злорадно ноющее, жаркое пение пламени и тихий, почти нежно звучащий треск тающего дерева. Из облака дыма падали на улицу и во дворы золотые «галки», бестолково

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
суетились мужики и бабы, заботясь каждый о своём, и непрерывно звучал воющий крик:

– Воды-ы!

Вода была далеко, под горой, в Волге. Ромась быстро сбил мужиков в кучу, хватая их за плечи, толкая, потом разделил на две группы и приказал ломать плетни и службы по обе стороны пожарища. Его покорно слушались, и началась более разумная борьба с уверенным стремлением огня пожрать весь «порядок», всю улицу. Но работали всё-таки боязливо и как-то безнадежно, точно делая чужое дело.

Я был настроен радостно, чувствовал себя сильным, как никогда. В конце улицы я заметил кучку богатеев со старостой и Кузьминым во главе, они стояли, ничего не делая, как зрители, кричали, размахивая руками и палками. С поля, верхами, скакали мужики, взмахивая локтями до ушей, вопили бабы встречу им, бегали мальчишки.

Загорались службы ещё одного двора, нужно было как можно скорее разобрать стену хлева, она была сплетена из толстых сучьев и уже украшена алыми лентами пламени. Мужики начали подрубать колья плетня, на них посыпались искры, угли, и они отскочили прочь, затирая ладонями тлеющие рубахи.

– Не трусь! – кричал Хохол.

Это не помогло. Тогда он сорвал шапку с кого-то, нахлобучил её на мою голову:

– Рубите с того конца, а я – здесь!

Я подрубил один, два кола, – стена закачалась, тогда я влез на неё, ухватился за верх, а Хохол потянул меня за ноги на себя, и вся полоса плетня упала, покрыв меня почти до головы. Мужики дружно выволокли плетень на улицу.

– Обожглись? – спросил Ромась.

Его заботливость увеличивала мои силы и ловкость. Хотелось отличиться пред этим, дорогим для меня, человеком, и я неистовствовал, лишь бы заслужить его похвалу. А в туче дыма всё ещё летали, точно голуби, страницы наших книг.

С правой стороны удалось прервать распространение пожара, а влево он распространялся всё шире, захватывая уже десятый двор. Оставив часть мужиков следить за хитростями красных змей, Ромась погнал большинство работников в левую; пробегая мимо богатеев, я услышал чьё-то злое восклицание:

– Поджог!

А лавочник сказал:

– В бане у него поглядеть надо!

Эти слова неприятно засели мне в память.

Известно, что возбуждение, радостное – особенно, увеличивает силы; я был возбуждён, работал самозабвенно и наконец «выбился из сил». Помню, что сидел на земле, прислоняясь спиной к чему-то горячему. Ромась поливал меня водой из ведра, а мужики, окружив нас, почтительно бормотали:

– Силёнка у ребёнка!

– Этот – не выдаст...

Я прижался головой к ноге Ромася и постыднейше заплакал, а он гладил меня по мокрой голове, говоря:

– Отдохните! Довольно.

Кукушкин и Баринов, оба закоптевшие, как черти, повели меня в овраг, утешая:

– Ничего, брат! Кончилось.

– Испугался?

Я не успел ещё отлежаться и придти в себя, когда увидел, что в овраг, к нашей бане, спускается человек десять «богачей», впереди их – староста, а сзади его двое сотских ведут под руки Ромася. Он – без шапки, рукав мокрой рубахи оторван, в зубах стиснута трубка, лицо его сурово нахмурено и страшно. Солдат Костин, размахивая палкой, неистово орёт:

– В огонь, еретицкую душу!

– Отпирай баню...

– Ломайте замок – ключ потерян, – громко сказал Ромась.

Я вскочил на ноги, схватил с земли кол и встал рядом с ним. Сотские отодвинулись, а староста визгливо, испуганно сказал:

– Православные, – ломать замки не позволено!

Указывая на меня, Кузьмин кричал:

– Вот этот ещё... Кто таков?

– Спокойно, Максимыч, – говорил Ромась. – Они думают, что я спрятал товар в бане и сам поджёг лавку.

– Оба вы!

– Ломай!

– Православные...

– Отвечаем!

– Наш ответ...

Ромась шепнул:

– Встаньте спиной к моей спине! Чтобы сзади не ударили...

Замок бани сломали, несколько человек сразу втиснулось в дверь и почти тотчас же вылезли оттуда, а я, тем временем, сунул кол в руку Ромася и поднял с земли другой.

– Ничего нет...

– Ничего?

– Ах, дьяволы!

Кто-то робко сказал:

– Напрасно, мужики...

И в ответ несколько голосов буйно, как пьяные:

– Чего – напрасно?

– В огонь!

– Смутьяны...

– Артели затевают!

– Воры! И компания у них – воры!

– Цыц! – громко крикнул Ромась. – Ну, – видели вы, что в бане у меня товар не

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
спрятан, – чего ещё надо вам? Всё сгорело, осталось – вот: видите? Какая польза
была мне поджигать своё добро?

– Застраховано!

И снова десять глоток яростно заорали:

– Чего глядеть на них?

– Будет! Натерпелись...

У меня ноги тряслись и потемнело в глазах. Сквозь красноватый туман я видел свирепые рожи, волосатые дыры ртов на них и едва сдерживал злое желание бить этих людей. А они орали, прыгая вокруг нас.

– Ага-а, колья взяли.

– С кольями?!

– Оторвут они бороду мне, – говорил Хохол, и я чувствовал, что он усмехается. – И вам попадёт, Максимыч, – эх! Но – спокойно – спокойно...

– Смотрите, у молодого топор!

У меня за поясом штанов действительно торчал плотничный топор, я забыл о нём.

– Как будто – трусят, – соображал Ромась. – Однако вы топором не действуйте, если что...

Незнакомый, маленький и хромой мужичонка, смешно приплясывая, неистово визжал:

– Кирпичами их издаля! Бей в мою голову!

Он действительно схватил обломок кирпича, размахнулся и бросил его мне в живот, но раньше, чем я успел ответить ему, сверху, ястребом, свалился на него Кукушкин, и они, обнявшись, покатались в овраг. За Кукушкиным прибежал Панков, Баринов, кузнец, ещё человек десять, и тотчас же Кузьмин солидно заговорил:

– Ты, Михайло Антонов, человек умный, тебе известно: пожар мужика с ума сводит...

– Идёмте, Максимыч, на берег, в трактир, – сказал Ромась и, вынув трубку изо рта, резким движеньем сунул её в карман штанов. Подпираясь колом, он устало полез из оврага, и когда Кузьмин, идя рядом с ним, сказал что-то, он, не взглянув на него, ответил:

– Пошёл прочь, дурак!

На месте нашей избы тлела золотая груда углей, в середине её стояла печь, из уцелевшей трубы поднимался в горячий воздух голубой дымок. Торчали докрасна раскалённые прутья койки, точно ноги паука. Обугленные веревки ворот стояли у костра чёрными сторожами, одна веревка в красной шапке углей и в огоньках, похожих на перья петуха.

– Сгорели книги, – сказал Хохол, вздохнув. – Это досадно!

Мальчишки загоняли палками в грязь улицы большие головни, точно поросят, они шипели и гасли, наполняя воздух едким беловатым дымом. Человек, лет пяти от роду, беловолосый, голубоглазый, сидя в тёплой, чёрной луже, бил палкой по измятому ведру, сосредоточенно наслаждаясь звуками ударов по железу. Мрачно шагали погорельцы, стаскивая в кучи уцелевшую домашнюю утварь. Плакали и ругались бабы, ссорясь из-за обгоревших кусков дерева. В садах за пожарищем недвижимо стояли деревья, листва многих порыжела от жары, и обилие румяных яблок стало виднее.

Мы сошли к реке, выкупались и потом молча пили чай в трактире на берегу.

– А с яблоками мироеды проиграли дело, – сказал Ромась.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy@mail.ru
Пришёл Панков, задумчивый и более мягкий, чем всегда.

– Что, брат? – спросил Хохол.

Панков пожал плечами:

– У меня изба застрахована была.

Помолчали, странно, как незнакомые, присматриваясь друг ко другу щупающими глазами.

– Что теперь будешь делать, Михаил Антоныч?

– Подумаю.

– Уехать надо тебе отсюда.

– Посмотрю.

– У меня план есть, – сказал Панков, – пойдём на волю, поговорим.

Пошли. В дверях Панков обернулся и сказал мне:

– А – не робок ты! Тебе здесь – можно жить, тебя бояться будут...

Я тоже вышел на берег, лёг под кустами, глядя на реку.

Жарко, хотя солнце уже опускалось к западу. Широким свитком развернулось предо мною всё пережитое в этом селе – как будто красками написано на полосе реки. Грустно было мне. Но скоро одолела усталость, и я крепко заснул.

– Эй, – слышал я сквозь сон, чувствуя, что меня трясут и тащат куда-то. – Помер ты, что ли? Очнись!

За рекой над лугами светилась багровая луна, большая, точно колесо. Надо мною наклонился Баринов, раскачивая меня.

– Иди, Хохол тебя ищет, беспокоится!

Идя сзади меня, он ворчал:

– Тебе нельзя спать где попало! Пройдёт по горе человек, оступится – спустит на тебя камень. А то и нарочно спустит. У нас – не шутят. Народ, братец ты мой, зло помнит. Кроме зла, ему и помнить нечего.

В кустах на берегу кто-то тихонько возился, – шевелились ветви.

– Нашёл? – спросил звучный голос Мигуна.

– Веду, – ответил Баринов.

И, отойдя шагов десять, сказал, вздохнув:

– Рыбу воровать собирается. Тоже и Мигуну – не легка жизнь.

Ромась встретил меня сердитым упрёком:

– Вы что же гуляете? Хотите, чтоб вздули вас?

А когда мы остались одни, он сказал хмуро и тихо:

– Панков предлагает вам остаться у него. Он хочет лавку открыть. Я вам не советую. А вот что, я продал ему всё, что осталось, уеду в Вятку и через некоторое время выпишу вас к себе. Идёт?

– Подумаю.

– Думайте.

Он лёг на пол, повозился немного и замолчал. Сидя у окна, я смотрел на Волгу. Отражения луны напоминали мне огни пожара. Под луговым берегом тяжко шлёпал плицами колёс буксирный пароход, три мачтовых огня плыли во тьме, касаясь звёзд и порою закрывая их.

– Сердитесь на мужиков? – сонно спросил Ромась. – Не надо. Они только глупы. Злоба – это глупость.

Слова его не утешали, не могли смягчить мое ожесточение и остроту обиды моей. Я видел пред собою звериные, волосатые пасти, извергавшие злой визг:

«Кирпичами издаля!»

В это время я ещё не умел забывать то, что не нужно мне. Да, я видел, что в каждом из этих людей, взятом отдельно, не много злобы, а часто и совсем нет её. Это, в сущности, добрые звери, – любого из них нетрудно заставить улыбнуться детской улыбкой, любой будет слушать с доверием ребёнка рассказы о поисках разума и счастья, о подвигах великодушия. Странной душе этих людей дорого всё, что возбуждает мечту о возможности лёгкой жизни по законам личной воли.

Но когда на сельских сходах или в трактире на берегу эти люди соберутся серой кучей, они прячут куда-то всё своё хорошее и облачаются, как попы, в ризы лжи и лицемерия, в них начинает играть собачья угодливость пред сильными, и тогда на них противно смотреть. Или – неожиданно их охватывает волчья злоба, ощетинясь, оскалив зубы, они дико воют друг на друга, готовы драться – и дерутся – из-за пустяка. В эти минуты они страшны и могут разрушить церковь, куда ещё вчера вечером шли кротко и покорно, как овцы в хлев. У них есть поэты и сказочники, – никем не любимые, они живут на смех селу, без помощи, в презрении.

Не умею, не могу жить среди этих людей. И я изложил все мои горькие думы Ромасю в тот день, когда мы расставались с ним.

– Преждевременный вывод, – заметил он с упрёком.

– Но – что же делать, если он сложился?

– Неверный вывод! Неосновательно.

Он долго убеждал меня хорошими словами в том, что я не прав, ошибаюсь.

– Не торопитесь осуждать! Осудить – всего проще, не увлекайтесь этим. Смотрите на всё спокойно, памятуя об одном: всё проходит, всё изменяется к лучшему. Медленно? Зато – прочно! Заглядывайте всюду, ощупывайте всё, будьте бесстрашны, но – не торопитесь осудить. До свидания, дружще!

Это свидание состоялось через пятнадцать лет в Седлеце, после того, как Ромась отбыл по делу «народоправцев» ещё одну десятигодовую ссылку в Якутской области.

Меня свинцом облила тоска, когда он уехал из Красновидова, я заметался по селу, точно кутёнок, потерявший хозяина. Я ходил с Бариновым по деревням, работали у богатых мужиков, молотили, рыли картофель, чистили сады. Жил я у него в бане.

– Лексей Максимыч, воевода без народа, – как же, а? – спросил он меня дождливой ночью. – Едем, что ли, на море завтра? Ей-богу! Чего тут? Не любят здесь нашего брата, эдаких. Ещё – того, как-нибудь, под пьяную руку...

Не впервые говорил это Баринов. Он тоже почему-то затосковал, его обезьяньи руки бессильно повисли, он уныло оглядывался, точно заплутавшийся в лесу.

В окно бани хлестал дождь, угол её подмывал поток воды, бурно стекая на дно оврага. Немошно вспыхивали бледные молнии последней грозы. Баринов тихо спрашивал:

– Едем, а? Завтра?

Поехали.

..Неизъяснимо хорошо плыть по Волге осенней ночью, сидя на корме баржи, у руля, которым водит мохнатое чудовище с огромной головой, – водит, топая по палубе тяжёлыми ногами, и густо вздыхает:

– О-уп!.. О-про-у...

За кормой шёлково струится, тихо плещет вода, смолисто-густая, безбрежная. Над рекою клубятся чёрные тучи осени. Всё вокруг – только медленное движение тьмы, она стёрла берега, кажется, что вся земля растаяла в ней, превращена в дымное и жидкое, непрерывно, бесконечно, всю массу текущее куда-то вниз, в пустынное, немое пространство, где нет ни солнца, ни луны, ни звёзд.

Впереди, в темноте сырой, тяжело возится и дышит невидимый буксирный пароход, как бы сопротивляясь упругой силе, влекущей его. Три огонька – два над водой и один высоко над ними – провозжат его; ближе ко мне под тучами плывут, точно золотые караси, ещё четыре, один из них – огонь фонаря на мачте нашей баржи.

Я чувствую себя заключённым внутри холодного, масляного пузыря, он тихо скользит по наклонной плоскости, а я вклеплен в него, как мошка. Мне кажется, что движение постепенно замирает и близок момент, когда оно совсем остановится, – пароход перестанет ворчать и бить плицами колес по густой воде, все звуки облетят, как листья с дерева, сотрутся, как надписи мелом, и владычно обнимет меня неподвижность, тишина.

И большой человек в рваном овчинном тулупе, в лохматой бараньей шапке, шагающий у руля, остановится недвижимо, заколдованный навеки, не будет рычать:

– Опр-оп! О-урр...

Я спросил его:

– Как тебя звать?

– А зачем тебе знать? – глухо ответил он.

На закате солнца, отплывая из Казани, я заметил, что у этого человека, неуклюжего, как медведь, лицо волосатое, безглазое. Становясь к рулю, он вылил в деревянный ковш бутылку водки, выпил её в два приёма, как воду, и закусил яблоком. А когда буксир дёрнул баржу, человек, вцепившись в рычаг руля, взглянул на красный круг солнца и, тряхнув башкой, сказал строго:

– Благослови осподь!

Пароход ведёт из Нижнего, с ярмарки, в Астрахань четыре баржи, грузённые штучным железом, бочками сахара и какими-то тяжёлыми ящиками, – всё это для Персии. Баринов постучал по ящикам ногою, понюхал, подумал и сказал:

– Не иначе – ружья, с Ижевского завода...

Но рулевой ткнул его кулаком в живот и спросил:

– Тебе какое дело?

– В мыслях моих...

– А – в морду – хочешь?

За проезд на пассажирском пароходе нам нечем платить, мы взяты на баржу «из милости», и, хотя мы «держим вахту», как матросы, все на барже смотрят на нас, точно на нищих.

– А ты говоришь – народ, – упрекает меня Баринов. – Тут – просто: кто на ком сел верхом...

Тьма так плотна, что барж не видно, видишь только освещённые огнями фонарей острия мачт на фоне дымных туч. Тучи пахнут нефтью.

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiyma
Меня раздражает угрюмое молчание рулевого. Я назначен боцманом «вахтить» на руле
в помощь этому зверю. Следя за движением огней, на поворотах, он тихо говорит
мне:

– Эй, берись!

Вскакиваю на ноги и ворочаю рычаг руля.

– Ладно, – ворчит он.

Я снова сажусь на палубу. Разговориться с этим человеком – не удаётся, он
отвечает вопросами:

– А тебе что за дело?

О чём он думает? Когда проходили место, где жёлтые воды Камы вливаются в
стальную полосу Волги, он, посмотрев на север, проворчал:

– Сволочь.

– Кто?

Не ответил.

Где-то далеко, в пропастях тьмы, воют и лают собаки. Это напоминает о каких-то
остатках жизни, ещё не раздавленных тьмою. Это кажется недостижимо далёким и
ненужным.

– Собаки тут плохие, – неожиданно говорит человек у руля.

– Где – тут?

– Везде. У нас собака – настоящий зверь...

– Ты – откуда?

– Вологодской.

И, точно картофель из прорванного мешка, покатались серые, тяжёлые слова:

– Это – кто с тобой – дядя? Дурак он, по-моему. А у меня дядя умный. Лихой.
Богач. В Симбирском пристань держит. Трактир. На берегу.

Выговорив всё это медленно и как бы с трудом, человек уставился невидимыми
глазами на мачтовый фонарь парохода, следя, как он ползёт в сетях тьмы золотым
пауком.

– Берись, ну... Грамотный? Не знаешь – кто законы пишет?

Не дождавшись ответа, он продолжает:

– Разно говорят: одни – царь, другие – митрополит Сенат. Кабы я наверно знал –
кто, сходил бы к нему. Сказал бы: ты пиши законы так, чтобы я замахнуться не
мог, а не то что ударить! Закон должен быть железный. Как ключ. Заперли мне
сердце, и шабаш! Тогда я – отвечаю! А так – не отвечаю! Нет.

Он бормотал для себя, всё более тихо и бессвязно, пристукивая кулаком по дереву
рычага.

С парохода кричали в рупор, и глухой голос человека был так же излишен, как лай
и вой собак, уже всосанный жирной ночью. У бортов парохода по чёрной воде
жёлтыми масляными пятнами плывут отсветы огней и тают, бессильные осветить
что-либо. А над нами точно ил течёт, так вязки и густы тёмные, сочные облака. Мы
всё глубже скользим в безмолвные недра тьмы.

Человек угрюмо жаловался:

– К чему довели меня? Сердце не дышит...

Безразличие овладело мною, безразличие и холодная тоска. Захотелось спать.

Осторожно, с трудом продираясь сквозь тучи, подкрался рассвет без солнца, немощный и серый. Окрасил воду в цвет свинца, показал на берегах жёлтые кусты, железные, ржавчиной покрытые сосны, тёмные лапы их ветвей, вереницу изб деревни, фигуру мужика, точно вырубленную из камня. Над баржой пролетела чайка, свистнув кривыми крыльями.

Меня и рулевого сменили с вахты, я залез под брезент и уснул, но вскоре – так показалось мне – меня разбудил топот ног и крики. Высунув голову из-под брезента, я увидел, что трое матросов, прижав рулевого к стенке «конторки», разноголосно кричат:

– Брось, Петруха!

– Господь с тобой, – ничего!

– А ты – полно!

Скрестив руки, вцепившись пальцами в плечи себе, он стоял спокойно, прижимая ногою к палубе какой-то узел, смотрел на всех по очереди и хрипло уговаривал:

– Дайте от греха уйти!

Он был бос, без шапки, в одной рубахе и портах, тёмная куча нечёсанных волос торчала на его голове, они спускались на упрямый, выпуклый лоб, под ним видно было маленькие глаза крота, налитые кровью, они смотрели умоляюще, тревожно.

– Утонешь! – говорили ему.

– Я? никак. Пустите, братцы! Не пустите – убью его! Как приплывём в Симбирской, так и...

– Да перестань!

– Эх, братцы...

Он медленно, широко развёл руки, опустил на колени и, касаясь руками «конторки», точно распятый, повторил:

– Дайте от греха бежать!

В голосе его, странно глубоко, было что-то потрясающее, раскинутые руки, длинные, как вёсла, дрожали, обращены ладонями к людям. Дрожало и его медвежье лицо в косматой бороде, кротовые, слепые глаза тёмными шариками выкатились из орбит. Казалось, что невидимая рука вцепилась в горло ему и душит.

Мужики молча расступились пред ним, он неуклюже встал на ноги, поднял узел, сказал:

– Вот – спасибо!

Подошёл к борту и с неожиданной лёгкостью прыгнул в реку. Я тоже бросился к борту и увидел, как Петруха, болтая головою, надел на неё – шапкой – свой узел и поплыл, наискось течения, к песчаному берегу, где, встречу ему, нагибались под ветром кусты, сбрасывая в воду жёлтые листья.

Мужики говорили:

– Одолел себя всё-таки!

Я спросил:

– Он – сошёл с ума?

– Зачем? Нет, это он – души спасенья ради...

ие сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
Петруха уже выплыл на мелкое место, встал по грудь в воде и взмахнул над головою
узлом.

Матросы закричали:

– Проща-ай!

Кто-то спросил:

– А как же без пачпорта он?

Рыжий, кривоногий матрос рассказывал мне с удовольствием:

– У него, в Симбирске, дядя живёт, злодей ему и разоритель, вот он и затеял
убить дядю, да однако пожалел сам себя, отскочил от греха. Зверь мужик, а –
добрый! Он – хороший...

А хороший мужик уже шагал по узкой полосе песка, против течения реки, и – вот он
исчез в кустах.

Матросы оказались добрыми ребятами, все они были земляки мне, исконные волгари;
к вечеру я чувствовал себя своим человеком среди них. Но на другой день заметил,
что они смотрят на меня угрюмо, недоверчиво. Я тотчас догадался, что чорт дёрнул
Барина за язык и этот фантазёр что-то рассказал матросам.

– Рассказал?

Улыбаясь бабьими глазами, смущённо почёсывая за ухом, он сознался:

– Рассказал немножко!

– Да – я ж тебя просил молчать?

– Ведь я и молчал, да уж больно история интересна. Хотели в карты играть, а
рулевой захватил карты, – скушно! Я и того...

Из расспросов моих оказалось, что Баринов, скуки ради, сплёл весьма забавную
историю, в конце которой Хохол и я, как древние викинги, рубились топорами с
толпой мужиков.

Бесполезно было сердиться на него, – он видел правду только вне
действительности. Однажды, когда я с ним, по пути на поиски работы, сидел на
краю оврага в поле, он убеждённо и ласково внушал мне:

– Правду надобно выбирать по душе! Вон, за оврагом, стадо пасётся, собака
бегает, пастух ходит. Ну, так что? Чем мы с тобой от этого попользуемся для
души? Милый, ты взгляни просто: злой человек – правда, а добрый – где?
Доброго-то ещё не выдумали, да-а!

В Симбирске матросы очень нелюбезно предложили нам сойти с баржи на берег.

– Вы нам люди неподходящие, – сказали они.

Свезли нас в лодке к пристаням Симбирска, и мы обсохли на берегу, имея в
карманах тридцать семь копеек.

Пошли в трактир пить чай.

– Что будем делать?

Баринов уверенно сказал:

– Как – что? Надо ехать дальше.

До Самары доехали «зайцами» на пассажирском, в Самаре нанялись на баржу, через
семь дней почти благополучно доплыли до берегов Каспия и там пристроились к
небольшой артели рыболовов на калмыцком грязном промысле Кабанкул-бай.

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma

1923 г.

Комментарии

Детство

Впервые напечатано в газете «Русское слово», 1913 – номер 196 от 25 августа; номер 208 от 8 сентября; номер 213 от 14 сентября; номер 219 от 22 сентября; номер 224 от 29 сентября; номер 230 от 6 октября; номер 236 от 13 октября; номер 260 от 10 ноября; номер 266 от 17 ноября; номер 271 от 24 ноября; номер 277 от 1 декабря; номер 283 от 8 декабря; номер 289 от 15 декабря; номер 295 от 22 декабря; номер 299 от 29 декабря; 1914 – номер 4 от 5 января; номер 12 от 16 января; номер 18 от 23 января; номер 24 от 30 января.

Глава первая была опубликована в большевистском журнале «Просвещение», 1913, номер 9 за сентябрь.

Отдельной книгой повесть впервые издана И.П. Ладыжниковым, Берлин (без обозначения года издания). Текст издания И.П. Ладыжникова был вновь отредактирован автором и с посвящением: «Сыну моему посвящаю» опубликован в двадцатом томе собрания сочинений в издании «Жизнь и знание», Петроград, 1915. Этот текст воспроизведен в издании З.И. Гржебина, с которого печатались все последующие издания повести.

Первые наброски, связанные с работой М. Горького над художественной автобиографией, датируются весной 1893 года – в это время писатель работал над «Изложением фактов и дум...» и «Био[графией]» – произведениями, очень близкими «Детству» по содержанию.

В 1906 году, перед отъездом из Америки, М. Горький писал И.П. Ладыжникову: «Очень много разных литературных планов и кстати уж думаю взяться за автобиографию...» (Архив А.М. Горького). О своём намерении написать автобиографию М. Горький сообщил также К.П. Пятницкому в первых числах января 1910 года (дневник К.П. Пятницкого, хранящийся в Архиве А.М. Горького).

В одном из писем с Капри, предположительно датированном весной 1910 года, М. Горький писал: «Я недурно знаю русский быт и русскую литературу, и я, не без сожаления, скажу: никто не выдумывает меньше меня. Когда-нибудь я напишу свою автобиографию и в ней документально – со ссылками на лица и места – оправдаю все, иногда как будто невероятные события и состояния душ в моих рассказах» (Архив А.М. Горького).

Над «Детством» М. Горький работал в основном, очевидно, в 1912–1913 годах; 29 января 1913 года он писал издателю газеты «Русское слово» И.Д. Сытину в ответ на его предложение сотрудничать в газете: «...могу предложить вам ряд маленьких очерков из воспоминаний детства моего, – уверен, что они могут быть интересны» (Архив А.М. Горького).

С августа 1913 года в газете началось печатание «Детства», которое М. Горький посылал в редакцию отдельными главами. Последовательность в печатании текста в «Русском слове» и в последующих изданиях сохранена, за исключением глав пятой и шестой: глава пятая в «Русском слове» и в отдельном берлинском издании была шестой, а шестая – пятой.

В процессе работы М. Горький предполагал изменить первоначальное заглавие повести. Об этом он писал одному из редакторов «Русского слова»: «Посылаю IV главу очерков; их следовало озаглавить «Бабушка», а не «Детство». Не согласитесь ли вы изменить заголовок?» (Архив А.М. Горького). 26 сентября 1913 года в письме И.П. Ладыжникову М. Горький также писал о том, что «Детство» следовало озаглавить «Бабушка» (Архив А.М. Горького).

Но уже в следующем письме в редакцию «Русского слова» М. Горький отказался от этого названия. «Подумав, нахожу, – писал он, – что напрасно беспокоил Вас и что заголовок не следует изменять. Так и оставим «Детство» (Архив А.М. Горького). «Детство» – первая часть автобиографической трилогии («Детство», «В людях», «Мои университеты»). О трилогии, – как о произведении автобиографическом, неоднократно писал сам М. Горький (письма к А.С. Макаренку, И.Д. Сытину, Л.П. Гроссману, И.А. Груздеву. Архив А.М. Горького).

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.ma

После Великой Октябрьской социалистической революции М. Горький в переписке с читателями указывал на воспитательное значение повести «Детство» для советской молодёжи. Так, например, в 1925 году в письме к А.С. Макаренко, руководившему в ту пору детской колонией беспризорных, он писал: «Мне хотелось бы, чтобы осенними вечерами колонисты прочитали моё «Детство», из него они увидят, что я совсем такой же человек, каковы они, только с юности умел быть настойчивым в моём желании учиться и не боялся никакого труда. Веровал, что действительно: «учение и труд все перетрут» (Архив А.М. Горького).

Повесть «Детство» включалась во все собрания сочинений.

Печатается по тексту берлинского издания И.П. Ладжжикова, отредактированному М. Горьким для издания «Жизнь и знание», с исправлениями по сохранившейся части авторизованной машинописи и прижизненным публикациям (Архив А.М. Горького).

Взятая в прямые скобки приставка «по» введена в текст редакцией.

В людях

Впервые в отрывках напечатано в газете «Русское слово», 1915, номер 251 от 1 ноября (глава I, кончая словами: «Наревевшись до утомления, мы заснули»); номер 257 от 8 ноября (глава V, кончая словами: «...они были похожи на солдат»); номер 263 от 15 ноября (глава VII); номер 274 от 29 ноября (глава IX); номер 280 от 6 декабря (глава XX). Полностью повесть впервые опубликована в журнале «Летопись», 1916, номера с 1 по 12, январь – декабрь. Отдельной книгой повесть вышла в издательствах: И.П. Ладжжикова, Берлин (без обозначения года издания), «Парус», Петроград, 1918, и дважды в издательстве З.И. Гржебина, Берлин, 1921 и 1922.

Повесть написана М. Горьким в 1914 году: 14 декабря издатель И.Д. Сытин телеграфировал М. Горькому, прося его разрешения напечатать в газете XIX главу повести. При этом И.Д. Сытин указывал соответствующие страницы авторской рукописи (с 286 по 291 включительно) и просил дать главе отдельное название (Архив А.М. Горького). Рукопись, на которую ссылался И.Д. Сытин, до нас не дошла.

В декабре 1914 года (номер 297 от 25 декабря) в газете «Русское слово» был помещён очерк М. Горького «В театре и цирке» с примечанием: «Глава из нового произведения М. Горького «В людях», которое будет напечатано в 1915 году в «Русском слове».

Очерк этот, однако, ни в один из печатных текстов повести «В людях» не вошёл. В настоящем издании он публикуется как самостоятельное произведение.

Повесть «В людях» включалась во все собрания сочинений.

Печатается по исправленному М. Горьким тексту издания З.И. Гржебина, 1922, сверенному с двумя авторизованными машинописями (Архив А.М. Горького).

Мои университеты

Впервые напечатано в журнале «Красная новь», 1923, номер 2 за март-апрель; номер 3 за май; номер 4 за июнь-июль, в цикле «Автобиографические рассказы». В цикл входили произведения: «Время Короленко», «В.Г. Короленко», «О вреде философии», «Мои университеты», «Сторож», «О первой любви». В каждом номере публикация сопровождалась указаниями: «Продолжение следует», «Продолжение»; предпоследняя публикация заканчивалась указанием: «Окончание следует». Отдельной книжкой повесть впервые вышла в издании «Книга», 1923.

Первое упоминание о работе над повестью имеется в письме М. Горького М.Ф. Андреевой от 28 февраля 1922 года. Позднее, в письме Г.Д. Уэллсу (от 16 апреля 1922 года), М. Горький также сообщает, что, живя в Шварцвальде, он в течение трёх месяцев (январь – март) писал третью часть автобиографии (Архив А.М. Горького).

Четвёртого августа 1925 года, отвечая на вопрос своего знакомого А.Е. Богдановича: будет ли он продолжать свои воспоминания? – М. Горький писал: «Об А.М. Калюжном, Афанасьеве, Ланине у меня написано много, но... печатать не стану, может быть, удастся переделать» (Архив А.М. Горького). В том же письме, имея в виду свои воспоминания о 1890-х годах, М. Горький сообщал: «Написать об этих годах я мог бы и ещё много, но сознательно придушил себя, ибо питаю намерение

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiy.maх
написать нечто вроде хроники от 80-х годов до 918-го («Жизнь Клима Самгина». –
Ред.). Уже пишу» (Архив А.М. Горького).

Повесть «Мои университеты» отражает казанский период жизни М. Горького (1884–1888 годы).

В ряде писем и литературных статей М. Горького содержатся ценные воспоминания о характере политических кружков, в которых участвовал писатель. Так, например, в письме А.А. Белозёрову от 24 апреля 1927 года М. Горький, характеризуя руководителей различных нелегальных кружков в Казани 1880-х годов, говорит о кружке Н.Е. Федосеева: «Сергей Григо[рьевич] Сомов – бывший ялуторовский ссыльный, организатор революционного эклектического кружка в Казани, друг Каронина–Петропавловского, П.Ф. Кудрявцев был членом народнического кружка Попова. В Казани того времени существовал чисто марксистский кружок Федосеева» (Архив А.М. Горького).

Роль Н.Е. Федосеева в пропаганде марксизма, его борьба с народничеством охарактеризованы в статье В.И. Ленина «Несколько слов о Н.Е. Федосееве». «Н.Е. Федосеев, – писал В.И. Ленин, – был одним из первых, начавших провозглашать свою принадлежность к марксистскому направлению. Помню, что на этой почве началась его полемика с Н.К. Михайловским (см. статью М. Горького о нём), который отвечал ему в «Русском богатстве» на одно из его нелегальных писем... Федосеев пользовался необыкновенной симпатией всех его знавших, как тип революционера старых времён, всецело преданного своему делу...

Во всяком случае, для Поволжья и для некоторых местностей Центральной России роль, сыгранная Федосеевым, была в то время замечательно высока, и тогдашняя публика в своём повороте к марксизму несомненно испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера» (В.И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т.33, стр.414–415).

«Мои университеты» принадлежали к числу любимых В.И. Лениным произведений М. Горького. 28 января 1924 года, рассказывая о последних днях жизни Владимира Ильича Ленина, Н.К. Крупская писала М. Горькому: «По вечерам я читала ему книги, которые он отбирал из пачек, приходивших из города. Он отобрал Вашу книжку «Мои университеты». Сначала он попросил прочесть ему о Короленко, а потом «Мои университеты» (журнал «Октябрь», 1941, кн.6, июнь, стр.20).

В статье «Что нравилось Ильичу из художественной литературы?» Н.К. Крупская рассказывает: «Последние месяцы жизни Ильича. По его указанию я читала ему беллетристику, к вечеру обычно. Читала Щедрина, читала «Мои университеты» Горького» (Сб. «Ленин о культуре и искусстве», «Искусство», М. 1938, стр.121). В статье «Ленин и Горький» Н.К. Крупская писала о В.И. Ленине: «...помню, как слушал он «Мои университеты» в последние дни своей жизни» («Комсомольская правда», 1932, номер 222 от 25 сентября).

Повесть «Мои университеты» включалась во все собрания сочинений.

Печатается по авторизованному тексту корректуры шестнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга» (Архив А.М. Горького).

Примечания

1 В селе Колюпановке, Тамб[овской] губ., Борисоглебского уезда, я слышал иной вариант этой легенды: нож убивает пасынка, оклеветавшего мачеху. (Прим. М. Горького)

2 Автор известного трёхтомного труда – «Религии древнего мира», статьи – «Египетский метампсихоз», а также публицистической статьи – «О браке и женщине». Эта статья, в юности прочитанная мною, произвела на меня сильное впечатление. Кажется, я неверно привёл титул её. Напечатана в каком-то богословском журнале семидесятых годов. (Прим. М. Горького)

3 Мамаша, дайте мне еще (искаж. франц.).

4 Если бы ты знал, куда я тебя веду... (франц.)

5 От редакции. Редакция ни в какой мере не разделяет этих пессимистических

ние сочинений в тридцати томах. Том 13. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький gorkiymax
раздумий А.М. Неверные вообще, они опровергаются в особенности художественным
творчеством тов. Горького, в частности его автобиографическими рассказами, где
так много странствующих, путешествующих, неугомонных, беспокойных протестантов,
как и в других вещах А.М.

6 В конце 90-х годов я прочитал в одном археологическом журнале, что
Лутонин-Коровяков нашел где-то в Чистопольском уезде клад: котелок арабских
денег. (Прим. автора.)

7 Спасибо, Алексей Николаевич Бах! (Прим. автора.)

8 Плохо помню фамилии мужиков и, вероятно, перепутал или исказил их. (Прим.
автора.)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!